Кнут Гамсун

Кнут Гамсун

Кнут
Гамсун

Кнут Гамсун

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:
М.КЛИМОВА
А.СЕРГЕЕВ
Ю.ЯХНИНА

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1994

Кнут Гамсун

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

СТРАННИК ИГРАЕТ ПОД СУРДИНКУ
ДЕТИ ВЕКА
МЕСТЕЧКО СЕГЕЛЬФОСС

Романы

Перевод с норвежского

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1994

ББК 84.4Нр
Г 18

KNUT HAMSUN
1859—1952

Составление
Ю. Яхниной

Комментарии
А. Сергеева

Оформление художника
А. Лепятского

Издание выпущено по Федеральной
целевой программе книгоиздания России.

В книге использованы репродукции
с картин норвежских художников Э. Мунка, Х. Сёренсена и
Т. Эриксена.

Г 4703010100-074 Подписное
028(01)-94
ISBN 5-280-02132-6 (Т. 3)
ISBN 5-280-01700-0

© Составление. Яхнина Ю. Я., 1994 г.
© Комментарии. Сергеев А. В., 1994 г
© Перевод. Афиногенова А. А., 1994 г

РОМАН

Перевод
С. Фридлянд

EN VANDRER SPILLER MED SORDIN

1909

ВСТУПЛЕНИЕ

Год наверняка будет ягодный. Брусника, голубика, морошка. Правда, ягодами сыт не будешь, что и говорить. Но они радуют сердце и тешат глаз. И если человек томим голодом и жаждой, они могут освежить его.

Вот о чем я думал вчера вечером.

До того, как поспеют осенние, поздние ягоды, пройдет месяца два, а то и три, мне это хорошо известно. Но не одними ягодами красна земля. Весной и летом ягоды только зацветают; зато есть колокольчики и лядвенец, есть глубокие безветренные леса, есть тишина и аромат деревьев. Будто дальний шепот речных струй доносится с неба; нет на свете звука более протяжного. И когда дрозд заводит свою песню, одному только Богу ведомо, до каких высот поднимется птичий голос; достигнув вершины, голос вдруг отвесно падает вниз, словно алмазом прочерчивая свой путь; и вот уже звучат, снова звучат на самых низких нотах нежные и сладостные переливы. На взморье кипит своя жизнь, там снуют чистики, вороны и крачки; трясогузка вылетела искать корм, она летит рывками, размашисто, стремительно, легко, потом садится на изгородь и тоже поет-заливается. А когда солнце близится к закату, гагара уныло выкрикивает свое приветствие с высокогорного озера. Это последняя песня дня. Затем остается только кузнечик. Ну, об этом сказать нечего — глазом его не увидишь, и проку в нем никакого. Притаился и знай себе наканифоливает.

Я сидел и думал, что и лето дарит страннику свои радости, стало быть, незачем дожидаться осени.

Теперь же я думаю о другом, что вот я сижу и пишу спокойные слова о всяких безобидных делах, — будто мне никогда не придется писать о событиях бурных и грозных. Но

это такая уловка — я перенял ее у человека из южного полушария, у мексиканца Роу. Края его необъятной шляпы были сплошь унизаны медными побрякушками, почему я, собственно, и запомнил Роу, а всего лучше запомнил я, как он спокойно рассказывал о своем первом убийстве. Была у меня когда-то девушка по имени Мария, — так рассказывал Роу со смиренным видом, — было ей в ту пору всего шестнадцать лет, а мне девятнадцать. И у нее были такие крохотные ручки, что, когда она благодарила меня за что-нибудь или здоровалась со мной, мне казалось, что в ладони у меня зажаты два тоненьких пальчика, не больше того. Однажды вечером наш хозяин позвал ее с поля к себе и велел что-то сшить для него. Никто не мог этому помешать, и на другой день он снова вызвал ее за тем же. Так продолжалось несколько недель, потом все кончилось.

Семь месяцев спустя Мария умерла. Мы засыпали ее землей, и маленькие ручки мы тоже засыпали землей. Тогда я пошел к Инесу, брату Марии, и сказал: «Завтра в шесть утра наш хозяин один едет в город». — «Знаю», — ответил Инес. «Дай мне твою винтовку, я пристрелю его завтра утром», — сказал я. «Винтовка мне и самому понадобится», — сказал он. Потом мы заговорили о другом, об осени и о новом колодце, что мы вырыли, а уходя, я снял со стены винтовку и унес ее. Но Инес живо схватился и крикнул подождать его. Мы сели, потолковали о том о сем. Инес забрал у меня винтовку и вернулся домой. Поутру я стоял у ворот, чтобы открыть их хозяину, а Инес залег рядом в кустах. Я ему сказал: «Ступай отсюда, не то мы будем двое против одного». — «У него пистолеты за поясом, а у тебя что?» — спросил Инес. «У меня ничего, — ответил я, — но зато у меня в руке свинчатка, а от свинчатки не бывает шума». Инес поглядел на свинчатку, подумал, кивнул и ушел. А тут подъехал верхом наш хозяин, он был седой и старый, лет шестьдесят, не меньше. «Отвори ворота!» — приказал он. Я не отворил. Он, наверно, подумал, что я рехнулся. Он вытянул меня кнутом, но я на это ноль внимания. Тогда он спешился, решил сам открыть ворота. Тут я нанес ему первый удар. Удар пришелся над глазом и пробил дыру в черепе. «О!» — простонал он и упал. Я сказал ему несколько слов, он ничего не понимал, я ударил его еще раз, и он умер. В кармане у него было много денег, я взял немножко, сколько мне надо было на дорогу, вскочил в седло и ускакал. Когда я проезжал мимо, Инес стоял у дверей. «До границы три с половиной дня пути», — сказал он.

Так рассказал об этом случае Роу, а кончив, преспокойно огляделся.

Я не собираюсь рассказывать об убийстве, я расскажу о радостях и страданиях, о любви. А любовь — она бурная и грозная, как убийство.

Сейчас все леса зеленые, так думал я сегодня утром, пока одевался. Гляди, как тает снег в горах, и скотина рвется из хлева на волю, и в людских жилищах раскрыты настежь все окна. Я распахиваю рубашку, пусть меня обдувает ветер, я вижу, как разгораются звезды, и чувствую восторг мятежа в своей душе, о, этот миг относит меня на много лет назад, когда я был моложе и неистовее, чем сейчас. Где-нибудь, то ли к востоку, то ли к западу, есть, быть может, такой лес, где старику живется привольно, как молодому, — вот туда я и пойду.

Чередуются дождь, и солнце, и ветер; я иду уже много дней, пока еще слишком холодно, чтобы ночевать в лесу, но я без труда нахожу приют в крестьянских дворах. Один человек удивляется, что я хожу и хожу без всякого дела, должно быть, я не тот, за кого себя выдаю, и просто хочу прославиться вроде поэта Вергеланна. Этот человек не знает моих планов, не знает, что я держу путь к знакомым местам, где живут люди, которых мне хотелось бы повидать. Но ему не откажешь в сообразительности, и я невольно киваю в знак согласия. Как много лицедейства заложено в нас: всякому лестно, когда его принимают за персону более значительную, чем он есть. Но приходят хозяйка с дочерью и прерывают нашу беседу обычной добродушной болтовней; ты не думай, он вовсе не попрошайка, говорят женщины, он заплатил за ужин. Тут я вновь проявляю извечную слабость характера, я оставляю их слова без ответа, а когда этот человек навешивает на меня еще больше грехов, я и его слова оставляю без ответа. Мы трое, люди чувства, одерживаем победу над его разумом, ему приходится сказать, что он просто пошутил, неужто мы не понимаем шуток! В этом дворе я провел целые сутки, хорошенько смазал свои башмаки и привел в порядок свое платье.

Тут у хозяина снова возникли подозрения. «Смотри, когда уйдешь, не забудь как следует заплатить моей дочери», — сказал он. Я сделал вид, будто ко мне это вовсе не относится, и с улыбкой ответил: «Да что ты говоришь!» — «А вот то, что ты слышишь, — сказал он, — и тогда мы будем думать, что ты важная птица».

Господи, до чего же он был несносный.

Я сделал единственное, что мог сделать, я пропустил мимо ушей все его колкости и спросил, нет ли у него для меня

работы. Уж очень мне здесь по душе, — сказал я, — да и ему я пригожусь, меня можно поставить на какие угодно полевые работы. «По мне, шел бы ты лучше своей дорогой, — сказал он, — дурак ты, и больше ничего!»

Было ясно, что он меня возненавидел, а поблизости не случилось никого из женщин, чтобы прийти мне на помощь. Я глядел на него и не мог понять, в чем дело. Взгляд у него был твердый, и мне почудилось, что я в жизни не видел таких умных глаз. Только он слишком уж отдался своей ненависти и сам себе навредил. Он спросил: «Что говорить людям, как тебя зовут?» — «А ничего не говорить», — ответил я. «Странствующий Эйлерт Сунд?» — допытывался он. Я поддержал шутку: «А почему бы и нет?» Но мой ответ его только раззадорил и усугубил его язвительность. Он сказал: «Жалко бедную фру Сунд!» Я пожал плечами и ответил: «Ты ошибаешься, я не женат!» — и хотел уйти. Но он нашелся с редкостной быстротой и крикнул мне вслед: «Это ты ошибаешься, а не я, я говорил про твою мамашу!»

Отойдя немного, я оглянулся и увидел, что жена и дочь увели его в дом. И я подумал про себя: «Нет, не одними розами устлан путь странника!»

В соседней усадьбе я узнал, что этот человек — отставной фуражир, что он побывал в лечебнице для душевнобольных, когда проиграл какой-то процесс в Верховном суде. Нынешней весной болезнь вернулась, может быть, именно мой приход явился последним толчком, который вывел его из душевного равновесия. Но бог ты мой, каким умом светились его глаза, когда безумие вновь им овладело. Я и теперь при случае о нем вспоминаю, он дал мне хороший урок: нелегко угадать, кто безумен, а кто нет! И еще: избавь нас боже от людей слишком проницательных!

В тот же день я проходил мимо одного дома, на пороге которого сидел молодой человек и играл на губной гармошке.

По игре было видно, что никакой он не музыкант, просто, должно быть, добрая и веселая душа, — сидит и играет для собственного удовольствия; поэтому я лишь издали поклонился, а ближе подходить не стал, чтоб не спугнуть его. Он не обратил на меня никакого внимания, вытер гармошку и опять поднес ее к губам. Прошло немало времени, когда он снова вытирал ее, я воспользовался случаем и кашлянул. «Это ты, Ингеборг?» — спросил он. Я решил, что он разговаривает с какой-то женщиной в доме, и потому не ответил. «Кто там?» — спросил он. Я растерялся: «Ты про меня? Разве ты меня не видишь?» На это он не ответил. Он стал шарить руками вокруг себя, потом встал, и тут я увидел, что

он слепой. «Не вставай, я не хотел тебе помешать», — сказал я и сел рядом.

Мы потолковали о том о сем, я узнал, что ему восемнадцать, что ослеп он на четырнадцатом году, в остальном вполне здоров; его щеки и подбородок были покрыты первым пушком. Еще слава богу, что здоровье у него хорошее, сказал он. Ну, а зрение... И я полюбопытствовал, помнит ли он, как выглядит мир. Да, конечно, он сохранил немало приятных воспоминаний с той поры. Вообще он казался довольным и спокойным. Весной его повезут в Христианию, к профессору, сделают операцию, может, зрение и вернется, хотя бы настолько, чтобы ходить без посторонней помощи. Авось как-нибудь все и уладится. Умом он, конечно, не блистал, видно было, что он много ест и поэтому очень упитанный и сильный, как зверь. Но что-то в нем чувствовалось нездоровое, какое-то слабоумие — иначе нельзя понять такую покорность судьбе. Такая наивная вера в будущее может покоиться только на глупости, подумал я, только при известной неполноценности человек может быть не просто доволен жизнью, но даже ожидать в будущем счастливых перемен.

Но я загодя настроился извлекать хоть малые уроки из всего, что ни встречу по пути; даже этот несчастный, сидя на пороге своего дома, кой-чему научил меня. Ведь отчего он не признал меня и окликнул Ингеборг, женщину? Значит, я шел слишком тихо, забыл, что надо топать, значит, у меня слишком легкая обувь. Меня испортили все эти тонкости, к которым я привык, теперь мне надо снова переучиваться на крестьянина.

Три дня ходу осталось до цели, к которой влечет меня любопытство, до Эврebё, до капитана Фалькенберга. Хорошо бы прийти туда пешком и спросить, нет ли у них работы, хозяйство большое, а впереди долгая весенняя страда. Шесть лет назад был я здесь в последний раз. Прошло много времени, а я уже несколько недель не бреюсь, значит, никто меня не узнает.

Была середина недели, я хотел подгадать так, чтобы заявиться туда в субботу вечером. Тогда капитан разрешит мне остаться на воскресенье, подумает над моей просьбой, а в понедельник придет и скажет: да или нет.

Может показаться странным, но я не испытывал никакой тревоги при мысли о том, что́ меня ожидает, никакого беспокойства, я шел себе и шел потихоньку мимо усадеб, через леса и поля. Про себя я думал: в этом самом Эврebё я провел

когда-то несколько недель, богатых событиями, я даже был влюблен в хозяйку, в фру Ловису. Да, влюблен. У нее были светлые волосы и серые темные глаза, она казалась молоденькой девушкой. Это было шесть лет назад, — так давно, — изменилась ли она с тех пор? Меня время не пощадило, я поглупел и отцвел, я стал равнодушным, нынче я смотрю на женщин как на книжную выдумку. Мне конец. Что с того? Все на свете имеет конец. Когда это ощущение возникло впервые, я испытал такое чувство, будто у меня что-то пропало, будто мои карманы обчистил вор. И я задумался — могу ли я перенести случившееся, могу ли примириться с собой самим? Отчего же нет. Я не тот, что прежде, но это совершилось бесшумно, совершилось мирно и неотвратимо. Все на свете имеет конец.

В преклонном возрасте человек не живет настоящей жизнью, он питается воспоминаниями. Мы подобны разосланным письмам, мы уже доставлены, мы достигли цели. Не все ли равно, принесли мы радость или горе тем, кто нас прочел, или вообще не вызвали никаких чувств. Я благодарен за жизнь, жить было интересно!

Но эта женщина, она была такой, каких издавна знают мудрецы: беспредельно малый разум, беспредельно великая безответственность, легкомыслие, суетность.

В ней многое было от ребенка, но ничего — от детской невинности.

Я стою у придорожного столба, здесь поворот на Эвребё. Я не испытываю волнения. Огромный и светлый день лежит над лесами и лугами, в полях там и сям пашут и боронят, работа на солнцепеке идет ни шатко ни валко, словно в полуденной истоме. Я прохожу мимо столба, мне надо как-то протянуть время, а уж потом сворачивать. Час спустя я углубляюсь в лес и брожу там; цветет ягодник, благоухает молодая листва. Стая дроздов гонит перед собой по небу одинокую ворону, они галдят что есть мочи. Это похоже на беспорядочный стук негодных кастаньет. Я ложусь на спину, подкладываю мешок под голову и засыпаю.

Потом я просыпаюсь и иду к ближайшему пахарю, мне хочется расспросить его о Фалькенбергах из Эвребё, живы ли они и как у них дела. Пахарь дает мне уклончивые ответы, он стоит, прищурив глаза, и говорит с хитрецой: «Еще вопрос, дома ли капитан». — «А что, он часто уезжает?» — «Да нет, наверное, дома». — «Он уже отсеялся?» Пахарь с ухмылочкой: «Пожалуй, что и нет». — «У него людей не хватает?» — «А мне почем знать,

пожалуй, что и хватает. И отсеяться он давно отсеялся. Навоз еще когда вывозили. Так-то».

Он прикрикнул на лошадей и снова взялся за плуг, а я пошел следом. У такого много не узнаешь. Но когда он во второй раз дал отдых лошадям, я сумел вытянуть из него еще несколько противоречивых фраз о хозяевах Эвребё. «Капитан каждое лето уезжает на учения, ну, а фру тем временем сидит без него. Гостей-то у них всегда полон дом, но самого капитана нет. Не подумайте плохого, дома ему быть приятнее, но ведь на ученья-то надо ездить, куда денешься. Нет, детей у них покамест нет и навряд ли будут. Хотя, что это я, может, еще и дети будут, целая куча, если понадобится. Н-но, каторжные!»

Мы снова пашем и снова отдыхаем. Мне не хотелось бы попасть в Эвребё некстати, и я выспрашиваю, есть ли сегодня гости у Фалькенбергов. «Сегодня, пожалуй, что и нет. Они там частенько бывают, а так-то... Играют, поют во всякое время, а так-то... Спору нет, Фалькенберги — люди благородные и денег у них хватает, а уж до чего там богато и пышно...»

Горе мне с этим пахарем. Теперь я пытаюсь разузнать хоть немного о другом Фалькенберге, старом моем товарище, который вместе со мной валил лес, а при нужде настраивал рояли, о Ларсе Фалькенберге. Вот когда ответы пахаря становятся вполне определенными. Да, Ларс здесь. Еще бы ему не знать Ларса! Ларс взял расчет в Эвребё, а капитан отвел ему для жилья маленькую вырубку. Ларс женился на служанке по имени Эмма, и у них двое детей. Люди они работящие и расторопные, держат на той же вырубке двух коров.

Борозда кончается, пахарь разворачивает лошадей, я говорю: до свидания — и ухожу.

Вот я стою перед усадьбой в Эвребё, я узнаю все постройки, хотя они облиняли и выцвели. Еще я вижу, что флагшток, который я устанавливал шесть лет назад, стоит где стоял, но на нем уже нет ни каната, ни блоков.

Вот я и достиг цели. Время — четыре часа пополудни, двадцать шестое апреля.

В старости хорошо запоминаешь даты.

I

Все вышло не так, как я предполагал: капитан Фалькенберг спустился ко мне, выслушал мою просьбу и, не сходя с места, отказал: людей у него достаточно, а пахота почти закончена.

Ладно. А нельзя ли мне посидеть в людской и отдохнуть немного?

Это пожалуйста.

Капитан не предложил мне остаться на воскресенье, он повернулся и ушел. Вид у него был такой, будто он только что встал, на нем была нижняя рубашка, он даже жилета не надел, а поверх рубашки набросил куртку. У него поседели волосы на висках и в бороде.

Я сидел в людской и ждал, когда батраки соберутся к полднику. Пришел один взрослый батрак и один мальчишка, я поговорил с ними и узнал, что капитан ошибся, когда сказал, будто пахота почти закончена. Пусть так! Я не скрываю от них, что ищу работы, а если они хотят знать, чего я стою, то вот, пожалуйста, хороший отзыв, который я давным-давно получил от херсетского ленсмана. Когда батраки снова идут в поле, я вскидываю на плечи мешок и иду за ними. Я заглядываю в конюшню и вижу там непривычно много лошадей, я заглядываю в коровник, курятник, свинарник и вижу, что прошлогодний навоз лежит в куче и до сих пор не вывезен на поле.

Как же это?

— А мы чем виноваты? — отвечает батрак. — Я с конца зимы начал возить, а был один. Сейчас нас, можно сказать, двое, но уже приспело время пахать и боронить.

Пусть так!

— Счастливо оставаться, — говорю я и иду прочь. Я хочу побывать у своего дружка, у Ларса Фалькенберга, но об этом я ничего им не говорю. Высоко, по-над лесом, я вижу несколько новых домиков и понимаю, что это, должно быть, и есть вырубка.

Батрак явно встревожился при мысли, что капитан упускает рабочую силу, оглядываясь на ходу, я вижу, как он мчится через двор к господскому дому.

Я успеваю отойти шагов эдак на двести, когда батрак догоняет меня и говорит, что меня все-таки взяли, он переговорил с капитаном, и капитан предоставил ему распоряжаться по-своему. «До понедельника тебе все равно делать нечего, ступай пока в людскую, тебе дадут поесть».

Батрак вообще неплохой парень. Он идет за мной на кухню и говорит: «Накормите этого человека, он будет у нас работать».

Незнакомая стряпуха, незнакомые служанки, я съедаю свою порцию и выхожу во двор. Из господ никого не видать.

Мне тошно целый вечер сидеть без дела в людской, и я иду за батраками в поле. Мы разговариваем. Батрак родом из крестьянской семьи, их хутор в северной части прихода,

но раз он не старший сын, хутор к нему не перейдет, вот он и решил на время наняться в батраки. Ей-же-ей, он мог сделать выбор и похуже. Нельзя сказать, что капитан с каждым годом все больше и больше занимается хозяйством, напротив, он все больше и больше его запускает, дома он теперь бывает редко, и батрак действует по своему усмотрению. Вот, к примеру, в прошлую осень он поднял большие участки заболоченной целины, в этом году он будет там сеять, батрак показывает: вот здесь он распахал, здесь еще собирается распахать, а погляди-ка на озимые, ишь как поднялись.

Видно было, что этот молодой человек хорошо знает свое дело, и я не без удовольствия слушал его разумную речь. Он, оказывается, кончил школу, выучился там вести хозяйственный календарь и заносить количество копен в одну графу, а дни отела — в другую. Пусть так. Раньше крестьянин держал такие выкладки в голове, а его жена знала с точностью до одного дня, когда должна отелиться любая из ее двадцати или пятидесяти коров.

Вообще же парень он толковый и от работы не бегает, просто за последнее время он малость оплошал под бременем всех дел, навалившихся на него в капитанской усадьбе.

Найдя помощника, он заметно взыграл духом. С понедельника возьмешь лошадь возить навоз, приказывает он, а мальчик пусть возьмет одну из двух выездных лошадей капитана и встанет за борону, а сам он как пахал, так и будет пахать! Помяните мое слово, мы еще управимся с севом день в день.

Воскресенье.

Я слежу за собой, чтобы не показывать, что уже давно знаю эту усадьбу, знаю, например, где кончаются капитанские леса, где расположены дома, надворные постройки, колодцы и дороги. Я старательно готовлюсь к завтрашнему утру — я смазал колеса и сбрую и на отличку вычистил лошадь. После обеда я часа на четыре — на пять отправляюсь бродить по капитанским лесам, я миную Ларсову вырубку, в дом к нему не захожу, а достигнув границы прихода, поворачиваю обратно. Мне бросается в глаза, что лес изрядно поредел.

Когда я возвращаюсь, батрак спрашивает меня:

— Ты слышал ночью песни и крики?

— Слышал. А кто это пел?

— Гости, — с улыбкой отвечает батрак.

Ах да, гости! Их теперь в Эвребё всегда полно. Среди них на редкость толстый и шустрый господин с закрученными кверху усами, он тоже капитан и служит в одной части с Фалькенбергом; я видел его вчера вечером, когда гости высыпали из дома. Еще среди них есть господин, которого они называют инженером. Этот молодой — ему лет двадцать с небольшим, — он среднего роста, смуглый и безбородый. И еще Элисабет, пасторская дочка. Я сохранил в памяти черты Элисабет, поэтому сразу узнал ее, хотя прошло шесть лет и она стала зрелой дамой. Маленькая Элисабет прошлых дней теперь уже не девочка, у нее пышная грудь, свидетельствующая об отменном здоровье; батрак сказал мне, что Элисабет замужем, она все-таки вышла за сына хуторянина, того самого Эрика, которого любила с детских лет. Она по-прежнему дружит с фру Фалькенберг и часто наезжает в Эвребё. Но мужа ни разу с собой не привозила.

Теперь Элисабет стоит у флагштока, и капитан подходит к ней. Они о чем-то говорят и очень заняты разговором: капитан всякий раз оглядывается, перед тем как сказать что-нибудь, должно быть, речь идет не о безразличных предметах, а напротив, о таких, которые требуют осторожности.

А вот и толстый весельчак, даже в людской слышно, как он смеется и потом зовет куда-то Фалькенберга, но получает лишь короткий и небрежный ответ. Каменная лестница ведет в заросли сирени, толстый капитан устремляется туда, горничная несет следом вино и стаканы. Замыкает шествие инженер.

Батрак, сидящий подле меня, громко хохочет:

— Ну и капитан!

— Как его зовут?

— Они его называют Братцем, и в прошлом году так же называли. А чтоб по имени — я ни разу не слышал.

— А инженера как?

— Этого Лассен, я слышал. При мне он здесь второй раз.

Теперь из дому выходит фру Фалькенберг, она замедляет шаг на верхней ступеньке и бросает взгляд в сторону флагштока, где стоят те двое. Фигура у нее такая же стройная и красивая, но лицо увяло — впечатление такое, будто щеки у нее раньше были наливные, а теперь запали. Она тоже идет к кустам сирени, я узнаю ее походку, спокойную и плавную, как встарь. Но, конечно, красота ее за минувшие годы заметно поблекла.

Еще какие-то люди выходят из дому, немолодая дама с шалью на плечах, за ней два господина.

Батрак рассказывает, что обычно гостей бывает меньше, но позавчера капитан справлял день рожденья, и гости приехали в двух экипажах; на конюшне до сих пор стоят четыре чужие лошади.

Тех двоих, что у флагштока, зовут теперь настойчивее, и капитан отвечает с досадой: «Иду, иду!» — но не трогается с места. Он то снимет соринку с плеча Элисабет, то оглянется по сторонам и возьмет ее за локоток, а сам что-то ей втолковывает.

Батрак говорит:

— Эти двое всегда найдут о чем поговорить. Она как приедет, оба сразу отправляются гулять куда-нибудь подальше.

— И фру Фалькенберг не возражает?

— Не слыхал, чтоб возражала.

— А у Элисабет тоже нет детей?

— Отчего же, у нее много детей.

— Как же тогда она может так часто оставлять без призора детей и хозяйство?

— Покуда жива мать Эрика, это дело нетрудное, уезжай сколько хочешь.

Батрак выходит, и я остаюсь один в людской. Здесь я сидел когда-то и мастерил механическую пилу. До чего ж я был увлечен своим делом! За стеной лежал больной Петтер. Разгорячась от усердия, я бегал в амбар всякий раз, когда мне надо было приколотить что-нибудь. Теперь я и пилу эту вспоминаю, как книжную выдумку. Так разделываются с нами годы.

Возвращается батрак.

— Если гости к завтрему не разъедутся, я возьму двух гостевых лошадей и буду на них пахать, — говорит он, занятый исключительно хозяйственными заботами.

Я выглядываю в окно. Наконец-то те двое у флагштока отправились вслед за остальными.

Чем ближе к вечеру, тем шумней веселье в зарослях сирени. Горничные снуют с подносами взад и вперед, — на подносах не только вино, но и закуски, господа затеяли обедать под сенью ветвей. То и дело раздается: «Братец! Братец!», но всех громче кричит и хохочет сам Братец. Один стул уже рухнул под его непомерной тяжестью. Братец посылает в людскую, чтоб ему прислали добротный деревянный стул, который его выдержит. Да, в зарослях сирени не скучно. Капитан Фалькенберг время от времени показывается во дворе, чтобы все видели, что он твердо держится на ногах и не упускает из виду хозяйственные дела.

— За нашего я ручаюсь! — говорит батрак. — Его легко не свалишь. Помнится, о прошлом годе я вез его, так он пил всю дорогу — и ни в одном глазу.

Солнце заходит. В кустах сирени теперь, должно быть, стало прохладно — господа перебираются в дом. Но большие окна распахнуты, и мы слышим, как благозвучно поет рояль под руками фру Фалькенберг. Потом до нас доносится танцевальная музыка. Это, должно быть, играет толстый капитан Братец.

— Ну и народ, — ворчит батрак. — Поют и пляшут ночи напролет, а днем отсыпаются. Ладно, я пошел спать.

Я остаюсь у окна и вижу, как мой дружок, Ларс Фалькенберг, спешит через двор и скрывается в господском доме. Его пригласили петь перед господами. Потом капитан Братец и другие начинают подтягивать, получается громко и весело. Немного спустя Ларс Фалькенберг входит в людскую. Из кармана у него торчит бутылка как плата за беспокойство. Увидев, что в людской сижу только я, незнакомый человек, он проходит к Нильсу, чтобы пропустить с ним по одной. Потом туда же приглашают и меня. Я остерегаюсь много говорить, как бы меня не признали, но перед уходом Ларс вдруг просит меня немного проводить его. Тут по дороге выясняется, что меня давным-давно раскусили. Ларс знает, что я его прежний напарник.

Это сказал ему капитан.

Ладно же, думаю я. Коли так, все мои предосторожности ни к чему. Я, признаться, даже доволен таким оборотом дела. Значит, капитану наплевать, чем я занимаюсь у него в усадьбе.

Я проводил Ларса Фалькенберга до самого дома, мы вспоминали былые дни, говорили о Ларсовом хозяйстве и о всяких здешних делах: капитан давно уже не пользуется прежним уважением, он теперь не председательствует в общине, люди перестали приходить к нему за советом. «Видишь дорогу — это он велел довести ее до самого шоссе, а больше он ничего не делал, хотя с тех пор уже минуло целых пять лет. Дом пора красить, а ему и горя мало, поля запущены, лес повырублен». — «Уж не пьет ли он, часом?» — «Поговаривают, но наверняка сказать нельзя, черт бы побрал всех сплетников. Выпивает, не без того, и из дому он часто уезжает и не скоро возвращается, а хоть и вернется, у него к хозяйству душа не лежит, вот в чем горе. Не иначе в него вселился злой дух», — рассказывает Ларс.

— А фру Фалькенберг?

— Она-то? Она-то не переменилась, играет на рояле, и уж такая обходительная, что лучше и желать нельзя. Дом у них гостеприимный, гостей всегда полно; а налоги большие и

расходы большие. Чтобы хоть как-то содержать в порядке все постройки, нужна уйма денег. Жалко сердечных, и капитана, и его супругу, они так друг другу осточертели! Да где ж такое видано! Если они и перекинутся когда словечком, так не глядят друг на друга и губ почти не разжимают. Они по нескольку месяцев подряд только с чужими и разговаривают. Летом капитан уезжает на учения, домой не наведывается, за женой не следит, да и за хозяйством тоже. «Детей у них нет — вот в чем беда», — говорит Ларс.

Из дома выглядывает Эмма и подходит к нам. Она все так же мила и привлекательна, о чем я ей и говорю. «Да, моя Эмма хоть куда, — подтверждает Ларс, — вот только рожать она больно горазда». Он и ей наливает из своей бутылочки и заставляет ее выпить. Эмма приглашает нас войти, — чем так стоять перед дверью, лучше посидеть за столом. «Эка важность, лето на дворе!» — отвечает Ларс, он и не думает впускать меня в дом. Когда я ухожу, он идет немного проводить меня и по дороге показывает, где он копал канаву, где пахал, где ставил изгородь. Он неплохо и очень толково потрудился на своем маленьком участке, вид этого уютного домика в лесу наполняет меня удивительным спокойствием. Чуть поодаль, за домом и коровником, негромко шумит лес, здесь все больше лиственные деревья, и осиновая листва издает шелковистый шорох.

Я ухожу. Близится вечер, замолкли птицы, погода мягкая, голубые нежные сумерки.

— Сегодня вечером мы все будем молоды! — громко и отчетливо говорит мужской голос в кустах сирени. — Пойдемте танцевать на выгон.

— А помните, какой вы были в прошлом году? — отвечает голос фру Фалькенберг. — Вы были милый и юный и ничего подобного не говорили.

— Да, в прошлом году я ничего подобного не говорил. Подумать только, что вы это запомнили. Но и в прошлом году вы однажды выбранили меня. «Как вы прекрасны сегодня вечером», — сказал я. «Нет, — ответили вы, — моя красота давно ушла, но вы совсем как дитя, и я прошу вас не пить так много», — сказали вы.

— Да, так я говорила, — с улыбкой признается фру Фалькенберг.

— Так вы говорили. Но это неправда: мне лучше знать, прекрасны вы или нет, недаром я целый вечер любовался вами.

— О, дитя, дитя!

— А сегодня вечером вы еще прекраснее.

— Кто-то идет.

В кустах сирени двое — фру Фалькенберг с приезжим инженером. Увидев, что это всего-навсего я, они как ни в чем не бывало возобновляют прерванный разговор, будто меня здесь нет. Так уж устроен ум человеческий. Хотя я только о том и мечтал, чтобы меня оставили в покое, теперь мне досадно, что эти двое так откровенно мной пренебрегают. У меня уже седая голова, думается мне, неужели мои седины не заслуживают уважения?

— Да, сегодня вечером вы еще прекраснее, — повторяет инженер.

Я поравнялся с ними, я спокойно здороваюсь и прохожу мимо.

— Я только хотела вам сказать, что все это ни к чему, — отвечает фру и тут же кричит мне вдогонку: — Вы что-то потеряли!

Потерял? На дороге лежит мой носовой платок, я нарочно уронил его; я возвращаюсь, поднимаю платок, благодарю и ухожу.

— Не отвлекайтесь из-за пустяков, — восклицает инженер. — Какой-то мужицкий платок с красными цветочками. Идемте лучше в беседку!

— Беседка по ночам заперта, — отвечает фру. — Или там кто-нибудь есть.

Остального я не слышу.

Жить я буду в комнате над людской. Единственное открытое окно моей комнаты смотрит как раз в заросли сирени. Поднявшись к себе, я слышу, что те двое все еще продолжают разговаривать в зарослях, но не слышу о чем. Почему это беседка заперта по ночам и кто завел такой порядок, — рассуждаю я про себя. Наверно, какая-нибудь продувная бестия смекнула, что, если всегда держать дверь на запоре, можно будет однажды без особого риска наведаться туда в приятном обществе, запереть за собой дверь и провести там время.

Вдали, на дороге, по которой я только что пришел, показались еще двое, это толстый капитан Братец и пожилая дама с шалью. Должно быть, они сидели где-то в роще, когда я шел мимо, и я мучительно стараюсь вспомнить, не разговаривал ли я на ходу сам с собой.

Вдруг я вижу, как инженер выскакивает из-за кустов и стремглав бросается к беседке. Дверь заперта, он наваливается плечом и высаживает ее. Слышен треск.

— Идите сюда, здесь никого нет! — кричит он.

Фру Фалькенберг встает и говорит очень сердито:

— Что вы вытворяете, безумный вы человек!

Однако, говоря эти сердитые слова, она покорно идет на его зов.

— Вытворяю? — переспрашивает инженер. — Любовь — это не глицерин. Любовь — это нитроглицерин.

Он берет ее за руку и уводит в беседку.

Пусть так.

Но тут появляется жирный капитан со своей дамой. Те двое в беседке этого, разумеется, не подозревают, а фру Фалькенберг навряд ли будет рада, если ее застанут в таком уединенном месте с посторонним мужчиной. Я обвожу глазами комнату, ищу, чем бы их предупредить, замечаю пустую бутылку, подхожу к окну и изо всех сил кидаю ее. Слышен звон, бутылка разбилась вдребезги, осколки стекла и черепицы сыплются с крыши, в беседке раздается вопль ужаса, и оттуда выбегает фру Фалькенберг, инженер следует по пятам, все еще держась за ее одежды. Они застывают на месте и оглядываются по сторонам. «Братец! Братец! — восклицает вдруг фру Фалькенберг и мчится сквозь заросли. — Не ходите за мной! — приказывает она на бегу. — Не *смейте* ходить за мной!»

Но инженер прытко скачет за ней. На редкость молодой и несговорчивый субъект.

Итак, появляется жирный капитан со своей дамой. Они ведут волнующий разговор о том, будто в мире нет ничего, что могло бы сравниться с любовью. Жирному наверняка лет под шестьдесят, даме не меньше сорока; презабавно наблюдать их нежности.

Капитан говорит:

— До нынешнего вечера я еще мог как-то терпеть, но сейчас это выше сил человеческих. Вы окончательно свели меня с ума, мадам.

— Ах, я не думала, что это так серьезно, — отвечает она и хочет отвлечь его, направить его мысли по другому руслу.

— Очень серьезно, — говорит он. — Пора положить этому конец, понимаете? Мы вышли из леса; там я думал, что смогу вытерпеть еще одну ночь, и поэтому ничего вам не сказал. Но теперь я умоляю вас вернуться со мной в лес.

Она качает головой:

— Нет, я, конечно, готова помочь вам... сделать все, что вы...

— Благодарю! — выпаливает он.

Он обхватывает ее руками тут же, посреди дороги, и прижимает свой шарообразный живот к ее животу. Издали кажется, будто они рвутся прочь друг от друга. Ну и ловкач этот капитан.

— Отпустите меня! — молит она.

Он слегка разнимает руки, потом опять стискивает свою даму. И опять это выглядит издали так, будто они дерутся.

— Давайте вернемся в лес, — твердит он.

— Ах, это невозможно, — отвечает она. — И к тому же выпала роса.

Но слова любви распирают капитана, он открывает шлюзы.

— Было время, когда я не обращал внимания на цвет женских глаз. Голубые глаза — подумаешь! Серые глаза — подумаешь! Взгляд любой силы, глаза любого цвета — подумаешь! Но вот явились вы с карими глазами.

— Да, глаза у меня карие, — подтверждает и дама.

— Вы опалили меня своими глазами! Ваши глаза сжигают меня.

— Не вы первый хвалите мои глаза, — отвечает дама. — Мой муж, к примеру...

— Не о нем речь... Могу вам сказать одно: если бы я встретил вас двадцать лет назад, я не поручился бы за свой рассудок. Идем же, в лесу не так уж много росы.

— Пошли лучше в дом, — предлагает она.

— В дом! Да там нет ни одного уголка, где мы могли бы уединиться.

— Уж один-то найдется!

— Ладно, но сегодня вечером этому надо положить конец, — говорит капитан.

И они уходят.

Я спрашиваю себя, а точно ли я бросил бутылку затем, чтобы кого-то предостеречь.

На рассвете в три часа я слышу, как батрак встает и выходит кормить лошадей. В четыре он стучит мне снизу. Я не хочу огорчать его, пусть себе думает, что встал первым, хотя при желании я мог бы разбудить его в любой час ночи, я совсем не спал. Когда воздух так чист и свеж, ничего не стоит провести без сна ночь, а то и две — воздух разгоняет сон.

Сегодня батрак вывел в поле новую упряжку. Он внимательно осмотрел чужих лошадей и выбрал пару, принадлежащую Элисабет. Это добрые крестьянские коняги с сильными ногами.

II

Все больше и больше гостей съезжается в Эвребё, веселью не видно конца. Мы, батраки, вносим удобрения, пашем и сеем, в полях уже проглянули кой-где молодые всходы. Любо смотреть на их зелень.

Но нам то и дело приходится воевать с капитаном Фалькенбергом. «Ему плевать и на свой разум, и на свое благо», — жалуется батрак. Да, в капитана словно вселился злой дух. Он бродит по усадьбе полупьяный и полусонный; главная его забота — показать себя непревзойденным амфитрионом, пять суток подряд он со своими гостями превращает ночь в день. А когда по ночам идет такой кутеж, на скотном дворе тревожится скотина, да и горничные не могут выспаться толком; случается, даже молодые господа заходят к ним среди ночи, усаживаются прямо на кровать и заводят всякие разговоры, лишь бы поглядеть на раздетых девушек.

Мы, батраки, к этому касательства не имеем, чего нет, того нет, но сколько раз мы стыдились, что служим у капитана, стыдились того, чем могли бы гордиться. Батрак — так тот завел себе значок общества трезвенников и носит его на блузе.

Однажды капитан пришел ко мне в поле и велел запрягать, чтобы привезти со станции двух новых гостей. Время было послеобеденное. Капитан, должно быть, только встал. Просьба его очень меня смутила. Почему он не обратился к старшему батраку? Я подумал: все ясно, ему колет глаза значок трезвенника. Капитан, должно быть, угадал мои сомнения, он улыбнулся и сказал:

— Может, ты из-за Нильса сомневаешься? Тогда я для начала переговорю с ним.

Нильс — так звали батрака.

Но сейчас я не мог ни под каким видом пустить капитана к Нильсу: Нильс до сих пор пахал на чужих лошадях и просил меня, в случае чего, подать ему знак. Я достал носовой платок, утер лицо, потом слегка взмахнул платком. Нильс это увидел и немедля выпряг чужих лошадей. «Интересно, что он теперь будет делать?» — подумал я. Ничего, этот славный Нильс всегда найдет выход. Хотя время было самое что ни на есть рабочее, он погнал лошадей домой.

Ох, только бы мне еще ненадолго задержать капитана! Нильс понял, в чем дело, он погоняет лошадей и чуть не на ходу начинает снимать с них упряжь.

Вдруг капитан в упор взглядывает на меня и спрашивает:

— У тебя что, язык отнялся?

— Должно быть, у Нильса что-то не ладится, — выдавливаю я наконец через силу. — Недаром он лошадей распрягает.

— А дальше что?

— Да нет, ничего, я просто так...

Врагам бы моим оказаться на моем месте! Но я могу еще немного помочь Нильсу, ему и без того нелегко. Я тут же берусь за дело:

— Видите, мы и с севом-то не управились, а всходы так и лезут из земли. Да еще у нас осталась невспаханная земля, и мы...

— Всходы лезут? Вот и хорошо, пусть лезут.

— У меня здесь сто двадцать аров, а Нильсу надо поднять целых сто сорок, вот я и подумал, что, может, господин капитан не станет отрывать нас от работы.

Тут капитан круто поворачивается на каблуках и, не прибавив ни слова, уходит.

«Все, меня рассчитали!» — думаю я, однако следую за капитаном с лошадьми и возком, чтобы выполнить приказ.

Теперь я не тревожусь за Нильса — он уже возле самой конюшни. Капитан махнул ему — Нильс не увидал. «Стой!» — закричал капитан хорошо поставленным офицерским голосом. Нильс не услышал.

Мы тоже подошли к конюшне; Нильс уже развел лошадей по стойлам. Капитан с трудом подавлял гнев, но по дороге с поля до конюшни, должно быть, немного успокоился.

— Ты что это распрягаешь средь бела дня? — спрашивает он.

— Лемех треснул, — отвечает батрак. — Пусть лошади отдохнут, пока я заменю лемех. Это дело недолгое.

Капитан приказывает:

— Один из вас должен поехать с коляской на станцию.

Батрак косится на меня и бормочет:

— Гм-гм. Значит, так... А время где взять?

— Ты что это там бормочешь?

— Нас в поле два с половиной человека, — отвечает батрак. — Лишних вроде никого нет.

Должно быть, у капитана вызвала подозрение та поспешность, с какой Нильс развел гнедых по стойлам, и он сам обходит конюшню, осматривает лошадей и, разумеется, сразу же видит, какие из них разгорячились. Затем он возвращается к нам и, вытирая руки носовым платком, спрашивает:

— Ты что, на чужих лошадях пашешь?

Пауза.

— Чтоб я этого больше не видел!

— Само собой, — отвечает Нильс. Потом, внезапно осердясь, выпаливает: — В этом году нам нужно больше лошадей, чем все прошлые годы. Ведь мы распахиваем куда больше земли, чем раньше. Эти чужие лошади у нас днюют и ночуют, жрут и пьют, а сами даже той воды не стоят, которая на них уходит. Эко дело, если я вывел их часа на два поразмяться.

Капитан повторяет отрывисто:

— Чтоб я этого больше не видел. Понял?

Пауза.

— А что ж ты не сказал, что одна из наших пахотных лошадей вчера занедужила? — подсказываю я.

Нильс встрепенулся:

— А ведь верно. Ну как же! Ее прямо всю трясло в стойле! Не мог же я запрячь ее.

Капитан мерит меня взглядом с ног до головы и спрашивает:

— А ты чего здесь торчишь?

— Вы сами приказали мне, господин капитан, ехать на станцию.

— Ну так собирайся.

Но Нильс еще решительней, чем капитан, парирует:

— Не выйдет!

«Ай да Нильс, — подумал я. — Знает, что правда на его стороне, и от своего не отступится. И коли уж говорить о лошадях, так наши совсем из сил выбились, потому что страда в этом году дольше обычного, а чужие только наших объедают да застаиваются себе же во вред».

— Значит, не выйдет? — переспрашивает обескураженный капитан.

— Если вы заберете моего помощника, мне здесь больше нечего делать, — отвечает Нильс.

Капитан подходит к дверям конюшни, выглядывает во двор. Прикусив кончик бороды, он напряженно думает, потом бросает через плечо:

— А без мальчика ты тоже не можешь обойтись?

— Нет, — отвечает Нильс. — Мальчик боронит.

Это было первое наше столкновение с капитаном, и мы одержали верх. Мелкие стычки возникали и впоследствии, но там он быстро сдавался.

— Надо привезти со станции один ящик, — сказал он нам как-то раз, — нельзя ли послать за ним мальчика?

— Для нас теперь мальчик все равно что взрослый, — ответил батрак, — он боронит. Если мальчик поедет на станцию, он не вернется до завтрашнего вечера. Полтора дня, считай, пропало.

«Ай да Нильс!» — подумал я уже во второй раз. У нас с Нильсом был разговор про этот ящик на станции, там просто-напросто очередная партия вин. Горничные сами слышали.

Короткий обмен репликами, капитан нахмурил брови и сказал, что никогда еще весенняя страда не тянулась так долго, как в нынешнем году. Нильса это задело за живое, и он ответил:

— Если вы возьмете мальчика, я ухожу, — и обратился ко мне с таким видом, будто мы обо всем уже заранее столковались: — Ты ведь тоже уйдешь?

— Уйду, — ответил я.

Тут капитан сдался и с улыбкой сказал:

— Да у вас форменный заговор. Но вообще-то вы, пожалуй, правы. И работа у вас спорится.

Точно ли у нас спорится работа — об этом капитан вряд ли мог судить, а если и мог, то не больно этому радовался. В лучшем случае он разок-другой окинул взглядом свои поля и бегло убедился, что вспахано много и засеяно не меньше — только и всего. Но мы, батраки, старались изо всех сил ради хозяина, уж такие мы были.

Да, видно, уж такие.

Впрочем, порой наше рвение не казалось мне совсем уж бескорыстным. Батрак был человек здешний, из этого прихода, и он хотел управиться с севом не позднее остальных, для него это был вопрос чести. Ну, а я подражал ему. Даже когда он нацепил себе на грудь значок трезвенника, он, по-моему, сделал это, чтобы капитан хоть немного опомнился и мог оценить плоды наших усилий. Я и в этом был на стороне Нильса. Кроме того, я питал тайную надежду, что, по крайней мере, хозяйка дома, фру Фалькенберг, поймет, какие мы молодцы. На большее бескорыстие я навряд ли был способен.

Вблизи я первый раз увидел фру Фалькенберг как-то после обеда, когда выходил из кухни. Она шла через двор, стройная, с непокрытой головой. Я поклонился, сняв шапку, и взглянул на нее — у нее было на редкость молодое и невинное лицо. Она ответила на мой поклон с полнейшим равнодушием и прошла мимо.

Я не допускал и мысли, что между капитаном и его женой все кончено. Вот на чем я основывал свои наблюдения:

Горничная Рагнхильд состояла при фру сыщиком и наперсницей. Она шпионила в пользу своей хозяйки, она ложилась последней, она подслушивала, стоя на лестнице и разглядывая свои ладони, а когда бывала во дворе и ее окликали из комнат, делала для начала три-четыре бесшумных шажка. Она была девушка красивая и разбитная, с глазами на редкость блестящими. Как-то вечером я застал ее возле беседки, где она нюхала сирень. При моем появлении она вздрогнула от испуга, предостерегающе указала на беседку и убежала прочь, прикусив зубами кончик языка.

Капитан, должно быть, знал, чем занимается Рагнхильд, недаром он однажды во всеуслышание сказал своей жене, — думаю, он был пьян и чем-то раздосадован:

— Подозрительная особа эта твоя Рагнхильд. Я не желаю, чтобы она дольше у нас служила.

Фру отвечала:

— Ты уже не первый раз хочешь рассчитать Рагнхильд неизвестно за что. К твоему сведению, она самая расторопная из всех наших горничных.

— Разве что в своем ремесле, — отвечал капитан.

Этот разговор навел меня на некоторые раздумья. Неужели фру до того хитра, что держит при себе соглядатая с единственной целью доказать всем и каждому, будто ее очень волнует, чем занимается капитан. Тогда в глазах всего света она может предстать женой-страдалицей, которая втайне тоскует по своему супругу, но не видит от него ничего, кроме обид и несправедливости. И, следовательно, имеет полное право отплатить ему той же монетой. Бог весть, может, дело именно так и обстоит.

Но очень скоро я переменил мнение.

День спустя капитан изменил тактику. Он не мог ускользнуть от неусыпного надзора Рагнхильд ни когда шептался с Элисабет в укромном уголке, ни когда поздним вечером хотел уединиться с кем-нибудь в беседке — и вот он сделал крутой поворот и начал расхваливать Рагнхильд. Не иначе как женщина, не иначе как сама Элисабет подсказала ему эту мысль.

Сидим мы, батраки, как-то на кухне за длинным обеденным столом, тут же и фру Фалькенберг, а горничные занимаются кто чем. Приходит капитан со щеткой в руках.

— А ну, обмахни меня разок-другой, — говорит он Рагнхильд.

Та повиновалась. Когда она кончила, капитан ей сказал:

— Благодарствуй, мой друг.

Фру несколько растерялась и тут же, не помню зачем, услала Рагнхильд на чердак. Капитан посмотрел ей вслед, а когда она вышла, сказал:

— В жизни не видел таких блестящих глаз.

Я украдкой глянул на фру. У нее недобро сверкнули глаза, запылали щеки, и она вышла из кухни. Но в дверях она обернулась, и теперь ее лицо было мертвенно-бледным. Она наверняка успела принять какое-то решение, потому что бросила мужу через плечо:

— Боюсь, как бы у нашей Рагнхильд не оказались слишком блестящие глаза.

Капитан удивился:

— Это как же?

Фру едва заметно улыбнулась, кивнула в нашу сторону и объяснила:

— Она очень подружилась с батраками.

Тишина в кухне.

— Пожалуй, ей и в самом деле лучше от нас уехать, — сказала фру.

Все это было наглой выдумкой от начала до конца, но мы ничего не могли поделать, мы понимали, что фру лжет с умыслом.

Мы вышли, и Нильс с досадой сказал:

— А может, мне стоит вернуться и сказать ей пару ласковых...

— Господи, есть о чем волноваться, — отговаривал я его.

Прошло несколько дней. Капитан не упускал ни одного случая отпустить Рагнхильд в присутствии жены какой-нибудь пошлый комплимент.

— Эх, и ядреное у тебя тело, — заявлял он.

Подумать только, каким языком разговаривали теперь в господской усадьбе! Впрочем, падение шло неуклонно, из года в год, и пьяные гости сделали свое, и праздность, и равнодушие, и бездетность сделали свое.

Вечером ко мне пришла Рагнхильд и сообщила, что ей отказали от места; фру не утруждала себя объяснениями, она только вскользь намекнула на меня.

И это тоже было нечестно. Фру отлично знала, что я здесь долго не пробуду, зачем же именно меня делать козлом отпущения? Она решила любой ценой досадить мужу, иначе этого не объяснишь.

Вообще же Рагнхильд очень огорчилась, даже всплакнула, потом вытерла глаза. Спустя немного она утешила себя мыслью, что, когда я уйду со двора, фру Фалькенберг снова ее возьмет. Я же в глубине души был уверен, что фру и не подумает ее брать.

Словом, капитан и фру Элисабет могли торжествовать победу — назойливая служанка навсегда покидала усадьбу.

Как мало я тогда понимал! Мое восприятие страдало, должно быть, каким-то изъяном. Дальнейшие события заставили меня снова изменить мнение — ах, до чего же трудно разобраться в людях!

Так я понял, что фру Фалькенберг не лукавила, искренне ревновала мужа, а вовсе не притворялась, чтобы на свободе обделывать свои делишки. Совсем напротив. Но зато она ни на секунду не поверила, будто муж ее питает какие-то чувства к горничной. Вот это была с ее стороны военная хитрость: когда дело пошло всерьез, она готова была ухватиться за любое средство. Тогда на кухне она покраснела, что правда, то

правда, но это была невольная краска, ее не могли не возмутить неподобающие речи мужа, только и всего. Настоящей ревности тут не было и в помине.

Ей хотелось уверить мужа, что она ревнует его к Рагнхильд. Вот какая у нее была цель. И она излагала свою мысль просто и недвусмысленно: «Да, да, я снова тебя ревную, видишь, все осталось как прежде, я принадлежу тебе». Фру Фалькенберг оказалась лучше, чем я думал. Много лет подряд супруги отходили друг от друга все дальше и дальше, сперва из равнодушия, потом из упрямства, теперь она хотела сделать первый шаг к примирению, снова доказать свою любовь. Вот как обстояло дело. Но ни за что на свете она не стала бы открыто ревновать к той, кого боялась больше всех, — к Элисабет, своей опасной подружке, которая была намного ее моложе.

Вот как обстояло дело.

Ну, а капитан? Шевельнулось ли что-то у него в груди, когда он увидел, как заливается краской его жена? Может, и шевельнулось. Может, в голове его промелькнул обрывок воспоминания, слабое удивление, радость. Но он ничем себя не выдал; должно быть, гордыня и упрямство в нем непомерно возросли с годами. Да, похоже, что так.

А уж потом произошли все те события, о которых я говорил.

III

Фру Фалькенберг долгое время вела игру со своим мужем. За равнодушие она платила таким же равнодушием и утешалась случайными ухаживаниями многочисленных гостей. Гости мало-помалу разъезжались; сегодня один, завтра другой, но толстый капитан Братец и дама с шалью остались. Инженер Лассен тоже остался. Вольному воля, думал, наверное, по этому поводу капитан Фалькенберг. Оставайся, мой друг, сколько твоей душеньке угодно. Он и бровью не повел, когда заметил, что фру Фалькенберг уже на «ты» с инженером и зовет его теперь Гуго, все равно как он сам. Она могла окликнуть с лестницы: «Гуго, Гуго!» — и капитан без промедления давал ей справку: «Гуго пошел прогуляться».

А однажды я своими ушами слышал, как он с язвительной усмешкой сказал жене, указывая на заросли сирени: «Наследный принц поджидает тебя в своем королевстве!» Я видел, как фру Фалькенберг вздрогнула, смущенно улыбнулась, чтобы скрыть замешательство, и пошла к инженеру.

Итак, она сумела наконец высечь из мужа первую искру. А ей хотелось высечь еще несколько.

Вот что случилось в воскресенье.

Фру в этот день казалась непривычно суетливой, заговаривала со мной, похвалила меня и Нильса за усердие и расторопность.

— Я сегодня посылала Ларса на почту, — сказала она, — он привез письмо, которого я давно дожидаюсь. Ты не можешь оказать мне услугу и сходить к Ларсу за этим письмом?

Я с радостью согласился.

— Ларс едва ли вернется до одиннадцати. Значит, тебе еще не скоро выходить.

— Ладно.

— А когда вернешься, передай письмо Рагнхильд.

Первый раз за все мое теперешнее пребывание в Эвребё фру Фалькенберг со мной заговорила. Это было так непривычно. После разговора я ушел к себе и сидел один в своей комнате, испытывая необычный прилив бодрости. Заодно я вот о чем подумал: что за глупая затея и дальше притворяться, будто я здесь впервые, чего ради маяться с бородой в такую жарынь? Из-за седой бороды я кажусь глубоким стариком. Тут я взял да и побрился.

Без малого в десять я отправился на вырубку. Ларса еще не было, я посидел немного с Эммой, потом и Ларс пришел. Он отдал мне письмо, и я пустился обратно. Время было к полуночи.

Рагнхильд я нигде не нашел, остальные горничные уже легли. Заглянул я в заросли сирени, там за круглым каменным столом сидел капитан Фалькенберг с Элисабет, они беседовали и не обратили на меня внимания. В комнате фру на втором этаже горел свет. Тогда я вдруг сообразил, что сегодня вечером выгляжу как шесть лет назад и такой же бритый, вынул письмо из кармана и пошел к парадной двери, чтобы самолично вручить его фру.

Но тут на площадке второго этажа бесшумно возникает Рагнхильд и берет письмо у меня из рук. Ее дыхание обдает меня жаром, вид у Рагнхильд очень возбужденный, она кивком указываст мне на коридор, откуда слышатся голоса.

У меня создалось впечатление, что Рагнхильд снова подслушивает: либо по доброй воле, либо по чьему-то поручению; как бы то ни было, меня это не касалось. И когда Рагнхильд шепнула мне: «Не разговаривай, спускайся потихоньку», — я так и сделал и сразу ушел к себе.

Я отворил окно. Теперь я слышал ту парочку, что сидела среди кустов сирени за каменным столом, попивая винцо, и видел свет в комнате фру.

Прошло минут десять, свет погас.

А еще через минуту я услышал торопливые шаги — вверх по парадной лестнице: я невольно выглянул в окно, чтобы узнать, не капитан ли это. Но капитан оставался на прежнем месте.

Потом тот же человек спустился вниз по лестнице, а немного погодя и еще кто-то. Теперь я уже не сводил глаз с господского дома. Первой из дверей выскочила Рагнхильд, она неслась так, будто за ней кто гнался, и шмыгнула в людскую; следом вышла фру Фалькенберг с письмом в руке; письмо белело в сумерках; волосы у фру Фалькенберг были распущены. Ее сопровождал инженер. Они вдвоем шли по тропинке к шоссе.

Рагнхильд влетела ко мне и, задыхаясь, упала на табурет, желание поделиться новостями так и распирало ее.

— Ну и чудес я понагляделась сегодня вечером! Закрой окно! Фру с инженером, — ну ни на грош осмотрительности, — еще самую малость, и она бы ему поддалась... — Инженер обнимал фру, даже когда Рагнхильд вошла с письмом. — Ну и ну! Прямо в комнате, и лампу загасили.

— Ты рехнулась! — говорю я Рагнхильд.

Вот хитрая бестия, выяснилось, что она превосходно все слышала и того лучше видела. Она так привыкла шпионить, что не могла удержаться, даже когда речь шла о ее собственной хозяйке. Но вообще-то она была необыкновенная девушка!

Поначалу я держался высокомерно и дал ей понять, что меня не интересуют всякие сплетни.

— Неужели ты подслушивала? Фу, как не стыдно.

— А что мне оставалось делать? — отвечала Рагнхильд.

Ей не велено было являться с письмом, покуда фру не погасит свет, а как погасит, так сразу и войти. Но окна из комнаты фру выходят в заросли сирени, где сидели капитан с Элисабет. Значит, там Рагнхильд ожидать не могла. Пришлось ей торчать в коридоре и время от времени заглядывать в замочную скважину — не погас ли свет.

Это звучало вполне правдоподобно.

Вдруг Рагнхильд замотала головой и сказала с откровенным восхищением:

— Но каков молодчик, инженер-то. Едва-едва не обработал нашу фру! Еще бы самую малость — и...

То есть как обработал! Я почувствовал укол ревности и, забыв про свое высокомерие, подступил к Рагнхильд с расспросами:

— Что они делали, когда ты вошла? Как у них все было?

Самого начала Рагнхильд не видела. Фру сказала ей, что послала человека за письмом на вырубку, и когда письмо

принесут, Рагнхильд надо будет дождаться, пока у фру погаснет свет, и в ту же секунду передать письмо. «Слушаюсь», — отвечала Рагнхильд. «Но не раньше, чем я погашу лампу, понятно?» — еще раз повторила фру. И Рагнхильд принялась ждать. Ожидание ужас как затянулось. Рагнхильд начала соображать, прикидывать, взвешивать, — как хотите, а это все очень странно; она поднялась в коридор, чтобы узнать, в чем дело. Слышно было, как фру безмятежно болтает у себя в комнате с инженером; Рагнхильд навострила ушки. Потом она заглянула в замочную скважину и увидела, что фру принялась распускать волосы, а инженер все твердил, какая она прелестная.

— Ох уж этот инженер! Он ее поцеловал!

— Прямо в губы? Не может быть!

Рагнхильд заметила мое волнение и хотела меня успокоить.

— В губы? Нет, может, и не в самые губы! Ты знаешь, по-моему, у инженера вовсе не красивый рот! А какой ты у нас теперь бритый — поглядеть любо.

— Ну, а фру, фру что сказала? Она не отбивалась?

— Очень даже отбивалась. Еще бы. И кричала.

— Кричала?

— Да, она вскрикнула. Инженер тогда сказал: «Тс-с-с!» Он всякий раз на нее шикал, когда ей случалось заговорить во весь голос. А она ему отвечала: «Не беда, если они нас услышат. Сами-то сидят в кустах и милуются». Это она говорила про капитана и Элисабет. «Полюбуйся, вон они», — сказала фру и подошла к окну. «Вижу, вижу, — ответил инженер, — только не стой у окна с распущенными волосами». Он встал и оттащил ее от окна. Потом они еще долго разговаривали. Когда инженер слишком понижал голос, фру его переспрашивала. «Вот не закричала бы, как было бы хорошо», — сказал он ей. Тогда она замолчала, сидела и улыбалась ему. Она до смерти в него влюблена!

— Думаешь?

— Не думаю, а знаю. Нашла в кого влюбиться. Он к ней прижался и обхватил ее руками, вот так, видишь?

— И она все молчала?

— Да, все молчала. Но потом встала, снова подошла к окну и вернулась на прежнее место, облизала губы вот так и поцеловала его. Была охота целовать такого! У него противный рот. Тогда он сказал: «Теперь мы совсем одни и сразу услышим, если кто придет». — «А где Братец со своей дамой?» — спросила она. «Гуляют, гуляют и ушли за тридевять земель, — ответил он. — Мы одни, не заставляй меня дольше умолять тебя». Тут он ее схватил и как поднимет! Вот это силач! «Нет, пусти меня!» — закричала она.

— А дальше что? — спросил я, задохнувшись от волнения.

— А дальше ты принес письмо, поэтому дальше я пропустила. Потом я вернулась, но там в замке уже торчал ключ, щелка стала совсем крохотная. Я только слышала, как фру спрашивает: «Что ты делаешь со мной? Нет, нет, нельзя». Он наверняка обнимал ее в эту минуту. А уж потом она сказала: «Подожди немножко, отпусти меня на секунду». Он ее отпустил. «Погаси лампу!» — сказала она. И в комнате стало темно, понимаешь? И тут я уже совсем перестала соображать, что мне делать, — продолжала Рагнхильд. — Я стояла как потерянная, думала, не стукнуть ли мне как следует в дверь...

— Вот и стукнула бы. Непонятно, чего ты дожидалась.

— Тогда фру сразу бы поняла, что я все время стою под дверью, — отвечала Рагнхильд. — Я опрометью бросилась прочь от дверей и вниз по лестнице. Потом я снова поднялась и топала громко-прегромко, чтобы фру сразу услышала мои шаги. Дверь все еще была на запоре, но фру подошла и открыла мне. Инженер по пятам ее преследовал, хватал за подол и был как безумный. «Не уходи, не уходи!» — твердил он, даже не поглядев в мою сторону. Но когда я вышла, фру пошла за мной. Господи Иисусе, а если б я не постучала! Пропала бы тогда наша фру.

Долгая, беспокойная ночь.

Когда мы, то есть батраки, вернулись к обеду с поля, горничные шепотом поведали нам, что сегодня между супругами состоялось объяснение. Рагнхильд знала все точнее других. Вчера вечером капитан взял на заметку и распущенные волосы, и погашенную лампу; распущенные волосы вызвали у него смех, он заверил жену, что это выглядело очаровательно! Фру отмалчивалась, пока не нашла удачный ответ. Она ему сказала: «Да, я порой распускаю волосы, ну так что же? Ведь они не твои!»

Бедняжка, ну где ей было сладить с капитаном, когда дело дошло до объяснений!

Тут и Элисабет тоже вмешалась. Ох, ох, эта куда острее на язык. Фру ей сказала: «Ну да, мы сидели в комнате, зато вы сидели в кустах». А Элисабет ехидно ответила: «Лампу-то мы, положим, не гасили!» — «Ну и что же, что мы погасили лампу, — сказала тогда фру, — это пустяки, мы сразу после этого ушли».

Я подумал: «Господи, ну что ей стоило сказать: мы потому и погасили лампу, что ушли из комнаты».

Тем бы все и кончилось, но капитан позволил себе намек, что его жена много старше, чем Элисабет. Он сказал: «Тебе следует всегда ходить с распущенными волосами. Поверь слову, это тебя неслыханно молодит». Фру ответила: «Мне, может, и надо сейчас казаться моложе». Но, увидев, что Элисабет отвернулась и хихикает, фру очень рассердилась и предложила Элисабет покинуть их дом. Элисабет подбоченилась и говорит: «Капитан, велите подать мою коляску». А капитан ей: «Велю, велю и сам тебя отвезу».

Рагнхильд все это слышала своими ушами, потому что стояла поблизости.

Я подумал про себя: «Значит, они оба приревновали друг друга, она — потому, что он сидел в кустах, он — потому, что она распустила волосы и погасила лампу».

Когда мы вышли из кухни и собирались отдохнуть после обеда, капитан, суетившийся возле коляски Элисабет, окликнул меня:

— Я очень жалею, что помешал тебе отдыхать, но не мог бы ты починить дверь беседки?

— Хорошо, — ответил я.

Дверь была сломана несколько дней назад, ее высадил плечом инженер, но почему капитану приспичило чинить дверь именно сейчас? Раз он уезжает вместе с Элисабет, значит, лично ему беседка без надобности. Уж не хочет ли он закрыть ее от остальных, покуда сам будет в отъезде? Если так, это весьма любопытный знак.

Я взял инструмент и пошел к сирени.

Первый раз я увидел беседку изнутри. Она совсем еще новая. Шесть лет назад никакой беседки тут не было. Она очень просторная, на стенах картины, есть даже будильник, — незаведенный, правда, — мягкие стулья, стол, широкий пружинный диван, обитый красным плюшем. Гардины опущены. Сперва я занялся крышей, настелил новую черепицу взамен той, что разбил на днях бутылкой, потом вынул замок из личины и стал искать неисправность; когда я ковырялся в замке, вошел капитан. Он, должно быть, успел сегодня изрядно заложить за галстук, а может, из него не выветрился вчерашний хмель.

— Это не взлом, — сказал он. — То ли дверь позабыли запереть, она хлопала, хлопала, да и сломалась, то ли кто-нибудь из прежних гостей налетел на нее в потемках. Высадить такую дверь — плевое дело.

Но досталось этой двери здорово, треснул замок, и напрочь отлетели планки, прибитые к дверному косяку.

— А ну, покажи. Вот здесь вставь новый шпенек и закрути пружину, только и всего, — сказал капитан, разглядывая замок. Потом он сел на стул.

Фру Фалькенберг спустилась по каменным ступеням в сирени и крикнула:

— Капитана Фалькенберга здесь нет?

— Есть, — ответил я.

Она вошла. У нее был взволнованный вид.

— Мне надо бы поговорить с тобой, — сказала она. — Я тебя не задержу.

Капитан ответил, не вставая:

— Я слушаю. Будешь стоять или сядешь? Нет, нет, не уходи, — резко сказал он мне. — Мне некогда ждать.

Я думаю, он сказал это только ради того, чтобы я при нем кончил дверь и он мог бы забрать ключ с собой.

— Наверно, я была... наверно, я наговорила лишнего, — так начала фру.

Капитан промолчал.

Но вытерпеть это молчание, когда она, можно сказать, пришла с единственной мыслью все уладить, фру не могла и потому кончила свою речь так:

— А в общем, теперь уже все равно.

Она повернулась и хотела уйти.

— Но ты, кажется, желала поговорить со мной? — спросил капитан.

— Нет, пожалуй, не стоит. Я раздумала.

— Ну нет так нет, — сказал капитан.

Он сказал это с улыбкой. Он был пьян и вдобавок чем-то раздосадован.

Но, пройдя мимо меня, фру уже в дверях остановилась.

— Лучше бы тебе сегодня никуда не ездить, — сказала она. — Хватит и без того разговоров.

— А ты их не слушай, — ответил капитан.

— Дальше так нельзя, — продолжала фру. — Очень стыдно, что ты этого не понимаешь.

— Ну, стыдно нам обоим поровну, — вызывающе сказал капитан и обвел взглядом стены.

Я взял замок и вышел из беседки.

— Не смей уходить, — крикнул капитан. — Мне некогда ждать!

— Ах да, тебе некогда, тебе пора ехать, — сказала фру. — Но я советую тебе хорошенько подумать. Я тоже за последнее время о многом подумала. Только ты ничего не желаешь замечать.

— Ты о чем? — высокомерно спросил он. — Чего я не замечаю? Как ты развлекаешься по вечерам с распущенными волосами и при погашенной лампе? Очень даже замечаю.

— Мне надо к кузнецу, замок склепать, — сказал я и выскочил из беседки.

Не возвращался я дольше, чем следовало, но когда вернулся, фру все еще была там. Разговор шел на высоких нотах. Фру говорила:

— Ты хоть понимаешь, что я сделала? Да будет тебе известно, что я не постеснялась доказать тебе свою ревность. Вот что я сделала. Пусть даже к горничной... а не к...

— А дальше что? — полюбопытствовал капитан.

— Нет, ты просто не желаешь меня понять. Дело твое. Но тогда уж пеняй на себя.

Так она кончила. Слова ее отскакивали от него, как стрелы от щита. И она ушла.

— Ну, склепал? — спросил он меня. Но я сразу понял, что мыслями он блуждает где-то далеко и только делает вид, будто ему все нипочем. Потом он нарочито зевнул и сказал:

— Да, мне ж еще ехать в такую даль. Но ведь Нильс все равно никого из работников не отпустит!

Я вставил замок, обшил косяк новыми планками. На этом моя работа была закончена. Капитан проверил, как держится дверь, сунул ключ к себе в карман, поблагодарил меня и ушел.

Немного спустя он уехал вместе с Элисабет.

— Скоро вернусь! — крикнул он Братцу и инженеру Лассену и попрощался с обоими. — Не скучайте тут без меня! — крикнул он уже издали.

IV

Настал вечер. Итак, что же произойдет теперь?

Произошло многое.

На исходе дня, когда мы, батраки, ужинали, а господа еще только обедали, за господским столом царило шумное разгульное веселье. Рагнхильд то и дело таскала в дом подносы с едой и вином, прислуживала господам. Один раз она заглянула к нам и сказала, хихикая, что нынче вечером наша фру тоже на взводе.

Минувшей ночью я не сомкнул глаз, и после обеда мне не удалось отдохнуть; события последних дней сказались и на мне, отняли у меня покой. Вот почему я после ужина сразу ушел в лес: хотел побыть хоть немного наедине с собой. Я долго просидел в лесу.

Со своего места я хорошо видел всю усадьбу. Капитан в отъезде, прислуга легла спать, на скотном дворе тишина и покой. Жирный капитан Братец и его дама тоже куда-то улетучились сразу после обеда; капитан пылал как костер, хотя сам был такой старый и толстый, да и дама под стать ему — тоже не первой молодости.

Значит, фру Фалькенберг осталась наедине с инженером, вопрос только — где.

Хорошо, пусть так.

Я, зевая, побрел домой, я продрог от вечерней свежести и прошел прямо к себе. Немного спустя прибежала Рагнхильд и попросила меня не ложиться, чтобы подсобить ей в случае надобности. Одной нынче жутко, господа вытворяют, что захотят, перепились и бегают по комнатам в одном белье. А фру, неужто фру тоже напилась? Да еще как! И фру тоже бегает в одном белье? Она-то нет, зато капитан Братец бегает, а фру ему кричит: «Браво, браво!» Инженер тоже бегает. Словно рехнулись всем скопом. Рагнхильд только что отнесла им еще две бутылки, а они ведь и без того пьянехоньки.

— Пойдем послушаем, — предложила мне Рагнхильд. — Они все теперь собрались в комнате у фру.

— Нет, я лучше лягу, — ответил я. — И тебе советую.

— А если они чего захотят и будут звонить?

— Пусть звонят на здоровье.

Тут Рагнхильд призналась, что ложиться ей не велел сам капитан — на случай, если фру что-нибудь понадобится.

После этого признания я увидел всю историю в новом свете. Стало быть, капитан чего-то боялся и оставил Рагнхильд караулить фру. Я снова оделся и пошел вместе с ней в господский дом.

Мы постояли в коридоре второго этажа, прислушиваясь к веселым выкрикам из комнаты фру. Но сама фру говорила ясным, четким голосом и пьяной не казалась.

— Ну, она у нас молодцом, — сказала Рагнхильд.

Я был бы не прочь хоть одним глазком взглянуть на фру.

Мы с Рагнхильд сошли вниз, в кухню. Но мне не сиделось, я снял лампу со стены и попросил Рагнхильд следовать за мной. Мы снова поднялись наверх.

— Вызови фру, — сказал я.

— Это еще зачем?

— У меня к ней дело.

Рагнхильд постучалась и вошла.

Лишь тогда, в самую последнюю секунду, я стал придумывать, о каком деле буду с ней говорить. Можно, к примеру, просто заглянуть ей в лицо и сказать: капитан велел вам кланяться. Нет, этого мало. А можно так: капитану

пришлось уехать, потому что Нильс не хотел отпускать никого из нас.

Секунды бывают очень долгими, а мысли мелькают с быстротой молнии. Мне хватило времени, чтобы отвергнуть оба эти плана и до прихода фру придумать третий. Впрочем, и последний мой план вряд ли в чем превосходил два предыдущих.

Фру с удивлением спросила:

— Тебе чего?

Подошла Рагнхильд и тоже удивленно воззрилась на меня.

Я сдвинул козырек лампы, чтобы свет падал на лицо фру, и сказал:

— Прошу прощения, что беспокою в такой поздний час. Завтра рано утром я собираюсь на почту, не желает ли фру передать со мной какие-либо письма?

— Письма? Нет. — Фру отрицательно покачала головой.

У нее был блуждающий взгляд, но пьяной она не казалась. Хотя, может быть, она просто умеет держаться.

— Никаких писем у меня нет, — повторила она и хотела вернуться к себе.

— Прошу прощения, — повторил я.

— Тебя капитан посылает на почту?

— Нет, я сам.

И фру ушла. Уже в дверях она с возмущением сказала своим гостям:

— Очередной предлог.

И мы пошли вниз. Фру я все-таки повидал.

Ведь это же надо попасть в такое унизительное положение! А уж когда Рагнхильд проговорилась, я отнюдь не воспрянул духом, нет, от ее слов я совсем сник. Эта милая девушка просто-напросто обманула меня, капитан не поручал ей бодрствовать всю ночь напролет. Рагнхильд доказывала мне, что я неправильно ее понял, но тем отчетливей стало мое подозрение. Сегодня вечером, как и всегда, Рагнхильд шпионила на свой страх и риск, исключительно из любви к искусству.

Я ушел к себе. Посмотрим, к чему привела моя настырность. Очередной предлог, так назвала это фру, — она, без сомнения, меня раскусила. И в жестокой досаде я дал себе слово отныне и навсегда никем и ничем здесь не интересоваться.

После этого я, как был, одетый бросился на постель.

Окно у меня было открыто, и вот немного спустя я услышал, что фру Фалькенберг вышла из дому и что-то громко говорит; инженер тоже с ней вышел и время от времени коротко ей отвечает. Фру без устали восторгалась, какая чуд-

ная погода, какой теплый вечер, какая благодать на дворе, насколько здесь лучше, чем в комнатах!

Но теперь ее голос звучал не так звонко.

Я подбежал к окну и увидел, что парочка стоит возле каменных ступеней у спуска в заросли сирени. Инженера, казалось, одолевает какая-то мысль, которой он раньше не давал выхода.

— Выслушай меня наконец! — воскликнул он. Затем последовал краткий, энергичный призыв, этот призыв не остался без ответа, не остался без награды. Инженер говорил с фру, как говорят с тугоухим, ибо она так долго была глуха к его мольбам; они стояли возле каменных ступеней, они позабыли про все на свете. Гляди и внимай, это была их ночь, их слова, весна толкала их в объятия друг к другу. Он весь пылал, при каждом ее движении он дымился, он был готов схватить ее в любую минуту. Все взывало к действию, и желание оборачивалось грубой хваткой. И сам он горел огнем!

— Я долго тебя упрашивал, — сказал он, задыхаясь от возбуждения. — Вчера ты почти согласилась, сегодня ты снова глуха к моим мольбам. Неплохая задумка: все вы — и Братец, и тетенька, и ты — будете предаваться невинным развлечениям, а меня держать штатным лейтенантом при дамах. Ничего у вас не выйдет, не надейтесь. Ты предо мной как сад запертый, источник запечатанный, и ограда ветхая, и врата — да ты знаешь, что я сейчас с ними сделаю?

— Что ты сейчас с ними сделаешь? Ох, Гуго, ты слишком много нынче выпил, ты ведь так молод. Мы оба слишком много выпили.

— А ты ведешь со мной недостойную игру, ты посылаешь гонца за письмом, чтобы его незамедлительно тебе доставили, а в то же время у тебя хватает коварства подавать мне надежду... обещать мне...

— Я больше так не буду.

— Не будешь? — подхватил он. — Ты что этим хочешь сказать? Я видел, как ты подошла к мужчине. Ну, ко мне самому, другими словами — я помню твое живое прикосновение, твои губы, твой язык, ты поцеловала меня, о да, ты поцеловала меня! Молчи лучше, не повторяй, что ты больше не будешь так делать, уже сделано, я до сих пор это чувствую, для меня это была благостыня, и спасибо тебе за то, что ты так сделала. Ты до сих пор прячешь на груди письмо, а ну покажи мне его.

— Как ты настойчив, Гуго. Но нет, час уже поздний, давай разойдемся каждый своим путем.

— Ты мне покажешь письмо или нет?

— А зачем оно тебе? Нет.

Тут он рванулся, словно хотел броситься на нее, но одумался и процедил сквозь зубы:

— Что? Не покажешь? Ох, какая же ты... чтобы не сказать дрянь, впрочем, ты еще хуже...

— Гуго!

— Да, да, еще хуже.

— Тебе непременно хочется увидеть письмо? Гляди!

Она сунула руку за корсаж, достала письмо, развернула и помахала им в воздухе. Пусть Гуго увидит, как она невинна.

— Вот, пожалуйста. Это письмо от моей матушки, видишь подпись? Письмо от мамы. Вот!

Он вздрогнул, словно его ударили, и сказал только:

— От мамы? Значит, письмо не такое уж важное.

— Суди сам. Сказать, что не важное, нельзя, но...

Он прислонился к забору и начал развивать свою мысль:

— От матери, значит. Письмо от твоей матери помешало нам. Ты знаешь, что я думаю? Что ты обманщица. И все время водишь меня за нос. Теперь мне это ясно.

Она хотела оправдаться.

— Нет, нет, письмо важное, мама собирается сюда, она приедет к нам погостить, она очень скоро приедет. Я ждала этого письма.

— Сознайся, что ты меня обманывала, — настаивал он. — Ты велела доставить письмо в нужную минуту. Как раз когда мы погасили лампу. Вот и весь сказ. Ты хотела раззадорить меня. А горничной велела караулить.

— Гуго, будь же благоразумен. Ох как поздно, давай разойдемся.

— Нет, должно быть, я и в самом деле слишком много выпил, а теперь недостаточно четко выражаю свои мысли.

Письмо крепко засело у него в голове. Он говорил только о нем.

— Иначе зачем тебе было делать тайну из письма от матери? Теперь мне все ясно. Ты говоришь: давай разойдемся. Можете идти, фру, я вас не держу. Доброй вам ночи, фру. Примите мои наилучшие сыновние пожелания.

Он церемонно поклонился и выпрямился с дерзкой усмешкой на губах.

— Сыновние пожелания? Да, я стара. — Фру взволновалась. — А ты так молод, Гуго, это верно. Я поэтому и поцеловала тебя, что ты очень молод. Правда, я бы не могла быть твоей матерью, но я действительно намного, очень намного старше тебя. Впрочем, я еще не совсем старуха, ты мог бы в этом убедиться, если бы... Но я старше, чем Элисабет и все

остальные. Так что же я хотела сказать? Что я еще не совсем старуха. Не знаю, не знаю, как отразились на мне прожитые годы, но старухой они меня пока не сделали. Ведь так? Ты согласен? Ах, что ты в этом понимаешь.

— Ладно, ладно, — сдался он. — Тогда где же логика? Молодая женщина пропадает без толку, занята лишь одним — охраняет себя самое и хочет, чтобы остальные занимались тем же. Бог свидетель, ты мне кое-что посулила. Но для тебя такие посулы ничего не значат, ты морочишь меня, ты клонишь меня к земле большими белыми крыльями.

— Большие белые крылья, — повторила она вполголоса.

— Да. А могла бы иметь большие красные крылья. Смотри, как ты прелестна, а пользы от тебя никакой.

— Нет, я слишком много пила. Почему же от меня никакой пользы? — Тут вдруг она схватила его за руку и увлекла вниз по ступенькам. Я еще слышал, как она говорит:

— А о чем я, собственно, тревожусь? Неужели он всерьез вообразил, что Элисабет лучше меня?

Они свернули на тропу, ведущую к беседке. Здесь только она опомнилась.

— Куда мы идем? — спросила она. — Ха-ха, мы оба сошли с ума. Ты, должно быть, так и подумал. Но нет, я не сошла с ума, правильнее сказать, я изредка схожу с ума. Дверь на замке, пойдем отсюда. Что за гнусность запирать двери, когда нам надо войти?

И он, исполнившись горьких подозрений, ответил:

— Ты снова лжешь. Ты отлично знала, что дверь заперта.

— Почему ты так дурно обо мне думаешь? Однако с чего он взял, будто беседка принадлежит только ему и он может держать дверь на запоре? Ну хорошо, я знала, что дверь заперта, потому я и привела тебя сюда. Я просто не решаюсь. Нет, Гуго, я не хочу, поверь мне. Ты с ума сошел! Давай вернемся.

Она снова взяла его за руку и хотела вести прочь — короткая перепалка, он не желает уходить. Вот он обнял ее обеими руками и принялся целовать — много раз подряд. Она все больше и больше поддавалась, между поцелуями у нее вылетали отрывистые слова:

—Я никогда не целовалась с посторонним мужчиной, никогда! Бог видит, поверь мне... Я никогда не целовалась.

— Ну да, ну да, — нетерпеливо поддакивал он, и шаг за шагом увлекал ее к беседке.

Возле самой беседки он на мгновение ослабил хватку, тяжело навалился плечом на дверь и высадил ее — вот уже

второй раз. Потом он снова бросился к ней. Никто из них не проронил ни слова.

Даже в дверях она еще пробовала сопротивляться, цеплялась рукой за дверной косяк, не желая его отпускать:

— Нет, я никогда ему не изменяла, я не хочу, нет, я никогда, никогда...

Он притянул ее к себе, он целовал ее минуту, две, жадно, непрерывно, она все больше откидывалась, рука скользнула по косяку и разжалась...

Белый туман поплыл перед моими глазами. Теперь они там. Теперь он с ней совладал. Он возьмет ее, он сделает с ней все, что захочет.

Гнетущая усталость и покой нисходят на меня, я так несчастен и одинок. Уже поздно, в моем сердце настал вечер.

И вдруг среди белого тумана я вижу проворную фигурку. Рагнхильд вынырнула из кустов. Вот она бежит по двору, прикусив кончик языка.

Инженер вошел ко мне, поздоровался и попросил навесить дверь беседки.

— Неужто опять соскочила?

— Да, ночью.

Время было раннее, половина пятого, не больше, мы даже в поле еще не выезжали. Глазки у инженера были маленькие, но в них сверкали огоньки; должно быть, он так и не сомкнул их прошедшей ночью. Объяснять, почему дверь сломана, он не стал.

Не ради него, а ради капитана Фалькенберга я тотчас отправился в беседку и заново навесил дверь. Вряд ли надо было так спешить, капитану предстоял неблизкий путь в оба конца, хотя вообще-то прошли уже почти сутки.

Инженер следовал за мной. Сам не понимаю, как это вышло, но он произвел на меня хорошее впечатление: правда, именно он, и никто иной, высадил эту дверь минувшей ночью, но зато у него хватило духу взять вину на себя, именно он, и никто иной, попросил меня ее навесить. Боюсь, что это потешило мое тщеславие — мне лестно показалось, что он как бы доверяет моей порядочности. Вот в чем суть. И вот почему он произвел на меня хорошее впечатление.

—Я смотритель по лесосплаву,— сказал он мне.— Ты еще долго намерен здесь пробыть?

— Нет, недолго. До конца полевых работ.

— Если хочешь, я могу взять тебя к себе.

Это был непривычный для меня род занятий, кроме того, если мне хоть где-нибудь и дышалось привольно, то не среди сплавщиков и пролетариев, а среди землепашцев и лесорубов. Но я все равно поблагодарил инженера за такое предложение.

— Ты молодец, что починил дверь. Видишь ли, мне ружье понадобилось, я искал всюду, пострелять захотелось. А потом я вдруг подумал, что капитан скорей всего держит свои ружья здесь.

Я не ответил. Я предпочел бы, чтобы он воздержался от объяснений.

— Вот я и попросил тебя, покуда ты не выехал в поле.

Я исправил замок, врезал его, потом я принялся обтачивать планки — они снова разлетелись в щепы. И вот когда я обтачивал планки, мы услышали, что вернулся капитан Фалькенберг, и увидели сквозь просветы в кустах, что он распрягает лошадей и разводит их по стойлам.

Инженера словно ужалило, он растерянно достал часы, открыл, но глаза у него стали такие пустые и круглые, что, уж конечно, ничего не видели. Вдруг он воскликнул:

— Ах ты господи... Я совсем забыл...

С этими словами он скрылся в глубине сада.

«Стало быть, духу-то и не хватило», — подумал я.

И тут же появился капитан. Он был бледный, невыспавшийся, запыленный, но совершенно трезвый.

Еще издали он спросил:

— Ты как туда попал?

Я молча поклонился.

— Опять дверь высадили?

— Вот ведь какое дело вышло... я вспомнил, что вчера мне гвоздей недостало. А сегодня я их вбил. Можете запереть, господин капитан.

Ох, какой же я болван! Не мог придумать ничего лучше, и теперь он сразу обо всем догадается.

Несколько секунд капитан разглядывал дверь прищуренными глазами, должно быть, у него возникли какие-то подозрения, потом он сунул ключ в замочную скважину, запер дверь и ушел. А что ему еще оставалось делать?

V

Гости все разъехались, и толстый капитан Братец, и дама с шалью, и инженер Лассен. А капитан Фалькенберг наконец-то едет на учения. Я думаю, он сослался на крайне уважи-

тельные причины, когда просил об отсрочке, иначе ему давно уже следовало прибыть к месту сборов.

Мы, батраки, за последние дни здорово приналегли на полевые работы, загоняли и себя и лошадей, но этого хотел Нильс, и у него были серьезные резоны: он рассчитывал высвободить время для других дел.

Так однажды он поручил мне расчистить землю и хорошенько прибрать вокруг надворных построек. На это ушло не только все сбереженное время, но и много лишнего, зато усадьба приняла совсем другой вид. Нильсу только этого и надо было: он хотел подбодрить капитана перед отъездом. А уж потом я по собственному почину где укреплю отставшую доску в заборе, где заново навешу похилившуюся дверь хлева. Под конец я даже начал заменять трухлявые стропила на сеновале.

— Ты куда от нас подашься? — спросил меня однажды капитан.

— Не знаю. Бродяжить пойду.

— Тебе и здесь дело найдется, работы у нас непочатый край.

— Собираетесь красить дом, господин капитан?

— И это тоже. Хотя, нет, пока не собираюсь. Выкрасить все постройки недешево станет. Я о другом подумал. Ты в лесном деле смыслишь? Деревья метить умеешь?

Выходит, он делает вид, будто не запомнил меня с прошлого раза, когда я работал у него в лесу. Еще вопрос, осталось ли там, что размечать.

Я сказал:

— Да, смыслю. А где в этом году надо размечать?

— Повсюду. Где только можно. Уж что-нибудь да найдется.

— Слушаюсь.

Итак, я заменил стропила, а когда покончил с этой работой, снял флагшток, закрепил на нем блок и веревку. Эвребё с каждым днем становилось все краше. Нильс даже сказал, что у него на душе полегчало. Я уговорил его сходить к капитану, замолвить словечко насчет покраски, но капитан только поглядел на него с озабоченным видом и сказал:

— Хорошо-то оно хорошо, да на одной покраске далеко не уедешь. Вот ужо осенью посмотрим, каков будет урожай; мы много в этом году засеяли.

Но когда я соскреб с флагштока старую краску и водрузил его на прежнее место с новой веревкой и блоком, даже капитан почувствовал какую-то неловкость и по телеграфу заказал краски. Горячку пороть не стоило, он мог преспокойно ограничиться письмом.

Ровно через два дня краски прибыли, но мы покамест отложили их в сторону. За это время снова накопилось много полевой работы.

Теперь мы, к счастью, получили в свое распоряжение выездную пару капитана, а когда подошел срок сажать картофель, Нильс крикнул на подмогу всех горничных. Капитан одобрил и то и это, после чего уехал на свои учения. Мы остались одни.

Перед отъездом капитана между супругами состоялось еще одно решающее объяснение.

Все дворовые и сами поняли, что дело неладно, а подробности сообщили нам Рагнхильд и скотница. Зеленели поля, луга расцветали с каждым днем, весна радовала нас теплыми, обильными дождями, но в капитанской усадьбе не было мира. Фру ходила то с заплаканным лицом, то с заносчивым и неприступным видом, словно не желала отныне замечать простых смертных. К ней приехала матушка, безобидная, тихая дама с белым мышиным личиком и в очках, но она недолго прогостила, каких-нибудь несколько дней, и уехала домой, к себе в Кристианссанн. Объяснила она свой поспешный отъезд тем, что не переносит здешнего воздуха.

И было решающее объяснение! Последняя, ожесточенная стычка, которая длилась не менее часа. Рагнхильд нам все подробно доложила. Ни капитан, ни его жена не повышали голоса, они говорили слова неторопливые и продуманные, накопившаяся в обоих горечь родила согласие, они решили разойтись.

— Да что ты говоришь! — хором воскликнули все сидевшие на кухне и всплеснули руками.

Рагнхильд сразу заважничала и продолжала рассказывать на разные голоса:

— «При тебе высадили дверь беседки второй раз?» — спрашивает ее капитан. А она и отвечает: «При мне». — «А дальше что было?» — спрашивает он. «Все!» — отвечает фру. Тут капитан улыбнулся и говорит: «До чего ж ясный и недвусмысленный ответ, его понимаешь буквально с полуслова». Фру промолчала. «Чем покорил тебя этот шалопай, если не считать, что он помог мне однажды выбраться из затруднительного положения?» — спрашивает капитан. Фру на него поглядела и отвечает: «Он тебе помог?» — «Да, — говорит капитан, — он за меня поручился». — «Я этого не знала», — говорит фру. Тут капитан у нее спрашивает: «Он и в самом деле тебе про это не рассказывал?» Фру замотала головой. «Впрочем, какая разница, — говорит он, — знай ты об этом раньше, все равно ничего не изменилось бы». — «Ты прав, не изменилось бы, — сперва ответила фру. А потом: —

Нет, изменилось бы». — «Ты в него влюблена?» — спросил он. Она ответила вопросом на вопрос: «А ты в Элисабет?» — «Да», — ответил капитан, а сам улыбается. «Ладно же», — протянула фру, когда получила такой ответ. И оба долго молчали. Первым заговорил капитан: «Ты правильно мне советовала хорошенько подумать. Я так и сделал. Я совсем не такой уж пропащий, ты можешь не поверить, но все эти кутежи никогда не доставляли мне радости. И, однако, я кутил. Но теперь баста!» — «Что ж, для тебя это очень хорошо», — говорит она. «Твоя правда, — ответил он, — но было бы лучше, если и ты за меня порадовалась бы». — «Нет уж, пусть теперь Элисабет за тебя радуется», — ответила фру. «Ах да, Элисабет! — только и сказал он и покачал головой. Потом они опять надолго замолчали. — Что ты теперь собираешься делать?» — спросил наконец капитан. «Обо мне, пожалуйста, не заботься, — сказала фру протяжно, — если ты захочешь, я могу стать сестрой милосердия, если ты захочешь, я могу остричься и стать учительницей». — «Если я захочу, — повторил он, — при чем тут я, решай сама». — «Сперва я должна услышать, чего хочешь ты», — сказала она. «Я хочу остаться здесь, — сказал он, — а ты по доброй воле предпочла изгнание». — «Ты прав», — сказала она и кивнула.

— Ох! — в один голос воскликнули мы. — Господи, может, еще все уладится! — сказал Нильс и поглядел на нас — что мы думаем.

Два дня после отъезда капитана фру с утра до вечера играла на рояле. На третий день Нильс отвез ее на станцию. Она собралась к своей матушке в Кристианссанн. Теперь мы остались совсем одни. Фру не взяла с собой ничего из своих вещей. То ли она хотела показать, что все это чужое, то ли когда-то все и впрямь принадлежало капитану, а она не желала ничего чужого. Ах, как это было печально...

Перед отъездом Рагнхильд получила от фру наказ никуда не отлучаться. Вообще же бразды правления перешли к стряпухе, и ключи теперь хранились у ней. Так, пожалуй, было удобнее для всех.

В субботу капитан взял увольнительную и наведался домой. «Впервые за несколько лет», — пояснил Нильс. Он держался молодцом, хотя жена от него уехала, и был трезвый как стеклышко; мне он дал четкие и ясные указания относительно разметки леса, он сам ходил со мной и показывал: рубить все подряд, даже молодняк, тысячу дюжин. «Меня не будет три недели», — сказал капитан. Уехал он в воскресенье под вечер. Теперь он держался уверенней и больше был похож на себя, чем раньше.

После того как сев был наконец закончен, а картофель посажен, Нильс и мальчик могли и вдвоем управиться с повседневной работой. Я взялся за разметку.

Жилось мне в ту пору неплохо.

Стояла теплая, дождливая погода, и в лесу мне казалось сыровато, но я исправно туда ходил, не смущаясь этим обстоятельством. Потом дожди сменились жарой, я возвращался домой светлыми вечерами, и мне в охотку было то починить водосточный желоб, то поправить скособоченные оконца, под конец я даже извлек пожарную лестницу и принялся соскребать старую отставшую краску на северной стене риги. Славно будет, если я за лето смогу заново покрасить ригу, краски-то уж давно дожидаются.

Иное неудобство мешало мне теперь и в лесу и дома: ведь одно дело работать при хозяевах, другое — без них. Оправдывалось мое давнее наблюдение, что рабочему человеку приятно иметь над собой старшего, если только он сам не ходит в старших. Взять хотя бы наших девушек, они делают все, что им заблагорассудится, и на них нет управы, — Рагнхильд и скотница весело болтают за обедом, иногда повздорят, а стряпуха не всегда умеет их разнять. Просто сил нет это терпеть. В довершение всех бед кто-то из наших побывал на выселках у моего дружка Ларса Фалькенберга, нашептал ему про меня и заронил подозрение в его сердце.

Однажды вечером Ларс пришел к нам, отвел меня в сторону и потребовал, чтобы я у них больше не показывался. Он был и смешон и страшен сразу.

Я и без того бывал у них редко: когда относил белье, в общей сложности раз пять-шесть, его я обычно дома не заставал, и мы с Эммой толковали о всякой всячине. Но когда я последний раз принес белье, неожиданно заявился Ларс и с ходу начал браниться, почему это Эмма сидит передо мной в нижней юбке. «Потому что жарко», — ответила Эмма. «А волосы ты распустила тоже от жары?» И Ларс начал кричать на нее. Я сказал: «До свидания». Он не ответил.

С тех пор я на выселки даже не заглядывал. С чего это он пришел сегодня — ума не приложу. Не иначе, Рагнхильд туда наведалась и наплела про меня что было и чего не было.

Запретив мне самым форменным образом переступать порог их дома, Ларс кивнул и воззрился на меня. Должно быть, он ждал, что от такого удара я умру на месте.

— Дошло до меня, что Эмма тоже к вам приходила. Больше она сюда носу не покажет, могу поручиться.

— Да, приходила за бельем.

— Ты все норовишь свалить на белье. И сам ты чуть не каждый день шляешься к нам со своим распроклятым бель-

ем. Сегодня несешь рубашку, завтра — подштанники. Пусть тебе Рагнхильд стирает, коли так.

— Пусть.

— Ишь какой выискался! Шныряешь по чужим домам и заводишь шашни, если женщина одна дома. Спасибочки.

Подходит Нильс. Он, должно быть, смекнул, в чем дело, и как добрый друг спешит на выручку. Он слышит последние слова Ларса и заверяет его, что за все время моей службы ничего дурного за мной не замечал.

Но Ларс внезапно надувается спесью, как индюк, и сверху вниз смотрит на Нильса. Между нами, он давно уже имеет зуб против Нильса. Правда, Ларс неплохо себя показал, когда зажил своим домом на лесной вырубке, но как старший батрак он не идет с Нильсом ни в какое сравнение. И ужасно этим оскорбляется.

— Ты чего там плетешь? — спрашивает он.

— Я говорю чистую правду, — отвечает Нильс.

— Ишь ты, правду он говорит, — насмехается Ларс. — Плевать я хотел на тебя и на твою правду.

Тут мы с Нильсом ушли, а Ларс еще долго кричал что-то нам вслед. И уж разумеется, проходя мимо сирени, мы увидели там Рагнхильд, которая нюхала цветочки.

Этим вечером я решил уйти из Эвребё, как только покончу с разметкой. Капитан, верный своему обещанию, наведался через три недели, увидел, что я соскреб краску со стены риги, похвалил меня. «Того и гляди, тебе придется красить все это заново», — порадовал он меня. Я показал, где у меня размечено, и доложил, что работы в лесу почти не осталось. «Размечай, размечай», — велел он. И с этим уехал, пообещав снова наведаться через три недели.

Но я не собирался торчать в Эвребё так долго. Я разметил еще несколько дюжин и сделал у себя на бумаге необходимые выкладки. Теперь как хотят. Но жить в лесу и в поле покамест нельзя, цветы, правда, есть, но ягод нет; есть щебет и пенье птиц, вьющих гнезда, есть бабочки, мухи и комары, но нет морошки, и нет дягиля.

Я в городе.

Я пришел к смотрителю лесосплава, к инженеру Лассену, и он выполнил свое обещание, взял меня к себе, хотя сплав уже в полном разгаре. Для начала я должен пройти вдоль реки и пометить на карте все места, где образовались наиболее крупные заторы. Неплохой парень этот инженер, только больно уж молод, он дает мне излишне подробные настав-

ления, считая, что я в его деле ничего не смыслю. От этого он смахивает на мальчика, не по годам развитого.

И этот человек помог однажды капитану Фалькенбергу в трудную минуту! Должно быть, капитан теперь и сам не рад, мечтает поскорее расплатиться и ради этого готов свести свой лес, подумалось мне. Я от всего сердца пожелал капитану удачи, я начал горько сожалеть, что не поработал на разметке еще несколько дней, тогда бы он вернее смог избавиться от долга. А вдруг ему совсем немножко не хватит, ну самую малость.

Инженер Лассен, без сомнения, был человек состоятельный. Жил он в отеле, занимал там двухкомнатный номер, и хотя лично мне не довелось заходить дальше его конторы, но и там была очень дорогая обстановка, полно книг, журналов, письменный прибор из серебра, позолоченный альтиметр и прочее в том же роде; тут же висело его летнее пальто на шелковой подкладке; для этого городка он был, без сомнения, и богат и знатен, недаром же я видел в витрине у местного фотографа его портрет во весь рост.

Кроме того, я видел, что он прогуливается после обеда в обществе здешних молодых дам. Как главный руководитель сплавных работ он предпочитал прогуливаться до длинного (в двести тридцать локтей) моста, перекинутого через водопад. Здесь он останавливался и глядел то в одну, то в другую сторону. Именно у быков этого моста и ниже, где река сужалась, получались самые большие заторы. Из-за этих заторов он держал в городе целую бригаду рабочих. Когда он стоял на мосту, наблюдая за работой сплавщиков, он напоминал адмирала корабля, молодого, энергичного адмирала, чьи приказы беспрекословно исполняются. Дамы, сопровождавшие его, покорно стояли на мосту, хотя здесь всегда дуло с реки. Чтобы перекричать шум водопада, они при разговоре сближали головы.

Но именно в ту минуту, когда инженер, заняв свой командный пост, вертелся и крутился то так, то эдак, он становился вдруг маленьким и нескладным, его узкая спортивная куртка плотно обтягивала спину, отчего зад выглядел непропорционально грузным.

В первый вечер, уже после того как я обо всем с ним договорился и наутро должен был уйти вверх по реке, я встретил его в обществе двух дам. Завидев меня, он остановился сам, остановил своих спутниц и вторично дал мне те же самые указания.

— Это хорошо, что я тебя встретил. Но смотри, встань завтра пораньше и захвати с собой багор, будешь проталкивать бревна, где сумеешь. Если затор слишком ве-

лик, пометь у себя на карте. Карту ты не забыл, я надеюсь? И все иди, иди до тех пор, покуда не встретишь человека, идущего навстречу, с верховьев. Только помни, красным надо помечать, а не синим. Смотри же, не подведи меня. Я взял этого человека к себе на работу, — пояснил он дамам, — я решительно не могу сам за всем уследить.

На редкость деловой господин, он еще извлек из кармана записную книжку и что-то там пометил. Ведь он был так молод и вдобавок хотел порисоваться перед дамами.

Вышел я спозаранку и часам к четырем, когда развиднелось, успел отмахать изрядный кусок вверх по реке. С собой я взял обед и сплавной багор, который ничем не отличается от лодочного.

Здесь не курчавился подлесок, как в имении у капитана Фалькенберга, каменистая, голая почва на много миль была покрыта лишь вереском и опавшей хвоей. Да, здесь повырубили все, без пощады, лесопильни пожирали слишком много; остались только самые хилые деревца, молодой поросли почти не было, и потому вся местность казалась унылой и безрадостной.

К полудню я успел своими силами разобрать несколько заторов поменьше и нанести на карту один большой, перекусил и запил свой обед водой из реки. После недолгого отдыха я пошел дальше, и шел так до самого вечера. Под вечер я набрел на большой затор, где уже возился какой-то человек — тот, с кем мне и надлежало встретиться. Я не сразу к нему подошел, я сперва пригляделся издали; этот человек действовал с большой осторожностью, он явно опасался за свою жизнь и не меньше того опасался промочить ноги. Его поведение меня забавляло. Там, где возникала хотя бы маленькая угроза уплыть на освобожденном бревне, он заблаговременно спасался бегством. Потом я подошел ближе и вгляделся пристальней — это был мой старый приятель Гринхусен.

Мой старый товарищ, напарник по Скрейе, тот самый, с которым я шесть лет назад копал колодец.

Теперь он здесь.

Мы поздоровались, присели на кучу бревен и потолковали о том о сем, мы наперебой спрашивали и отвечали. А тем временем стало уже слишком поздно, чтобы продолжать работу, мы поднялись и прошли немного вверх по реке — до того места, где Гринхусен соорудил для себя бревенчатую хижину. Мы заползли в нее, развели огонь, сварили кофе, подзакусили. Потом мы выбрались на волю и, развалясь среди вереска, раскурили свои трубки.

Гринхусен постарел, он совсем сдал за эти годы, так же как и я, и не желал теперь даже вспоминать о нашем развеселом молодом житье, когда мы с ним отплясывали ночи напролет. И его-то называли некогда рыжим волком. Да, укатали сивку крутые горки. Он даже улыбаться отвык. Будь у меня при себе выпивка, он, может, и повеселел бы, но выпивки не было.

В молодые годы Гринхусен был своенравный и упрямый, теперь он стал уступчивый и тупой. Что ему ни скажи, он неизменно отвечает: «Вполне может быть!» или: «Твоя правда!» Но отвечал он так не потому, что разделял мое мнение, а потому, что жизнь его пообломала. Словом, встреча оказалась не из приятных, всех нас с годами обламывает жизнь!

Дни, конечное дело, идут себе помаленьку, сегодня как вчера, да только сам он уже не тот, рассказывал Гринхусен, за последнее время он заработал ревматизм, и грудь чего-то побаливает — сердце не в порядке. Но, покуда инженер Лассен дает ему работу, жить еще можно, реку он знает теперь как свои пять пальцев, а ночует, когда тепло, в этой хижине. И с одеждой хлопот нет — штаны да куртка, что зимой, что летом. Прошлый год к нему привалила большая удача, продолжал Гринхусен, он нашел бесхозную овцу. Где нашел, уж не в лесу ли? Да нет, прямо здесь, — и Гринхусен ткнул пальцем куда-то вверх по реке. После этой находки у него всю зиму к обеду бывала по воскресеньям свежая убоина. Еще у него есть родня в Америке, женатые дети, и устроились они там как дай бог всякому, только ему от этого проку нет. На первых порах они высылали кой-какую малость, потом перестали, почитай уже два года он не получал от них ни строчки. Вот каково им с женой приходится на старости лет.

Гринхусен погрузился в раздумье.

Из лесу и с реки доносится неумолчный шум, будто овеществленное Ничто, разбившись на мириады частиц, протекает мимо нас. Здесь нет ни птиц, ни зверья, но, приподняв камень, я замечаю под ним какую-то живность. «Как ты думаешь, чем живет вся эта мелочь? — спрашиваю я. «Какая такая мелочь? — интересуется Гринхусен. — Ах, эти-то! Это же просто муравьи». — «Нет, — объясняю я, — это такие жуки. Если его положить на кусок дерна, а сверху придавить камнем, он все равно будет жить».

Гринхусен отвечает:

— Вполне может быть!

Но видно, что он пропустил мои слова мимо ушей.

И тогда я продолжаю развивать свою мысль уже для себя: но сунь под тот же камень муравья, и немного спустя там не останется ни одного жука.

Лес шумит, и река шумит по-прежнему. Это одна вечность приходит в согласие с другой вечностью. А бури и громы означают, что вечности вступили в войну.

— Да, так оно и есть, — нарушает молчание Гринхусен, — четырнадцатого августа как раз исполнится два года с последнего письма от Олеа, в нем еще была отличная фотография. Олеа живет в Дакоте, так, кажется, шикарная фотография, а загнать я ее так и не сумел. Бог даст, все еще уладится, — сказал Гринхусен и зевнул. — Да, чего я еще хотел спросить-то, сколько он тебе положил в день?

— Не знаю.

Гринхусен недоверчиво на меня смотрит, думает, что я скрытничаю.

— Мне-то оно и ни к чему, — говорит он. — Я просто так спросил.

Чтобы сделать ему приятное, я начинаю гадать:

— Кроны две-три, пожалуй, дадут.

— Тебе-то дадут, — с завистью говорит он. — А мне, опытному сплавщику, ни разу больше двух не давали.

Тут же у него возникает опасение, как бы я не доложил кому следует, что он недоволен. Гринхусен принимается нахваливать инженера Лассена, и уж такой-то он хороший, зря человека не обидит! Ни в жисть! А мне он все равно как отец родной, если хочешь знать.

Это Лассен-то ему отец! Смешно было слушать, как старый, беззубый рот Гринхусена произносит такие слова. При желании я наверняка мог бы кой-что выведать об инженере, но я не стал расспрашивать.

— А инженер не приказывал мне прийти в город? — спрашивает Гринхусен.

— Нет.

— Он иногда меня вызывает, думаешь, за делом? Какое там, просто хочет поболтать со мной. Золотой человек!

Вечереет. Гринхусен снова зевает во весь рот, заползает к себе и ложится спать.

С утра разбираем затор.

— Пошли дальше вверх по реке, — зовет меня Гринхусен. Я иду. Примерно через час ходьбы перед нами открываются строения и пашни горного хутора. По странной ассоциации мыслей я вспоминаю гринхусеновскую овцу.

— Ты не здесь ли нашел свою овцу? — спрашиваю.

Гринхусен глядит на меня.

— Здесь? Нет. Далеко. Отсюда не видать. На самой границе, где Труватн.

А разве Труватн не в соседней округе?

То-то и оно, что в соседней. Стало быть, далеко. И вдруг Гринхусен решает идти один. Он замедляет шаг, говорит мне спасибо за компанию.

— Хочешь, я провожу тебя до самых ворот? — предлагаю я.

Оказывается, Гринхусен и не думает туда заходить. И вообще он на этом хуторе сроду не бывал. Мне осталось только одно — вернуться в город.

Так я и сделал, я вернулся в город тем же путем, что и пришел.

VI

Такая работа меня не устраивала, я ее и за работу не считал. Ходи себе вдоль по бережку, туда и обратно, да расчищай по пути небольшие заторы. После каждого похода я возвращался в город, где снял себе комнату. Водил знакомство все это время я только с одним человеком, с носильщиком, он же рассыльный из того отеля, где жил инженер Лассен, это был дюжий парень с детскими глазами и огромными кулачищами, он мог растопырить пальцы на одиннадцать дюймов. Он рассказывал, что еще ребенком упал и зашиб голову, почему и не сумел ничего достичь в жизни, а годен лишь на то, чтобы таскать тяжести. С ним я порой и отводил душу, а больше ни с кем в целом городе.

Ох уж этот маленький городок!

Когда вода стоит высоко, весь город наполнен ее неумолчным шумом и как бы разделен на две части. Люди живут в деревянных домиках, один к югу, другие к северу от этого шума, и кое-как перебиваются изо дня в день. Среди множества детей, что бегают через мост в лавочку за покупками, совсем не встретишь оборванных, вряд ли кто-нибудь из них не ест досыта, и все они премиленькие. А симпатичней всех долговязые, голенастые девчонки, они тощие и веселые, они всецело заняты друг другом и своими девчачьими заботами. Иногда они останавливаются посреди моста, смотрят вниз на застрявшие бревна и подбадривают сплавщиков криком: «Эге-гей!» Потом они прыскают и подталкивают друг друга.

Но птиц здесь нет.

Как ни удивительно, птиц здесь нет. Погожими вечерами на закате зеркально сверкает у запруды водная гладь, глубокая и недвижная. Над ней вьются комары и бабочки, в ней

отражаются прибрежные деревья, но на этих деревьях не видно птиц. Может, в этом повинен шум водопада, который заглушает все остальные звуки; птицам неприятно, что они не слышат собственных песен. Так и получилось, что из крылатых обитателей здешних мест остались лишь комары да мухи. Одному только Богу известно, почему даже сороки и вороны не жалуют наш город.

В каждом небольшом городке каждодневно происходит какое-нибудь событие, которое помогает людям встречаться, в большом городе этой цели служит променад. На побережье в городах Вестланна — почтовый пароход. Жить в Вестланне и не явиться на пристань к прибытию парохода — это поистине выше сил человеческих. Но здесь, в этом маленьком городке, откуда до моря добрых три мили, а вокруг только горы да холмы, у нас есть река. Поднялся ли за ночь уровень воды или, напротив, упал? Проплывут ли сегодня через город бревна из заторов? Сил нет, до чего интересно. Правда, здесь проходит еще ветка железной дороги, но что с нее возьмешь, ветка тут и кончается, дальше ей попросту не пробиться, и вагоны застревают, как пробка в горлышке бутылки. А сами вагончики-то каковы! Внешне они довольно симпатичные, но люди стыдятся в них ездить, до того они старомодные и дряхлые, в них даже сидеть нельзя, не сняв шляпы.

Да, еще у нас есть базар и церковь, школы, почта. И еще — лесопильня и деревообделочная фабрика выше по реке. А всяких лавочек и лавчонок просто на удивление много.

Вот какие мы богатые! Я здесь человек чужой — как чужой везде и всюду, — но даже я мог бы перечислить великое множество всякой всячины, которая у нас есть, не считая реки. Был ли этот город когда-нибудь больше, чем сейчас? Нет, никогда, вот уже два с половиной столетия он существует как маленький город. Зато когда-то здесь среди мелюзги жил большой человек, он, этот местный царек, разъезжал с лакеем на запятках — а теперь мы все равны. Из чего, разумеется, не следует, что мы равны смотрителю лесосплава, двадцатидвухлетнему инженеру Лассену, который может один занимать двухкомнатный номер.

Делать мне нечего, вот почему я предаюсь размышлениям такого рода:

Здесь есть один громадный дом, ему лет двести или около того — строил его великий Уле Ульсен Туре. Размеры дома даже трудно вообразить себе, он двухэтажный, а по фасаду вытянулся на целый квартал; сейчас в нем размещены казенные магазины. Когда он строился, в здешних лесах встречались еще деревья-великаны, такие, что не обхватить, стволы великанов насквозь пропитались рудным железом, и

топор их не брал. А в самом доме залы и темницы как в настоящем замке, здесь властвовал великий Туре — князь во князьях.

Настали другие времена, дома стали не просто большие, не просто защита от дождя и холода, они должны были радовать глаз. На той стороне реки стоит древнее здание с на редкость стройной ампирной верандой, с колоннами и фронтоном. Архитектура его отнюдь не безупречна, но все же оно красиво и высится, как белый храм на фоне зеленых холмов. И еще один дом привлек мое внимание. Это у самой базарной площади. Двустворчатая парадная дверь украшена старинными ручками и причудливой формы зеркалами в стиле рококо, но оправа у них покрыта каннелюрами а-ля Луи Сез. Над дверью медальон с арабскими цифрами 1795 — вот когда здесь начались перемены. В ту пору в этом маленьком городке жили люди, которые без помощи пара и телеграфа умели шагать в ногу со временем.

А потом начали строить дома для защиты от дождя и холода, и ни для чего другого. Эти были и невелики и некрасивы. Речь шла лишь о том, чтобы на швейцарский манер обеспечить кровом жену и детей, и больше ни о чем. У этого никчемного альпийского народца, который за всю свою историю никогда ничего не значил и никогда ничего не совершил, мы научились поплевывать на внешний вид своего жилища, коль скоро им не пренебрегают бродяжки-туристы. Кому нужна храмовая красота и благолепие белого дома среди зеленых холмов? Кому нужен большой-пребольшой дом, сохранившийся с времен Уле Ульсена Туре, когда из него можно бы с легкостью наделать двадцать жилых домов?

Мы опускались ниже и ниже, мы падали глубже и глубже. Зато сапожники ликуют, и не потому, что все мы теперь равно велики, а потому, что все мы равно ничтожны. Пусть так.

По длинному мосту хорошо гулять, у него дощатый настил, ровный, как паркетный пол, и даже молодые дамы ходят по нему без затруднений. Мост ничем не заслонен, это превосходный наблюдательный пункт для нас, зевак.

Снизу, с затора, доносятся крики, когда сплавщики пытаются высвободить очередное бревно, застрявшее среди подводных камней. А с верховьев подплывают новые бревна, громоздятся на прежние, и затор растет, растет, растет, порой в одном узком месте застревает до двухсот дюжин. Если дело пойдет на лад, сплавщики в свой срок разберут затор. Но уж если дело не заладится, бревна могут увлечь

бедолагу сплавщика в водоворот, и там он найдет свою смерть.

Десять человек с баграми разбирают затор, все не раз побывали в воде и вымокли — кто больше, кто меньше. Десятник указывает, какое бревно надо высвободить в первую очередь, но порой мы со своего наблюдательного пункта можем заметить, что среди сплавщиков нет единодушия. Слышать при таком шуме мы, разумеется, ничего не слышим, но зато видим, что рабочие предпочли бы начать совсем с другого бревна, что самый опытный сплавщик недоволен. Мне, знающему их язык, чудится, будто я слышу, как он упрямо и раздумчиво твердит: «Надо еще посмотреть, не можем ли мы сперва высвободить вот это!» Двадцать глаз устремляются на новое бревно, двадцать глаз прослеживают его путь в хаотическом нагромождении других бревен, и, если согласие достигнуто, десять багров вонзаются в него. В такую минуту утыканное баграми бревно напоминает арфу с туго натянутыми струнами, из десяти глоток вырывается дружное «эй!». Все разом наваливаются, и бревно едва заметно сдвигается с места. Новый взмах, новый крик, и бревно продвигается еще на пядь. Словно десять муравьев пыхтят вокруг одной ветки. И вот уже водопад подхватывает освобожденную добычу.

Но попадаются бревна, которые и с места-то не сдвинешь, а высвобождать, как на грех, надо их, и только их. Тогда сплавщики обступают бревно со всех сторон и, едва различат его среди хаоса, вонзают в него свои багры. Одни тянут, другие толкают. Если бревно сухое, его нарочно смачивают, чтобы лучше скользило. Теперь багры не высятся в строгом порядке, подобно струнам арфы, теперь они скрестились, как нити паутины.

Порой с реки целый день доносятся вопли десяти глоток, затихающие только на время обеда, порой вопли не прекращаются много дней подряд. Затем новый звук достигает наших ушей, мы слышим удары топора: какое-нибудь подлое бревно легло так, что его не вытащить никакими силами, а весь затор держится из-за него. Тогда его надо подрубить. Долго работать топором не приходится — непомерная тяжесть, навалившаяся на бревно, ломает его, как спичку, и весь гигантский хаос приходит в движение. В такие минуты сплавщики прекращают работу и только следят: если подалась как раз та часть затора, где они стоят, им надо проявить кошачью ловкость, чтобы перепрыгнуть куда побезопаснее. Каждый день, каждый миг их работы полон страшного напряжения, свою жизнь и смерть они держат в собственных руках.

Но этот город умер при жизни.

Печальное зрелище являет собой мертвый город, он тщится доказать, что он еще жив. Таков Брюгге, великий город старины, таковы многие города Голландии, Южной Германии, Северной Франции, Востока. Когда стоишь на главной площади такого города и говоришь самому себе: вглядись, раньше это был живой город, до сих пор еще я встречаю людей на его улицах.

И вот что удивительно. Наш город притаился в укромной низине, со всех сторон его обступили горы, но есть здесь и местные красавицы среди женщин, и местные честолюбцы среди мужчин — все как в других городах. Вот только жизнь здесь ведут презабавную — узловатые пальцы, мышиные глаза, уши, заложенные вечным шумом водопада. Жук шныряет по вереску, там и сям на пути у него встает желтая соломинка, но для жука это стволы могучих деревьев. Два местных торговца идут по мосту, торговцы явно держат путь к почтамту. Они надумали купить на двоих целый марочный блок, чтобы получить скидку.

Ох уж эти городские торговцы!

Каждый день они исправно развешивают в витринах готовое платье и раскладывают прочий товар, но покупателей я не видел у них почти ни разу. Сперва я все ждал, что какой-нибудь крестьянин рано или поздно спустится с гор и за каким-нибудь делом наведается в город. Я не ошибся, сегодня я видел крестьянина, и какое же это было непривычное и занятное зрелище!

Костюм на нем был из народной сказки: куртка с серебряными пуговицами и серые штаны с леями из черной кожи. Он сидел на крохотной подводе. Подводу тянула крохотная лошадка, а за его спиной, на подводе, стояла крохотная бурая коровенка, должно быть, ее привезли к мяснику. Все три живых существа — человек, лошадь и корова — были такие махонькие и такие древние, словно это гномы выбрались погулять среди людей; я не удивился бы, если бы они внезапно исчезли прямо у меня на глазах. И вдруг корова протяжно замычала на своей игрушечной подводе. Даже ее мычание показалось мне каким-то потусторонним звуком.

Часа два спустя я увидел своего крестьянина уже без лошади и без коровы. Он бродил по лавкам, делая покупки. Я побывал вместе с ним у шорника и стекольщика Вогта, который попутно торговал еще и кожаным товаром. Этот многогранный негоциант хотел обслужить меня в первую

очередь, но я сказал, что мне надо хорошенько посмотреть седла, потом кое-что из стекла, потом кожи и что мне не к спеху. Тогда Вогт занялся гномом.

Они, оказывается, старые знакомцы.

— Ну как, снова в наших краях?

— Да, уж, стало быть, так.

И дальше весь перечень тем: погода, ветер, дороги, жена и дети, не хуже чем всегда, виды на урожай, река за неделю понизилась на четверть; цены на мясо; тяжелые времена. Они начинают вертеть кожу, ощупывать ее и обнюхивать, перегибать и обсуждать. Когда после всего этого отрезается нужный кусок, гному приходит в голову, что кусок тянет до чертиков много, надо взять круглый вес, а гирьки помельче не считать! Спорят еще битый час, как того требует обычай. Когда в конце концов приходит время платить, на сцену является не менее сказочный кошель из кожи, кончики пальцев выуживают скиллинг за скиллингом, бережно и обстоятельно, оба заинтересованных лица по нескольку раз пересчитывают сумму, после чего гном боязливым движением закрывает кошель: больше там ничего нет.

— У тебя ведь не одна мелочь, есть и бумажками кое-что. Я вроде бы видел бумажные деньги.

— Бумажные? Ни-ни. Это неразменные.

Новый спор, продолжительная беседа, обе стороны мало-помалу поддаются, сходятся на середине — и сделка заключена.

— С ума сойти, до чего дорогая кожа, — говорит покупатель.

А продавец отвечает:

— Да что ты, я отдал тебе кожу почти задаром. Смотри не забудь меня, когда другой раз приедешь в город.

Уже под вечер я вижу, как гном возвращается домой после общения с людьми. Корова осталась у мясника. Теперь на подводе лежат пакеты и свертки, сам он трусит позади, и кожаные леи на каждом шагу складываются в треугольник. То ли по скудоумию, то ли, напротив, по обилию мыслей, обуревающих человека после выпивки, только полосу купленной кожи гном обмотал, словно браслет, вокруг руки.

Итак, в город притекли некоторые денежные суммы, в городе побывал крестьянин, он продал корову, после чего израсходовал полученные скиллинги. Это было замечено всеми без исключения: три городских поверенных это заметили, три городские газеты тоже это заметили — в обращении на-

ходится больше денег, чем вчера. Город живет непроизводительными оборотами.

Каждую неделю местные газеты объявляют о продаже домов, каждую неделю муниципалитет публикует список домов, назначенных к торгам. Как же так? А вот так.

Множество усадеб меняет хозяев. Каменистая долина большой реки не может прокормить город, приютившийся на ее бесплодном ложе. Случайная корова не спасает положения. Вот почему дома, швейцарские домики, ненадежные пристанища переходят в другие руки. Если жителю любого из городков Вестланна в кои-то веки понадобится продать дом, там это считается незаурядным событием, местные жители собираются на мосту и шушукаются, сблизив головы. Здесь же, в нашем маленьком городе, лишенном всякой надежды, никто и ухом не поведет, когда та или иная усадьба выпадает из ослабевших рук. Сегодня мой черед, завтра настанет твой! А людям и горюшка мало.

Инженер Лассен зашел ко мне в комнату.

— Надень-ка шапку и ступай на станцию, надо принести чемодан, — говорит он.

— Нет, — отвечаю я. — Не пойду.

— Не пойдешь?

— Не пойду. На это есть носильщик. Я охотно уступлю ему чаевые.

Этого хватило с лихвой, ведь инженер был очень молод. Он смотрел на меня и молчал. Но, будучи человеком настырным, от своего не отступился, только переменил тон.

— Мне хотелось бы, чтобы это сделал именно ты, — сказал он, — не убудет тебя, если ты принесешь чемодан.

— Вот это другой разговор. Коли так, схожу.

Я надел шапку и готов идти; он вышел первым, я за ним. Минут через десять прибыл поезд. Весь он состоял из трех вагонов-коробочек, несколько пассажиров вышли из переднего вагона, а из последнего вышла дама. Инженер поспешил к ней и помог ей спуститься.

Я не очень внимательно следил за происходящим. На даме была вуаль и перчатки, она передала инженеру желтое летнее пальто. Она казалась смущенной и тихим голосом произнесла несколько слов; но, заметив, что инженер держится уверенно и развязно и даже просит ее поднять вуаль, она тоже расхрабрилась и вуаль подняла.

— Ну как, теперь узнаешь? — спросила она у него.

Тут и я насторожился, я узнал голос фру Фалькенберг, я обернулся и взглянул ей в лицо.

Ах, как тяжко стариться, как тяжко быть отставным человеком. Едва поняв, кто передо мной, я мог думать только об одном — о себе, состарившемся, о том, как бы мне стоять попрямее, как бы поклониться учтивее. За последнее время я обзавелся блузой и брюками из коричневого плиса, обычным на юге костюмом для рабочего, и костюм этот был всем хорош, но, как на грех, я именно сегодня не надел его. До чего ж это меня раздосадовало, до чего огорчило. Покуда эти двое разговаривали, я пытался понять, зачем инженеру понадобилось тащить на станцию именно меня. Может быть, он просто пожалел какой-нибудь там скиллинг на чаевые носильщику? Или захотел похвастаться, что вот, мол, у него есть собственный слуга? Или сделать ей приятное, чтобы ее с первой минуты окружали знакомые лица? Если последнее, то он ошибся в своих расчетах: когда фру увидела меня, она даже вздрогнула, неприятно пораженная этой встречей в таком месте, где она надеялась укрыться от чужих глаз. Я слышал, как инженер ее спросил: «Видишь, кто это? Вот он-то и понесет твой чемодан. Давай сюда квитанцию». Но я не поклонился. Я отвел глаза.

Потом я в тайниках жалкой душонки своей одерживал верх над инженером, я думал: ох, как она должна сердиться на него за подобную бестактность. Он навязывает ей общество человека, которому она давала работу, когда у нее был свой дом; но этот человек сумел доказать ей всю возвышенность своей натуры, он отвернулся, он не узнал ее! Хотел бы я понять, почему дамы так льнут к этому субъекту, который носит на отлете свой толстый зад.

Толпа на перроне поредела, поездная прислуга перегоняет коробочки на другой путь и начинает составлять из них новый поезд. Теперь вокруг нас нет ни души. А инженер и фру все стоят и разговаривают. Зачем она приехала? Откуда мне знать! Быть может, молодой вертопрах стосковался по ней и снова пожелал ее. А может, она приехала по своей воле, хочет объяснить ему свое положение и посоветоваться с ним. Чего доброго, это кончится помолвкой, а там и свадьбой. Господин Гуго Лассен — это, без сомнения, рыцарь, а она — его возлюбленная перед всем миром. Счастье и розы да пребудут с ней во все дни!

— Нет, это исключено! — с улыбкой восклицает инженер. — Раз ты не хочешь быть моей тетушкой, будь моей кузиной.

— Тс-с, — перебивает она. — Отошли этого человека.

Инженер подходит ко мне с квитанцией в руках и, надувшись от спеси, будто перед ним целая бригада сплавщиков, отдает приказание:

— Доставь чемодан в отель!

— Слушаюсь, — отвечаю я и приподнимаю шапку.

Я нес чемодан и размышлял:

Значит, он предложил ей назваться его тетушкой, его престарелой тетушкой! Он и здесь мог бы проявить больше такта. Будь я на его месте, я бы так и сделал. Я сказал бы всему свету: взгляните, это светлый ангел посетил короля Гуго, взгляните, как она молода и прекрасна, как тяжел взгляд ее серых глаз, да, у нее глубокий взгляд, ее волосы светятся, как морская гладь, и я люблю ее. Вслушайтесь, как она говорит, у нее прекрасный и нежный рот, порой он беспомощно улыбается. Нынче я король Гуго, а она — моя возлюбленная!

Чемодан был не тяжелей любой другой ноши, но окован вызолоченными железными полосами. Этими полосами я разодрал свою блузу. Тут я благословил судьбу, уберегшую мой новый плисовый костюм.

VII

Прошло несколько дней. Мне наскучили мои бесплодные занятия, надоело весь день слоняться без толку, вместо того чтобы делать что-нибудь полезное; я обратился к десятнику и попросил взять меня в сплавную бригаду. Он мне отказал.

Эти господа из пролетариев любят задирать нос, на сельских рабочих они смотрят свысока и не желают терпеть их подле себя. Они переходят с одной реки на другую, ведут привольную жизнь, жалованье получают на руки сразу и могут пропивать немалую долю недельного заработка. Да и девушки охотнее их привечают. Так же обстоит дело и с дорожными рабочими, и с путейцами, и с фабричными: для них даже ремесленник — существо низшей расы, а про батраков и говорить нечего.

Конечно, я знал, что буду принят в бригаду, когда захочу, — стоит только обратиться к господину смотрителю. Но, во-первых, мне не хотелось без крайней необходимости одолжаться у этого человека, а во-вторых, я понимал, что в таком случае добрые сплавщики устроят мне мартышкино житье — покуда я ценой непомерных усилий не сумею снискать их расположение. А на это, пожалуй, уйдет больше времени, чем дело того стоит.

И наконец, сам инженер дал мне на днях поручение, которое мне хотелось выполнить как можно лучше.

Инженер говорил со мной толково и любезно:

— Началась продолжительная засуха, река убывает, заторы растут. Я прошу тебя убедить того человека, который работает в верховьях, и того, который внизу, все это время трудиться с предельным напряжением сил. Нет нужды объяснять, что и от тебя я ожидаю того же.

— Скоро, пожалуй, начнутся дожди, — сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Но я должен быть готов к тому, что дождя вообще больше не будет, — ответил он с непомерной серьезностью молодости. — Запомни каждое мое слово. Я не могу разорваться и уследить за всем, особенно теперь, когда у меня гости.

Тут я мысленно согласился принимать его так же всерьез, как он сам себя принимает, и пообещал выполнить все в наилучшем виде.

Значит, для меня еще не приспело время кончать бродячую жизнь, и потому я взял багор и коробок с провизией и вышел сперва вверх, потом — вниз по реке. Чтобы не даром есть свой хлеб, я наловчился в одиночку разбирать большие заторы, сам себе пел, словно я это не я, а целая бригада сплавщиков, да и работал теперь за пятерых. Я передал Гринхусену наказ инженера, чем поверг его в безмерный ужас.

Но тут начались дожди.

Теперь бревна лихо проскакивали быстрины и водопады, они напоминали гигантских светлокожих змей, которые задирают к небу то голову, то хвост.

Для инженера настали красные денечки.

Но лично мне неприютно жилось в этом городе и в этом доме. Стены моей каморки пропускали любой звук, так что и там я не находил покоя. Вдобавок меня совсем затюкали молодые сплавщики, живущие по соседству. Все это время я прилежно бродил по берегу, хотя делать там теперь было нечего или почти нечего; я украдкой покидал дом, садился где-нибудь под навесом скалы и бередил себе сердце мыслями о том, какой я старый и всеми покинутый; по вечерам я писал письма, множество писем всем своим знакомым, чтобы хоть как-то отвести душу, но я никогда не отправлял их. Словом, это были безрадостные дни. Потешить себя я мог только одним: исходить город вдоль и поперек, наблюдая мелочи городской жизни, а потом хорошенько поразмыслить над каждой мелочью в отдельности.

А как инженер? Продолжались ли для него красные денечки? У меня возникли некоторые сомнения.

Почему он, к примеру, не ходит теперь утром и вечером погулять со своей кузиной? Раньше ему случалось остановить на мосту какую-нибудь молодую даму и справиться, как она поживает. Уже целых полмесяца он этого не делал. Несколько раз я встречал его с фру Фалькенберг, она была такая молодая, такая нарядная и счастливая, она держалась слегка вызывающе, смеялась очень громко. Она еще не привыкла к своему новому положению, думал я, хотя уже завтра или послезавтра все может стать иначе. Увидев ее немного спустя, я даже рассердился, таким легкомысленным показалось мне ее платье, ее манеры, не осталось и следа от прежнего обаяния и прежней милоты. Куда исчезла нежность во взгляде? Одна развязность, более ничего. В бешенстве я твердил себе: отныне ее глаза как два фонаря у входа в кабаре.

Но потом они, должно быть, наскучили друг другу, и теперь инженер частенько прогуливался в одиночестве, а фру Фалькенберг сидела у окошка и глядела на улицу. Не по этой ли причине снова объявился капитан Братец? Вероятно, он был призван нести радость и веселье не только себе, но и еще кой-кому. И этот сверх меры взысканный природой весельчак сделал все, что мог, целую ночь городок содрогался от громового хохота, но потом отпуск у него кончился, и он отбыл на учения. Инженер и фру Фалькенберг снова остались вдвоем.

Однажды в лавке я узнал, что инженер Лассен слегка не поладил со своей кузиной. Об этом рассказал купцу заезжий торговец. Но состоятельный инженер пользовался в нашем городке таким безграничным уважением, что купец поначалу вообще не хотел верить и задавал сплетнику вопрос за вопросом:

— А вы не находите, что они просто шутили? А вы сами это слышали? А когда это было?

И торговец не посмел настаивать.

— Я живу через стену с инженером. Стало быть, я при всем желании не мог не слышать, о чем они говорили этой ночью. Они именно повздорили, у меня нет никаких сомнений, вы же видите, я не утверждаю, что они крупно повздорили, о нет, совсем слегка. Просто она сказала, что он совсем не такой, как раньше, что он изменился, а он ответил, что не может здесь, в городе, вести себя так, как ему заблагорассудится. Тогда она попросила его рассчитать одного работника, который ей крайне несимпатичен, должно быть, кого-то из сплавщиков. Он согласился.

— Господи, нашли о чем говорить, — сказал купец.

Боюсь только, что торговец слышал куда больше, чем рассказал, по крайней мере, у него был такой вид.

Но разве я сам не заметил, что инженер изменился? Помню, каким громким и довольным голосом разговаривал он тогда на станции, а теперь, если он даже изредка выходил с ней прогуляться, он всю дорогу упорно не раскрывал рта; я ведь прекрасно видел, как они стоят и смотрят в разные стороны. Господи боже мой, ведь любовь — это такое летучее вещество!

Поначалу все шло прекрасно. Она говорила такие слова: как здесь славно, какая большая река и водопад, какой чудесный шум, какой маленький город, улицы, люди, и здесь есть ты! А он на это отвечал: да, здесь есть ты! Ах, как они были обходительны друг с другом. Но мало-помалу они пресытились счастьем, они перестарались, они превратили любовь в товар, который продается на метры, вот какие они были неблагоразумные. Ему с каждым днем становилось яснее, что дело принимает скверный оборот; городок маленький, кузина его здесь чужая, не может же он повсюду сопровождать ее, надо и разлучаться время от времени, надо — изредка, конечно, ну какие могут быть разговоры, только изредка — обедать порознь. Торговцы, должно быть, тоже бог весть что думают про кузена с кузиной. Не надо забывать, какой это маленький город! А она — господи, неужели она не способна понять! Но ведь город не стал за это время меньше? Нет, друже, именно ты, а не город изменился за это время.

Хотя дожди зарядили надолго и сплав проходил без всяких хлопот, инженер начал предпринимать непродолжительные прогулки вверх и вниз по реке. Можно было подумать, что ему просто хочется вырваться из дому, и лицо у него в эту пору было довольно мрачное.

Однажды он послал меня к Гринхусену, чтоб я вызвал его в город. Неужели это его хотят рассчитать? Но ведь Гринхусен ни разу не попадался на глаза фру с тех самых пор, как она приехала. Чем он ей не угодил, непонятно.

Я велел Гринхусену явиться в город, что он и сделал. Инженер тут же собрался и ушел с Гринхусеном куда-то вверх по реке.

Позднее, днем Гринхусен пришел ко мне и явно хотел поделиться новостями, но я ни о чем его не спрашивал. Вечером сплавщики поставили Гринхусену угощение, и он начал свой рассказ: «Что это за сестру завел себе господин смотритель? Не собирается ли она уезжать?» Никто не мог ему ответить, да и с чего бы ей уезжать? «С такими сестрами один соблазн и морока, — разглагольствовал Гринхусен. — Уж хочешь

связаться с женщиной, возьми такую, на которой решил жениться. Я ему прямо так все и выложил!» — «Прямо так и выложил?» — спросил кто-то.

«А то нет! Да я с ним разговариваю все равно как с кем из вашего брата, — сказал Гринхусен, лучась от самодовольства. — Думаете, зачем он меня вызвал? Сроду не угадаете! Ему захотелось поговорить со мной. Поговорить, только для этого. Он раньше меня сколько раз вызывал и теперь тоже взял да и вызвал». — «А о чем он с тобой говорил?» — спросили у Гринхусена. Гринхусен напустил на себя неслыханную важность. «Я вовсе не дурак, я с кем хочешь могу поговорить. И язык у меня подвешен как дай бог каждому. У тебя, Гринхусен, есть соображение, сказал господин инженер, вот тебе за это две кроны. Так слово в слово и сказал. А ежели вы мне не верите, можете взглянуть. Вот они, две кроны-то». — «А говорили вы о чем?» — в один голос спросили несколько человек. «Наверное, Гринхусену нельзя про это рассказывать», — вмешался я.

Я уже понял, что инженер, должно быть, впал в отчаяние, когда посылал меня за Гринхусеном. Он так мало пожил на этом свете, что при любом затруднении ему требовался человек, которому можно поплакаться. Вот он ходил сколько дней с поникшей головой, и сердце у него разрывалось от жалости к самому себе, и он захотел, чтобы весь мир узнал, как жестоко покарал его Господь, лишив возможности предаваться обычным удовольствиям. Этот спортсмен с оттопыренным задом был всего лишь злой пародией на молодость, плаксивым спартанцем. Интересно бы узнать, как его воспитывали.

Будь он постарше, я бы первый подыскал для него множество оправданий, теперь я, вероятно, ненавижу его за то, что он молод. Не знаю, может, я не прав. Но мне он кажется пародией.

После моих слов Гринхусен поглядел на меня, и все остальные поглядели на меня.

«Пожалуй, мне и впрямь нельзя про это рассказывать», — с важным видом сказал Гринхусен.

Но сплавщики запротестовали: «Это почему еще нельзя? От нас никто ничего не узнает». — «Точно, — сказал другой. — Вот как бы он сам первый не побежал докладывать и наушничать».

Тогда Гринхусен расхрабрился и сказал:

«Сколько захочу, столько расскажу, можешь не беспокоиться. Сколько захочу и тебя не спрошусь. Да. А чего мне, раз я говорю чистую правду. И ежели ты хочешь знать, господин инженер для тебя тоже припас новость первый сорт.

Дай только срок, он тебя разуважит. Так что не волнуйся. А уж коли я что рассказываю, это все правда до последнего слова. Заруби это себе на носу. Да. И ежели б ты знал, что знаю я, так она, к твоему сведению, надоела господину смотрителю хуже горькой редьки, он из-за нее не может в город выйти. Вот какая у него сестрица». — «Да ладно тебе», — зашумели сплавщики, чтоб его успокоить. «Вы думаете, почему он меня вызвал? А кого он за мной послал, вот сидит, можете полюбоваться. Этого типа на днях тоже вызовут, мне господин смотритель намекнул. Больше я ни слова не скажу. А насчет того, что я собираюсь рассказывать, так господин смотритель встретил меня все равно что отец родной, надо быть каменным, чтоб этого не понять. «Мне сегодня так грустно и тоскливо, — сказал он, — не знаешь ли ты, Гринхусен, чем пособить моему горю?» А я ответил: «Я-то не знаю, но вы сами, господин инженер, знаете лучше меня». Вот слово в слово, что я ему ответил. «Нет, Гринхусен, ничего я не знаю, а все эти проклятые бабы». — «Да, господин инженер, — говорю я, — бывают такие бабы, от которых человеку житья нет». — «Опять ты, Гринхусен, попал в самую точку». Это он говорит. А я ему: «Разве господин инженер не может получить от них что надо, а потом поддать кому надо под зад коленкой». — «Ох, Гринхусен, опять твоя правда», — говорит он. Тут господин инженер чуть приободрился. В жизни не видел, чтоб человек с нескольких слов так приободрился. Прямо сердце у меня на него радовалось. Голову даю на отсечение, что все до последнего слова чистейшая правда. Я, стало быть, сидел вот тут, где вы сидите, а господин инженер — там, где этот тип».

И Гринхусен пошел разливаться соловьем.

На другое утро, еще до света, инженер Лассен остановил меня на улице. Было всего половина четвертого.

Я снарядился в обычную проходку вверх по реке, нес багор и коробок для провизии. Гринхусен без просыпу пил где-то в городе, я хотел обойти и его участок, до самых гор, и потому захватил провизии вдвое против обычного.

Инженер, судя по всему, возвращался из гостей, он смеялся и громким голосом разговаривал со своими спутниками. Все трое были заметно навеселе.

— Я вас догоню! — сказал он своим спутникам. Затем он обратился ко мне и спросил: — Ты куда это собрался?

Я ответил.

— Впервые слышу, — сказал он. — Да и не нужно, Гринхусен один управится. И сам я за этим пригляжу. А во-

обще-то говоря, как ты смеешь затевать такие дела, даже не поставив меня в известность?

По совести говоря, он был прав, и я охотно попросил у него извинения. Знаючи, как он любит изображать начальство и командовать, я мог быть поумнее.

Но мое извинение только подлило масла в огонь, он счел себя обиженным, он распетушился и сказал:

— Чтоб я больше этого не видел. Мои работники должны делать то, что я им велю. Я взял тебя на работу потому, что решил тебе помочь, хотя ты мне был не нужен, а сейчас ты мне и подавно не нужен.

Я стоял и молча смотрел на него.

— Зайдешь сегодня днем ко мне в контору и получишь расчет. — Так кончил он и повернулся, желая уйти.

Значит, это меня решили рассчитать?! Теперь я понял намеки Гринхусена. Должно быть, фру Фалькенберг не могла больше терпеть, чтобы я торчал у нее перед глазами и напоминал ей о доме, вот она и заставила инженера прогнать меня. Но разве я не проявил по отношению к ней столько такта тогда на станции, разве я не отвернулся, чтобы не узнать ее? Разве я хоть раз поздоровался с ней, когда встречал ее в городе? Разве моя деликатность не заслуживала награды?

И вот молодой инженер с чрезмерной запальчивостью отказал мне от места прямо посреди улицы. Мне кажется, я хорошо его понимал: уже много дней он все откладывал и откладывал это объяснение, целую ночь он набирался храбрости и наконец спихнул его с плеч. Может быть, я несправедлив по отношению к нему? Может быть. И я пытался направить по иному руслу ход своих мыслей, я снова вспомнил, что он молод, а я стар и что мной наверняка движет просто зависть. Вот почему я не ответил колкостью, как собирался, а сказал только:

— Хорошо, тогда я выложу провизию из коробка.

Но инженер хотел до конца использовать благоприятную возможность и припомнил мне историю с чемоданом.

— А вообще хорошенькая манера отвечать «нет», когда я что-то приказываю, — сказал он. — Я к этому не привык. И чтобы это впредь не повторялось, будет лучше, если ты уедешь.

— Ладно, — говорю я.

Я вижу белую фигуру в окне гостиницы, верно, это фру Фалькенберг наблюдает за нами. Поэтому я и ограничиваюсь одним словом.

Но инженеру вдруг приходит в голову, что расстаться со мной на этом месте ему все равно не удастся — ведь я должен

прийти за расчетом, и мы неизбежно встретимся еще раз. Поэтому он меняет тон и говорит мне:

— Хорошо, зайди ко мне за жалованьем. Ты уже прикинул, сколько тебе следует?

— Нет, решайте сами, господин инженер.

— Верно, верно. — Инженер умиротворен. — Вообще-то говоря, ты человек хороший, и я ничего против тебя не имею. Но бывают обстоятельства... и, кроме того, это не мое желание, ты ведь знаешь, бабы... я хочу сказать — дамы.

Ах, как он был молод. И как несдержан.

— Ну ладно, с добрым утром! — Он вдруг кивнул мне и ушел.

День промелькнул незаметно, я ушел в лес и так долго просидел там в полном одиночестве, что не успел зайти к инженеру за расчетом. Впрочем, дело могло и обождать, я не спешил.

Куда же теперь?

Я не испытывал большой симпатии к этому городку, но теперь он кое-чем привлекал меня, и я охотно задержался бы здесь на какой-то срок. Между двумя людьми, за которыми я пристально наблюдал вот уже несколько недель, начались нелады, кто может знать, что будет дальше. Я даже собирался пойти в ученье к кузнецу, лишь бы иметь повод остаться, но работа привяжет меня на целый день, лишит меня свободы — это первое, а второе — ученье отнимет несколько лет моей жизни, а их у меня осталось впереди не так уж много.

Я предоставил времени идти своим чередом. Снова настали солнечные дни. Я снимал все ту же комнату, привел в порядок свою одежду, заказал себе у портного новый костюм. Одна из служанок пришла ко мне как-то вечером и предложила зачинить все, что мне понадобится, но я был настроен шутливо и показал ей, как ловко я сам управляюсь с починкой: вот, посмотри, какая аккуратная заплатка, а эта еще лучше. Через некоторое время на лестнице послышались мужские шаги и кто-то тряхнул мою дверь. «А ну открой!» — закричали за дверью. «Это Хенрик, сплавщик один!» — объяснила служанка. «Он что, твой жених?» — спросил я. «Скажешь тоже! — запротестовала она. — Да лучше в девках остаться, чем за такого выходить». «Кому говорят, открой!» — надсаживался человек за дверью. Но девушка была не робкого десятка. «Пусть себе орет!» — сказала она. Мы дали ему всласть накричаться. Вот только дверь моя несколько раз прогибалась, если он наваливался на нее всем телом.

Когда мы вдоволь насмеялись и над моими заплатками, и над ее женихом, она выслала меня посмотреть, нет ли кого в коридоре и можно ли ей без опаски уйти. В коридоре никого не было.

Час был поздний, я спустился вниз, там выпивал Гринхусен и еще несколько сплавщиков. «А, вот и он пожаловал!» — вскричал один, завидев меня. Наверно, это и был Хенрик, и он решил подбить своих приятелей. А Гринхусен от них не отставал и все пытался вывести меня из терпения.

Бедняга Гринхусен! Он теперь постоянно был во хмелю и уже не мог прочухаться. Он снова повстречался с инженером Лассеном, они вместе отправились вверх по реке, посидели и поболтали часок-другой, совсем как в тот раз, а вернувшись, Гринхусен показал нам еще две кроны. Он, разумеется, тут же набрался и громко хвастал таким доверием. Нынешним вечером он тоже был победоносно пьян, как полярный зимовщик, вернувшийся в порт. Нынешним вечером Гринхусен не дал бы спуску и самому королю.

— А ну, присаживайся, — сказал он.

Я сел.

Но кой-кто из сплавщиков не пожелал принять меня в свою компанию, и когда Гринхусен заметил это, он тут же перекинулся и, желая раздразнить меня, начал рассказывать про инженера и его кузину.

— Рассчитали тебя? — спросил он и подмигнул остальным, — мол, слушайте, что сейчас будет.

— Да, — ответил я.

— То-то! Я про это еще с каких пор знал, только говорить не хотел. Можно сказать, я узнал это раньше всех на свете, а ведь ни словечка не проронил. Инженер меня начал расспрашивать. «Дай мне совет, Гринхусен, ежели только ты согласен остаться в городе вместо человека, которого я рассчитаю». — «Как прикажете, господин инженер, так я и сделаю». Это я ему сказал. Прямо слово в слово. А ведь вы-то от меня ни звука не слышали.

— Тебя рассчитали? — спросил тогда один из сплавщиков.

— Да, — ответил я.

— А про сестру про эту инженер со мной тоже советовался, — продолжал Гринхусен. — Он без моих советов шагу не ступит, когда мы с ним последний раз к верховьям-то ходили, он прямо за голову хватался, когда о ней говорил. Да-с. А почему — сдохнете, не догадаетесь. Ей подавай и еду, и вина, и все самое дорогое, денег уходит пропасть каждую неделю, а уезжать она не желает. «Тьфу!» — это я ему сказал.

Должно быть, моя неудача расположила ко мне людей, одним, может, жалко меня стало, другие обрадовались, что я уезжаю. Какой-то сплавщик надумал меня угостить, велел служанке принести еще стакан — да смотри, чтоб чистый, поняла? Даже Хенрик и тот больше не держал зла и чокнулся со мной. Мы долго еще после сидели и беседовали.

— Сходи-ка ты за жалованьем, — посоветовал Гринхусен. — Инженер навряд ли явится к тебе с поклоном. «Ему кое-что с меня причитается, — так сказал инженер, — только пусть он не воображает, что я к нему явлюсь с поклоном и покорнейше попрошу взять расчет».

VIII

И все-таки инженер явился ко мне с поклоном и покорнейше меня попросил. Казалось бы, чего еще желать? Но я не искал этой победы, мне она была ни к чему.

Итак, инженер заглянул ко мне в комнату и сказал:

— Пожалуйста, зайди сейчас ко мне за своим жалованьем. Кстати, с почты принесли для тебя письмо.

Когда мы вошли к инженеру, я увидел там фру Фалькенберг. Я очень удивился, но отвесил ей поклон и застыл у дверей.

— Садись, пожалуйста! — сказал инженер и, подойдя к столу, взял письмо. — Вот, пожалуйста. Да ты садись, садись, здесь и прочтешь, а я тем временем подсчитаю, сколько тебе следует.

И сама фру Фалькенберг указала мне на стул.

Интересно, почему у них у обоих был такой встревоженный вид? Почему они вдруг стали такие обходительные и к каждому слову прибавляли «пожалуйста»? Загадка разъяснилась тотчас, письмо было от капитана Фалькенберга.

— Возьми! — И фру Фалькенберг протянула мне нож для бумаги.

Обычное письмо. Короткое, вполне дружеское, хотя начало слегка насмешливое.

В общем так: я уехал из Эвребё раньше, чем он ожидал, и перед отъездом не получил зажитое. Если я вообразил, будто у него денежные затруднения, будто он не сможет до осени со мной расплатиться, и потому так внезапно уехал, это было ошибкой с моей стороны, сейчас он просит меня как можно скорее вернуться в Эвребё, коль скоро я не связан другими обязательствами. Надо выкрасить дом и надворные строения, потом начнется осенняя пахота, и, наконец, он был

бы рад заполучить меня на рубку леса. Сейчас у них очень хорошо, на полях — высокий колос, в лугах — густые травы. «Не задержи ответ. С приветом. Капитан Фалькенберг».

Инженер уже кончил подсчет, он ерзал на стуле и смотрел куда-то вбок, потом, словно вспомнив что-то, опять уткнулся носом в бумаги. Он явно нервничал. Фру, стоя, разглядывала кольца у себя на руке, но, по-моему, она все время украдкой наблюдала за мной. Здорово оба струхнули!

Наконец инженер сказал:

— Так что я хотел спросить? Ах да: письмо, кажется, от капитана Фалькенберга, ну, как он там поживает? Я, собственно, узнал почерк.

— Хотите прочесть? — предупредительно спросил я и тотчас протянул ему письмо.

— Нет, нет, спасибо, зачем же, я просто...

Но письмо взял. А фру подошла к нему и, покуда он читал, заглядывала через его плечо.

— Так, так. — Инженер кивнул. — Значит, все в порядке. Спасибо. — И он хотел было вернуть письмо мне.

Но тут фру взяла письмо и начала читать его уже самолично. Письмо чуть дрожало у нее в руках.

— А это тебе за работу,— сказал мне инженер. — Пожалуйста, возьми свои деньги. Не знаю, право, угодил ли я тебе.

— Да, спасибо.

Инженер, по-моему, испытал большое облегчение, когда узнал, что в письме речь идет только обо мне и больше ни о ком; на радостях он решил позолотить пилюлю:

— Вот и хорошо. А если ты когда-нибудь снова окажешься в наших краях, ты знаешь, где меня найти. Сплавной сезон все равно закончился, засуха какая была, сам видел.

А фру все читала. Вернее, не читала, потому что глаза у нее застыли, она просто устремила взгляд на письмо и о чем-то думала. Интересно, о чем она могла думать.

Инженер нетерпеливо поглядел на нее и сказал с усмешкой:

— Дорогая, уж не надумала ли ты выучить это письмо наизусть? Ведь человек ждет.

— Ах, извини, — сказала фру и протянула мне письмо торопливо и смущенно. — Я просто забылась.

— Да, уж не иначе, — заметил инженер.

Я поклонился и вышел.

Летними вечерами на мосту полно гуляющих — учителя и торговцы, девицы на выданье, дети; я дожидаюсь позднего часа, когда мост опустеет, я тоже иду туда, останавливаюсь,

внимая рокоту, и стою час, а то и два. Собственно, мне больше нечего делать, кроме как слушать шум потока, но мозг мой настолько освежен праздностью и хорошим сном, что сам изыскивает бесчисленное множество мелочей, которыми можно заняться. Вчера, например, я вполне серьезно решил сходить к фру Фалькенберг и сказать ей: «Фру, уезжайте отсюда первым же поездом!» Сегодня я высмеял себя за эту сумасбродную идею и выдвинул другую: «Мой милый! Лучше сам уезжай отсюда первым же поездом. Кто ты ей, друг и советчик? Отнюдь, а человек должен вести себя сообразно своему положению».

Нынешним вечером я снова воздаю себе по заслугам. Я начинаю что-то напевать, но сам почти не слышу своего голоса — его заглушает рев водопада. «Смотри же, всякий раз, когда вздумаешь петь, ступай к водопаду», — говорю я себе уничижительным тоном и тут же смеюсь над собой. Вот на какие ребячества я убиваю время.

Вдали от моря водопад служит для ушей ту же службу, что и прибой, но прибой может усиливаться и ослабевать, а шум водопада — это как бы туман для слуха, его монотонность невероятна, бессмысленна, это воплощение идиотизма. Который час? Нет, что вы! Что сейчас, день или ночь? Да, конечно. Если положить камень на двенадцать клавиш орга́на, а потом уйти своей дорогой, получится то же самое. Вот на какие ребячества я убиваю время.

— Добрый вечер! — говорит фру Фалькенберг, приблизясь ко мне.

Я не очень удивился, будто ждал ее. Если она так вела себя, когда читала письмо мужа, можно было предугадать, что она пойдет еще дальше.

Ее приход можно объяснить двояко: либо она расчувствовалась, когда ей так прямо напомнили о доме, либо решила пробудить ревность инженера; возможно, что в эту минуту он стоит у окна и глядит на нас, а ведь меня приглашают в Эвребё. А может быть, она действует продуманней и тоньше и хотела вызвать ревность инженера уже вчера, когда читала и перечитывала письмо капитана.

Как видно, ни одна из моих глубокомысленных догадок не соответствовала истине. Фру Фалькенберг хотела видеть именно меня, она хотела как бы извиниться за то, что послужила причиной моего увольнения. А ведь, казалось бы, такой пустяк совсем не должен ее занимать. Неужели она настолько легкомысленна, что даже не способна понять, как худо ей самой? И какого черта я ей понадобился?

Я хотел ответить ей коротко и намекнуть относительно поезда, но потом вдруг расчувствовался, ибо предо мной было дитя, не ведающее, что творит.

— Ты теперь поедешь в Эвребё, — так начала она, — вот мне и хотелось бы... Гм-гм. Ты, должно быть, огорчен, что приходится уезжать отсюда, верно? Не огорчен? Нет, нет. Ты ведь не знаешь, что тебя рассчитали из-за меня, потому что...

— Это не играет роли.

— Нет, нет. Но теперь ты все знаешь. Я хотела сама все тебе объяснить, прежде чем ты уедешь в Эвребё. Ты ведь сам понимаешь, мне было не совсем приятно, что ты...

Она замялась.

— Что я здесь. Да, вам это было очень неприятно.

— ...что я тебя вижу. Чуть-чуть неприятно. Потому что ты знал, кто я. Вот я и просила инженера рассчитать тебя. Ты не думай, он не хотел, но все-таки выполнил мою просьбу. А я очень рада, что ты поедешь в Эвребё.

Я сказал:

— Но если вы вернетесь домой, вам будет столь же неприятно видеть меня там.

— Домой? — переспросила фру. — Я не вернусь домой.

Пауза. Она нахмурила брови, когда говорила эти слова. Потом кивнула мне, слабо улыбнулась и хотела уйти.

— Я вижу, ты простил меня! — добавила она.

— Вам нисколько не будет неприятно, если я поеду к капитану? — спросил я.

Она остановилась и взглянула на меня в упор. Как это понять? Трижды она помянула в разговоре Эвребё. Хочет ли она, чтобы я, при случае, замолвил там за нее словечко? Или, напротив, не желает чувствовать себя моей должницей, если я ради нее откажусь от приглашения?

— Нет, нет, мне не будет неприятно. Поезжай.

И она ушла.

Значит, фру Фалькенберг вовсе не расчувствовалась, и расчета у нее тоже никакого не было, сколько я мог понять. А может, было и то и другое сразу? К чему привела моя попытка вызвать ее на откровенность? Мне следовало быть умнее и не предпринимать такой попытки. Здесь ли она останется, переедет ли куда-нибудь еще — это не мое дело. Пусть так.

Ты ходишь и вынюхиваешь, сказал я себе, ты воображаешь, будто она для тебя не более чем книжная выдумка, но вспомни, как расцвела твоя увядшая душа, когда ее глаза взглянули на тебя. Мне стыдно за тебя! Чтоб завтра же здесь и духу твоего не было.

Но я не уехал.

Правда, святая правда, я ходил и вынюхивал повсюду, лишь бы узнать что-нибудь про фру Фалькенберг, а по ночам — и не один раз — я осыпал себя упреками и казнил презрением. С раннего утра я думал о ней: проснулась ли она? Хорошо ли ей спалось? Не уедет ли она сегодня домой? Одновременно я вынашивал всевозможные планы: а нельзя ли мне устроиться на работу в тот отель, где она живет? А не стоит ли написать домой, чтобы мне выслали приличное платье, заделаться джентльменом и снять номер в том же отеле? Эта последняя идея могла все испортить и больше, чем когда бы то ни было, отдалить меня от фру Фалькенберг, но я вдохновился ею чрезвычайно — настолько глуп я был. Я сдружился с рассыльным из отеля только потому, что он жил к ней ближе, чем я. Это был сильный, рослый парень, он ходил встречать поезда и каждые две недели препровождал в отель какого-нибудь коммивояжера. Он не мог бы снабжать меня новостями, я его не выспрашивал и не подстрекал рассказать что-нибудь по своей охоте. К тому же он был некрепок умом, но зато он жил с ней под одной крышей — этого у него не отнимешь. И как-то раз моя дружба с рассыльным привела к тому, что я услышал много интересного о фру Фалькенберг, и вдобавок из ее собственных уст.

Значит, не все дни в этом маленьком городе прошли зря.

Однажды утром я вместе с рассыльным ехал со станции; утренним поездом прибыл какой-то важный путешественник; чтобы доставить в отель его тяжелые серые чемоданы, понадобилась лошадь и дроги.

Я помог рассыльному погрузить чемоданы. Когда же мы подъехали к отелю, он поглядел на меня и сказал: «Сделай милость, помоги мне перенести эти чемоданы, а вечером я тебе поставлю бутылку пива».

Ну, мы внесли чемоданы. Их надо было поднять на второй этаж в багажную кладовую, приезжий уже дожидался там. Для нас это не составило труда. Мы оба были парни дюжие — что рассыльный, что я.

Когда на дрогах оставался всего один чемодан, приезжий задержал рассыльного и дал ему какое-то срочное поручение. Я вышел из кладовой и остановился в коридоре; будучи здесь человеком чужим, я не хотел в одиночку разгуливать по отелю.

Тут отворилась дверь инженерского номера, и оттуда вышел сам инженер вместе с фру Фалькенберг. Должно быть, они недавно встали, оба были без шляп и скорей всего спешили к завтраку. То ли они не заметили меня, то ли заметили, но приняли за рассыльного, во всяком случае, они спокойно продолжали разговор, начатый еще раньше. Он говорил:

— Вот именно. И так будет всегда. Одного не пойму — почему ты считаешь себя покинутой.

— Ты прекрасно все понимаешь, — отвечает фру.

— Представь себе, не понимаю. И мне кажется, что тебе не грех быть повеселее.

— Ничего тебе не кажется. Тебе доставляет удовольствие, что я грустная. Что я страдаю, что я несчастна, что я отвергнута тобой.

— Ей-богу, ты не в своем уме! — И он останавливается на ступеньке.

— Вот здесь ты прав, — отвечает она.

Ах господи, как она неудачно ему ответила. Никогда, ни в одном споре она не может одержать верх. Ну что ей стоит взять себя в руки, ответить ему резко и язвительно?

Он стоял, поглаживая рукой перила, потом он сказал:

— Значит, по-твоему, мне доставляет удовольствие, что ты грустная? Если хочешь знать, меня это очень удручает. И уже давно удручает.

— Меня тоже, — говорит она. — Но теперь пора положить этому конец.

— Так, так. Это ты уже не раз говорила. И на прошлой неделе тоже.

— А теперь я уеду.

Он поднял глаза.

— Уедешь?

— Да, и очень скоро.

Тут ему, должно быть, стало неловко, что он так ухватился за эту мысль, даже радость не мог скрыть. И он сказал ей:

— Будь лучше славной и веселой кузиной, тогда и уезжать незачем.

— Нет, я уеду. — И она обошла его и спустилась вниз по лестнице.

Он поспешил за ней.

Но тут появился рассыльный, и мы вместе вышли. Последний чемодан был поменьше остальных, я сказал рассыльному, чтобы он сам его внес, а я, мол, повредил руку. Я еще пособил ему взвалить чемодан на спину и ушел домой. Теперь я мог уехать хоть завтра.

В этот же день рассчитали и Гринхусена. Инженер его вызвал и отругал за то, что он ничего не делает и пьет без просыпу, — такие работники ему не нужны.

Я подумал: как быстро инженер воспрянул духом! Он ведь совсем молоденький, ему нужен был утешитель, который бы ему во всем поддакивал; но теперь некая докучная кузина скоро уберется восвояси, значит, потребность в утешении отпадает. Или я по старости несправедлив к нему?

Гринхусен был поистине раздавлен. Он-то надеялся провести в городе все лето, сделаться правой рукой инженера, выполнять всякие поручения, и вот на́ тебе. Нет, теперь уже не скажешь, что инженер ему все равно как отец родной. Гринхусен тяжко переживал свое огорчение. Рассчитываясь с Гринхусеном, инженер пожелал вычесть из его жалованья обе монеты по две кроны, которые дал ему раньше, под тем предлогом, что они-де были выданы именно в счет жалованья, как аванс. Гринхусен сидел внизу, в трактире, рассказывал про свои обиды и не преминул добавить, что и вообще-то инженер рассчитался с ним как сущий жмот.

Тут кто-то расхохотался и спросил:

— Да неужто? И ты так за здорово живешь отдал обе монеты?

— Нет, — отвечал Гринхусен, — обе-то он не посмел отобрать, взял одну только.

Хохот усилился, и Гринхусена спросили:

— А которую он у тебя отобрал — первую или вторую? Господи, помереть можно, до чего смешно!

Но Гринхусен не смеялся, он все глубже и глубже погружался в свою скорбь. Как теперь быть? Батраки, поди, давно уже все наняты, а он болтается тут как неприкаянный. Он спросил, куда я собираюсь. Я ему ответил. Тогда он спросил, не могу ли я замолвить за него словечко перед капитаном Фалькенбергом насчет лета. А он, пока суд да дело, останется в городе и будет ждать моего письма.

Но если бросить Гринхусена в городе, он быстро порастрясет свою мошну. Вот я и решил, что лучше всего сразу взять его с собой. Если и в самом деле придется красить, лучше работника, чем мой дружок Гринхусен, не сыскать — я своими глазами видел, как здорово он расписал дом старой Гунхильды на острове! И здесь он мне подсобит. А потом, глядишь, и другое дело найдется — мало ли работы в поле, на все лето хватит.

Шестнадцатого июля я снова был в Эврebё! День ото дня я все лучше запоминаю даты, отчасти потому, что во мне пробудился с возрастом старческий интерес к датам, отчасти потому, что я человек рабочий и мне приходится держать в голове сроки и числа. Но покамест старец бережно хранит в памяти даты, от него ускользают дела куда более важные. Вот и сейчас, например, я совсем забыл рассказать, что письмо-то от капитана Фалькенберга было выслано на адрес инженера Лассена. Да, да. Мне это обстоятельство показалось очень знаменательным. Стало быть, капитан навел справки, у кого я работаю. Я даже подумал про себя: а что, если ка-

питану известно, кто, кроме меня, проживает по тому же адресу?

Капитан еще не вернулся с учений, его ждали через неделю; тем не менее Гринхусена встретили с распростертыми объятиями. Нильс, старший работник, был от души рад, что я прихватил приятеля, он сразу решил не отдавать Гринхусена мне в подручные, когда я буду красить дом, а тотчас, на свой страх и риск, велел ему заняться картошкой и турнепсом. В поле пропасть работы, надо полоть, надо прореживать! И к тому же сенокос в разгаре!

Нильс был все такой же расторопный земледелец! В самый первый перерыв, когда кормили лошадей, он повел меня за собой и показал мне луга и поля. Все было в отменном порядке, но весна нынче выдалась поздняя, и потому тимофеевка еле-еле начала колоситься, а клевер еще только зацветал. После недавнего дождя трава полегла и местами так и не встала, и Нильс отправил на луга работника с косилкой.

Мы шли домой через волнистые луга и поля; тихо шептались колосья озимой ржи и густого шестирядного ячменя, и Нильс вспомнил засевшие в памяти со школьных времен дивные строки Бьёрнсона:

Словно шепот по ржи летним днем пробежал...

— Э, да мне пора выводить лошадей, — сказал Нильс и заторопился. Потом на прощанье обвел рукой поля и добавил:

— Ну и урожай будет, если уберемся в срок!

Итак, Гринхусена поставили на полевые работы, а я принялся малярничать. Сперва я загрунтовал олифой ригу и те постройки, которые собирался выкрасить в красный цвет, потом — флагшток и беседку в кустах сирени. Господский дом я оставил напоследок. Дом был выстроен в старинном добром стиле сельских усадеб с тяжелыми, солидными стропилами и коринфским медальоном над парадными дверьми. Сейчас он был желтого цвета, и капитан снова купил желтую краску, но я решил на свой страх и риск вернуть ту желтую краску поставщику и затребовать вместо нее какую-нибудь другую. На мой вкус, я бы выкрасил дом в темно-серый цвет, а рамы, переплеты и двери сделал бы белыми. Впрочем, пусть уж решает капитан.

Хотя люди здесь держались приветливо, как только могли, хотя стряпуха правила кротко и неназойливо, а у Рагнхильд все так же блестели глаза, мы чувствовали отсутствие хозяев. Только добряк Гринхусен ничего не чувствовал. Ему дали работу, его хорошо кормили, и он в несколько дней сде-

лался довольный и толстый. Одно лишь портило ему настроение — он боялся, как бы капитан не выставил его, когда вернется.

Но Гринхусена не выставили.

IX

Капитан вернулся.

Я грунтовал ригу по второму разу, но когда услышал его голос, слез с лестницы. Он поздравил меня с возвращением.

— Ты почему без денег уехал? — спросил он. — С чего это ты вздумал? — И, как мне показалось, глянул на меня с подозрением.

Я коротко и спокойно объяснил, что у меня и в мыслях не было благотворить господину капитану. А деньги здесь целей будут.

Тут взгляд его просветлел, и он сказал:

— Да, да, конечно. Хорошо, что ты приехал. Флагшток белым покрасим, верно?

Я не рискнул сразу перечислить все, что я задумал выкрасить в белый цвет, и ответил так:

— Белым. Я уже заказал белую краску.

— Уже? Вот и молодец. Ты с товарищем приехал, как мне доложили?

— Да. Не знаю только, что вы на это скажете, господин капитан.

— Пусть остается. Ведь Нильс уже приставил его к работе. Ваш брат все равно распорядится по-своему, — пошутил он. — Ты на сплаве работал?

— На сплаве.

— Ну, для тебя это вряд ли подходящее занятие.

Но тут он, должно быть, решил, что лучше ему не выспрашивать, как мне работалось у инженера, и круто переменил разговор.

— Когда ты возьмешься за дом?

— После обеда. Сперва нужно соскрести старую краску.

— Так, так. И вбей несколько гвоздей, где увидишь, что обшивка отстала. А в поле ты уже был?

— Был.

— Там все в порядке. Вы на славу поработали весной. Теперь не помешал бы хороший дождик, особенно тем полям, что на взгорке.

— Мы с Гринхусеном проходили через такие места, где дождь гораздо нужней. Здесь хоть и взгорки, а подпочва-то глинистая.

— Твоя правда. Кстати, откуда ты это знаешь?

— Да так, весной присмотрелся, — ответил я. — И копнул кой-где. Мне подумалось, что господин капитан рано или поздно захочет устроить водопровод у себя в усадьбе, вот я и посмотрел, где есть вода.

— Водопровод? Да, верно, я и сам об этом подумывал, вот только... Я еще несколько лет назад об этом думал... Но нельзя же все сразу. И обстоятельства были всякие... А нынче осенью мне деньги на другое понадобятся.

На мгновение между бровями у него легла складка, он опустил глаза и задумался.

— Ба, да ежели вырубить тысячу дюжин, я не только водопровод сделаю, но, может, и еще что в придачу, — вдруг сказал он. — Так ты говоришь, водопровод? Уж тогда и в дом, и во все надворные постройки, целую сеть, верно?

— Взрывать грунт вам не придется.

— Ты думаешь? Ну, посмотрим, посмотрим. Да, так про что я говорил: тебе в городе, должно быть, понравилось? Городок-то сам небольшой, но жителей в нем порядочно. И приезжие бывают.

«Да, — подумал я, — ему известно, кто приехал этим летом к инженеру Лассену». Я ответил сущую правду — что лично мне в городе совсем не понравилось.

— Совсем нет? Н-да.

Так, будто слова мои дали ему серьезный повод для размышлений, капитан уставился взглядом в одну точку, что-то насвистывая себе под нос. Потом он ушел.

Капитан явно вернулся в хорошем настроении, он даже стал общительней, чем раньше. Уходя, он не забыл кивнуть мне. Теперь я снова узнавал его, энергичного и собранного, рачительного хозяина, трезвого как стеклышко. У меня у самого настроение стало лучше. Нет, теперь он не казался отпетым гулякой, правда, он раскрыл на время двери своего дома для разгула и безумия, но первое же серьезное испытание положило этому конец. Ведь и весло в воде кажется надломленным, а на самом деле оно целехонько.

Начались дожди, малярные работы пришлось на время бросить. Нильсу посчастливилось еще до дождей убрать скошенное сено под крышу, теперь все мужчины и все женщины из усадьбы встали на картошку.

Капитан тем временем сидел дома, один, порой он открывал со скуки рояль фру и пробегал пальцами по клавишам, иногда наведывался к нам в поля, даже без зонтика, и промокал насквозь.

— Эх, и хороша погодка для почвы! — говорил он. Или: — Такой дождь к урожаю! — А потом он возвращался домой, к себе и к своему одиночеству.

Нильс говорил: «Нам гораздо лучше, чем ему».

С картофелем мы покончили, взялись за турнепс. А когда мы и с турнепсом разделались, дождь начал утихать. Погодка как на заказ, урожайная. Мы оба, Нильс и я, так радовались, будто Эвребё принадлежало нам.

Теперь все силы были брошены на сенокос. Девушки шли за машинами и расстилали скошенную траву, а Гринхусен подчищал косой там, куда машина не могла добраться. Я же красил в темно-серый цвет господский дом.

Подошел капитан и спросил:

— Это что за краска?

Что тут было отвечать?! Я и струхнул немного, а главное — очень уж боялся, что капитан категорически запретит мне красить дом в серый цвет. Вот я и сказал:

— Да просто так — сам не знаю, — мы таким цветом всегда грунтуем...

Капитан больше ничего не спросил, а я получил, по крайней мере, отсрочку.

Выкрасив дом в серый цвет, а двери и оконные переплеты в белый, я перешел к беседке и сделал ее точно так же. Но цвет получился премерзкий, старая желтая краска проступала из-под серой, и стены вышли какие-то бурые. Флагшток я снял и выкрасил белой краской. Потом я снова поступил под начало к Нильсу и поработал несколько дней на сушке сена. Тем временем настал август.

Когда я принялся по второму разу красить господский дом, я решил, что начну ранним утром и успею сделать бóльшую часть работы — так сказать, необратимую часть — еще до того, как проснется капитан. И вот я встал в три утра; выпала роса, стены пришлось обтирать мешком. Работал до четырех, потом напился кофе, после кофе работал без перерыва до восьми. Я знал, что капитан обычно встает в восемь, тут я бросил все как есть и часок-другой подсоблял Нильсу. Я успел сделать сколько хотел, а убрался от греха подальше с единственной целью дать капитану время немного свыкнуться с серым цветом, на случай, если он встанет не с той ноги.

После второго завтрака я снова влез на лестницу и принялся красить как ни в чем не бывало. Подошел капитан.

— Ты что это, опять серым? — так начал он.

— Здравствуйте, господин капитан. Да. Уж и не знаю...

— Это что еще за фокусы? А ну, слезай!

Я слез. Но смущения больше не испытывал; у меня было в запасе несколько словечек, которые, как мне казалось, могли выручить меня, на крайний случай. Если, конечно, я не ошибался в своих расчетах.

Сперва я пытался внушить капитану, что при второй покраске цвет в общем-то особой роли не играет, но он не дал мне договорить.

— Как же не играет. Желтое на сером смотрится безобразно, неужели ты сам не понимаешь?

— Тогда, может, стоило бы дважды покрыть желтым?

— В четыре слоя? Дудки. А сколько ты ухлопал цинковых белил! Да знаешь ли ты, что они гораздо дороже, чем охра?

Капитан был совершенно прав. Этих доводов я и боялся все время. И сказал напрямик:

— Тогда позвольте мне, господин капитан, выкрасить дом в серый цвет.

— В серый? — удивился он.

— Это требует сам дом. Его местоположение — на фоне зеленых лесов. Я не умею вам объяснить, господин капитан, но у дома есть свой стиль...

— Серый стиль?

Он сделал от нетерпения несколько шагов назад, потом снова вплотную подошел ко мне.

Тут я принял совсем уж невинный вид, а мудрость мне, должно быть, ниспослали небеса.

Я сказал:

— Ах, батюшки! Наконец-то вспомнил! Да я же все время представлял себе дом именно серым. Эту мысль внушила мне ваша супруга.

Я пристально следил за ним: сперва его словно что-то кольнуло, он воззрился на меня, потом достал носовой платок и вытер глаза, будто смахнул соринку.

— Она? — переспросил он. — Она так говорила?

— Да, да, как сейчас помню. Хоть и давненько это было.

— Более чем странно! — сказал он и повернулся ко мне спиной. Потом со двора донесся его кашель.

Прошло еще сколько-то времени, а я стоял и не знал, за что приняться. Красить дальше я опасался — как бы не рассердить капитана. Я сходил в сарай, наколол дров, а когда вернулся к своей лестнице, капитан выглянул из открытого окна на втором этаже и крикнул:

— Да уж ладно, крась дальше, раз все равно полдела сделано! В жизни не видел ничего подобного! — И он захлопнул окно, хотя до того оно было распахнуто настежь.

Я и красил дальше.

Прошла неделя, я работал попеременно то на покраске, то на сушке сена. Гринхусен хорошо окучивал картофель и ловко сгребал сено, а навивать на возы совсем не умел. Зато у Нильса работа так и горела в руках.

Когда я наносил третий слой краски, когда серые стены с белыми рамами уже придали дому вид изысканный и благородный, ко мне как-то днем подошел капитан. Некоторое время он молча наблюдал за мной, потом достал платок, словно жара его вконец доконала, и сказал:

— Ну раз ты зашел так далеко, пусть будет серый. Признаюсь тебе честно, у нее неплохой вкус, если она так сказала. Хотя все это очень странно. Гм-гм.

Я не отвечал.

Капитан вторично обтер лицо носовым платком и сказал:

— Ну и жарынь сегодня! Да, так о чем я говорил, получается-то в общем недурно, очень даже недурно. Она была права — я хочу сказать, ты удачно подобрал краски. Я как раз глядел снизу — ей-богу, красиво. Да и не переделывать же, когда так много сделано.

— Вы совершенно правы, господин капитан. Этот цвет очень подходит для дома.

— Да, да, можно сказать, что подходит. А про лес она тоже говорила? Я имею в виду свою жену. Про местоположение на фоне зелени?

— Времени много прошло. Но мне помнится, что она и про лес говорила.

— Впрочем, это не важно. Скажу тебе честно, я не ожидал, что так получится. Здорово. Боюсь только, тебе не хватит белой краски.

— Хватит. Кхм-кхм. Желтую-то я сменял на белую.

Капитан засмеялся, покачал головой и ушел.

Итак, я не обманулся в своих расчетах.

Пока сушка сена не подошла к концу, она отнимала у меня все время. Зато Нильс по вечерам помогал мне, и беседку выкрасил именно он. Даже Гринхусен по вечерам брался за кисть. Способностей к этому делу у него не было, чего нет, того нет, он и сам это знал, но я все же мог доверить ему загрунтовать стену. Да, Гринхусен теперь снова воспрянул духом.

И вот все строения покрылись новой краской и похорошели до неузнаваемости; мы вычистили заросли сирени и маленький парк, и усадьба словно помолодела. Капитан от всей души поблагодарил нас.

Когда пришло время убирать рожь, начались осенние дожди; но мы не прекратили уборку, тем более что иногда все-таки выглядывало солнце. Мы успели просушить почти все.

У нас были большие поля с густыми наливными колосьями ржи, поля овса и ячменя, до сих пор не вызревшего. Хозяйство обширное. Клевер уже вышел в семя, а вот турнепс уродился плоховат. Корни подкачали, по словам Нильса.

Капитан часто посылал меня отвезти и доставить почту. Однажды я отвез на станцию его письмо к фру. Он дал мне в тот раз довольно много писем, и это лежало в самой середине, на конверте стоял адрес ее матушки в Кристианссанн. Когда я вечером приехал домой, капитан встретил меня вопросом:

— Ты все письма отправил?

— Все, — ответил я.

Прошло еще сколько-то дней. Капитан приказал мне в дождливые дни, когда все равно в поле много не наработаешь, покрасить кое-что внутри дома. Он показал мне лаковые краски, которые приобрел для этого дела, и сказал:

— Сперва займись лестницей. Лестница пусть будет белая, я уже заказал к ней ковровую дорожку бордового цвета. Потом — окна и двери. Но смотри поторапливайся, я и так пропустил все сроки.

Я от всей души одобрил мысль капитана. Много лет он ходил, и посвистывал, и поплевывал на то, как выглядит его дом. Теперь у него открылись глаза, он как бы пробудился от спячки. Он провел меня по обоим этажам, показал все, что нужно выкрасить заново. Следуя за ним, я видел множество картин и бюстов, большого мраморного льва, картины Аскеволя и даже великого Даля. То были, должно быть, фамильные сокровища. Комната фру на втором этаже казалась вполне обжитой, каждая мелочь лежала на своем месте, платья висели где положено. Весь дом имел вид старинный и благородный, потолки с лепниной, на стенах, правда не всюду, штофные обои, но роспись где поблекла, а где и вовсе отстала. Лестница широкая и пологая, с площадками и с перилами красного дерева.

Когда я красил лестницу, ко мне однажды подошел капитан:

— В поле сейчас самая уборка, но ведь и здесь дело не терпит — скоро приедет моя жена. Просто не знаю, как быть. Уж очень хотелось бы привести дом в порядок.

«Значит, в том письме он попросил ее вернуться! — подумал я и продолжал развивать свою мысль: — Прошло несколько дней, как я отправил его письма, с тех пор я не раз бывал на почте, но ответа от фру я ему не привозил, а мне ее почерк знаком уже, слава богу, шесть лет. Наверное, капитан думает, что, если он сказал ей: «Приезжай», — она

сразу возьмет и приедет. А может, он и прав, может, она уже собирается в дорогу. Почем мне знать».

И так спешно надо было кончать окраску, что капитан самолично сходил на вырубку за Ларсом и велел ему выйти в поле вместо меня. Нильс, к слову сказать, был не в восторге от такой замены. Наш добряк Ларс страсть как не любил выслушивать чужие распоряжения там, где некогда распоряжался он сам.

Но с окраской, как выяснилось, можно было и повременить. Капитан несколько раз посылал мальчишку на почту, я подкарауливал его на обратном пути — письма от фру он так и не привез. Должно быть, она решила не возвращаться, дело могло повернуться и так. А может, она чувствовала себя опозоренной, и гордость не позволяла ей ответить на призыв мужа. Так тоже могло повернуться.

Краска была вовремя нанесена и высохла, и ковер прибыл, и был уложен, и прижат медными прутьями, и лестница засияла, как ясный день, и окна и двери тоже засияли так, что залюбуешься, а фру не вернулась. Нет, нет.

Мы убрали рожь и вовремя взялись за ячмень, а фру не вернулась. Капитан ходил по дороге взад и вперед и насвистывал, он вдруг как-то осунулся. А сколько раз, бывало, он часами глядел, как мы работаем в поле, и не произносил ни слова. Если Нильс его о чем-нибудь спрашивал, он словно возвращался мыслями из какой-то дальней дали, но отвечал не мешкая и всегда толково. Нет, он не был сломлен, а если мне и казалось, что он поосунулся, так это, может, потому, что Нильс его подстриг.

Потом за почтой отправили меня, и в этой почте было письмо от фру. На конверте стоял штемпель Кристианссанна. Я поспешил домой, засунув письмо в середину пачки, и передал всю почту капитану прямо посреди двора. «Спасибо», — сказал он, и вид у него был вполне спокойный, он уже привык к напрасному ожиданию. «Ты не видел, у соседей уже убрались? А как дорога?» — спрашивал он, просматривая письмо за письмом. В ту минуту, когда я отвечал на этот вопрос, он увидел письмо от фру и, смешав всю пачку, начал расспрашивать меня еще более подробно. Он превосходно владел собой и не желал выдавать свое волнение. Перед уходом он поблагодарил меня и еще раз кивнул.

На другой день капитан собственноручно вымыл и смазал ландо. Но понадобилось оно ему только через два дня. Вечером, когда мы сидели и ужинали, капитан вошел в людскую и сказал, что завтра утром ему нужен один работник для поездки на станцию. Он и сам тоже поедет, потому что надо встречать фру, которая вернулась из-за границы. На

случай дождя он хочет взять ландо. Нильс решил, что легче всего ему будет обойтись без Гринхусена.

Мы, оставшиеся, как всегда, вышли в поле. Работы было невпроворот — не считая ржи и ячменя, до сих пор еще не убранного под крышу, нас дожидался невыкопанный картофель и турнепс. Но нам помогала и скотница и Рагнхильд, а обе они были молодые и ретивые.

Мне было бы в охотку поработать бок о бок с Ларсом Фалькенбергом, старым моим дружком, но Ларс и Нильс не ладили между собой, и настроение в поле царило мрачное и подавленное. Свою былую неприязнь ко мне Ларс как будто преодолел, но рявкал и злился на всех из-за Нильса.

Нильс приказал ему запрячь пару гнедых и начать осеннюю пахоту. Ларс из упрямства отказался. Он-де не слыхивал, чтоб люди принимались за пахоту, не убрав урожай под крышу. Твоя правда, ответил ему Нильс, но мы, уж так и быть, отыщем для тебя хоть одно поле, с которого убрано все подчистую.

Снова перебранка. Ларс говорит, что в Эвребё нынче пошли дурацкие порядки. В былые-то времена он и с работой управлялся, и господам пел, а нынче что? Глядеть тошно. «Это ты про осеннюю вспашку, что ли?» — «Да, покорно вас благодарю». — «Тебе не понять, — говорит ему Нильс, — ты небось и слыхом не слыхал, что нынче все пашут между сенокосом и сушкой?» — «Больно мудрено для меня. — И Ларс закатил глаза. — Благо, ты у нас все понимаешь». Вот остолоп!

Но Ларс, конечно, не посмел отказаться наотрез, и дело кончилось тем, что он согласился пахать до возвращения капитана.

Тут я припомнил, что, уезжая, оставил у Эммы кой-какое бельишко, но решил не ходить за ним на вырубку, покуда Ларс такой ершистый.

X

Через день приехал капитан с супругой. Мы, то есть Нильс и я, посоветовались, не поднять ли флаг. Лично я не стал бы этого делать, но Нильс не разделял моих сомнений и флаг поднял. На белом флагштоке гордо взвилось яркое полотнище.

Когда господа вышли из экипажа, я стоял неподалеку. Фру обошла весь двор, осмотрела постройки, всплескивая руками. Я слышал ее восхищенные возгласы, когда она всту-

пила в прихожую, — должно быть, увидала лестницу с красным ковром.

Не успев толком развести лошадей по стойлам, Гринхусен примчался ко мне с видом безмерного удивления и отвел меня в сторонку посекретничать:

— Быть этого не может! Какая же это фру Фалькенберг? Неужто капитан женат на ней?

— Да, дорогой Гринхусен. Капитан женат на своей жене. А почему ты спрашиваешь?

— Но ведь это же кузина, голову даю на отсечение, что это она! Это же кузина нашего инженера!

— Ох, Гринхусен, Гринхусен! Хоть бы и кузина, дальше-то что?

— Голову даю на отсечение, что я встречал ее у инженера, и не раз.

— Может, она и кузина ему. Какое нам с тобой дело до этого?

— Я сразу ее узнал, едва она из поезда вышла. Она тоже на меня поглядела и вся вздрогнула. Она долго так стояла, у нее прямо дух захватило. А ты еще будешь мне зубы заговаривать... Только я вот чего не понимаю... Она, значит, отсюда?..

— Какой тебе показалась фру? Грустной или веселой? — спросил я.

— Не знаю. Нет, да, ей-богу, это она. — Гринхусен покачал головой. Он никак не мог понять, что фру и кузина — одно лицо. — А ты, разве ты не встречал ее у инженера? — спросил он. — Разве ты не узнал ее?

— Какая она была, веселая или грустная?

— Веселая? Пожалуй, что и веселая. А мне почем знать. Уж больно странные разговоры они вели по дороге, они еще на станции начали эти разговоры. Я иногда ни словечка не понимал. «Теперь все дело в том, сумею ли я найти нужные слова, — это она ему говорит, — но я всем сердцем хочу попросить у тебя прощения». — «И я тоже», — это он ей отвечает. Ну, ты когда-нибудь слышал про такое? А по дороге оба сидели и плакали, вот ей-богу. «Я, знаешь, дом покрасил и вообще кое-что подновил». А она ему: «Вот как?» Потом разговор зашел про какие-то ее вещи, что они все в неприкосновенности; уж и не знаю, про какие вещи они толковали: «Мне кажется, все они лежат там, где лежали». Ну, ты когда-нибудь слышал про такое?! «Твои вещи», — это он ей сказал. А потом он и говорит ей, что ту, которую звали Элисабет, он давно выкинул из головы и вообще никогда в голове не держал, так вроде можно было его понять. А фру как расплакалась после этих слов и прямо места себе не на-

ходила. Только она ничего не говорила, ни про какую поездку за границу, помнишь, капитан-то рассказывал. Знамо дело, она приехала от инженера.

Тут я подумал, что мне, пожалуй, не следовало брать Гринхусена в Эвребё. Сейчас уже поздно жалеть, но все-таки я пожалел об этом. И без обиняков сказал Гринхусену все, что я думаю.

— Заруби себе на носу, — сказал я, — что все мы не видели от фру ничего, кроме добра, и от капитана тоже. И если ты вздумаешь трепать своим длинным языком, ты пулей вылетишь отсюда. Советую тебе подумать; место здесь хорошее, жалованье хорошее, еда тоже. Помни об этом и держи язык за зубами.

— Твоя правда, да-да, — как-то уклончиво ответил Гринхусен. — Так ведь я ничего и не говорю, я сказал только, что она как две капли воды похожа на ту самую кузину. А больше я ничего не сказал. Первый раз встречаю такого человека, как ты! Ежели вглядеться, у этой вроде бы и волосы чуть посветлей, чем у кузины, я ж не говорю, что у них одинаковые волосы. И отродясь не говорил. А коли ты хочешь знать, чего я думаю, так я тебе скажу без утайки, та кузина, по-моему, нашей фру и в подметки не годится. Провалиться мне, коли я хоть минуту думал другое. Где это видано, чтобы благородная дама приходилась кузиной такому типу, я и врагу этого не пожелаю. Не из-за денег, ты ведь сам знаешь, мы с тобой не такие, кто из-за кроны готов удавиться, но с его стороны это неблагородно — сунуть мне в руку две кроны, а потом вычесть их при окончательном расчете. Вот. Больше ты от меня ни звука не услышишь. Но таких людей, каким стал ты за последнее время, я в жизни не встречал. Слова тебе не скажи, сразу взбеленишься. Ну что я такого сказал? Инженер оказался жмотом, только подумай — две кроны в день, и это на своих харчах, да еще жилил, где мог. Я и разговаривать с тобой об этом больше не желаю, я просто сказал тебе, чего я думаю, коли тебе так любопытно.

Но вся болтовня Гринхусена ясней ясного доказывала, что он узнал фру и ни минуты не сомневается в том, кто она такая.

Теперь все было в полном порядке — господа дома, дни светлые, урожай обильный. Чего же еще желать!

Фру приветливо поздоровалась со мной и сказала:

— Эвребё теперь нельзя узнать, ты так славно все покрасил. Капитан тоже очень доволен.

Она казалась спокойнее, чем когда я последний раз встретил ее на лестнице отеля. И дыхание у нее не стало прерывистым от волнения, как при встрече с Гринхусеном. Значит, мое присутствие не тяготит ее, — подумал я, обрадовавшись. Только почему она не оставила свою новую привычку часто моргать... На месте капитана я непременно спросил бы ее об этом. Да еще на висках у нее разбежались едва заметные морщинки, но они ее ничуть не портили, право слово.

— К моему величайшему сожалению, не я выбрала эту прелестную серую краску для дома, — продолжала фру. — Тут ты что-то напутал.

— Значит, я просто позабыл. Впрочем, теперь уже все равно, тем более что сам капитан одобрил серый цвет.

— Лестница тоже прелестна и комнаты наверху. Они стали вдвое светлей.

Мне-то ясно — это сама фру хочет быть вдвое светлей и вдвое добрей. Она бог весть почему вообразила, что ее долг — ласково поговорить со мной, но я думаю: а теперь довольно, и пусть все остается как есть!

Близится осень, исступленно и терпко благоухает жасмин среди зарослей сирени, и листва на деревьях за холмами давно уже стала красной и золотой. Нет во всей усадьбе человека, который не радовался бы, что вернулась фру. И флаг тоже вносит свою лепту — словно сегодня у нас воскресенье, и девушки щеголяют в накрахмаленных фартучках.

Вечером я иду посидеть на каменных ступенях, что ведут к сиреням. После жаркого дня на меня волной накатывает аромат жасмина. Потом приходит Нильс и садится рядом. Это он меня искал.

— Гостей в усадьбе больше нет. И галдежу тоже нет, сколько я знаю. Ты хоть раз слышал по ночам какой-нибудь галдеж, с тех пор как вернулся капитан?

— Нет.

— И так уже два с половиной месяца. Что ты скажешь, ежели я спорю эту штуку? — И Нильс указывает на свою эмблему трезвенника. — Капитан больше не пьет, фру вернулась, и я не хочу колоть им глаза своим видом.

Он протягивает мне нож, и я спарываю эмблему.

Мы еще немножко с ним толкуем — он только о земле и думает: к завтрашнему вечеру, говорит он, мы, с божьей помощью, уберем под крышу почти весь урожай. Потом, стало быть, озимые. Ведь как удивительно получается — Ларс проработал здесь много лет, и ни шагу не мог ступить без сеялки, и считал, что так и надо. А мы — нет, мы руками будем сеять.

— Это почему же?

— Потому что здесь такая почва. Возьми, к примеру, нашего соседа, три недели назад он отсеялся, так половина взошла, а половина нет. Сеялка слишком глубоко закладывает зерно.

— Нет, ты только принюхайся, как пахнет жасмин нынче вечером.

— Да, с ячменем и овсом мы тоже через несколько дней управимся. А теперь пора спать.

Нильс встает, я сижу. Нильс смотрит на небо и предсказывает вёдро, потом говорит, что надо бы скосить здесь, в саду, траву, которая получше.

— Ты так и будешь сидеть? — вдруг спрашивает он.

— Я-то? Да нет, я, пожалуй, тоже лягу.

Нильс делает несколько шагов, потом возвращается.

— Хватит сидеть. Ты должен пойти со мной.

— Так-таки и должен? — И я тотчас встаю. Я понимаю, что Нильс только за этим и пришел и что у него есть какие-то мысли на мой счет.

Неужто он разгадал меня? А что тут, собственно, разгадывать? Разве я сам знаю, какая сила влечет меня в сирени? Помнится, я лежал на животе и жевал травинку. В некой комнате на втором этаже горел свет, я глядел туда. Больше ничего не было.

— Я не из любопытства, но в чем, собственно, дело? — спрашиваю я Нильса.

— Ни в чем, — отвечает Нильс. — Девушки сказали, что ты здесь лежишь, вот я и пошел за тобой. Какое тут может быть дело?

Тогда, значит, женщины меня разгадали, — подумал я с досадой. Не иначе Рагнхильд, эта чертова девка! А у нее язык длинный, уж будьте уверены, она наговорила куда больше, только Нильс не хочет мне все выкладывать. А что, если сама фру увидела меня из своего окна?

Я тут же решаю вплоть до конца своих дней быть невозмутимым и холодным как лед.

Рагнхильд — вот кому теперь раздолье. Толстый ковер на лестнице заглушает ее шаги, она может подняться наверх, когда захочет, а если понадобится, в два счета бесшумно спуститься.

— Не понимаю я нашу фру, — говорит Рагнхильд, — ей бы жить да радоваться, что вернулась домой, а она все плачет да тоскует. Сегодня капитан ей сказал: «Ловиса, ну будь же благоразумна!» — так сказал капитан. «Прости, я больше

не буду», — ответила фру и расплакалась оттого, что была неблагоразумна. Но она каждый день твердит: я больше не буду, а сама продолжает в том же духе. Бедная фру, сегодня у нее так болели зубы, она плакала навзрыд...

— Шла бы ты, Рагнхильд, копать картошку, — прерывает ее Нильс. — Некогда нам разговоры разговаривать.

Все снова выходят в поле. Дел у нас невпроворот. Нильс опасается, как бы не пророс сжатый хлеб, и предпочитает убрать его, не досушив. Ладно! Но это значит, что мы должны в один присест обмолотить бóльшую часть зерна и рассыпать его для просушки по всем полам; даже на полу в людской лежит толстый слой зерна. Думаете, у нас только и дел что просушка? Как бы не так, полным-полно, и все неотложные. Наступило ненастье, погода может стать еще хуже. Значит, время не ждет. Покончив с молотьбой, мы изготовили сечку из сырой соломы и заквашиваем ее в силосных ямах, покуда не попрела. Теперь все? Какое там все, по-прежнему невпроворот. Гринхусен с девушками копают картофель. Нильс использует драгоценное время после ведреных дней, чтобы засеять озимой рожью еще несколько аров, мальчик идет вслед за ним с бороной. Ларс Фалькенберг все пашет. Добряк Ларс стал послушней овечки, до чего усердно он пашет, с тех пор как вернулись хозяева. Когда земля раскисает от дождей, Ларс распахивает луговину, после ведреных дней возвращается в поле.

Работа спорится. После обеда к нам присоединяется сам капитан. Мы вывозим последнее зерно.

Капитан Фалькенберг не новичок в работе, он сильный и крепкий, и руки у него умные. Капитан свозит просушенный овес. Вот он обернулся с первым возом и приехал за вторым.

Фру вышла из дому и спешит к нам вдоль сушилок. Глаза у нее так и сияют. Должно быть, она рада видеть мужа за работой.

— Бог в помощь, — говорит она.

— Спасибо, — отвечает он.

— Так любят говорить у нас в Нурланне, — продолжает она.

—Чего, чего?

—Так любят говорить у нас в Нурланне.

— А-а-а.

Капитан не прерывает работы, колосья шуршат, ему не все слышно, что она говорит, приходится переспрашивать. Это раздражает обоих.

— Овес созрел? — спрашивает она.

— Да, созрел, слава богу.

— Но еще не высох?

— Ты что говоришь?

— Ничего не говорю.

Долгое, недоброе молчание. Капитан пытается время от времени разрядить его каким-нибудь веселым словцом, но не получает ответа.

— Значит, ты вышла понаблюдать за своими работниками, — шутит он. — А на картофельном поле ты уже побывала?

— Нет еще, — отвечает она. — Но я могу уйти туда, если тебе неприятно меня видеть.

Слушать все это так тягостно, что я, должно быть, сдвинул брови в знак своего неодобрения. Тут я вспоминаю, что по некоторым причинам уже дал себе зарок быть холодным, как лед. Вспомнив это, я еще сильней хмурю брови.

Фру глядит на меня в упор и спрашивает:

— Ты почему это хмуришься?

— Что, что, ты хмуришься? — Капитан заставляет себя улыбнуться.

Фру немедля хватается за этот предлог:

— Вот, вот, теперь ты прекрасно слышишь!

— Ах, Ловиса, Ловиса, — говорит он.

Но тут глаза фру наполняются слезами, она стоит еще немножко, потом бросается бежать вдоль сушилок, подавшись всем телом вперед и громко всхлипывая на бегу.

Капитан спешит за ней и спрашивает:

— Можешь ты мне наконец сказать, что с тобой?

— Ничего, ничего, ступай, — отвечает она.

Я слышу, что у нее начинается рвота, она стонет и кричит:

— Господи, помоги! Господи, помоги!

— Что-то жене сегодня нездоровится, — говорит мне капитан. — А в чем дело — мы оба не можем понять.

— По округе ходит какая-то мудреная болезнь, — говорю я, чтобы хоть что-то сказать. — Какая-то осенняя лихорадка. Я это на почте слышал.

— Да ну? Ловиса, слышишь? — кричит он. — По округе ходит какая-то болезнь. Должно быть, ты заразилась.

Фру не отвечает.

Мы продолжаем снимать овес с сушилок, а фру отходит все дальше и дальше, по мере того как мы приближаемся к ней. Вот мы разобрали ее последнее укрытие, и она стоит перед нами, словно застигнутая врасплох. После рвоты она ужас как бледна.

— Проводить тебя домой? — спрашивает капитан.

— Нет, спасибо. Ни к чему. — И она уходит.

А капитан остается с нами и до вечера возит овес.

Итак, все снова разладилось. Тяжело пришлось капитану и его жене.

Разумеется, это были не те разногласия, которые легко уладить, проявив хоть немного доброй воли с обеих сторон, как посоветовал бы им каждый разумный человек, это были непреодолимые разногласия, разногласия в самой основе. В результате фру открыто презрела свои супружеские обязанности и по вечерам запиралась у себя в комнате. Рагнхильд слышала, как оскорбленный капитан объясняется с женой через дверь.

Но нынче вечером капитан потребовал, чтобы фру перед сном допустила его к себе в комнату, где и состоялся крупный разговор. Оба были исполнены самых лучших намерений, оба жаждали примирения, но задача оказалась неразрешимой, примирение запоздало. Мы сидим на кухне и слушаем рассказ Рагнхильд, мы — это Нильс и я, — и должен сказать, что еще ни разу я не видел Нильса таким растерянным.

— Если они и сейчас не поладят, все пропало, — говорит Нильс. — Летом мне думалось, что наша фру заслужила хорошую взбучку; теперь-то я понимаю, что ее бес попутал. А она не говорила, что уйдет от капитана?

— Как же, как же, — ответила Рагнхильд и продолжала примерно так. Сначала капитан спросил у фру, не подцепила ли она эту заразную хворь. А фру ему ответила, что ее отвращение к нему вряд ли можно назвать хворью. «Я внушаю тебе отвращение?» — «Да. Хоть караул кричи. Твой порок в том, что ты чудовищно много ешь...» — «Так уж и чудовищно? — спрашивает капитан. — Разве это порок? Это скорее свойство, ведь голод не признает границ». — «Но когда я долго смотрю на тебя, меня начинает тошнить. Вот почему меня тошнит». — «Зато теперь я не пью, — говорит он, — значит, все стало лучше, чем прежде». — «Нет, нет, гораздо хуже». Тогда капитан говорит: «По правде сказать, я надеялся на бóльшую снисходительность в память о том... ну хотя бы в память о том, что было летом».

«Да, ты прав», — говорит фру и начинает плакать.

«Это грызет, и точит, и гложет меня ночью и днем, ночью и днем, но ведь я не упрекнул тебя ни единым словом». — «Не упрекнул», — повторяет она и плачет еще горше. «А кто, как не я, попросил тебя вернуться?» — спрашивает он. Но тут фру, должно быть, решила, что он приписывает себе слишком много заслуг. Она сразу перестает плакать, вскидывает голову и говорит: «Да, но если ты звал меня только за этим, мне лучше было бы не приезжать». — «За чем за этим? — переспрашивает он. — Ты поступала и поступаешь так, как

тебе заблагорассудится, ты ни о чем не желаешь думать, ты не подходишь даже к роялю, ты бродишь словно тень, и к тебе нельзя подступиться, и на тебя никак не угодишь. А по вечерам ты запираешь передо мной свою дверь. Ну что ж, запирай, запирай...» — «Нет, если хочешь знать, это к тебе нельзя подступиться, — говорит она. — Я ложусь и встаю с одной мыслью: только бы не напомнить тебе о том, что было летом. Ты уверяешь, будто ни единым словом не упрекнул меня. Как бы не так! При каждом удобном случае ты тычешь мне этим в нос. Помнишь, я на днях оговорилась и назвала тебя Гуго. Что ты сделал? Ты мог бы помочь мне, мог пропустить это мимо ушей, но ты нахмурился и сказал: меня зовут не Гуго! Ведь я и сама знаю, что тебя зовут не Гуго, ведь я и сама горько упрекала себя за обмолвку». — «В том-то и вопрос, — подхватил капитан, — достаточно ли ты себя упрекаешь». — «Да, — говорит фру, — более чем достаточно, а что?» — «Не нахожу. По-моему, ты вполне собой довольна». — «А ты? Ты думаешь, тебе не в чем упрекнуть себя?» — «У тебя на рояле по сей день стоит несколько фотографий Гуго, и ты даже не думаешь их убрать, хотя я тысячу раз давал тебе понять, как мне этого хочется, и не просто давал понять, я тебя умолял об этом!» — «Господи, дались тебе эти фотографии!» — сказала она. «Пойми меня правильно, — ответил он, — даже если ты сейчас уберешь все фотографии, мне это не доставит никакой радости: я слишком долго тебя упрашивал. Но если бы ты сама, по своей воле, в первый же день после возвращения сожгла фотографии, твое поведение не отдавало бы таким бесстыдством. А вместо того у тебя по всей комнате валяются книги с его надписями. Я видел и носовой платок с его инициалами». — «Ты просто ревнуешь, вот и все. Иначе не объяснить, — говорит фру. — Не могу же я стереть его с лица земли. Папа и мама тоже так считают. Ведь я жила с ним и была его женой». — «Его женой?» — «Да, я называю это именно так. Не все смотрят на мои отношения с Гуго твоими глазами». После этого капитан надолго смолк, только головой покачивал. «Кстати, ты сам во всем виноват, — опять заговорила фру. — Ты уехал с Элисабет, хотя я умоляла тебя не ездить. Тогда-то все и произошло. Мы слишком много пили в тот вечер, и у меня голова закружилась...» Капитан еще немного помолчал, потом ответил: «Да, напрасно я уехал с Элисабет». — «А я о чем говорю? — И фру снова расплакалась. — Ты и слышать ничего не желал. Теперь ты всю жизнь будешь попрекать меня этим Гуго, а что сам натворил, о том и не вспомнишь». — «Есть все-таки разница, — возразил

капитан. — Я-то никогда не жил с женщиной, о которой ты говоришь, не был ее мужем, выражаясь твоим языком».

Фру только вздохнула. «Понимаешь ли: никогда!» — повторил капитан и ударил кулаком по столу. Фру разрыдалась, а сама все смотрит на него. «Но тогда я не понимаю, почему ты ходил за ней по пятам и прятался с ней в беседке и во всех укромных местах», — сказала фру. «Ну, в беседке, положим, была ты, а не я», — ответил капитан. «Да, все я и всегда я, а ты ничего и никогда», — сказала фру. «А для чего я ходил за Элисабет? Да для того, чтобы вернуть тебя, — сказал он. — Ты от меня отдалялась, я хотел тебя вернуть». Фру задумалась, потом вдруг вскочила, да как бросится к нему на шею: «Ах, выходит, ты меня любил хоть немножко? А я-то думала, что ты меня давно разлюбил. Ты ведь тоже отдалялся от меня, много лет подряд, разве ты не помнишь? Как глупо все получилось. Я не знала... я не думала... А ты, выходит, любил меня... Дорогой мой, но тогда все хорошо!..» — «Сядь! — сказал капитан. — С тех пор произошли некоторые перемены». — «Что произошло? Какие перемены?» — «Вот видишь, ты уже все забыла. А я-то хотел спросить у тебя, сожалеешь ли ты об этих переменах?» Тут фру снова вся окаменела и говорит: «Ах, ты про Гуго? Но ведь сделанного не воротишь». — «Это не ответ». — «Сожалею ли я? А ты? Ты себе кажешься невинной овечкой?» Тут капитан встал и начал расхаживать по комнате. «Вся беда в том, что у нас нет детей, — сказала фру. — У меня нет дочери, которую я могу воспитать так, чтобы она стала лучше, чем я». — «Я думал об этом, — говорит капитан, — возможно, ты права. — Тут он подходит к ней вплотную и еще добавляет: — Лавина обрушилась на нас, жестокая лавина. Но разве нам, благо мы остались в живых, не следует разгрести камни, и бревна, и щебень, и все, под чем мы были погребены много лет, чтобы наконец вздохнуть полной грудью. У тебя еще может быть дочь!» Фру встала, хотела что-то сказать, но не решилась. «Да, — только и проговорила она. И повторила еще раз: — Да». — «Сейчас ты устала и взволнованна, но подумай о том, что я сказал. Доброй ночи, Ловиса». — «Доброй ночи!» — ответила она.

XI

Капитан намекнул Нильсу, что он не прочь либо уступить кому-нибудь право на рубку леса, либо запродать весь лес на корню. Нильс истолковал это таким образом, что капитан

не желает приглашать на работу в имение посторонних. Должно быть, у капитана с фру опять начались нелады.

Мы продолжали копать картофель, бóльшую часть уже выкопали, теперь можно было немножко перевести дух. Но дел по-прежнему оставалось очень много — запаздывали с осенней пахотой, и теперь уже мы вдвоем — Ларс Фалькенберг и я — распахивали поле и луговину.

Нильс просто удивительный человек, ему стало так неуютно в Эвребё, что он хотел было взять расчет. Удержал его стыд — как бы не подумали, что он бросает работу, с которой не может справиться. У Нильса были довольно четкие представления о чести, унаследованные от множества поколений. Не пристало крестьянскому сыну вести себя как последнему батраку. К тому же Нильс недостаточно долго здесь проработал; когда он нанимался в Эвребё, хозяйство было совсем запущено, понадобилось бы немало лет, чтобы вновь его поднять. Только нынче, когда в распоряжении Нильса оказалось больше рабочих рук, он сумел наконец сдвинуть дело с места. Только нынче он впервые смог увидеть добрые плоды своих усилий, — какие уродились хлеба, какая густая пшеница! Сам капитан впервые за много лет порадовался на щедрый урожай. Будет что продать нынешней осенью.

Вот поразмыслишь, так и выходит, что Нильс просто сглупил бы, покинув сейчас Эвребё. Ему только позарез нужно было побывать дома, — Нильс родом из северной части прихода, — и для этого он взял два свободных дня, когда мы уже выкопали весь картофель. Должно быть, у него какое-нибудь неотложное дело, может, он хочет встретиться со своей невестой, — думали мы все. Через два дня Нильс вернулся такой же бодрый и расторопный, как всегда, и с жаром взялся за работу.

Однажды мы сидели на кухне за обедом и увидели, как фру в ужасном волнении выскочила из дома и побежала куда-то, не разбирая дороги. Следом показался капитан. Он кричал: «Ловиса, Ловиса, постой, куда же ты?» А фру отвечала только: «Оставь меня!»

Мы переглянулись. Рагнхильд встала из-за стола, собираясь бежать за фру.

— Ты права, — сказал Нильс с обычным своим спокойствием. — Но сперва зайди в дом и посмотри, убрала ли она фотографии.

— Стоят как стояли, — ответила Рагнхильд и вышла.

Мы слышали, как во дворе капитан сказал ей:

— Пригляди за барыней, Рагнхильд.

Никто из нас не хотел бросить фру на произвол судьбы. Все о ней заботились.

Мы вернулись в поле. Нильс сказал мне:

— Ей надо бы убрать фотографии. С ее стороны даже некрасиво, что она оставила их на видном месте. Это большая промашка.

А, что ты в этом смыслишь, подумалось мне. Вот я — так уж точно разбираюсь в людях, я много понасмотрелся за годы странствий. И я решил устроить Нильсу небольшое испытание, проверить, не зря ли он важничает.

— Странно, что капитан сам давным-давно не убрал и не сжег эти фотографии, — говорю я.

— Ничуть, — отвечает Нильс. — На его месте я бы тоже этого не сделал.

— Почему?

— Да потому, что не мне, а ей надлежит это сделать.

Мы помолчали немного, потом Нильс добавил еще несколько слов. Эти слова разом доказали мне, каким глубоким и безошибочным чутьем обладает Нильс.

— Бедная фру! — сказал он. — Должно быть, она так и не может оправиться после своего проступка, должно быть, в ней что-то надломилось. Другого объяснения я не вижу. Есть люди, которые, оступившись, могут подняться и спокойно шагать дальше по жизни, разве что синяков насажают, а есть другие, которые так и не могут встать.

— Если судить по ее виду, она отнеслась ко всему довольно легко, — продолжаю я испытывать Нильса.

— Откуда нам знать? А по-моему, она все время была сама не своя. Конечно, она продолжает жить, но мне кажется, в ней нет внутренней гармонии. Я не силен по этой части, но я имею в виду именно гармонию. Понимаешь, она может есть, и спать, и улыбаться, и все же... Я вот только что проводил такую же в последний путь, — ответил мне Нильс.

Куда девался мой ум и моя выдержка? Глупый и пристыженный, я только и мог спросить:

— Ах, вот как? И она умерла?

— Да. Она хотела умереть. — И неожиданно приказал: — Ну что ж, идите с Ларсом пахать. Вам уже немного осталось.

И он ушел своей дорогой, а я своей.

Я думаю: возможно, он говорил о своей сестре, возможно, он отпрашивался на ее похороны. Боже милостивый, поистине есть люди, которые не могут с этим справиться, это потрясает самую их основу, это — как революция. Все зависит от того, насколько они загрубели. Насажают синяков, — сказал Нильс. И внезапная мысль заставляет меня

остановиться: а вдруг это была не его сестра, а его возлюбленная?

По странной ассоциации я вспоминаю про свое белье. Я решаю послать за ним батрачонка.

Настал вечер.

Ко мне пришла Рагнхильд и попросила меня не ложиться, уж очень у господ неспокойно. Рагнхильд была ужасно взволнованна, надвигающаяся темнота ее пугала, и она не могла найти места более надежного, чем у меня на коленях. Она и всегда была такова — стоило ей разволноваться, и она становилась робкой и нежной, нежной и робкой.

— А ничего, что ты здесь? Ты оставила кого-нибудь вместо себя на кухне?

— Да, стряпуха услышит, если позвонят. Ты знаешь, — вдруг заявляет она, — я на стороне капитана. И всегда была на его стороне.

— Только потому, что он мужчина.

— Вздор.

— А тебе следует быть на стороне фру.

— Ты говоришь это только потому, что она женщина, — ехидничает Рагнхильд. — Но ты не знаешь всего того, что знаю я. Фру ужасно себя ведет. Мы, видишь ли, о ней не заботимся, нам плевать, хоть она умри у нас на глазах. Ну, ты слышал когда-нибудь такое? А я-то, дура, бегаю за ней. Это ж надо так скверно себя вести!

— Не хочу ничего знать, — говорю я.

— Думаешь, я подслушивала? Да ты просто спятил. Они разговаривали при мне.

— Раз так, подождем, пока ты немножко успокоишься, а потом спустимся к Нильсу.

Такой робкой и нежной была Рагнхильд в этот вечер, что в благодарность за добрые слова обвила мою шею руками. Нет, все-таки она необыкновенная девушка.

И мы пошли к Нильсу.

Я сказал:

— Рагнхильд считает, что кому-то из нас не следует ложиться.

— Да, худо там, очень худо, — начала Рагнхильд. — Хуже и не придумаешь. Капитан совсем забыл про сон. Она любит капитана, он ее тоже, а все идет вкривь и вкось! Сегодня, когда она выскочила из дому, капитан во дворе сказал мне: «Пригляди за барыней, Рагнхильд». Я и пошла за ней. Она стояла у обочины, притаясь за деревом, и плакала и улыбнулась мне сквозь слезы. Я хотела увести ее в дом, а

она тут сказала, что мы о ней не заботимся, что никому нет до нее дела. «Капитан послал меня за вами, фру», — говорю я. «Это правда? Сейчас? — не поверила она. — Сейчас послал?» — «Да», — отвечаю я. «Подожди меня немножко, — велела фру. И стоит и стоит. — Возьми эти мерзкие книги, что лежат у меня в комнате, и сожги их, хотя нет, я сама это сделаю, но после ужина ты мне будешь нужна. Как только я позвоню, немедленно поднимайся ко мне». — «Слушаюсь», — говорю я. Тут мне удалось ее увести.

— Вы только подумайте, оказывается, наша фру беременна, — вдруг говорит Рагнхильд.

Мы глядим друг на друга. Черты Нильса вдруг становятся расплывчатыми, он словно увядает, и глаза у него делаются сонные. Почему он принял слова Рагнхильд так близко к сердцу? Чтобы хоть что-то сказать, я говорю:

— А фру сама сказала, что позвонит?

— Да, и она позвонила. Ей хотелось поговорить с капитаном, но она боялась одна и надумала, чтобы я была при этом. «Поди зажги свет и собери все пуговицы, которые я разроняла». А потом она позвала капитана. Я зажгла свет и начала собирать пуговицы, а пуговиц было множество, и самых разных. Пришел капитан. Фру сразу ему говорит: «Я хотела тебе сказать, что с твоей стороны было очень мило послать за мной Рагнхильд. Бог благословит тебя за это». — «Да, — говорит он, а сам улыбается, — уж очень ты была взволнованна, мой друг». — «Правда, я была взволнованна, но это пройдет. Беда в том, что у меня нет дочери, которую я могу вырастить по-настоящему хорошим человеком. Моя-то песенка уже спета». Капитан опустился на стул. «Ну да», — сказал он. «Ты говоришь: ну да? В книгах так и сказано, вот они, эти проклятые книги, возьми их, Рагнхильд, и сожги. Хотя нет, я сама изорву их на мелкие кусочки и сама сожгу». И принялась рвать книги и швырять страницы в огонь. «Ловиса, — сказал капитан, — не надо так волноваться». — «Монастырь — вот что там было написано. Но в монастырь меня не пустят. Значит, моя песенка спета. Ты думаешь, что я смеюсь, когда смеюсь, а мне вовсе не до смеха...» — «А как твои зубы, прошли?» — спросил капитан. «Ты ведь и сам знаешь, что зубы тут ни при чем». — «Нет, не знаю». — «В самом деле не знаешь?» — «Не знаю». — «Боже правый, да неужели ты до сих пор не понял, что со мной? — Капитан взглянул на нее и не ответил. — Да ведь я... ты сказал, что у меня еще может быть дочь, разве ты забыл?..» Тут я тоже взглянула на капитана.

Рагнхильд улыбнулась, покачала головой и продолжала:

— Бог мне простит, что я не могу удержаться от смеха, но у капитана сделалось такое лицо, попросту дурацкое. «А ты ни о чем и не догадывался?» — спросила фру. Капитан поглядел на меня и говорит: «Чего ты столько возишься, прямо как неживая?» — «Я велела ей собрать с пола пуговицы», — отвечает фру. «А я уже все собрала», — говорю я. «Уже? — спрашивает фру и встает. — Посмотрим, посмотрим». Тут она берет шкатулку и снова ее роняет. Пуговицы как покатятся — под кровать, под стол, под печь. «Нет, вы только подумайте! — восклицает фру и продолжает о своем: — Значит, ты и не догадывался, что я... что у меня?..» — «Нельзя ли оставить пуговицы на полу хотя бы до утра?» — спросил капитан. «Пожалуй, можно, — соглашается фру. — Боюсь только, как бы мне не наступить на какую-нибудь. Я стала неповоротлива... сама их собрать не смогу... но все равно, пусть лежат. — И она начала гладить его руку. — Ах ты, мой дорогой». Он отдернул руку. «Да, я понимаю, ты сердит на меня. Только зачем ты тогда просил меня приехать?» — «Ловиса, дорогая, мы не одни». — «Ты все-таки должен знать, зачем ты просил меня приехать». — «Я надеялся, что все еще может быть хорошо, наверное, затем». — «И по-твоему, не вышло?» — «Нет». — «Все-таки о чем ты думал, когда звал меня? Обо мне? О том, что тебе хочется снова меня увидеть? Никак не могу понять, о чем ты все-таки думал». — «Рагнхильд уже все собрала, как я вижу, — сказал капитан. — Покойной ночи, Рагнхильд».

— И ты ушла?

— Да, но уходить далеко я побоялась. Я видела, что ей было не по себе, и подумала, что на всякий случай мне надо держаться неподалеку. А если бы капитан увидел меня и сделал замечание, я бы прямо так и ответила, что не могу покинуть фру, когда она в таком состоянии. Он, конечно, меня не увидел, они продолжали свой разговор, даже еще оживленнее. «Я знаю, что ты думаешь, — продолжала фру, — может статься, что не ты... То есть что это не твой ребенок. Возможно, ты и прав... И я не знаю, какие мне найти слова, чтобы ты простил меня. — Тут фру заплакала. — Мой дорогой, прости, ради бога, прости! — И фру встала на колени. — Видишь, я вышвырнула эти книги, я сожгла платок с его инициалами, видишь, вот они — книги». — «Верно, — ответил капитан. — А вот лежит еще один платок с теми же инициалами. Ах, Ловиса, Ловиса, как ловко ты со мной обращаешься». Бедной фру стало совсем нехорошо от этих слов. «Мне так жаль, что этот платок попался тебе на глаза, я, должно быть, летом привезла его из города, я с тех пор не просматривала свое белье. Но разве это так уж важно,

скажи?» — «Разумеется, нет», — ответил он. «А если бы ты захотел выслушать меня, ты узнал бы, что это... это твой ребенок. Почему б ему и не быть твоим? Я только не умею все тебе объяснить как следует». — «Сядь!» — сказал капитан. Но фру, верно, не поняла его. Она встала и говорит: «Вот видишь, ты даже не желаешь меня выслушать. Но коли так, я уже настоятельно прошу тебя ответить, зачем ты меня сюда вызвал, зачем ты не оставил меня там, где я была». В ответ на это капитан стал что-то говорить про человека, выросшего в тюрьме. «Если такого человека выпустить на волю, он все равно будет стремиться назад». Словом, что-то в этом роде. «Да, но я была у родителей, а они не такие неумолимые, они считали, что я была за ним замужем, и не осуждали меня. Не все смотрят на это, как ты». — «Раз ушла Рагнхильд, ты можешь смело задуть свечу; смотри, как она сконфуженно мигает рядом с лампой». — «Из-за меня? Ты это имел в виду? А разве сам ты ни в чем не виноват?» — «Не пойми меня превратно, я и впрямь во многом виноват, — без промедления ответил капитан, — но не тебе об этом говорить». — «Нет, ты этого не думаешь. Я ведь никогда... Послушать тебя, так ты ни в чем не виноват». — «Сказано же, что виноват. Не той виной, про которую говоришь ты, а другой, прежней и новой. Согласен! Но я не принес домой эту вину у себя под сердцем». — «Верно, — начала фру. — Но ведь именно ты никогда не хотел, чтобы я... Чтобы у нас были дети, а вслед за тобой и я этого не хотела, ты ведь лучше знал, как надо, и мои домашние тоже так говорят. А будь у меня дочь...» — «Пожалуйста, не утруждай себя сочинением трогательной истории, она годится только для газеты, не утруждай», — сказал он ей. «Я говорю чистую правду, — отвечала фру. — Ты не можешь отрицать, что я говорю чистую правду». — «Я ничего и не отрицаю. А теперь, Ловиса, присядь и выслушай меня внимательно. И дети, и дочь — которая вдруг так тебе понадобилась — все они не больше как отголосок недавних разговоров. Ты их наслушалась и вообразила, что в этом твое оправдание. Раньше ты никогда не изъявляла желания иметь детей. По крайней мере, я этого не слышал». — «Да, но ты лучше знал, как надо». — «И это ты тоже где-то недавно услышала. В одном ты права, очень может статься, что с детьми нам бы жилось лучше. Теперь я и сам это понял, но, к сожалению, слишком поздно. И ты в твоем положении еще говоришь мне, что...» — «Боже правый! Но ведь, может, именно ты... не знаю, как сказать... пойми...» — «Я? — переспросил капитан

и покачал головой. — Вообще-то такие вещи полагается знать матери; однако в нашем случае даже мать этого не знает. Ты, моя жена, этого не знаешь. Или, может быть, ты знаешь?» Тут фру умолкла. «Я тебя спрашиваю, ты знаешь или нет?» Фру ничего не ответила, бросилась на пол и заплакала. Не могу понять, пожалуй, теперь я стою за фру, ей, бедняжке, так худо. Я совсем было решилась постучать и войти, но тут капитан сказал: «Ты молчишь. Но твое молчание — это тоже ответ, и ответ не менее красноречивый, чем самый громкий крик». — «Мне больше нечего сказать», — ответила фру сквозь слезы. «Многое я люблю в тебе, Ловиса, и прежде всего — твою правдивость», — сказал капитан. «Благодарю», — сказала фру. «Ты даже сейчас не выучилась лгать. Ну, поднимайся. — Капитан сам помог ей подняться и сам усадил ее на стул. А фру плакала так жалобно, что прямо сердце разрывалось. — Перестань же, — сказал капитан. — Я хочу тебя спросить кой о чем. А может, нам стоит подождать, поглядеть, какие у него будут глазки, какое личико?» — «Бог тебя благослови. Конечно, подождем. Благослови тебя Бог, мой дорогой, мой любимый». — «А я попробую смириться. Меня это грызет и гложет, гложет и грызет. Но ведь и я не без греха». — «Бог тебя благослови, Бог тебя благослови», — твердила фру. «И тебя тоже, — ответил он. — Доброй ночи». Тут фру упала грудью на стол и в голос зарыдала. «А теперь ты почему плачешь?» — «Потому что ты уходишь. Раньше я тебя боялась, теперь я плачу потому, что ты уходишь. Ты не можешь немного побыть со мной?» — «Теперь? У тебя? Здесь?» — спросил он. «Нет, я не то имела в виду, я не о том, просто я так одинока. Нет, нет, я не о том, что ты подумал». — «Я все же лучше уйду, — сказал он. — Ты и сама могла бы понять, что у меня нет желания здесь оставаться. Позвони лучше горничной».

— Тут я и убежала, — кончила Рагнхильд.

После некоторого молчания Нильс спросил:

— Они уже легли?

Рагнхильд этого не знала. Может, и легли, впрочем, там сидит стряпуха, на случай, если позвонят. Боже ты мой, каково досталось бедной фру, верно, она и уснуть-то не может.

— Тогда сходи к ней, погляди, как она там.

— Хорошо. — И Рагнхильд встала. — Нет, что ни говорите, а я держу сторону капитана. Так и знайте.

— Не так-то просто решить, где правда.

— Вы только подумайте, — забеременеть от этого типа! Да как она могла! А ведь она к нему и в город потом ездила, мне рассказывали, ну зачем это ей понадобилось? И понавезла с собой кучу его платков, я видела, а ее платков я недосчитываюсь, значит, у них белье было общее. С таким типом жить — это ж надо! При законном-то муже!

XII

Капитан, как оказывается, вполне серьезно вознамерился запродать весь лес на сруб. И вот теперь по лесу идет стон и грохот. Осень выдалась мягкая, земля еще не прихвачена морозом, пашется легко, и Нильс, как заправский скряга, трясется над каждой минутой — чтобы весной было легче.

Вопрос теперь в том, пошлют ли нас с Гринхусеном на рубку. По совести говоря, я собирался отправиться по ягоды на болото, за морошкой, а потом — в горы. Что же станется с моими планами? К тому же Гринхусен давно уже не такой лесоруб, который надобен капитану, он только может держать пилу да подсоблять по мелочам.

Да, Гринхусен уже не прежний Гринхусен, хотя трудно понять, с чего это он так сдал. Все его волосы до сих пор при нем, и рыжие, как встарь. В Эвребё он прижился так, что лучше и не надо, на аппетит он тоже пока не жалуется. Ему ли не житье! Все лето и всю осень он исправно высылал деньги семье и не уставал хвалить капитана и его жену, которые так хорошо платят и сами уж такие хорошие, уж такие хорошие. Не сравнить с инженером, тот из-за скиллинга готов был удавиться, а под конец и вовсе вычел две кроны, заработанные честным трудом, ну и черт с ним, Гринхусен плевать хотел на эти две кроны, он и больше не пожалеет, коли для хорошего дела, а то ведь надо — такой жмот, тьфу, говорить противно. Капитан так ни за что не сделает.

Но теперь Гринхусен сделался уступчивый и ни на кого не держал зла. Теперь он, пожалуй, не прочь бы снова наняться к инженеру и получать две кроны в день и во всем ему поддакивать. Возраст и время обломали его

Как обламывают они любого из нас.

Капитан сказал:

— Ты, помнится, говорил про водопровод, как ты думаешь, в этом году уже поздно начинать работу?

— Да, — ответил я.

Капитан молча кивнул и ушел.

Один раз, когда я пахал, капитан снова подошел ко мне. Он появлялся в эту пору повсюду, он много работал и успевал за всем присмотреть. Он наскоро съедал что ни подадут, выскакивал из-за стола и спешил на гумно, скотный двор, в поле, в лес, к лесорубам.

— Начинай делать водопровод, — сказал он мне. — Земля мягкая и может еще долго так простоять. Кого выделить тебе в подручные?

— Гринхусена можно, — ответил я, — но вообще-то...

— И Ларса. Так что ты хотел сказать?

— А вдруг ударят морозы?

— А вдруг пойдет снег? Тогда земля не промерзнет. Она не каждый год промерзает. Подручные у тебя будут. Одного поставь копать, другого на кладку. Тебе уже случалось делать такую работу?

— Да.

— А Нильса я предупредил, так что не бойся. — Капитан засмеялся. — Ну, отведи лошадей в конюшню.

Водопровод занимал теперь все его мысли, он и меня сумел увлечь, я сам захотел немедля взяться за дело и лошадей отвел не шагом, а бегом. Надо думать, капитан разохотился, когда увидел, как похорошела после окраски вся усадьба и какой богатый в этом году урожай. Вдобавок он велел срубить тысячу дюжин стволов, чтобы расплатиться с долгами, а может, и сверх того кое-что останется.

И вот я поднялся на холм и отыскал то место, которое еще раньше присмотрел для отстойника, определил величину уклона, измерил шагами расстояние до усадьбы и вообще все точно вымерил. С холма стекал ручей, он так глубоко зарылся в землю и бежал с такой скоростью, что не замерзал зимой. Надо будет соорудить небольшую запруду с водостоком для защиты от весенних и осенних паводков. Да, в Эвребё будет настоящий водопровод, а крепежный камень под рукой есть — кругом залегает многослойный гранит.

В полдень следующего дня работа шла уже полным ходом. Ларс Фалькенберг копал канаву для прокладки труб. Мы с Гринхусеном дробили камень, а к этому делу у нас обоих был давний навык еще с дорожных работ в Скрейе.

Ну хорошо.

Проработали мы четыре дня, настало воскресенье. Я прекрасно помню этот день, высокое, ясное небо, в лесу облетела вся листва, холмы покрылись веселой зеленью озимых, над вырубкой курится дымок. После обеда Ларс попросил у капитана лошадь и телегу, чтобы отвезти на станцию свинью — он забил ее и хотел продать в городе, а на обратном пути обещал прихватить почту для капитана.

Я решил, что это самый подходящий случай послать батрачонка на вырубку за моим бельем. Ларс в отъезде, сердиться некому.

Вот видишь, сказал я себе самому, ты преисполнен добродетели и посылаешь за бельем батрачонка. Но добродетель тут ни при чем, виной всему старость.

Целый час я провозился с этой мыслью. Глупо получается — вечер на редкость погожий, и вдобавок воскресный, делать нечего, в людской — ни души. Скажете, старческая слабость? Да что ж я, и на холм не поднимусь, что ли?

Я сам пошел за бельем.

А в понедельник спозаранку заявился Ларс Фалькенберг и отозвал меня в сторону — как когда-то, и завел тот же разговор, что и когда-то: я вчера заходил к ним на вырубку, так чтоб это было в последний раз, понятно?

— Чего ж не понять, раз это была последняя стирка.

— Стирка, стирка! Нешто я сам не мог за всю осень принести твою поганую рубашку?

— Я не хотел заговаривать с тобой о белье.

Интересно, какой дьявол нашептал ему об этой невинной прогулке? Не иначе сплетница Рагнхильд решила мне удружить, больше некому.

Случаю было угодно, чтобы и на этот раз Нильс оказался поблизости. Он шел как ни в чем не бывало из кухни, а Ларс, едва его завидел, обрушил на него всю свою злость.

— Вот и второй красавец явился! — сказал Ларс. — Ух, глаза б мои не глядели.

— Ты что сказал? — спросил Нильс.

— А ты что сказал? — ответил Ларс. — Поди подлечи язык, авось начнешь говорить поразборчивей.

Тогда Нильс остановился, чтобы узнать, в чем же все-таки дело.

— Не понимаю, о чем речь.

— Ты-то? Не понимаешь? Когда надо пахать под зябь, ты все понимаешь. А на мои слова у тебя умишка не хватает.

Тут Нильс впервые за все наше знакомство рассердился. У него побелели щеки.

— Ну и болван же ты, Ларс, — ответил он. — Держал бы ты язык за зубами, оно бы лучше было.

— Это я-то болван, — взвился Ларс. — Ты слышишь, как он со мной заговорил! Обозвать меня болваном! — Ларс весь побледнел от злости. — Я сколько лет проработал в Эвребё и чуть что не каждый вечер пел господам. А после меня пошли сплошные выкрутасы. Ты небось помнишь, как здесь было при мне? — спросил он меня. — Тогда Ларс был на все руки, и работа у меня не стояла. Потом здесь полтора года

прослужил Альберт. А уж потом явился Нильс. Нынче здесь только один разговор — вкалывай, паши да вывози навоз, что ночью, что днем, пока не высохнешь от такой жизни.

Мы с Нильсом не выдержали и расхохотались. Но Ларс ничуть этим не обиделся, он был скорее доволен, что умеет так рассмешить людей, и, сменивши гнев на милость, рассмеялся вместе с нами.

— Да, я все выкладываю как есть, — продолжал он. — И ежели бы ты порой не был вполне свойский парень — не то чтобы свойский, а услужливый и обходительный на свой лад, конечно, ежели бы не это, уж тогда бы я...

— Чего тогда?

Ларс с каждой минутой приходил в более веселое расположение духа. Он со смехом отвечал:

— Тогда всыпал бы я тебе по первое число.

— А ну, пощупай мои мускулы, — сказал Нильс.

— Вы это о чем? — спросил подошедший капитан. Он уже встал, оказывается, хотя время было без малого шесть.

— Ни о чем, — в один голос ответили Ларс и Нильс.

— Как дела с запрудой? — спросил у меня капитан и, не дожидаясь ответа, обратился к Нильсу: — Пусть мальчик отвезет меня на станцию. Я еду в Христианию.

Мы с Гринхусеном ушли делать запруду, Ларс — рыть канаву, но какая-то неуловимая тень омрачила наше настроение. Даже Гринхусен и тот сказал:

— Жалко, что капитан уезжает.

Я был того же мнения. Правда, может быть, капитан уезжает по делам, ведь ему надо продать лес и урожай. Хотя, с другой стороны, зачем ему понадобилось уезжать в такую рань, раз к утреннему поезду он все равно не поспеет? А вдруг они снова поссорились и капитан спешит уехать, пока не встала фру?

Да, теперь они часто ссорились.

Опять дошло до того, что они почти не разговаривали друг с другом, а если им надо было перемолвиться несколькими словами, равнодушно отводили глаза в сторону. Случалось, конечно, что капитан глядел жене прямо в глаза и советовал ей прогуляться, пока стоит такая чудная погода, или, напротив, просил ее вернуться домой и поиграть немного на рояле, но это делалось главным образом для людей, и ни для чего более.

Как это все печально!

Фру была кроткой и прекрасной, она часто стояла на крыльце и глядела на дальние холмы; у нее были тонкие черты лица и золотистые волосы. Уже сейчас она выглядела как молодая, нежная мать. Но, должно быть, она безмерно

тосковала — ни гостей, ни веселья, ни шума, ни радости, одно только горе и стыд.

Капитан, правда, изъявил готовность нести свое бремя, он и нес его, сколько хватало сил! Но теперь у него, видно, иссякли силы. В усадьбе поселилось горе, а одно горе трудней снести, чем семь тяжких нош. Если фру по чистой случайности забывала очередной раз выразить свою вечную признательность, капитан опускал глаза в пол, без дальнейших слов хватался за шапку — и был таков. Все горничные об этом говорили, да я и сам это видел. Я понимаю, он уже никогда не забудет про ее грех, никогда, но ведь можно не напоминать о нем. Хотя попробуй не напомни, когда фру, порой забывшись, говорила: «Ты знаешь, мне так нездоровится!» или: «Ты знаешь, я уже не могу столько ходить!» Тогда он отвечал: «Перестань, Ловиса!» — и хмурил брови. И тут же вспыхивала ссора: «Опять ты мне напоминаешь?» — «Почему я? Ты сама напоминаешь, ты утратила всякую стыдливость, твой грех сделал тебя бесстыдной». — «Ах, зачем, зачем я только вернулась! Дома мне было лучше!» — «Или у твоего молокососа!» — «Ты ведь, помнится, говорил, что и тебе он однажды помог. Если хочешь знать, я бы рада уехать к нему, Гуго гораздо лучше, чем ты».

Ах, какие безответственные слова она говорила, наверное, она даже не отдавала себе отчета в том, что говорит. Мы не узнавали ее, такой она стала испорченной. Фру Фалькенберг — и испорченность? Может, это и не так, бог весть. Во всяком случае, она не стыдилась, придя вечером к нам на кухню, расхваливать Нильса за его молодость и силу. Пожалуй, я снова начал ревновать ее и завидовать молодости Нильса, я думал так: с ума они все посходили, что ли? Разве не нам, пожилым людям, следует отдавать предпочтение? Или это неискушенность Нильса ее раззадоривала? Или она пыталась как-то подбодрить себя самое и выглядеть моложе, чем на самом деле? Однажды она пришла к нам, к Гринхусену и ко мне, когда мы ладили запруду, и долго сидела, глядя на нас. И как же мне легко работалось в эти полчаса, сам гранит стал податливее и подчинялся каждому нашему движению, мы, словно богатыри, воздвигали каменную стену. Впрочем, и сейчас фру вела себя безответственно, она не просто так сидела, она играла глазами. Почему она не оставила эту новую привычку? У нее и взгляд-то был чересчур тяжелый, и не пристала ей такая игра. Я подумал: то ли она хочет подать нам милостыню, чтобы мы простили ей заигрывание с Нильсом, то ли заводит новую игру, а где правда — неизвестно. Я сам разобраться не мог,

Гринхусен — тот и вовсе ничего не понял, он только сказал, когда фру ушла:

— Ну до чего ж наша фру душевная и добрая, она мне все равно как мать родная. Пришла спросить, не холодна ли для нас вода.

Однажды, когда я стоял у дверей кухни, она подошла ко мне и спросила:

— А ты помнишь, как здесь раньше жилось? Когда ты первый раз служил в Эвребё?

Еще ни разу не вспоминала она о том времени, я только и нашелся ответить, что как же, как же, помню.

— Ты возил меня в пасторскую усадьбу, помнишь?

Тут я подумал, что ей, может быть, захотелось поговорить именно со мной, чтобы как-то рассеяться. Я решил помочь ей, пойти навстречу. Кстати сказать, воспоминания и меня взволновали. Я ответил:

— Конечно, помню. Чудесная была поездка. Только вы под конец совсем озябли.

— Не я, а ты, — перебила она. — Ведь ты, бедняжка, уступил мне свое одеяло.

Мое волнение стало еще сильней, и, к стыду своему, я тотчас вообразил бог весть что: значит, она меня не совсем забыла, значит, минувшие годы не так уж изменили меня.

— Нет, вы ошиблись, это было не мое одеяло; а помните, как мы вместе ели в маленьком домике, какая-то женщина сварила нам кофе, и вы потчевали меня.

Я обхватил руками столб и прислонился к перилам.

Должно быть, это движение ее оскорбило, она решила, что я вознамерился завести с ней длинную беседу, к тому же я сказал: мы вместе ели. Разумеется, я слишком много себе позволил, но после долгих скитаний я как-то отвык от всяких тонкостей.

Заметив ее неудовольствие, я тотчас выпрямился, но было уже поздно. Нет, нет, она была такой же приветливой, просто стала обидчивой и подозрительной из-за всех своих горестей и усмотрела непочтение в обычной неловкости.

— Ну хорошо, — сказала она, — надеюсь, тебе живется в Эвребё не хуже, чем тогда.

Она кивнула мне и ушла.

Прошло несколько дней. Капитан не возвращался, зато он прислал жене ласковую открытку, где писал, что надеется быть дома через неделю и одновременно высылает трубы, краны и цемент для водопровода.

— Вот смотри, — сказала фру, подходя ко мне с открыткой. — Капитан выслал все на твое имя и просит тебя съездить на станцию.

Мы читали открытку вдвоем, посреди двора, дело было в полдень. Не знаю, как бы это получше объяснить, я стоял рядом с ней, наши головы сблизились, и это отрадное ощущение пронизывало меня с головы до ног. Дочитав открытку, она подняла глаза. Нет, теперь это не была игра, но она не могла не заметить, как изменилось выражение моего лица. Неужели и она тоже почувствовала мою близость? Тяжелый взгляд устремился на меня, два глаза, до краев налитые нежностью. В них не было ни грана расчетливости, жизнь, которую она вынашивала под сердцем, придала ее взгляду почти нездоровую глубину. Она задышала учащенно, лицо ее залилось темной краской, она повернулась и медленно пошла прочь.

А я так и остался с открыткой в руке. Она ли мне отдала ее, сам ли я ее взял?

— Ваша открытка, — крикнул я, — вот, пожалуйста!

Она, не оглядываясь, протянула руку, взяла открытку и пошла дальше.

Это происшествие занимало меня много дней подряд. Не следовало ли мне пойти за ней, когда она ушла? Надо было рискнуть, надо было попытаться, ведь ее дверь так недалеко. Нездоровье? А зачем тогда она пришла ко мне с открыткой? Могла распорядиться через кого-нибудь на словах. Я вспомнил, как шесть лет назад мы стояли точно в таких же позах и читали телеграмму капитана. Может быть, она решила повторить эту сцену, может быть, это благотворно на нее влияет?

Встретив ее после описанных событий, я не заметил в ней ни тени смущения, она была благосклонна и холодна. Значит, надо выкинуть все из головы. И то сказать, чего я хочу от нее? Ничего не хочу.

Сегодня к ней приехали гости, дама какая-то с дочерью, соседки. Должно быть, они прослышали, что капитан уехал, и явились, чтобы немножко поразвлечь фру, а может, из простого любопытства. Встретили их хорошо, фру Фалькенберг была любезна, как прежде, и даже играла для них на рояле. Когда они собрались домой, фру пошла их провожать до проселка и обстоятельно с ними толковала про домашнее хозяйство и забой скота, хотя голова у нее была, надо думать, занята совсем другим. Она казалась такой оживленной, такой веселой. «Приезжайте снова, по крайней мере, Софи». — «Спасибо, приедем». — «А вы разве никогда не заглянете к нам в Недребё?» — «Кто, я? Не будь так поздно, я и сейчас бы с вами поехала». — «Ну, завтра тоже будет

день». — «Вот завтра я, пожалуй, и приеду. Это ты? — обратилась фру к Рагнхильд, которая вышла за ней с шалью. — Ты меня смешишь, откуда ты взяла, что мне холодно?»

У всех дворовых как-то отлегло от сердца, и мрачные мысли больше не тревожили нас. Мы с Гринхусеном сооружали объемистый отстойник, а Ларс Фалькенберг все дальше и дальше вел канаву. Раз капитан задерживается, я решил поднажать, чтобы сделать бóльшую часть работы до его возвращения. Вот будет здорово, если мы вообще все кончим! Его наверняка порадует такой сюрприз, потому что, ну да, потому что они опять поссорились накануне его отъезда. Что-то снова напомнило капитану о его беде, может, ему попалась на глаза несожженная книга в комнате фру. Капитан кончил словами: «Я сведу весь лес, чтобы выплатить долги. И могу продать урожай за большие деньги. А уж тогда пусть Бог меня простит — как я ему прощаю. Покойной ночи, Ловиса».

Когда мы уложили последний камень и скрепили все цементом, мы — Гринхусен и я — пришли на помощь Ларсу Фалькенбергу и начали копать, каждый на своем участке. Работа спорилась, порой приходилось взрывать камень, порой убирать с дороги деревья, но вскоре от запруды ко двору протянулась ровная черная линия. Тогда мы вернулись к началу канавы и начали докапываться до нужной глубины. В конце концов, канаву роют не для красоты, а для того, чтобы уложить в нее трубы и засыпать тотчас землей, а главное, уложить их ниже уровня мерзлоты и успеть до морозов. По ночам землю уже слегка прихватывало. Даже Нильс бросил все свои дела и пришел к нам на помощь.

Копал ли я, возводил ли запруду — это давало занятие только моим рукам, а ничем не занятый мозг осаждали всевозможные мысли. Всякий раз, когда я вспоминал, как мы вместе читали открытку капитана, у меня внутри все начинало петь. До каких пор, собственно, я буду об этом вспоминать? Хватит. Я ведь не пошел тогда за ней.

Я стоял вот тут, а она — вот тут. Я чувствовал ее дыхание, запах плоти. Она пришла из тьмы, нет, нет, она не с нашей планеты. Ты помнишь, какие у нее глаза?

И всякий раз внутри у меня все переворачивалось и душило меня. Нескончаемая череда имен проходила передо мной, звучащие то нежно, то нелепо имена тех мест, откуда она могла явиться к нам: Уганда, Тананариве, Гонолулу, Венесуэла, Атакама. Что это, стихи или краски? Я и сам не знал.

XIII

Фру просит заложить экипаж, она собирается на станцию.

Она никуда не спешит, она велит кухарке приготовить ей на дорогу корзину с провизией, а когда Нильс спрашивает ее, какой экипаж она предпочитает — коляску или ландо, фру, немного подумав, велит запрячь ландо парой.

Она уезжает. Правит сам Нильс. Вечером они возвращаются. Они вернулись с полдороги.

Неужели фру что-нибудь забыла? Она требует переменить корзину с провизией и переменить лошадей, они сейчас же уедут обратно. Нильс пытается отговорить ее, дело к ночи, уже стемнело, но фру не хочет слушать никаких резонов. Дожидаясь, пока выполнят ее приказания, фру сидит у себя в дорожном платье, она ничего не позабыла и ничего не делает, она просто сидит и смотрит в одну точку. Рагнхильд подходит и спрашивает, не нужна ли она фру. Нет, спасибо. Фру сидит сгорбившись, словно какое-то горе гнет ее к земле.

Лошадей перепрягли, фру вышла.

Увидев, что Нильс и во второй раз собирается ее везти, фру его пожалела и сказала, что теперь с ней поедет Гринхусен. В ожидании Гринхусена она присела на ступени.

Потом они уехали. Вечер был приятный, и лошадям не жарко.

— Она так изменилась, — говорит Нильс. — Я ничего не могу понять. Я сидел, правил, вдруг она постучала мне в окошко и велела поворачивать. А мы уже с полпути проехали. Но она только и приказала поворачивать и не сказала ни слова о том, что намерена тотчас ехать обратно.

— Может, она что-то забыла?

— Ничего она не забыла, — говорит Рагнхильд. — Она поднялась к себе, я думала, она решила сжечь эти фотографии, ничуть не бывало: как стояли, так и стоят. Нет, ничего она дома не делала.

Мы отошли с Нильсом подальше, и он сказал мне:

— Что-то с ней неладно, с нашей фру, в ней нет гармонии, совсем нет. Как по-твоему, куда она поехала? Я лично не знаю. Сдается мне, что она и сама этого не знает. Когда мы остановились отдохнуть, фру и говорит мне: «Ах, Нильс, у меня так много дел, мне надо поспеть в двадцать мест, и дома быть тоже надо». — «Не стоит так утруждать себя, фру, — сказал я ей, — и не стоит тревожиться». Но ты же знаешь, какая она стала. Она не терпит, когда ей что-нибудь советуют. Она взглянула на часы и велела ехать дальше.

— Это было по дороге на станцию?

— Нет, уже на обратном пути. Она очень волновалась.

— Уж не получила ли она письмо от капитана?

Нильс только головой покачал.

— Нет. Впрочем, кто знает. Кстати, какой у нас завтра день-то? Воскресенье?

— Воскресенье, а что?

— Ничего, я просто так. Я собирался в воскресенье отыскать поудобней дорогу к дровосеке. Я давно уж собираюсь. Когда снег выпадет, небось трудней будет.

Вечно у него в голове хозяйственные заботы. Для него это дело чести, вдобавок он хочет отблагодарить капитана, ибо тот прибавил ему жалованья за хороший урожай. Итак, нынче воскресенье.

Я иду на холмы посмотреть запруду и канаву. Нам бы еще несколько погожих дней, и водопровод будет закончен. Меня очень это занимает, и я с нетерпением жду, когда минует воскресенье и можно будет приналечь на работу. Капитан не вмешивался ни единым словом в строительство водопровода, он целиком положился на меня, вот почему мне далеко не безразлично, когда ударят морозы.

Вернувшись, я вижу, что ландо стоит посреди двора, а лошади выпряжены. По времени фру уже вполне могла вернуться, но почему ж тогда Гринхусен остановил ландо у парадного крыльца? — подумал я и прошел в людскую.

Девушки выбегают мне навстречу: фру не вылезает из ландо, она снова воротилась с дороги, они успели доехать до самой станции, но фру приказала доставить ее обратно. Поди пойми ее.

— Может быть, она чем-то взволнована? — спрашиваю я. — А где Нильс?

— В лес ушел. Сказал, что надолго. Кроме нас, никого из прислуги нет, а мы уже говорили с фру. Нам больше неудобно.

— А Гринхусен где?

— Пошел перепрягать лошадей. А фру не желает выходить из ландо. Попробуй ты уговорить ее.

— Невелика беда, если фру прокатится до станции еще несколько раз. Не беспокойтесь.

Я подошел к фру. Сердце мое сильно стучало. Как она нервничала, каким безотрадным казалось ей, должно быть, все вокруг. Я приоткрыл дверцу, поклонился и спросил:

— Может быть, фру прикажет мне доставить ее на станцию?

Она спокойно оглядела меня и ответила:

— Это зачем же?

— Гринхусен, верно, устал, вот я и подумал...

— Он сказал, что отвезет меня. Ничего он не устал. И пусть поторапливается, где он там?

— Я его не вижу, — ответил я.

— Закрой дверцу и поторопи его, — приказала фру, оправляя на себе дорожное платье.

Я пошел на конюшню. Гринхусен запрягал свежих лошадей.

— Ты что это, — спросил я, — опять едешь?

— Я-то? А разве не велено? — И Гринхусен помедлил.

— Чудно как-то получается. Вы куда сейчас поедете, она тебе говорила?

— Нет. Она прямо среди ночи хотела вернуться домой, но я ей сказал, что это нам всем не под силу. Ну, она и заночевала в гостинице. Но утром приказала ехать домой. А теперь хочет снова на станцию. Я и сам ничего не понимаю.

И Гринхусен снова принялся запрягать.

— Фру велела мне поторопить тебя.

— Я сейчас. Мне только с упряжью разобраться.

— Ты, наверное, устал, тебе, пожалуй, трудно ехать второй раз?

— Ничего, как-нибудь справлюсь. Она знаешь как здорово дает на чай!

— Да ну?

— Вот ей-богу. Благородная дама, сразу видно.

Тогда я говорю:

— Не надо тебе ездить во второй раз.

Гринхусен поворачивается ко мне.

— Ты так думаешь? Может, и впрямь не надо.

Но тут раздается голос фру, которая тем временем подошла к дверям конюшни.

— Ты долго будешь копаться? До каких пор мне ждать?

— Сей момент! — отвечает Гринхусен и начинает суетиться. — Только постромку подправлю.

Фру вернулась к ландо. Она почти бежала, тяжелая меховая доха затрудняла ее движения, она размахивала руками, чтобы не оступиться. До чего же печальное зрелище — словно курица мечется по двору и бьет крыльями.

Я снова подошел к фру, я держался учтиво, даже смиренно, я снял шапку и попросил ее не ездить второй раз.

— Не тебе меня везти, — отрезала фру.

— Но, может быть, фру и сама никуда не поедет?

Тут она рассердилась, смерила меня взглядом и сказала:

— Ну это уж, извини, не твое дело. Только потому, что тебя когда-то из-за меня рассчитали, ты...

— Нет, нет, вовсе не потому! — в отчаянии воскликнул я и ничего не мог прибавить. Если она так меня поняла, значит, она меня ни в грош не ставит.

Лишь на мгновение вспыхнула во мне искра бешенства, я готов был ворваться в ландо и силой вытащить оттуда эту глупую, бестолковую курицу! Должно быть, руки у меня непроизвольно дернулись — она отшатнулась с боязливым видом.

Но так было только одно мгновение, потом я снова обмяк, и поглупел, и предпринял еще одну попытку:

— Очень нам тревожно, когда вы уедете, нам всем. Мы бы и здесь могли чем-нибудь вас развлечь, я бы почитал вслух, а Ларс славно поет. Я и рассказать бы мог что-нибудь. Какую-нибудь историю. Вон идет Гринхусен, прикажите отослать его назад.

Она как будто смягчилась и призадумалась. Потом сказала:

— Ты просто ничего не понимаешь. Я езжу встречать капитана. Позавчера он не приехал. Вчера он не приехал, но ведь рано или поздно он должен приехать. Я хочу встретить его.

— А-а!

— Ну ступай. Гринхусен здесь?

Я так и онемел. Конечно же, она права, и объяснение ее звучит вполне убедительно, а я снова выставил себя дураком.

— Да, Гринхусен здесь, — ответил я.

И я надел шапку, и я сам помог Гринхусену запрячь лошадей. Я был так смущен и ошарашен, что даже забыл попросить прощенья, а просто бегал вокруг лошадей и проверял, в порядке ли упряжь.

— Значит, ты повезешь меня? — обратилась фру к Гринхусену.

— Я, я! А то кто же, — ответил он.

Она громко захлопнула дверцу, и ландо покатилось со двора.

— Уехала? — всплеснули руками девушки.

— Вот именно. Она хочет встретить своего мужа.

Я опять ушел к запруде. Раз Гринхусена нет дома, у нас одним работником меньше, и еще вопрос, сумеем ли мы, оставшиеся, управиться в срок.

Я понял, что фру Фалькенберг ловко провела меня, когда сказала, будто едет встречать мужа. Большой беды тут нет — лошади хорошо отдохнули; покуда Нильс вместе с нами копал канаву, они несколько дней простояли в конюшне, но я-то, я-то, это же надо быть таким дураком. Мне бы самому влезть на козлы, вместо того чтобы просить прощенья. Ну хорошо, а дальше что? А то, что я не стал бы потворствовать

всем ее капризам, я мог бы попридержать ее. Эх ты, влюбчивый старикашка! Фру и сама знает, что ей делать. Она хочет поквитаться с капитаном, не быть дома, когда он приедет. Ее раздирают сомнения, то она хочет одного, то другого, то одного, то опять другого. И все-таки пускай сама решает, что ей делать. А ты, добрая душа, не затем же ты пустился в свое странствие, чтобы охранять гражданские интересы супругов в случае любовных похождений. Пусть так. Фру Фалькенберг очень испорченна. Ей причинили непоправимое зло, она смята, и не все ли равно, как она распорядится собой. Она и лгать приучилась. Сперва — строит глазки, как дива из варьете, потом начинает лгать. Сегодня это была ложь во спасение, а завтра она солжет для собственного удовольствия, одно влечет за собой другое. Ну и что? Жизнь может позволить себе такую расточительность.

Три дня мы возились с канавой, осталось несколько метров. Теперь по ночам бывало порой три градуса мороза, но нам это не мешало, мы продвигались вперед. Вернулся Гринхусен, я определил его копать для трубы канаву под кухней, сам я вел канаву под скотным двором и конюшней, что составляло наиболее ответственную часть работы, а Нильс и Ларс Фалькенберг вели канаву к запруде.

Сегодня я наконец выбрался спросить у Гринхусена про фру:

— Значит, в последний раз она с тобой не вернулась?

— Нет, она села в поезд.

— Должно быть, она поехала встречать мужа?

Гринхусен теперь держался со мной настороженно, за эти два дня он не сказал мне ни слова и односложно ответил:

— Наверно, наверно. Как же, как же, ясное дело, надо встретить мужа.

— Послушай, а что, если она к родителям поехала в Кристианссанн?

— Может, и к родителям, — отвечает Гринхусен. Ему это предположение нравится больше. — Ясно как божий день, она поехала к ним. Погостит и скоро вернется.

— Она сама это сказала?

— Да, по всему видать, что скоро. Капитана-то все равно еще дома нет. Наша фру — редкостная женщина. Вот тебе, Гринхусен, поешь, а вот попей и лошадей напои, говорит, а вот тебе и сверх того. Поди еще найди такую хозяйку!

Но девушкам, с которыми Гринхусен держался откровеннее, он сказал, что фру, может быть, и вовсе никогда не вернется. Не зря она всю дорогу расспрашивала его про инженера Лассена — небось к нему и поехала. А уж с Лассеном она не пропадет, такого богатея поискать надо.

На имя фру пришла еще одна открытка, где капитан просил выслать Нильса встречать его в пятницу вечером и не позабыть доху. Открытка припоздала, был уже четверг. Вышло даже удачно, что Рагнхильд догадалась сунуть нос в открытку.

Мы сидели у Нильса в комнате и толковали про капитана, как он все это воспримет и что должны говорить мы, если, конечно, мы вообще должны что-либо говорить. Присутствовали все три горничные. К тому времени, когда капитан писал свою открытку, фру уже вполне могла добраться до Христиании, значит, она поехала не туда. Все это было даже более чем печально.

Нильс спросил:

— А письма она ему не оставила?

Нет, писем никаких не видать. Зато Рагнхильд по своему почину сделала кое-что, чего ей, быть может, вовсе не следовало делать. Она бросила в печь все фотографии, стоявшие на рояле. Не надо было, да?

— Нет, отчего же, Рагнхильд, отчего же.

Потом Рагнхильд рассказала нам, что просмотрела все вещи фру и выбрала все чужие платки. Она много нашла там чужих вещей, вышитую сумку с монограммой инженера Лассена, книгу, где было полностью написано его имя, какие-то сладости в пакете с его адресом, и все это она сожгла.

Да, Рагнхильд была необыкновенная девушка! Какое безошибочное чутье! Как она сумела в один миг стать кроткой и добродетельной! Она, которая умела извлечь столько пользы из красной ковровой дорожки и замочных скважин.

Для меня и моего дела вышло даже лучше, что капитан не затребовал Нильса и экипаж вовремя: канава уже достигла необходимой длины, а чтобы укладывать трубы, Нильс мне не нужен. Вот когда придет пора засыпать канаву, мне понадобятся все рабочие руки. Кстати, опять начались дожди, потеплело. Термометр стоял много выше нуля.

Мне просто повезло, что водопровод занимал в эти дни все мои мысли, он избавил меня от множества неизбежных раздумий. Порой я сжимал кулаки и терзался, а оставшись один, в криках изливал лесу свою тоску, но уехать я не мог никак. Да и куда мне было ехать?

Вернулся капитан. Он тотчас обежал весь дом, заглянул в людскую, на кухню, осмотрел комнаты верхнего этажа и снова спустился к нам, все еще в дохе и ботфортах.

— Где фру? — спросил он.

— Фру выехала вам навстречу, — отвечала Рагнхильд. — Мы думали, она вернулась вместе с вами.

У капитана сразу поникла голова. Потом он спросил осторожно:

— Значит, ее Нильс отвез? Жалко, я не посмотрел на станции.

Тут Рагнхильд сказала:

— Фру уехала в воскресенье.

Капитан к этому времени овладел собой и сказал:

— В воскресенье, говоришь? Тогда, должно быть, она думала встретить меня в Христиании. Гм-гм. Значит, мы разминулись, я заезжал по дороге еще в одно место, я был вчера в Драммене, то есть в Фредерикстаде. Ты меня не покормишь, Рагнхильд?

— Прошу, стол накрыт.

— Вообще-то я заезжал в Драммен позавчера. Ну, ну, значит, фру решила прогуляться. А дома у нас все в порядке? Канаву копают?

— Уже кончили.

И капитан скрылся в подъезде. А Рагнхильд со всех ног помчалась к нам и слово в слово передала этот разговор, чтобы мы не подвели ее.

Позднее капитан вышел к нам, сказал: «Здорово, ребята», — на офицерский манер и был приятно поражен, когда увидел, что мы не только уложили трубы, но даже начали засыпать их землей.

— Молодцы, ребята! Вы не в пример ловчей управляетесь с делами, чем я.

Потом он перешел к запруде. Когда он снова вернулся к нам, взгляд у него был не такой зоркий, как вначале, глаза помутнели. Должно быть, он посидел там в одиночестве и поразмыслил кое о чем. Вот он стоит подле нас и держится рукой за подбородок. Помолчав немного, он сказал Нильсу:

— Ну, лес я продал.

— За хорошую цену, господин капитан?

— Вот именно. За хорошую цену. Но я провозился с этим делом все время. Вы тут управляетесь быстрей.

— Нас ведь много было, иногда четверо сразу.

Он хотел пошутить и сказал:

— Я-то знаю, как ты мне дорого стоишь.

Но голос капитана звучал совсем не шутливо, да и улыбка у него не получилась. Растерянность всецело им завладела. Немного спустя он сел на камень, вынутый из канавы и перемазанный сырой глиной. Сидя на камне, он наблюдал за нашей работой.

Я подошел к нему с лопатой в руке, мне было жаль его платье, поэтому я сказал:

— Не прикажете ли соскрести глину с камня?

— Нет, не надо.

Однако он встал, и я пообчистил камень.

Но тут я завидел бегущую к нам вдоль канавы Рагнхильд. Что-то белое трепыхалось у нее в руке, какая-то бумажка. А Рагнхильд бежала что есть духу. Капитан сидел и смотрел на нее.

— Вам телеграмма, — сказала она, отдуваясь. — С нарочным.

Капитан встал и сделал несколько шагов навстречу этой телеграмме. Потом он раскрыл ее и прочел.

Мы сразу увидели, что телеграмма очень важная — у капитана перехватило дыхание. Потом он зашагал, нет, побежал к дому, отбежав немного, обернулся и крикнул Нильсу:

— Запрягай немедля. На станцию.

И побежал дальше.

Капитан уехал. Всего несколько часов он пробыл дома.

Рагнхильд описала нам его волнение: он чуть не забыл доху, он забыл приготовленную для него корзинку с провизией и телеграмму, которая так и осталась лежать на ступеньках.

«Несчастный случай, — стояло в телеграмме. — С Вашей супругой... Полицеймейстер».

Что бы это могло значить?

— Я сразу почуяла беду, когда увидела нарочного, — сказала Рагнхильд каким-то чужим голосом и отвернулась. — Должно быть, очень большая беда.

— С чего ты взяла, — отвечаю я, а сам все читаю и перечитываю. — Ты послушай: «Вам надлежит прибыть безотлагательно. С вашей супругой произошел несчастный случай. Полицеймейстер».

Это была срочная депеша из того маленького городка, из мертвого городка. Да, да, оттуда. В городке стоит неумолчный шум, в городке есть длинный мост, водопад. Любой крик умирает там, кричи не кричи — никто не услышит. Птиц там тоже нет...

Все девушки приходят ко мне поговорить, и у каждой чужой, изменившийся голос, все страдают, и я обязан казаться уверенным и непоколебимым.

— Может быть, фру упала и больно ушиблась, она стала нынче такая грузная. Упала, а потом поднялась без посторонней помощи, кровь текла немножко, и все. А полицмейстера хлебом не корми, только дай ему отправить телеграмму.

— Да нет же, да нет же, — спорит Рагнхильд. — Ты и сам отлично знаешь, что уж раз полицмейстер отправил те-

леграмму, значит, фру нашли мертвой. Какой ужас... сил нет вынести.

Настали тяжкие дни. Я работал усерднее, чем всегда, но двигался как во сне, без страсти и без охоты. Когда же вернется капитан?

Он вернулся через три дня, один, молча, — тело доставили в Кристианссанн, капитан заехал домой только переменить платье, потом он поедет туда же, на похороны.

На сей раз он и часу не пробыл дома: надо было поспеть к утреннему поезду. Я так даже не повидал его, потому что не был во дворе.

Рагнхильд спросила его, застал ли он фру в живых.

Он поглядел на нее и сдвинул брови.

Но Рагнхильд не отставала и просила ради бога сказать ей, да или нет! Обе горничные стояли позади, и вид у них был такой же горестный.

Тогда капитан ответил — но так тихо, словно отвечал себе самому:

— Я приехал уже через несколько дней после ее смерти. Произошел несчастный случай, она хотела перейти реку по льду, а лед еще не окреп. Да нет, льда вообще не было, лишь камни, очень скользкие. Впрочем, лед тоже был.

Девушки начали всхлипывать, но этого капитан уже не вытерпел, он поднялся со стула, сухо кашлянул и сказал:

— Ладно, девушки, ступайте! Постой-ка, Рагнхильд! — и спросил ее о том, о чем явно хотел узнать с глазу на глаз: — Что я собирался сказать, ах да, это ты сняла фотографии с рояля? Ума не приложу, куда они делись.

Тут к Рагнхильд вернулась ее всегдашняя смекалка и расторопность, и она отвечала — благослови ее Бог за эту ложь:

— Я? Нет, это фру как-то убрала их.

— Ах, так. Вот оно что. Я просто не мог понять, куда они делись.

У него отлегло от сердца, ей-же-ей, отлегло после слов Рагнхильд!

Перед отъездом он успел еще передать Рагнхильд, чтоб я не вздумал покидать Эвребё до его возвращения.

XIV

Я не покинул Эвребё.

Я работал, я пережил самые безотрадные дни своей жизни, но достроил водопровод. Когда мы первый раз пустили по нему воду, это послужило для нас некоторым развлечением и дало возможность хоть немного поговорить о чем-то ином.

Потом Ларс Фалькенберг ушел от нас. Напоследок между нами не осталось и следа вражды, словно вернулись былые дни, когда мы бродили из усадьбы в усадьбу и были добрыми друзьями.

Ему больше повезло в жизни, чем многим из нас, на душе у него было легко, в голове пусто, и здоровье не ослабело с годами. Правда, ему не доведется больше петь господам. Но, по-моему, он и сам за последние годы стал несколько трезвее оценивать свой голос и довольствовался тем, что рассказывал, как он в свое время распевал на танцах и для господ. Нет, за Ларса Фалькенберга тревожиться нечего, у него остается и хозяйство, и две коровы, и свиньи, а в придачу — жена и дети.

А вот нам с Гринхусеном куда деваться? Я, положим, могу бродить где ни попадя, но наш добрый Гринхусен совсем к этому не приспособлен. Он может только жить где ни попадя и работать, пока его не рассчитают. И он, когда слышит страшное слово «расчет», — теряется, как дитя малое, словно пришла пора пропадать. Но уже немного спустя он снова обретает детскую веру — не в себя самого, а в судьбу, в Божий промысел, и, облегченно вздохнув, говорит: «Ничего, с Божьей помощью все образуется».

Значит, и Гринхусена нечего жалеть. Он превосходно уживается на любом месте, куда бы его ни занесло, и может прожить там до конца своих дней, будь на то его воля. Идти домой Гринхусену незачем, дети давно выросли, жена ему без надобности. Нет, этому рыжеволосому сорванцу былых времен нужно только место, где работать.

— Ты куда пойдешь? — спрашивает он у меня.

— Я пойду далеко, в горы, к Труватну, в леса.

И хотя Гринхусен не поверил ни единому слову, он ответил тихо и раздумчиво:

— Вполне может быть.

Когда водопровод был доделан, Нильс послал нас с Гринхусеном заготавливать дрова до возвращения капитана. Мы расчищали лес после рубки и собирали сучья, работа была не пыльная.

— Наверно, нас обоих рассчитают, когда капитан вернется, — говорил Гринхусен.

— А ты наймись на зиму, — посоветовал я. — Знаешь, сколько дров можно набрать с этой порубки, пили себе потихоньку, неплохо подзаработаешь.

— Замолви словечко перед капитаном, — ответил он.

Возможность задержаться в Эвребё на всю зиму очень его вдохновила. Этот человек жил в полном ладу с собой самим. Значит, о Гринхусене тоже нечего было тревожиться.

Оставался только я. А я уже никогда не смогу ладить с собой, если Бог не положит конец этой напасти.

В воскресенье я не находил себе места. Я ждал капитана, он обещал вернуться к этому дню. Чтобы еще раз все проверить, я ушел далеко вверх по ручью, который питает наш водосборник, а заодно посмотрел и два маленьких пруда на самом верху — «Истоки Нила».

На обратном пути, спускаясь лесом, я встретил Ларса Фалькенберга. Он поднимался к себе домой. Выплыл полный месяц, огромный и багровый, все кругом озарилось. Землю чуть припорошило снегом, подморозило, и поэтому дышалось легко. Ларс был донельзя приветлив, он побывал в поселке, пропустил рюмочку-другую, и говорил без умолку. Впрочем, я предпочел бы не встречать его нынче.

Я долго стоял на взгорке, прислушиваясь к неумолчному шепоту неба и земли, других звуков не было. Лишь порой раздавалось как бы легкое журчание, когда сморщенный листок плавно опускался на припорошенные ветки. Это напоминало лепет маленького родничка. И снова ни звука — кроме неумолчного шепота. Умиротворение снизошло на меня, я надел сурдинку на свои струны.

Ларс Фалькенберг непременно хотел узнать, откуда я иду и куда собираюсь. Ручей? Водосборник? Вот чепуха-то, прости господи, как будто люди не могут сами носить воду. Ох уж и любит капитан всякие там новомодные штучки — то у него пахота осенняя, то еще что, только как бы ему в трубу не вылететь с такими замашками. Урожай, говорите, богатый? Ну пусть богатый. А вот догадался ли кто подсчитать, во сколько обошлись все эти машины и люди, что приставлены к каждой машине? На нас с Гринхусеном порядком ушло за лето. Да и на него, на Ларса, за осень немало потрачено. Вот в былые дни в Эвребё богатели и веселились. Господа каждый вечер песни слушали, а кто им пел, я не хочу поминать. А нынче в лесу деревца не увидишь — сплошь пни.

— Ничего, через годок-другой поднимутся новые деревья.

— Сказал тоже — через годок-другой! Много лет пройдет, учти. Эка невидаль — капитан; командуй себе ать-два, и дело с концом. Он теперь даже не председатель общины. Ты замечал, чтоб хоть одна живая душа пришла к нему за советом? Я что-то не замечал.

— Ты видел капитана? Он вернулся? — перебиваю я.

— Вернулся, вернулся! Что твой скелет. Чего я еще хотел у тебя спросить — ты когда едешь-то?

— Завтра, — отвечаю я.

— Уже? — Ларс до краев наполнен расположением ко мне, он никогда не думал, что я уеду так скоро.

— Навряд ли я тебя здесь увижу до отъезда, — сказал он. — И я хочу на прощанье дать тебе совет: хватит транжирить жизнь по-пустому, пора и осесть где ни то. Учти, от меня ты это слышишь в последний раз. Не скажу, чтоб мне так уж хорошо жилось, но ведь мало кому из нашего брата живется лучше, а о тебе и вовсе речи нет. У меня есть крыша над головой, что есть, то есть. Жена и дети, две коровы, одна отелится весной, другая — осенью, еще свинья — вот и все мое богатство. Особо хвалиться нечем, но я сам себе хозяин. Если пораскинуть умом, ты со мной не будешь спорить.

— Да, ты выбился в люди, нас и равнять-то нечего.

Эта похвала сделала Ларса еще дружелюбнее, теперь он готов костьми лечь ради моего блага. Вот он говорит:

— Ну, коли на то пошло, так тебя и вовсе равнять не с кем. Ты умеешь делать любую работу — это раз, вдобавок ты силен в письме и в счете. Так что ты сам виноват во всем. Надо было тебе шесть лет назад тоже жениться на горничной, как я на Эмме, я ж тебе советовал, и зажить припеваючи. Вот и не пришлось бы слоняться из усадьбы в усадьбу. Я и сейчас про это толкую.

— Слишком поздно, — отвечаю я.

— Да, поседел ты изрядно, уж и не знаю, какая невеста на тебя польстится. Тебе сколько стукнуло?

— Лучше не спрашивай.

— Ну, молоденькая тебе и без надобности. Я и еще что-то хотел тебе сказать, проводи меня немного, авось вспомню.

Я иду с Ларсом. Он не умолкает ни на минуту. Он готов замолвить за меня словечко перед капитаном, чтобы мне отвели такую же вырубку.

— Это же надо, — говорит он, — начисто забыл, о чем я хотел сказать. Пошли ко мне, может, там вспомню.

Весь он обратился в доброжелательство. Но у меня были кой-какие дела, так что идти дальше я не захотел.

— Все равно тебе сегодня капитана не увидеть.

— Но ведь час поздний, Эмма уже легла, зачем ее зря беспокоить.

— Скажешь тоже — беспокоить, — горячился Ларс. — Легла так легла. Поди, и рубашка твоя стираная у нас осталась. Возьми ее, тогда Эмме не придется ходить в такую даль.

— Да уж нет, не стоит, а Эмме передай поклон, — отважился я на прощанье.

— Непременно передам. А коли ты наотрез отказываешься зайти ко мне... Ты завтра рано уходишь?

Я забыл, что мне уже не удастся поговорить сегодня с капитаном, и ответил:

— Да, очень рано.

— Тогда я сейчас же отправлю Эмму к тебе с рубашкой. И прощай. Помни, что я сказал тебе.

На этом мы и расстались.

Спустившись немного вниз, я замедлил шаги, по совести говоря, я не спешил, — долго ли мне собраться. Я повернул и побрел назад и погулял при луне. Вечер был на диво хорош, без мороза, мягкий и тихий покой одел леса. Не прошло и получаса, как Эмма принесла мне рубашку.

С утра мы оба не вышли на работу.

Гринхусен все тревожился и спрашивал:

— А с капитаном ты про меня говорил?

— Я с ним вообще не говорил.

— Ох, вот увидишь, он меня рассчитает. Будь он порядочный человек, поручил бы мне наготовить дров. А от него разве дождешься. Он и батрака-то нехотя держит.

— Не тебе бы это говорить. Помнится, ты здорово расхваливал капитана Фалькенберга.

— Ну хвалил, не отпираюсь. Когда было за что. Я вот чего думаю — не найдется ли у инженера какой работенки для меня. При его-то достатках.

Капитана я увидел часов около восьми. Мы говорили с ним, покуда не явились визитеры из соседних усадеб, наверное, выражать соболезнование.

Вид у капитана был напряженный, но он не производил впечатления человека разбитого, а казался, напротив, собранным и подтянутым. Он задал мне несколько вопросов о том, как лучше ставить задуманную сушилку для зерна и сена.

Теперь в Эвребё не будет беспорядка, сердечных терзаний, заблудших душ. Я почти пожалел об этом. Некому ставить на рояль неподходящие фотографии, но ведь играть на рояле тоже некому, рояль безмолвствует, отзвучал последний аккорд. Здесь больше нет фру Фалькенберг, и уже ни себе самой, ни кому другому она не причинит зла. Здесь больше нет ничего прежнего. Неизвестно, вернутся ли когда-нибудь в Эвребё цветы и радость.

— Как бы он снова не запил, — говорю я Нильсу.

— Не запьет, — отвечает Нильс. — По-моему, он и не пил никогда. Я думаю, капитан просто дурачился, когда выстав-

лял себя пропойцей. И довольно об этом, скажи лучше, ты вернешься к весне?

— Нет, я больше никогда не вернусь.

Мы прощаемся с Нильсом. Я сохраню в памяти его ровный нрав и здравый смысл; он идет по двору, а я гляжу ему вслед. И тогда он спрашивает, обернувшись:

— Ты вчера был в лесу? Снегу много? Я на санях проеду за дровами?

— Проедешь, — отвечаю я.

И довольный Нильс идет к конюшне — запрягать.

Появляется Гринхусен — тоже по пути в конюшню. Задержавшись около меня, он рассказывает, что капитан сам предложил ему остаться на зиму: «Напили дров, сколько сможешь, — это мне капитан сам сказал, — поработай, а насчет жалованья мы поладим». — «Премного благодарен, господин капитан». — «Ну, ступай к Нильсу». Вот это человек! Я таких и не видывал!

Немного спустя капитан присылает за мной, и я иду в его кабинет. Капитан благодарит меня за все работы по двору и по усадьбе и дает мне расчет. На этом можно бы и разойтись, но он снова начинает расспрашивать меня насчет сушилки, и разговор затягивается. При всех условиях до Рождества об этом думать нечего, а вот ближе к делу он был бы рад снова меня видеть. Тут он взглянул на меня в упор и спросил:

— Но ведь ты, наверно, никогда больше не приедешь в Эвребё?

Я опешил. Потом ответил ему таким же взглядом.

— Никогда.

Уходя, я размышлял над его словами; неужели он разгадал меня? Если так, он отнесся ко мне с доверием, которое надо ценить. Вот что значит хорошее воспитание.

Итак, доверие. Но чего ему стоит это доверие? Я человек конченый. Он предоставил мне полную свободу действий именно потому, что я совершенно безвреден. Вот как обстояло дело. Да и разгадывать, по совести, было нечего.

И я обошел всю усадьбу и со всеми простился, с девушками и с Рагнхильд. Когда я с мешком за плечами пересекал двор, капитан Фалькенберг вышел на крыльцо:

— Слушай, если ты на станцию, пусть мальчик отвезет тебя.

Вот что значит хорошее воспитание. Но я поблагодарил и отказался. Уж не настолько я конченый, чтобы не суметь дойти до станции пешком.

Я снова в маленьком городке. Я пришел сюда потому, что через него лежит мой путь к Труватну и в горы.

В городке все как прежде, только теперь на реке по обе стороны водопада лежит тонкий лед, а на льду — снег.

Я покупаю в городке платье и прочее снаряжение; купив добротные новые ботинки, я иду к сапожнику, чтобы он поставил мне подметки на старые. Сапожник заводит со мной разговор, предлагает мне сесть. «Вы сами откуда?» — спрашивает он. И снова дух этого городка со всех сторон обступает меня.

Я иду на кладбище. На кладбище тоже хорошо подготовились к зиме. Стволы деревьев и кустов укрыты соломой, на хрупкие могильные камни нахлобучены дощатые колпаки. А сами колпаки, в свою очередь, выкрашены для сохранности. Те, кто сделал это, должно быть, рассуждали так: смотри, вот тебе могильный камень, если хорошо следить за ним, он может стать камнем и для меня, и для моих потомков на много поколений вперед.

В городе сейчас рождественская ярмарка. Я иду туда. Здесь сани и лыжи, здесь бочонки с маслом и резные деревянные стулья из царства гномов, здесь розовые варежки, вальки для белья, лисьи шкуры. Здесь прасолы и барышники, вперемежку с подвыпившими крестьянами из долины, даже евреи и те сюда явились, чтобы всучить кому-нибудь часы с инкрустацией, а если повезет — и двое зараз, хотя в городе нет денег. Часы эти из высокогорной альпийской страны, которая не подарила миру Бёклина, которая никого и ничего не подарила миру.

Ох уж эта ярмарка!

Зато по вечерам город предлагает всем своим жителям приятные увеселения. В двух залах танцуют под скрипку-хардингфеле, чья музыка поистине прекрасна. На скрипках натянуты стальные струны, они не дают законченных музыкальных фраз, они дают только такт. Музыка действует на разных людей по-разному. Одних трогает ее национальное очарование, другие стискивают зубы и готовы выть от тоски. Никогда еще музыкальный такт не оказывал такого сильного действия.

Танцы продолжаются.

В перерыве школьный учитель исполняет следующее произведение:

Старушка мать! Твой тяжкий
труд кровавый пот исторг!

Но кое-кто из особо подгулявших парней требует танцев, только танцев, без перерыва. Так дело не пойдет, они уже обняли своих девушек, увольте их от пения. Певец смолкает.

Как, уволить их от самого Винье! Голоса «за» и «против», спор, скандал. Никогда еще пение не оказывало такого сильного действия.

Танцы продолжаются.

На девушках из долины по пять розовых юбок, но для них это сущие пустяки, они привыкли таскать тяжести. Танцы продолжаются, стоит шум, водка исправно горячит кровь, над адским котлом клубится пар. В три часа ночи является полицейский и стучит палкой в пол. Баста. При лунном свете расходятся танцоры по городку и окрестностям. А девять месяцев спустя девушки из долины предъявят наглядные доказательства тому, что они все-таки надели одной юбкой меньше, чем следовало.

Никогда еще нехватка юбок не оказывала такого сильного действия.

Река теперь молчит, глазу не на чем задержаться, холод сковал ее. Правда, она по-прежнему приводит в движение лесопилку и мельницы, что стоят по ее берегам, ибо была и остается большой рекой, но жизни в ней нет, она сама надела на себя покрывало.

И водопаду не повезло. Было время, я стоял над ним, глядел, слушал и думал: если бы мне довелось навсегда поселиться в этом неумолчном шуме, что сталось бы с моим мозгом? Теперь водопад усох и что-то лепечет невнятно, язык не повернется назвать такой лепет шумом. Это не водопад, а всего лишь жалкие останки водопада. Он оскудел, из него повсюду торчат большие камни, бревна в беспорядке загромоздили его, водопад можно перейти теперь по камням и бревнам, не замочив ног.

Все дела сделаны, я снова стою с мешком за плечами. Воскресенье, день погожий.

Я иду к рассыльному в отель, прощаюсь, он хочет проводить меня немного вверх по реке. Этот большой добродушный парень вызывается нести мою укладку — как будто я сам не снесу ее.

Мы идем вверх по правому берегу, а торная дорога на левом берегу. На правом лишь тропинка, протоптанная за лето сплавщиками, да несколько свежих следов на снегу. Мой спутник не может понять, почему мы не идем по дороге, он никогда не блистал умом; но за свой последний приезд я уже дважды ходил по этой тропинке и хочу сходить в последний раз. Это мои следы виднеются теперь на снегу.

Я спрашиваю:

— Та дама, про которую ты говорил, ну та, что утонула, — это случилось где-нибудь здесь?

— Которая ушла под воду... да, как раз на этом месте. Страсть-то какая — нас человек двадцать ее искали, и полиция тоже.

— Баграми?

— Ну да. Мы настелили на лед доски и слеги, но они ломались под нами. Мы весь лед расковыряли. Видишь, где? — И рассыльный останавливается.

Я вижу темный участок, там, где плавали лодки и ломали лед. В поисках тела. Теперь все снова затянуло льдом.

А рассыльный продолжает:

— Насилу мы ее нашли. И еще слава богу, скажу я тебе, что река так обмелела. Бедняжка пошла на дно между двумя камнями, там и застряла. Хорошо хоть, течения почти нет. Будь дело весной, она далеко бы уплыла.

— Она хотела перейти через реку?

— Да, у нас все так ходят, едва станет лед, хоть и зря они это делают. Этой дорогой уже прошел один человек, но дня на два раньше. Она в аккурат шла по этой стороне, где сейчас идем мы с тобой, а инженер ехал с верховьев по той стороне, он на велосипеде ехал. Они заметили друг друга и вроде как бы поздоровались или рукой помахали, ведь они родня между собой. Только она, видать, не поняла, чего это он ей машет, так инженер объяснял, и ступила на лед. Инженер ей кричит, а она не слышит, а подойти к ней он не мог — не бросать же велосипед; и вдобавок человек уже проходил по льду третьего дня. Инженер так и доложил в полиции, они все слово в слово записали, а она дошла до середины и провалилась. Верно, ей попалось на особицу тонкое место. А инженер молнией полетел в город на своем велосипеде, влетел в свою контору и давай названивать. Я, признаться, сроду и не слыхивал таких звонков. «Человек упал в реку! Моя кузина!» — кричал он. Мы все бежать, он за нами. У нас были багры и канаты, да что в них толку. Подоспела полиция, потом пожарные, они взяли где-то лодку, спустили лодку на воду и давай шарить вместе с нами. Но в первый день мы ее не нашли, а нашли мы ее через день. Большое несчастье, ничего не скажешь.

— Ты говоришь, что сюда приезжал капитан, ее муж?

— Да, приезжал. Сам понимаешь, как он горевал. И не только он, мы все горевали. Инженер чуть не рехнулся с горя, так говорили у нас в отеле, а когда капитан приехал, инженер спешно уехал вверх по реке проверять сплавные работы, потому что не мог больше говорить об этом ужасном несчастье.

— Значит, капитан не повидал его?

— Нет. Кхм-кхм. Откуда мне знать, — отвечал рассыльный и поглядел по сторонам. — Я ничего не знаю, и не мое это дело.

По этим уклончивым ответам я понял, что он все знает. Впрочем, это уже не имело значения, и я не стал его выспрашивать.

— Ну, спасибо за компанию, — сказал я и дал ему малую толику денег на зимнюю куртку или другую обновку. Я простился с ним, я хотел побудить его вернуться.

Но он решил проводить меня еще немного. И, чтобы я не отсылал его, сказал вдруг, что да, что капитан успел повидать инженера. Добрая и простая душа, из кухонной болтовни горничных он понял, что с этой кузиной, которая приезжала к инженеру, дело обстоит не совсем ладно, но больше он не понял ничего. Зато он лично проводил капитана вверх по реке и помог ему найти инженера.

Капитан хотел во что бы то ни стало повидаться с инженером, рассказывал он, ну я и повел его. «Интересно, за какими работами наблюдают, когда река встала?» — спрашивал меня капитан по дороге. «И сам не знаю»,— отвечал ему я. Шли мы целый день до вечера. Может, он в этой сторожке, сказал я, потому что слышал раньше, что и сплавщики его там ночуют. Капитан не велел мне идти за ним и приказал подождать. А сам вошел в сторожку. Через несколько минут, не больше, он вышел оттуда вместе с инженером. Чего-то они сказали друг другу, мне не слыхать было, потом я вдруг вижу, как капитан замахнулся — вот так — и врезал инженеру, тот даже шлепнулся на землю. Вот, должно быть, здорово в голове загудело. Думаешь, все? Как бы не так! Капитан сам поднял инженера с земли и еще раз врезал ему. А потом вернулся ко мне и говорит: «Ну, пошли домой».

Я погрузился в размышления. Мне показалось странным, отчего рассыльный, человек, который не имел недругов и ни к кому не питал вражды, не пришел на помощь инженеру. Он даже и рассказывал мне об этой сцене без всякого неудовольствия. Должно быть, инженер и с ним показал себя скупердяем, ни разу не дал на чай за услуги, а только командовал да насмехался, словом, был щенок щенком. Да, пожалуй, так! Ведь теперь ревность не мешала мне правильно судить.

— Вот капитан, тот не скупился на чаевые, — так завершил рассыльный свой рассказ. — Я все долги заплатил с его денег, ей-богу.

Избавившись наконец от своего спутника, я перешел через реку — на сей раз лед оказался достаточно прочным. Я вышел на проезжую дорогу. Я шел и думал над словами рассыльного. Сцена у сторожки — что она могла означать?

Она доказывает только, что капитан большой и сильный мужчина, а инженер — плохонький спортсмен с толстым задом. Но капитан — офицер, — не эта ли мысль им руководила? Может быть, им руководили прежде и другие мысли, пока время не ушло, откуда мне знать? Его жена утонула в реке, и капитан волен делать теперь все что угодно, ее это не воскресит.

А если даже и воскресит, что с того? Не была ли она рождена для своей судьбы? Супруги честно пытались склеить трещину и потерпели неудачу. Я помню, какой была фру шесть-семь лет назад. Она скучала и порой влюблялась на миг, то в одного, то в другого, но оставалась верной и нежной. А время шло. У нее не было никаких занятий, но зато было три горничных; у нее не было детей, но зато был рояль. А детей у нее не было.

Жизнь может позволить себе и такую расточительность.

Мать и дитя вместе ушли на дно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Странник играет под сурдинку, когда проживет полвека. Тогда он играет под сурдинку.

А еще я мог бы сказать это иначе:

Если он слишком поздно вышел осенью по ягоды, значит, он вышел слишком поздно, и если в один прекрасный день он чувствует, что у него нет больше сил ликовать и радоваться жизни, в этом может быть повинна старость, не судите его строго! К тому же для постоянного довольства самим собой и всем окружающим потребна известная доля скудоумия. А светлые минуты бывают у каждого. Осужденный сидит на телеге, которая везет его к эшафоту, гвоздь мешает ему сидеть, он отодвигается в сторону и испытывает облегчение.

Нехорошо со стороны капитана просить, чтобы Бог простил его — как сам он Ему прощает. Это лицедейство, не более. Странник, у которого не всегда есть пища и питье, одежда и обувь, кров и очаг, испытывает лишь мимолетное огорчение, когда все эти блага оказываются ему недоступны. Не повезло в одном, повезет в другом. А если даже и в другом не повезет, нечего прощать Богу, надо брать вину на себя. Надо подпирать судьбу плечом, вернее — подставлять ей спину. От этого ноют мышцы и кости, от этого до срока седеют волосы, но странник благодарит Бога за дарованную ему жизнь, жить было интересно.

Вот как я мог бы это сказать.

К чему все высокие запросы? Что ты заслужил? Бонбоньерки со сластями, которых алчет лакомка? Хорошо. Но разве ты не мог каждый Божий день созерцать мир и слушать шелест леса? А шелест леса прекраснее всего, что есть на свете.

В кустах сирени благоухал жасмин, и я знаю человека, который испытывал радостный трепет не только от жасмина, от всего — от освещенного окна, от беглого воспоминания, от самой жизни. Пусть его потом изгнали из рая, но разве он загодя не был вознагражден за свою потерю?

И вот как еще:

Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой.

Не надо думать, будто тебе причитается больше сластей, чем ты получил. Странник отвергает подобный предрассудок. Что принадлежит жизни? Все. Что тебе? Уж не слава ли? Тогда объясни почему. Не след цепляться за «свое», это так смешно, и странник смеется над тем, кто смешон. Помню я человека, который все боялся упустить «свое»; он начинал растапливать свою печь в полдень, а разгоралась она к вечеру. И человек боялся покинуть тепло и лечь в постель, он сидел всю ночь, а другие вставали поутру и грелись у огня. Я говорю об одном норвежском драматурге.

Я неплохо пострансствовал по дням своей жизни, и вот я поглупел и отцвел. Но до сих пор нет во мне присущего всякому старцу убеждения, будто теперь я стал мудрее, чем был некогда. Надеюсь, что мудрость так и не осенит меня. Мудрость есть признак одряхления. Когда я благодарю Бога за жизнь, то причиной тому не высшая зрелость, которая приходит вместе со старостью, причиной тому любовь к жизни. Старость не дарует зрелости, старость не дарует ничего, кроме старости.

Я слишком поздно вышел по ягоды, но все равно я завершу путь. Я доставлю себе это маленькое удовольствие в награду за летние труды. Двенадцатого декабря я достиг своей цели.

Я мог бы задержаться среди людей, нашлось бы и для меня что-нибудь подходящее, как нашлось для всех, кто решил, что пришло время осесть на землю. Да и Ларс Фалькенберг, мой напарник и товарищ, советовал мне завести себе вырубку, а на ней жену, двух коров и поросенка. Это был дружеский совет. Это был глас народа. Далее, вместо одной из коров я мог бы держать упряжного вола и тем самым приобрел бы на старости лет средство передвижения. Но ничего не вышло, совсем ничего. Ко мне мудрость не пришла

вместе со старостью, и я пойду к Труватну, в леса, и буду жить в бревенчатой хижине.

Какая в том радость, спросите вы. О Ларс Фалькенберг и все остальные, не тревожьтесь, я договорился с одним человеком, который каждый день будет приносить мне хлеб.

И вот я брожу, брожу вокруг себя самого, я одинок и всем доволен. Огорчает меня потеря печатки, это была печатка епископа Павла, мне подарил ее один из Павловых потомков, и я все лето проносил ее в нагрудном кармане. И вот я щупаю карман, а печатки там нет. Нет как нет. Но за эту потерю я загодя получил вознаграждение, ибо когда-то у меня была печатка.

Вот отсутствие книг меня не огорчает.

Как точно я помню и двенадцатое декабря, и другие даты, но преспокойно забываю дела более важные. Я потому лишь и вспомнил про книги, что у капитана Фалькенберга с супругой было много книг в доме, романы и драмы, полный шкаф. Я сам видел, когда красил в Эвребё окна и двери. У них было полное собрание писателей, а у каждого писателя полное собрание книг, по тридцать томов. Зачем им понадобилось полное собрание? Не знаю. Книги, книги, одна, две, три, десять, тридцать. Они поступали каждое Рождество, романы, тридцать томов — из года в год одна история. Должно быть, капитан и фру читали эти романы, они знали, чего искать у отечественных авторов, ведь в романах так много говорится о том, как добиться счастья. Да, наверное, затем и читали, откуда мне знать. Господи, какая пропасть книг там была, когда я красил, мы вдвоем не смогли передвинуть шкаф, лишь трое мужчин с помощью стряпухи смогли его передвинуть. Одним из троих был Гринхусен, он весь побагровел под тяжестью отечественной литературы и сказал:

— Не возьму в толк, зачем нужна людям такая пропасть книг?

Как будто Гринхусен мог хоть что-нибудь взять в толк. Должно быть, капитан и фру держали эти книги, чтобы все они были на месте, чтобы собрание было полным. Убери хоть одну, в шкафу образовалась бы брешь, все книги были одинаковые, все как на подбор, однообразная поэзия, одна история из года в год.

У меня в хижине побывал охотник на лосей. Событие невеликое, и собака у него оказалась злая как черт. Я был рад, когда он ушел. Он снял со стены мою сковороду, что-то на ней жарил и закоптил ее. Собственно говоря, это не моя сковорода, ее оставил один из тех, кто побывал в хижине до

меня. Я просто взял ее, и начистил золой, и повесил на стену вместо барометра. Теперь я снова ее начищаю, с ней очень удобно, она всегда тускнеет перед дождем.

Будь здесь Рагнхильд, думается мне, она непременно выхватила бы сковороду у меня из рук и сама начистила ее. Но потом я решаю, что уж лучше я сам приведу в порядок барометр, а Рагнхильд пусть займется чем-нибудь другим. Если бы этот уголок леса стал нашей вырубкой, то под ее началом были бы дети, коровы и свинья. А уж о своих сковородах я сам позабочусь, ладно, Рагнхильд?

Помню я одну женщину, которая ни о чем не заботилась, и меньше всего — о себе самой. Она плохо кончила, эта женщина. Хотя шесть лет назад я не поверил бы, что можно быть нежнее и ласковее, чем она. Я возил ее в гости, и она смущалась, она краснела и опускала глаза, хотя была моей госпожой. Самое занятное, что и меня это заставило смутиться, хотя я был ее слугой. Отдавая мне какое-нибудь приказание, она одним лишь взглядом своих глаз открывала передо мной неисчислимые красоты и сокровища в дополнение ко всему, что я уже знал, я до сих пор это помню. Да, я сижу здесь и до сих пор это помню, я качаю головой и говорю себе самому: как все было удивительно, ах, как удивительно! И она умерла. Что же дальше? Дальше ничего. А я живу. Но ее смерть не должна бы огорчать меня, ибо я загодя получил вознаграждение за эту потерю, когда она взглянула на меня своими глазами. Вот, наверно, как.

Женщина — что знают мудрецы о женщине?

Помню я одного мудреца, он писал о женщинах. Он написал тридцать томов однообразных пьес о женщинах, я пересчитал однажды все его томы в большом шкафу. Под конец он написал о женщине, которая бросила родных детей, чтобы найти, представьте себе, — чудо. А что же дети? Это так смешно, и странник смеется над тем, что смешно.

Мудрец — что знает он о женщине?

Во-первых, он не мог стать мудрым, пока не состарился, следовательно, он знает женщину лишь по воспоминаниям. А во-вторых, у него нет и воспоминаний, ибо он никогда не знал ее. Человек, имеющий предрасположение к мудрости, всю свою жизнь занят только этим предрасположением, и ничем другим, он холит его и пестует, трясется над ним, живет для него. Никто не ходит к женщине, чтобы набраться мудрости. Четверо мудрейших мира, которые оставили нам свои размышления о женщине, сидели и выдумывали ее; они были стариками, независимо от того, молодыми или преклонных лет, они умели ездить лишь на волах. Они не знали женщину в святости ее, не знали женщину в прелести

ее, не знали, что без женщины нельзя жить. Но они писали и писали о женщине. Подумать только, писали, никогда не видав ее.

Боже упаси меня от мудрости! До последнего своего дыхания я не устану твердить: упаси меня Боже от мудрости!

Нынче прохладно, подходящий день для той прогулки, которую я надумал предпринять; снежные вершины гор розовеют под лучами солнца, и моя сковорода сулит ясную погоду. Восемь часов утра.

Укладка и большой короб, запасная бечевка в кармане, на случай, если что развалится, посреди стола записка тому человеку, который, может быть, принесет мне провизию, когда меня не будет.

Я сам убедил себя, что впереди у меня далекий путь, что я должен тщательно к нему подготовиться, что мне понадобится вся моя выдержка и находчивость. Так и должен вести себя тот, у кого впереди далекий путь, но у меня впереди ничего нет. У меня нет никаких дел, мне некуда спешить, я всего лишь странник, который покидает свою хижину, чтобы вскоре вернуться назад, и мне все равно, где ни быть.

В лесу пустынно и тихо, все покрыто снегом, все затаило дыхание при виде меня. Днем с какой-то вершины я вижу далеко позади Труватн, белый и плоский, — припудренная мелом снежная пустыня. После обеденного привала я продолжаю свой путь, я поднимаюсь все выше и выше, я иду в горы, но иду задумчиво и медленно, засунув руки в карманы. Я не спешу, мне просто надо отыскать место для ночлега. Под вечер я снова устраиваю привал, чтобы поесть, как будто я проголодался, как будто я честно заработал свой хлеб. На самом деле я ем, чтобы хоть чем-нибудь заняться, руки мои праздны, мозг тяготеет к раздумьям. Рано темнеет, и хорошо, что я успеваю тут же на вершине присмотреть себе укромную расселину, где вдоволь валежника для костра.

Вот о чем говорю я теперь, когда играю под сурдинку.

Я рано вышел на другое утро, едва развиднелось.

Начал падать снег, мягкий, теплый, в воздухе послышался шелест. К метели, подумал я, кто бы мог предвидеть. Ни я, ни мой барометр еще сутки назад даже не подозревали этого. Я покинул свой приют и побрел дальше через болота и равнины, опять настал полдень, снег все шел. Приют мой оказался хуже, чем я предполагал, правда, там хватило веток для постели и было не холодно, но весь дым от костра относило в мою сторону, и у меня першило в горле.

После обеда я нашел место поудобнее — большую уютную пещеру со стенами и потолком. Здесь хватит места и для меня, и для моего костра, а дым будет выносить наружу. Я одобрительно кивнул и обосновался в пещере, хотя было еще светлым-светло, и я отчетливо видел горы, и долины, и остроконечную скалу прямо передо мной, в нескольких часах ходьбы. Но все же я кивнул так, словно достиг цели, и принялся таскать валежник и устраиваться на ночь.

Ах, как уютно я здесь себя чувствовал. Нет, я не зря кивнул и снял с плеч мешок. «Ты сюда шел?» — спросил я в шутку самого себя. «Сюда!» — ответил я.

Шелест становится громче, снег перестал, но зато пошел дождь. Просто удивительно — тяжелый, крупный дождь падал на мою пещеру, на деревья перед ней, хотя на дворе стоял декабрь, холодный месяц Рождества Христова. Должно быть, волна теплого воздуха вздумала посетить нас.

Дождь шел всю ночь напролет, и шумел лес. Было похоже на весну, и сон мой был так глубок и отраден, что я совсем разоспался.

Десять часов.

Дождя нет, но по-прежнему тепло. Я сижу, выглядываю из пещеры, слушаю, как клонится и шумит лес. Камень срывается со скалы как раз надо мной, падает на другой выступ скалы, увлекает и его, слышны два отдаленных глухих удара. Затем поднимается грохот. Я смотрю не отрывая глаз, грохот находит отзвук в моей душе, первый обломок увлек за собой другие, и вот уже целая лавина, грохоча, катится вниз с горы: камни, снег, земля — и пыль клубится над этой могучей лавиной. Поток серого камня кажется каким-то лохматым, он сам себя гонит и все увлекает за собой, он рокочет, течет, течет, засыпая ущелье, — и замирает. Медленно оседают последние камни, и вот уже лавина иссякла, гром стихает вдали, и лишь в душе у меня гудит и медленно умолкает басовая струна.

И снова я сижу и слушаю шелест леса. Что там шумит, быть может, Эгейское море? Или морское течение Глимма?

Я сижу и прислушиваюсь, я слабею; воспоминания встают во мне, тысячи радостей, музыка, глаза, цветы. Шелест леса прекраснее всего, что есть на свете, он укачивает, он как безумие — Уганда, Тананариве, Гонолулу, Атакама, Венесуэла...

Должно быть, годы — причина моей слабости, должно быть, нервы натянуты и звенят в лад. Я встаю и подхожу к огню, чтобы одолеть слабость, я мог бы поговорить с огнем, произнести целую речь, покуда он не умрет. Мой приют не боится огня, и в нем прекрасная акустика. Кхм-кхм.

Вдруг в пещере темнеет. Это пришел давешний охотник, а с ним — его собака.

Когда я бреду к своей хижине, начинает подмораживать, мороз споро прихватывает все равнины и болота, шагается легко. Я иду медленно и равнодушно, засунув руки в карманы. Я не спешу, мне все равно где ни быть.

РОМАН

Перевод
А. Афиногеновой

BØRN AV TIDEN
1913

****

I

Вся местность кругом некогда составляла одно владение, а то, что ныне называется поместьем Сегельфосс, было только его центральной частью. В те дни Сегельфосс представлял собой огромное, по нурланнским меркам, имение с полусотней коров, мельницей, лесопильней, кирпичным заводом, раскинувшимися на десятки миль лесами и с целым штатом торпарей, поденщиков, дворни и всякой челяди. Тогда там и рогатого скота было в изобилии, не говоря уж о лошадях, собаках, кошках и свиньях, а вдоль всей задней стены амбара был устроен птичник для кур и гусей.

«Да, в те дни тут жили богато», — еще и теперь говорят старики, которые помнят, что рассказывали им родители про свое детство.

Владельцем Сегельфосса был господин Виллатс Хольмсен, тучный и скаредный человек, когда-то служивший в лакеях. Он начал скупать по дешевой цене участок за участком, пока вся земля вокруг Сегельфосса не оказалась в его руках. Занимался он также торговлей и охотой, рыбным делом, завел кирпичный завод, мельницу и лесопильню — все очень полезные учреждения. Этот Виллатс Хольмсен был норвежец, как и все мы, но он носил мундир и говорил по-датски. На судебных заседаниях весной и осенью он сидел с саблей и в золотых галунах, умел читать и писать, был судьей и судил по норвежским законам. Его жена была родом неведомо откуда — не то из Голландии, не то из Голштинии, не то из Сконе, не то из тридесятого царства. По всей вероятности, она в свое время тоже жила в услужении у господ, где и научилась барским замашкам. От Сегельфосса

протянули широкую дорогу, чтобы фру Хольмсен могла ездить в церковь в коляске. Да, они были богатые люди, и с каждым годом все больше богатели, и не было сомнения в том, что господин Виллатс Хольмсен действительно зарыл деньги в землю, потому что, милые мои, еще долго спустя после его смерти дух его возвращался в Сегельфосс и бродил вокруг кирпичного завода.

Однако не об этом Хольмсене, а о его сыне, Виллатсе Хольмсене-втором, говорят старики, вспоминая рассказы про усадьбу. Вот этот Виллатс Хольмсен уж действительно был настоящим барином. Рыболовство и охоту он совсем забросил, как дела, в которых ничего не смыслил или же которыми не желал заниматься, но зато построил в усадьбе новый дом с колоннами и башенками, завел оранжерею, пруд с лебедями в парке и танцплощадку для дворни. Теперь пруд засыпан, а площадку вспахали под кормовые травы. При нем-то Сегельфосс и стал роскошной барской усадьбой. Одну залу в новом доме он отвел под картинную галерею, а другую наполнил сплошь книгами, от пола до потолка. Цветы и тяжелая серебряная посуда украшали его обеденный стол, и во всех комнатах стояли мраморные и бронзовые статуэтки. Когда его жена, благородная хозяйка дома, проходила мимо слуг, они обязаны были почтительно стоять на месте, пока барыня не пройдет. У нее было собственное имение в Швеции, она говорила по-французски и держала камеристку. В те времена если уж люди отличались благородными привычками, так во всем. У барина и барыни было по собственному лакею, собственному кучеру и свои отдельные апартаменты в доме. Они не могли одеваться сами утром, да этого, впрочем, и не требовалось.

— Надень на меня жилет! — говорил господин Виллатс Хольмсен своему лакею.

— Уложи мне волосы! — говорила фру Хольмсен своей камеристке.

Да, это были благородные люди. Пара, окруженная легким сказочным ореолом, присущим тем временам.

Первые годы они мало жили в имении, осенью укладывали десять сундуков, забирали детей и уезжали вместе с ними за границу, а весной опять возвращались с детьми и с значительно бóльшим количеством сундуков и вещей, постепенно наполняя дом всякой роскошью. Но потом устроились в усадьбе более основательно, отнюдь не в видах экономии, утверждал господин Хольмсен, просто, говорил он, они с супругой уже повидали весь свет и больше не имели охоты

путешествовать. Для детей — двух дочерей и сына — держали гувернантку и учителя, обучавших их всем наукам, и в усадьбе по-прежнему был огромный штат дворни.

Странно только, что господин Хольмсен продал в эти годы несколько хороших лесных участков. Он вовсе не нуждался в деньгах, утверждал он, в этих жалких грошах, а просто с приближением старости ему стало не под силу управлять таким большим имением. А раз господин Хольмсен это говорил, значит, так оно и было, он никогда не лгал, да и с какой стати ему было лгать? Злые языки болтали, правда, будто он в последние годы начал искать зарытый отцом клад — ах, какое же превратное представление о господине Виллатсе Хольмсене, этом великом человеке!

Умер он в горах, этот почтенный господин, такая печальная смерть, лежа на вереске, вдали от всех своих, окруженный только восемью работниками, сопровождавшими его в этом походе, предпринятом в связи с задуманной постройкой новой большой мельничной плотины. Эти восемь работников принесли его домой на носилках, жена задрожала, крикнула что-то по-французски своей камеристке и упала без чувств, а камеристка прибежала с нюхательным флаконом, и осталась старая благородная госпожа одна в Сегельфоссе; дочери были замужем и жили в Швеции, в больших городах, а сын, третий Виллатс Хольмсен, уже несколько лет как учился в кадетском корпусе, весной он должен был кончить курс и приехать на побывку домой.

Зима прошла, настала весна, и третий Виллатс Хольмсен приехал домой. Старики еще хорошо помнят этого человека, хотя со времени его смерти минуло немало лет. Его сестры получили в наследство имение в Швеции, а ему достался Сегельфосс. Особенного впечатления третий владелец Сегельфосса в округе не произвел, он был горд и неразговорчив, и хотя позже женился и жил, как и его родители, на широкую ногу, и даже совершил в своей жизни несколько поступков не совсем заурядных, тем не менее внешним блеском не отличался. Да и что мог делать человек, уже не обладавший властью? Его карьера была испорчена, отец оставил ему в наследство большой долг в банке, мать уехала к дочерям в Швецию, и все они стали там шведками и никогда больше не приезжали в Сегельфосс. Он остался один. Уважения, которое он желал видеть от людей, нужно было добиваться самому, и это ему действительно удалось. Он не пользовался

любовью, но сумел внушить к себе безграничное почтение; его титуловали только лейтенантом, потому что он и был только лейтенантом, но кланялись ему как генералу.

Об этом-то человеке и еще о нескольких других пойдет речь в этой книге.

Может быть, Виллатс Хольмсен-третий не был великим человеком в истинном смысле этого слова, а может, и был, в гораздо большей степени, чем кто-либо из прежних владельцев Сегельфосса. Лейтенант — смешно сказать — в отставке, помещик, дела которого блестящим образом катятся под гору, к тому же в молодые годы вспыльчивый и упрямый до крайности, все так. Но этот же самый лейтенант обладал и кое-какими ценными качествами, в округе о нем сохранилось немало легенд, его достоинства не уступали его странностям и даже превосходили их. Как изображает его пастор Виндфельд? Нелепым паяцем — вот и все. Таково представление маленького чиновника о своеобразной личности. Лейтенант был образованный человек, и когда он с годами научился, по-философски, обуздывать свою вспыльчивость, то произошло это отнюдь не вследствие старческой немощи или старческого слабоумия, а исключительно благодаря зрелости ума. Да разве он нуждается в защите? Не потому же, что жизнь поставила его на колени? Но таков закон. Он из третьего поколения, купавшегося в богатстве и роскоши, на нем круг замкнулся. Впрочем, жизнь вовсе не поставила его на колени. Человек с таким упрямым характером до конца твердо стоит на ногах.

Жену он себе взял из Ганновера, молодую девушку, которая провела детство в Дании у родственников своей матери. Она была дочерью полковника и обладала не совсем обыкновенной наружностью; лицо не отличалось красотой, но тело было гибкое и изящное, в нем таилось своеобразное очарование, равно как и в ее руках, голосе и отчасти в улыбке. Так как она с детства говорила по-датски, то у нее не было никаких затруднений с языком, она свободно говорила на норвежском и лишь в редких случаях не сразу находила нужное слово. У нее вообще был хороший слух, и она знала много языков.

Она любила ездить верхом и была смелой наездницей, к тому же, когда в этих краях, обожающих все сказочное, прослышали о ее благородном происхождении, к ней стали относиться с величайшим почтением, и фру Хольмсен чувствовала себя вполне хорошо. Она не имела ничего против того, чтобы местные женщины немели в ее присутствии и со

своими просьбами и нуждами обращались не прямо к ней, а всегда через экономку, йомфру Сальвесен.

Люди не понимали, зачем она вышла замуж за лейтенанта. Неужели за этим скрывался какой-то необдуманный поступок? Совершенно невозможно. Тогда бы лейтенант, этот претенциозный и разборчивый Виллатс Хольмсен, безусловно, ретировался. Нет, имелось другое объяснение, гораздо лучшее. Фру Адельхайд приехала в Сегельфосс с гнедой верховой лошадью, и больше ни с чем — никаких сундуков, никаких ящиков, ничего, она, вероятно, была бедна, раз приехала с пустыми руками, потому-то и вышла за лейтенанта? Вполне правдоподобное объяснение.

Было бы, однако, далеко не лишним, если бы она привезла с собой в Сегельфосс немного денег. Ибо дела там начали приходить в упадок. И хотя лейтенант был достаточно прижимист, но и он, и поместье медленно катились под гору. Правда, и с имением, и с кирпичным заводом он справлялся не хуже прежних владельцев, даже, пожалуй, лучше, но времена изменились, и ни то, ни другое больше доходов не приносило. Мельница стояла, плотина, которую его блаженной памяти отец хотел поправить и расширить, окончательно обвалилась, и лейтенант не стал ее восстанавливать. Муку он выписывал из Бергена.

В округе он прослыл чудаком из-за того, что не стал строить плотину. Его покойный отец непременно сделал бы это, не задумываясь ни минуты.

Но в общем лейтенант унаследовал хорошие семейные черты своих предков, этих великих людей, которые были богаты и по-отечески относились к своим слугам и торпарям; Виллатс Хольмсен-третий тоже и сам хотел жить широко, и не отказывал в помощи другим. Когда пришла пора рубить и продавать лес, лейтенант даже вошел во вкус: роль благодетеля оказалась ему по душе.

— Я поставил на работу в лесу всех наших рыбаков и торпарей, — сообщил он однажды жене. — И хорошо им плачу.

Да, лейтенант тоже был богат и по-отечески заботлив и помогал своим подданным как мог. Время было зимнее, до весны, когда начиналась рыбная ловля на Лофотенских островах, никаких заработков у людей не предвиделось, и работа в лесу была для них большим подспорьем.

— Работники говорят, будто ваш отец продал часть Сегельфосса, правда это? — спрашивает жена.

Лейтенант спрашивает в ответ:

— Ну и что же?

— Будто он продал пять участков? И притом с лесом, много леса?

— Мой отец поступил совершенно правильно, — отвечал лейтенант. — Имение стало для него слишком большим под старость, он округлил его, продав лишнее. У нас осталось достаточно.

Но с таким взглядом на вещи жена никак не могла согласиться, и в течение многих лет супруги оставались на этот счет каждый при своем мнении. Фру Адельхайд даже написала своему отцу-полковнику в Ганновер и посвятила его в спорный вопрос, а полковник ответил, что при теперешних ценах на строевой лес продажа лесных участков, безусловно, была ошибкой.

— Это не было ошибкой! — возразил лейтенант, и пальцы его маленькой руки, вертевшей пуговицу мундира, побелели в суставах. Вот какой он упрямый и несговорчивый!

О, но жена его, фру Адельхайд, далеко не глупа, и слава богу, что так! Характером она тоже вспыльчивая и упрямая, но она происходила из немецкой семьи и обладала практичностью. Что и не раз доказывала во время своих хозяйственных совещаний с экономкой.

Лейтенант тоже любил верховую езду, не проходило и дня, чтобы он не приказывал оседлать себе лошадь. Но в то время как его жена скакала сломя голову в амазонке со шлейфом, спускавшимся ниже стремени, и часто в сопровождении полулопаря Петтера в качестве грума, лейтенант ездил в большинстве случаев шагом, без провожатых, вообще без всякого шика. Он сидел на лошади в мундире без эполет и без сабли, вид немного жалкий, голова слегка опущена, казалось, он погружен в думы или просто отдыхает. Но сурово сжатые губы выдавали, вполне вероятно, строптивость характера.

Однажды летом его жена уселась рисовать развалины старой мельничной плотины. Как раз в это время туда явился и лейтенант в сопровождении группы рабочих, и его губы были сжаты как-то особенно плотно, но на этот раз только от смущения. Поздоровавшись с женой, он спросил, сколько времени ей потребуется, чтобы кончить картину?

Разве она может это знать, когда еще не начала, обиженно ответила фру Адельхайд.

— Что тут надо этим людям? — спросила она.

— Они будут строить новую плотину.

Вот так. В таком случае... гм... они, верно, чувствовали, что именно сегодня она пришла сюда рисовать развалины!

Лицо лейтенанта слегка передернулось, и он ответил, что, право, не имел об этом ни малейшего понятия.

Жена тем временем уже наспех собрала рисовальные принадлежности. Но вдруг она остановилась, ее раздражение улеглось, на лице мелькнула улыбка раскаяния. Она вспомнила, что как раз накануне муж получил деньги за первую проданную партию строевого леса и что, следовательно, он, может быть, только теперь заимел возможность привести в порядок плотину.

— Виллатс! — мягко сказала она и стала намекать на то, что она вовсе уж не так глупа и безрассудна. Конечно, она понимает, что он должен приступить к этим работам, раз у него есть теперь деньги...

Лейтенант покраснел от гнева.

— Деньги? — сказал он. — Вы уж чересчур прозорливы, видите то, чего нет. Деньги?.. Словом, я знал, что вы пошли сюда.

Жена поникла головой.

— Значит, вы сначала сказали неправду?

— Я... ну да... пусть так... уж лучше это!

О, отношения между супругами, пожалуй, далеко не такие, какими им следовало бы быть, но о крупных размолвках между ними все-таки никто не слышал, и в этой сцене у плотины были виноваты, конечно же, обстоятельства.

Несколько недель лейтенант провел в борьбе с самим собой. Ему очень хотелось порадовать чем-нибудь свою супругу, каким-нибудь широким жестом, и он пошел к ней и равнодушно проговорил, глядя в окно:

— А крыша на нашей церкви, я вижу, совсем обваливается.

— Нечему тут радоваться, — ответила жена.

Она стала такой раздражительной в последние месяцы, она сама не понимала, что с ней творится.

— Ветер чуть не сорвал ее ночью. Вы могли бы послать людей починить ее.

— Я?

— Вы и я, если хотите. То есть вы. Словом, люди и деньги к вашим услугам.

Он, вероятно, хотел разом покончить со всеми ее унизительными подозрениями относительно его финансового положения и показать свое могущество — как иначе его понимать?

— Это будет доброе дело с вашей стороны, — сказала она.

— С моей? — немедленно запротестовал он. — Я ведь говорю вам...

— Ну ладно, с моей! — отмахнулась она.

Говоря по правде, фру Адельхайд не раз опасалась за свою жизнь, сидя в маленькой ветхой церковке. Лейтенант ведь никогда не ходил в церковь, ему бы это и в голову не пришло, он почитывал гуманистов и энциклопедистов в отцовской библиотеке, это и было его богослужение. Пока его мать еще жила в Сегельфоссе, обе фру, старая и молодая, вместе ездили в церковь каждый воскресный и праздничный день; но с тех пор, как старая фру уехала в Швецию к дочерям, навсегда покинув Сегельфосс, молодой приходилось одной совершать этот путь. Ах, но в те дни, когда бушевал западный ветер, находиться в церкви было положительно опасно. Фру Адельхайд всегда пела в церкви, да, пела своим звучным красивым голосом, так что все остальные умолкали, и делала это отчасти для того, чтобы укрепить свой дух перед лицом такой ветхости Божьего дома, а отчасти потому, что служба была для нее единственным театром с тех пор, как она поселилась так далеко от большого мира. Разыгрывалось настоящее представление — прихожане останавливались и смотрели, как она подъезжает к церкви, как кучер, обнажив голову, помогает ей выйти из экипажа, как она входит в церковь и шествует к месту Хольмсенов. Это повторялось каждое воскресенье — каждое воскресенье было днем театрального представления.

Она ощутила благодарность к мужу за сочувствие, проявленное им к жалкой церковке, а может быть, ей к тому же захотелось поболтать, во всяком случае, она начала что-то говорить ему, намекать на возможность... впрочем, это уже точно, теперь она может сказать с уверенностью...

Он быстро поворачивается к ней и смотрит на нее. В его глазах, во всей его фигуре выражаются изумление, недоверие. Он, должно быть, не так понял ее? Неужели?.. После стольких лет супружества?.. Не ослышался ли он?

Жена кивает головой и говорит, что нет, не ослышался, это правда. Вот почему она была такая раздражительная в тот день, у плотины...

— Раздражительная, вы? Как вы можете...

— Господи, нет, я только хотела... Но что же вы скажете на то, что это действительно правда? До сих пор я не была уверена, но теперь уже сомнений нет.

— Да благословит вас Бог... то есть... гм... Это самое великое событие в моей жизни... Кстати, Адельхайд, меня вовсе не радует, что церковная крыша обваливается.

— Нет, нет, простите...

— Перестаньте! Как можете вы в такую минуту... словом...

Он готов провалиться сквозь землю, смущение гонит его к двери, он отворяет ее и выходит. И отсутствует довольно долго, жена слышит, как он, поднявшись в библиотеку, шагает там из угла в угол. Но вот он возвращается к ней:

— Простите, у меня все не выходит из головы церковь. Вопрос в том: может быть, все здание... в первую же бурю... это опасно для жизни... А кроме того, это позор для нас, для всего имения. Если вы предоставите это дело мне — я кое-что понимаю в чертежах, — я мог бы начертить план новой церкви, а вы бы построили ее. Строевого леса у вас достаточно, рабочие тоже есть — Северин, Бертель из Сагвики, Уле Юхан... Помяните мое слово, при первых же западных ветрах... да и вообще как-то недостойно, нас уже не двое, нас скоро будет больше. Так что же вы скажете? Я, разумеется, приму во внимание акустику, ваше пение, чтобы ваш голос был свободно слышен по всей церкви. Если вы мне разрешите выписать в помощь нашим рабочим несколько знающих людей с юга...

— Да, спасибо, Виллатс, если это возможно...

— Возможно? Стоит только слово сказать! Позвольте, впрочем, мне поблагодарить вас за... за все!

Неудачи делали этого человека холодным, но сейчас не могло быть и речи о неудаче, наоборот, это было нечто новое, счастье, благословение Божье. С предстоящим событием он связывал какое-то странное представление о богатстве, чуть ли не о прямой прибыли, какая тут была связь? А его сестры, которых он не видел с тех пор, как они стали шведками... и его мать, которая уехала, потому что не могла жить в бедности, — что-то она теперь скажет! Она словно крыса покинула корабль, а корабль и не собирается идти ко дну.

Лейтенант снял обручальное кольцо с левой руки, на которой он его носил последнее время, и надел на правую, где ему и полагалось быть. Это перемещение кольца с руки на руку означало, что лейтенант о чем-то усиленно думает и хочет не забыть что-то важное. Делалось это всегда незаметно, втихомолку, и никто не знал, зачем, но сам он, вероятно, знал это.

II

Лейтенант приобрел странную привычку: когда ему надо подняться на второй этаж, он всегда сбрасывает сапоги и надевает туфли. Ну да, ведь их теперь уже не двое, а практически трое, неужели же он себе позволит ходить в сапогах наверху, среди гуманистов, когда комнаты жены находятся как раз внизу? В Сегельфоссе две большие каменные лестницы, барин и барыня издавна имели каждый свой отдельный вход, теперь лейтенант воспользовался случаем, чтобы осмотреть лестницу жены, и велел заново залить цементом все швы. А когда настали морозы, он следил за тем, чтобы на ступеньках не было льда.

Но жену он только раздражал этим, невероятно раздражал.

— Право, вы могли бы заняться чем-нибудь более полезным, — сказала она однажды. — У вас на плотине идут работы...

— Работы идут, — ответил он, — возят камень, строят, скоро кончат. Кстати, недавно туда взяли одну из ваших упряжных лошадей.

— Это почему?

— Без моего ведома. И лошадь теперь хромает...

— Еще бы.

— Следовательно, вы не можете больше ездить на ней в церковь.

Она чуть было не вспылила, но все-таки сумела взять себя в руки.

— Жаль! — только и сказала она. — В таком случае я буду ходить пешком.

Лейтенант никак не рассчитывал на подобное решение вопроса. Он надеялся, что жена совсем откажется от посещения церкви, по крайней мере до тех пор, пока не произойдет событие; церковь казалась ему теперь более ветхой, чем когда-либо раньше.

— Вы можете взять другую лошадь, — нехотя сказал он.

— Нет, другой лошади я не хочу. Нет, спасибо, я буду ходить пешком.

— Впрочем, — продолжал он, — впрочем, вам следовало бы хорошенько подумать. Церковь может в один прекрасный день обрушиться, с каждой бурей она становится все опаснее, может случиться несчастье.

Но фру Адельхайд рассмеялась и пристыдила его:

— Вы такой боязливый, Виллатс, вы всегда всего боитесь!

По разным признакам она, видимо, пришла к заключению, что ее муж не очень смел, или, говоря попросту, немного труслив, и в последние месяцы ей не всегда удавалось скрыть эти подозрения. Почему он ездит шагом? Почему летом избегает скрипучего моста через реку, если есть малейшая возможность переехать реку вброд? За этим, безусловно, что-то кроется.

Лейтенант понемногу привык к таким подозрениям, стал равнодушен к ним, жизнь ему это, по-видимому, не отравляло. Не исключено, что ездил он шагом только потому, что так ему удобнее было отдаваться своим думам, и что выбирал он брод вместо моста только для того, чтобы выкупать лошадь. Хотя, конечно, возможно также, что за этим действительно крылась трусость.

Лейтенант переоделся и поехал верхом к пастору. Он едет по хорошему делу — известить о строительстве новой церкви. Его рабочие уже нарубили необходимый строевой лес и навезли камень, с юга приехал десятник, можно приступать к работам.

Пастор, к которому он едет, тот самый К. П. Виндфельд, который позже написал историю новой сегельфосской церкви. Вот как он описывает наружность лейтенанта, которому было в ту пору уже под сорок лет: худощавый, но плотно сложенный мужчина, со слегка опущенной головой, удлиненным бритым лицом, серыми глазами, орлиным носом и выбритым до синевы подбородком. Начинающие седеть волосы необыкновенно изящно разделены проб ором, а над ушами зачесаны вперед. Руки длинные и худые, в перчатках из натуральной кожи. Костюм — синий сюртук и желтые рейтузы, а поверх этого грубая военная шинель. Кроме кольца на правой руке да волосяной часовой цепочки с золотым брелком, никаких украшений лейтенант не носил.

Лейтенант стучит в дверь приемной пастора и входит, не дожидаясь ответа. Прежде чем сесть, он стряхивает со стула пыль желтым батистовым носовым платком. О боже, как он презирает в своем высокомерии этого служителя Господа!

— Моя супруга решила... — говорит он, — то есть... наша церковь в один прекрасный день рухнет.

Пастор отвечает что-то вроде того, что, мол, да, к сожалению, церковь действительно — как и все бренное — подвержена закону разрушения...

— Вздор! — говорит лейтенант. — Так вот, моя супруга решила пожертвовать немного лесу на новую церковь.

— Воистину, это...

— Дайте мне кончить... И она просила меня известить вас об этом. Вот зачем я приехал.

— Это безмерно великое благодеяние, как с вашей стороны...

— С моей?.. Если вы когда-нибудь позволите себе сказать, что я имею хоть какое-либо отношение к этой... к этой затее — ваши дни здесь сочтены. Поняли?

Пастор прекрасно знает, что он крепко сидит в своем приходе, но, видя лейтенанта в таком бешенстве, в таком безумном гневе, он испуганно воздерживается от всяких возражений. Лейтенант на себя не похож: приподнялся со стула, наклонился вперед и побледнел как полотно.

Вновь усевшись и немного успокоившись, он бросил на стол свернутую в трубку бумагу и сказал:

— Вот чертеж, если желаете взглянуть.

Пастор развертывает свиток и шумно восторгается прелестной церковкой:

— Подумайте — и колокольня, и шпиль!

— Моя супруга одобрила этот проект, — коротко бросает лейтенант, забирая чертеж. После чего развертывает другой: — А вот план в разрезе, если желаете взглянуть.

В этом чертеже пастор мало что понимает, и, кроме того, ему хочется кое-что спросить, узнать кое-что. Положившись на Бога, он говорит:

— Но ведь это, наверное, надо представить на одобрение?

— Нет.

— Властям, церковному департаменту?..

— Нет.

Лейтенант свертывает чертежи и кладет их в карман. Потом говорит:

— Если будете писать об этом, можете упомянуть, что церковь будет перенесена на северную часть кладбища, где грунт не глинистый, а каменный. Моя супруга жертвует на это новый участок земли.

Пастор находит, что это хорошая мысль, и кивает головой.

Лейтенант поднимается.

— Моя супруга уже выписала знающих людей, работы начнутся немедленно.

— Будет ли мне разрешено, — говорит пастор, — от имени прихода прийти и поблагодарить вашу супругу за этот щедрый дар?

— Если вы придете поблагодарить фру, — отвечает лейтенант, смотря через плечо на сапоги пастора, — прошу вас помнить, что у нее свой отдельный вход — южное крыльцо. Всего хорошего!

Он сел на лошадь и шагом поехал назад.

Это небольшое событие так мало занимало мысли лейтенанта, что он вдруг свернул в сторону и поехал по другому делу, поехал через лес к плотине.

Там работы уже заканчивались; была возведена совсем новая плотина с более крутым сбросом воды, чем у старой, а кроме того, часть реки отвели по новому руслу к старой плотине, чтобы сплавлять по ней лес. Это была хорошая мысль, лейтенант умно придумал. Раньше лес приходилось возить на санях всю длинную дорогу до берега моря, а теперь, когда старая плотина обвалилась и сровняла водопад, бревна можно спускать по реке, не опасаясь, что они разобьются в щепы.

Лейтенант верхом на лошади обозревал работы.

— Через два дня мы здесь заканчиваем, — сказал он рабочим.

— Через два дня? Ясно! — ответили те, кивая головами в знак того, что поняли приказание.

В ту пору, когда предстояло родиться ребенку, хозяйке Сегельфосса было двадцать восемь лет, следовательно, она была еще совсем молодая женщина и к тому же великолепно сложенная, вообще, созданная стать матерью. Но лейтенант по своей обычной боязливости так опасался за исход события, что принял свои меры предосторожности.

Дня за два до Рождества он сказал Мартину-Работнику:

— Взнуздай серую пару, понимаешь, лошадей, серую пару.

— Слушаю-с.

— И поезжай с ними без саней в Уру, в усадьбу Уру, к ленсману. Там пусть и стоят, пока я не пришлю за ними.

— Слушаю-с.

— А сам возвращайся домой.

— Слушаю-с.

— Это все...

В сочельник с самого раннего утра вся усадьба была в ожидании. За несколько дней перед тем там появилась женщина в черном чепце, экономке удалось поговорить с ней, и из уст в уста передавали, что барыне очень плохо.

Позже днем лейтенант стоит с обнаженной головой в коридоре, отделяющем его половину дома от половины жены, и ведет краткую беседу с женщиной в черном чепце:

— Но немедленной опасности нет, я надеюсь?

— Нет, но... С Божьей помощью обойдется, но... я в первый раз при фру, и ответственность...

— Доктора? — спрашивает лейтенант.

— Да, только бы его застали дома...

— Он предупрежден. К ночи я вернусь сюда с доктором.

Лейтенант зовет работника и приказывает заложить в сани гнедую пару, а сам тем временем одевается. Когда все готово, он садится и выезжает со двора через задние ворота, мимо хозяйственных построек, чтобы жена не услышала звона бубенчиков и не встревожилась.

Да, он сам едет за доктором.

Он едет быстро, гонит лошадей изо всех сил, приезжает в Уру, там ему впрягают серую пару, закладывают сани, и он мчится дальше. Наконец он подъезжает к дому доктора.

Если бы это был не сам лейтенант из Сегельфосса, доктор вряд ли согласился бы поехать так поздно.

Он предлагает водки, предлагает закуску, экономка предлагает кофе и печенье, но лейтенант благодарит, отказывается и отвечает на все:

— Сегодня я приехал только за доктором.

Они усаживаются в сани. Дорогой говорят мало, они почти не знакомы. Доктор — молодой окружной врач Уле Рийс. В Уре лейтенанту опять впрягают в сани гнедых, которые отдохнули за это время, и они мчатся дальше.

В Сегельфосс они приехали в два часа ночи. Ребенок уже родился.

Четвертый Виллатс Хольмсен родился в Рождество, как раз в рождественскую ночь. В этом было что-то почти сверхъестественное. Но матери стало очень плохо, произошло какое-то осложнение, молодому врачу представился случай показать свое умение. Он прожил в Сегельфоссе все святки и, вероятно, остался бы еще дольше, если бы за ним не прислали в конце концов из уезда. Фру Хольмсен в полной

мере оценила его, когда победила свой страх перед его волосатыми руками.

Зима подходила к концу, госпожа поправлялась, ребенок рос не по дням, а по часам, словом, все шло великолепно. Разумеется, фру немного похудела, и ее нос вытянулся и заострился, но она теперь слишком занята, чтобы обращать внимание на свою внешность. У нее есть ребенок, и этого с нее достаточно, необыкновенный малыш, со звонким-презвонким криком, сердитый и капризный, о, какой милый! А теперь у него уже прорезываются зубки.

— По справедливости его следовало бы крестить в новой церкви, но... Что вы думаете на этот счет, Адельхайд?

Фру отвечает, что эта мысль ей очень по душе.

О, она стала теперь гораздо мягче и уступчивее, очень доброй.

— Когда будет готова новая церковь?

Этого лейтенант не мог сказать точно; будущей зимой. Фундамент уже заложен, и черепица для крыши на кирпичном заводе готова.

Да, с фундаментом не было возни. Лейтенант правильно рассчитал, что если построить церковь в северной части кладбища, то и фундамента-то почти не потребуется.

Фундамент заложили осенью, это пустяки. И изготовить черепицу для крыши — тоже пустячное дело. Но теперь оставалось самое главное — возвести здание!

С наступлением весны начались работы, шли неделя за неделей, Божий дом рос, стены уже поднялись выше окон. Однажды в будний день к месту работ подъехал пастор, он привез с собой бумагу, сообщил он: власти хотят ознакомиться с планами и чертежами.

— Вот как? — сказал лейтенант.— Чертежи нужны нам самим.

— Работы просят приостановить, пока чертежи не будут одобрены,— сказал пастор самым кротким своим голосом.

— Неужели? — сказал лейтенант.

Он питал полное уважение к властям предержащим, его воспитание и образование приучили его слушаться начальство. Но в данном случае он заупрямился и не отдал чертежи.

Когда здание уже подвели под крышу и до половины выстроили колокольню, пастор приехал вторично и снова попросил от имени властей планы и чертежи.

Лейтенант подозвал десятника:

— План разреза вам еще нужен?

— Нет.

— Так дайте его пастору.

Просто комедия — план разреза уже возведенной церкви! А пастор ведь не кто иной, как К. П. Виндфельд, отнюдь не кроткая овечка. Он сам рассказывает, что тут он вышел из себя. Правда, он стоял перед человеком, жена которого подарила приходу новую церковь, но своеволие лейтенанта Виллатса Хольмсена зашло уж слишком далеко.

— Вы мне даете только этот план? — спросил он.

— Остальные чертежи мы еще не можем отдать,— ответил лейтенант.— У меня на них записаны кое-какие расчеты.

Тогда пастор развернул большую бумагу, которую он держал в руке, и сказал:

— Я обязан вам сообщить, что власти требуют немедленно приостановить работы.

— Вот как? — сказал лейтенант.

С церкви и колокольни по-прежнему доносился стук топоров и молотков, он и не думал прекращаться, и пастору пришлось уехать с планом разреза, и только.

Церковь достроили, и стояла она на опушке леса красивая, как игрушка; но пока ее отделывали внутри, почти вся зима прошла. После Пасхи, когда настали первые весенние солнечные дни, лейтенант велел красиво выкрасить Божий дом снаружи и внутри, а над хорами золотыми буквами вывести имя его жены.

Церковь была готова.

Тогда лейтенант послал полулопаря Петтера к пастору с письмом: его супруга построила церковь из собственного материала, на своей земле, при помощи собственных рабочих, властям нет никакого дела до личной собственности фру Хольмсен. Теперь же она дарит и церковь и землю под ней приходу, пусть власти решают, принимать ли им этот дар или нет. Чертежи при сем прилагаются.

Он подождал несколько недель — ответа не было. Тогда он послал пастору второе письмо: если в течение четырех недель, считая с нынешнего дня, церковь не будет принята и освящена, он и его супруга поедут крестить мальчика в Тронхейм. Но в таком случае и ежегодная сумма, уплачиваемая имением Сегельфосс в пользу прихода, будет уменьшена до размеров, предписываемых законом.

Это помогло. Епископ Крог, совершавший объезд епархии, явился сам, приняв церковь, освятил ее и крестил уже большого мальчика. Его нарекли Виллатсом Вильхельмом Морицем фон Плац Хольмсеном.

III

Но что уж тут утаивать правду,— отношения между супругами в Сегельфоссе далеко не такие, какими им следовало бы быть. Размолвки, заглохшие было с рождением ребенка, начались снова и вскоре опять расцвели пышным цветом. Разве лейтенанту, как взрослому человеку, не следовало бы мириться кой с чем, что ему было не по нраву, вместо того чтобы раздувать каждую мелочь бог знает во что? Ах, какими хмурыми, вечно недовольными бывали они оба, и муж и жена, в обществе друг друга,— просто и смех и грех!

— *Мой* сын,— говорит она. Это его оскорбляет.— Мой маленький Мориц,— пробует она. Это его оскорбляет, и он отвечает:

— Его зовут Виллатс, как его отца, деда и прадеда.

— Но его зовут также и Мориц.

— Только отчасти.

Тогда жена смеется и говорит:

— Но в таком случае, когда он подрастет, может случиться, что на мой зов: «Виллатс»,— придет не тот Виллатс.

— Когда вы,— презрительно отвечает лейтенант,— когда вы крикнете «Виллатс», я и мой тезка по тону вашего голоса наверное сразу поймем, кого из нас вы зовете.

Жена опять смеется и говорит:

— Возможно... Да, кстати, чтобы не забыть, вы были так любезны, что наняли новую служанку в помощь нашей экономке. Она, кажется, из горных хуторов, молодая и красивая, ее зовут Марсилия. Но, похоже, не совсем нормальная.

— Не совсем нормальная?

— Представьте себе — она по ночам ходит вверх и вниз по вашей лестнице.

Пауза.

— Поднимается по ней поздно вечером, а возвращается вниз только через некоторое время. Через значительный промежуток времени.

Пауза.

— Вы, видимо, не находите это таким странным, как я; в противном случае вы бы сказали что-нибудь.

— Я молчу,— отвечает муж,— потому что вы этого желаете. Иначе вы бы не обрушились на меня так неожиданно. Мне остается только молчать.

Жена громко хохочет:

— Вам остается только молчать?

— Вот именно. Я удручен тем, что так неумело выбрал помощницу нашей экономке. Значит, эта девушка не исполняет своих обязанностей?

Жена не отвечает, она думает. Оба думают, оба опять вооружаются. Но фру Адельхайд отказывается от дальнейшей борьбы и спрашивает:

— Хотите еще что-нибудь сказать мне?

— Нет... Неделю тому назад я стучал в вашу дверь.

— Я была занята, я просила вас извинить меня.

— Я стучал к вам три недели тому назад. Я стучал и в этом году, и в прошлом, просил вас уделить мне несколько минут для разговора.

— Я всякий раз просила вас извинить меня.

Муж отвешивает поклон, но не уходит.

— И я еще раз прошу вас извинить меня! — говорит жена, чтобы совсем покончить с этим, и смотрит на него.

Муж неверно истолковывает ее взгляд. Зачем он стоит здесь? Он только волнует жену, может, она боится чего-то? И, желая опередить его, она говорит:

— И я еще раз прошу вас извинить меня.

Вдруг лейтенант смеется, ха-ха, смеется он. Это чисто внешний звук, рот раскрывается, как ему положено, горло сжимается, как ему надо, и получается смех. После чего круто поворачивается и уходит — выходит из дому, идет через двор к конюшне, велит оседлать себе лошадь и вскакивает на нее. Вот что делает лейтенант.

Как же они оба паясничают! Она тоже паясничает — верно, нет у нее больше никакого теплого чувства к этому человеку, который только что вышел от нее, не осталось ни искорки нежности, по крайней мере, впечатление такое. Это непонятно, ведь он ее муж, а разве жена не должна любить мужа! Возле окна есть укромное местечко; спрятавшись там, она наблюдает за лейтенантом, пока тот не скрывается из виду, и только тогда как будто успокаивается. Ее дверь запирается на ключ, который она, пожалуй, не променяла бы и на ключ из чистого золота, она постоянно пользуется им, поворачивает его в своей двери с внутренней стороны.

Все это так непонятно. Что он ей сделал?.. Может быть, ей противна супружеская жизнь, привычка, оскорбление стыдливости?.. Или его длинные руки, его дыхание?

Она идет к письменному столу, садится и начинает писать; это наблюдения, заметки, это дневник. Ее пальцы нежно переворачивают страницы, с нежностью водят пером. Изредка в немецких фразах попадаются норвежские слова,

это по невнимательности, она сердится, но не портит свой дневник помарками. Пишет она, верно, самые обыденные вещи, пустяки, какие могут прийти в голову дочери полковника, но, возможно, ей интересно иногда перелистывать свой дневник, перечитывать старые страницы и будить в душе отзвук минувшего.

Немного погодя она вновь подходит к окну и смотрит, не спускается ли кто-нибудь с холма, не возвращается ли кто-нибудь домой... потом идет, напевая, к своему маленькому моцартовскому роялю и начинает играть.

Она в царстве радости.

Неужели это она покинула аристократический дом в большом городе Ганновере и заживо похоронила себя в Сегельфоссе?.. Это ведь ей, в ее девичьи годы, несчастный слепой король сказал: «Я слышу по вашему голосу, дитя мое, как вы прекрасны!» Ее голос, о да, звучный и красивый голос, необычайно сильный, она поет родные мотивы, она поет полной грудью. Господи всеблагой, ее голос напоминает звучание гонга, в пение вплетается рояль, она откидывает голову, стан покачивается...

Вдруг, оборвав пение, она бежит через две комнаты к сыну...

По мере того как шло время, подобные сцены повторялись не раз. Только служанки в кухне слушали пение госпожи, они одни, отворяя двери, чтобы лучше слышать. А больше никто в доме не отворял дверей и не слушал — в этом фру Адельхайд была уверена; мужа она видела только за обедом, с соседями знакомства не водила. Старый помещик Кольдевин и его жена еще сохранили память о Сегельфоссе, каким он был в дни прежних владельцев; раз в год они приезжали со своего острова и гостили тут неделю, вот почти и все. Почти и все общество. Конечно, фру Адельхайд получала свои немецкие газеты и свои немецкие письма, но живых голосов они заменить не могли.

Лейтенант неторопливо едет верхом, он совершает свою обычную ежедневную прогулку. От берега моря до самых гор разбросаны хутора его торпарей и арендаторов. Случается, он едет к поселку рыбаков и смотрит с высоты лошади на их занятия, на их дома и на их дочерей. Лейтенант далеко не бессердечный человек, о нет, порой он помогает какой-нибудь девушке получить место в усадьбе, порой посылает нуждающейся семье свинины и картофеля.

Он наклоняется с седла и стучит хлыстом в окно одной избы. Это изба рыбака Ларса Мануэльсена. Ларс появляется в дверях и низко кланяется, из-за его спины выглядывает много лиц, позади всех стоит жена, прижимая руку к груди, точно хочет спрятаться за этой рукой.

— Ловишь рыбу? — спрашивает лейтенант.

Ларс смиренно качает головой.

— Какой теперь лов, ничего не ловится.

— Мне нужно несколько рабочих на реку. Позови с собой еще двоих-троих и приходи, надо расчистить плотину.

— Ладно. А вы, значит, уже хотите сплавлять лес? В реке уже сильное течение?

— Начинаем, стало быть, в следующий понедельник... Что это за высокий парень стоит вон там?

— Это? Это сынок мой. Что же ты не кланяешься, Ларс?.. Его Ларсом зовут. Прошлым годом конфирмовался, на экзамене вторым был, голова на плечах есть, да что толку!

— А это твоя дочь? На что тебе дома взрослая дочь? Зачем ты держишь дома столько взрослого народа?

— Идти им некуда. Куда они пойдут? И откуда возьмут платье, чтобы без стыда людям на глаза показаться?

— Вздор! — говорит лейтенант. — Его Ларсом зовут?

— Сына-то? Да. Наказание мне чистое с ним, ничего делать не хочет, только учиться. Дал ему Бог большие здоровые руки, так нет же, ничего он не делает ими, ни гроша не зарабатывает.

— Книги любишь, значит? — спрашивает лейтенант.

— Что же ты не отвечаешь, Ларс? — грозно прикрикивает отец.

Ларс мнется, смущенно моргает глазами и не может слова выговорить.

Лейтенант спрашивает:

— Это все твои дети? Этот малыш тоже?

— Ясное дело, — отвечает Ларс. — Осенью пять лет исполнилось. Юлиусом звать.

Вдруг лейтенант говорит:

— Вот она может получить место в усадьбе. Как ее зовут?

— Давердана.

— Давердана?

— Поди да приведи себя в порядок, Давердана, не мозоль глаза людям.

— Покажи руки, — лаконично говорит лейтенант.

Давердана краснеет до корней своих рыжих волос, но покорно протягивает руки.

— Читать умеешь?

— Онемела, что ли? — немедленно прикрикивает отец и отвечает за нее: — Да уж, скачет по книге, что твоя важенка. На экзамене третья была.

— Нет, четырнадцатая, — вмешивается Ларс-сын, к которому наконец вернулся голос.

— Третья, — говорит отец. — Отчего сама не скажешь, Давердана?

Лейтенант кивает:

— Сшей себе, что нужно из платья, и приходи в усадьбу. За платье я заплачу. Приходи в воскресенье через неделю. Покажи-ка еще раз руки. Ладно, мой их хорошенько. Давердана?

— Ага, Давердана, — отвечает отец.

Лейтенант поворачивает лошадь и говорит:

— В понедельник мы, стало быть, начнем сплавлять лес.

И уезжает, чуть сгорбленный, немного жалкий в своем потертом мундире, но жилистый, худощавый, похожий на араба, решительно настроенного преодолеть любые препятствия на своем пути.

Да, конечно, он продавал лес — цены на него стояли хорошие, — продавал доски и брусья, изготовленные на собственной лесопильне, и получал кучи денег. Неужели же его дела не поправятся теперь? Земля дохода не приносила, ни малейшего; большое хозяйство — одно разорение, когда нет капиталов. Но когда есть!.. А кирпичный завод... на нем он теперь терял все меньше и меньше, потому что завод не работал. Мельница же давала кое-что, тоненькую струйку золота, мельница окупала себя, и не только окупала, если учесть, что она ведь и для торпарей молола — правда, за это лейтенант не получал ни гроша. Еще не все потеряно!

Если бы только не эта новая церковка — дорогая оказалась затея. Со времени постройки церкви прошло уже несколько лет, но лейтенант до сих пор не избавился от кое-каких тяжелых воспоминаний. Зато древесина, лес — точно небом ниспосланы.

Лейтенант подъезжает к дому. Что это за звон бубенчиков? Динь-динь-динь! Это фру Адельхайд играет на дворе в лошадки со своим сыном. Она надела на него бубенчик и погоняет его вожжами. Им так весело, они бегают и хохочут — ха-ха-ха! Когда лейтенант въезжает во двор, игра прекращается, и мальчик начинает хныкать. Плач сына боль-

но отзывается в душе отца. Но вот мать говорит: «Не плачь, Мориц, голубчик!» — и лейтенант сразу же плотно сжимает губы. Этим именем «Мориц» жена, вероятно, хочет напомнить ему, что она более благородного происхождения, чем он, что она дворянка... Мориц фон Плац.

— Гм! — говорит лейтенант. — Бубенчик... снимите с него бубенчик!

— Ведь это же только игра, — отвечает жена.

— На Виллатса Хольмсена даже в игре не вешают бубенчиков.

— Зачем вы так! — говорит жена. — Раз я позволяю, вечно вы должны... Пойдем, голубчик Мориц, пойдем в комнаты.

Ой-ой, опять у них вышла размолвка, маленькая забавная стычка! Сколько же шпилек они подпускают друг другу, слишком много шпилек! Иные сцены просто великолепны — что ни слово, то шпилька.

Теперь они начали играть на рояле. Фру Адельхайд учит сына читать, играть на рояле и быть для нее радостью и утешением; иногда они рисуют цветными карандашами, иногда поют песенки; мальчик способный, все дается ему без труда. О, в общем, он истинный Божий дар в доме, этот маленький Виллатс в синей бархатной курточке с вышитым воротничком, спускающимся на плечи.

Когда немного позже лейтенант сходит в столовую к обеду, за столом вновь царит ровная приветливость и изысканная вежливость.

Никаких препирательств больше, никаких шпилек; ссора кончилась за отсутствием настоящего гнева. И в эти мирные минуты за столом маленький Виллатс уже больше не Мориц, зачем же. Мать либо избегает называть его по имени, либо, как и полагается, называет Виллатсом. А лейтенант, благодарный за эту уступку, тоже не кричит поминутно: Виллатс да Виллатс. «Дружок», говорит он сыну, «мой мальчик», говоит он, совсем опуская его имя.

Но это отнюдь не означало, что лейтенант сдал свои позиции. Он неукоснительно искоренял имя Мориц всякий раз, когда слышал его от служанок или экономки.

— Простите, йомфру, о ком это вы говорите? — спрашивает он. — Кто такой Мориц в нашей усадьбе? Может быть, вы говорите о моем сыне, Виллатсе Хольмсене?

— Виновата, — отвечает экономка, — но фру... фру иногда называет его Морицем.

— Фру просто оговаривается. Ни фру, ни я не желаем, чтобы мальчика называли иностранным именем.

С этими словами он кивает головой и направляется к двери.

— Между прочим, йомфру, — вдруг говорит он и оборачивается. — У Ларса в Сагвике полон дом взрослых детей, они там только баклуши бьют. Его дочь придет сюда и спросит, не можете ли вы взять ее на место Марсилии.

— Разве Марсилия уходит?

— Я так понял.

— И вместо нее будет новая?

— Ее отцу приходится кормить слишком много ртов, — говорит лейтенант.

У него, верно, мелькает подозрение, что экономка по-своему истолкует его слова, и поэтому он тут же добавляет:

— У него есть также взрослый сын, который жаждет учиться. Его я посылаю в Тромсё.

Так вот с шеи доброго Ларса Мануэльсена и сняли большую обузу! Уже в Сагвике у лейтенанта мелькнула эта мысль, но тогда он вовремя удержался. А теперь слово сказано, Ларса-сынка послали в семинарию в Тромсё. Расходы, расходы кругом!.. Как зовут эту девушку? Давердана? Как красавицу в сказке. Рыжие волосы, длинные пальцы.

Когда лейтенант проходит затем через двор, его внимание привлекает какой-то предмет на земле. Он всегда ходит, наклонив голову, он смотрит себе под ноги, вот почему он замечает все, что лежит на его пути.

— Кто-нибудь чужой был у нас сегодня? — спрашивает он у одного из работников.

— Никого чужого не было.

— А вон там лежит окурок сигары.

— Так это, должно быть, доктор бросил, — говорит другой работник.

— Да, да, должно быть, он, — подтверждает и первый.

Лейтенант идет дальше. Вот как, утром здесь был доктор? Какая жена забывчивая, за весь обед ни словом не упомянула про визит доктора. Пойти, что ли, к ней и спросить: доктор был здесь? Чего ему нужно?.. Вдруг ему приходит в голову: как странно, никого чужого не было, а доктор был. Следовательно, доктор не чужой в Сегельфоссе?

За ужином маленький Виллатс рассказывает, что доктор поднимал его к потолку высоко-высоко, выше люстры.

— Доктор? — спрашивает отец.

Фру Адельхайд быстро отвечает:

— Он был здесь по соседству, вот мы и пригласили его утром.

— Кто болен?

— Марсилия.

— Об этом я ничего не знал.

— Она простудилась. Доктор говорит, что простуда серьезная.

— Об этом я ничего не знал, — только повторяет лейтенант.

— Я не хотела вам говорить. Зачем беспокоить вас такими пустяками.

Лейтенант улыбается:

— Вы решили меня пощадить?

Но раз он так относится к этому и не хочет понять ее деликатности, жена обижается и говорит:

— Да, я решила вас пощадить. Марсилии, видно, повредили ее ночные хождения по лестницам.

Пауза.

— Марсилия поправилась бы и без доктора, — говорит лейтенант. — Но в таком случае вы бы, конечно, не имели возможности устроить эту демонстрацию.

— Демонстрацию?.. Я? О, если бы вы знали, до чего я равнодушна ко всему на свете, кроме моего маленького Морица. Всего хорошего.

И фру встает из-за стола.

IV

К берегу подъезжает лодка, большая восьмивесельная лодка с каюткой посредине и с четырьмя гребцами. Так как день теплый, весенний, гребцы сбросили с себя куртки, но тот, кого они везут, должно быть, сидит в каютке, потому что его не видно. Лодка причалила в самом устье реки, около кирпичного завода.

Из каютки вылез высокий толстый человек в шубе. Это не доктор и не старый Кольдевин, да и лодка совсем незнакомая, вероятно, она откуда-нибудь издалека. Человек в шубе сошел на берег, сказал что-то гребцам и направился вверх по реке. Двое из гребцов пошли за ним.

Перед всеми домами на пригорке стоят люди и смотрят на это необычайное зрелище. Толстому господину, по-видимому, стало жарко. Он сбрасывает с себя шубу и дает ее нести одному из своих провожатых. У него такой толстый зад, что

полы сюртука расходятся при каждом шаге, идет он медленно, то и дело останавливаясь и хватаясь за грудь. Долго идут они так все вверх по реке, должно быть, направляются к водопаду, и наконец исчезают в лесу.

Теперь начинается паломничество к лодке.

Все, кто свободен, идут туда. Ларс Мануэльсен идет туда, а за ним на некотором расстоянии бежит гурьба ребятишек. Гребцы прекрасно понимают, чего хотят посетители, и они готовятся к предстоящему разговору. Ведь они сейчас важные персоны, знающие кое-что такое, чего другие не знают.

— Мир вам! — говорит Ларс Мануэльсен, хотя, собственно, гребцы должны были поздороваться первыми, раз они приехали в чужую местность.

— Мир вам! — отвечают они.

— Хорошая нынче погода.

— Да, грести было жарко.

Некоторое время разговор идет о погоде, о том, есть ли ветер на море и восточный ли он или нет. Гребцы отвечают очень сдержанно.

— Хорошая лодка, — говорит Ларс. — Ваша, что ли?

Гребцы сплевывают и усаживаются поудобнее.

— Хорошее бы дело, кабы она была нашей, — отвечают они.

— Откуда вы?

Пауза, многозначительная пауза. Дети навострили уши.

— Мы из дальних фьордов.

— Так и думал, — кивает головой Ларс.

Он подходит ближе к лодке и рассматривает ее, нет, лодка незнакомая. Весла и черпак помечены только одной-двумя буквами.

Но гребцы, видно, находят, что дело уж слишком затягивается, может, они, чего доброго, так отпугнули своей неразговорчивостью этого местного жителя, что он уйдет, оставив их с их тайной? Они становятся словоохотливее, и один из них говорит:

— Нет, лодка не наша.

— Да, к сожалению, не наша, — подхватывает другой.

И с этой минуты говорят уже почти исключительно они двое, так что Ларсу не приходится много расспрашивать. Они все ближе и ближе подходят к главному пункту, каждый из них зорко следит за словами другого; они становятся все смелее, вот-вот кто-нибудь из них проговорится, но всякий раз они вовремя спохватываются.

— Мы только нанялись гребцами, — говорит один.

— Да-а? А кого же вы привезли? — спрашивает Ларс.

Пауза. Гм. Нет, это уж было бы слишком просто!

— Того, чья лодка, — говорит один из гребцов.

Другой, который сидит как на иголках, добавляет:

— Да, а купил он лодку только для этой одной поездки.

— Вынул деньги и так чистоганом все сполна и заплатил.

Гребцы смотрят на Ларса Мануэльсена. Дети стоят и смотрят на гребцов и слушают, слушают.

Но Ларс только равнодушно замечает:

— Коли так, ему, видно, очень нужно было приехать сюда?

Он уже спрашивал раз, кто этот незнакомец, но ответа не получил, и теперь пускает дело на самотек, в уверенности, что ответ от него не уйдет.

— Насчет этого я ничего не могу сказать, — отвечает один из гребцов.

— Он теперь пошел вверх по реке, — сообщает другой.

Пауза. Трудно поверить, до чего бесконечна и выразительна эта пауза.

Ларс опять долго и внимательно разглядывает лодку, беседуя с гребцами о всяких безразличных вещах: о весне, о сельди с Лангёэна, о шхуне из дальних фьордов, которую однажды прибило сюда бурей. Она принадлежала купцу Хенриксену из Утвэра.

Гребцы кивают головой: они знают купца Хенриксена.

— Не его ли вы привезли? — спрашивает Ларс.

— Нет.

Ларсу, по-видимому, надоело. Он сплевывает, закладывает руки за спину, стоит несколько мгновений молча и вдруг говорит, делая вид, будто собирается уходить:

— Да, хорошая лодка, мне бы такую. Ну, ладно, не буду вам мешать.

Гребцы настораживаются.

— Ты нам вовсе не мешаешь, — отвечает один.

— Ничуточки, — говорит и другой.

Теперь они, видимо, соображают, что если сами не поторопятся раскрыть свою тайну, то их товарищи, которые ушли вверх по реке, скоро вернутся и испортят им весь эффект. Ведь легко может случиться, что один из них зайдет, положим, в какой-нибудь дом по дороге, чтобы напиться воды, ну, и расскажет, чью шубу он несет.

Поэтому один из гребцов спрашивает:

— А у вас тут, поди, никто не знает, кого мы привезли?

— Нет, — отвечает Ларс и смотрит на него во все глаза.

Дети тоже смотрят во все глаза.

— Ну, да, конечно, — вмешивается другой гребец. Он сидит как на иголках. — Но и удивитесь же вы, когда узнаете, — добавляет он.

Любопытство Ларса дошло до предела. Но хуже всего то, что его соседу Бертелю наскучило ждать и он тоже медленно приближается к берегу.

— Губернатора, может? — спрашивает Ларс.

— Нет, — отвечают гребцы.

— Но он, конечно, важный человек, раз он такой толстый?

— Еще бы, — отвечают гребцы, — очень важный человек!

Ларс ждет с минуту, но затем решает уйти. Потому что Бертель тоже направляется к лодке, а делить тайну с Бертелем Ларс не желает.

— Прощайте! — говорит Ларс.

— И все-таки он, можно сказать, наш же односельчанин, — продолжает один из гребцов.

Второй немедленно подхватывает:

— Он с нами рос, можно сказать.

— Ну-у? — говорит Ларс.

— Да, это мы можем сказать смело. Конечно, он не из нашего прихода, но все-таки... Мы знаем многих из его родных. Он тридцать лет был в отсутствии.

Другой гребец чувствует себя оттертым, он хочет догнать первого и выпускает крупный заряд:

— Он уехал из дому совсем ребенком, побывал во всех чужих краях, и в Австралии, и в Америке. Потом женился и завел большое дело. Потом золото нашел.

Гребцы теперь уже говорят наперебой, и каждый из них ревниво следит за словами другого.

— Торопыга ты, Йон, — недовольным тоном останавливает товарища другой гребец, но тут же дополняет: — Он и в Китае тоже был.

— Где он только не был! — опять выскакивает Йон. — А когда его несколько суток носило по морю на опрокинутой лодке... только запамятовал, где это было.

— Это было вначале, когда он еще был маленький, когда он по морю ездил. А я говорю про последние годы.

— Про это можешь мне не рассказывать, это я сам все знаю не хуже тебя. Он несколько суток пролежал на опрокинутой лодке, спроси его сам, если не веришь. Забыл я только, где это было. Вот досада.

— Это было в неизвестной стране. Но жену свою он взял из Мексики.

— Ага, ты что, думаешь, я не знаю!

— А как его зовут? — спрашивает Ларс Мануэльсен.

— Он себя называет...

— Хольменгро![1] — с быстротой молнии доканчивает другой.

— Это Тобиас, тот самый, который уехал в чужие края, — спешит объяснить первый. — Разве ты никогда не слыхал про мальчика, который уехал за море и стал там королем?

Магическое слово сказано!

У Ларса Мануэльсена перехватывает дыхание, он стоит выпучив глаза. Чтобы он да не слыхал про Тобиаса, про сына рыбака с маленького серого острова, про мальчика, который много-много лет тому назад уехал в чужие края, где стал великим королем, вознесенным Богом и людьми, и с тех пор на родине не бывал! А теперь этот Тобиас здесь!

Дети тоже слышали эту сказку. Они стоят, разинув рты, и стараются не проронить ни одного слова.

— Так это он, Тобиас! — говорит Ларс Мануэльсен. — И его отца ведь тоже звали Тобиасом?

— Его отец умер, — отвечает Йон. — Мать тоже умерла, но у него еще есть сестра, которая живет в Бергене.

— Да, его отца тоже звали Тобиасом, — важно говорит другой гребец, как бы исправляя невнимательность товарища. — Но сам он называет себя теперь только Хольменгро.

— Чудеса! — удивляется Ларс.

Он бросает взгляд на приближающегося Бертеля. Тот подошел уже очень близко, но Ларс еще успевает задать несколько самых главных вопросов, и гребцы отвечают ему наперебой.

— Так он женат? И привез жену с собой?

— Нет, она осталась за морем.

— Да, она осталась за морем, в заграницах.

— Верно, благородная дама? Как ее зовут?

— Этого я не могу сказать, но она...

— Она умерла, — говорит другой, чтобы покончить с этим вопросом.

— Господи, умерла?.. А дети у него есть?

— Двое детей, маленькие, мальчик и девочка.

— Вовсе они не такие маленькие, Йон. Девочке-то уж немало лет.

---

[1] Серый остров (*норв.*).

— Да, да, но мальчик совсем маленький. Про него я и говорю.

Вот и Бертель. Но Ларс еще успевает спросить в последнюю минуту:

— Где его дети? Как их зовут? Что он делает здесь на реке?

— Мне он сказал, что хочет здесь только осмотреться.

— То же самое и мне сказал.

Гребцы повторяют это несколько раз на разные лады, вполне согласные друг с другом.

— А одет-то до чего шикарно! — говорит Ларс.

Гребцы потрясенно качают головами.

— Да, у него всего хватает, и бархата, и мехов.

— Он говорит, что зябнет в наших холодных краях, никак не согреется.

Бертель не здоровается, только навострил уши и слушает.

— О ком это вы? — спрашивает он.

Гребцы не отвечают ему, они по-прежнему обращаются к одному Ларсу, рассказывают про богатство короля, про кучу ассигнаций, которую он вынул, когда платил за лодку, про его туго набитый бумажник.

— Чудеса! — восклицает Ларс Мануэльсен.

— Вы привезли сюда кого-нибудь? — спрашивает Бертель.

Гребцы меряют его взглядом, сплевывают и отвечают, что да, привезли одного человека. Потом они снова поворачиваются к Ларсу и опять говорят, задумчиво качают головами, высказывают свое мнение насчет этого богача.

— Мы вот с Йоном, что мы такое перед ним? Так, мелкота одна, мразь, можно сказать. А выросли мы ведь на одном берегу с ним, у того же моря.

— Да, вот как в жизни бывает, — роняет и Йон.

Бертель обращается наконец к Ларсу и спрашивает:

— О ком это вы?

Но Ларсу некогда, совсем некогда, он пропускает вопрос Бертеля мимо ушей и внезапно бросает:

— Ну ладно, я и так вас слишком задержал.

И уходит.

Теперь перед Бертеля выпытывать тайну. О, как он любопытен и как умело мучают его оба гребца!

Сперва Ларс идет своим обычным медленным шагом, бежать ему кажется неприличным. Но понемногу прибавляет шагу, а на полдороге вдруг сворачивает к дому Уле Юхана, это ближе. Ларс весь раздувается, тайна распирает его, он

знает больше, чем люди в домах там, на пригорке; ежели экономно распорядиться своей тайной, можно чуть не весь день быть важной персоной. Он уже видит, что у дома Уле Юхана его поджидают несколько женщин.

Но когда он подходит, оказывается, что дети уже опередили его — его собственные дети и дети из других домов, длинноухие оборванцы, бегают от дома к дому, портя ему все дело, а предводительствует ими его родной сын, долговязый олух Ларс. Каково?!

Уле Юхан встречает Ларса вопросом:

— Кого они привезли?

И только Ларс собирается напустить на себя важность, как тот прямо огорошивает его вопросом:

— Неужто Тобиаса, того самого, что стал королем?

Часа два спустя на берегу, у белой лодки, уже собралась целая толпа, всем хочется хоть одним глазком взглянуть на сказочного короля Тобиаса, когда он опять станет садиться в лодку. Женщины принарядились, повязались платками, рыжая Давердана едва стоит на месте от возбуждения, она высокая, молодая, королю есть на что посмотреть.

Увы, все их ожидания были обмануты.

Когда король Тобиас вернулся с водопада вместе со своими провожатыми, последние действительно спустились к лодке с шубой, но сам господин Хольменгро свернул в сторону и направился к усадьбе, в Сегельфосс, к лейтенанту. По его виду и не скажешь, что он идет туда не по делу.

Хорошим ходоком его нельзя было назвать, шел он долго и шляпу все время держал в руках. Во внешности этого человека ничего сказочного; новое платье, толстая золотая цепочка на шее, а в остальном — самый обыкновенный человек, с бледным, энергичным лицом, с окладистой бородой, прямым носом и множеством морщинок вокруг глаз. Лет ему, должно быть, за сорок. На правой руке небольшое гладкое золотое кольцо. Проплешин не видать, дородность фигуры выдает, в сущности, лишь неестественно выпяченный живот, ноги же совсем тощие.

Войдя во двор, он огляделся и выбрал черный ход, хотя с фасада — два больших каменных крыльца. Поздоровавшись с горничной, которая ему попалась по дороге, он спросил, дома ли господин Хольмсен, и передал свою визитную карточку.

Лейтенант вышел к нему и молча остановился. Незнакомец поклонился и сказал:

— Не знаю, разрешите ли вы мне сделать вам визит? Я не сочту странным, если вы мне откажете в этом.

Скромности ему не занимать, к тому же посетитель сам предпочел остановиться под кухонными окнами.

— Господин Хольменгро?

— Тобиас Хольменгро. Когда-то я жил в дальних фьордах.

— Я много слышал о вас, — сказал лейтенант.

— Я тоже много слышал о вас и о всех ваших, — сказал господин Хольменгро, — о вашем отце, о вашем деде, о поместье Сегельфосс. Вот мне и захотелось приехать сюда и посмотреть разок эти места. Я уже был на реке.

— Не войдете ли? — сказал лейтенант, наконец-то подавая ему руку.

Они вошли в покои лейтенанта и сели.

Хольменгро, должно быть, решил вести себя как можно скромнее в этом барском доме, он долго молчал и наконец сказал:

— Вот сижу и думаю о том, где я сейчас нахожусь. В дни моего детства Сегельфосс представлялся нам, обитателям дальних фьордов, самым великолепным местом на всем свете, я и не мечтал, что когда-нибудь буду сидеть в этих комнатах.

Лейтенант ответил:

— У вас, наверное, были мечты более грандиозные — и вы осуществили их.

— Да, да, — задумчиво проговорил Хольменгро.

— В отличие от нас, оставшихся на родине.

— Осуществил... и, между прочим, погубил свое здоровье.

— Неужели? Вы подорвали здоровье?

— О да. И куда я только не ездил, чтобы поправить его, но...

Этот человек нравился лейтенанту, импонировал ему. Уже много лет лейтенант слышал всякие рассказы про этого сказочного героя, его слава проникла даже в комнаты усадьбы Сегельфосс, а теперь он, король Тобиас, сидит тут, простой и обыкновенный, как любой смертный.

Лейтенант позвонил.

— А что, если вам попробовать опять пожить на родине? — спросил он.

— Я подумываю об этом.

— Хоть некоторое время?

— Да, но это не так-то просто, у меня ведь дела.

Вошла экономка.

— Чем позволите вас угостить? — спросил лейтенант.

Хольменгро, поблагодарив, попросил стакан молока.

— Ничего другого?

— Нет, спасибо, стакан молока.

Молоко подали.

— Да, я охотно попробовал бы опять пожить на родине, — продолжал Хольменгро, — но у меня дела в Мексике. Я живу в Мексике, и там у меня дела, правда, не ахти какие, но если я уеду, запросто могу лишиться и того немногого, что у меня есть.

— Торговые предприятия?

— Кое-какие торговые заведения, мукомольня, лесопильня, все в таком роде.

— А вы не можете их продать?

— Нет, для этого они, пожалуй, все-таки слишком доходны. Моя жена умерла, но у меня двое детей, эти предприятия дают нам средства к жизни.

Неожиданная информация. Лейтенант ведь, наверное, думал, что для сказочного короля Тобиаса этой стороны дела вовсе не существует.

— Но ведь здоровье необходимо сохранить, — сказал лейтенант.

— Восстановить. Да, вы правы. Но я сжился со своей тамошней работой. Все эти предприятия я принял в зачаточном состоянии и со временем значительно их расширил.

Лейтенант поднялся и подошел к окну. Что привлекло его внимание там вдали? Что-то необычное? Толпа, собравшаяся у лодочной пристани? Он с минуту стоял молча — возможно, господин Хольменгро наблюдал за ним, возможно, нет. Лейтенант увидел своих торпарей и арендаторов, сгрудившихся в полном безделии у белой лодки. Из рук в руки переходило что-то большое и длинное — люди разглядывали шубу. Лейтенант повернулся к гостю и спросил, прищурив глаза:

— Это, должно быть, ваша лодка стоит вон там?

Хольменгро поднялся и посмотрел в окно:

— Да... Какой прекрасный вид открывается отсюда! Море, леса, поля, луга. И эта река... И эта церковь вон там...

Слова прозвучали не совсем искренне в устах чужого человека и, казалось, сказаны были лишь для того, чтобы сделать приятное хозяину дома. Король Тобиас, очевидно, мало разбирался в видах — из окон Сегельфосса видны были только пустынное море да голые островки.

Вошел маленький Виллатс и сказал, что обед подан.

— Прошу вас! — пригласил лейтенант, раскрывая дверь перед гостем.

В столовой господина Хольменгро представили хозяйке дома. Она была полна удивления и напряженного любопытства. Правда, она не выросла среди чудесных историй об этом человеке, но за годы, проведенные в Сегельфоссе, тоже наслушалась о нем. Да и экономка утром освежила в ее памяти все эти рассказы, подготовив к встрече.

За столом она была любезна и обходительна.

— Господин Хольменгро возвратился в Норвегию, чтобы укрепить свое здоровье, — сообщил ей лейтенант. — Его здоровье немного пошатнулось за последнее время.

— Не знаю, можем ли мы в таком случае предложить господину Хольменгро что-нибудь подходящее. Он, вероятно, соблюдает диету? — сказала жена.

Нет, диеты Хольменгро не соблюдал. Да он вовсе не так плох — немного надорвал силы, больше ничего, но это, наверное, поправимо.

Этот человек, очевидно, обладал большой силой воли; должно быть, умел казаться более здоровым, чем был на самом деле, по крайней мере, на его лице не было заметно никаких страданий. Втихомолку, незаметно для всех он сунул в рот пилюлю и заставил себя проглотить ее без воды; но вторая пилюля упала на пол — что, видимо, вовсе не входило в его расчеты.

— Вы приехали к нам из большого мира, господин Хольменгро, — сказала хозяйка.

— Нет, фру, это я сегодня попал в большой мир. Я сижу в комнатах усадьбы Сегельфосс.

Сказано недурно: на столе цветы, серебро и вина, на столе — рыба, дичь и всякие тонкие блюда. В кои-то веки в гостях у Хольмсенов человек, способный, судя по всему, оценить изысканную кухню и сервировку. Госпоже Хольмсен гость понравился не меньше, чем раньше ее мужу. Говорил он интересно и занимательно и умел находить общий язык с детьми, несколько раз заинтересовав даже маленького Вилатса.

— Как вы нашли родину после столь долгого отсутствия? — спросила хозяйка. — Ведь тридцать лет, если я не ошибаюсь?

— Меня все время не оставляет странное чувство, — ответил он. — Я хожу по нашему острову, узнаю каждый камень, каждую песчаную отмель, слышу все тот же шум моря, и хотя из моих родных никого уже не осталось — кто умер,

а кто уехал, — тем не менее, как это ни удивительно, у меня такое чувство, будто с тех пор, как мы жили тут, прошло совсем немного времени, будто это было чуть ли не вчера. На пригорке в дни моего детства валялся разбитый точильный камень — он и теперь еще там лежит. На холме росло несколько молоденьких сосен — они и теперь еще там стоят.

— Такое же чувство было у меня, когда я несколько лет назад гостила у отца в Ганновере, — сказала фру Адельхайд. — Чувство, будто я покинула этот дом не много лет назад, а совсем-совсем недавно.

— Это когда я ездил с тобой? — спросил маленький Виллатс.

— Да. К сожалению, мы больше не ездим туда.

Лежащие на коленях руки лейтенанта упорно чем-то занимаются — он снимает кольцо с правой руки и надевает его на левую.

— Я даже не помню, весело там было или нет, — говорит Виллатс.

— Еще бы, голубчик, ты ведь был совсем маленький. Но разве ты не помнишь, как дедушка позволял тебе играть своей почетной саблей?

— Нет, не помню.

— Ваш отец офицер? — спрашивает Хольменгро.

— Полковник. Остановился на чине полковника. Там теперь все остановилось.

— Я читал о перевороте в Ганновере, — говорит Хольменгро. — Я никогда там не был. Кажется, это богатая и красивая страна?

— Да, богатая и красивая.

— Ваш отец вышел в отставку?

— Он был еще не стар и успел отличиться. Полковник Мориц фон Плац. Но он из тех, кто все-таки чувствовал себя слишком старым, чтобы... как бы это выразиться?.. чтобы поступить на чужую службу.

Лейтенант спросил:

— А какое впечатление на вас произвело все то, что вы увидели в Норвегии? Как, по-вашему, страна идет вперед или назад?

— Вперед. Безусловно вперед. Все страны идут вперед. Дома стали больше, люди живут лучше, скота у них прибавилось. И народонаселение возросло. Впрочем, я пока повидал еще очень мало. До Тронхейма плыл на английском пароходе, а от Тронхейма до дому добрался на каботажном судне. Да, по статистике Норвегия безусловно идет вперед.

— По статистике?

— Ну да, по цифрам. Увеличение народонаселения неизбежно повело за собой расширение сельскохозяйственных угодий и заставило ввести всякие улучшения. Но изменило ли это к лучшему человеческую природу — не знаю.

— А как бы иначе могло быть.

— Здесь, на севере, перемен, по-моему, меньше всего. Здесь выросло новое поколение, но оно удивительно похоже на старое, люди по-прежнему ходят, засунув руки в карманы, они истинные нурланнцы.

— Да, они ходят, засунув руки в карманы, — подтвердила и фру Адельхайд.

Хольменгро вдруг улыбается — ему что-то вспомнилось — и рассказывает:

— Когда мне понадобилось нанять лодку для разъездов, я долго не мог достать ни одной. Наконец меня послали к купцу Хенриксену в Утвэр, у него оказалась восьмивесельная лодка, стоявшая без дела, но он ни за что не соглашался дать мне ее в аренду. «А продать ее вы согласны?» — спрашиваю я. Он принял это за шутку и ответил, что да, продаст за двести риксдалеров. Ну, я и купил ее.

Фру улыбается. Лейтенант улыбается. Хольменгро продолжает:

— Потом мне никак не удавалось раздобыть гребцов. Людей сколько угодно и в лавке Хенриксена, и на его пристани. Они стояли или слонялись без дела, засунув руки в карманы. Под парусом они бы еще пошли, но ветра, на беду, не было, а грести они не желали. Все это мне так знакомо.

— Вы им не сказали, кто вы? — спросил лейтенант.

— Я им намекал, намекал, по-моему, более чем прозрачно, но они мне, видно, не верили. Наконец я прямо сказал, что грех им не подвезти старого знакомца с острова, Тобиаса, если они еще помнят меня. Они оглядели меня с головы до ног и опять не вполне поверили. И это тоже было мне знакомо. Так что я пошел домой, обмотал себя шарфами, чтобы стать потолще, переоделся и на шею повесил вот эту цепочку. Я ведь знал, что нурланнцам импонируют только толщина, хорошее платье и мишура. День был очень теплый, я с трудом представлял себе, как выдержу, но все-таки надел и шубу. Когда я вышел к ним в этом новом обличье, они взглянули на меня другими глазами, и вот так я обзавелся гребцами.

Все засмеялись. Выдумка действительно была остроумная.

— Вы в самом деле считаете, что раздобыли гребцов только благодаря этому маскараду?

— Убежден в этом, фру. Ведь за эти годы они наслышались обо мне столько чудесных историй — будто я стал таким могущественным, таким богатым, чуть ли не королем, — как же мне не быть толстым и богато одетым? Когда я вышел к ним в шубе и с золотой цепью, я и впрямь стал для них Тобиасом с острова, меня признали. То же самое бывает и у африканцев, когда вождь, единственный из всего племени, надевает себе кастрюлю на голову — оставаясь при этом совершенно голым. Раз имеешь дело с детьми... а нурланнцы — настоящие дети.

— Но когда до них окончательно дошло, кто вы такой, большой шум, верно, начался?

— Да, и для меня весьма малоприятный. Со всех сторон потянулись люди, все хотели видеть меня, являлись с ведрами и мешками, просили денег или вещей на память, у всех были ко мне просьбы. Некоторые помнили меня с детства, все знали мою сестру, которая последней из нашей семьи жила на острове, большинство состояло в родстве с ней, а следовательно, и со мной. Кому-то нужны были деньги на похороны, кому-то — лес для постройки хлева и т.д. Один крестьянин пришел с сыном: мальчишка провинился в воровстве, так я должен был избавить его от наказания...

— Ну, это уж!..

— Да, фру, могу вас заверить — это были нелегкие дни. Но в конце концов мне удалось несколько умерить это безумие, разнесся слух, что я уже не так щедр, что я привез с собой в бумажнике всего-навсего один миллион и, следовательно, должен экономить, пока не прибудут остальные мои деньги; они уже в пути — пятьдесят сундуков, и на каждом четыре замка. Словом, я во всем узнавал свою родину, страну сказок, а не деятельной работы. Я был дома.

Лейтенант слушал гостя с вежливым вниманием, то и дело поглядывая на его толстую золотую цепочку. Неужели он только теперь заметил ее, только теперь обратил на нее внимание? Или же у него появилось сомнение в том, действительно ли она золотая? Возможно. Вполне в духе педантичного лейтенанта, не исключено даже, он испытал некоторое неудовольствие.

— Все сыты?.. — спросил он, поднимаясь из-за стола.

Фру Адельхайд была в хорошем настроении и пошла с мужчинами в гостиную. Подали кофе, перед глазами гостя опять сверкало старинное дорогое серебро, и ликер — не какой-нибудь эрзац. Вид из окон все тот же.

Маленький Виллатс закричал, что на берегу много-много народа:

— Идите сюда, посмотрите!

Фру Адельхайд подошла к нему.

— Действительно, сколько народу! Что там случилось? — поинтересовалась она. Ее ничуть не насторожила интонация, прозвучавшая в ответе мужа:

— Стоят и глазеют на лодку господина Хольменгро!

Ей, наоборот, это показалось забавным, и она засмеялась:

— Господи, это ведь они вашу лодку рассматривают, господин Хольменгро, вас поджидают! О, вам, наверное, готовят торжественную встречу!

Улыбаясь и покачивая головой, Хольменгро подошел к фру Адельхайд и тоже стал смотреть в окно. Но он ни слова не сказал про толпу на берегу и про встречу, он только опять начал восхищаться видом, рекой, которая, пенясь, бежала с гор, окружающим пейзажем. А затем, повернувшись к лейтенанту, высказал дерзновенно-смелое пожелание заиметь здесь небольшой клочок земли.

Лейтенант ничего не имел против того, чтобы жена слышала похвалы Сегельфоссу, но заострять на этом внимание поостерегся.

— Вы находите, что здесь так красиво? — сказала фру Адельхайд. — Ну да, конечно...

— Я был у водопада, — сказал Хольменгро. — Красивый водопад, прогулка освежила меня. Мне и впрямь показалось, что болезнь отступает.

— Вам следует поселиться здесь! — вскричала фру Адельхайд. — Обязательно. Постройте себе дом и поживите здесь! И вы опять станете здоровы!

— Это зависит от того, согласится ли господин лейтенант продать мне участок земли под постройку, — сказал Хольменгро.

Оба посмотрели на лейтенанта. По его породистому лицу скользнуло выражение удивления, он наклонил голову и задумался.

— Насчет этого вы, наверное, столкуетесь, — сказала фру Адельхайд.

Лейтенант с улыбкой заметил:

— Моя жена делает для вас исключение, господин Хольменгро, вообще же она ярая противница продажи земли из нашего имения.

— Да, лесных участков. Это совсем другое дело, — возразила фру Адельхайд. — Мой отец того же мнения.

О, эта дама, которая так прекрасно пела и играла, недаром была немкой, она обладала здравым смыслом, умом и светскостью.

— И вы сами, безусловно, теперь жалеете, что ваш отец... что когда-то были проданы участки с лесом, — добавила она.

Она чересчур сильно натянула тетиву.

— Нисколько не жалею! — ответил лейтенант.

Пауза. Фру Адельхайд вполголоса заговорила с маленьким Виллатсом, нежно перебирая ему волосы.

— Нет, о лесе я совсем не думал, — сказал Хольменгро, смиренно качая головой, — совсем не думал. Пустошь какую-нибудь, где вам самому угодно, небольшой участок земли выше по реке...

Это звучало вовсе не так уж плохо. Вполне разумное желание больного человека... к тому же это, может быть, даст немного денег, что тоже далеко не лишнее. Зачем только жена сидит здесь? Почему она не уходит? Уж не воображает ли она, что он продает землю оттого, что нуждается в деньгах!

— Я, разумеется, ни в коей мере не собираюсь препятствовать вашей попытке поправить здесь здоровье, — сказал лейтенант. — Ваше намерение серьезно?

— Эта мысль, признаться, пришла мне в голову, когда я возвращался с водопада, — ответил Хольменгро. — Сосновый запах, сильный и терпкий, мне так легко дышалось. Почему бы не сделать попытку, подумал я. И потом, знаете, для человека с маленького серого островка очень заманчиво заиметь домик в Сегельфоссе, — прибавил он со скромной улыбкой.

Лейтенант, который, видимо, зорко следил за словами гостя и за выражением его лица, спросил:

— Разве в Мексике нет хвойных лесов?

— Есть, конечно, — не задумываясь ответил господин Хольменгро. — Но не там, где я живу.

На этом разговор и кончился. Допив кофе и посидев еще немного, господин Хольменгро откланялся, высказав хозяевам самую искреннюю благодарность за их любезность.

— Приезжайте к нам опять поскорее! — сказала фру Адельхайд.

Лейтенант распорядился оседлать лошадь. Он хочет совершить прогулку верхом, а кстати и немного проводить гостя.

И тут произошло нечто странное. Толпа на берегу, все время терпеливо ждавшая короля Тобиаса, в тот момент, когда он наконец показался на дороге, начала расходиться — сначала ушел один, потом еще несколько, а под конец никого не осталось. Это было так странно, если подумать хорошенько, так бессмысленно — впустую потерять столько времени! Как это могло случиться?.. Никто из этих добрых торпарей и арендаторов не ожидал, что лейтенанту, самому лейтенанту вздумается провожать короля Тобиаса. А между тем вон он приближается, верхом по обыкновению, в то время как король Тобиас идет пешком, да к тому же и без шубы! В те дни лейтенант Виллатс Хольмсен все еще был человеком, поступать наперекор которому остерегались, и попадаться на глаза этому прирожденному барину, при этом делая вид, будто не видишь его, не следовало.

— Вон там, на той стороне реки, самое бы подходящее место, — сказал Хольменгро, указывая рукой.

— Вы о чем? Ах да, насчет участка. Да, да, посмотрим.

— Благодарю вас. В самом деле, стоит сделать попытку. А что до цены — я предоставляю этот вопрос всецело на ваше усмотрение.

Лейтенант проводил гостя до того места, где господину Хольменгро надо было свернуть к берегу. Сняв шляпу, тот еще раз сердечно поблагодарил за прекрасно проведенный день. И они расстались.

А лейтенант, продолжая путь, думал: «Неужели это все, неужели это и вся сказка?.. Больной человек, который хочет заиметь клочок земли, чтобы построить себе дом, может быть, всего лишь хибарку или что-нибудь в этом роде. Но он прост и скромен и производит приятное впечатление. А его манеры за столом не оставляют желать лучшего».

V

Лейтенант был прав, Марсилия вовсе не нуждалась в докторе. Это кто-то другой раздул ее легкое нездоровье Бог знает до каких размеров, уложив ее в постель. Уже на следующий день она опять была на ногах, убирала комнаты барина, мыла посуду, по всему дому меняла свечи в люстрах и подсвечниках, выбивала ковры, присматривала за печками — сло-

вом, неутомимо бегала вверх и вниз по всему северному крылу дома. А вечером вновь поднялась к барину.

Лейтенант лежит на диване и курит.

Марсилия входит и делает реверанс. Этому ее, верно, научил хозяин, у нее это получается очень мило, поэтому хозяин приветливо кивает головой в ответ. Марсилия сама знает, что от нее требуется, она подходит к барину и останавливается. Это тоже выходит у нее очень мило. Молодая девушка всегда остается молодой девушкой. Когда она дотрагивается до чего-нибудь, то делает это красивым, мягким движением; когда смотрит на человека, смотит не напрасно, ее взгляд оказывает свое действие. Взгляд молодой девушки всегда оказывает свое действие.

Марсилия берет со стола книгу. Пальцы у нее гибкие, но ладони большие и шершавые от стирки; жилок на тыльной стороне не видно.

— Ты, может быть, еще чувствуешь себя плохо и не можешь читать сегодня? — говорит лейтенант, приподнимаясь на диване.

— О нет, могу, — бесстрашно отвечает Марсилия.

Она садится на свое место под настенным двухсвечным бра и начинает читать. Сначала она смущается и краснеет, но чем дальше, тем дело идет лучше. На трудных словах она морщит лоб, и лицо ее принимает напряженное выражение, а когда попадается легкое место, лицо опять делается ясным и спокойным. Барин снова разлегся на диване, воображая себя — кто знает — чуть ли не пашой. Он лежит так, что может следить за меняющимся выражением лица читающей девушки, и это, видимо, доставляет ему удовольствие; когда Марсилия хмурит брови, он иногда тоже хмурится. Эти вечерние чтения, повторяющиеся через день, заведены им вовсе не для того, чтобы выучить Марсилию читать, он никогда не поправляет ее, вероятно, считая это бессмысленным; но он прекрасно замечает, что с каждым разом она читает все лучше и лучше, пожалуй, упражняется самостоятельно в свободное время. Как бы то ни было, эти чтения заведены им исключительно для собственного удовольствия. Какой паша, какой эгоист!

Он, верно, уже вышел из того возраста, когда мужчина может рассчитывать на женское внимание к его персоне; а раз он не получает этого внимания ни от кого в своем доме, а совсем обходиться без него не в силах, то он и покупает

его три раза в неделю у своей служанки? Так оно, вероятно, и есть. Человек помогает себе как умеет.

«Обычаи травзов в общем похожи на обычаи остальных фракийских племен, — читает Марсилия перевод Геродота, — за исключением тех, что связаны с новорожденными младенцами и покойниками. А именно, когда родится ребенок, родственники, собравшиеся по этому случаю, перечисляют все беды и несчастья, которым подвержен человек, и скорбят о печальной судьбе, неизбежно ожидающей этого ребенка. Наоборот, когда кто-нибудь умирает, родственники покойного при предании тела земле выражают радость по поводу того, что покойный так взыскан судьбой, что избавился от всех земных невзгод».

Она читает дальше, про то, что у остальных фракийских племен существует обычай продавать своих детей в рабство, но с условием, чтобы они не оставались на родине. За своими дочерьми они не присматривают, но жен держат в большой строгости и платят за них большой выкуп их родителям. Они метят себя различными знаками, что считается у них доказательством благородного происхождения, и уверены, что нет ничего прекраснее безделья, ничего почетнее войны и грабежа и ничего презреннее земледелия. Самые замечательные их обычаи...

Время идет, Марсилия прилежно читает, лейтенант наслаждается. Изредка его взор блуждает по комнате, — на стене против дивана висит большое зеркало; вполне вероятно, он смотрит туда, ища в нем отражение затылка девушки, возможно, это доставляет удовольствие паше. Или не в этом дело? Уж не начинает ли он сознавать, что вся эта сцена со служанкой, читающей Геродота, смешна и делает его самого смешным? Ничего подобного. То, что придумал он, не может быть смешным. Такая мысль ему и в голову не приходит. Ему так хорошо, его взгляд останавливается то на одном предмете, то на другом, глаза спокойно и приветливо моргают.

В этой комнате он собрал множество вещиц, некогда принадлежавших маленькому Виллатсу: крошечные первые башмачки из зеленого сафьяна, тряпичную куклу, погремушки, шары, волчки, еловые шишки. Картонному алфавиту, словно дорогой картине, отведено место на стене. Имея все это перед глазами, да еще молодую девушку, читающую вслух, человек его лет смело может наслаждаться чувством покоя.

Или нет?

Паша поднимается с дивана, и Марсилия закрывает книгу, паше, видно, хочется перемены. Она кладет книгу на место и достает шашки, да, шашечницу и шашки. Неужели это занятие достойно Виллатса Хольмсена? Они садятся и начинают играть.

Теперь Марсилия смущается и робеет еще больше, чем во время чтения. Лейтенант такой умелый игрок, он делает ходы, не задумываясь, а в ожидании ее ходов не сводит с нее глаз. Сколько раз бывало, что, подняв случайно глаза во время игры, она встречалась взглядом с барином. Но неужели же это занятие достойно Виллатса Хольмсена?

Они играют несколько партий, и он дает ей выиграть. Как до смешного суживается, должно быть, его кругозор в эти минуты!

— Если ты сделаешь этот ход, я выиграю! — говорит он.

Она вздрагивает и хочет переставить шашку, их руки встречаются, их дыхание смешивается; партия закончена, но он, кажется, сошел с ума, из груди у него вдруг вырывается стон. Несколько шашек падают на пол, и Марсилия наклоняется за ними — теперь... стол вот-вот упадет, лицо у лейтенанта стало еще породистее.

— Спасибо, будет! — говорит он и поднимается из-за стола.

Марсилия собирает шашки, кладет их на место, идет к двери и делает книксен.

— Хорошо, хорошо, — говорит он. — Гм... Когда завтра придет Давердана, объясни ей, что надо делать.

— Слушаю-с.

— Приведи ее сюда, все покажи и научи.

— Слушаю-с.

— Это все.

Это был последний вечер, проведенный им с Марсилией.

А на кухне служанки живо обсуждают эти вечерние чтения в комнате лейтенанта.

— Что они делают там, скажите на милость? — говорит экономка. — Ну, разве это не чудачество?

О, у экономки самой хватает чудачеств, и, когда она произносит что-нибудь рискованное, ее рот кривится от сдерживаемого смеха. Она из Вестланна, ей «за» двадцать, и зовут се йомфру Кристина Сальвесен. Сохрани бог, чтобы лейтенант когда-нибудь услышал ее дерзкие речи!

— Ты, может, думаешь, что они сидят и смотрят друг на друга? — говорит она.

— Марсилия говорит, что она читает вслух книгу, — отвечает одна из служанок.

— Читает?

— Так она сама говорит.

У экономки кривится рот, и она возвещает:

— Да, как же, читают. Склады складывают...

— Хо-хо-хо! — хохочут служанки, сгибаясь от смеха и зажимая себе рот руками.

Поскольку вечер летний и солнце еще не зашло, то лейтенант снова выходит из дому. Он бродит по двору, он прогуливается, бродит и смотрит. А поскольку человек он до крайности педантичный, то смотрит он не только на свои собственные окна, но и на окна своей жены — они раскрыты, оттуда доносятся голоса, фру Адельхайд с кем-то разговаривает. Поскольку человек он педантичный до крайности, то фру Адельхайд следовало бы разговаривать с доктором немного потише.

— Но девушка ведь поправилась? — говорит она.

А доктор отвечает:

— Поправилась? Значит, я немного преувеличил опасность, фру. Чтобы иметь сегодня возможность прийти к вам снова.

Лейтенант идет в сад. Там есть фонтан, который устроил его отец. Струя бьет вверх и сверкает под лучами солнца согнутым в дугу стальным клинком. Лейтенант обводит взглядом сад, поля, море. У пристани стоит чужая лодка с гребцами; вероятно, лодка доктора. Блестящая поверхность фьорда спокойна, вода тяжелая, точно свинцовая, воздух неподвижен, как перед грозой, вдали, над горами, повисла темная туча, фиолетовая, с широкой золотой каймой. Такое впечатление, будто она вот-вот вывернется наизнанку — золотой подкладкой наружу.

Лейтенант идет к ограде сада, он слышит за собой шаги, но не оборачивается. Поскольку человек он до крайности педантичный, то он запирает калитку на ключ и вынимает ключ из замка.

— Эй, — кричит кто-то за его спиной, — не запирайте, господин лейтенант. Одну минутку...

Виллатсу Хольмсену не кричат «эй». Лейтенант медленно поворачивается.

— Простите, господин лейтенант, я навещал пациентку, вашу служанку, — говорит доктор. А так как лейтенант мол-

ча смотрит на него, доктор снимает шляпу и кланяется. — Добрый вечер. Девица-то быстро поправилась, — говорит он.

— Да, поправилась, здорова, — отвечает лейтенант.

— Да.

— Да.

Они смотрят друг на друга. Лейтенант начинает улыбаться.

— Простите, — говорит доктор, — не отопрете ли вы мне калитку? — А так как лейтенант не обнаруживает ни малейшего намерения исполнить его просьбу, он спрашивает полушутливо, полувстревоженно: — Или вы мне прикажете перелезть через ограду?

— Только в том случае, если вы сами найдете это вполне удобным, — отвечает лейтенант.

— Удобным?..

— В противном случае я вас переброшу через ограду.

Лейтенант в бешенстве, он с такой силой стиснул большой ключ от калитки, что суставы пальцев побелели. Доктор оглядел стену снизу доверху и сверху донизу, потом бросил на лейтенанта последний растерянный взгляд и торопливо полез вверх. Вечер тихий, погода прекрасная, ничто не мешает ему перелезть через ограду!

Когда немного погодя лейтенант, успокоившись, вернулся домой, он столкнулся в дверях с женой — его жена, Адельхайд, стоит в дверях. Он ничего не имеет против, пусть стоит, он здоровается с ней. Пожалуйста, пусть смотрит на человека, который сегодня в последний раз кивнул головой служанке Марсилии! На его лице приветливо-высокомерное выражение.

Но она, неправильно истолковав это выражение, говорит:

— Я ждала вас, но вы гуляли. Вы уходите из дому и гуляете.

— Вы не имеете обыкновения ждать меня по вечерам, — отвечает он, — это так непривычно. Неужели вы действительно ждали меня в такой поздний час? Пожалуйста, не хотите ли войти?

Они входят в дом.

— Я ждала вас, чтобы спросить, что за дурацкого доктора вы пригласили?

— Доктора? Я его не знаю. Он окружной врач, десять лет был вашим домашним врачом.

— Десять лет. Но больше не будет.

— Почему? Я его не знаю, но вы-то хорошо с ним знакомы? Зовут его Уле Рийс — о нем самом, пожалуй, больше сказать нечего, но судьба его сестры Шарлотты Хелены, ко-

торая вышла замуж за венгерского магната Родваньи, не из обыкновенных. Он вам не рассказывал про нее?

— Вам бы только болтать.

— Я говорю то, что знаю. Вообще же этот маленький невежественный и самоуверенный человек меня нисколько не интересует.

— Вам бы только болтать, Виллатс. Я хотела было попросить вас кое о чем, но, обдумав хорошенько...

Что это с фру Адельхайд? Она так возбуждена, она вдруг обвивает руками шею мужа и говорит:

— О, зачем вы такой? Я прошу вас простить меня.

К своему собственному величайшему удивлению, он не отвечает на ее ласку, он стоит не шевелясь и даже отвернув голову.

Тогда ее руки разжимаются, она, пошатываясь, отходит от него и опускается на первый попавшийся стул.

Она ничего не понимает, не понимает, что сама непоправимо испортила свои отношения с мужем, что его терпению пришел конец и вместо терпения на первый план выступила долго сдерживаемая воля.

Она чувствует только свое унижение.

— Зачем же вы пришли? — спрашивает она.

— Чтобы услышать то, что вы хотели мне сказать, — отвечает он. — Исключительно для этого.

О, теперь превосходство на его стороне, и он пользуется им. Почувствовав это, она отвечает:

— Мне нечего больше сказать вам.

— Неужели?

— Хотите знать, что я хотела вам сказать? — вдруг спрашивает она, порывисто поднимаясь с места. — Этот доктор... я хотела попросить вас передать этому мужлану, что мы отныне не нуждаемся больше в его услугах. Теперь вы все знаете.

— Гм... — говорит лейтенант.

— Но вам, вероятно, нет до этого дела?

— Более приятного поручения, — отвечает муж с нетерпеливым высокомерием, — более приятного поручения я не могу себе и представить.

Но, раздраженная его тоном, она кричит:

— Да, но вы этого не сделаете, конечно же, не сделаете.

— Подумайте, что вы говорите.

— О, я знаю вас, — возбужденно продолжает она, — вы предпочитаете ездить шагом, вы не отваживаетесь под-

вергнуть риску свою драгоценную особу. Но как вам угодно. Спокойной ночи.

Когда она доходит до двери, у него еще хватает мстительного самообладания, чтобы сказать:

— Несколько дней тому назад вы за обедом намекнули, что охотно съездили бы домой. С моей стороны препятствий к этому нет, во всяком случае деньги к вашим услугам — теперь, как и всегда.

Молчание.

— Хорошо. Спасибо.

Но это предложение мужа смутило ее, и, низко опустив голову, она торопливо выходит из комнаты, чтобы не разрыдаться при нем.

А лейтенант вновь перемещает кольцо с левой руки на правую.

VI

Маленький Виллатс очень вырос, стал уже совсем большим, хорошо поет и играет на рояле, но он капризный и своевольный, справляться с ним нелегко, он делает только то, что ему самому хочется, и отлынивает от занятий с матерью.

Отец уже давно ломает голову над вопросом о его воспитании. Нанять домашнего учителя, какой был в детстве у него самого, гувернера, обладающего кое-какими школьными познаниями и более ничем, — одна мысль об этом приводит его в ужас. Подумать только, что какой-то учителишка будет расхаживать по комнатам Сегельфосса, есть с ними за одним столом и считаться чем-то вроде члена семьи; днем он будет заниматься с мальчиком, а по ночам сидеть за книгами и готовиться на пастора или адвоката. Лейтенант знал людей этого типа, он с ними и разговаривать не мог — весь ход их мыслей иной, чем у него, ничего своего, врожденного, у них нет, одни лишь заученные школьные познания.

Лейтенант подумывал об Англии, вот страна для его сына, подходящая школа, дорогая страна. Если бы только были средства послать его туда! Средства? Если у него нашлись средства послать долговязого болвана, сына Ларса Мануэльсена, в Тромсё и содержать его там, так неужели же его родному сыну прозябать дома? Да и годится ли отставать от старого Кольдевина, который в свое время послал своего сына Фредрика в Сен-Сир?

Лейтенант думает, размышляет.

А маленький Виллатс не размышляет. Он вот уже год как повадился играть с соседским мальчиком Юлиусом, вторым сыном Ларса Мануэльсена, и они проводят вместе прекрасные часы. Маленький Виллатс даже затащил однажды Юлиуса в дом, провел его по черной лестнице к себе в комнату, показал свои игрушки и раскрашивал с ним картинки акварельными красками. Трудно передать, до чего Юлиус нов и интересен для маленького Виллатса. Виллатс проникся величайшим к нему уважением за то, что у него такие большие руки и ноги, которые они не преминули тотчас измерить. Перед кроватью Виллатса лежит коврик.

— Осторожнее, ты наступил на сукно! — говорит Юлиус.

— Ну и что? — удивленно говорит Виллатс, и, так как он продолжает стоять на коврике, Юлиус поднимает коврик с пола, отряхивает и кладет на кровать.

— Зачем? — спрашивает Виллатс.

— А ты не балуй, не топчи его, — говорит Юлиус.

Оба приятеля основательно перепачкались красками, и пока Виллатс моет руки и лицо холодной водой, Юлиус стоит и с состраданием смотрит на него.

— А ты разве не будешь мыться? — спрашивает Виллатс.

— Нет, нам надо торопиться, — отвечает Юлиус, — уже начался отлив.

Юлиус немного трусит и просит Виллатса спускаться по лестнице потише: не дай бог кого встретят, особенно Давердану, а дома Давердана не раз угощала брата тумаками. Юлиус предлагает Виллатсу первому сойти вниз и кашлянуть, если все благополучно. Виллатс спускается. Юлиус бегом возвращается в комнату и берет резиновый мячик, который видел среди игрушек; ему, верно, пришло на ум, что мяч может им пригодиться во дворе. Виллатс кашляет, и Юлиус на цыпочках сбегает вниз.

Они идут к морю и собирают ракушки, водоросли и морские звезды. Потом на песчаной отмели строят каменный дом и скотный двор, наполняя его скотом. Скот — это всевозможные ракушки. Коров они раскрашивают — иных пятнами, иных полосами, — краской им служит толченый кирпич, смешанный со слюной. О господи, как они увлечены игрой, хотя оба уже большие мальчики!

Но вот Юлиус, проголодавшись, решает идти домой. Но неужели расставаться теперь, когда они так хорошо разыгрались? Виллатс невольно вздрагивает: он совсем забыл про обед; но как ему помнить об обеде, если он не чув-

ствовал ни малейшего голода. А теперь уж все равно, семь бед — один ответ, и он идет домой к Юлиусу.

— Батюшки, кто к нам пришел! — говорит мать Юлиуса. — Заходи, Виллатс, не побрезгуй посидеть с нами. Садись обедать, Юлиус. Где вы были?

— У Виллатса, — говорит Юлиус.

— У Виллатса? Да ведь не в доме же у него небось?

— Не в доме? Мы картинки раскрашивали. Спроси хоть его самого!

— Надо же! — говорит мать, напыжившись от гордости. Дочь Давердана уже служит в Сегельфоссе, а теперь вот и Юлиус побывал в барских покоях.

Юлиус ловко управляется с селедкой и картошкой без ножа и вилки, тарелка перед ним прямоугольная, из дерева, все тут такое необыкновенное. Виллатсу вдруг страшно захотелось есть.

— Селедка у вас, кажется, хорошая и картофель тоже, — говорит он.

— Да, грех жаловаться, этого добра у нас хватает, — отвечает хозяйка. — Вот чем только тебя угостить, Виллатс! Может, скушаешь кусок хлеба с маслом? Но нет, разве мыслимо...

— Благодарю вас, дайте, пожалуйста, — отвечает Виллатс, ибо муки голода становятся нестерпимыми.

Хозяйка намазывает маслом большой ломоть хлеба, потом достает кусок леденцового сахара, толчет его бутылкой и посыпает им бутерброд.

— На вот, попробуй, сможешь ли ты есть наше угощение.

Виллатс ест бутерброд, Виллатс уплетает его за обе щеки. Никогда в жизни не ел он такого вкусного бутерброда. Кисло-сладкий серый хлеб с тмином и толченый сахар сверху — лакомства до сих пор для него неведомые, он непременно попросит мать завести дома такие вкусные вещи.

Потом мальчики опять бегут играть, они придумывают разные веселые забавы. Юлиус — настоящий клад для Виллатса, он такой изобретательный, постоянно предлагает что-нибудь новенькое, и к тому же мастер ругаться и знает поразительно много. Они забираются на крышу кирпичного завода, теперь пора спускаться. Слезать надо задом, нащупывая ногами уступы в стене, но многочисленные попытки заканчиваются неудачей. Наконец Виллатс, потеряв терпение, спрыгивает на землю. Прыжок сходит благополучно, и он отважно предлагает приятелю поймать его, когда тот

прыгнет. Юлиус же медлит, несколько раз он собирается с духом, но в последний момент передумывает.

— Я нисколечки не боюсь, — говорит он, — но ведь я могу убиться!

В конце концов он снова пробует слезть задом, как вначале, и, спустившись немного, спрашивает:

— Далеко еще до земли?

— Нет, — отвечает Виллатс, — совсем близко, прыгай же!

Но Юлиус не прыгает; он долго висит в нерешительности, потом вдруг начинает взбираться назад на крышу, но и это уже ему не по силам. Потеряв всякую надежду, он начинает плакать, приговаривая, что больше не может держаться.

— Отпусти руки и прыгай! — кричит Виллатс. Юлиус закрывает глаза и кулем падает на землю.

— Видишь, вовсе не так страшно! — говорит Виллатс.

Но Юлиус сильно ушибся, и теперь, когда он спасен и вне опасности, злится и ругается.

— Смотри, как я разбился, — говорит Юлиус, показывая ушибленные места. — Черт, до чего высоко было падать!

Но что это? Под ногами у мальчиков на земле лежит выпавший из кармана Юлиуса мячик.

— У тебя такой же мячик, как у меня? — спрашивает Виллатс.

— Мячик? Да он все время лежал тут, — отвечает Юлиус. Но внезапно идет на попятный и сознается, что взял мяч, чтобы им было чем играть.

Они начинают играть в мяч, бросают его, ловят, бегают и резвятся как жеребята. Кругом простор, небо высокое, их крики и смех звонки, как крики чаек. Вдруг мячик исчезает в траве, между камней. Нет, он исчез непонятно куда. Они ищут и ищут, но мячика нет как нет. Делать нечего, приходится отказаться от поисков.

Через поле к ним приближается маленький Готтфред, тоже соседский мальчик, который живет в одном из домов на пригорке. Он, верно, прознал, в каком знатном обществе находится Юлиус, и робко, застенчиво направляется к ним, чтобы тоже принять участие в игре.

— Вон Готтфред! — шепчет Юлиус, вскакивая на ноги. — Бежим!

И они побежали. Готтфред обескуражен, он останавливается и начинает что-то собирать и наконец даже садится на землю, продолжая что-то собирать.

— Зачем нам надо было бежать? — спрашивает Виллатс.

— Сейчас объясню, — отвечает Юлиус. — Ежели и есть кто, с кем я не хочу водиться, так это Готтфред. И точка.

Виллатс ничего не понимает, но ответ Юлиуса еще больше разжигает его любопытство.

— Его мать воровала птичьи яйца.

Но и это отнюдь не делает Готтфреда менее интересным. Наоборот, мальчик, у которого такая мать, окружен ореолом таинственности... Чтобы отвлечь внимание Виллатса от Готтфреда, Юлиус говорит:

— Как ты думаешь, что бывает с ягнятами, которых матери не могут выродить?

Вот уж полнейшая загадка для Виллатса. Никогда еще он не сидел с таким разинутым ртом, как теперь.

Тогда Юлиус говорит:

— У овец, которые не могут выродить ягнят, они гниют в животе.

— Ну да? — говорит Виллатс. — Гниют?

— Да. У нас была такая овца... Нет, ты глянь, Готтфред уселся на землю. Чего это он, черт возьми?

И тут он видит и кое-что другое, он видит всадника на дороге, лейтенанта.

— Твой отец! — шепчет он. И, не теряя ни минуты, пускается наутек.

Виллатс остается один. Готтфред, тоже заметив лейтенанта, съежился в комочек, так что его почти не видно. У Виллатса нет выбора, приходится идти навстречу отцу.

— Вот ты где! — говорит отец, останавливая лошадь. — Ты забыл про обед. С кем ты был?

— С Юлиусом.

— Что за Юлиус?

— Юлиус. Не знаю. Он вон из той избы, — говорит Виллатс, показывая рукой.

— Ступай домой и попроси прощения у матери, — говорит отец, трогаясь с места.

VII

Неделей позже в Сегельфосс приезжает старый Кольдевин с женой и сыном; люди они благородные, и в Сегельфоссе их принимают с почетом. Молодому Кольдевину, Фредрику, уже за сорок, он женат и живет в одном из городов западной Норвегии, он коммерсант и французский вице-консул. У Фредрика Кольдевина хорошая репутация, он любезен и эле-

гантен, носит волосы на пробор, пальцы у него унизаны перстнями. В прошлом году ему привалила особая удача: в город, где он живет, судьба занесла потерпевший аварию французский пароход, и консул не только скупил весь его груз, нажив большие деньги, но и прославился празднествами, которые устроил в честь французов. Маскарад, голубой грот, фейерверки — чего только там не было; прислуживающие гостям девицы щеголяли в коротких платьицах, под окнами играл городской оркестр. Праздник был устроен не только для офицеров, но и отдельно для всей команды, тут консул не сделал никаких различий; больше того, среди матросов был негр из Алжира, так его тоже пригласили.

Фредрик Кольдевин охотно рассказывает обо всем этом, да, золотое было время, а иностранцы оказались очень веселыми ребятами. Его учеба в Сен-Сире окупилась с лихвой.

— Странное дело, — говорит Фредрик Кольдевин, — одна из прислуживавших девиц через несколько дней после празднества вышла замуж за столяра. Вот ведь, вдруг вспомнилось.

— Что же тут странного?

— А то, что в нынешнем году она родила своему мужу сына, настоящего мулата.

Пауза.

— Этого я не понимаю, — говорит фру Хольмсен.

— Этого никто не понимает, — отвечает Фредрик Кольдевин. — Наш доктор и тот не понимает.

— У нас тоже недавно был гость, — меняет тему разговора лейтенант. — Не расскажете ли вы о нем, Адельхайд? А меня извините, я на минутку.

С этими словами он покидает комнату.

Он выходит во двор; там стоит служанка Давердана.

— Ты не пришла вчера вечером, забыла? — говорит он ей.

— Нет, но барыня дала мне поручение.

— Какое?

— К сапожнику сходить.

— Ах да, вспомнил. Я же сам велел послать тебя к сапожнику. Туфли у меня порвались.

— Нет, барыня приказала их только почистить.

— Да, да, почистить. И почистить тоже.

С этими словами лейтенант идет дальше. Возможно, ему вовсе незачем было выходить из дома, но все-таки он вышел, ему надо о многом подумать. Сегодня в честь гостей он в новом мундире, поэтому он не заглядывает ни в коровник,

ни в конюшню, а идет на сеновал, отыскивает темный уголок и стоит там несколько минут. Он ничуть не опечален, наоборот, с довольным видом кивает головой. «И почистить тоже!» — повторяет он, потирая худые руки. Перед тем как вернуться в дом, он опять снимает кольцо с правой руки и надевает на левую — для памяти, чтобы не забыть чего-то.

Служанка Давердана все еще во дворе, и лейтенант, проходя мимо, небрежно спрашивает:

— А ты принесла туфли назад?

— Нет, — отвечает Давердана, — я только отдала их.

И лейтенант снова кивает головой и кажется еще более довольным.

В гостиной царит молчание, все погружены в свои мысли. Когда лейтенант покидал общество, последним говорил консул, и он же заговаривает теперь первый:

— Оказывается, ты дал аудиенцию королю Тобиасу, и он хочет купить у тебя землю. Ну что ж, дело хорошее, продай ему!

Лейтенант не отвечает на это прямо, он только замечает вскользь:

— Да, мы полагаем, Адельхайд и я... Он ведь больной человек. Вы, конечно, уже слышали о нем?

Старая фру Кольдевин сокрушенно качает головой:

— Еще бы, как не слышать.

— Мы разделились на два лагеря, — говорит консул. — Отец и мать в одном, а мы с фру Адельхайд — в другом. Маленький Виллатс, наверное, тоже на нашей стороне, правда, Виллатс? Ну да, разумеется. Итак, мы продаем ему землю!

Старый Кольдевин задумчиво молчит, этот тихий, спокойный старик не любит никаких перемен. Когда фру Хольмсен рассказывала про короля, про этого Тобиаса Хольменгро, который вздумал поселиться бок о бок с владельцем Сегельфосса, он, хмуро уставившись в одну точку, стал отговаривать ее от продажи.

— Не делайте этого, не делайте этого! — говорил он.

И теперь он вновь повторяет свои предостережения.

— Если продавать да продавать, что же останется от Сегельфосса? То есть останется, конечно, много останется, очень много, — поспешил он поправиться, — но в конце концов... Ведь последний Виллатс Хольмсен, я полагаю, еще не родился.

— Теперь новые времена, отец, — говорит консул. — Большие поместья уже не окупают себя, они только истоща-

ют силы владельцев. Они хороши только для тех, у кого припасены накопленные в старые времена капиталы.

— У меня не было припасено никаких капиталов, — отвечает отец. — То, на что я рассчитывал, пожрали неурожайные годы и война. Но из-за этого...

— О нет, отец, у тебя было кое-что в запасе, и даже весьма прилично. К тому же ты получил наследство...

Старая фру Кольдевин останавливает сына взглядом.

— Но из-за этого я все-таки не расстанусь ни с одним кусочком из моих скромных владений, нет, ни за что.

— Но ведь земля не дает тебе никаких доходов, отец?

— Может, и не дает. Правильно, не дает. Но разве со всего надо получать доход? — спрашивает старик. — А если бы мы, твоя мать и я, начали уменьшать наши владения, продавать кусок за куском, к чему бы это привело? У нас появились бы кое-какие деньги, но зато мы лишились бы земли. И к кому бы шли тогда окрестные жители со своими нуждами, если бы там не было нас с матерью? Нынешней весной, например, у Хенрика — ну, ты знаешь его — пала корова. Хорошая корова, стельная. У того самого Хенрика, которого ты еще окрестил по-новому, помнишь?

— Да, да, помню. Ну и что же?

— Больше ничего, — говорит старый Кольдевин. — Он пришел к твоей матери...

Молчание. Так как муж не продолжает, то фру Кольдевин сама доканчивает:

— А я пошла к твоему отцу.

Пауза.

— Но ведь вышло бы так на так, — со смехом возражает консул, — дали бы вы ему новую корову или денег.

— Нет, нет, — отвечают старики, и оба покачивают головой, — деньги он бы истратил без толку.

Чтобы прекратить спор, лейтенант говорит:

— В данном случае вопрос идет о пустяках. Мы обещали подумать о продаже небольшой пустоши под постройку дома, — но вполне вероятно, что все это кончится ничем. Мы с Адельхайд вскользь упомянули об этом в разговоре с господином Хольменгро, он показался нам человеком разумным и скромным.

— Должна сказать, что он на меня произвел очень благоприятное впечатление, — говорит и фру Адельхайд. — Он нездоров и хочет попробовать, не поможет ли ему сосновый воздух.

На этом беседа иссякла, все опять замолчали, погрузившись в размышления. Но маленький Виллатс, для которого на свете не было ничего лучше перемен, убежал в залу и заиграл там на старом рояле.

— Трам-трам-трам, трам-трам, — начал подпевать консул и поднялся с места. — Между прочим, этот самый Хенрик рос без отца, а мать его звали Лисбет, поэтому сына все звали Лисбет-Хенрик. А я перекрестил его в Анри л'Исбет.

По будням жизнь в Сегельфоссе тиха и однообразна. Фредрик Кольдевин знает ее как свои пять пальцев, она далеко не в его вкусе, но он старается извлечь из нее все возможное и не скучает. Лейтенант — друг его детства, фру Адельхайд с годами тоже стала его другом. Он бродит по дому, болтает, насвистывает, поет, по вечерам попивает вино с лейтенантом и даже с экономкой, йомфру Кристиной Сальвесен, изредка ведет шутливые беседы, стоя перед раскрытым окном буфетной.

— Йомфру Сальвесен, поздороваться-то с вами я успел, когда приехал, но до сих пор мне не удалось сказать вам ни одного серьезного словечка.

— И в этом году тоже серьезное словечко? — со смехом говорит йомфру Сальвесен.

Консул качает головой.

— В этом году дело обстоит особенно плохо. Вот я и приехал, чтобы положить этому конец.

— В прошлом году вы тоже за этим приезжали, ха-ха-ха!

— Я пишу стихи про ее брови и про ее очи. Ее брови — мое богатство, говорю я... погодите, как это у меня?.. Эх, знали бы вы только, что я пишу про ее очи!.. Йомфру Сальвесен, так, значит, это правда, что за тот год, как я не виделся с вами, вы отдали свою руку другому?

— А что же мне было делать! — лицемерит экономка, и рот ее кривится в ухмылке. — Ведь вы порвали со мной.

— Я? Как только у вас хватает духу быть такой вероломной! Поэтому я и говорю: очи — это ее деньги, она ими всех покупает.

— Фи, господин консул!

— Удивительно ли, что я окончательно потерял рассудок? Три года терпеть жесточайшие муки, а затем приехать и узнать, что вы помолвлены. О, если бы мои глаза никогда не видали вас... или как это у Шекспира? Велик ваш грех передо мной.

— Да уж, вы так исхудали и так осунулись!

— О, женщины, женщины! По дороге сюда я встретился с одним человеком — бог знает, не пастор ли он в каком-нибудь местечке. Незадолго перед тем, рассказал он мне, он сидел у смертного одра своей жены, и тут же стояли три его сына. Двоих из них он очень любил, ему казалось, что они похожи на него, а младшего, маленького и тщедушного, терпеть не мог. И вдруг жена говорит: «*Этот* твой сын!» Он так и осел, точно его обухом по голове хватили. Немного погодя приходит он в себя и спрашивает: «А другие?» Жена не отвечает. «А другие?.. Слышишь, а другие?» — повторяет он. Но жена уже умерла.

Консул и йомфру Сальвесен смотрят друг на друга.

— Бр-р! — говорит она с содроганием.

— Поставьте себя на место этого человека, йомфру Сальвесен. Всю свою жизнь он будет задавать себе один и тот же вопрос: «А другие?» И никогда не получит ответа.

Пауза.

— Приведите этого человека сюда, и он получит ответ, — вдруг с жаром говорит йомфру Сальвесен. — Мать, разумеется, боялась за младшего, вот она так и сказала. Ведь она умирала и хотела помочь младшему... не забывайте, что он, бедняжка, был младший в семье и к тому же и так на подозрении у отца... ах ты господи, вот ужас какой!.. Ну, она и сказала...

Консул ждет.

— Она поступила так только для того, чтобы помочь младшему, — восклицает йомфру Сальвесен. — Неужели вы не понимаете?

Консул кивает головой. Он капитулирует перед ее горячей верой.

— То же самое сказал ему и я. Замолчите, сказал я ему...

— Ха-ха-ха, так ему и надо!

Йомфру Сальвесен даже разрумянилась и похорошела от непоколебимой уверенности в своей правоте.

Консул окончательно складывает оружие. Он опасается, что, быть может, зашел слишком далеко, и пытается вывернуться из неловкого положения:

— Да, это же самое сказал ему и я, отчасти даже вашими словами. Почти слово в слово. И это наводит меня на мысль, какое согласие могло бы, в сущности, царить между нами, йомфру Сальвесен, если бы вы не оказались такой вероломной изменницей. А теперь мне ничего не остается,

как в одиночестве спрашивать себя: что такое жизнь? Что такое жизнь, черт возьми?

— Вы, кажется, совсем сошли с ума! — восклицает экономка, смеясь чуть не до слез. — Ох, меня такой смех разбирает, что сетка спадает с головы, — говорит она, поправляя сетку и заодно охорашиваясь. — Теперь хорошо?

— Да, — отвечает консул. — О, когда вы поднимаете вот так руки, словно приглашаете...

— Господи, дорогой консул, неужели же вы совсем не можете не дурачиться?

— А какая талия! Собственно говоря, мне бы следовало зайти к вам в буфетную и схватить вас в охапку.

И бог знает, не был ли консул на волосок от того, чтобы привести свои слова в исполнение, потому что экономка поспешила заметить:

— Ну и картинка была бы, нечего сказать! А если фру войдет?

Но он все же остался на месте и закончил беседу еще парочкой-другой милых шуток, а йомфру Сальвесен осведомилась о его жене и детях; неужели они никогда больше не приедут в Сегельфосс?

Однако охотнее всего консул беседовал с фру Адельхайд. Он рассказывал ей забавные истории и происшествия, случившиеся с ним со времени их последнего свидания, он был любезен и занимателен, фру Адельхайд ожила, повеселела и с каждым днем одевалась все изящнее — да, потому что Фредрик Кольдевин был такой изящный и веселый. Но он не только болтал и балагурил, нет, он высказывал ей также свои взгляды и излагал свое мировоззрение. А мировоззрение его заключалось в том, что надо идти нога в ногу со временем.

Фру Адельхайд любила разговаривать с ним. И хоть она была немкой до кончиков ногтей, а консул Фредрик — французом, все равно...

— Почему вы всегда говорите: франко-прусская война? — спрашивает она. — Ведь победили немцы, следовательно, это немецко-французская война.

— Да, — отвечает консул, — победили пруссаки.

— Германцы. Разве все мы не германцы?

— Да, за исключением французов. Но не будем об этом, дорогая фру Адельхайд. Вчера я слышал, как где-то вдали кричали лебеди, иногда сразу несколько, прямо хор. В их

крике было столько нежности и страстности, что я невольно вспомнил вас.

— Неужели? — говорит фру Адельхайд.

Да, теперь от ее холодности не осталось и следа, особенно когда она пела и играла для человека, который ей нравился, она запрокидывала голову, давая волю своей сдерживаемой дотоле страстности. От консула Фредрика, вероятно, это не ускользнуло, звуки ее голоса звучали в его ушах, и он попросил ее спеть ему еще.

— Хорошо, позже, — сказала она, — вечером, если хотите.

— Если я хочу!

— Только не надо по своему обыкновению благодарить меня. Это мне надо благодарить вас.

Фру Адельхайд произнесла это очень спокойно, не отводя от него взгляда, только лицо ее медленно залилось краской.

Молчание. Казалось, в воздухе прозвучало: «Ave-Maria». Консул Фредрик, этот шутник-француз, этот балагур, сидел молча, опустив глаза. Ни победоносного выражения, ни улыбки на лице, оно выражало лишь глубочайшее сострадание.

Немного погодя фру Адельхайд поднялась и вышла.

У каждого человека своя судьба, и у фру Адельхайд, вероятно, тоже своя судьба. Вот почему в ее двери всегда торчит ключ, вот почему она попросила отказать от дому забывшемуся доктору, вот почему она ведет дневник.

VIII

По вечерам, когда консул Фредрик и лейтенант засиживались до полуночи, подкрепляясь вином и беседуя на разные темы, разговор почти всегда переходил в спор. Разве у консула не было своего мировоззрения? О да, было, но когда он сидел в этой старинной роскошной гостиной, среди великолепия, оставшегося от дедовских времен, с сигарами, вином и венецианским хрусталем, ведя беседу с другом детства, беседу, которой он годами был лишен в своем рыбацком городке, — на него накатывала тоска по другой, отличной от его жизни. В эти минуты ему бывало трудно держаться своего мировоззрения. Что же оставалось делать? О, только одно: перещеголять самого себя, оправдывая все то, что въелось в него с годами, высказывая самые мещанские взгляды, убежденно повторяя все те буржуазные суждения, которые он день и ночь слышал вокруг себя в своем городке — что же

еще! Его родители когда-то хотели сделать из него дипломата, этим-то, собственно, и объяснялось его пристрастие ко всему французскому. Но консул мог поклясться, что его сын, Антон Бернхард Кольдевин тоже не пойдет по дипломатической стезе! Врожденные качества, голубая кровь... что это такое? Вздор, выдумки, пустые мечты, черт бы их побрал!

Корову Анри л'Исбету? Пожалуйста, мосье, вот тебе деньги, наличными; но изволь отработать их на моей пристани, а в обеспечение дать мне закладную на свой дом! Помещику ничего не делается, война не отняла у него землю, не взяла у него диванов и зеркал, даже печи и те стоят на своих местах — одни с серебряными украшениями, другие с фризами из червонного золота. Война не отыскала отар овец в двести голов, не тронула лодочных сараев и рыболовных снастей, в большом поместье всегда остается вдоволь добра даже после того, как по нему прошлась война. А уж если дойдет до худшего, можно и пересидеть. Подождем немного, приостановим ненадолго все работы... резервы есть, есть подспудные силы... через несколько лет опять оправимся, опять встанем на ноги. А тут умирает тесть — царство ему небесное! — человек той же породы, седой, лопавшийся от важности, какое-то время и ему приходилось туго, но потом и он встал на ноги. Что же дальше? Помещику оставляют наследство — он наследует. Молодчина тесть — уж воистину, да порадует Бог его душу на том свете!.. Все хорошо. Другие же — рабочие, торговцы, поденщики — скалят зубы друг на друга и грызутся. Такова жизнь. И грызутся они, собственно говоря, из-за старого помещика, дерутся из-за того, кто владеет чем-то, из-за того, чем он владеет.

Старый помещик — кость, остальные — собаки. Но что делает кость? Когда собаки дерутся, кость лежит спокойно, она не участвует в драке, не вмешивается в грызню. Да, все отлично, все остальные должны идти в ногу со временем.

Консул Фредрик... О, врожденные качества тоже, наверное, частенько мучительно напоминают ему о себе, но к черту пустые мечты, он крепко стоит на земле. Почему только он так горячится порой? Или ему все-таки нелегко бывает держать в узде мечты? Его друг лейтенант старается не раздражать его, все больше молчит, но твердо придерживается диаметрально противоположных взглядов, и его ничем не сдвинешь с места. Зачем же в таком случае так горячо спорить с ним из года в год? Может быть, Фредрик Кольдевин попал не на свой шесток в этой жизни и теперь старается

затащить туда и других, чтобы не быть там одному? Бог его знает.

— Я зашел так далеко, что позволю своим дочерям выйти замуж по их выбору, — говорит он. — Тэе восемнадцать, она почти дала слово одному штурману — как тебе это нравится? Ну уж это, сказал я ей, никак не годится. Впрочем, она и сама поняла. Среди твоих крестных, сказал я ей, Виллатс Хольмсен и фру Адельхайд, ты обязана считаться с этим. Это она тоже поняла. А в остальном, говорю я ей, выходи за кого угодно, я тебе не помеха! Герде еще не к спеху, ей всего пятнадцать. Господи, ведь мы вращаемся в лучшем обществе нашего города, да и как же иначе... Все чиновники... Семья нотариуса, очень интеллигентная семья, а племянник моей жены — адвокат. Пастор с семьей, мои коллеги коммерсанты... Начав однажды жить этой жизнью, находишь в ней удивительное удовольствие... я бы ни с кем не согласился поменяться.

Лейтенант, сидевший по своему обыкновению с опущенной головой, вдруг поднимает ее и медленно говорит:

— Лучше штурман!

— Что такое?

— Скажи Маргрет, которую ты называешь Тэей, скажи ей от моего имени: лучше штурман!

Консул улыбается немного растерянной улыбкой:

— Чтобы ускорить вымирание рода Кольдевинов, этого ты хочешь?

— Наоборот, милый Фредрик, чтобы замедлить этот процесс. Может быть, даже совсем предотвратить его. Моряк разъезжает по белу свету, он много видит, много переживает и в конце концов становится капитаном. Как и солдат в случае войны всегда может многого добиться. Морякам, как и военным, в противовес чиновникам, абсолютно чужда заурядность.

О, тут уж консул обязан встать на защиту своего мировоззрения:

— Прости, но, сидя здесь в своем Сегельфоссе, ты глубоко заблуждаешься, — говорит он. — Если бы ты шел в ногу со временем, ты бы знал, что с нашего детства взгляды существенно изменились. Нашей аристократией стали чиновники, и другой у нас нет.

— Штатные чиновники... несчастный все-таки это народ. Отец писарь и сын писарь, конторщики поколение за поколением. Их вербуют из деревенских парней, сумевших «подняться над своей средой». Между прочим, они вовсе не под-

нимаются, а опускаются, из хороших рыбаков и земледельцев превращаясь в писарей и пасторов. Но все равно. Судя по всему, стало законом, что чиновники плодят чиновников, почему бы? Присмотрись к ним — ни выдающихся способностей, ни энергии, процветает посредственность. Они заурядно честны, заурядно знают свое дело, пускай! Но где же их превосходство, где их величие? Сын ничем не отличается от отца, поколение за поколением они — одни и те же. Таков закон их мира, сыновья чиновников становятся чиновниками, а дочери выходят замуж за чиновников, даже если это врач или пастор. Этот закон, господствующий в чиновничьей среде, не допускает никаких исключений, он очень суров... Не может быть и речи ни о какой судьбе, об ударе молнии; отец начал свою карьеру писарем, сыну уготовано то же самое — это у них называется «приобрести культуру». Что касается меня, я с гораздо большим удовольствием разговариваю со своими работниками, чем с чиновниками. Впрочем, я вообще ни с кем не разговариваю, — добавил лейтенант.

— Да уж, ты ведь у нас гордый, — обиженно ответил консул. — А нам, простым смертным, не остается ничего другого, как покупать и продавать, разговаривать и торговать.

— Гордый? — воскликнул вдруг лейтенант, и в голосе его зазвучала былая ярость. — Надеюсь, что я гордый. Но это от отвращения, понимаешь, от отвращения. Меня тошнит от того, что говорят нотариус, доктор, епископ. Я иду один, я обогнал их, они остались позади. Они наслаждаются собственным ничтожеством, нахально пристают, воображая, будто с ними можно говорить, — я же молчу. Они не стыдятся ходить с высоко поднятой головой, а я всегда смотрю вниз, на землю, на траву и песок, я никогда не устаю смотреть на траву и песок. Эти сыновья писарей хорошо усвоили, что после дождя опять выглянет солнце, вздернув голову, они талдычат мне об этом прямо в уши — высказываются. Разве тебе не приходилось сталкиваться с этим? Они умеют читать и писать... в старину это было профессией низов и так этому и следовало быть сейчас. Можно жить за счет культуры, но нельзя жить за счет простой грамотности, нельзя жить за счет школьных познаний — этим прокормиться могут единицы. А для того, чтобы жить за счет культуры, надо прежде всего иметь за плечами многие поколения, воспитывавшиеся в роскоши и богатстве, а не в мещанской обстановке чиновничьего дома, скромного достатка. Роскошь и богатство, в

которых живут поколение за поколением, формируют характер, делающий человека личностью. Тогда он может жить за счет культуры. А чиновники... помилуй бог, друг мой, неужели ты ослеп и не видишь, до чего они глупы, заурядны и серы! Посмотри, как они продвигаются по службе. Разве есть в этом хотя бы намек на судьбу, на отступление от шаблона? Видел ли ты когда-нибудь, чтобы кому-то дали повышение за величие ума, за благородство духа? Конечно, нет: нельзя давать повышение за то, чего не существует! Повышение дают за возраст, выслугу лет, за школьные познания. Это наличествует. Да иначе и быть не может — ведь их выдвигают из толпы посредственностей, дабы они служили посредственностям. И потому я говорю: лучше штурман.

— Извини, — отвечает консул, — а я говорю: только не штурман.

— Ну да, на том основании...

— Я говорю, только не штурман. Потому что хочу уберечь Тэю от мезальянса.

О, до чего он добр и банален!

Пауза. Лейтенант сидит с широко раскрытым ртом.

— Неужели же все сказанное мной так непонятно? Я говорю: лучше штурман. Я же объяснил тебе, что другие хуже.

— Он даже не из хорошей семьи. Его отец сплавщик плотов, то есть, в сущности, самый простой матрос.

— Можно жить и за счет природы. Чиновник не может жить за счет культуры, которой у него нет и которую он не в состоянии приобрести, ибо школьные премудрости — не культура; а штурман может жить за счет природы. Предвижу твое возражение, мол, штурман тоже уже не вполне дитя природы. Но из этих двоих он все-таки ближе к природе и потому выносливее. Кланяйся Маргрет и передай ей это от меня.

— Извини, но этого я не сделаю. Подобный брак убьет ее мать. Моя жена принадлежит к семье, которая поднялась над своей средой.

— В чиновники, значит, выбилась? То есть, в сущности, опустилась, а не поднялась. Племянник твоей жены адвокат; тебе каждый день дают понять, сколь это важно, но сам ты в душе знаешь, что это ложь. Сегодня вечером ты высказал несколько премилых суждений! Он даже не из хорошей семьи?.. Ну, разумеется, будь он сын какого-нибудь адвоката, тогда он был бы из хорошей семьи. С ума вы сошли, что ли? Где та молния, тот ослепительный отблеск славного рода, что был бы способен сделать из него значительного человека?

Для чиновника существует только одно уклонение в сторону от проторенной тропы — брак с неровней, с человеком «низшего» сословия. Это их молния. У них нет даже данных для чего-либо иного, они рождены в посредственности, для посредственности. Вот, например, у нас недавно был доктор; его пришлось пригласить, в доме были больные, а он сведущ в медицине. Он вошел в комнату, в эту самую комнату: во всем этом он ничего не смыслит, но сделал вид, будто ничуть не удивлен. Взглянул вон на тот стул и, решив, что изготовлен он для того, чтобы на нем сидели, опустил на него свой зад. А между тем он должен был бы сесть на пол, а стул взять к себе на колени. Он посмотрел на стены, он, верно, слышал от своих коллег, что картины есть нечто достойное созерцания — посмотрел на Афродиту, вон на ту группу «Времена года», на люстру с орлами — все это он оглядел и не опустил глаз, не сложил благоговейно рук. Его, кажется, зовут Уле Рийс.

— Но помилуй, ведь его сестра графиня в Венгрии!

— Это обстоятельство может, конечно, иметь некоторое значение... в будущем, для потомства его сестры, у брата же в лучшем случае разовьет снобизм...

Консул отпивает из своего стакана, готовясь возразить другу, разбить его наголову. О, сейчас он выплеснет на него все те пошлости, которые заучил наизусть у себя дома, в своем городе.

— Нет, это ты сегодня высказал несколько премилых суждений! Ты живешь себе царьком здесь, в Сегельфоссе, распоряжаясь собой и другими, тебе противоречат только один раз в год, когда приезжаю я. Но зато теперь я тебе и отвечу как следует, не беспокойся. Я подойду к делу строго логично и прежде всего спрошу тебя, знаешь ли ты наш славный град? Нет. Следовательно, не знаешь и Боммена. Боммен — домовладелец, у него сын учится в университете, следовательно, Боммен один из тех отцов, которые желают, чтобы их дети вышли в люди. Здравыми и верными суждениями этого человека я отчасти и воспользуюсь. Боммен сказал бы следующее: значит, по-твоему, лучше всего, чтобы семья каким-нибудь образом отступила от правил, уклонилась от проторенного пути, так? Боммен спрашивает и смотрит на тебя в ожидании ответа.

Лейтенант улыбается:

— Боммен ошибается. Искусственно вызванные уклонения? Господин Боммен, ведь в таком случае индивид останется тем же, чем был и раньше. Для того, чтобы ваш сын-

студент мог стать кем-нибудь еще, а не чиновником, прошлые поколения вашей семьи должны были обрести богатство и судьбу. Это необходимое условие, первое условие. Поколение за поколением ваш род должен был накапливать наследные богатства. Только на этой основе и могли бы развиться качества, которые сделали бы ваших детей непохожими на заурядных писарей...

Входит экономка с визитной карточкой.

— Он просит разрешения поговорить с господином лейтенантом.

— В такой поздний час?

Лейтенант читает карточку, морщит лоб, на мгновение задумывается и говорит:

— Извини, Фредрик, я тебя покину на минутку. Я еще многое хотел сказать тебе, но...

— Смотри не забудь, я тоже скажу тебе еще кое-что, когда ты вернешься, будь покоен.

Лейтенант уходит и возвращается через несколько минут; можно подумать, что он без дальних слов спровадил позднего посетителя.

— Что за странная манера! — говорит он, взглянув на часы. — Слушай, у тебя действительно создалось впечатление, что Адельхайд ничего не имеет против продажи земли?

— Что? — с изумлением спрашивает консул.

— Этот человек здесь, внизу, видимо, хочет сегодня же вечером купить землю.

— Мне, по крайней мере, показалось, что фру Адельхайд ничего не имеет против. Значит, он хочет заключить сделку сегодня же вечером?

Лейтенант говорит немного смущенно:

— Я не имею обыкновения беспокоить Адельхайд так поздно... то есть... без особой причины. Она вряд ли еще легла, я видел, что ее окно открыто... так что, если бы ты согласился постучать к ней и спросить...

— Ты хочешь, чтобы я переговорил с фру Адельхайд?

— Да, сделай одолжение. Ты такой жизнерадостный, а она так мало веселья видит вокруг себя, я ведь совсем не жизнерадостный. Но вот что: если она, как и я, считает, что мы можем продать ему землю, ты уж, пожалуйста, не разубеждай ее.

Консул уходит.

Лейтенант стоит неподвижно, с хмурым лицом. Его недовольство вызвано, очевидно, появлением господина Хольменгро. Что за манера, в самом деле, являться в Сегельфосс

в такой час! Может быть, он вообразил, будто владелец Сегельфосса крайне нуждается в деньгах? Напрасно он так думает.

Консул возвращается и сообщает: да, фру Адельхайд согласна, она даже приветствует эту продажу.

— Может, ты окажешь мне еще одну услугу и поговоришь с этим человеком? Прости уж, что я беспокою тебя.

— С большим удовольствием. Ты хочешь, чтобы я вел с ним все переговоры вместо тебя?

— Да, спасибо... но завтра, конечно. Передай ему, что теперь слишком поздно.

— Лично я ничего не имею против того, чтобы повидаться с королем и хоть сейчас осмотреть с ним участок. Для нас, коммерсантов, не существует ни вечера, ни ночи. Тебя же мы не станем беспокоить.

— Поступай, как знаешь. Но только мне будет неприятно, если твое участие в этой сделке огорчит твоих родителей.

— Это уж предоставь мне. Всю жизнь мне приходилось огорчать их и действовать наперекор их желаниям. Они ведь, между прочим, хотели сделать из меня дипломата, но...

Немного позже консул Фредрик снова беспокоит фру Адельхайд: король пожелал приобрести участок по ту сторону реки — полосу земли от берега моря вверх по реке. За ценой он не постоит.

И еще раз консул Фредрик беспокоит фру Адельхайд, на этот раз уже утром: король пожелал приобрести половину реки, горный ее отрезок, а кроме того половину горного озера. На что ему вся эта вода, остается загадкой.

За завтраком Фредрик Кольдевин отсутствует, он еще не спускался. Всю ночь напролет он бродил с господином Хольменгро и его рабочими по западному берегу реки. Добрались даже до горного озера. А теперь они в комнате консула составляют купчую. Щадя стариков Кольдевинов, им говорят, что Фредрик вот-вот придет, давайте начинать без него!

А сразу после завтрака стариков уводят из дому на прогулку по окрестностям, чтобы дельцы могли спокойно позавтракать наедине.

— Виллатс, посмотри-ка, что это там делают? — говорит старый Кольдевин во время прогулки.

Лейтенант уже давно видит, что на крыше старой церкви возятся рабочие, и знает, чем они заняты, но говорить не хочет.

— Разбирают, верно, церковь, — отвечает он.

— Кто? Разве она продана? Пойдем туда, узнаем, в чем дело.

— Это слишком далеко для вас, милый друг.

— Нисколько. Идем.

Они подходят к церкви, и старый Кольдевин узнает, в чем дело: король, этот Тобиас Хольменгро из дальних фьордов, купил старую церковь на снос, и вот теперь ее разбирают. Десять человек. А немного погодя старый Кольдевин узнает и еще кое-что: из этой старой церкви господин Хольменгро собирается выстроить себе дом. Котлован для фундамента уже роют на западном берегу реки — видите, сколько там рабочих...

Обратный путь старый Кольдевин преодолевает гораздо медленнее, с трудом передвигая ноги.

— Ты, видно, был прав, Виллатс, — говорит он лейтенанту, беря его под руку, — расстояние-то оказалось длиннее, чем я думал. Да, обширные угодья в Сегельфоссе, богатейшие.

На пригорке они встретили господина Хольменгро. Он почтительно поклонился, поблагодарил за завтрак и за любезный прием и еще раз извинился, что вчера побеспокоил их так поздно. Консул был столь любезен, что провел с ним всю ночь.

Лейтенант с удивлением отметил, что без обматывающих его шарфов Хольменгро худ и жилист. Ему пришлось представить его старому Кольдевину, но сделал он это коротко и сухо.

— Да, богатые земли в Сегельфоссе, — передохнув, сказал старик. — А какой вон там у тебя славный молодой лесок: маленький Виллатс будет богатым помещиком. Ну, спасибо тебе за прогулку; пойду почитаю немного у себя в комнате, я всегда читаю перед обедом.

— Прежде всего, — говорит консул, — я должен передать тебе его благодарность за завтрак.

— Это он уже сам сделал, — отвечает лейтенант.

— И извинился за вчерашнее? Он объяснил, почему явился так поздно? Поразительно умный человек этот Хольменгро, прямо-таки гений! Привез с собой несколько десятков рабочих. Платит им от 80 эре до одного далера в день, день-

ги, по его мнению, немалые, не платить же их зря! И вот он использует ночь, чтобы совершить покупку и осмотреть участок, а в шесть часов утра уже ставит всех своих людей на работу. Молодчина, а! Ни одна минута не пропадает даром.

— Такая расчетливость до мелочей мне, к сожалению, чужда, — отвечает лейтенант. — По мне, так уж лучше, по примеру моего покойного отца, приняться за поиски зарытого дедом клада, — с улыбкой добавляет он.

— Не уверен, что он действительно так расчетлив во всем, — говорит консул. — Об этом суди сам. Вот купчая.

Лейтенант берет купчую, но не читает ее.

— Главное, чтобы Адельхайд осталась довольна, — замечает он.

— Фру Адельхайд довольна.

— Между прочим, я только что беседовал с твоим отцом. Он, видимо, догадывается обо всем, ушел к себе глубоко опечаленный.

— Ты не хочешь прочесть купчую?

— Потом. Большое тебе спасибо за услугу.

Фредрик Кольдевин, помолчав с минуту, вдруг говорит:

— Что это за фасоны!

— Ты о чем? Извини, милый Фредрик, если я сказал что-нибудь...

— Что это за фасоны? Неужели главное, чтобы осталась довольна фру Адельхайд? Меня так и подмывает отчитать тебя хорошенько — и за вчерашнее, и вот за этот разговор... На такие фасоны, таким манером вести дела способны только ты да мой отец — меня жизнь научила иному. Ты никогда не нуждался в деньгах, никогда не попадал в затруднительное положение, ты всегда мог позволить себе лишь тратить, а я должен был зарабатывать деньги. Понимаешь, Виллатс, зарабатывать деньги.

— Я нередко испытывал нужду в деньгах, — с тревогой говорит лейтенант.

— Ты? Шутишь.

— У меня большие расходы.

— Неужели у тебя нет скрытых источников, неужели нет под землей неистощимых кладов?

— Ах, если бы они были!

— У моего отца есть.

— В самом деле? А вот у меня — нет. А у твоего отца, стало быть, есть. Странно. Впрочем, я не раз удивлялся, откуда он берет деньги.

— Сейчас объясню, и да будет это тебе ответом на многое: он получает их от меня.

Лейтенанту, вероятно, кажется, что он ослышался, на лице у него появляется какое-то тупое выражение.

— Вот уж лет двадцать получает их от меня. Не будь этого, он давно бы разорился.

Пауза. Оба надолго задумались.

— Не истолкуй мою откровенность как-нибудь превратно, — говорит консул. — Я упомянул об этом обстоятельстве только для того, чтобы как-то оправдаться в твоих глазах. Я не слепой, я тоже ценю то могущество, которым обладает крупный землевладелец, вроде моего отца, но это могущество — фикция. Время обогнало его.

— Да, время обогнало нас, — задумчиво говорит лейтенант.

— О тебе, конечно, речи нет. У Сегельфосса в запасе большие резервы.

— Они давно исчерпаны.

— Нет, не исчерпаны. Как я позволил себе выразиться вчера вечером: в большом поместье всегда кое-что остается даже после того, как по нему прошла война. Исчерпаны?.. — Консул смеется, быть может, чтобы ободрить друга. — Исчерпаны? А что бы ты сказал, если бы я, к примеру, захотел купить твою реку?

— Реку?

— Половину реки, половину водопада и половину озера... Представь, что я этакий шальной богач, скупающий воду... Сколько бы ты с меня взял за всю эту воду?

Лейтенант улыбается.

— Я говорю серьезно. Половину реки с водопадом и озером?

— Бери реку, если хочешь. Она твоя.

— Я ее продал сегодня ночью.

— Продал? Воображаю, каким богачом ты теперь стал!

— Погоди, погоди. Чтобы понять, хорошую ли я заключил сделку, я бы попросил тебя назвать мне свою цену. Далее, назови мне твою цену на землю. Земли не так уж мало, он сказал, что не хочет ничего покупать в обрез. Ширина полосы, что идет по западному берегу реки от моря до участка под застройку, пятьсот локтей, а ближе к морю решили спрямить границы, и потому там полоса вдвое шире.

Пауза.

— Я, конечно, ценю твою дружескую услугу, — ответил лейтенант, — но, говоря откровенно, какая мне от того поль-

за, что ты продал эту землю и эту... эту воду? Цена? Реку пусть берет даром. Лесопильный завод, мельница и кирпичный завод ведь могут по-прежнему работать — или стоять без дела — на моем берегу, верно?

— Да.

— В таком случае пусть берет реку. А что касается этой полосы земли в пятьсот локтей шириной — то это как-никак земля. Не ахти какая, не лес, там все больше камень, и растут на ней только ивы, но все-таки это земля. Так что за нее я должен что-нибудь получить.

— Сколько?

— Сколько? Милый Фредрик, меня эти деньги все равно не спасут. Мне нужно много, очень много. Все здесь пришло в упадок, маленького Виллатса надо послать учиться, каждый день огромные расходы, земля истощена. Две тысячи далеров, верно, слишком много? Ну, тысячу? Право, не знаю.

— Прочти вот эту бумагу.

— Потом.

— Чтобы дать тебе представление о характере сделки, я расскажу, как я продавал реку. Хольменгро говорит, что у него за морем есть маленькая мукомольня. Если он поселится здесь, говорит он, ему хотелось бы завести и тут что-нибудь в таком роде, а для этого ему нужна половина реки. Я торговец, и я отвечаю: это обойдется не дешево. Сколько? — спрашивает он. Я задумываюсь. На своем веку я продавал много всякой всячины, но рек мне еще продавать не приходилось. Мой друг лейтенант, говорю я, вряд ли согласится продать свою реку. Если кому-нибудь придет в голову предложить за нее три-четыре тысячи, он только улыбнется, говорю я.

— Ты с ума сошел — три-четыре тысячи!

— Слушай дальше. Господин Хольменгро удивительный человек. Он отвечает, что он, конечно, не знает, сколько тут у нас стоят реки, но что ему очень хочется купить эту красивую реку с водопадом и озером и что он обошел эти места и сделал приблизительный расчет, положив в основу международные цены, и полагает, что может дать за реку шесть тысяч далеров, если только ему продадут также и намеченный им участок земли.

Гробовое молчание.

— Он над тобой смеялся, — говорит лейтенант.

— А между тем все это записано в купчей.

Радужные перспективы встают перед Виллатсом Хольмсеном, какое-то странное безволие овладевает им, искушение слишком велико, он развертывает бумагу, снова складывает ее, улыбается и спрашивает дрожащими губами:

— Но... это же только купчая... а деньги?..

— Я должен еще раз выразить свое глубокое почтение этому удивительному человеку, Тобиасу Хольменгро, — говорит консул. — Он уплатил все сполна.

— Уплатил?

О, теперь Фредрик Кольдевин преисполняется сознанием собственной значительности! Он расстегивает сюртук и вынимает из бокового кармана деньги, толстую пачку ассигнаций.

— Это за реку, — говорит он. — А вот это за прибрежную землю. В общей сложности восемь тысяч далеров. Отсюда открывается такой чудный вид, сказал господин Хольменгро, вот почему он заплатил так много. Пересчитай деньги. Впрочем, я уже сам пересчитал: все верно. Уф, карман мне оттянули эти деньги, без них сразу легче стало!

О, каким же сладостным сознанием собственной значительности преисполнен Фредрик Кольдевин!

А у лейтенанта вид неважный, он ошеломлен, он шевелит губами, но не произносит ни звука. И вдруг напряжение, в котором находится этот странный человек, разрешается забавным образом: отведя руки за спину, он надевает кольцо опять на правую руку; вот уже целую неделю он носит его на левой.

— Я совсем забыл, ты же всю ночь не спал, — говорит он наконец, спохватившись, — ступай же, поспи.

IX

Рабочих у Хольменгро более чем достаточно; плотниками командует один десятник, каменотесами другой, он нанимает всех лошадей, каких может достать, и платит возчикам хорошо, но только не поденно, а по возам. Под обшивкой в старой церкви обнаружился великолепный строевой лес.

Повсюду вокруг шум и оживление: это и хорошо и плохо. Сегельфосс стал похож на ярмарку — люди, грохот взрывов, на дорогах большое пешее и конное движение. К берегу то и дело пристают шлюпы с лесом, съестными припасами, печ-

ками, обоями, тюками и ящиками — огромными ящиками. Появились шведы, предлагающие свои услуги при работах.

Хольменгро живет в усадьбе. Иначе и быть не может, сказал лейтенант. Еще одна огромная любезность, ответил Хольменгро. Десятники тоже живут в усадьбе, у каждого из них своя каморка в помещении для дворни. А во всех окрестных домах и хибарах люди богатеют, пуская на ночлег рабочих, с которых берут по два скиллинга за ночь.

Пока Кольдевины гостят в Сегельфоссе, не проходит и дня, чтобы старики не совершали прогулки в восточную часть имения — полюбоваться полями, лугами и лесами. Да, обширные владения в Сегельфоссе! — говорит старик каждый день, а жена неизменно отвечает одно и то же, словно слышит это в первый раз: действительно, я и не знала, что здесь такие обширные владения.

Хольменгро остается все тем же прямодушным и деликатным человеком. Услышав от консула Фредрика, что старики горюют о продаже участка, он сделал все от него зависящее, чтобы примирить их с этим фактом и произвести на них благоприятное впечатление. Когда они входят в комнату, он встает и не садится до тех пор, пока не садятся они, он не навязывается, но использует каждый удобный случай, чтобы заговорить с ними. Однажды он подсаживается к ним и рассказывает про свою семью — что жена его умерла в Мексике и что он ждет не дождется весны, чтобы перевезти сюда детей; он сам поедет за ними. Извинившись за беспокойство, которое он внес в будни Сегельфосса, он выражает надежду, что суматоха скоро кончится, ведь у него работает много народу. И тогда вы сможете опять наслаждаться в Сегельфоссе тишиной и покоем, — заканчивает он.

— Мы-то скоро уезжаем, — отвечает старый Кольдевин, — так что для нас это не столь важно. Но должен признать, — с улыбкой добавляет он, — я не завидую тем, кто остается здесь.

Жена старается загладить его слова:

— Удивительно, как вы сумели все устроить в такой короткий срок! И рабочих сколько понаехало. И суда с материалами приходят одно за другим... И все остальное.

— За все это я должен благодарить господина лейтенанта и его супругу, — отвечает Хольменгро. — Положившись на их предварительное обещание, данное мне несколько недель тому назад, я смог подготовить все заранее.

Слава богу, значит, эта продажа земли не всецело дело рук Фредрика! — вероятно, подумали старики. У них стало

легче на душе, одним огорчением меньше, и старый Кольдевин спрашивает:

— Из наших окон во втором этаже мы видели, как ваши рабочие разбирали старую церковь, которая тут стояла раньше. Стало быть, вы купили ее? Только не поймите меня превратно... — смущенно добавляет он.

— Я прекрасно вас понял. Да, я ее купил, — отвечает господин Хольменгро. — И оказалось, она сложена из превосходных бревен, гораздо толще обыкновенных. Я решил построить из них дом.

Кольдевин хорошо помнит, что ему рассказывали про эту старую церковь: ее возвели, когда его отец был еще ребенком, в те времена, когда в Нурланне и впрямь рос отличный строевой лес. О, каждое бревно в два обхвата! Но в Сегельфоссе, впрочем, и теперь еще есть отличный строевой лес!

— Несомненно.

— Огромные массивы строевого леса, на много миль. Ведь правда, Шарлотта?

— Да, я тоже это слышала, — говорит жена.

— И прекрасный молодой лес. Маленький Виллатс будет богачом. Что я хотел сказать, господин Хольменгро... Ах да, из наших окон видно, что и на берегу моря ведутся работы. Это, вероятно, ваши рабочие?

— Да, это каменщики. Я строю пристань — до самой отмели.

— Для лодок и парусников?

— Да, и для больших судов, пассажирских и грузовых пароходов. Я предполагаю, между прочим, построить тут крупную мукомольню. Но все зависит, конечно же, от поставок зерна.

— И будете, значит, молоть зерно на продажу. Но у крестьян есть свои мельнички, они на них и мелют. А у нас в имении — водяная мельница, она работает исправно, мы могли бы молоть значительно больше, чем мелем теперь.

— Но рожь, вы, должно быть, выписываете из других мест, господин Кольдевин?

— Да, из Бергена. Нам доставляют ее на шлюпах. А мы мелем ее на нашей мельнице. Но пеклеванную муку нам приходится покупать, на нашей мельнице ее не получить.

— А я стану выписывать рожь прямо из тех стран, где ее выращивают.

— Вот как? Мы этого никогда не делали, и мои родители тоже. А твои, Шарлотта?

— Нам привозили рожь из Бергена. И крупу, и пеклеванную муку, и пшеничную.

— Вот видите! — говорит старый Кольдевин и кивает головой.

— Возможно, тогда это и было самое разумное.

— Не правда ли! А вы вот теперь хотите молоть муку... Что же люди будут делать со своими мельницами? Мельницы совсем придут в упадок.

— Не у всех есть мельницы. А мука нужна всем.

— У кого нет своих мельниц, те приходят к нам и мелют на нашей. Так уж у нас заведено испокон веку. Нашими предками.

— Но если я буду покупать зерно непосредственно в тех странах, где оно произрастает, ему не придется проходить через вторые руки в Бергене, и следовательно, оно будет обходиться дешевле.

— Разве получится не так на так? Какая разница: вы ли будете покупать зерно в тех странах или бергенские торговцы?

— Значит, я вступлю с ними в конкуренцию. Если на то пойдет, я стану продавать муку дешевле и отниму у них рынок.

— Вот как, — проговорил Кольдевин.

— Ведь доставка муки из Бергена сюда тоже чего-нибудь да стоит. От этого расхода местные жители избавятся, покупая муку прямо здесь.

— Этого расхода они все равно не несли. Мы ведь привозим и зерно и муку из Бергена на наших шлюпах.

— Но ведь не у всех есть шлюпы?

— Нет, конечно. Но мы, у кого они есть, привозим зерно и муку для всех. Так у нас заведено, еще нашими родителями.

— Простите, — с улыбкой говорит Хольменгро, — но вы-то в любом случае несете расходы, привозя зерно и муку для всех?

— Да никаких, — отвечает Кольдевин. — Неужели же нашим шлюпам возвращаться домой с балластом? Они отвозят в Берген рыбу, а потом возвращаются домой, так неужели им возвращаться с балластом вместо груза? Нет уж, извините, нашим шлюпам не пристало возвращаться домой с балластом.

Фру Кольдевин сидит молча, не сводя глаз с мужа. Ее взор полон восхищения. Благоговейной веры в его правоту.

Ни она, ни он не понимают, что доставлять таким образом продовольствие на шлюпах помещика — обычай, уже отходящий в небытие.

Кольдевины уехали домой.

Но перед их отъездом лейтенант решил посоветоваться со своим другом консулом относительно школы для Виллатса. Нужна школа, сказал лейтенант, которая не только дает знания, но и воспитывает, делает своих питомцев образованными, интеллигентными людьми... словом, школа для Хольмсена... Что Фредрик думает об Англии?

— Прекрасная мысль. Такая школа есть в Харроу, — ответил консул. — Я много слышал о ней от своих знакомых, и Ксавье Мур сможет присматривать там за маленьким Виллатсом. Консул немедленно напишет Ксавье Муру, чтобы предупредить его.

Перед отъездом консул Фредрик не забыл в последний раз поболтать и пошутить с йомфру Кристиной Сальвесен.

— Господи, как вы меня напугали, господин консул, я и не видела, что вы тут! — говорит экономка через окно буфетной.

— Да, я уж давно смотрю на вас. Какой мужчина устоит против такого соблазна!

— Ха-ха-ха, опять вы за старое!

— Я уезжаю, скоро пробьет час разлуки. Я пришел, чтобы навсегда покончить со всей этой историей.

— Ха-ха-ха.

— Не смейтесь. Вы относитесь к моим чувствам с презрением, которого я не заслуживаю. Больше мне сказать нечего. Моя песенка была спета уже тогда, несколько лет тому назад, когда вы отдали свое сердце другому. Теперь я решился на крайнюю меру и хочу только посоветоваться с вами, как лучше ее осуществить. Как по вашему, хлороформ — это то, что надо?

— Да вы, кажется, совсем сошли с ума, господин консул! Ха-ха-ха. Меня разбирает такой смех, что я уж и не знаю, как при этом выгляжу, — говорит йомфру Сальвесен, охорашиваясь.

— Когда женщина смеется в такой момент, это можно объяснить двояко: или вам, в самом деле, все это только смешно — и тогда это не делает вам чести, или же вы смеетесь для того, чтобы не расплакаться.

— Да, — говорит йомфру Сальвесен, — я смеюсь для того, чтобы не расплакаться.

— Спасибо! — восклицает консул. — На это-то я и рассчитывал, говоря, что хочу покончить со всей этой историей. Конечно, это не самый лучший конец, не самый прекрасный и желанный, но, во всяком случае, самый пригодный в данных обстоятельствах. Итак, в вашей душе шевельнулось какое-то чувство ко мне, и я благодарю за это ваше доброе сердце; моя скорбь чуточку притупилась, теперь я могу спокойно усесться в свой уголок и жить воспоминаниями.

— Ах, бедный вы, бедный, какое безотрадное будущее!

— Надеюсь, на том свете меня ожидает более приятная жизнь.

— Ха-ха-ха! — против воли смеется экономка. — Не смейте этим шутить.

— Лежа на смертном одре, на последней из тех трех тысяч кроватей, на которых я покоился и на которых мне еще предстоит покоиться в этом мире, я буду думать о вас. Вы сомневаетесь в этом?

— Нет, нет.

— Ну, а чем вы мне отплатите?

— Я буду весь день реветь здесь в буфетной и буду... Или это случится ночью?

— Ночью, темной ночью.

— Досадно. Не будить же мне людей ночью.

— О женщина, женщина, ты смеешься над душой, готовой покинуть бренное тело! Йомфру Сальвесен, дайте мне вашу руку.

— Господи, не знаю уж... погодите одну минутку!

Экономка торопливо обтирает руку.

— Спасибо. И прощайте, йомфру Сальвесен, желаю вам всего, всего наилучшего.

— Прощайте, господин консул. Спасибо за внимание.

Консул отходит было на шаг, но снова возвращается к окну.

— Между прочим, на пути в Сегельфосс я встретил на пароходе одного человека...

— Пастора? Вы уже рассказывали.

— Разве это был пастор? Не может того быть.

— Во всяком случае, вы рассказывали историю про пастора.

— Неужели же это был пастор? И вы утверждаете, что я вам рассказывал какую-то историю про него? Что-то не припомню.

— Про пастора и трех его сыновей.

— Нет, такой истории я вам не рассказывал. Вы слышали ее, наверно, от вашего жениха. Я подозреваю, что это ужасная история. Три сына... к тому же, должно быть, незаконные?

— О боже, господин консул, вы меня уморите! — взвизгивает йомфру Сальвесен.

— О, как вы, женщины, играете нами! — говорит консул. — На пароходе я встретил одного человека, который тоже мог порассказать про это. В жизни не видел лица более страдальческого и скорбного, чем у него, и вы, конечно, догадываетесь о причине. Его погубила женщина. Как это произошло? «Она мне лгала, — объяснил он, — она уверяла меня, будто я первый и единственный в ее жизни, а я узнал, что я преемник другого», — сказал он. Тогда я, Фредрик Кольдевин, ответил со всей возможной участливостью: «Воображаю, как вы страдали!» — «О, да, — говорит он, — ужасно страдал. Меня утешило лишь то, что я, в свою очередь, оказался предшественником третьего». — «Господи, — вскричал тут я, Фредрик Кольдевин, всплеснув руками, — гостиница любви она, что ли, эта женщина?» — «Гостиница? — повторил он и задумался. — Нет, — произнес он, — я бы употребил другое слово, я бы сказал — ночлежка. Все мы любили ее, и она открыла для нас ночлежку».

С этими словами консул решительно поворачивается, собираясь уйти.

— Хорошо, что вы уходите, — говорит йомфру Сальвесен, — а то я не знаю, что бы сделала... Ха-ха-ха, это просто ужасно, — говорит она.

— Неужели?

— Да, не стану скрывать, просто ужасно. И так всегда с вашими рассказами, господин консул, от ваших рассказов всегда немного страшно.

— А рассказы вашего жениха разве лучше?

— Моего жениха?

— Вспомните пастора и трех его незаконных сыновей.

— Ха-ха-ха, нет, больше я не желаю разговаривать с вами.

— Прощайте, йомфру Сальвесен.

— Прощайте. Милости просим на будущий год!

Кто сказал, что жизнь в Сегельфоссе течет тихо и однообразно? Так было когда-то, но теперь Хольменгро все изменил. Эти рабочие, эти лошади, пение каменщиков, грохот взрывов, скрип лебедок на судах — во владениях Хольмсенов

это представляется чем-то чуждым, неблагородным. Ну, а как же в городах-то живут? — думает, должно быть, лейтенант, пытаясь утешить себя, — ведь остаются же там люди аристократами средь шума и сутолоки? Верно, но и в городе жить в тихих кварталах все-таки аристократичнее... Вот его работники с лошадьми косят и убирают сено по лугам. Каким внушительным казалось это его рабочее войско под предводительством Мартина-Работника в былые годы. А теперь оно совсем затерялось в полчищах пришлых людей.

Да, даром ничего не дается!

На другой день после отъезда Кольдевинов лейтенант останавливает служанку Давердану.

— Больше, — говорит он, — мы не будем читать по вечерам, с этим покончено.

Давердана бледнеет и пугается:

— Я вчера вовсе не забыла прийти, но барыня послала меня за башмаками, — лепечет она.

Довольное выражение набегает на лицо лейтенанта, и он говорит:

— Это я сам тебя послал. Но пока что мы не будем больше читать.

Он уж собрался двинуться дальше, и тут Давердана робко спрашивает:

— А я... меня теперь рассчитают?

— Нет, почему? — отвечает он. — Ты девушка смышленая и расторопная, ты нужна экономке.

Похвала из уст лейтенанта ценится очень высоко. Давердана вспыхивает от радости и легко мирится с решением барина.

Лейтенант идет дальше. Теперь его положение сравнительно сносное, у него есть деньги, целое состояние, положенное под проценты в банк в Тронхейме, теперь он уже не столь стеснен в своих действиях и не надевает так часто кольцо на левую руку. Теперь Адельхайд может съездить домой, чего она ждет?

О, в сущности, ему вовсе не хочется, чтобы Адельхайд уезжала. Она всегда возвращается менее приветливой, более надменной — бог весть по какой причине. Сам-то он давным-давно порвал всякие отношения с ее семьей. Впрочем, винить Адельхайд было бы несправедливо. Разве ее отец не генерал, застрявший на чине полковника по милости судьбы, вздумавшей уничтожить королевство Ганновер? И разве она не его кровная дочь, заживо похоронившая себя в Норвегии, в Нурланне, в медвежьем углу?

— Знаете, — говорит лейтенант жене, — я вот о чем подумал: Виллатс здесь только баклуши бьет, он уже начал учиться всяким неприличным словам и чертыхается. Его следует куда-нибудь отправить.

— Боюсь, не учится ли он этим нехорошим словам от Даверданы и ее брата, — отвечает жена. — Не знаю, конечно, но...

— От Даверданы? — повторяет лейтенант, вновь отчего-то очень довольный. — Кстати, с сегодняшнего дня экономка может всецело распоряжаться Даверданой.

— А вам она больше не нужна?

— Нет, она трогала алфавит.

— Какой алфавит?

— Виллатса. Вы, может быть, его не помните, но я его сохранил, он висит у меня на стене, и я часто смотрю на него. Большие буквы на картоне. А она трогала этот алфавит.

Легкая улыбка появляется на лице фру Адельхайд, и даже лейтенант улыбнулся — до того он доволен.

— Это так, маленькая странность с моей стороны, — говорит он, — но мне хочется иметь что-нибудь на память о Виллатсе, когда он уедет. И я подумал вот о чем: если вы теперь же поедете в Ганновер, вы могли бы захватить с собой и Виллатса.

— Куда вы хотите отправить Виллатса?

— Вы, конечно, немка до мозга костей, — нерешительно отвечает лейтенант, — но... Я подумал об Англии; вы не находите, что это неплохо? Послать Виллатса в Харроу. У Фредрика есть там знакомые. Да, разумеется, в Англию.

— А мне ехать в Ганновер?

— К сожалению, Харроу не по дороге в Ганновер, вам придется сделать небольшой крюк. Но если погода будет хорошая, такое путешествие, на мой взгляд, будет вам только приятно; может быть, оно освежит вас. Возьмите с собой ваших горничных.

Внезапно в мозгу фру Адельхайд, по-видимому, мелькает какое-то подозрение. Она делает несколько шагов по комнате, потом останавливается у окна и смотрит на двор. Она опять улыбается, но на этот раз ее улыбка не предвещает ничего хорошего.

— Так что вы скажете на мое предложение?

— Н-да, — говорит она.

— Вы, видимо, не одобряете его?

— Разве уж так необходимо услать Виллатса из дому?

— Да, он целые дни пропадает в избах торпарей, а когда приходит домой, то только и знает, что бренчать на рояле.

— А может, вы все-таки переборете себя и возьмете учителя?

— Только в том случае, если не будет иного выхода.

— Я не поеду в Ганновер, — решительно заявляет она.

Пауза.

— Значит, не поедете, — бросает он.

Она поворачивается к нему и говорит:

— Так вот оно что! Теперь я начинаю понимать!

— Что понимать? — Ее саркастический тон раздражает его. Разве он — не само внимание и предупредительность? Его так и подмывает проучить ее за неразумность, но он прекрасно знает, что толку от этого не будет, и потому замолкает.

— Вы немного ошиблись в своих расчетах, — говорит она. — Но до чего это лицемерно и гадко с вашей стороны!

— Выходит, я и гадкий и лицемер? Но оттого, что вы постоянно перечисляете мои недостатки... о, должен сознаться, они все более и более теряют для меня всякий интерес.

— А я должна сознаться, — отвечает она, — что когда-то, давным-давно, я вас таким не считала.

— Вот этого вам говорить явно не следовало, это не умно с вашей стороны. Неужто вы не понимаете, что это бросает тень на вашу способность разбираться в людях?

— Вздор, я была тогда ребенком.

— Ребенком? Ой ли?

— Я была тогда ребенком.

Да, война опять разгорелась в полную силу, и фру Адельхайд вовсе не собирается щадить мужа — о нет, она готова открыть прицельный огонь, прицельный веселый огонь. Высоко подняв брови, она искоса поглядела на него из-под полуопущенных век. Сколько же в ней язвительности!

— Вы решили успокоить меня, сообщив, что освободили ее от обязанности прислуживать вам. А теперь мне уехать? Благодарю вас.

Должно быть, лейтенант наслышался от своей жены немало нелепостей, но более приятной нелепости, прямо-таки радующей душу, ему, по-видимому, слышать не доводилось. Казалось, он вот-вот подойдет к жене, скажет ей что-то, уверит в чем-то, бог знает в чем... но, не ожидая от него ничего подобного, она ничем не помогла ему, и он так ничего и не сказал.

— Благодарю вас! — повторила она и вышла из комнаты.

Ну, что ж, быть может, ему еще удастся заставить ее выслушать его, и тогда он скажет ей: «Я был далек от всякого намерения успокоить вас, уже хотя бы потому, что не предполагал, что вы нуждаетесь в успокоении!..» Весь день он искал случая подойти к ней, но она оставалась непримирима, она избегала его и в конце концов отправилась смотреть, как идут работы на участке Хольменгро. За ужином он тоже ничего не смог ей сказать, потому что с ними был господин Хольменгро, а когда она ушла к себе, уже было поздно. Он сам виноват, не надо было медлить.

Вечером он вышел немного прогуляться. Окно в ее комнате по обыкновению открыто, он слышит ее шаги и, поддавшись внезапному порыву, тихо спрашивает:

— Ваша дверь не заперта, Адельхайд? Мне хотелось бы только...

— Нет, я уже легла, — отвечает она.

На следующее утро лейтенант приказывает оседлать себе лошадь. Пока в Сегельфоссе гостили Кольдевины, он прекратил прогулки верхом, и теперь ему так приятно снова ехать, покачиваясь в седле и окидывая взором широкие дали. Ну-ну, Вороной, очень уж ты резв сегодня, видно, долго отдыхал!

Лейтенант едет по большой дороге, лошадь гарцует и приплясывает под ним. Впереди раздается предостерегающий окрик: Бере-ги-ись! Но лейтенант преспокойно продолжает путь. Не такой он человек, чтобы позволить кому-то остановить себя на дороге, да и вообще не полагается кричать что-либо лейтенанту Хольмсену.

Вдруг раздается взрыв.

Следующее мгновение чуть было не заканчивается катастрофой. Взвившись на дыбы, лошадь делает рывок, сумасшедший скачок в сторону, всадник теряет равновесие и свешивается набок, земля гудит под конскими копытами; всадник опускается все ниже и ниже, седло сползает со спины лошади... еще миг и...

Теперь дорога каждая секунда. Одна нога всадника — на спине лошади, другая под ее брюхом; его тело от напряжения вытянулось струной, но вот всадник выбрасывает руку, рука тянется к шее лошади, к гриве, ухватывается за гриву и держит ее, как железными клещами. В тот же миг седло окончательно сползает под брюхо, практически парализуя движе-

ния лошади; она делает еще несколько судорожных прыжков и падает.

Ну, ну, мало набедокурила, что ли! Лошадь приподнимается на передних ногах, опять падает, снова поднимается, снова падает, фыркает, дрожит всем телом, мотает головой. Лейтенанту удается наконец высвободить из-под брюха коня придавленную ногу, и он треплет его по шее, успокаивая. Потом расстегивает подпругу, снимает седло и помогает Вороному встать на ноги.

В обратный путь он отправляется снова в седле и едет, как и всегда, шагом. Навстречу ему бегут люди — его работник Мартин, и чужие рабочие, и десятники, и сам Хольменгро, все они полны страха и тревоги. Хольменгро в отчаянии и во всем винит себя:

— Ох уж эти взрывы, эти ужасные взрывы! Вы в самом деле не ушиблись? А лошадь?

Лейтенант видит, что по дороге из усадьбы к нему спешит жена, ему хочется сократить ей путь, поэтому он, не задерживаясь, отделывается краткими ответами от встревоженных людей и едет навстречу жене.

— Лошадь понесла? Как это случилось? Она вас сбросила? Вы ушиблись? — торопливо закидывает его вопросами фру Адельхайд.

— Она меня не сбросила, — отвечает лейтенант.

— В самом деле? Но как это случилось? Подумайте, могло ведь произойти несчастье! Вы не ушиблись?

— Нет, не ушибся, — отвечает он.

О, она искренно рада, что он цел и невредим — это понятно по ее тону. Но, может быть, он проявил недостаточную осторожность, может быть, не в пример себе, ехал слишком быстро...

— А лошадь? — спрашивает она. — Говорят, она испугалась взрыва? Не понимаю, вы что — отпустили поводья? Ведь взрыв — это такой пустяк.

— Пустяк.

— Не правда ли? Конечно, надо уметь сидеть на лошади. Но вы ведь опытный наездник.

— Кстати, — говорит он, словно вспомнив о чем-то постороннем, не имеющем никакого отношения к их разговору. — Когда вы будете ездить верхом, остерегайтесь взрывов. Они бывают очень сильны. Я говорю о динамитных взрывах.

— Я не боюсь никаких динамитных взрывов, — отвечает она. — Этого еще недоставало!.. — Она гладит лошадь по

шее и говорит ей: — Какая ты глупая. Подумай, вдруг тебе бы пришлось пойти на войну, а ты боишься взрывов!

— Да, чтобы не забыть, — говорит лейтенант. — Через неделю мы с Виллатсом отправляемся в Англию. Позаботьтесь, пожалуйста, приготовить ему все необходимое в дорогу.

О, у него нет больше ни особых причин, ни потребности, ни желания церемониться с Адельхайд.

Вечером он сидит у себя и развлекается, словно какая-то старая дама, раскладывая пасьянс. Давердана не читает больше ему вслух, и ему нужно что-нибудь взамен этих чтений; пасьянс — занятие для рук, невинное женское занятие. Выехав на следующее утро снова на прогулку, он ожидает услышать один-два взрыва, но кругом тихо; только у берега моря, где строят пристань, поют каменщики; вот и все звуки. Это отнюдь не отвечает его расчетам, и когда проходит несколько дней и ничего не меняется, он решает кое-что предпринять. Целые дни с утра до вечера грохочут взрывы, но стоит лейтенанту выехать на прогулку, все умолкает. Очевидно, кто-то стоит на карауле. Удивительнее всего, что взрывы прекращаются не в тот момент, когда он спускается с пригорка, а гораздо раньше, как только он отдает приказание оседлать лошадь. Как это понять?

Однажды днем, стоя у открытого окна своей комнаты, он наблюдает за приступившими к бурению рабочими. Бур уходит все глубже и глубже в землю, насадки меняют на все более длинные, и вот бурение закончено. Тогда лейтенант и приказывает оседлать лошадь, — он нарочно медлит, подгадывая свой выезд к моменту взрыва. Рабочие продолжают свое дело, прочищают отверстие и закладывают в него динамит, при этом то и дело пристально поглядывая в сторону усадьбы. Вдруг один из них делает товарищам знак рукой. Очевидно, в усадьбе устроен какой-то телеграф. Лейтенант высовывается из окна и внимательно осматривает дом сверху донизу. Что это? В одном из окон комнаты фру Адельхайд висит полотенце, белое полотенце. Верно, вывесили на солнце для просушки, ветер тихо шевелит его.

Лейтенант спускается во двор, тщательно проверяет седло и уздечку, туже затягивает подпругу и садится на лошадь. Отъехав немного от усадьбы, он оглядывается: полотенце все еще висит в окне. Стало быть, Адельхайд вместе с господином Хольменгро решили, что ее муж, Виллатс Хольмсен, не умеет сидеть на лошади и его надо охранять от взрывов? Решили, что он боится перейти с шага на более быстрый аллюр?

Лейтенант едет по дороге и видит, что все готово к взрыву, а между тем рабочие занялись чем-то другим. Он подъезжает к ним и приказывает:

— Взрывайте!

О, лейтенант не такой человек, чтобы кто-то мог позволить себе ослушаться его приказаний! Рабочие тотчас направились к шурфу, десятник подошел и спросил:

— Вы хотите, чтобы заряд взорвали?

— Да.

— Нам казалось... ведь лошадь боится взрывов?

— Ее надо приучить к ним.

Чопорный, упрямый, сидит лейтенант в седле; он понимает, что неразумно таким способом приучать лошадь к взрывам, и все-таки не двигается с места.

— Бере-ги-ись! — кричат рабочие.

— Но вам в любом случае не следует здесь стоять, — говорит десятник.

— Вы же стоите?

— Я — другое дело, я сумею отскочить вовремя.

— Мы тоже, — с улыбкой отвечает лейтенант.

Фитиль задымился, рабочие отходят на безопасное расстояние.

Лошадь фыркает от дыма, нервничает, чует, что что-то должно случиться. Лейтенант разговаривает с ней, поглаживая ее хлыстом. Под взглядами стольких зрителей он, вероятно, старается казаться спокойнее, чем чувствует себя на самом деле. Видно лишь, как крепко он сжимает стременами бока лошади, точно это может спасти его в случае беды. И все гладит ее, и все разговаривает с ней.

Внезапно раздается взрыв, и вслед за тем события следуют друг за другом с молниеносной быстротой. Лошадь шарахается, взвивается на дыбы, мечется на месте и наконец сумасшедшим галопом несется по каменистому полю. Но на этот раз всадника не сбросить, не стоит даже и пытаться, и мало-помалу галоп выравнивается, становится спокойнее; у поворота на большак лошадь сама замедляет бег, потом идет еще медленнее, и они благополучно выезжают на большак. И вскоре конь и всадник скрываются из глаз в облаке пыли.

Воскресенье.

Маленький Виллатс обходит избы торпарей и прощается со своими товарищами; он герой дня, ведь он едет в Англию, в большой мир и бог знает когда вернется домой. Бедняжка

Готтфред, правда, не самый близкий его приятель, но Виллатс и его не забывает, даже дарит на память две вещицы, которые могут пригодиться бедняжке Готтфреду: свистульку в виде петушка и один из гребешков фру Адельхайд с несколькими отломанными зубцами.

Потом Виллатс идет к дому Ларса Мануэльсена. Юлиусу он принес лошадь на колесиках и целую коробку всяких диковинок. Заглянув в коробку, Юлиус спрашивает:

— А петушка здесь нет?

— Петушка я подарил Готтфреду.

— Готтфреду? И ящик с красками тоже?

— Нет, ящик с красками я подарил папе. Он меня попросил об этом.

— Чего пристаешь! — вмешивается мать Юлиуса. — Ты бы лучше поблагодарил за то, что получил! Всегда говорила и теперь скажу: каким ты был, таким и остался, чертенок!

Юлиус благодарит за подарки, и Виллатс чувствует себя совсем смущенным оттого, что подарки такие незначительные.

Мать Юлиуса достает из-под потолочной балки письмо и просит Виллатса прочитать его вслух, — это от Ларса, из семинарии. Старый Ларс Мануэльсен храпит на кровати, ведь день воскресный. Жена будит его: теперь они наконец узнают, что написано в письме.

— «Дорогие родители!» — начинает Виллатс.

— Постой, когда написано письмо? — спрашивает Ларс.

Виллатс находит дату.

— Ишь ты. Стало быть, целый месяц шло.

— Да ведь оно уж больше недели как лежит за балкой, — говорит жена.

В письме Ларс сообщает про то, как доехал до Тромсё, рассказывает про город и про городскую жизнь, про дома, корабли у пристани и про тысячи людей на улицах; письмо длинное, написано четким ученическим почерком. А что касается еды, то кормят их вкусно, но хлеба дают мало, да еще другие семинаристы отнимают, так что большой им грех... Но ваш сын уповает на Господа Бога.

— Эх, жаль, меня там нет! — говорит Ларс с кровати.

— А что бы ты сделал? — спрашивает жена.

— Разве ты не слышишь, его же голодом морят.

Дальше Ларс рассказывает про учение; их учат страсть скольким наукам, и в семинарии есть зала, которая больше церкви, а кроме того есть целый дом, где только и знают, что прыгают и бегают — для здоровья. Но в общем все идет хорошо; ваш сын проникнут твердой верой, которую никто

у него не отнимет. Затем шли приветы и поклоны всем домашним, каждому отдельно, и Давердане, которая служит у лейтенанта.

Юлиус вышел проводить Виллатса, когда тот собрался домой, им еще о многом надо поговорить друг с другом, но Виллатс грустен и молчалив.

— Смотри же, непременно пиши мне, — говорит Юлиус.

— Но ведь ты не умеешь читать?

— Если ты напишешь печатными буквами, прочитаю.

Виллатс обещает писать печатными буквами.

— Смотри же.

— Что это за разорванный мячик лежит вон там? — спрашивает Виллатс.

— Мячик? Да тот самый, что мы потеряли. Я потом вернулся туда и отыскал его, но он уже сгнил. Гляди, совсем сгнил...

X

Осень подходит к концу.

Хольменгро торопит и вовсю подгоняет своих рабочих, дом уже подведен под крышу; сейчас там остались только столяры и маляры. Каменная пристань на берегу моря тоже готова, теперь приступили к расчистке большой площадки под склад; по-прежнему грохочут взрывы, каждый день стоит жизни нескольким каменным глыбам.

Но пришлым рабочим нелегко добывать себе пропитание на каждый день, и вот однажды, вскоре после возвращения лейтенанта из Англии, господин Хольменгро отправляется к нему и вежливо осведомляется, не имеет ли господин лейтенант что-нибудь против того, чтобы какой-нибудь торговец открыл на берегу лавку? Для него, Хольменгро, такая лавка была бы в высшей степени желательна, так как его пятидесяти рабочим приходится каждую неделю ездить очень далеко за провизией, табаком, кофе и одеждой, что отнимает у них много времени, а кроме того, они часто возвращаются из этих поездок пьяные.

Лейтенант, вероятно, предпочел бы, чтобы эти пятьдесят рабочих совсем покинули Сегельфосс, но Хольменгро умеет излагать свои просьбы так, что ему трудно отказать, и лейтенант взял себе за правило всякий раз соглашаться с этим человеком.

— Но чем будет жить лавочник, когда строительство закончится и ваши рабочие разъедутся? — спросил он.

— Конечно, спрос на товары упадет, я об этом и сам думал, — ответил Хольменгро. — Но, во-первых, я еще не скоро кончу...

— Да? Что же еще вы собираетесь возводить?

— Мукомольню, я вам о ней уже говорил...

— А потом?

— Потом к мукомольне надо будет провести дорогу.

— Это, значит, во-первых. А во-вторых?

— Во-вторых, много рабочих понадобится на мукомольне. Среди них могут быть и семейные, так что в конце концов людей, вполне вероятно, окажется гораздо больше, чем мы предполагаем.

— И в конце концов тут вырастет, чего доброго, целый город, — говорит лейтенант.

— Вынужден признать, что по моей вине у вас тут стало намного шумней, чем было прежде, но такой напасти, как целый город, я на вас все-таки не навлеку. Но между прочим, вам никогда не приходило в голову, господин лейтенант, до какой степени эта местность приспособлена для оживленной промышленной и торговой деятельности? Чистое от рифов дно, большая глубина вплоть до самого берега, строевой лес под рукой, река, водопад, густо заселенные окрестности, поля и луга, обширные пастбища...

— Послушал бы вас мой дед: он был очень деятельный человек. Но чтобы не забыть о лавке: где она будет стоять?

— На самом берегу моря, на моем участке.

Лейтенант удивленно смотрит на него:

— И вы спрашиваете у меня разрешения, задумав строить ее на собственной земле?

Хольменгро учтиво наклоняет голову и отвечает:

— Должен сознаться, что мне не хотелось решать этот вопрос, не поговорив предварительно с вами. И кроме того, я знал, что, в случае каких-либо возражений с вашей стороны, они имели бы такие веские основания, что мне не оставалось бы ничего другого, как отказаться от моего плана.

— У меня нет никаких возражений.

— Благодарю вас.

— И вот что еще... мне пришло в голову... ведь вы собираетесь построить на берегу большой склад, и вероятно, вам самому понадобится весь ваш участок... Лавку можно поставить немного дальше, на моей земле. Ведь там все равно одни камни.

— Не знаю, как и благодарить вас за такое решение вопроса, господин лейтенант. За землю вы, конечно, будете аккуратно получать аренду. Впрочем, я не сомневаюсь, что вы проявляете большую дальновидность, разрешая людям строиться на окраинах ваших владений...

— Как вам нравится здесь? Как ваше здоровье, поправляется?

— Премного вам благодарен, это лето было для меня поистине благодатным.

— Очень рад, — говорит лейтенант.

У Хольменгро все ладилось и дело спорилось: добрый, богатый, разумный человек возводил каменные и деревянные постройки. Он уже не нуждался больше ни в шубе, ни в толстом животе, чтобы производить впечатление, и даже золотая цепочка на шее, казалось, только стесняла его за столом Хольмсенов, так что он частенько прятал ее под сюртук. Да, теперь на людей производила впечатление его шкатулка, всегда полная денег, из которой он по субботам выплачивал недельный заработок. А кое-кто из его рабочих и вовсе зауважали его, оценив, очевидно, его толковость.

Время идет, уже возведены пристань и лавка, прибыл и сам лавочник с товарами — крестьянин с побережья по имени Пер, который подписывался «П. Енсен», если было кому подписаться за него — сам он писать не умел. Это был невежественный, ничтожный человек, но в одном отношении он всякого мог заткнуть за пояс: в скаредности, в умении загребать деньги и припрятывать их ему не было равных. Он вполне удовлетворял потребности местечка, торговал осторожно, держал только те товары, в которых нуждались рабочие, и вообще выше головы не прыгал, чтобы в случае чего приземлиться на обе ноги. Его прозвали Пер-Лавочник; этот толстый, краснорожий господин, мужлан с быстрым, как молния, взглядом, казался невзрачным и простым в своей одежде из грубого домотканого сукна, но держал всех на расстоянии, даже жену и детей. В жизни у него был один-единственный интерес: деньги и дело. Они стали для него мировоззрением и религией, он ни на минуту об этом не забывал и даже, орудуя аршином или весами, не раз попадался на ловкости рук. К нему в лавку старались не посылать детей, а уж если нельзя было иначе, им строго наказывали смотреть в оба.

Хольменгро привез его с собой в Сегельфосс потому, что находился в дальнем родстве с его женой. Впрочем, он только указал ему место, но никакого отношения ни к его лавке,

ни к его торговле не имел, мелочной торговлей он вообще не занимался.

— До меня дошли слухи, что тобой здесь недовольны, Пер, — сказал однажды Хольменгро.

— Недовольны?

— Да. Люди хотят получать за свои деньги сполна и жалуются на твой аршин.

— Вот мой аршин! — сказал Пер.

Хольменгро проверил аршин и отложил его в сторону, сказав:

— Люди жалуются на тебя моим десятникам. У Бертеля из Сагвики есть сынок. Готтфредом зовут.

— Да, каждый день околачивается тут.

— Бертель послал его к тебе за кофе. Ты насыпал ему кофе в кулек, и он пошел домой. Было это?

— Да, четверть фунта кофе.

— Но Бертелю пришлось самому идти сюда, чтобы ты второй раз свесил кофе.

— Вот я и говорю: чего они покупают по четверти фунта, а не по полфунта? — говорит Пер.

— Но и четверть фунта все-таки должна быть четвертью фунта, а не меньше.

— А сколько кофе в четверти фунта, можете вы мне сказать? — спрашивает Пер. — Так мало, что завернешь его в кулек, так он на мизинце уместится.

— Мальчик принес совсем мало кофе, ты его обвесил.

— А может быть, кулек был дырявый, почем я знаю.

— Но ты ведь все-таки взвесил кофе Бертелю еще раз.

— Я ему насыпал немного сверху. По доброте своей.

Хольменгро сказал:

— Смотри, Пер, чтобы я больше не слышал на тебя жалоб.

Однако и после этого разговора Хольменгро не раз приходилось распекать лавочника, только это мало чему помогало: добрейшему Перу-Лавочнику было нелегко удержаться от соблазна, и полного доверия он так и не приобрел. Но больше идти было некуда, да и если только смотреть в оба, можно и с ним вести дело. О, этот смешной и глупый Пер-Лавочник — он, верно, воображал, что будет жить до скончания века, и потому был такой жадный и ненасытный!..

— Ко мне недавно обратился некий П. Енсен, который якобы держит лавку на берегу, — говорит однажды лейтенант господину Хольменгро. Как он далек от какого-то

П. Енсена, как он умеет превратить в ничто какого-то П. Енсена! Но это не беда, наоборот, так и надо, раз фру Адельхайд сидит тут же и слушает.

— Это наш Пер-Лавочник, — отвечает Хольменгро. — Он обратился к вам?.. — Хольменгро в высшей степени изумлен.

— Письменно. С просьбой. Он намеревается устроить здесь танцевальный зал или что-то в таком роде, не знаю хорошенько.

— Ох уж этот Пер! — восклицает Хольменгро, качая головой.

— Он пишет, что это дало бы ему небольшой побочный заработок, пока здесь много рабочих...

— Гм. Но вы, разумеется, не...

— Ничего не ответил ему, конечно, — говорит лейтенант и улыбается с таким безразличием, точно П. Енсен для него козявка.

— Ну да, разумеется. Если вы мне разрешите, я поговорю с милейшим Пером-Лавочником. Я, кажется, сделал большую ошибку, устроив здесь этого человека. Он, видите ли, женат на одной моей родственнице или что-то в таком роде, иначе я никогда бы и не вспомнил о нем. Но мне, очевидно, придется убрать его отсюда.

Лейтенант слушает с полнейшим равнодушием, а может быть, совсем не слушает, а просто сидит за столом, ожидая, когда закончится ужин, и думает о своем, изредка моргая глазами.

Фру Адельхайд спрашивает из вежливости:

— У него есть семья?

— Да, довольно большая, несколько сыновей и дочерей.

— А дела, наверное, идут неважно?

— Напротив, прекрасно. Он зажиточный человек.

После ужина лейтенант поднимается к себе. Ах, с тех пор как маленький Виллатс уехал, никто уж не задает ему смешных детских вопросов, никто не поет, рояль молчит. Но Виллатсу хорошо в Англии; он учится там многим полезным вещам, пишет, что уже научился плавать и боксировать, играет на рояле и посещает классы. Эти письма Виллатса большая радость для отца; никогда еще он не ждал почты с таким нетерпением, как теперь. Перед отъездом Виллатса было решено, что он будет адресовать свои письма матери, чтобы она могла первая прочитывать их; но фру Адельхайд всякий раз так любезна, что немедленно распечатывает письмо и читает его вслух мужу, за что муж от души благодарен ей. Что-

бы не затруднять ее постоянно чтением вслух, он однажды послал с экономкой в комнату фру Адельхайд все пришедшие на ее имя письма. Фру Адельхайд немедленно попросила мужа к себе:

— Вы не заметили, что сегодня есть письмо и от Виллатса.

— Да, конечно, спасибо.

В своем письме Виллатс сообщал, что он учится говорить по-английски и уже умеет немного читать, хотя шрифт латинский и слова незнакомые. «Иногда мне так хочется, чтобы ты была здесь, милая мама», — писал он, потому что в английском языке сорок тысяч слов, и он боится, что никогда не выучит их. В Англии снега нет, но все-таки холодно и сыро, а в его комнате всю ночь открыто окно — для закаливания. У него теперь новый учитель танцев, потому что прежний утверждает, будто вывихнул ногу, а мистер Ксавье Мур говорит, что он не совсем подходящий учитель. В заключение Виллатс просил маму кланяться папе и напомнить ему, как весело им было ехать в Англию.

— Большое вам спасибо. Гм...

Он хочет уйти, но жена удерживает его.

— Вот уже второй раз Виллатс упоминает эту поездку в Англию, — говорит она.

— Да. Ведь он увидел много нового и интересного.

— Поездку, от которой я отказалась.

— Вы жалеете об этом? — удивленно спрашивает он.

— Да, жалею, — отвечает она, подходя к окну.

Пауза. Она продолжает:

— Если бы я опять попросила вас, попросила теперь... я этого не вынесу, он совсем один, среди чужих... Этот мистер Мур, кто он такой? — спрашивает она, обернувшись к мужу.

— В этом отношении вы можете быть вполне спокойны, но...

— Окно открыто всю ночь... и вообще, зачем ему учить сорок тысяч слов, тысячи вполне достаточно.

— Согласен с вами.

— В Ганновер я не хотела ехать, а к нему хочу. Каждый день, с тех пор как он уехал, я раскаиваюсь, что отказалась от поездки. Домой мне совсем не хочется ехать...

— Если бы не зима... — начал лейтенант.

— Тогда вы бы позволили мне поехать?

— С величайшим удовольствием. То есть не поймите меня превратно... но, конечно, если вам так хочется...

— Спасибо, Виллатс. Значит, я еду. Я так рада!

О, теперь она была как шелковая, теперь он мог бы сделать с ней все что угодно, мог бы схватить ее на руки и унести к себе — и она бы не воспротивилась, а только крепче прижалась бы к нему, не обратив никакого внимания, даже если бы он ударил ее в дверях о косяк... Быть может, он ждал от нее какого-нибудь знака, возгласа и потому весь напрягся.

— Но я мешаю вам дочитать остальные письма, — проговорил он с легким поклоном и сделал движение, намереваясь уйти.

— Виллатс!

— Пойду распоряжусь насчет вашей поездки. Ведь вы едете теперь же?

— Да, спасибо... Но погодите, Виллатс...

Склонив голову, она подошла к нему совсем близко, смиренная и покорная. Но, подняв на него глаза и увидев выражение его лица, поняла, что все бесполезно, что уже слишком поздно. Этот человек с упрямой породистой головой никогда не менял принятого им решения.

— Нет, нет, ничего! — сказала она.

И тут он нанес удар. Наконец-то превосходство, столько лет бывшее на стороне его жены, перешло к нему, и, воспользовавшись этим, он нанес удар:

— Да, ничего... ничего такого.

Но не слишком ли рано он торжествовал? Ему следовало бы лучше знать Адельхайд. Она не упала к его ногам, не стала биться головой об пол, наоборот, она выпрямилась во весь свой рост и сказала с большим самообладанием:

— Такого? Я хотела только спросить вас о шубе... о шубке для Виллатса. Могу я купить ему шубу?

Пауза.

— Конечно, — ответил он. — Спасибо, что напомнили мне об этом. Если только в Англии принято, чтобы дети носили шубы.

— Не знаю. Может быть, и не принято. Но все равно.

— Лично я ничего не имею против. Узнайте. Как бы то ни было, это делает честь вашему материнскому сердцу.

Фру Адельхайд, казалось, вдруг охладела к путешествию в Англию, стала равнодушна к сборам и ко всему, что было связано с ними, возможно, она придумала эту поездку только для того, чтобы смягчить мужа, предоставить ему случай проявить снисхождение к ее непостоянству. Быть может, она в последнюю минуту и отказалась бы от этого слишком скоропалительно решенного путешествия, если бы не госпо-

дин Хольменгро, который поддержал ее намерение. За обедом он сказал:

— Я тоже уезжаю. Дети ждут меня.

— Но ведь вам ехать гораздо дальше?

— Да, в Мексику.

— Ах, как хорошо было бы, если бы я могла доехать до Англии вместе с вами!

— Почту за великую честь.

Оба, и фру Адельхайд и лейтенант, смотрят на него.

— Я вас верно поняла? — спрашивает фру Адельхайд. — Когда вы можете ехать?

— Когда прикажете, фру, — с поклоном отвечает Хольменгро.

— Вы не шутите? — изумленно восклицает фру Адельхайд. — Вы можете ехать теперь же?

— Хоть через два часа.

— Вот удача!

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть вам полезным, фру.

— Но как же вы бросите ваших рабочих? — спрашивает лейтенант.

— Все равно пришлось бы это сделать рано или поздно. И ведь у меня остаются здесь десятники.

— Но из ваших слов я понял, что ваши дети раньше весны сюда не приедут?

— Да, раньше весны я не хочу их привозить. Но в Мексике у меня много дел, которые надо привести в порядок. Ну, не так уж и много, конечно, так, по мелочи, но все-таки на это потребуется время. Хочу разделаться кой с чем — продать несколько заводов, небольшое именьице... Как-никак, на все это нужно время.

— Если вы и правда, без особой для себя жертвы, могли бы проводить меня до Англии, то я вам очень благодарна, — искренно говорит фру Адельхайд.

Лейтенант кивает головой в знак согласия:

— Надеюсь, вы не ускоряете свой отъезд ради моей жены?

— Нисколько.

— Но, может быть, в ином случае вы поехали бы не раньше как через несколько месяцев?

— Сперва я так и предполагал. Но дети пишут, что они меня ждут.

— Выходит, Адельхайд, вы и впрямь совершите эту поездку в обществе столь опытного путешественника, как госпо-

дин Хольменгро, — говорит лейтенант. — Значит, бояться нечего.

— Да, значит, бояться нечего.

* * *

Во время отсутствия жены лейтенант, по-видимому, не скучал по ней, наоборот, он стал куда бодрее, живее и деятельнее, чем раньше. Чудеса да и только! — говорила экономка йомфру Сальвесен.

Теперь его постоянно видели на дорогах, то верхом, то пешком, он заходил по разным делам к торпарям и соседям, сам давал указания, где рубить дрова в лесу — чего не делал уже несколько лет, сам приказал привести к весне в порядок все сельскохозяйственные машины. И что только он хотел доказать, расхаживая в расстегнутом мундире, засунув большие пальцы в жилетные карманы и постоянно мурлыча себе под нос?

Вероятно, он и сам удивлялся собственной энергии и, чтобы люди не замечали необычного для него веселого расположения духа, отдавал свои приказания тихим голосом, что тем не менее не мешало их немедленному исполнению. Какая такая тяжесть свалилась с его души? Куда девалась его мрачность? Он и до того, с тех самых пор как у него завелись деньги в кармане, немного ожил, а сейчас точно от чего-то освободился, реже клонил голову долу и предавался тяжким размышлениям, вперив взор в пыль на дорогах.

И по вечерам он уже не лежал больше пашой на диване, позволяя Давердане из другого конца комнаты сладко волновать его душу — нет моря, нет и волнений. И лишь простым недоразумением можно посчитать тот случай, когда, встретив однажды вечером рыжую служанку в передней — она стояла, прижавшись к его висевшей на стене шинели, — он принял ее за шинель.

— Ах... это ты, дитя мое? Здесь так темно...

И, войдя в свою комнату, дрожащими руками налил, пытаясь успокоиться, стакан воды. После чего, походив немного из угла в угол, уселся за свой вечный пасьянс.

А ближе к весне, когда вернулась домой его жена, неужто он снова впал в свою былую унылую задумчивость? Ничуть не бывало. Раз начав мурлыкать, он, верно, не мог сразу остановиться. И продолжал как ни в чем не бывало мурлыкать еще не месяц и не два, да, после возвращения жены он оставался столь же энергичным, как и в ее отсутствие; этот чело-

век все доводил до конца. Может, он просто хотел обмануть прислугу?..

— Я слышала, вы поете? — удивилась однажды фру Адельхайд.

— Неужели слышали? — ответил он. — Дурная привычка. Постараюсь от нее отвыкнуть.

— Зачем же?

— Потому что по справедливости петь должны вы, у вас есть голос, а мне полагается молчать.

— Вы поете совсем недурно.

— Я пою исключительно для себя, и я в отчаянии, что вы услышали.

— Хорошо, что у нас в доме хоть кто-нибудь поет, — сказала она.

— С тех пор как Виллатс уехал, кроме вас, некому петь, — ответил он, — но вы не поете.

— Что ж поделаешь!.. — После небольшой паузы она заговорила снова: — Во время поездки мне довелось увидеть очень необычных, весьма странных супругов.

— В самом деле?

— Да, просто удивительных.

— Вы возбуждаете мое любопытство.

— Неужели? Представляете, женатые люди. Весь день они улыбались друг другу, целовались, разговаривали, потом желали друг другу спокойной ночи.

— А на следующий?

— Делали то же самое.

— Поразительно. Кто же это были?

— Все.

Пауза. Лейтенант застигнут врасплох; у него такой вид, точно он опять сползает со спины понесшей лошади. Фру Адельхайд продолжала:

— Я встречала таких людей всю поездку. Большое вам спасибо, Виллатс, что вы дали мне возможность увидеть их.

Лейтенант поклонился и сказал:

— Что еще?

— Больше ничего, — ответила она. — Это были женатые люди, они любили друг друга, они были счастливы.

— Гм... Если я правильно понял вас, Адельхайд, вы хотите сказать, что мне следовало бы кой-чему поучиться у этих супругов.

— Вам и мне. Не знаю... Нам обоим, думается мне, следовало бы кой-чему у них поучиться.

— Вы меня извините, если я присяду на минутку? — говорит лейтенант, усаживаясь. — Не подумайте, будто я собираюсь сводить с вами счеты, но... вы, кажется, всерьез желаете, чтобы отношения между нами изменились?

— Я стремилась к этому и раньше, разве вы не помните? Но встретила отказ.

— Грустно.

— Так грустно, что хуже некуда, — говорит фру Адельхайд со слезами на глазах. — И это не могло не оскорблять меня. Но теперь уж все равно.

Этот упрямец, разумеется, снова вознамерился проявить характер; губы его растянулись в кривой ухмылке, а мускулы лица словно одеревенели. Он попросил жену припомнить получше:

— Вы встретили отказ?

— А разве нет?.. Разве вы не отказали мне дважды? Разве не заявили, что между нами больше никогда ничего не будет?

Пауза.

— Гм... Не подумайте, что я собираюсь допрашивать вас, но скажите: разве это я год за годом запирал свою дверь?

— Господи, нет, конечно же, нет. Но разве я всякий раз не просила вас извинить меня? И вы всегда отвечали, что да, извиняете, а теперь выходит, что на самом деле вовсе и не предполагали извинять? Уж не знаю, что и подумать.

По-видимому, лейтенант был не на шутку сбит с толку. Подавшись всем корпусом вперед, он уставился на жену, точно не понимал ни слова. Что это — глупость или хитрость, или она хочет окончательно свести его с ума?

— Я прекрасно сознаю, — продолжала она, — что я тогда зашла слишком далеко. Не надо было наказывать вас так долго. О, я прекрасно это сознаю теперь и давно раскаиваюсь.

— Во-первых: правильно ли вы понимаете положение вещей, считая, что меня можно наказывать? За что вам меня наказывать?

— Видите ли... Выходит, у меня нет даже права наказывать вас? Нет права распоряжаться в собственных владениях?

— А разве у вас есть собственные владения?

— Не придирайтесь к словам...

И вдруг она разражается длинной речью, которую, верно, вынашивала годами — сейчас, в момент возбуждения, она звучит грубо, выливается в резкие, неприкрашенные слова... Это так непохоже на фру Адельхайд.

— Да, вы приходили... но как приходили? Это было ваше право, вы бы не потерпели отказа. С этого все и началось. Разве в комнате не было все готово к вашему приходу, или я сама разве не ждала вас? Может, я сидела у окна, смотря на море или прислушиваясь к своим мыслям? Разве на стульях валялось что-нибудь и вам некуда было сесть? Да, раз или два я действительно разложила вещи на стульях, чтобы вам не на что было сесть. Но ведь я немедленно освободила для вас место, разве нет? Тотчас вскочила и убрала все со стула. Но вы уже успели прийти в дурное расположение духа. Посмотрели на часы, поклонились и пошли к дверям. На меня точно вылили ушат холодной воды, и я не стала вас удерживать, не можете же вы требовать, чтобы я стала вас умолять остаться! Вы ушли. А в следующий раз... Вы, верно, полагали, что я только и должна была думать о том, как угодить вам в следующий раз... Простите, но это надо заслужить. А вы заявлялись как ни в чем не бывало — всякий раз. Я, может быть, не вовремя? — спрашивали вы, но вам и в голову не приходила такая возможность. Вы сердились, когда оказывалось, что вы действительно пришли не вовремя. Ведь у меня могли быть и другие дела — иногда я сидела за столом и писала в своей маленькой тетрадке, иногда рисовала летнюю ночь... неужели, по-вашему, я только и должна была думать о том, как бы все приготовить к вашему приходу? С какой стати? Право, я не привыкла к такому самопожертвованию, я выросла в богатом доме и вовсе не приучена выполнять чьи-то прихоти. И что бы вы сами сказали, вздумай я прийти и помешать, когда вы сидите за вашими книгами? Вот как все было. Вы улыбаетесь, для вас все, что я сказала, разумеется, глупости. Но так оно было.

— Я не буду улыбаться.

— Не будете? В таком случае вы сделаете что-нибудь другое, чтобы унизить и оскорбить меня, так что не все ли равно... О Господи, не надо было нам... мне, наверное, не надо было вообще приезжать сюда!

Молчание.

— Вы молчите? Это тоже что-нибудь означает?

— Вы хотите, чтобы я что-то сказал?

— Нет, не надо, это опять поведет только к пререканиям. И все же мне кажется, вы могли бы сказать мне что-нибудь и успокоить меня, всего несколько слов. Неужели у вас нет ни слова утешения для меня? Я не знаю, почему мы всегда ссоримся, во время моей поездки я видела вокруг только согласных супругов. И ведь я протянула вам руку примирения,

разве вы не видите? Мне так хотелось, чтобы между нами установились более естественные отношения, я дважды делала попытки, просила, плакала...

Счел ли он ее доводы разумными или же просто устал от ссоры, но он лишь ответил:

— Слишком поздно, Адельхайд.

— Да, вы решили это такого-то и такого-то числа. Когда вы пришли ко мне в последний раз, я этого не знала, могли бы и сказать, что это в последний раз, могли бы предупредить меня. Почему вы меня не предупредили? Я бы одумалась, уступила бы вам, попросила бы прощения. Но нет, вы молчали. Вы решили про себя, что это в последний раз, но мне ничего не сказали. О, это несправедливо, в высшей степени несправедливо.

— Вы так часто говорили, что знаете меня.

— Да. Но я не думала, что это в последний раз. Для меня это было полной неожиданностью.

Лейтенант долго молчал и наконец сказал — просто и сдержанно:

— Давайте прекратим это объяснение, чтобы не делать его еще более мучительным. Между нами ничего не изменится, поэтому откажемся лучше от всяких объяснений. Опыт подсказывает мне: даже если мы теперь и помиримся, Адельхайд, не пройдет и недели, как та же самая игра начнется снова. Вы опять станете наказывать меня. Мы загубили лучшие годы нашей жизни, бдительно следя друг за другом. Вы фокусничали, а я злился на ваши фокусы. Теперь я перестал злиться. Мы оба с вами уже в летах, лучшая пора нашей жизни прошла, мы уже не можем разыгрывать из себя только любовников. Это относится, мне кажется, и к вам, и ко мне.

— Ну, тогда нам больше не о чем говорить. В таком случае... больше говорить не о чем! — Фру Адельхайд задумчиво кивает головой. Вдруг она произносит: — В летах? Вы первый говорите мне это, за всю мою зимнюю поездку я слышала только обратное. Но, пожалуйста, не стесняйтесь, продолжайте грубить, если это вам приятно.

Лейтенант поднялся.

— Знаете, как было? — продолжала она все так же возбужденно. — Когда я появлялась вместе с сыном, нас принимали за брата и сестру.

Но тут, верно, в лейтенанта бес вселился, и он ехидно заметил:

— Подумайте! Неужели Виллатс уже так вырос? И так возмужал?

И с этими словами лейтенант ушел к себе.

Эта сцена, конечно же, не была последней, как не была и первой; все последующие годы между лейтенантом и его женой не раз разгорались бурные перепалки. Но его неколебимое упорство неизменно брало верх, не было больше случая, чтобы он уступил свою позицию. Тем не менее самому ему собственная непреклонность, видимо, не доставляла удовольствия, требуя от него немалого самообладания, ибо эта капризная и упрямая Адельхайд из Ганновера раз и навсегда единодержавно завладела всеми его мыслями и чувствами. Почему бы иначе он столько лет бродил перед ее закрытой дверью? И почему бы иначе, черт возьми, обрек себя на добродетель, не трогая ни одной женщины во всей округе? Нередко он был на волосок от того, чтобы положить конец своим мукам, схватить жену, с безумной силой сжать ее в объятиях, поднять на руки и отнести... отнести в ее комнату, да, он воочию представлял себе, как он это делает, слышал свой голос, произносящий исступленные слова: «Я покажу вам... научу вас, как капризничать... милая моя!» Не раз, сидя у себя на диване, он снова видел эту сцену с такой яркостью, что весь подбирался, словно намереваясь прыгнуть и схватить ее... но дальше этого его мечты не шли. Да, он поддался слабости, но ничего, он еще не усмирен. Любому человеку дана возможность подняться над собственной судьбой. Он снова и снова обдумывал последствия такого поступка: первое насилие неизбежно повлечет за собой повторение, ведь Адельхайд не из тех, кто сдается. Так неужели же превратить ее жизнь в бесконечную цепь катастроф? Есть и другой путь — путь, далекий от подобной дикости. В супружеской жизни должно быть место фантазии.

Лейтенант поступал так, как ему приличествовало, превосходство оставалось на его стороне, в его власти было употребить самоуправство, но он этого не сделает. Ну не удивительный ли человек! И что важнее всего — поступал он так не по принуждению, не по чьей-то просьбе — иначе он отреагировал бы немедленно. Он сам решал, до каких пределов простираться его превосходству: во всем и до конца, посему жена может быть спокойна. Вполне в духе великих гуманистов.

Время шло, лейтенант все больше седел, он разгонял скуку чтением книг и вечерними пасьянсами. Вот уж воистину развлечение, недостойное Виллатса Хольмсена!.. Случалось, он вдруг поднимался с места и дергал шнурок звонка. В комнату входила Давердана, его молодая служанка, и делала

книксен. Но являлась она не сразу по звонку — он строго-настрого приказал ей не входить к нему, не помыв прежде руки. Почему бы это? Чтобы выиграть время и успокоиться?

Лейтенант дергает шнурок. Когда Давердана входит, он стоит, опершись руками на стол, и молча смотрит на девушку каким-то диким взглядом.

— Ты ничего здесь не трогала? — придумывает он наконец, что сказать.

— Нет, — испуганно отвечает она.

Еще бы, после того случая, когда она повернула алфавит лицевой стороной к стене, Давердана не дотрагивается ни до одной из запретных вещей в этой комнате.

— Видишь ли, все эти предметы — память о Виллатсе, я берегу их. Ты помнишь Виллатса?

— Помилуйте, как не помнить!

— Прекрасно. Он теперь в Англии, растет быстро, уже с мать ростом. Гм, опять забыл, как тебя зовут?

— Давердана.

— Никак не запомню. Но ты расторопная девушка. Можешь идти.

Давердана, однако, не уходит. Она держит что-то в руке, но не смеет показать.

— Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить?

— Нет... да, благодарствуйте, — говорит Давердана. — Это карточка нашего Ларса, может быть, вы захотите взглянуть на нее? Ларса, который в семинарии.

Не дотрагиваясь до фотографии, лейтенант берет девушку за кисть руки и, чуть повернув ее, смотрит на карточку, его щека почти касается щеки Даверданы. Хочет ли он тем самым убедиться, что у нее чистые руки? Или ему просто приятно подержать в руке руку молодой девушки?

— Зачем мне смотреть эту фотографию? — спрашивает он.

— Я то же самое говорила, — отвечает Давердана, — но отец велел отнести ее вам. И еще велел хорошенько поблагодарить вас за Ларса.

Вот он стоит, паренек Ларс, в городском костюме, с толстой часовой цепочкой. Разодетый рыбацкий молодец с грубым заурядным лицом.

Лейтенант кивает головой: довольно, мол, насмотрелся.

— До чего важный! — говорит девушка. — Костюм-то он взял напрокат, чтобы сняться.

— Напрокат?

— Да. И часы. И кольцо, которое у него на пальце, тоже занял у своего товарища. Он сам пишет. Он уже скоро вернется домой.

Лейтенант снова кивает головой — да, да, он все разглядел. Медленно, нехотя выпускает он руку Даверданы и позволяет ей уйти.

Куда это годится — его протеже одалживает платье, чтобы сняться на фото, придется что-то предпринять. Ах, у лейтенанта столько расходов — дом, Виллатс в Англии, слуги, семинарист, купец в Бергене... деньги так и тают, лейтенант опять уже носит кольцо на левой руке. Конца его невзгодам не видно. Скоро, верно, приедет на каникулы Виллатс, он уже совсем взрослый, мастер Виллатс, он выучился ездить верхом, а в конюшне для него нет лошади. Сумеет ли он приобрести лошадь?

Странное дело — лейтенант с нетерпением поджидает возвращения господина Хольменгро. С чего бы это? Наверное, потому, что с этим человеком он связывает представление о деньгах, о спасении, о разрешении всех своих затруднений. И в тот летний вечер, когда господин Хольменгро высаживается на пристани со своими двумя детьми и слугами, лейтенант, воспрянув духом, отправляется их встречать и приводит в свой дом.

XI

Большие перемены произошли в поместье Сегельфосс и его окрестностях, мукомольня уже готова и работает, гул и шум от нее разносятся по всей округе. Хольменгро владычествует в местечке, как и положено королю. Почему это в маленькой церкви звонят каждый день? В Мальмё умер король — но вместо него явился господин Хольменгро. До чего он деятелен и как умеет заставить работать всех и вся! Едва успели отстроить набережную и громадную пристань с диковинными лебедками, как из дальних стран пришел огромный пароход с зерном, а на пароходе — иностранные черноволосые матросы, разгуливавшие по берегу в клеенчатых шляпах и говорившие на каком-то тарабарском языке. Сказка, вполне достойная короля Тобиаса. И даже для лейтенанта из Сегельфосса в некотором роде событие, когда его и господина Хольменгро пригласили к английскому капитану на ужин — изысканный и богатый. Только вот не был ли этот ужин делом рук господина Хольменгро? Ведь без него ничего

не обходится... А потом лейтенант в свою очередь пригласил капитана и его помощников к себе на обед. Веселые были денечки.

И все эти перемены явно способствовали благополучию и благоденствию окрестного населения. О каком голоде и нужде могла идти речь при таком огромном количестве ржи, превращавшейся в муку? И уж в крайнем случае, если не останется иного выхода, всегда можно пойти к королю Тобиасу и попросить у него муки в долг, а пока что наняться к нему на работу и жить на его хлебах. Поразительно, до чего светлее стала жизнь; поденщики теперь жевали табак сколько душе угодно, а крестьяне, владельцы лошадей, нанимались возчиками, зарабатывая деньги на уплату податей и на покупку товаров в лавке. Словом, благоденствию и благополучию не видно конца. И сам господин Хольменгро тоже, судя по всему, наслаждался жизнью и процветал, сосновый воздух и дорогое сердцу дело вполне восстановили его здоровье, ну, а насчет доходов, то тут уж и вовсе нечего бояться, хе-хе-хе, никакой непосредственной опасности с этой стороны ему, очевидно, не грозило! Не так ли? Разве лавочники и торговцы из близких и дальних селений не посылали к нему за мукой свои лодки? И разве не расширилось дело настолько, что вскоре пришлось нанять заведующего складом и устроить для него контору с квартирой на пристани? Теперь в Сегельфоссе появилось свое почтовое отделение, теперь в Сегельфоссе стали останавливаться пароходы, совершающие рейсы между Вадсё и Гамбургом; через каждые две недели приходили они с севера и с юга, сдавали почту и товары и загружались мукой для всего севера. У заведующего складом работы по горло: почта и отправка грузов, счетоводные книги мукомольни и вся деловая переписка, под его началом были рабочие на пристани, он же присматривал и за весами. Немного погодя пришлось нанять ему помощника, так быстро разрослось дело. Да взять того же Пера-Лавочника — каждый пароход привозил для него ящики и бочки, а после Нового года он рассчитывал получить патент на продажу спиртных напитков, и тогда ящиков и бочек будет еще больше, конца этому не видно!

А всему голова — господин Хольменгро, царь и Бог. Он был добр, не меньше, чем все остальные вместе взятые, всегда спокоен, рассудителен, деликатен, внимателен. Если его кто останавливал на дороге, чтобы спросить о чем-нибудь, он, хотя и без особой охоты, всегда отвечал, пусть и на ходу. Впрочем, по прошествии некоторого времени ему пришлось

отказаться от этого. Люди прямо-таки не давали ему покоя, подкарауливали, когда он стоял и разговаривал с лейтенантом, останавливались неподалеку и ждали, пока он кончит, а потом осаждали его своими просьбами. Пришлось ему научиться спроваживать их короткими и решительными фразами: «Пойди к начальнику пристани!», «Спроси у старшего мельника». Находились и такие, что и после этого не сдавались, продолжая приставать: мол, у начальника пристани уже были, у старшего мельника уже спрашивали, они что-то объясняли, возражали... В конце концов господину Хольменгро пришлось прибегнуть к другому способу: пропускать мимо ушей обращенные к нему вопросы и не отвечать ни слова. Вот бы перенять у лейтенанта его барские манеры! Лейтенант вовсе не отличался молчаливостью, но ему редко докучали просьбами. Никто не умел так блюсти дистанцию, как этот надменный помещик.

Бывало, он самолично заезжал к кому-нибудь из своих торпарей, говорил с ним, отдавал приказания; но торпарю и в голову бы не пришло явиться к нему на следующий день с какой-нибудь просьбой.

— Чего надобно этим людям? — спрашивает лейтенант. Он сидит по обыкновению на лошади.

— Хотят, верно, поговорить со мной, — отвечает Хольменгро. — Среди них я вижу одного, который просто не дает мне покоя. Он пекарь, учился своему ремеслу в Бергене, а теперь решил построить здесь пекарню. Я каждый день отказываю ему, а он каждый день приходит снова. Кончится, кажется, тем, что мне придется дать ему клочок земли.

— А у вас есть какие-либо возражения против того, чтобы он построил здесь пекарню?

— Наоборот. По всем расчетам это будет даже выгодно для меня, но...

— В таком случае можете отмерить ему небольшой участок на моей земле.

Пауза. Подумав с минуту, господин Хольменгро говорит:

— У меня есть все основания выразить вам признательность за эту новую любезность, но я никак не смею воспользоваться ею. Сегодня одно, завтра другое — эдак мы совсем замучаем вас. — И спустя мгновение добавляет: — Иное дело, если бы вы согласились уступить мне за некоторую сумму всю прибрежную полосу земли до мыса.

Лейтенант, глядя прямо перед собой, задумывается.

— Тогда нам не придется постоянно докучать вам подобными просьбами.

— Если вам не хватает земли под постройки, необходимые, чтобы ваше предприятие заработало в полную силу, я, разумеется, не стану противиться такому разрешению вопроса.

— Узнаю в этом всегдашний возвышенный и благожелательный образ мыслей господина лейтенанта.

— Говорите, от набережной до мыса?

— Да. А в ширину — до начала полей. Больно многие хотят строиться.

Уже трогая лошадь, лейтенант говорит:

— Об этом мы еще подумаем. Впрочем, — перебивает он самого себя, ведь пекарь все еще стоит и ждет. — Можете составить купчую.

Хольменгро низко кланяется:

— Благодарю вас и от своего имени и от имени всех этих людей. А насчет цены — согласен ли господин лейтенант на прежнюю цену?

Цена! Лейтенант вздрагивает. Очевидно, он только теперь связывает эту продажу с мыслью о деньгах, по крайней мере, о крупных деньгах. Ведь по прежней цене он получит за этот участок кругленькую сумму.

— Я принимаю вашу цену, — говорит он.

А подъезжая к усадьбе, вдруг снимает перчатки с обеих рук, надевает кольцо на правую руку, где ему и надлежит быть, и снова натягивает перчатки.

«Спасение!» — вероятно, подумал он. «На всякую беду бывает управа», — подумал он.

Но и господин Хольменгро тоже, по-видимому, отнюдь не разочарован сделкой. Против принятого им за последнее время обыкновения, он говорит каждому из поджидавших его просителей несколько ласковых слов:

— Узнай, пожалуйста, у старшего мельника! Вот, отдай эту записку начальнику пристани, получишь мешок муки. — Пекарю из Бергена он велит остаться и имеет с ним долгий разговор.

И когда он стоит вот так, ведя деловую беседу, он видит, что к нему издали несутся двое детей, мальчик и девочка, девочка старшая. На ней желтое платье, на мальчике — красный костюмчик, оба они смуглые, с черными глазами, выглядят весьма экзотически. В них есть что-то заморское — что-то энергичное и варварское, очертания носа и полные губы производят несколько странное впечатление. Но они способные дети. Они приехали в Сегельфосс, зная только испан-

ский; а за то короткое время, что прожили здесь, уже научились многим норвежским словам, стали настоящими нурланнцами, отлично себя чувствуют и проводят целые дни на свежем воздухе. Вон они бегут — девочка, Мариана, с разгоревшимися щечками и блестящими глазами впереди, а мальчик, Феликс, за ней, оба без шляп, оба черноволосые, оба с низкими лбами. Как же они несутся!

Отец широко расставляет руки и принимает их в свои объятия. Он может быть доволен — какие цветущие, румяные дети!

— Дайте-ка мне полюбоваться вами! — говорит он.

Они понимают его желание и несколько секунд стоят спокойно, но тут же тащат его за собой.

Слава богу, вероятно, думает господин Хольменгро, переезд не повредил им. Он успокаивается. Все идет прекрасно, решительный шаг сделан: он покинул вместе с детьми их далекую родину, чтобы свить гнездо на новом месте. Зачем? Может, в нем заговорил голос крови, а может, это проявление человеческой слабости? Разве мог он блистать в Кордильерах? Со смертью жены он почувствовал там себя одиноким и чужим, у него были деньги и власть, но перед кем щегольнуть ими?

А далеко-далеко в Нурланне есть маленький серый островок... и водопад; у себя на родине ему было перед кем блистать.

Весело болтая, идет он с детьми к большому дому на берегу реки. Он уже давно переехал от лейтенанта и живет в собственном доме, но молоко по-прежнему берет в усадьбе. Поначалу он, к своей досаде, никак не мог нанять прислугу: ведь дом-то выстроен из бревен старой церкви, в нем небось бродят привидения и выходцы с того света, а от стен пахнет покойниками! Тогда лейтенант уступил ему на время нескольких человек из своей многочисленной дворни, которым велели переночевать в новом доме в самые опасные четверговые ночи. Все обошлось благополучно, привидения не появились, и через месяц Хольменгро нанял столько прислуги, сколько ему требовалось. Среди его служанок оказалась и Марсилия, служившая раньше у лейтенанта.

Хольменгро хорошо устроился, даже сад начал разводить перед домом. Дом был большой и красивый, он стоял в лесу, издалека доносился отдаленный гул работавшей день и ночь мукомольни. Хозяйство вела некая фру Иргенс, урожденная Геельмунден, вдова поверенного из дальних фьордов.

* * *

К пристани подходит «Орион», в числе пассажиров мастер Виллатс; встретить его на пристань явились родители, оба верхом. Они спешиваются и передают поводья слугам — каждый своему. Можно подумать, что они не муж и жена, а чужие, приехавшие из разных мест люди. Хольменгро тоже пришел на пристань со своими двумя детьми, чтобы приветствовать молодого Виллатса и оказать этим внимание его родителям.

— Вон он машет нам! — говорит фру Адельхайд и машет в ответ.

Лейтенант тоже вынимает платок.

На пристани множество народа, заведующий складом стоит с бумагами в руках, а его помощник держит мешок с почтой; оба отдают последние приказания грузчикам. Пер-Лавочник запер свою лавку, позволив себе ради такого случая поразвлечься. Дети всех возрастов, замерев от восхищения, не сводят взгляда с приближающегося парохода. Сзади в толпе мелькнул рыжебородый Ларс Мануэльсен в потрепанном платье, сгоравший от любопытства, а в нескольких шагах впереди занял место его длинноволосый сын Ларс, семинарист, который приехал домой с последним пароходом из Тромсё и разгуливает по поселку в крахмальных воротничках.

Пароход дает задний ход и причаливает.

Молодой Виллатс сбегает по сходням и прежде всего здоровается с отцом, хотя мать стоит к нему ближе и уже давно плачет и смеется, любуясь им.

— Как ты вырос! Добро пожаловать домой! — говорит ему отец, судя по всему очень гордый сыном. Виллатс ласково обнимает мать и отвечает на ее бесчисленные вопросы. О, как он вырос, совсем взрослый, почти одного роста с матерью! Молодой Виллатс подходит к Хольменгро и здоровается с ним и с его детьми, он держится настоящим англичанином, он стал таким вежливым и воспитанным. Вдруг лошади начинают ржать. Что случилось? Лейтенант оглядывается, но не замечает ничего необычного.

— Моя Эльма узнала тебя, Виллатс, право! — говорит фру Адельхайд и смеется счастливым смехом.

Семинарист немного приблизился к группе и, улучив удобный момент, кланяется господам, лейтенант слегка кивает ему в ответ.

— Да ведь это Ларс! — говорит Виллатс. — Я всех узнал. А вон и Юлиус. Папа, ты, кажется, поседел.

— Ты находишь, Виллатс? Здесь такая сутолока, Адельхайд, не пора ли нам отправиться домой?

Они поворачиваются и видят перед собой трех оседланных лошадей. — Чья эта третья лошадь? — Лейтенант с удивлением обводит взглядом собравшихся. Подошедший к ним господин Хольменгро отвечает:

— Пусть мастер Виллатс не обессудит: это маленький знак внимания по случаю его приезда домой.

Всеобщее радостное изумление. Ох, уж этот Хольменгро, этот король! Верховая лошадь для мастера Виллатса, прекрасная гнедая с седлом и сбруей!.. Господина Хольменгро осыпают благодарностями, и сам он впервые как будто немного смущен, когда фру Адельхайд, сняв перчатку с руки, благодарит его.

— Я очень рад, что угодил вам. Лошадь и правда нравится вам, фру?.. Не стоит благодарности, совсем не стоит...

Все рассматривают лошадь, оглаживают ее — какая прелестная кобылка, хорошо объезженная, стройная, с изящными копытами! Господин Хольменгро может быть доволен: выбор удачный. В самом деле, не пристало королю Тобиасу принимать одолжения, ничего не давая взамен; а он много месяцев прожил в доме лейтенанта, вынужденный бесплатно пользоваться его гостеприимством. Так что, пожалуй, у него и нет иного способа отблагодарить хозяев, кроме как выказать им иногда подобный мелкий знак внимания.

— Но я и не предполагал, что вы стали совсем взрослым молодым человеком, мастер Виллатс, — галантно преувеличивает Хольменгро. — Придется, видно, спустить стремена пониже.

Мать и сын едут домой верхом. Оба такие изящные и нарядные, что даже пассажиры парохода смотрят им вслед. Лейтенант же передал свою лошадь Петтеру, а сам пошел пешком с Хольменгро.

— Вы знаете этого молодого человека, который следует за нами? — спрашивает Хольменгро.

Лейтенант оглядывается, качает головой и отвечает, что нет, не знает.

— Он семинарист. Хочет получить место учителя в моем доме.

— Вот как?.. Нет, я его не знаю.

— Моим маленьким индейцам, как я их называю, нужен учитель. И я подумал, что ваше благоволение к этому молодому человеку послужит мне некоторой гарантией.

— Нет, нет. Мое благоволение к нему ограничивается тем, что я его содержал в семинарии.

— Но как вы мне все-таки посоветуете — взять его на пробу?

— Почему бы и нет. По всей вероятности, он не хуже остальных господ этого сорта.

Хольменгро меняет тему:

— Вы намереваетесь рубить лес в этом году, господин лейтенант?

— Не знаю. Посмотрим.

— Я потому спрашиваю, что здесь есть люди, которые хотят строиться, а строительного материала у них нет.

— Вот как... Ну да, цены сейчас стоят довольно высокие. Не знаю, что выгоднее — выждать или продавать. Поговорим об этом более детально попозже, хорошо?

— Да, благодарю вас. Может быть, через неделю?

— Договорились, через неделю. Я тем временем все как следует обдумаю.

Они раскланиваются и уходят каждый в свою сторону. Семинарист следует за господином Хольменгро вверх по реке.

Лейтенант, пожалуй, поступил разумно, не связав себя сразу обещанием продать лес, хорошего строевого леса у него почти не осталось, все больше мелочь, какая идет в Англию для шахт. Да, лейтенант неплохо похозяйничал в своих лесах, и без крайней необходимости он предпочел бы прекратить на время вырубку. С лесом надо обращаться разумно.

С приездом молодого Виллатса дом Хольмсенов ожил, он уже не казался таким пустым, как прежде, за столом шли оживленные беседы, в зале снова раздавались знакомые, приятные звуки рояля. Как-то само собой выходило, что, болтая с родителями, Виллатс втягивал в разговор их обоих, заставляя отвечать не только ему, но отчасти и друг другу, и так же само собою выходило, что мать и сын нередко пели и музицировали в дневное время, когда лейтенант еще был дома. О, острота его переживаний ничуть не притупилась. Адельхайд за эти годы ничего не забыла, голос ее был все тот же; Господи, какой неземной голос!

— Пойдем сходим на скотный двор, ведь ты еще там не был, — говорил лейтенант сыну.

Они отправляются на скотный двор, но остаются там недолго. Да, да, все тут великолепно — и по-новому расположенные стойла в коровнике, и новые ясли на колесиках, и откормленные свиньи, похожие на каких-то допотопных животных и вперевалку бродящие среди поросят, и курыцесарки, и желтые боевые петухи со шпорами, напоминающими кривые сабли, — все тут прекрасно.

Но лейтенант торопится уйти, по-видимому, осмотр скотного двора всего лишь предлог, он ведет сына в сад, к маленькой оранжерее, когда-то совсем заброшенной, теперь же отремонтированной и приведенной в порядок.

— Посмотри, — говорит он, — здесь опять растут цветы, срежь несколько штук и подари кому захочешь. Возьми вот этот. И вон тот. И непременно тот, что держишь. Я дарю их тебе по случаю твоего приезда. А вот целый куст, не знаю, как они называются...

— Да ведь это розы.

— Может, и розы. Их тут так много, они — словно песня, ведь правда — словно та песня, которую вы пели сегодня? Срежь их все до одной. Твое дело, кому ты их подаришь, поступай с ними, как хочешь...

Сыну некому их дарить, кроме как матери, некуда нести, кроме как в комнату матери. Отец не произносит ни слова, услышав об этом, но не пожимает по своему обыкновению плечами и не хмурит брови; глядя с полным равнодушием на часы, он внезапно вспоминает, что ему еще надо поехать в лес, и торопливо удаляется.

Гм... В самом деле, как приятно, что сын снова дома, в доме настоящий праздник, двери между половинами родителей не закрываются целыми днями. Виллатс всем радует отцовское сердце, хотя... гм... кое-что в последний год было не совсем по душе лейтенанту. Например, сын уж очень быстро повзрослел и начал подписывать свои письма просто «Вилл». Зачем? А в последнем письме к матери стояла подпись «Билл», ну разве сравнишь это имя со славным старинным именем Виллатс? И не кончится ли это тем, что оно превратится в заурядное «Билл Холмс»? Лейтенант — старший представитель династии Виллатсов Хольмсенов, и на нем лежит обязанность позаботиться о сохранении чистоты имени.

Но молодой Виллатс скорее всего и сам не собирается изменять своему роду, просто он очень молод и стал настоя-

щим англичанином. О, как невыразимо приятно снова очутиться дома! Глядя, как он повзрослел, йомфру Сальвесен и служанки только и знают, что всплескивают руками, ахают и удивляются, какой он стал большой; Мартин и другие работники низко кланяются ему и от уважения и почтительности не могут выговорить и слова. Недаром ведь этот мальчик родился в рождественскую ночь!

Молодой Виллатс ездил верхом по дорогам, когда быстро, когда шагом, и каждый раз, проезжая мимо изб торпарей, видел в окнах любопытные лица, а в дверях — молча глазевших на него ребятишек. Но по прошествии нескольких дней ему это надоело, он оставил лошадь в конюшне и пошел пешком к Юлиусу.

Юлиус тоже стал совсем большим, но главным образом у него стали большими руки и ноги, о, руки у него — прямотаки поразительные! Впрочем, вид у Юлиуса вообще был немного странный, должно быть, оттого, что он выстриг себе брови, чтобы они выросли погуще. Увидев Виллатса, он, как и подобает старому товарищу, чертыхнулся, — не обращая внимания на присутствие матери:

— Черт подери, неужто это ты, Виллатс?

Виллатс смеется: конечно, он! Он старается казаться старше своих лет и говорит баском.

Мать Юлиуса торопливо вытирает фартуком стул и пододвигает его Виллатсу.

— Какой у нас важный гость сегодня! Милости просим, садитесь, пожалуйста.

Маленькие братья и сестры Юлиуса стоят в углу, не сводя глаз с гостя, они тоже подросли, да и одежонка стала явно маловата... нет, вы только посмотрите, как они выросли! Прежде тут не было таких больших детей.

— Какой вы стали взрослый! — говорит мать Юлиуса. — Я вас едва узнала.

— О, с тех пор, как я здесь был в последний раз, много воды утекло, — тоном взрослого отвечает Виллатс.

— Да, время идет!.. А вы чего тут торчите, показываете свои отрепья! — обращается она к малышам. — Подите-ка переоденьтесь!

Юлиус широко раскидывает руки, громко, как взрослый мужик, зевает и спрашивает:

— Так что я хотел сказать... ты, значит, приехал из Англии?

— Да, из Харроу, это в Англии.

— А я, знаешь, подумываю наняться на корабль и уйти в море, — говорит Юлиус.

— Это ты-то? — спрашивает мать. — Постыдился бы так врать.

— Врать? Да я вам просто ничего про это не говорил. Стану я вам все выкладывать, как же, держите карман шире!

— Вот погоди, как спущу тебе штаны да всыплю горячих, тогда увидим, — сердито грозит мать.

У Юлиуса лицо тотчас вытягивается, и он становится тише воды и ниже травы. Оправившись немного, он опять обращается к Виллатсу:

— Тебя не укачало в море?

Виллатс отвечает:

— Ни капельки. Но многих пассажиров сильно укачало.

Юлиус понимает, что в горнице им не поговорить как следует. Больно уж мать мешает. Он подмигивает Виллатсу и уводит его на двор, где сразу чувствует себя свободнее.

— Свинья ты, обещал написать и не написал.

Его тон неприятно задевает Виллатса, оправдываться он не намерен. Что этот Юлиус себе вообразил!.. Да, надо было все-таки приехать сюда верхом.

— По-твоему, у меня мало дел в Англии? — отвечает он.

— Дело-то делом, а все-таки... Да, так что я хотел сказать... Показать, что я успел наработать за лето? Пойдем!

Юлиус ведет Виллатса в сарайчик, где хранится корм для коз, показывает на кучу сена в углу и говорит:

— Все это я сам нарезал серпом на лесных полянах.

— Да ну?

— Сам высушил и притащил домой на собственном горбу. Думаешь, легко?

— Нет, конечно.

— Как по-твоему, сколько тут копен?

— Тут? — переспрашивает Виллатс.

— Я хотел было все оставить для своей козы, но для нее это слишком много... Подумываю часть продать.

— Продать?

— Да, если только цены поднимутся... Я видел, как ты ездил верхом. Разве ты умеешь?

— Умею? Ты же своими глазами видел.

— Впрочем, это ерунда, — говорит Юлиус. — Я и сам сколько раз ездил верхом... И все-таки, скажу я тебе, мог бы написать мне хоть разок, — продолжает он, запирая сарай.

— Тебе бы все равно не прочитать. А писать печатными буквами мне было некогда.

Такой оборот дела Юлиусу не по душе, ему не хочется пасовать перед товарищем, и он находит выход:

— Теперь мне попросить прочесть письмо — раз плюнуть. Что ты скажешь про Ларса?

Виллатс молчит.

— Он ведь мне родной брат, — продолжает Юлиус, — а знает небось побольше, чем ты да я, храни тебя Господь!

— Поглядим, может, этой зимой у меня выдастся время написать тебе, — кротко говорит Виллатс.

Юлиус вынимает из кармана плитку жевательного табаку и предлагает Виллатсу.

— Нет, спасибо.

— Ты разве не жуешь табак?

— Нет.

— Ну да, конечно. А мне вот надо приучиться к табаку, прежде чем идти к Лофотенским островам. А то ведь, чего доброго, укачает. Ты-то счастливый, тебе море нипочем.

— Но ведь ты сам захотел отправиться в море?

— А что до езды верхом, то Ларс тоже ей научился в семинарии. Там у них была деревянная кобыла, живой-то лошади не выдержать бы.

— Деревянная кобыла? Но моя-то лошадь — живая, — говорит Виллатс.

— Да, но ведь она не твоя?

— Не моя? Разве ты не знаешь? Это моя собственная лошадь.

— Ври больше, — решительно заявляет Юлиус и сплевывает.

Виллатс вспыхивает от гнева:

— Дурак!

Лицо у Юлиуса вытягивается от испуга, и он молчит, выжидая, чтобы буря улеглась. Наконец он говорит:

— Н-да, а Ларс теперь почти что пробст — он будет учителем у Хольменгро. Видал Мариану и Феликса?

— Нет, — сухо отвечает Виллатс. Он все еще сердится.

— Неправда, ты их видел, когда приехал, ведь они были на пристани. Они по-нашему не умеют говорить, только несколько слов выучили, потому что знают только по-испански. Тут у нас многие считают их язычниками, но Ларс говорит, что все это вздор.

— А как поживает Готтфред? — спрашивает Виллатс.

— Готтфред? Скажу по совести, я о нем ничего не знаю... Виллатс, у тебя в карманах ничего не завалялось, что ты мог бы мне продать?

— Нет.

— Ни трубки, ни перочинного ножика, совсем ничего?

Виллатс достает из кармана жилетки маленький перочинный ножик с перламутровым черенком. Юлиус внимательно рассматривает его и спрашивает:

— Продашь?

— С какой стати? — отвечает Виллатс.

— Сколько ты отдал за него?

— Мне подарили.

— У меня есть как раз четыре скиллинга. Продашь за них ножик?

— Нет.

— Ну ладно, так и быть, —говорит Юлиус, — даю тебе шесть скиллингов наличными, а остальное сеном.

— Не продам я его, — заявляет Виллатс, пряча ножик в карман.

Он поворачивается, собираясь уходить. Да, Юлиус теперь совсем не такой интересный, как прежде, и вовсе не симпатичный, какой-то мужиковатый, противный. Вот он опять сплюнул, кошмар!

— Ты куда идешь? К Готтфреду? — спрашивает Юлиус.

— Да, собирался.

— Хочешь послушать моего совета, лучше не ходи к Готтфреду. Я с ним совсем перестал водить компанию.

— Вот как!

— Уж очень он стал на руку нечист. Такой вороватый — не приведи Господь!.. У меня то одно пропадает, то другое, а на третий или четвертый раз я его и подстерег.

— Подстерег?

— Ага. Знал бы, что тут было, Виллатс. Любо-дорого поглядеть.

— Ты его вздул?

— Вздул? Еще как! И он сразу во всем признался, во всех своих пакостях. Эх, миляга, да я столько услышал от него, что, захоти я, он бы давно сидел в тюрьме. Но я его не выдал.

Виллатс молчит, он в нерешительности. Ему хочется поскорее отвязаться от Юлиуса, пристал, как банный лист, не так-то легко от него отделаться. Может, взять да уйти без всяких церемоний?

— Ну, прощай, — говорит он.

— Уже уходишь? — кричит Юлиус вдогонку. — Мы разве не пойдем к морю?

— Нет.

— Может, хочешь посмотреть мою козу? А еще у меня есть губная гармоника.

Ответа Юлиус не получает. С минуту он стоит и смотрит вслед Виллатсу; тот направляется прямехонько к дому Готтфреда, через несколько минут он будет у Готтфреда... Юлиус порывается крикнуть что-то, сдерживается, сплевывает и идет домой.

Готтфред встречает Виллатса на крыльце, такой же худенький и большеглазый, как и прежде. Они здороваются, но Готтфред тушуется перед богатым мальчиком, и разговор не клеится. Да, все его старые товарищи стали совсем неинтересными. Виллатс, верно, перерос их, оставив далеко позади, они вконец его разочаровали. Готтфред, конечно, лучше Юлиуса, он такой худенький и тихий; но почему он стоит в дверях, ведь человек, может быть, хочет войти в дом? Готтфред этого не понимает.

— Я вышел прогуляться, — говорит Виллатс. — Надоело все время ездить верхом.

— Мы много раз видали, как ты проезжал мимо, — отвечает Готтфред, радуясь выпавшему на его долю счастью.

— Наверное. Это моя собственная лошадь.

— Я знаю.

— Знаешь? — удивляется Виллатс. Если так, досадно, что он похвастался.

— Да, отец слышал об этом.

— Нельзя ли у вас напиться воды? — спрашивает Виллатс, заглядывая мимо Готтфреда в сени.

— В кухне есть вода, — отвечает Готтфред и ведет его в кухню.

Кухня помещается под одной крышей с хлевом: это темная-претемная конурка без окон. Готтфред протягивает Виллатсу деревянный ковшик с водой, у ковшика толстые края, приходится широко разевать рот; с непривычки он проливает почти всю воду на себя; впрочем, ему ведь не так уж и хотелось пить.

— Твои отец и мать дома? — спрашивает он, когда они снова подходят к жилому дому.

— Да, мать дома.

Что за манера у этого Готтфреда становиться в дверях и загораживать вход! Виллатс не обратил бы на это никакого внимания, но... если он не ошибается, в этом доме живет маленькая девочка, — впрочем, не такая уж и маленькая, и у этой девочки большущие, синие-пресиние глаза, которые ей, правда, нужны лишь для того, чтобы потуплять их вниз.

Наконец на крыльцо выходит и мать Готтфреда. Она здоровается с ним и приглашает зайти в дом:

— Я попросила Готтфреда задержать вас на крыльце, пока я протру пол, — говорит она. — А то у нас больно было неприбрано.

Виллатс входит в горницу, пол еще мокрый, сразу видно, что его только что вымыли. Но в доме никого, кроме трех малышей, младших братьев Готтфреда. Нет, Виллатс вежливо отказывается от кофе и снова выходит с Готтфредом во двор.

— А твоя сестра... я уже почти не помню ее, — говорит он, — разве она не живет дома?

— Паулина? Как не живет, она ушла в лавку.

— Она теперь, верно, с тебя ростом?

— Да.

— Скажи, это правда, что Юлиус тебя побил?

Готтфред слегка смущен.

— Нет. Когда?

— Он сказал, что поймал тебя и вздул как следует.

— А он не сказал, когда это было?

— Нет. Впрочем, он сказал, что ты у него что-то украл.

— А, в тот раз, значит, — говорит Готтфред.

Пауза. Виллатс ничего не понимает:

— Что ты у него украл?

— Украл? Да ничего, я только взял у него назад свою губную гармонику. Он спрятал ее у себя дома.

— И он тебя вздул?

— Да.

— Больно было?

— Нет.

— И часто он тебя бьет?

— Да, бывает, поколачивает.

Виллатс ничегошеньки не понимает, но он возмущен:

— Попробовал бы он меня поколотить!.. Но ведь ты забрал у него свою гармонику?

— Да, но он снова отнял ее.

Виллатс изумленно смотрит на него:

— И ты оставишь ему гармонику?

— Не знаю... Нет, все-таки попробую отобрать.

— Так ведь он добром не отдаст?

— Он хочет за нее два скиллинга.

— Два скиллинга? За твою собственную гармонику?

— Так он сказал.

Пауза. Виллатс задумывается, в нем созревает великое решение.

— Пойдем к Юлиусу, — говорит он.

Готтфред соглашается с превеликой охотой, и Виллатс чувствует себя героем.

Дело улаживается в один момент. Издали увидев обоих приятелей, Юлиус встречает их во дворе с гармоникой в руках. Он сразу отдает ее Готтфреду, заявив, что всего лишь пошутил.

Виллатс и Готтфред уходят — прочь от этого типа, прочь с этого двора. Готтфред полон робкого, благоговейного восхищения:

— Вот это да! Сразу отдал!

Виллатс важничает:

— Еще бы, попробовал бы сразу не отдать.

Они стоят посреди дороги; им пора бы уж разойтись, но чего спешить, они ведь не часто видятся. Может, если Готтфред постоит тут еще немного, глядишь, и его сестра подоспеет, и тогда они пойдут домой вместе.

Виллатс достает свой ножик, раскрывает его и начинает стругать ветку, Готтфред во все глаза смотрит на ножик, ему ужасно хочется потрогать, подержать его в руках. Вдруг Виллатс складывает ножик и протягивает его Готтфреду.

— На, возьми.

Другого такого потрясения Готтфреду еще не доводилось переживать, он ошеломлен, он не верит своему счастью. Он берет ножик и спрашивает:

— Можно подержать?

— Да это тебе насовсем. На память обо мне, когда я уеду.

О, Готтфред и понятия не имел, кто перед ним стоит. Он нерешительно говорит — и его глаза при этом становятся большими-пребольшими:

— А ты не боишься? Вдруг твой отец спросит про ножик?

— Да ведь это мой ножик! — восклицает Виллатс тоном, не допускающим возражений.

И тогда Готтфред протягивает руку, берет ножик и благодарит Виллатса. Он наверху блаженства; он уже не соображает, где находится, он вовсе не стоит посреди дороги, он парит где-то высоко в облаках и даже не слышит, как Виллатс говорит:

— А вон и Паулина!

Впрочем, Виллатс тоже не менее счастлив; на него нашло какое-то удивительное состояние. А Паулина подходит все ближе и ближе.

Выпрямившись во весь рост, он говорит:

— А я уже скоро начну бриться.

Но Готтфред по-прежнему витает где-то в облаках, поэтому он спрашивает:

— Зачем?

— Зачем? Разве ты не видишь? — спрашивает Виллатс, проводя рукой по щеке.

— А бриться не больно?

— Ничего не поделаешь. Нельзя же ходить небритым.

Вот и Паулина. Худенькая, высокая, в парадном черном платье по случаю выхода в лавку, с узелком в каждой руке, в деревянных башмаках и с синими глазами, которые ей нужны лишь для того, чтобы потуплять их к земле.

Если бы она позаботилась о том, чтобы высвободить правую руку, можно было бы поздороваться с ней по всем правилам; но нет, она этого не сделала. Стала и стоит. Виллатс говорит: «Здравствуй» в пустоту, она коротко отвечает. Разговор не клеится; она смотрит только на брата.

— Погляди-ка! — говорит Готтфред, с радостным смехом показывая ей ножик. — Как ты думаешь, от кого я его получил?

Паулина мельком вскидывает глаза на Виллатса и снова опускает их в землю.

— Смотри только, чтобы Юлиус не отнял его у тебя, — предостерегает Виллатс.

— Я отдам его отцу, пусть спрячет в сундук, — отвечает Готтфред.

— Но тогда ты не сможешь им пользоваться?

— Иногда смогу.

Но Виллатс, резонно посчитав, что ножик в таком случае не будет служить своему прямому назначению, возражает:

— Нет, носи его при себе. А если Юлиус посмеет отнять его, напиши мне в Англию.

— Хорошо.

Интересно, что думает Паулина о таком его могуществе? Но Паулина за все время только разок взглянула на него, а потом опять потупилась.

— Тут два лезвия, — говорит Готтфред, обращаясь к самому себе. Все его внимание поглощено ножиком. — И еще крючок...

— Это крючок для застегивания перчаток, — поясняет Виллатс, — но у меня есть другой крючок для этого... Как ты поживала все это время? — спрашивает он Паулину.

Нет, разговор так и не завязался, Паулина только подняла глаза на миг, покраснела и ответила:

— Хорошо.

Больше спрашивать было не о чем, и Виллатс распростился с ними.

Но едва он отошел, как у брата и сестры мигом развязались языки. Виллатс еще долго слышал их оживленные голоса, а оглянувшись, увидел, что Паулина, положив оба узелка на землю, с величайшим интересом рассматривает вместе с братом подаренный им ножик.

Нет, здешние его приятели утеряли для него отныне всякий интерес. Паулина — такая же, как и все другие, а все другие такие же, как она. У Виллатса мелькнула было мысль поговорить с ними по-английски, чтобы дать им представление об английском языке — но нет, ни к чему все это.

XII

— Как вы думаете, приедут в нынешнем году Кольдевины? — спросила как-то раз фру Адельхайд. Выражение ее лица при этом отнюдь не свидетельствовало о том, что она с особенным нетерпением ожидала ответа.

— Нет, — отвечал лейтенант, — стариков так разобидели происшедшие у нас перемены, что они вряд ли приедут еще раз.

О консуле Фредрике не было произнесено ни слова.

За летние месяцы не случилось ничего особенного, все шло своим чередом: Сегельфосс понемногу менялся, превращаясь во все более оживленное местечко. Вот почему Перу-Лавочнику уже невмоготу стало ждать до Нового года с получением разрешения на торговлю вином, и он начал потихоньку, тайком приторговывать им, благо желающих было много. Это вносило добавочное веселье в скучные воскресные вечера.

Вокруг пароходной пристани понастроили новых домов, окруживших ее тесным кольцом, и приморская часть Сегельфосса стала походить на небольшой городок. А ведь совсем недавно тут ничего не было, кроме песчаного берега и двух-трех лодочных сараев! Да, сомневаться не приходилось, жизнь заиграла в этих краях новыми красками с тех пор, как появился король Тобиас. Взять хотя бы дом Ларса Мануэльсена — никак, у него на окнах повесили шторы? А что ж тут такого? Небось, его сыну, семинаристу, не по нраву пришлось глядеть на свой дом без штор. А потом уже все чаще и чаще у Пера-Лавочника стали справляться о ценах на шторы.

Да и какой смысл было теперь людям оставаться на положении торпарей? Конечно же, никакого. Крохотные клочки земли, право на покос на дальних лугах, возня с доставкой

дров из дремучего леса — весь прежний обиход их жизни потерял всякий смысл. Господи, да ведь муку теперь можно покупать прямо на пристани. И какую муку — просеянную, белую, как снег. Ежели бы не нужда в картошке, земля бы так и оставалась невозделанной; и ежели бы не нужда в молоке для кофе, никто бы и не подумал таскать из леса корм для коз. Вот как оно обстояло дело. А для поденщиков теперь и вовсе наступили благословенные времена, они работали у Хольменгро и ели его хлеб. Вечером по субботам десятник выдавал им расписку, они вручали ее начальнику пристани и брали кто муку, кто деньги — по желанию. Вот она жизнь, достойная человека. Некоторые из них залезли в долги, купили лошадь с телегой и стали заниматься извозом для мукомольни — что же тут такого? Захотят, выплатят долг и за лошадь и за телегу, ведь они зарабатывают деньги и звенят монетами, стоя у прилавка Пера-Лавочника. И вообще: деньги перестали быть редкостью. Это видно и по окрестным хуторянам, Господи, да они на этом извозе сделались богачами, просто чудеса какие-то — позволяют себе выпить лишнюю чашку кофе после ужина и ходить летом в высоких красивых сапогах. Дело дошло до того, что окружной врач Уле Рийс пожалел, что получил место на юге; в последние недели, проведенные им в поселке, он заработал кучу денег.

— Черт возьми, — удивлялся Уле Рийс, — раньше у них не было денег на врача даже при нервной горячке, а теперь вызывают меня за две мили из-за распухшего пальца.

Новый окружной врач тоже не жаловался на судьбу. Он тотчас же попал в настоящую круговерть, его звали с утра до вечера, вошло в моду спрашивать его советов, и не было такого дома, где бы не нашлось подходящей болезни и не требовалось присутствие нового врача. У знахарей и знахарок, раньше исцелявших всякие недуги, дела шли хуже некуда, они влачили печальное существование, просто жалко было на них смотреть.

Новый окружной врач давно собирался нанести визит лейтенанту в Сегельфосс, да все не хватало времени. Во всяком случае, не из невежливости не сделал он этого раньше, объяснил он, придя наконец в поместье, во всяком случае, не из невежливости!

Приняла доктора жена лейтенанта; она всегда охотно принимала гостей, быть может, в ее одиночестве ее это даже немного развлекало. Доктора звали Муус[1], и стоило на него взглянуть, чтобы убедиться, как поразительно подходит ему

[1] Муус (muus) — мышь *(норв.)*.

это неправдоподобное имя. Маленький удивительный доктор, с изнуренным учением лицом, большим носом, большими безобразными ушами и жиденькой бородкой; в медицине, конечно, разбирается, а его желтоватая бледность, разумеется, объясняется слабым желудком; доктора приглашают к столу, сегодня небольшое торжество, обед в честь отъезда мастера Виллатса обратно в Англию.

Входят отец и сын, оба во фраках — в честь друг друга. Лейтенант здоровается с доктором и обменивается с ним приличествующими случаю словами. Появляется господин Хольменгро с детьми, со своими двумя, как он их называет, индейцами.

— Голубчик, почему вы называете их индейцами? — спрашивает фру Адельхайд.

— О, поверьте, мои маленькие индейцы ничуть не обижаются, — отвечает Хольменгро, — ведь это дает им право считать себя потомками Куохтемока, какими они до известной степени действительно являются.

— Каким образом?

— В их жилах течет немного индейской крови, их мать была квартеронкой.

— Значит, они — квинтероны, — говорит доктор. — Очень интересно.

— Прекрасные дети! — говорит фру Адельхайд, обнимая их обоих.

Обед не затянулся, Виллатсу нужно было еще переодеться в дорожное платье, а почтовый пароход ждали с минуты на минуту. На пригорке выставили караульного, которому поручили подать сигнал в усадьбу.

Лейтенант поднимает свой бокал, желает Виллатсу счастливого путешествия и благодарит за проведенное в поместье лето.

— Да благословит тебя Бог, — говорит мать, — будь и впредь таким же славным мальчиком! Папа дал тебе довольно денег?

— Да, спасибо.

— А теперь иди переоденься.

Доктор Муус промолчал. Должно быть, в своих родных краях он числился знатоком вин, потому что после каждого глотка одобрительно причмокивал. В целом же он, казалось, воспринимал все как должное, не проявляя особого восхищения, такой чести мог сподобиться кто угодно, а ему приходилось бывать в обществе, где подавали даже шампанское. Возможно, доктора немного просветил его предшественник по должности,

неудачник Уле Рийс; не исключено, что этот визит к лейтенанту был лишь проявлением заранее обдуманного пренебрежения.

За кофе разговор поддерживала в основном хозяйка, муж ее, расстроенный, видимо, отъездом Виллатса, сидел, погруженный в свои мысли. Время от времени он вежливо прислушивался к беседе и даже делал попытку ответить на вопрос, но тотчас же замолкал. Можно проявлять назойливость в разговоре, а лейтенант проявлял назойливость в молчании, молчал, и все тут. А поскольку он не всегда был таким невнимательным, что-то, без сомнения, творилось у него в душе.

Фру Адельхайд пытается поддержать разговор:

— Вы ведь приехали сюда с севера, господин доктор?

— Да, из Финмарка. Мы, чиновники, всегда начинаем там свою службу.

— А у вас, как я слышала, оказалось по приезде много практики?

— Очень много. В особенности в окрестностях Сегельфосса.

— Это все благодаря деятельности господина Хольменгро. Не правда ли, господин Хольменгро?

Но доктор Муус мыслит логически, и поэтому он заявляет:

— Хе-хе, надеюсь, что это не так и деятельность господина Хольменгро не способствует росту заболеваемости.

Все переглядываются. Господин Хольменгро улыбается:

— Доктор позавидовал, что фру Адельхайд сделала мне комплимент. Впрочем, несомненно, на таких предприятиях, как мое, часто возникает надобность в медицинской помощи, если, конечно, они ее и оплачивают. Это в порядке вещей — растет население, растет и число несчастных случаев. Люди сталкиваются с опасностями, которых они прежде, ведя размеренную деревенскую жизнь, не научились бояться: то груз придавит кому-нибудь руку, то лебедка выйдет из повиновения, то рукоятка у нее раскрутится. Вот вчера Уле Юхана ударило рукояткой.

— Я у него как раз был сегодня, — говорит доктор. — Ничего страшного, кровоизлияния нет; тот случай, который мы называем контузией.

Понадеявшись, что мужчины нашли наконец общий язык, фру Адельхайд на минутку поднялась к Виллатсу. Бедняжка, невесело ей, верно, вновь расставаться с сыном, а вместе с ним — с пением, музыкой и долгими беседами.

Когда она вернулась, за столом снова царило тягостное молчание. Она принесла с собой несколько книжек с картинками.

— Посмотрите-ка, дети, какие книги дал вам Виллатс. Ешьте, пожалуйста, пирожные. Мариана, возьми вот это. Очень хорошо. А ты — вот это, Феликс. Правильно.

— Он скоро будет готов? — спрашивает лейтенант.

— Да, скоро. Ах, если бы только ехать не так далеко. Прямо бессмыслица какая-то.

— В сущности, вовсе не так уж и далеко, фру, — утешает ее Хольменгро. — Пароход большой, хороший, в воскресенье он уже будет на месте.

Фру Адельхайд невольно улыбается:

— Да. А воскресенье — самый подходящий день для приезда в Англию!

Господин Хольменгро тоже улыбается и подтверждает, что английское воскресенье — и правда, день отнюдь не из веселых.

— Веселых? В этой стране вообще нет ничего веселого.

— Вы — немка? — спрашивает доктор Муус.

— Да, слава богу! — отвечает фру Адельхайд, не обращая больше на него внимания.

Вообще этот маленький человечек вовсе не такой симпатичный, каким бывают порой маленькие мужчины. Сидит, разглядывает картины на стенах с таким видом, будто и сам вырос в окружении живописных полотен. Что он себе воображает? Фру Адельхайд напустила на себя великосветский вид:

— Во всяком случае в английском доме есть что-то от гостиницы. Я была во многих домах и всюду встречала одно и то же. Лакеи, одетые как маркёры, сервировка точь-в-точь как в отеле, дамы, как только кончат есть, выбегают из-за стола. К обеду приглашают дважды. Сначала звонит колокольчик, напоминая, что нужно переодеться, а потом — что пора к столу. Раньше мне казалось, что я еще мало знакома с обычаями аристократических домов, но...

— Мой отец, — сказал доктор Муус, — молодым юристом побывал в Англии, на конгрессе. Он ужасно расхваливает тамошнюю жизнь и людей.

— К тому же англичане очень немузыкальный народ, — продолжала фру Адельхайд, — представляете, нанимают людей играть и петь и у себя дома, и в церквах.

Доктор возражает:

— Такой высококультурный народ вряд ли часто посещает церковь.

— Сколько стоит орга́н? — неожиданно спрашивает фру Адельхайд, желая прекратить разгорающийся спор. — Маленький орга́н, совсем маленький, с небольшим числом труб? Вот если бы нам в церковь такой маленький орга́н!

— Что ж, это вполне достижимо, — замечает Хольменгро. — Если бы кто-нибудь из учителей умел играть, все можно было бы легко устроить.

Лейтенант подходит к окну посмотреть, не подают ли сигнал о прибытии парохода. Вернувшись и снова усевшись за стол, он снимает кольцо с правой руки и надевает его на левую. Видимо, посчитав, что Адельхайд достаточно потрудилась, он решает ее сменить и просит еще раз сходить к Виллатсу. Потом заводит с Хольменгро разговор о делах.

— Помните, как-то летом я вам сказал, что у меня нет строевого леса для строительства новых домов в нашем местечке. Я снова объехал свои леса и думаю, что могу, пожалуй, вырубить еще одну делянку. Но для ваших целей это, вероятно, слишком поздно?

— Нет, вовсе нет, напротив, все очень удачно. Мы постоянно нуждаемся в бревнах. А какого они у вас размера?

— Небольшие. Семь на двенадцать.

— В других краях такой лес считается крупным. Отличный строевой лес. Покупаю, как только скажете.

Послышался сигнал караульного — пришел пароход.

Сверху спустились фру Адельхайд с сыном. Одетый по-дорожному Виллатс молчалив и сосредоточен; пора отправляться на пристань, но они проходят в залу, собираясь немного помузицировать на прощанье. Какое прекрасное двухголосное пение, дуэт в духе времени! Обращенная к небу песнь лебедя-матери и ее сына.

— Фру поет? — спрашивает доктор Муус, прислушиваясь. — По-итальянски?

Стоя в коридоре и натягивая перчатки, лейтенант опять надевает кольцо с левой на правую руку. Это курьезное перемещение кольца с руки на руку, вероятно, ничего не значит, раз оно происходит ежеминутно, просто привычка, дурная привычка.

Общество спускается с пригорка, против обыкновения все идут пешком; Виллатс присоединяется к детям и бежит с ними взапуски.

Ну что за длинноногий бесенок эта Мариана! Другого такого не сыскать!

Доктор с лейтенантом идут позади всех.

— Говорят, Сегельфосс совсем не такой, каким был прежде. Вы во всех отношениях довольны переменами, лейтенант? — спрашивает доктор.

— Ах, это вы, господин доктор! Да, спасибо, я доволен. Вы, собственно, откуда родом?

— Из Восточной Норвегии. А что?

— Просто вспомнил нескольких рекрутов, которых когда-то обучал.

— Рекрутов?

— Не поймите меня превратно, это были высокие сильные парни; почему-то я вспомнил их при ваших словах. Как ваша фамилия, простите?

— Муус.

— Муус.

Покусывая свою жиденькую бороденку, доктор говорит:

— А ваша фамилия Хольмсен?

— Да.

— Быть может, фон Хольмсен?

— Нет, просто Хольмсен.

Счет почти равный, но тут, к сожалению, доктор заливается язвительным смехом, и лейтенант вынужден с удивлением посмотреть на него. В его взгляде сквозит равнодушная отстраненность и некоторое недоумение, но он считает для себя унизительным спрашивать у этого человека о причине его смеха.

К отцу подходит Виллатс:

— Пожалуйста, хорошенько присматривай за Беллой!

— Хорошо, мой друг.

— Белла это кто? — непринужденно интересуется доктор.

— Моя лошадь.

— Господи боже мой!

Виллатс бросает на доктора взгляд, в котором сквозит почти то же выражение удивления, что и у отца.

— Моя верховая лошадь, — объясняет он.

— В твоем возрасте, — говорит доктор, — я уже неплохо знал латынь. Видишь ли, такие большие мальчики, как ты, должны радовать родителей своими успехами в учении.

И доктор по-отечески кивает Виллатсу.

Виллатсу никогда раньше не доводилось слышать таких странных речей; он ничего не понял, хотя слова были вроде и не на иностранном языке, а только из другого мира.

Отец улыбнулся:

— Ты, должно быть, не понял, что сказал доктор. Впрочем, ты ведь не всегда понимаешь и смысл того, что говорит Мартин, верно?

— А кто такой Мартин? — спрашивает доктор.

— Один из моих работников.

Они подходят к пристани, пароход уже причалил, лейтенант и фру Адельхайд поднимаются вместе с сыном на палубу. Доктор Муус следует за ними.

— Одну минуту! — говорит он лейтенанту. — Мне бы хотелось повидаться с вашим работником Мартином. Он, должно быть, весьма образованный человек.

Медленно повернув голову, лейтенант отвечает:

— Когда вы в следующий раз посетите Сегельфосс, хотя бы для того, чтобы попрощаться, поищите дверь в желтой пристройке во дворе. Там вы и найдете работника Мартина.

— Спасибо. Только останутся ли у вас к тому времени желтая пристройка и работник Мартин?

Господин Хольменгро очень одинок, ему совсем не с кем общаться. Конечно, фру Иргенс женщина превосходная во всех отношениях — и по части готовки, и по части хранения продуктов и ухода за его гардеробом; больше того, она просто несравненна в обращении с детьми и с его крахмальным бельем; но она не умеет ни петь, ни играть; увы, этого фру Иргенс не умеет. Когда господину Хольменгро хочется отдохнуть душой, ему приходится отправляться в усадьбу к лейтенанту, там совсем другой мир. Он не всегда уверен, что лейтенант рад его визитам, да и откуда ему это знать? Лейтенант неизменно вежлив и предупредителен, но холоден и сдержан, как и полагается такому аристократу. Зато его высокочтимая супруга часто выказывает радость, когда он приходит, а это для господина Хольменгро, видимо, весьма важно. Иногда он позволяет себе подкараулить фру Адельхайд, когда она совершает прогулку верхом. Делает он это не часто, не перебарщивает, но все же позволяет себе время от времени издали раскланяться с нею, перекинуться на дороге несколькими словами. Раза два-три лейтенант с женою побывали у него в доме, но оставались недолго, только переговорили о деле и похвалили его прекрасные комнаты; в последний раз фру Адельхайд пришла одна и пригласила господина Хольменгро заглянуть к ним в усадьбу: он стал так редко бывать у них.

— Когда я буду иметь честь видеть у меня как-нибудь вечером вас и лейтенанта? — спросил Хольменгро.

Фру Адельхайд поблагодарила за приглашение, пообещав прийти, как только он пожелает.

— И чем скорее, тем лучше! — добавила она с улыбкой. Вся она так и излучала дружелюбие.

И вот Хольменгро стоит на пристани, намереваясь залучить к себе лейтенанта с супругой.

Ему хочется пригласить их именно сегодня, прямо сейчас, чтобы хоть немного отвлечь эту пару, этих родителей, которые машут платками, провожая взглядом пароход, увозивший их сына. Он хотел было позвать и нового окружного врача, господина Мууса, но доктор наверняка сегодня занят, отложим приглашение до следующего раза. О, Хольменгро отлично разбирался во всем, у него был тонкий нюх, он понимал, что супруги Хольмсен предпочтут провести сегодняшний вечер, после разлуки с сыном, без лишних свидетелей.

Лейтенант и его жена приняли приглашение.

Фру Иргенс, разумеется, горела желанием устроить изысканный ужин, но Хольменгро воспротивился этому, велев подать только легкую закуску и испанское деревенское вино. Так решил Хольменгро; следовало проявить скромность и ни в коем разе не пытаться превзойти владельцев усадьбы.

Фру Адельхайд поразилась, увидев в доме рояль, новый божественный «Стейнвей». Только что доставлен, объяснил Хольменгро, не окажет ли фру ему честь и первой опробует инструмент — не окажет ли ему такую огромную любезность и первой опробует рояль?

Она лебедем бросилась к роялю, и наступающие сумерки наполнились чудными звуками.

Кому было дано понять эту женщину? Она обладала необыкновенным голосом, глубоким и прекрасным альтом; если ее муж, этот человек с породистой, словно у арабского жеребца, головой, и считал ее когда-нибудь холодной, то теперь он наверняка понял, что ошибался. Что она исполняла? Огонь и пепел, тоска и любовь, сонаты и хоралы, и все это продолжалось очень долго, не менее получаса, но тут ей пришлось оборвать игру, потому что нот у нее с собой не было, а ничего больше она наизусть не помнила. Ну не поразительно ли? Фру Адельхайд кончала одну вещь и, не раздумывая, ни секунды не колеблясь, начинала другую, и так все полчаса, — разве могла быть холодной душа у такой женщины? В породистой голове лейтенанта, видимо, никогда

и не возникало подобной мысли. Вот насколько она была ему безразлична.

Фру Иргенс пересекла комнату из конца в конец и подошла к фру Адельхайд.

— Позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас, фру, — сказала она.

— А вы сами не играете?

— Нет. Я училась немного, как и все. Способностей, правда, у меня никаких, но учиться все же пришлось. Так, самую малость.

— У вас потрясающий рояль, господин Хольменгро.

Больше фру Адельхайд о рояле не заговаривала. А не то ее мужу опять придет в голову какая-нибудь сумасбродная идея; она хорошо помнила историю с орга́ном. Тогда ее муж серьезно вознамерился приобрести этот несчастный орга́н для церкви, во всеуслышание заявив об этом, чем несказанно огорчил ее — ведь они могли бы найти деньгам куда лучшее применение. Разве она хоть раз пожаловалась на свое старенькое фортепиано? Ничего подобного. И все же, неужели нельзя хотя бы *помечтать* о таком рояле? Ведь больше всего на свете она мечтала именно об этом. Но не сказала ни слова. Быть может, кроме всего прочего, не хотела давать господину Хольменгро повод подарить ей этот рояль? Он богат, у него замашки американского миллионера, не исключено, что он купил этот роскошный инструмент именно для нее — приобрел же он верховую лошадь для Виллатса. Но этого человека легко привести в чувство — достаточно одного намека, и он поймет, что рояль слишком ценный подарок.

Впрочем, им нельзя не восхищаться. Сколько ему лет? Пожалуй, он одного возраста с лейтенантом, может, немного старше, у него такая же проседь, но лицо куда более простое. Долгая жизнь в заморских странах научила его приятным манерам, он полон внимательности, благородной сдержанности. Ей припомнился ужин, устроенный для них однажды английским капитаном, — этим вечером она узнала некоторые предметы того серебряного сервиза, которым был сервирован тогда стол. Должно быть, тайным устроителем того ужина был господин Хольменгро.

Не обманывается ли она? Не объясняется ли столь часто проявляемое благородство Хольменгро лишь желанием обратить на себя внимание? Этого фру Адельхайд не знала, но так или иначе, будь он даже влюблен в нее, вряд ли можно

было ожидать от него больше такта и внимательности. Удивительный человек, загадочный. Да что она понимала в королях с Кордильер!

Иногда, правда, он чуточку приоткрывался, показывая изнанку своей натуры — ну и что? Пожалуй, никто другой, как он, не делал этого так редко, хотя ни рождение, ни воспитание не одарили его внутренней культурой. Фру Адельхайд вспомнила свою поездку в Англию в его обществе. Спокойный и любезный до безграничности, он с утра до вечера был ее незаменимым спутником, менявшимся в зависимости от обстоятельств, всегда интересным, всегда предупредительным. На пароходе было много других дам, но ни на одну из них он не обращал ни малейшего внимания, да, была там одна молодая красавица, племянница капитана, привыкшая ко всеобщему поклонению — ее звали, кажется, фрекен Оттесен, — однако господин Хольменгро даже не смотрел на нее. И вдруг как-то вечером он сказал, что на пароходе плывет секретарь датского посольства в Лондоне, весьма знатный господин с целой свитой приближенных, не желает ли фру побеседовать с ним? Зачем? — спросила фру, глядя на господина Хольменгро. Он смешался и ничего не ответил. Она не могла сдержать улыбки, вспомнив сейчас тот случай; кстати, тогда она постаралась сгладить неловкость, сказав ему: «Нет, спасибо, я вполне довольна вашим обществом».

Так что и с изнанки этот человек, пожалуй, не лишен забавных черточек: всю дорогу он ни на кого не обращал внимания, и вдруг его воображение поразил какой-то старый секретарь посольства. Потом уже она не раз видела, как он стоял у трапа, ведущего на палубу, и низко кланялся дипломату, когда тот поднимался или спускался по лесенке.

Непостижимый король Тобиас...

— Доктора, должно быть, вызвали к больному, — говорит господин Хольменгро, глядя в окно, — его лодка отчаливает от берега.

— Ах, этот доктор! — восклицает фру Адельхайд. — Слава богу, у нас нет больных и никто не нуждается во врачебной помощи. Уж слишком было бы тягостно...

Муж бросает на нее быстрый взгляд.

— Я хочу сказать, вдруг кто-нибудь заболеет, а врач так далеко, — поспешно добавляет она.

Господин Хольменгро тотчас схватывает суть дела:

— Я и сам уже подумывал, не выписать ли собственного врача для мукомольни и окрестных жителей.

— Зачем? — спрашивает лейтенант.

— Доктор Мусс живет слишком далеко, да и всегда занят. Больным приходится подолгу ждать его, мои люди давно уже об этом говорят.

Фру Адельхайд успокоилась — вот и еще одно доказательство могущества господина Хольменгро: ему под силу нанять собственного врача. Только уж она тут ни при чем.

— Не надо этого делать, — говорит она. — Доктор — как его зовут? — да, Муус — доктор Муус — знающий и честный врач. Не правда ли, Виллатс, господину Хольменгро не стоит этого делать?

— Конечно, нет, — говорит лейтенант.

И Хольменгро уступает:

— Доктор Муус безусловно знающий человек, я так и сказал своим людям. Надеюсь, все уладится. Но они жаловались не раз.

Лейтенант занялся детьми. Он просит их показать ему фотографии их матери; они стоят на рояле, великолепные фотографии; на одной из них снята женщина в костюме индеанки. Помнят ли они ее? Да. А есть ли у Марианы такой же красивый наряд, как у матери? Да, и у Феликса тоже есть. Тогда пусть придут как-нибудь в усадьбу в этих костюмах.

Фру Адельхайд подняла глаза и впервые поймала устремленный на нее взгляд Хольменгро. Конечно же, чистая случайность, да и господин Хольменгро тотчас же сказал:

— А я сижу и думаю, как было бы хорошо, если бы вашу сегодняшнюю игру могла послушать моя жена, фру. Она была очень музыкальна.

Зимою лейтенант вырубал не только строевой лес, продавая его Хольменгро, но и подлесок — в Англии и Бельгии такая древесина используется для шахтных подпорок. Но и на этом он не остановился; время шло, и он, похоже, все больше входил во вкус, приближая собственное разорение, два года сряду он вырубал свой молодняк. Чего он добивался? Но у лейтенанта были на то, очевидно, свои причины: большой дом, отцовский долг банку, широкий образ жизни, дорогостоящие привычки, дорогостоящий сын в Англии — из-за всего этого владелец Сегельфосса постоянно находился в стесненных обстоятельствах. Он и сам не понимал, куда исчезают деньги, казалось, сама неумолимая судьба высасывает их из его рук. Если бы не философский склад ума, развившийся у него с годами, ему бы не вынести этого. Взять хотя бы орга́н для церкви, ну можно ли далее откладывать

его приобретение? Просто стыд, что он до сих пор этого не сделал; чего доброго, господину Хольменгро придет в голову опередить его с покупкой; нечего сказать, хорош он тогда будет. Вся церковь построена на средства Хольмсенов, и вдруг нате вам, совершенно чужой человек жертвует на нее орга́н!

Но денег на этот маленький музыкальный инструмент все никак не находилось. Сколько он стоит? Несколько сотен, сотни три, может, чуть больше; откуда ему знать? Он снова заводит разговор об этом с Адельхайд:

— Что до орга́на, который вы однажды пожелали иметь, то я уже предпринял кое-какие шаги, — сказал он. И это была сущая правда. — Нужны его размеры, у меня их нет, необходимо построить для него галерею, а для нее нет места. Церковь придется расширять.

— Ни за что! — ответила Адельхайд. — Прошу вас, оставьте всякую мысль об орга́не, у нас есть более важные проблемы.

— Вы имеете в виду что-нибудь определенное?

— Нет, я думаю о Виллатсе, и только о нем.

— Виллатс большой, способный мальчик, он безусловно заслуживает ваших забот. Ему сейчас хорошо, он в самой лучшей школе, и его ожидает достойное будущее.

— Бог знает! — отвечает Адельхайд.

— Что вы хотите сказать?

— Не слишком ли дорога его школа?

— Школа и впрямь дорогая. Но он ведь у нас единственный.

Фру Адельхайд нельзя упрекнуть в непонятливости или в том, что она находится во власти навязчивой идеи, она, очевидно, понимала, что муж бьется как рыба об лед. Ее дорогому Виллатсу, наверно, лучше было бы поехать учиться в Германию. Ведь всем его друзьям есть чем похвастаться: кто-то сын лорда, у кого-то собственный дом с мажордомом и целым штатом прислуги! В последние каникулы Виллатс для усовершенствования языка участвовал в дорогостоящей школьной поездке во Францию, в нынешнем году ему опять предстоит такая же поездка.

— Он пишет о новом костюме — как вы полагаете, нужен он ему? По-моему, нет. И уж в любом случае он не должен покупать терьера, о котором тоже пишет.

— Вы, как всегда, правы, Адельхайд, — ответил лейтенант. — Знай я ваше мнение раньше, я бы не сделал того, что сделал. Но теперь слишком поздно. Я уже выслал деньги.

— Что ж, значит, так тому и быть.

— Но это все пустяки. Между прочим, Виллатс ничего не писал о ноже? О том самом, который он подарил Готтфреду и который, видимо, отобрал у него другой мальчик?

— Юлиус. Да, он просил меня это выяснить, и я как раз собиралась сделать это завтра. Так что вы не беспокойтесь...

— Я все равно поеду мимо, и, кроме того, я знаю там все дома, вот и улажу это дело, не откладывая в долгий ящик. Сегодня воскресенье, мальчики сидят дома.

Лейтенант едет верхом к дому маленького Готтфреда, стучит в окно хлыстом, и к нему выходит мальчик.

— Мой сын подарил тебе нож, перочинный нож; он у тебя?

— Да, — отвечает перепуганный Готтфред, — то есть нет, — спохватывается он, от страха еле держась на ногах. И оборачивается к двери, словно взывая о помощи.

— Кто-нибудь взял его?

— Да, — отвечает Готтфред.

На крыльцо выходит, приведя себя немного в порядок, его мать.

— Получилось так, — объясняет она, — что отец все время прятал от Готтфреда нож; но как-то осенью — несчастливый выдался денек, однажды вечером...

— Нож взял Юлиус? — только и спрашивает лейтенант.

— Да, — отвечает Готтфред.

Лейтенант поворачивает лошадь и бросает мальчику:

— Сейчас получишь свой нож обратно!

И направляется к дому Ларса Мануэльсена.

Сегодня воскресенье, сын Мануэльсена, семинарист Ларс, заглянул домой и с крыльца кланяется лейтенанту.

— Позови Юлиуса!

Ларс повинуется и приводит брата. У того бледное и испуганное лицо.

— У тебя нож Готтфреда, принеси его.

Юлиус не отрицает этого, он только хочет что-то сказать, объяснить, но лейтенант делает нетерпеливое движение, словно собирается спрыгнуть с лошади, и Юлиус убегает в дом.

Ларс стоит, понурив голову; из дома снова выходит его брат и отдает лейтенанту нож.

— Ты сломал одно лезвие, — говорит лейтенант.

— Нет, так и было, — отвечает Юлиус, — ей-богу!

— Если ты еще раз отнимешь у кого-нибудь подарок моего сына, отведаешь вот этого! — говорит лейтенант, щелкая хлыстом.

Юлиус с быстротой молнии скрывается в доме, оставив распахнутую настежь дверь.

И тут до лейтенанта доносится из дома недовольное бурчание Ларса Мануэльсена, отца. Глядите-ка, Ларс Мануэльсен стал задирать нос, он работает на мукомольне, зарабатывает деньги, на окнах у него висят шторы, сын учился в семинарии, дочь Давердана тоже не какая-нибудь захудалая девица, за нею ухаживает помощник заведующего пристанским складом. Ларс Мануэльсен недовольно ворчит:

— Что случилось? Он тебя ударил, Юлиус?

Лейтенант уже собрался было уезжать, но тут вдруг он осадил лошадь и сказал Ларсу:

— Позови отца.

Ларс снова повиновался.

Старик появился на крыльце в красной рубахе, ткань куплена у Пера-Лавочника, — да, Ларс Мануэльсен не иначе как стал задирать нос.

— Мне показалось, ты чем-то недоволен? — спрашивает лейтенант.

— Я? Да нет, только спросил у парня...

— Так чем ты недоволен?

— Ну, коли парень не ломал лезвия, то чего его обвинять.

— Послушай, Ларс, нынешней осенью ты опять украл у меня овцу с выпаса. Прекрати это. Предупреждаю тебя в последний раз.

— Что, я — украл овцу?

— Это еще куда ни шло. Но ты к тому же продаешь в лавку шкуры с моей меткой, и Мартину-Работнику приходится их выкупать. Я не желаю, чтобы шкуры и кожи из Сегельфосса были предметом твоей меновой торговли.

— Чтобы я украл овцу, да ни боже мой. Это неправда...

Лейтенант опять щелкает хлыстом:

— Еще одно слово — и я отправлю тебя в тюрьму!

— Ваша милость! — говорит Ларс Мануэльсен, и губы его дрожат. — Коли я даже и согрешил, взял овцу, так подумайте, семья-то у меня ведь какая. Другое дело, ежели бы я бедняка обидел, а вы человек богатый... Но воистину говорю, и Ларс, что вот здесь стоит, и Давердана, оба не знают, как отблагодарить вас за вашу доброту...

— Уведи своего отца в дом! — в бешенстве кричит лейтенант. И снова обращается к сыну: — А ты чего тут торчишь? Тебя все это нисколько не касается; если ты хорошо себя ведешь, тебе нечего бояться. Желаешь что-нибудь сказать?

От страха Ларс не решается произнести ни слова. Сильный, дюжий парень, он простоял весь разговор со смиренным, несчастным видом, понурив голову.

— Мне нечего сказать, — говорит он. — Моей вины тут нет.

Лейтенант собирается уезжать.

Ларс делает к нему несколько шагов и говорит:

— Я целый год проучился у пастора. Я хочу добиться чего-нибудь в жизни и учусь дальше.

«Вот типичный крестьянин, — думает лейтенант, — который хочет опуститься до священника. Он учится дальше! Что ж, рассуждая философски, — еще один пример вечного круговорота, где ничего не пропадает зря, Ларс слишком ленив, чтобы стать рыбаком»

— Мне стыдно просить вас, но если бы вы могли протянуть мне руку помощи — поддержать меня, пока я сам не заработаю на учебу — хотя бы год...

Момент для такой просьбы выбран явно не самый удачный, а может, как раз и самый удачный: расправившись с двумя грешниками, лейтенант мог позволить себе проявить благородство. Разве это не в порядке вещей? Ларс живет на хлебах у Хольменгро, но за помощью, как и раньше, обратился не к нему, а к помещику, к владельцу Сегельфосса, у которого все в руках. К тому же паренек — брат Даверданы, а Давердана способная девушка.

— Мне бы хотелось брать частные уроки, — закончил Ларс.

Лейтенант кивнул:

— Я помогу тебе.

Все, точка. Лейтенант отправляется обратно к Готтфреду. Сколько усилий, сколько смехотворной суеты из-за какого-то перочинного ножа, но лейтенант привык все доводить до конца. Мать и сын стоят на пороге, Паулина, распахнув огромные глаза, застыла в дверях.

— Нож был исправный, когда у тебя его отняли?

— Исправный? Конечно.

— Ты в этом уверен?

— Исправный? — повторяет Готтфред и смотрит на мать. Он не понимает, как нож мог оказаться не исправный? Разве его кто-нибудь сломал?

— Да, нож был целехонький, блестящий, — отвечает мать, — мы его берегли, в сундуке держали. Но в тот день...

Лейтенант снимает перчатку, расстегивает шинель и вынимает из кармана свой собственный нож. Ах, какой нож,

серебряный, украшенный по концам звериными головами, с двумя сверкающими лезвиями и крючком для застегивания перчаток. Лейтенант сам купил его, когда ездил в Англию.

— Виллатс прислал тебе вместо того ножа вот этот, — говорит лейтенант.

При виде ножа Готтфред так растерялся, что даже боится взять его, весь красный от волнения, он несколько раз протягивает к ножу руку и тут же отдергивает ее. Он слышит голос матери:

— Ну это уж лишнее!

И вот сокровище у Готтфреда, он даже забывает поблагодарить лейтенанта и только после напоминания матери протягивает руку к седлу.

Лейтенант берет руку и кивает мальчику, больше того, он задерживает на мгновение ее в своей, эту маленькую, живую, благодарную детскую ручку. И что это случилось с лейтенантом!

— Тебя зовут Готтфред?

— Да.

— Приходи завтра ко мне в это же время.

— Ему прийти к вам? — спрашивает мать. — Завтра?

— Завтра в двенадцать часов.

И лейтенант уезжает.

XIII

Время несется с быстротой лавины. Идут месяцы, идут годы, но идут они не ровными бесстрастными шажками, как пристало месяцам и годам, а несутся лавиной, с мелкими и крупными обвалами. Со времен владычества лейтенанта Сегельфосс и его окрестности изменились неузнаваемо. Ничто, в сущности, не погибло, но все изменило свой вид и характер, и все продолжает изменяться — и люди, и вещи.

Взять хотя бы Кольдевинов. Они больше не приезжают в Сегельфосс.

— Неужели они и в этом году не присдут? — спрашивает иногда фру Адельхайд.

— Не присдут.

Она ждет еще лето и еще зиму и снова спрашивает:

— Странно, что никто из них не приезжает. Неужели никто так и не приедет?

— Никто, — отвечает лейтенант. — Фредрик пишет, что родители совсем состарились и не хотят уезжать из дому. Он просил кланяться.

— А фру Фредрик? А дети?

— О них он ничего не пишет.

Фру Адельхайд роняет на пол булавку и, нагнувшись, нескончаемо долго шарит по полу.

— А сам Фредрик? — спрашивает она, продолжая поиски.

— Ему некогда... вы уронили булавку? Позвольте вам помочь.

— Спасибо, я уже нашла.

Да, все изменилось, даже Кельдевины. Они больше не приезжают. И все продолжает меняться.

Разве уже не заходила речь о выделении Сегельфосса с окрестностями в самостоятельный приход? Но это дальние планы, зачем пастору Виндфельду их осуществлять, если это резко сократит его доходы.

— Когда моей службе на севере подойдет конец, — сказал он, — тогда делайте что хотите.

Его служба на севере — он, должно быть, мечтал о перемещении. Здесь жизнь благодатная, приход большой, а дел мало, он прожил тут шестнадцать лет и старался продержаться как можно дольше, он прирос к этому месту, обзавелся семьей и домом. Но когда-нибудь надо перебираться на юг, ибо он слуга церкви, и заблудшие души призывают его в Восточную Норвегию. Неужто ему суждено жить и умереть в Нурланне? В Нурланне? Кто может приговорить его к такому бесчестию? С.П. Виндфельд — выдающийся проповедник, к тому же пополнивший приходский архив несколькими заметками о новой церкви в Сегельфоссе — кому другому эдакое под силу? Почему же такому человеку не поискать для себя прихода на юге? С Божьей помощью, конечно, ибо нарушать закон о перемещении пасторов он не собирался.

С Божьей помощью появилась и надежда на преемника — сына Ларса Мануэльсена, Ларс Ларсен продолжал упорно учиться.

О, этот Ларс — железный парень, несгибаемый борец со школьными премудростями. Он съездил в Христианию и сдал экзамен, затем уединился на целый год, дабы основательно пополнить свой культурный багаж, вышел из укрытия и сдал еще один экзамен. Еще в семинарии в Тромсё он стал звать себя Лаурсеном, но здесь, дома, с детьми господина Хольменгро, это не прошло: теперь его уже с давних пор зва-

ли Лассеном, Л.Лассеном. Про его успехи в науках шла слава, его считали одержимым, святым. Когда епископ, объезжая епархию, посетил эти места, он сказал:

— Если Лассен не побережет себя немного, мы его потеряем, у него слабая грудь, он умрет!

Местечко гордилось своим «железным парнем». Люди стали немного меньше сквернословить даже в присутствии его отца Ларса Мануэльсена. После каждого сданного экзамена имя его передавалось из уст в уста, и не раз о Ларсе возникали разговоры у прилавка Пера-Лавочника.

— Только бы он выдержал! — говорит один.

— Да, как бы нам не потерять его, помните, что сказал епископ? — заявляет другой.

— Тогда он заслужит вечное блаженство, — раздается чей-то голос, — плохо ли!

В разговор вмешивается старший Ларс Мануэльсен:

— Чего мелешь, скотина, небось крепко заложил!

Ух, как работают тут языки.

Да, у Пера-Лавочника частенько закладывают за воротник, оживленное стало место — треп, звон монет, хлопанье дверей и винные бочки с кранами. И все толще, богаче и почтеннее становится сам Пер Енсен, хотя как был, так и остался все тем же крестьянином в домотканом платье. Теперь всякий знает, что человеку с такими большими деньгами уже незачем обвешивать детей, но думаете, люди перестали его подозревать? Как бы не так! Они по-прежнему следят за ним в оба и, чуть что, хватают за руку. Впрочем, нельзя отрицать, П.Енсен вносит свою лепту в процветание людей и местечка. Когда ему не разрешили построить дом для танцев, он отвел молодежи лодочный сарай за мысом: как ни странно, в сарае оказался дощатый пол, и он как нельзя лучше подошел для воскресных вечеринок.

А тот, кто властвовал в местечке над всем и всеми, господин Хольменгро, и не худел от своих великих трудов, и не толстел от своего богатства. Спокойно и мудро управлял он своим разросшимся хозяйством. Говорили, что у него сто тысяч далеров, а в тот год, когда деньги начали считать в кронах и эре, цифры вдруг выросли до неимоверных размеров, и состояние господина Хольменгро стали оценивать в миллион. Жаловался ли он? Ничего подобного. Нет, он, слава богу, не жаловался бы, если бы даже его состояние оценили в два миллиона на эти новомодные деньги. Он весь словно создан из богатства. Ему принадлежали теперь дальние угодья Сегельфосса, мельница, набережная и пристань,

ему, хотя и под чужими именами, принадлежали лавка и пекарня у моря; кроме того, все были уверены, что немало купцов по всему побережью тоже находились у него в руках, во всяком случае, Хенриксен из Утвэра уж точно; кое-кто даже утверждал, будто его владения кончались лишь в Иттерёйе, там, где начинались земли старого помещика Кольдевина, слишком богатого, чтобы с ним совладать.

Нет пределов могуществу Хольменгро!

В последнее время он хлопотал, чтобы в местечко провели телеграф. Дело продвигалось медленно и туго; правительство все никак не могло решиться на подобный шаг. Все были убеждены, что, промедли правительство еще немного, и господин Хольменгро проведет телеграфную линию за свой счет. И, словно осознав наконец эту угрозу, правительство прислало столбы, проволоку и рабочих, и они приступили к работе.

А мукомольня трудилась безостановочно. Одно за другим причаливали к пристани огромные грузовые суда с Балтийского и Черного морей; недавно прибыла партия пшеницы, и одним неудовлетворенным желанием у жителей местечка стало меньше. Пшеница — это ведь сказка, южный плод! Мукомольня ее смолола, люди раскупили, и, действительно, пшеничная мука оправдала надежды: в пекарне появился белый хлеб, а на столах у бедняков — белая каша. Просто удивительно, как это люди, особенно дети, жили раньше, не зная белой как снег каши.

Чего еще оставалось теперь желать? В местечке появился даже свой поверенный, молодой человек, настолько сведущий в законах, что люди начали побаиваться своих рук и своего языка. Отпала всякая необходимость проделывать длинный путь или обращаться в суд, чтобы отстоять свои права; поверенный Раш осуществлял правосудие прямо на месте. Хорошо, что он приехал; Хольменгро заранее построил для него небольшой домик.

Господин Раш собрался было нанести визит владельцам усадьбы, но Хольменгро устроил так, что поверенный смог представиться лейтенанту и его супруге под открытым небом. Удачно придумано, обе стороны были ему одинаково благодарны.

Поводом к этой встрече послужили следующие события.

Весенним половодьем у лейтенанта прорвало плотину и снесло мельницу. Правда, эта крохотная мельница все равно уже много лет бездействовала, с тех самых пор как Хольменгро построил свой мукомольный завод; но все же то было

маленькое чудо, которое принадлежало имению, — и вот теперь оно исчезло. А лесопилка — там ведь стояла и лесопилка? Она тоже уничтожена половодьем. Казалось, мельница и лесопилка уничтожены намеренно, чтобы окончательно очистилась река, как того и желал господин Хольменгро; это было странно, поразительно, оба строения действительно мешали новому проекту Хольменгро, и вот их снесла река.

Господин Хольменгро не скрывал, что он — виновник несчастья: он слишком сильно поднял уровень воды в реке для сплава строевого леса с вырубок лейтенанта.

Когда лейтенант пошел на реку, чтобы своими глазами увидеть размеры опустошения, жене стало его по-настоящему жалко, так близко к сердцу принял он сообщение о том, что мельницы и лесопилки, принадлежавших еще его отцу и деду, больше не существует. Он вернулся домой к обеду, потом снова собрался идти на место несчастья; фру Адельхайд попросила разрешения сопровождать его; удивившись поначалу, он затем сказал:

— Благодарю вас за участие. Наденьте только высокие башмаки!

Хольменгро, в свою очередь, отправился к реке, прихватив с собой молодого поверенного Раша. Так эти четверо и встретились.

Река бурлила и шумела; они поздоровались, едва слыша друг друга; Хольменгро пришлось громко кричать, представляя господина Раша. Удивительное было зрелище, когда в этом грохочущем безмолвии молодой человек обнажил голову и склонился в поклоне.

Они медленно двинулись обратно, лейтенант впереди; вот он остановился, и Хольменгро сказал:

— Видите, сколько нелепостей может натворить неопытный человек! Специалист никогда не стал бы ради сплава бревен поднимать уровень воды в реке.

Лейтенант насторожился:

— А вы разве подняли уровень воды? Зачем?

— По глупости, к сожалению. Я страшно огорчен. Теперь я прошу вас только об одном: дайте мне срок, и я надеюсь, что смогу восстановить разрушенное.

— Что вы намерены делать?

— Тут были плотина, мельница и лесопилка, все это я восстановлю.

Пауза.

— В сущности, это были старые строения, и стояли они без всякой пользы, — говорит лейтенант. — Нет, не к чему их восстанавливать.

Ожидал ли Хольменгро именно такого ответа? Кто знает? Сам он об этом не сказал ни слова. Лишь с большой почтительностью обратился к лейтенанту:

— В таком случае у меня есть другое предложение. Я привел вашу половину реки в негодность и поэтому готов уплатить вам ее стоимость.

Пауза. Лейтенант, должно быть, обдумывает предложение и наконец делает следующее заключение:

— Вы хотите стать собственником всей реки?

— Да, если вам угодно.

Лейтенант двинулся дальше, остальные следуют за ним. Дойдя до перекрестка, он останавливается и говорит — времени на раздумье у него было предостаточно:

— Нет, свою часть реки я не продам.

Ожидал ли Хольменгро и такого ответа? Он не обиделся и сказал с обычной своей уступчивостью:

— Имеется еще один, третий, выход: я возмещу вам убытки в указанном вами размере.

* * *

Несколько дней спустя господин Хольменгро отправился один вверх по реке, по тому берегу, что принадлежал ему. Вероятно, по пути он обдумывал свой новый проект и, шагая все дальше и дальше, что-то прикидывал в уме. Новый проект? Да, вот именно.

Вскоре на той же тропинке показался и лейтенант, он шел пешком. Раз он перешел на принадлежащий Хольменгро берег — а лейтенант ничего не делал тайком — значит, он, очевидно, искал самого Хольменгро. Время от времени он в задумчивости останавливался.

Да, целых двое суток он думал, прикидывая все за и против, так и не придя ни к какому решению. Его отказ продать господину Хольменгро свою часть реки мог показаться проявлением неразумности, причудой; на самом же деле у лейтенанта были на то достаточно веские основания: стремясь себя обезопасить и посоветовавшись с его поручителями в Бергене, банк временно запретил ему совершать продажи прав и угодий Сегельфосса.

Банк, надо признаться, проявил немалое терпение, столько времени не препятствуя ему распродавать имение. Но все

равно сам по себе запрет был оскорбителен для владельца Сегельфосса — лейтенант находился в крайне угнетенном состоянии. В эти несколько дней ему представилась чудовищная перспектива лишиться усадьбы и имения. Как он тогда оправдает эту потерю перед продолжателем династии Вилатсом Хольмсеном? Размышления не привели его ни к какому выводу, быть может, им недоставало должной глубины. И ведь это только начало, сущие мелочи. Сейчас ему самое место в курятнике в усадьбе: когда курице что-то втемяшивается в голову, она замирает, склонив голову сперва на один бок, потом на другой — проверяет, подходит ли окружающий мир для выполнения ее замысла, потом начинает тупо и бесцельно кружиться на месте и останавливается лишь в том случае, если ей в голову приходит новая идиотская идея. Ничто на свете не заставит курицу отказаться от нее, она чуть отступит, отлетит в сторону, но отказаться не откажется.

А от чего нужно отказаться лейтенанту? Вроде бы он не позволял себе бесполезных трат, даже орга́на, увы, еще не купил. Нет, перед ним законы, перед ним сила; что ей противопоставить? Как старый солдат, он привык повиноваться. Конечно, он не разорен, он и никто другой владелец имения Сегельфосс, он и никто другой владелец большого дома и множества ценных вещей, но его собственность в тисках долгов, а для него нет ничего более ненавистного, чем быть кому-то должным. Правда, сейчас у него появилась возможность спастись еще раз, принять предложение господина Хольменгро о возмещении убытков, но в какую сумму оно выльется? Этих денег не хватит даже на то, чтобы заставить замолчать банк, а на что потом жить? Он не ищет себе оправданий, вовсе нет, его извиняет лишь одно — он не понял, не разглядел таившуюся за всем этим силу. Ему бы признаться себе самому, что никому не позволено тратить деньги, не имея на то доходов, но он не признавался. Разумеется, глупо было выбрасывать почти новую колоду карт, и вряд ли так уж ему была нужна дорогая шинель, которую он позволил себе сшить для поездки в Англию. Расход невелик, и если он не ошибается, то был единственный пример его расточительности. Теперь шинель висит без надобности в шкафу — ко двору его не приглашают, у генерала в Нурланне дел никаких, когда же мог представиться повод надеть шинель? Случись с ним какая-нибудь большая, серьезная неприятность, и у его жены, фру Адельхайд, появился бы повод упрекать его, вот тогда уж пусть бы лучше

эта шинель осталась у портного в виде рулона ткани! Да, он готов многое терпеть от Адельхайд, хотя она и сделала из него, женатого человека, холостяка, но терпел он лишь до тех пор, пока сам не чувствовал за собой вины, — не дай бог, у нее сейчас возникнут веские основания для выговора! Так уж он устроен, что может вынести незаслуженную неприязнь, не приемля заслуженной.

И вот он направляется к господину Хольменгро, намереваясь принести ему свои извинения. Его резкий отказ был несомненно сделан в неподобающей форме, вообще-то ему хотелось сказать правду, объяснить, что есть обстоятельства, которые не дают ему возможности продать остальную часть реки. И если бы не присутствие Адельхайд, он, конечно же, не ограничился бы таким кратким ответом, но ради нее ему не оставалось ничего другого, как изобразить из себя гордого помещика.

Он увидел впереди, у реки, шляпу и спину господина Хольменгро — прекрасно, он не желает, чтобы его просили о чем-нибудь, наоборот, сам обычно стремится выполнять просьбы. Хольменгро? Этот чужой человек занял прочное место в его жизни, в каких-то отношениях лейтенант считал его равным себе, а в каких-то даже выше; но кто этот Хольменгро? Антипод.

Хольменгро поворачивается и идет обратно, навстречу лейтенанту. Кто он? Без рода без племени, без дома, человек из сказки, гражданин мира, быть может — символ, сила. Он, как и всегда, кланяется лейтенанту. В их отношениях как будто ничего не изменилось, но в эту минуту из них двоих менее уверен в себе помещик. Неужели Хольменгро поджидал его?

Лейтенант, по обыкновению, сразу приступает к делу:

— В последний наш разговор вы сказали о трех выходах из создавшегося положения. Есть еще четвертый: оставим все как есть.

— Этого я не могу, — отвечает Хольменгро.

— Я не вправе продавать ни остальную часть реки, ни землю. Мне не позволяют сделать это кое-какие обязательства, перешедшие ко мне после смерти отца.

— Что не мешает вам, во всяком случае, согласиться на возмещение причиненных убытков.

— Гм... Не по душе мне это. Вы ведь не получили никакой выгоды от моих убытков.

— Господин лейтенант, я только что побывал на том месте. Эти два сооружения мешали мне, теперь их нет. Быть

может, это покажется вам странным, но они и впрямь мешали мне, а теперь их нет.

Лейтенант не остается в долгу:

— Я не совсем понимаю, о чем вы?

— Дело в том, — объясняет Хольменгро, — что, если бы я мог перенести вашу плотину на свою сторону реки, я бы поставил там одну очень нужную машину. Позвольте, господин лейтенант, попросить вас последовать за мной — я вам все покажу.

Они направляются вверх по реке, беседуя по дороге:

— Что за машина?

— Подъемник с приводом, который заменит на мукомольне дорогостоящую тягловую силу.

Лейтенант спрашивает что-то о рельсах и паровозе, и Хольменгро продолжает объяснять:

— Да, я хочу проложить рельсы — двойную колею — от пристани до мукомольни. А для подачи вагонов вверх и вниз использую водопад.

Они останавливаются, и Хольменгро, показывая рукой, рассказывает: вот здесь будет плотина, здесь — турбина. Шум водопада заставляет их стоять чуть ли не вплотную друг к другу; лейтенанту это неприятно; да и вообще он не видит более никаких препятствий к осуществлению плана Хольменгро и поворачивает назад.

— Можете приступать к строительству, — говорит он.

— Как? Нет-нет. Неужели нельзя найти решение, которое удовлетворило бы нас обоих?

— Не знаю. Банк запретил мне какие-либо продажи.

— Банк запретил? — говорит Хольменгро равнодушно. — Я освобожу вас от запрета банка.

Лейтенант останавливается — перед ним забрезжил луч надежды: выплатить банку долг наличными — это ли не поступок, достойный настоящего аристократа?

— Сумма долга немаленькая, — заявляет он, — под залог моей земли. Какую-то часть я уже погасил, осталось выплатить еще четырнадцать тысяч.

— В старых деньгах?

— Да, к сожалению. Четырнадцать тысяч в старых деньгах, далерах.

Хольменгро, видимо, умудрился мало-помалу перенять у лейтенанта его умение быстро решать дела; во всяком случае, выражается он все более и более кратко:

— Вам выдана закладная?

— Да. С поручителями, под обеспечение усадьбой.

— Я выкуплю бумаги.

Удивительное дело: решаются вопросы первостепенной важности, но при этом произносятся лишь несколько самых необходимых слов. Когда они расстаются, все уже улажено; они условливаются и о сумме за всю реку и за горное озеро. Господин Хольменгро выкупил их у владельца Сегельфосса, теперь они его собственность.

Лейтенанту, должно быть, захотелось осмотреть свои лесные угодья на западной стороне, раз уж он все равно тут оказался, и он повернул обратно к развалинам плотины, миновал ее и пошел вверх по течению реки к горному озеру. Какой тут прекрасный молодняк — лет через пятьдесят здесь поднимется высокий лес, ценный лес. Виллатс может быть спокоен! Ну что ж, все как будто уладилось! Совершена важная сделка, долг банку погашен, и на руках еще остались деньги, круглая сумма — ее хватит надолго. Кто бы ни был господин Хольменгро, не иначе его послало само провидение. На всякую беду он находит управу, поразительно. Но самое замечательное, что он все-таки не принял от господина Хольменгро никакой бесплатной услуги, а заключил с ним сделку. Только так и должно быть. Чувствовать себя вечно обязанным? Ни одна покупка не бывает так дорога, как подарок.

Да, лейтенант становится все мудрее и мудрее. Куда девались его юношеская неукротимость, его былое упрямство? Лишь изредка вспыхивал под пеплом еще тлеющий огонь. Только так и должно быть.

Он присаживается на пенек и погружается в размышления, он философ, и спешить ему некуда. Через час он встает и идет дальше; углубившись в лес, он осматривает свои владения: к сожалению, в лесу много свежих пней, оставшихся от последних вырубок для шахтных подпорок, но много и хорошего молодняка, который со временем вырастет и принесет Виллатсу богатство.

Сделав крюк, он выходит к усадьбе Хольменгро: большой новый дом, с виду весьма экзотический, с какой-то чудной, покоящейся на столбах крышей, которая выдается далеко вперед, чтобы давать больше тени,— как будто это так необходимо! На всем печать новизны, по двору разгуливают куры, в саду ничего, кроме кустов красной смородины. Смотрите-ка, из дома через заднее крыльцо вышла Адельхайд; должно быть, опять приходила играть на рояле. Ее

провожает господин Хольменгро, он ведет ее вдоль стены к маленькой калитке в сад. Забавно: он идет рядом, обняв ее рукой за талию. Они усаживаются под смородиновыми кустами.

И здесь, внизу, тоже прекрасный лес, правда, неоднородный, смешанный с лиственным. Если господину Хольменгро так уж и впрямь был необходим сосновый воздух, почему же он построил дом в смешанном лесу? Прежде лейтенант как-то не задумывался над этим, эта мысль пришла ему в голову только сейчас. Он зашагал дальше, снова вышел к реке и остановился на мосту. Отсюда хорошо виден кирпичный завод, одинокий и всеми забытый, даже разбушевавшейся рекой, — единственное, что у него осталось после потери реки и остальных построек.

Теперь лейтенант подолгу лежит у себя в комнате на диване и уже не вскакивает, не звонит Давердане — он отказался от многих привычек, он умерщвляет свою плоть. Но в общем ничего плохого с ним не происходит: он седеет, но это от возраста; он читает гуманистов, но это по склонности души. Если лейтенант иногда и позвонит, приходит Готтфред.

Маленький тщедушный Готтфред с детскими ручками.

Года два тому назад он ведь получил приказание явиться к лейтенанту, до смерти напугавшее его, — матери пришлось пойти вместе с ним в усадьбу. Но лейтенант был очень приветлив и, поговорив с мальчиком, разрешил ему остаться в доме.

Странный человек этот лейтенант: взял и повел мальчика к своей жене, чтобы справиться, согласна ли она оставить его в доме, и фру Адельхайд ответила мужу согласием. Так Готтфред и остался у лейтенанта. Теперь он нарядно одет, его хорошо кормят, и он похож на маленького изящного барчонка, хотя ходит в костюме грума, в куртке с блестящими пуговицами.

Обязанности у него весьма своеобразные — он ухаживает за господскими верховыми лошадьми и чистит седла; но вообще ему приходится делать и много чего другого полезного и нужного. Он находится исключительно в услужении у лейтенанта и его жены, никто другой не смеет ему приказывать, и он делит свое время между ними обоими. Высокородная госпожа довольно часто нуждается в его услугах, так, например, у нее нередко возникает желание поучить кого-нибудь французскому языку, а кто больше подходит для этого, как не Готтфред? А когда ей становится совсем скучно и хо-

чется с кем-нибудь поговорить, Готтфред всегда тут как тут. Конечно, все ее мысли о Виллатсе, и, в сущности, она мысленно разговаривает только с ним; иногда она читает Готтфреду письма сына, и тогда это настоящий праздник.

Сам лейтенант использовал Готтфреда больше для разных поручений: принести и отнести почту в контору на пристани или покормить горохом голубей. Это ведь тоже надо кому-то делать. Что и говорить, в этом большом доме работы всем хватало, и когда господа уходили куда-нибудь или возвращались домой, Готтфред стоял в холле, готовый к услугам. И это ведь тоже надо кому-то делать. Но, в общем, лейтенант и его жена были добрыми господами и слуг своих не слишком перегружали, к тому же Готтфред еще совсем маленький. Лейтенант, к примеру, иногда вызывал его звонком и просил спуститься по парадной лестнице и посмотреть на термометр, а когда мальчик возвращался и докладывал, сколько на термометре градусов, лейтенант тотчас отпускал его кивком головы.

Вот как хорошо жилось тут Готтфреду. А теперь и сестре Готтфреда Паулине, той, что всегда ходила с опущенными глазами, захотелось поступить на службу к лейтенанту. И никаких препятствий к этому не было. Просить за дочку пошла ее мать.

— Я спрошу у барыни, — ответила экономка.

— Я поговорю с мужем, — ответила фру Адельхайд.

— Если она вам нужна, то с моей стороны возражений нет, — ответил муж.

— Приведите сюда девочку, — сказала тогда барыня. — Как тебя зовут? Паулина? Мы тебя берем. Сколько тебе лет? Подними глаза, Паулина!

Так Паулина и осталась в доме. В Сегельфоссе и без того много прислуги, одним человеком больше, одним меньше, какая разница?

А время идет.

Лейтенант каждый день совершает прогулку верхом, осматривая свои земли и изгороди, свои овраги и леса; как и прежде, он обсуждает с Мартином-Работником неотложные дела в усадьбе, время от времени собирает торпарей на какие-нибудь экстренные поденные работы и все это делает в своей старой доброй манере.

Но зимы тут долгие и мертвые. Когда по вечерам он расхаживает по комнате, единственные звуки, которые слышны в доме, это его собственные, приглушенные ковром шаги.

Да, зимы тут долгие и мертвые. Виллатс учится в школе в Англии, Адельхайд играет на рояле у Хольменгро.

Странный человек этот Хольменгро. Теперь река полностью принадлежит ему, и самое время сооружать на ней плотину и ставить турбину, но он почему-то этого не делает. Прошло два года, а он так ничего и не сделал. Однажды он объяснил лейтенанту причину: к сожалению, ему пришлось отказаться от этих нововведений, иначе его возчики пострадают от них, оставшись без хлеба.

— Весь мой план рухнул! — заявил господин Хольменгро.

Вот так. А как обстоит дело с паровозом? Да и намеревался ли он вообще когда-нибудь осуществить эту идею?

Но лейтенант понимал: произошло и немало перемен — господин Хольменгро стал хозяином Сегельфосса, хозяином реки, леса и всей земли.

Когда эта мысль впервые предстала перед ним во всей своей невероятной очевидности, лейтенант ужаснулся и в одночасье совсем поседел. Однажды, движимый страхом и неотступным желанием хоть что-то прочитать в глазах у своего кредитора, он намеренно устроил встречу с господином Хольменгро на дороге. Но господин Хольменгро вел себя совершенно так же, как обычно, и был столь же вежлив и предупредителен к владельцу Сегельфосса, как и в первый день знакомства. И страх отпустил лейтенанта, проходили месяцы и годы, ничего не менялось. Господи, семья Хольменгро продолжала брать молоко в усадьбе и платила за него! Но не следует забывать и того, что лейтенант со своей стороны аккуратно выплачивал проценты в счет погашения своего долга, хотя, правда, не кто иной, как сам Хольменгро, помогал ему так или иначе доставать для этого деньги.

Однако не это было самое страшное. Как, например, забыть об орга́не, который когда-то решено было купить? И найдутся ли когда-нибудь средства на расширение церкви и на возведение галереи для орга́на? Лейтенант постоянно упрекал себя в столь долгой проволочке, ведь выходило так, словно у него не хватало на это денег. Неужели его предприимчивость пошла на спад? При первой же возможности он непременно возьмется за дело!

Но оказалось, что он пренебрег и еще кое-какими обязанностями; наконец-то на каникулы приехал домой Виллатс, и лейтенант понимал, что ему надо серьезно поговорить с ним. Это был уже взрослый, стройный юноша, но ему не хватало воли и той твердости характера, которой должен обладать

Виллатс Хольмсен. Что происходило с мальчиком? То он пожелал брать уроки рисунка и живописи, решил стать художником, — хорошо, становись художником! Нет, лучше он станет моряком — морским офицером, — прекрасно, превосходно, мой мальчик, посвяти себя морю, пока к тебе не перейдет Сегельфосс! Но у Виллатса немало и других фантазий, все-то ему хочется попробовать, как это ни грустно, он даже решил было посвятить себя всецело музыке, но, верно, то была самая пустая из всех его выдумок, ибо больше он о ней не упоминал.

Если бы только отец знал, что музыке и ничему другому милый Виллатс отдавал все свое время, день и ночь. Это у него было в крови, эту страсть ему передала мать.

XIV

Да, Виллатс приехал домой.

Он высокий, изящный, носит гамаши и серый английский костюм, настоящий англичанин. Увидев этого высокого юношу, своего сына, мать пришла в сильное волнение: сколько же лет прошло с тех пор, как он родился, годы, должно быть, подействовали и на нее, она постарела. До чего же все это ей чуждо и странно! Боже правый, у мальчика, кажется, начинает пробиваться борода! — думала она. И мать несколько дней с неприязнью смотрела на пробивающийся на щеках у сына пушок.

Он приехал в обществе другого молодого человека, которого хорошо знал еще с детства, с Антоном Кольдевином, сыном консула Фредрика. Юный Антон уже несколько лет учился в школе в Сен-Сире, как и его отец в свое время, он изучал коммерческие науки, собираясь затем вступить в дело отца.

Наконец-то один из Кольдевинов снова появился в Сегельфоссе — консул Фредрик прислал вместо себя почти взрослого сына. Боже, сколько лет, значит, уже прошло! — устрашающе быстрое повзросление юного Антона столь же неприятно поразило фру Адельхайд, как и повзросление собственного сына.

В остальном же у молодых людей, несмотря на связывавшую их дружбу, было мало общего; когда одному хотелось одного, другому хотелось другого, оба проявляли свой норов. Антон бродил по окрестностям, заглядывал на мукомольню, на пристань, к Хольменгро, в дома торпарей. Вил-

латс иногда, из вежливости, сопровождал его, но, пропитавшись английским духом, он предпочитал часами, бесплодно, с завидным упорством удить в реке форель. У Виллатса до сих пор сохранилось много от детства: он мог петь и играть с матерью и в то же время по-взрослому беседовать с отцом. Он тайком привез с собою кое-какие собственные музыкальные сочинения, романсы, маленькие вещицы — да, мать была убеждена, что он гений, дитя, родившееся в рождественскую ночь, и она пела эти детские песни, вознося их своим прекрасным меццо-сопрано в небесные выси, в райские кущи. Она забыла, что он давно вырос, сделав ее старухой, она обходилась с ним по-приятельски и иногда брала с собою к Хольменгро, чтобы он мог там поиграть на рояле и встретиться с детьми.

Они очень вытянулись, эти маленькие индейцы, и выглядели странно и необычно со своими черными волосами, желтой кожей и карими блестящими глазами. Казалось, в их жилах течет гораздо больше индейской крови, чем утверждал их отец, у Марианы даже походка стала какая-то скользящая, как у дикарки, а лениво свисающие руки явно указывали на ее родство с праздными предками. Юного Виллатса она поразила в самое сердце, и он в тот же миг почувствовал себя влюбленным.

На него снизошло удивительное состояние! Его словно пронизало блаженство, он ощутил непонятную расслабленность и сладостный укол в сердце. А она, тринадцатилетняя девочка, позволила себе пойти еще дальше — не сводя с него глаз, она погладила его по жилету. Они улыбнулись друг другу и покраснели, покраснели до корней волос, он поцеловал ее, едва коснувшись, но на губах ощутил запах, показавшийся ему упоительным. О, в какое же мучительное смущение повергла его эта дерзость. Господи, ему хотелось умереть, провалиться сквозь землю! Но он не отшатнулся, он обнял ее и спрятал свое лицо, они оба спрятали свои лица, уткнувшись носами друг другу в шею. Теперь оторваться друг от друга и встретиться взглядами и вовсе невозможно. Смотреть друг другу в глаза после этого дня? Никогда! Если бы еще было темно! Неужели нет никакого спасения?

— Гляди, по дороге кто-то идет, — говорит он.

— Где? — спрашивает она, чуть поворачивая голову.

— Вон там, он что-то несет.

— Да, он несет мешок; разве ты не видишь, что это мешок?

И они отходят друг от друга.

— Какой огромный петух, — восклицает он, по-прежнему избегая смотреть на нее.

Когда же они посмеют взглянуть друг на друга?

— Петух? — спрашивает она и смотрит во все стороны, но только не на него. — Где?

Виллатсу приходится признаться, что он видел петуха вчера, и был он огромный.

— А какой красивый! — говорит Мариана. — Гребешок торчит вверх, не у каждого петуха такой увидишь.

Тут подходит Феликс — на этот раз они спасены.

Какие же наступили прекрасные, удивительные дни! Когда Виллатс ездил теперь верхом, то делал это уже не для того, чтобы покрасоваться перед жителями придорожных домов, он в одиночестве совершал длинные прогулки только ради того, чтобы взглянуть на дом и сад Марианы. Ласковое лето и сверкающие глаза! Он жил в мире сладости и неги, его тянуло в лес, в горы и снова к домам, ему хотелось бродить без цели. Где он проводил ночи? Где можно проводить летние ночи? В траве, в сене, на детских качелях в саду, везде, иногда в постели, не раздеваясь, изнемогая от усталости. Ах, какие дни!

А каким он стал рассеянным и беспокойным, ни за что не мог приняться. Часами удить рыбу в реке? Все, с этим покончено; должно быть, занимаясь этим нудным делом, он чуть-чуть перестарался, желая казаться англичанином больше, чем был им в действительности. Все эти дни его постоянным спутником, терпеливым слушателем, участником его переживаний был Готтфред. Паулина? Ну да, конечно, Паулина носила теперь красивые платья, как и ее брат, вкусно ела, как и ее брат, вела здоровую жизнь. Но она так и осталась застенчивым цветком-недотрогой, ни разу даже не спросила у него, который час, чтобы он мог показать ей свои часы. Зато Готтфред наивно-доверчиво расспрашивал об Англии, давая Виллатсу возможность блеснуть; к тому же Готтфред уже неплохо говорил по-французски, а это уже не так мало.

— Послушай, Антон опять пошел к Хольменгро, — говорит Виллатс равнодушным тоном.

— Неужели опять пошел? — отвечает Готтфред.

— Вчера он тоже у них был. Не понимаю, чего он ходит к ним каждый день; Мариана сказала, что ей на него наплевать.

— Не иначе как навещает Феликса.

— Но я сам видел, что он встретился с Марианой. Полчаса тому назад. Они, наверное, за курятником.

— Пойду посмотрю, если хочешь.

— Неужели ты думаешь, что мне это важно! Пусть себе сидят там сколько угодно. Что я хотел сказать? Ах да, Белла у меня хороша, правда?

— А какая умница, — подхватывает Готтфред и принимается расхваливать лошадь: — Представляешь, не пошевелится, когда я мою ей копыта, а ухожу, она оборачивается и смотрит мне вслед.

Виллатс, должно быть, не слушает, его мысли заняты чем-то другим, он вдруг спрашивает:

— Ты умеешь молчать?

— Молчать?

— Ну, хранить тайну? Если умеешь, я попрошу тебя об одной большой услуге.

— Конечно, умею, — с готовностью отвечает Готтфред.

— Но если не ручаешься за себя, лучше не берись. Дело важное. Надо передать вот это письмо.

— Хорошо.

— Передать ей в собственные руки. Видишь, чье имя написано на конверте?

— Да.

— Только поскорее и, самое главное, чтобы никто не знал. Да, поскорее... впрочем, нет, я не то хотел сказать... не помню, что я хотел сказать, забыл. Но ты и сам понимаешь, о чем я. А если Антон еще там, мигни ей, пусть она от него отделается.

— Ладно.

— Только чтобы Антон не увидел письмо, ни в коем случае.

— Понятно.

Готтфред ушел и пропал, время тянулось ужасно долго, бесконечно долго, и Виллатсу ничего не оставалось, как пойти ему навстречу. Он увидел его у моста. Готтфред из осторожности кинулся под куст и только тогда вынул письмо.

— Тебе не удалось вручить его? — со страхом спросил Виллатс.

— Почему же, удалось. А это она просила отдать тебе в собственные руки.

— Ответ... она прислала ответ! Готтфред, ты молодчина!

Они идут домой, Виллатсу хочется пуститься бегом, но это неприлично. Что она написала?

— У меня есть тросточка, я отдам ее тебе, — говорит он. — Ты знаешь, что написано в письме?

— Нет.

— Ну ладно; что бы там ни было написано, все равно. Антона видел?

— Нет, он ушел.

Виллатс спешит в свою комнату, задерживается там на одну-две минуты, затем быстро спускается вниз, находит Готтфреда и отдает ему трость.

— Ну что ты, спасибо, не надо!

— Не болтай глупостей!

И снова убегает в свою комнату и остается там довольно долго, потом, напевая, спускается по лестнице, доходит до площадки, оглядывается, поворачивается и снова поднимается по лестнице, в третий раз, с таким видом, словно собирается запереться, чтобы выучить трудный урок или еще чем-нибудь заняться. Но через полчаса он уже, верно, одолел урок, так как снова показывается на лестнице и спускается по ступенькам. Что бы ему теперь предпринять? Он успокоился, немного расслабился, мимо по коридору проходит мать, она, должно быть, тоже решила прогуляться, они обмениваются несколькими словами, но она не предлагает сопровождать ее. Он слышит, как расхаживает по комнате отец — добрый его отец, товарищ и джентльмен до мозга костей,— он стучится к нему в дверь и входит.

— Ты разве не на рыбалке? — спрашивает отец. — Антон, наверное, у реки.

— Наверное. А мне не хочется. Как ты поседел, папа.

Отец удивляется:

— Поседел? Это не столь важно. А где мама? Вы что, не собираетесь музицировать?

— После. В последний раз мы пели одну английскую вещицу, а музыка норвежская, ты слышал?

— Да, очень красивая песня.

— Я не хотел тебе говорить, но это моя музыка.

Отец удивляется еще больше.

— Неужели, Виллатс? Поразительно красивая песня, я слышал ее отсюда. Значит, ты сам? А мама знает?

— Да.

— Музыка очень хороша, без сомнения. А что говорит мама?

— Ей понравилось.

Вдруг отец спрашивает:

— А ты решил, кем хочешь стать, друг мой?

Пауза.

— Художником или морским офицером? Надо остановиться на чем-нибудь определенном; я вовсе не хочу тебя торопить, но тебе же самому будет лучше. Музыка — это ведь только игра да забава. Однако твоя песня на редкость хороша, я слушал ее отсюда. Твоей матери она тоже понравилась?

— Да.

Придав лицу решительное выражение, отец говорит:

— Но музыка — это одно, а профессия — другое; ты согласен со мной? Приди к какому-нибудь решению, и тогда мы с тобою поговорим. Я ничего не имею против того, чтобы ты стал скульптором или живописцем; быть может, нашему роду суждено сделать подобный выбор, кто знает. Подумай об этом хорошенько и сообщи мне при случае свое решение.

Итак, он получил отсрочку, отлично. Но вопрос неизбежно скоро возникнет опять; что, если намекнуть о своем решении прямо сейчас?

— Ты считаешь, что мне необходимо окончить школу в Харроу? — спрашивает он.

Бог его знает, действительно ли его отец так считает, считает ли этот седой пожилой господин, расхаживающий по комнате, дело окончательно решенным. Бог его знает. Но отвечает он сразу:

— Окончить школу?.. Разумеется... если ты сам этого хочешь. Так что у тебя достаточно времени подумать, чем тебе заняться. Да, школу надо окончить.

Ах, вовсе не того он добивался. Ничего Виллатс не желал так страстно, как бросить школу в Харроу, которая мучила его невыносимо и где он только терял время. Но — утро вечера мудренее, и мать поможет ему; отец у него тоже отличный, а Мариана такая красивая...

— Хочешь, я еще раз сыграю тебе свои песни? — говорит он.

— Теперь? Нет, спасибо. Подождем до прихода матери, мне как раз сейчас надо кое-что сделать. Большое тебе спасибо.

С этими словами отец кивает ему, и Виллатс уходит.

Лейтенант снова один, ему никто не мешает, но дело, на которое он сослался, похоже, заключается все в том же: в непрестанном хождении по комнате. Окончить школу? Эта школа в Харроу для него загадка, надо бы хорошенько разузнать про нее. Что это, университет? Да и стоит ли овчинка выделки — год за годом посещать аристократическую

школу в Харроу? Он напишет Ксавье Муру и посоветуется с Адельхайд.

Позвонив, он справляется, дома ли госпожа.

Готтфред видел, как фру отправилась к Хольменгро.

— Когда она вернется, сообщи мне.

Ждать пришлось долго — целый час, за роялем Адельхайд забывала все на свете! Через два часа она пришла. Что такое — она плакала? Она необычайно мила и смиренна, это удивило его, и он спрашивает:

— С вами что-нибудь случилось?

— Со мной? Нет, ничего. Спасибо.

Они заговорили о Виллатсе. Собравшись с мыслями, Адельхайд приводит веские доводы: держать его дольше в школе в Харроу не имеет никакого смысла; да, школа аристократическая, изысканная и дорогая — но и только.

— Деньги тут ни при чем. Он у нас единственный!

Но от школы ему никакого проку, мальчик ничем, кроме музыки, не интересуется.

Страсть к музыке унаследована им от матери. Хольмсенам она чужда, лейтенант поэтому может позволить себе на этот счет насмешливое замечание, не рискуя оказаться несправедливым.

Но Адельхайд — что творится с нею сегодня? В прежние времена она отплатила бы ему тою же монетой, а сегодня, преисполнившись лишь еще большим смирением, она умоляющим тоном произносит:

— О нет, не говорите этого, у него это врожденное, он такой музыкальный. Если бы вы только знали — я не смею сказать вам...

— Что он сочиняет песни? Он сам признался в этом.

— Слава богу, и правильно сделал. Ах! Мой мальчик, он удивительно мелодичный, уверяю вас, мне доставляет глубочайшую радость петь его песни. Вы не слышали их вчера?

— Слышал. И не только вчера, а много раз прежде.

— Они вам нравятся?

— Ваше пение всегда прекрасно.

— Вы находите? Но песни действительно очень мелодичны, он необыкновенный мальчик, прошу вас запомнить это.

Лейтенант и сам считает своего сына необыкновенным, разве он утверждает что-нибудь иное? Его мать ведь тоже необыкновенная женщина... одним словом...

— Гм... Я ничего не имею против, чтобы мне об этом время от времени напоминали. Хотя это излишне.

— О, простите!

Еще больше смирения, еще больше кротости, почему? Лейтенант понимает, что ей довелось что-то пережить, иначе она не была бы так непохожа сама на себя. Ее почтительность ему приятна. К тому же она права, школа в Харроу только высасывает у них деньги. Вот она стоит перед ним, Адельхайд, ей уже немало лет, но она хорошо сохранилась, жизнь словно не тронула ее, такую стройную фигуру еще поискать. Гм... И вдруг он решает хоть один раз встать на ее сторону и пойти против сына, решает проявить власть и поступить Виллатсу наперекор. Быть может, ему же на пользу.

— Я предполагал написать Ксавье Муру, — говорит он, — но теперь это отпадает. Виллатс покинет Харроу. А ваше желание?

— Мое? Я ведь хотела просить за него у вас, — отвечает она.

Что за тон! Лейтенант говорит:

— Будьте добры, Адельхайд, подготовьте Виллатса к тому, что я, по причинам, сделавшимся мне известными только теперь, вынужден воспротивиться его возвращению в школу в Харроу.

— Хорошо. Он нисколько не огорчится, наоборот, будет вам благодарен.

Час от часу не легче; все словно с ума посходили, и только рассудок лейтенанта не изменил ему. Да, не приведи Господи иметь против себя и мать и сына! Чем же все кончилось? Тем, что Виллатс поедет в Германию. Он станет великим музыкантом, соответственно своему таланту, вот чем все кончилось.

— На вашу ответственность, — сказал лейтенант. — Он у нас один, но в этих вопросах вы разбираетесь лучше меня, на вашу ответственность!

Тут она сделала такое движение, словно хотела подойти к нему или протянуть руку, но удержалась. Изящное девичье движение, маленький, смущенный шажок навстречу, лейтенант был тронут.

— Спасибо, это такое благо, — сказала она, — благо для него и незаслуженное благо для меня.

Вечером они играли на рояле и пели.

А несколько дней спустя Виллатс пришел к отцу просить за мать. Поступок с его стороны настолько необычный, что, несомненно, за ним что-то крылось: Адельхайд желала сопровождать сына в Берлин.

Сомневаться не приходилось: коль скоро она оказалась вынуждена обратиться за помощью к посреднику, значит, хотела избежать подробных расспросов. Лейтенант спросил сына:

— Верно ли ты понял свою мать?

— Да.

— Скажи ей, что только из желания поберечь ее здоровье я сам не попросил ее поехать с тобою. На то есть разные соображения. Она все поймет и будет тебе очень полезна.

Виллатс вдруг почувствовал, как его заливает волна грусти, и ему стоило больших усилий овладеть собою. Была ли то любовь или, может, сострадание? Отец стал какой-то маленький и жалкий, кажется всеми забытым и покинутым — до чего печальное зрелище!

Собравшись с духом, он сказал:

— А в другой раз, отец, мы поедем с тобой. С тобой так весело ездить.

— Отлично, — ответил отец, кивнув головой, — в другой раз. А теперь иди и передай мое решение матери. И скажи, что я не сомневаюсь, что без нее в доме будет очень тоскливо. Но ничего не поделаешь. Когда вы уезжаете?

— Антон уезжает сегодня.

— Антон. А ты с матерью?

— Мама думает ехать сейчас же.

— Сейчас же?

— Мама говорит, что у музыки не бывает каникул.

Пауза.

— Хорошо. В этом она понимает больше меня.

Молодой Виллатс не собирался в этот свой приезд встречаться с Юлиусом. Рассказ Готтфреда о мошеннической проделке с перочинным ножом произвел на него глубокое впечатление. Юлиус несколько раз наведывался в усадьбу, по своей всегдашней привычке высматривал его, просил Готтфреда передать поклон, но Виллатс не выходил. Юлиус недоумевал: разве они не закадычные друзья? К тому же — что уж тут скрывать — он брат человека, который вот-вот станет пастором.

Впрочем, Юлиус нисколько не изменился и не стал хуже, чем был; напротив, выглядел как-то более внушительно, ловко справлялся с работой, когда того хотел, а в домашних стычках значительно превосходил по физической силе своих родителей. Об этом Виллатсу рассказал Готтфред, а Готтфреду все рассказал сам Юлиус. Способностями его Бог

не обидел, пожалуй, их у него было побольше, чем у брата, да только он не имел возможности приложить их к делу, а ученье никогда особенно его не прельщало. Зато разве дома он не набирался уму-разуму, расходуя свои умственные силы на то, чтобы научиться отличать соленую рыбу от вяленой или козла от козы? Но в последнее время Юлиус стал куда как дельным парнем; он провел две зимы на рыбных промыслах на Лофотенах и частенько подряжался на работу к господину Хольменгро. К тому же он подружился с Феликсом, в котором обрел своего единомышленника по части веселого невежества и ненависти к книгам. Феликс рос настоящим язычником.

И вот однажды идут Виллатс и Антон по дороге и видят — у своего дома стоит Юлиус. Что Феликс тоже где-то поблизости, никакого сомнения нет, откуда-то со стороны лачуг доносится его посвистывание.

Оба молодых человека кивают Юлиусу, говорят «здравствуй» и идут дальше.

Но тут, вероятно решив, что наконец-то молодые люди пришли повидаться с ним, — иначе зачем бы им идти этой дорогой? — Юлиус загораживает им путь.

— Что это значит? Ты что, не узнаешь меня, Виллатс? — спрашивает он.

— Узнаю, — отвечает Виллатс.

— Ты разве не меня ищешь?

— Нет, — удивленно отвечает Виллатс.

Вконец разобидевшись, что не он явился целью прогулки молодых людей, Юлиус говорит:

— Так не меня, значит. Ну ладно.

Разговаривая, молодые люди останавливаются, и Антон вдруг заливается громким смехом. Да неужели же Юлиус позволит над собой смеяться? Ни за что. Парень он рослый и крепкий, брови уже отросли, а уж кулаками Бог и вовсе не обидел.

— Чего этот дурак хохочет? — спрашивает он.

Но и Антон Кольдевин тоже парень не промах, не один раз дрался с кадетами в Сен-Сире; не годится обзывать его дураком.

— А по морде не хочешь получить? — заявляет он.

Юлиус, похоже, так далеко, на целых два шага, отступил, что теперь ему приходится подойти чуть ближе. Зачем? И что вообще толкнуло его на такую дерзость, и кто оценит проявленное им мужество? Дабы не ударить лицом в грязь, он вынужден сказать, что да, мол, он хочет получить по

морде, но лицо его при этом как-то вытягивается и принимает странное выражение.

Пауза.

Виллатс в принципе ничего не имеет против небольшой драки, но не устраивать же ее прямо здесь, посреди дороги.

— Хватит, ребята, успокойтесь! — говорит он.

Тут подоспел Феликс, маленький индеец. О, как он вдруг весь напружинился, ясное дело, все, что касается Юлиуса, касается и его; невозмутимо проскользнув между врагами, он взглянул на Антона сверкающими глазами. Этот маленький дьяволенок мог оказаться опасным противником. Виллатсу пришлось потратить много слов, под конец даже пригрозив уйти одному, прежде чем ему удалось утащить с собой Антона.

Но тут Юлиус распетушился не на шутку.

— Подойди-ка сюда! — заорал он. Сразу став богатырем и героем, этот брат пастора сплевывал табак с такой силой, что он разлетался во все стороны, сопровождая это все более и более крепкими выражениями.

— Видал я, как квены дерутся, — заявил он, — подойдика только сюда! Думаешь, я тебя боюсь? Я тебе покажу, где раки зимуют, я из тебя решето сделаю!

Феликс одобрительными выкриками поддерживал намерения Юлиуса.

XV

Виллатс с матерью уехали. Лейтенант, как всегда, устроил обед, на который пригласил Хольменгро с детьми. Поскольку на этот раз в судьбе Виллатса происходила важная перемена, речь отца к сыну отличалась необычной серьезностью: есть два способа сохранить свое имя для потомства, можно положить его в могилу, закрыв к нему доступ воздуха, и через две тысячи лет кто-нибудь да обнаружит его, или можно добиться того, что его возвестит миру буря, и тогда его запомнит история!

Отобедали быстро, и, хотя на этот раз среди них не было окружного врача Мууса, которому ничего не стоило испортить всем настроение, тишина за столом угнетала чуть ли не больше. Все были опечалены предстоящей разлукой, господин Хольменгро, как всегда предупредительный и участливый, прощаясь на пристани с фру Адельхайд, удержал на мгновение ее руку в своей и произнес почти шепотом:

— Возвращайтесь поскорее!

Шли месяцы, а фру Адельхайд все не возвращалась; что с ней случилось? Лейтенант время от времени получал письма, в которых она просила разрешения отсрочить свой приезд, — ну что ж, пусть будет так, к чему торопиться. Раз она сама не проявляет доброй воли и не спешит вернуться, решил лейтенант, тогда какая разница; он начал уже привыкать к своему положению, однажды даже снова принялся напевать. Давердана, которая опять служила у него в горничных, принесла эту новость на кухню, служанки стали прислушиваться, но ничего не услыхали, лейтенант напевал совсем тихо и неразборчиво, видать, больше для собственного удовольствия. Ну и что такого, что он напевает? Причина, верно, одна — его дом теперь обрел славу музыкального.

Вскоре пришло письмо, в котором фру Адельхайд просила об отсрочке на всю осень. Смиренное письмо, мольба; лейтенант начал подозревать что-то неладное. На всю осень? А осень пройдет, может — на всю зиму? За этим что-то крылось. Их брак был не хуже, чем у многих других, несчастье их миновало, но над ними постоянно тяготело какое-то злосчастье. Да, так оно и было. Несчастье — пустяк! У несчастья есть конец, пройдет, и его больше нет; гораздо хуже изо дня в день и из года в год страдать от отсутствия счастья. Даже ангелу случается рассердиться и укусить — бывает и такое! Но если ангел не кусается, а только ворчит, если ангел вечно растягивает губы в деланной улыбке? Бывает и такое, надо быть философом, ведь у нас, слава богу, много общего с гуманистами. Взять надоедливого комара — пищит и пищит, взмахивая своими стеклянными крылышками: и-и-и — поначалу лишь испытание для рассудка — поначалу. Счастье, что это такое? Нужно признать, что никакого существенного значения оно не имеет. Кстати, супружеская жизнь Хольмсенов стала в последнее время вполне сносной, наладилась, слава богу. Взаимное уважение присутствовало в ней всегда, теперь к нему прибавилась чуть ли не сердечность, сопровождавшаяся иногда мимолетной искренней улыбкой. Лейтенант даже начал было надеяться на определенное восстановление отношений, надеяться, что теперь, под старость, для них наступит новая жизнь; в последние недели пребывания Адельхайд дома она открыто проявляла к нему свою благосклонность, казалось, она уже не испытывала прежнего постоянного стремления избегать его — теперь, под старость. И вдруг она уехала и не хочет возвращаться!

Возможно, мелькает у лейтенанта мысль, что-то в ее жизни стало для нее еще более тяжким бременем, чем брак.

Что бы это могло быть? Бог его знает, но в любом случае — не пустяк. В последнем письме она написала, что виновата перед ним — ну, это, конечно, всего лишь слова, лесть, только бы отсрочить возвращение домой; но что-то мучало Адельхайд. Лейтенант как-то разом перестал напевать, видать, разонравилось. Пусть даже это и была очень коротенькая песенка, самая невинная, какую может себе позволить муж в отсутствие жены.

Но мало того, лейтенанту хотелось совершить что-то более значительное, он всегда все доводил до конца. Не следует оставаться безучастным, когда Адельхайд переживает кризис, надо порадовать ее чем-нибудь, когда она вернется домой; надо непременно решить это дело с орга́ном. Орга́н необходимо достать — ценою жизни или смерти.

Но если бы речь шла только об орга́не! А галерея, на которой он должен стоять? А место для галереи? Церковь придется перестроить. Но вправе ли лейтенант рубить деревья в своем собственном, давно им заложенном лесу? Он связан по рукам и ногам, ему ничего не остается, как снова пойти и заглянуть в лицо господину Хольменгро.

Осень прошла, а госпожа так и не приехала. Теперь она писала, что хочет пробыть в Берлине еще какое-то время — всю зиму; без нее Виллатсу будет одиноко — да и ей без него тоже. Кстати, устроились они очень экономно, денег тратят мало и все время занимаются музыкой.

Ну что ж, от судьбы, видно, не уйти; да и у лейтенанта будет время завершить свои строительные планы до возвращения Адельхайд домой.

Господин Хольменгро часто справлялся, как поживают в Берлине мать и сын, и это было весьма странно — по двум причинам: во-первых, он никогда не справлялся о Виллатсе в пору его жизни в Англии, и во-вторых, маленький Готтфред и без того время от времени наведывался к Хольменгро с письмами Мариане от Виллатса.

— Хорошо ли они там живут? — спрашивал иногда господин Хольменгро.

— Да, очень хорошо, — всегда отвечал лейтенант. Вот и сегодня он ответил то же самое и добавил: — Моя жена еще на некоторое время хочет остаться в Берлине.

И перевел разговор на церковь:

— Такая маленькая церковка... благодаря вашей деятельности население у нас сильно выросло, церковь стала тесновата.

— Да, — ответил господин Хольменгро, — что верно, то верно...

Но мысли его, видно, были заняты чем-то другим, а лицо его, казалось, испещрили сложные и непонятные письмена. Лейтенант умолк; человек чуткий, он замолчал, словно уловив намек.

А и в самом деле, разве не бывает в церкви ужасной теснотищи? В особенности по воскресеньям, когда одновременно совершают несколько крестин и когда на службу приходят все прихожане? И что будет на следующей мессе, когда впервые со своими односельчанами будет говорить новый слуга Божий Л. Лассен.

— Да, что верно, то верно, — только и ответил господин Хольменгро.

Лейтенант по своенравию своего характера наверняка подумал, что, обладай он прежним могуществом, тотчас же объехал бы свои тянувшиеся на многие мили леса и приказал бы свалить деревьев еще на полцеркви. И еще он наверняка подумал: будь я в состоянии поступать по своему желанию, сегодня же отправил бы телеграмму в Намсен с просьбой прислать бревен! Наверняка он так подумал, ибо лицо его приняло гордое и надменное выражение. О, он еще не совсем растерял свое могущество, деньги за реку не все израсходованы, и, если бы не эти двое, мать и сын в Берлине, он давно пустил бы их в ход, эти смешные кроны, множество маленьких монеток, которых так много в одном далере.

Вопрос, который затем задал господин Хольменгро, и ответ, который он получил от лейтенанта, были вполне достойны их обоих.

— Я никогда не бывал в Берлине — там не слишком дорогая жизнь для вашей жены? — спросил Хольменгро лейтенанта.

— Для моей жены в Берлине *не дорогая* жизнь, — ответил лейтенант господину Хольменгро.

Ошибки быть не могло — в последующие несколько недель отношения между исконным владельцем Сегельфосса и пришельцем, господином Хольменгро, приняли несколько иной характер. Постороннему глазу это было незаметно, но лейтенант не испытывал ни малейших сомнений относитель-

но совершившейся перемены, и в его гордой породистой голове возник план, над которым он думал день и ночь: он ходит по заложенной земле и живет в заложенном доме, нужно переселиться в другое место. Хорошо, что Адельхайд и Виллатс за границей, он напишет им, чтобы они там и оставались, а одному ему легче устроить свою новую судьбу.

Пастор Виндфельд завершает свое сочинение тем, что фру Адельхайд уехала за границу и осталась там из-за разногласий с супругом. Пусть так, но, по крайней мере, в этом вопросе между супругами царило полное согласие. «Оставайтесь пока там!» — написал лейтенант своей жене. И чтобы не принуждать ее к благодарности, сообщил всю правду: он намеревается осуществить кое-какие планы, для выполнения которых должен быть один.

Но куда переселиться? Остался у него старый кирпичный завод, он не продан, не отдан вместе с рекою. Правда, кирпичный завод тоже заложен, как и все остальное, но его можно выкупить; он обветшал, из всех щелей дует, но стены нетрудно прошпаклевать и приспособить завод под жилье.

Лейтенант целиком отдался этой идее. Все эти последние годы неуклонно приближающегося упадка заботы ни на один день не оставляли его, он никогда не пускал дела на самотек, это было чуждо его натуре. Разорение мукой отзывалось в сердце, но ему ли его остановить? Да и как? Зарабатывать деньги, что-то производить? Ему? Этому человеку, который только и умел, что тратить и платить, платить и тратить, расточителю, не обладающему богатством, антигению с выдающимся талантом по части расходования денег? Он был сын своих отцов и прожил жизнь в тени отцов.

С того дня, как он услышал истинный или только почудившийся ему намек господина Хольменгро, мысли не отпускали его, нагромождаясь одна на другую: он напрочь забыл или сознательно не думал о своем движимом имуществе, о набитом вещами доме, о мебели, произведениях искусства, библиотеке, рогатом скоте, лошадях, лодках, орудиях, машинах — обо всем этом он и не думал. Как человек законопослушный, он решил, что стоит в двух шагах от банкротства.

Перед ним, старым лейтенантом Хольмсеном, — чуждая ему сила! Обратиться к сестрам, живущим в Швеции? Ни за что; они не общались двадцать лет, а с тех пор как умерла мать, даже не переписывались. Может, уменьшить штат прислуги, сократить расходы, ежегодные счета от купцов в Бергене? Нет, отвечал он самому себе, вздор, ничего глупее он не слышал и не желает даже это обсуждать. Ведь тогда у

тех двоих, за границей, возникнет подозрение, что дела в Сегельфоссе совсем плохи! А они к этому не привыкли, да и не заслужили такого. У его сына, Виллатса, должно остаться такое же представление о своем отце, какое было у лейтенанта о своем: он всегда готов во что-то вмешаться, кому-то помочь, что-то подарить, купить, быть барином, быть Виллатсом Хольмсеном. Ну, а слуги? Разве в людской у него больше парней и девушек, чем во времена его отца? Маленький Готтфред, разве он кому-нибудь мешает? И разве его сестра, Паулина, не единственная девушка, которая так мило отвечает на его вопросы и, когда он проходит мимо, кланяется ему, как отцу родному? И как рассчитать теперь, в отсутствие жены, экономку? Нет, ничего нельзя изменить.

Экономка? Расторопная, старательная женщина, которую сама фру обучала много лет и которая теперь управляет всем домом! Как у нее все ловко получается, как спорится работа в ее руках! Нет.

Сама йомфру Сальвесен, кажется, ни в чем не испытывает нужды, все к ее услугам, большую часть продуктов поставляет само имение, а вина, деликатесы и колониальные товары доставляются, как и прежде, из Бергена. Недостатка ни в чем нет. И тем не менее йомфру Сальвесен не всегда весела и довольна своей участью; часто она кривит рот и не скупится на шуточки в разговорах с горничными.

Она управляет всем домом в Сегельфоссе, да разве это все? За ней настойчиво ухаживал начальник пристани, хотел жениться на ней. Воистину так. И какие забавные песни он пел. Весною между ними было почти уже все слажено; но тут подоспел поверенный Раш и тоже сделал ей предложение, а это уже совсем другое дело. Господин Раш намерен пойти тем же путем, каким прошли его отец, дед и прадед: основать семью, найти себе должность и достойно прожить жизнь. Судьба начальника пристани представлялась йомфру Сальвесен куда менее определенной, он делец, без денег он — никуда. Нет, начальник пристани не выдерживал никакого сравнения с тем, другим, не стоит о нем и разговаривать. Но все-таки экономке йомфру Сальвесен приятно иметь сразу двух поклонников.

Она подружилась с фру Иргенс, урожденной Геельмуйден, и по вечерам частенько наведывалась к Хольменгро поболтать с ней. Как вдова поверенного, фру Иргенс тоже держала сторону Раша: как бы там ни было, он все-таки образованный человек, а тот, другой, в лучшем случае способен держать лавочку. Не отказывайте Рашу!

— Только бы он не удрал, — говорит йомфру Сальвесен.

— Что вы? Образованный человек — и вдруг удерет? Никогда. Такой господин — да ни за что в жизни. Мой Иргенс ведь не удрал.

— Как вам живется в этом доме? — спрашивает йомфру Сальвесен.

— В этом доме? — Фру Иргенс качает головой и говорит, что тут настоящий рай. Никогда прежде ей не жилось так прекрасно, ну просто замечательно. Жаль, Иргенсу не пришлось здесь пожить.

— А знаете, что мне кажется, фру Иргенс? По-моему, господин Хольменгро совсем не такой, каким представляется.

— Почему? А какой же он?

— Он вас когда-нибудь обнимал?

— Да побойтесь Бога, что вы говорите, йомфру Сальвесен!

— А меня обнял.

— Обнял — вас?

— Да. Дня два тому назад.

Тут фру Иргенс обижается и говорит:

— Сдается мне, никого он не обнимал, как не обнимал и меня. Правда, в последние недели он вроде бы немного изменился. Но к чести его должна сказать, что он никогда не заходит слишком далеко. Никогда. А тем более с вами, ведь вы его совсем не знаете... Как, вы говорите, он поступил с вами? Вы привели меня просто в ужас.

Обе дамы продолжают беседовать, и йомфру Сальвесен мало-помалу тоже начинает обижаться. Да, ибо фру Иргенс высказывается в том смысле, что человек, мол, может обнять кого-то по самым различным причинам, например, если ему вдруг кто-нибудь преградит дорогу, мешая пройти — куда ему девать тогда руки, йомфру Сальвесен?

— Нет, вы мне таких вещей лучше не рассказывайте, — продолжает она. — Скажите лучше, а как у вас дела в усадьбе?

— У нас? — отвечает йомфру Сальвесен очень обиженным, ужасно обиженным тоном. — Видите ли, вы, конечно, можете сколько вашей душе угодно быть испанцами и богачами, но вам никогда не сравниться с нашими господами, так и передайте господину Хольменгро. Что-то я не видала у вас в доме блюд, бокалов и подносов из чистейшего серебра, а у нас — сколько угодно; не видала я у вас позолоченных ручек на серебряных вазах, а у нас и их сколько угодно. Вот так.

— Но, дорогая йомфру Сальвесен, ведь она уехала от него?

— Уехала от него? Да побойтесь Бога, фру Иргенс, и не болтайте чего ни попадя. Что вы такое городите! Она поехала со своим сыном в Германию, там он учится на композитора. Не пойму, на что вы намекаете? Сдается мне, у вас и впрямь произошли какие-то перемены. А что до меня, то я надеюсь прожить жизнь и умереть порядочным человеком, — взять, к примеру, консула Кольдевина: чтобы он меня когда обнял? Да ни разу — и передайте это господину Хольменгро.

Дамы продолжают беседовать. Смешной идет разговор, глупый и умный одновременно. Бояться им друг друга нечего, беседуя, они переходят на язык, привычный им с детства, и рассказывают самые невероятные вещи, обнажая свою истинную суть.

Наконец-то пастор Виндфельд внял разумным доводам и закону о перемещении чиновников и решил перевестись на юг — на юг. Старый и дряхлый, он поступал явно против своей воли, ибо, в сущности, ему было здесь хорошо и спокойно, церковь всегда была полна покладистых прихожан. Но ничего не поделаешь, милые мои! В Восточной Норвегии кое-кто так и жаждал получить свою долю от того, чем владел пастор Виндфельд; он не мог больше заставлять их ждать. Ему достался приход в живописной равнинной местности Смоленене.

Прибыл новый пастор. Не приходской капеллан, такого, к сожалению, еще не сыскали, нет, это был человек с самоотверженной душой, временно пожелавший послужить общине. Ну что ж, придется обойтись и этим и поблагодарить Бога за то, что здесь, на севере, согласился поработать настоящий пастор, хотя бы и только несколько недель.

И какой пастор! Видный мужчина в черном сюртуке и крахмальной сорочке. Вот уж кого ни с кем не спутать — руки, усохшие от перелистывания книг и рукописей, могучее телосложение — такому под силу взвалить на каждое плечо по овце и отнести их в стадо, — большущие башмаки, рассчитанные на две пары носков и обутые вдобавок в калоши. Он еще не обзавелся епископским посохом, пока еще не обзавелся, но зато у него были длинные волосы и на носу — ученые очки, ибо человек он весьма ученый. Сын Ларса Мануэльсена, Л. Лассен.

Он уже пастор. Приехал домой показать себя. Нельзя блистать в Кордильерах; блистать можно только дома.

Он прибыл с экономкой и с несколькими сундуками всякого добра и сразу же направился к пасторской усадьбе в центральном приходе. Его встретили помощники, которые с первой же минуты ревностно старались ему угодить. Ведь слава о нем шла уже несколько лет — кто не слыхал о Л. Лассене!

— Только бы вам здесь понравилось и вы бы пробыли подольше! — сказали ему помощники.

— Нет, нет, долго я тут оставаться не намерен, — отвечал пастор. — Но я счел своим долгом временно взять на себя обязанности священника.

— Видно, мы вам не пришлись по душе.

— Не надо так говорить, друзья мои; но здесь ведь глухая сторона, а я не могу жить в захолустье. Научные интересы влекут меня на юг.

— Так-то оно так. Но стоит вам пожелать приход, вы его получите по первому слову, это уж точно.

— Должность приходского пастора? Я не хочу ее. Мой врач запретил мне здесь жить, говорит, мне не вынести этого климата, слишком уж он суровый.

И вот наконец объявили день проповеди, и он попросил вынуть окна в маленькой, чересчур тесной церкви, чтобы те, кто не смогут войти, тоже его услышали. Что и говорить, такого пастора стоило послушать!..

Но еще теснее стала сегельфосская церковь, когда господин Лассен вошел в нее — яблоку негде было упасть! Милые мои, ведь в церковь пришли все до единого, даже Пер-Лавочник — и тот пришел; те, кто не сумел протиснуться внутрь, столпились у дверей.

— Выньте все окна, — приказал пастор, — тогда меня, с Божьей помощью, услышат и те, которые стоят далеко!

Истинными оказались его слова; голос пастора доносился до пристани, достигал домов торпарей. Не стоило даже подходить к самой церкви, и потому одна молодая пара по старой привычке отправилась, как и всегда по воскресеньям, к сараю за мысом; девушка была Давердана, сестра пастора, а парень — помощник заведующего пристанским складом.

Отслужив службу, пастор почувствовал, что проголодался, но поскольку приглашения ни от лейтенанта из усадьбы, ни от господина Хольменгро не поступило, то господин Лассен в смирении своем отправился вкушать пищу в родительский дом.

Да, вот он снова сидит здесь, паренек Ларс, благословенный сын и чудо всей общины. Его братья и сестры выросли, мать поседела, отец остался все тем же рыжебородым упрямцем, а Юлиус стал настоящим мужчиной.

— Не знаю, будешь ли ты есть нашу еду, — говорит мать.

— Конечно, буду; спасибо. У вас, я вижу, на столе свежее мясо, вот свежатиной и угостите.

— Мы зарезали козу, — говорит мать.

Что за изысканные манеры — подвязав носовой платок под подбородком, Ларс берет хлеб вилкой. Черт возьми, буркнул себе под нос Юлиус. Впрочем, члены семейства один за другим постепенно очищают помещение, оставляя Ларса в покое; малышей, забравшихся в угол, отец тоже прогоняет из комнаты.

Отец ошеломлен от торжественности обстановки, он почти потерял дар речи, к тому же ему надо показать сыну, что проповедь навела его на размышления, и потому он безмолвствует. А Юлиус, этот негодяй и грешник, забравшись на чердак, где заранее проделал дырку, наблюдает за братом. Нет, вы только посмотрите, как он себя ведет! Куда подевалась его воспитанность, он спешит, уплетает за обе щеки, ест грубо и слепо, ну, настоящая свинья, с губ капает жир. Он спешит, словно торопится впихнуть в себя побольше, словно боится, что кто-нибудь придет и отнимет у него еду. Юлиус приходит к выводу, что брат не настолько уж благороден, чтобы он, Юлиус, был не достоин с ним разговаривать.

Насытившись, пастор ложится отдохнуть на постель своих родителей и тотчас засыпает. Когда он просыпается, мать приносит ему кофе. Ну вот, теперь пастор восстановил силы, он сладко зевает и благодарит мать за кофе, а потом берет с полки, за балкой, две старые отцовские книги: сборник проповедей и «Зерцало человеческого сердца»; отец купил их когда-то, возвращаясь домой с рыбных промыслов на Лофотенах.

Тут в комнату по одному входят все члены семьи, появляются малыши, под конец приходит Давердана. Пастор ничего не видит и не слышит: он углубился в чтение. Ох, уж этот Ларс со своими книгами! Поглядите, как он перелистывает страницы, не слюнявя пальцы, как он держит книгу в руке, словно это сокровище. Мать смотрит на сына и видит знакомую картину: руки и шея у него, как и в былые дни, покрыты слоем грязи.

Оторвавшись от чтения, Ларс заводит разговор с домашними; а увидев Давердану, справляется у нее о лейтенанте.

— Спасибо, он здоров.

— Придется побеседовать с ним, — произносит пастор, — говорят, от него сбежала жена.

Он спрашивает о Виллатсе.

— Он учится музыке, — отвечает Давердана.

— Пустые забавы.

— Вот точно так и я думаю, — замечает отец, Ларс Мануэльсен. — Я человек несведущий во всем, что касается книг и газет, но я знаю, что музыка, карты, танцы, игра в кости и тому подобное, все это от дьявола — Господи, прости мои прегрешения!

— Долго ты собираешься пробыть у нас в округе? — спрашивает Юлиус.

— Не знаю, хотелось бы поскорее уехать, — отвечает пастор. — Епископ обещал как можно быстрее прислать мне замену.

— Почему ты не хочешь взять приход?

— Я крайне переутомлен от своих научных занятий и к тому же не выношу здешнего воздуха. Я должен жить на юге.

— Воздуха? По-твоему, у нас воздух как в свинарнике?

— Ты невежда, Юлиус, — говорит пастор своему брату.

Хотя, собственно, какую такую особую глупость сказал Юлиус? Разве что поинтересовался, чем, Господи, плох здешний воздух? Может, допустил слишком вольное выражение для приходского пастора?

— У всех северных приходов одна судьба: ни один пастор не соглашается поселиться в Нурланне. Да и я-то приехал только по своей доброте.

Какая редкостная встреча благочестивой глупости с ученой глупостью, мать чуть не лопается от гордости за своего старшего сына:

— Да, да, уж это ты знатно решил; в родные-то края заглянуть.

Но Юлиус не сдается:

— Выходит, нам здесь в Нурланне и вовсе не нужен пастор?

— Вздор болтаешь, Юлиус, — ворчит отец.

Пастор откашливается:

— Мой епископ считает, что жители севера вполне могут обойтись и пастором без особой учености. А уж перед его-то мнением тебе бы не худо склониться, Юлиус.

Юлиус ни перед кем не склонялся, если только его к этому не принуждали силой, а в данном случае ему ничего не грозит. К тому же уважения к брату у него сильно поубавилось, ведь страшно вспомнить, сколько козлятины умял Ларс.

— Послушай-ка, ты, часом, не болен? — спросил он, словно услышал это впервые.

— Да, к сожалению. Я слишком долго учился. У меня болит грудь.

Но Юлиус, слышавший сегодня львиный рык брата с кафедры, снова удивленно спрашивает:

— Грудь?

— Да, и глаза. У меня ослабленное зрение.

— Оставь Ларса в покое, Юлиус, — произносит отец с угрозой.

— А что за хворь у тебя в глазах? — спрашивает Юлиус.

— Такая, для которой нужны очки с вогнутыми стеклами. Тебе этого не понять.

Да, Юлиус ничего не понял и умолкает.

Пастор, положив руки на книги, говорит:

— Вы, верно, не пользуетесь этими книгами?

— Нет, увы, — отвечает отец, — божественное чтение у нас совсем в забросе.

— В таком случае нельзя мне их взять? — говорит пастор.

— А на что они тебе? — спрашивает Юлиус.

Отец делает вид, что ему совсем не жалко книг:

— Бери, коли хочешь.

— Но от них твои глаза еще больше испортятся, — заявляет Юлиус.

— С Божьей помощью не испортятся, — отвечает пастор. — Мой врач утверждает, что я теперь вижу лучше, чем прежде.

— Я еще про одну книгу знаю, — говорит Юлиус. — У Уле Юхана есть старинная книга, сочинил ее Еспер Брохман.

— Можешь мне ее достать? — спрашивает брат.

— Думаю, могу, — говорит Юлиус и уходит.

Пастор заводит разговор о господине Хольменгро, о его сугубо светской душе, занятой только коммерцией. Правда ли, что он начал пить?

— Хольменгро?

Пастор утвердительно кивает.

— Так мне рассказывали.

Мать опять качает головой: Боже, и все-то ее сын знает!

— Придется и с ним как-нибудь поговорить, — заявляет пастор. — А дети его совсем большие и, с тех пор как я от них ушел, наверно, все больше превращаются в язычников?

— Да, Феликс ничему не хочет учиться. Давердана слышала, что отец собирается отослать его обратно в Мексику.

Брат насторожился:

— В Мексику? И Мариану тоже?

— Нет, только Феликса. Мариана потом поедет в Христианию.

— В Христианию? Вот как!

Разговор переходит на Пера-Лавочника, пастор знает понемногу обо всех, его усердные помощники даром времени не теряли. Пер-Лавочник все толстеет, то и дело его вызывают к судье — пора бы ему кончать со своими предосудительными фокусами, хватит с помощью ловкости рук обмеривать и обвешивать покупателей.

А телеграфист, он все ходит по ночам охотиться на девушек? А начальник пристани? Правда ли, что у них дело сладилось с экономкой йомфру Сальвесен?

Давердана сидит как на угольях; ну вот, очередь дошла и до помощника начальника пристани, того самого, с которым у нее было свидание в сарае. О, она даже не посмотрит на него больше!

В комнату влетает Юлиус, он побывал у Уле Юхана, у него в руках толстая, неимоверно грязная книга, которую он бросает на стол. Бог знает, — уж не украл ли он ее?

— Вот тебе книга, — говорит он.

— Можно мне ее взять? — спрашивает пастор.

— Можно.

Мать снова качает головой: да уж, Ларс и книги, Ларс и ученость.

Сложив стопкой все три книги, пастор похлопывает по ним ладонью. Зачем они ему? Как же, ведь Л. Лассен начал собирать библиотеку, поэтому он очищает от книг домишки торпарей. Перед ним лежат еще три тома; в особенности хорошо будет смотреться на полке вот этот Еспер Брохман.

— Уле Юхан просил тебя прийти к нему и сказать назидательную проповедь перед отъездом, — говорит Юлиус.

— У Уле Юхана? Да ведь у него тесно в доме?

— Там тоже можно выставить окна.

Пауза.

Мать говорит:

— Ни в жисть не поверю, что ты так унизишься, что произнесешь проповедь у Уле Юхана. Он потом будет бегать по всему поселку и хвастаться.

— И не подумаю, — соглашается пастор. — К тому же я ужасно устал. Мое горло... гм! — Прикрыв рот рукой, пастор кашлянул несколько раз осторожно, как умирающий.

— Верно, ни к чему все это, — подтверждает и отец, Ларс Мануэльсен. — Хватит с Уле Юхана и того, что он слушал сегодняшнюю проповедь.

Но Юлиус — сущий дьявол:

— Ну, ежели дело только в этом, ежели ты охрип, так пусть мать поднимет тебе язычок серебряной ложкой. Раньше она меня всегда так лечила.

— Ты страшный невежда, Юлиус, — говорит пастор брату.

Надев пальто на свое крупное тело, он влез в калоши и вышел из дома. Должно быть, ему захотелось, прежде чем отправиться к себе, в пасторскую усадьбу, посетить старые пепелища. Давердана и малыши подскочили к окнам посмотреть, куда он пойдет.

А Л. Лассен пошел по знакомой дороге; тяжелая его голова слегка клонилась вниз, ему трудно было держать ее прямо. У него был такой вид, словно он никому не уступит дороги — так покойно и уверенно он себя чувствовал, и единственно, чего он опасался, сталкиваясь со встречными, так это того, что они ему не поклонятся. Ведь не пристало же ему кланяться первым, разве он не пастор? Прохожих было много, некоторых он совсем не знал, верно, рабочие Хольменгро; он смотрел им в глаза до последнего мгновения, и иногда дело кончалось тем, что они и вовсе не обменивались поклоном. Это не входило в его намерения. Но лучше так, чем кланяться первому.

Безусловно, у Л. Лассена есть все задатки, чтобы стать видным служителем церкви, и он еще выдвинется. И совсем не исключено, что со временем он еще похлопает по плечу лейтенанта Виллатса Хольмсена.

И вот тогда-то кое-что, пожалуй, произойдет.

Телеграфист сидит за своим аппаратом и принимает депеши. Вдруг поступает срочная телеграмма из Берлина, она коротенькая, но такая важная, что телеграфист непременно хочет отнести ее сам; он отстукивает три точки и тире, встает, делает несколько глотков из бутылки, стоящей на закрытой занавеской полке, запирает вопреки всем правилам контору и уходит. Он направляется к усадьбе.

Плечи у этого дюжего высокого человека при ходьбе покачиваются.

Так как он никогда раньше не бывал в усадьбе, он идет через черный ход, надеясь встретить кого-нибудь из слуг; он спрашивает лейтенанта: горничная приводит экономку и только после настоятельных требований телеграфиста идут за лейтенантом.

Лейтенант удивленно осведомляется, почему никто из слуг не расписался вместо него в приеме телеграммы.

— Могли бы и расписаться, да не в том дело. Просто мне хотелось предупредить вас, господин лейтенант, что телеграмма очень важная.

Лейтенант протягивает руку, чтобы взять телеграмму и прочитать, но телеграфист отводит ее и говорит:

— Подождите немного, подготовьтесь, телеграмма-то невеселая.

В любых других обстоятельствах лейтенант просто выгнал бы этого человека, сейчас же он недоуменно уставился на него. Он знал его по телеграфной конторе, этого Бордсена, всегда услужливого и любезного. Его приход и нелепое поведение привели лейтенанта в замешательство, что, быть может, и являлось главной целью телеграфиста. Прочитав наконец телеграмму, лейтенант поначалу отреагировал на нее довольно вяло.

«С матерью произошел несчастный случай...» — прочитал лейтенант. «Уф!» — выдохнул он, прислоняясь к двери. И прочел дальше: — «Несчастный случай во время купания». Странно, какой же несчастный случай может произойти во время купания? Там еще что-то написано, но, кажется, ничего важного.

— Надо послать ответ. Подождите немного, я пойду с вами, — сказал лейтенант.

Он взял в холле свою шляпу, и они отправились к телеграфной конторе.

— Во время купания? — с недоумевающим видом обратился лейтенант к своему спутнику.

— Фру, вероятно, ушиблась. Но телеграмма составлена странно, — ответил тот. Впрочем, похоже, он обо всем догадывается; немного спустя он заметил — быть может, чтобы еще немного подготовить лейтенанта: — Что-то тут неладно.

Они вошли в контору, и лейтенант сел писать Виллатсу ответную телеграмму, засыпав его вопросами. Пока он занимается этим, телеграфист принимает какую-то новую депешу.

— Подождите немного, — говорит он, оборачиваясь к лейтенанту, — поступила новая телеграмма. — И, записывая ее, снова пытается подготовить лейтенанта: — Ну вот, теперь дело ясное... к сожалению, известие...

Фру Адельхайд утонула во время купания.

Два дня спустя лейтенант отправляется на почтовом пароходе на юг, чтобы встретить сына, который находится уже на пути в Норвегию с останками своей матери. Вот и

пригодилась лейтенанту новая шинель, сшитая когда-то для поездки в Англию. Но теперь она уже не придает ему прежнего щегольски-породистого вида.

XVI

Поступившее из Берлина печальное известие произвело странное впечатление на господина Хольменгро: он как будто слегка помешался.

Поначалу он погрузился в глубокую скорбь и печаль, — ведь хозяйка Сегельфосса с первого же дня его появления здесь относилась к нему необычайно любезно, быть может, только благодаря ей он и сумел развить тут свою бурную деятельность.

Но прошло несколько дней, и с господином Хольменгро произошла перемена: жизнь стала казаться ему лучше и светлее. К чему скрывать правду, он явно начал смотреть на нее по-другому — как это понять? Все видели, как он улыбается, смеется, не иначе потому, что пьет за обедом свое испанское вино, какое другое найдешь этому объяснение? Помощники пастора Лассена бегали к нему с самыми подробными сообщениями.

Кто он такой, этот господин Хольменгро? Крест на небе, символ? А может, ничего таинственного в нем и нет, может, он просто выдающийся, способный человек переходного времени? Ведь несмотря на все его богатство жизнь его на плоскогорьях Мексики не отличалась блеском, он был там чужим, и не потому ли захотел вернуться на родину, чтобы здесь снискать почет и славу? Он приехал и снискал славу, но разве мыслимо поддерживать ее на далеком сером островке? Надо было во что бы то ни было выбраться оттуда, и он переселился в Сегельфосс и здесь нашел для себя достойное место.

Тут жили благородные люди, тут ему открылось широкое поле для торговой деятельности; тут можно блистать на весь Нурланн.

Что же дальше? Он осуществил все свои замыслы, быть может, даже успешнее, чем планировал, но продолжал вести скромный образ жизни; шум производили только его машины. Было ли в этой скромности что-нибудь искусственное? Можно ли было помыслить, что его благовоспитанность когда-нибудь изменит ему? Ни за что. Как бы такое могло случиться? К семейству лейтенанта он проявлял искреннее бла-

горасположение, к своим рабочим был снисходителен, к людям относился благожелательно и добродушно. Разве он прокладывал себе дорогу с помощью обмана и предательства? Нет, он был щедр и вел себя безупречно. Если лейтенант и чувствовал подчас подозрение к этому странному пришельцу, то в этом он должен винить только собственный характер. Случай с разрушенной мельничной плотиной? Но за это господин Хольменгро выкупил у банка его обременительные долги. А то, что он благодаря этому стал полным хозяином всей реки и всего горного озера, так ведь это случайность, счастливая случайность, как бы то ни было, он за все заплатил наличными. Какие же основания для подозрений могли быть у лейтенанта? Ну, положим, в Мексике тоже сколько угодно соснового воздуха, но не в тех местах, где жил господин Хольменгро, хотя он и там держал лесопильню. У него было плохо со здоровьем, он принимал пилюли — до тех пор, пока дело у него не пошло на лад; после того от него больше не слышали о расстроенном здоровье — вот как благотворно повлиял здешний воздух на господина Хольменгро, хотя тот же воздух оказывал, увы, совершенно противоположное воздействие на другого стойкого солдата жизни, пастора Лассена.

Кто другой обладал таким тактом, как господин Хольменгро? А естественность, с какой он его проявлял, словно он у него врожденный? Ежеминутно, постоянно. Фру Адельхайд — а уж она-то понимала толк в таких вещах — ни разу не почувствовала фальши. Как он умел передать ей уверенность и спокойствие! Был ли он влюблен в нее? Влюблен? Уж наверно он мог бы выбрать женщину помоложе. Он и впрямь очень ценил ее и совсем пал духом, когда ее не стало, но вряд ли это объяснялось влюбленностью. А чем же еще? Разве не льстила Тобиасу с островка возможность запросто бывать в усадьбе и считаться другом хозяйки? Ведь блистать перед лакеем, открывающим вам дверь, перед чернью может всякий, для этого достаточно напялить красный жилет. Господин Хольменгро равно умело проявлял свою преданность фру Адельхайд и почтительность к датскому посланнику. Крестьянин по рождению, он принадлежал к породе людей, для которых жизнь состояла лишь в том, чтобы не умереть. Все свои познания он приобрел, прислушиваясь к другим, сделал своей личной собственностью все то ценное, что витает в воздухе вокруг образованных людей, включая и их язык, — прекрасно сработано, господин Хольменгро, блестяще! Но он на двести лет моложе коренных владельцев Се-

гельфосса, он научился снимать шляпу, отвешивая поклон, но то была шляпа раба.

Были ли у него какие-нибудь особые причины скорбеть о смерти фру Адельхайд? Этот вопрос живо обсуждался в беседах экономки йомфру Сальвесен и фру Иргенс, урожденной Геельмуйден; быть может, фру Адельхайд из Сегельфосса сама когда-нибудь приоткроет тайну, если издадут ее дневник. И собаке случается снюхаться с волком.

Но что бы ни говорили, а господин Хольменгро сильно горевал из-за смерти фру Адельхайд; лицо его словно вытянулось, а нос как будто заострился — должно быть, оттого, что господин Хольменгро похудел. Ну, а переменился и повеселел он, верно, потому, что теперь нужда в церемониях отпала — ведь благородной фру Адельхайд уже не было в живых.

Да, господин Хольменгро изменился — куда уж больше: однажды он даже слишком далеко зашел с фру Иргенс; ей пришлось отстранить его и сказать: «Нет, нет, сюда могут войти!» А как-то вечером, встретив йомфру Сальвесен, он и вовсе предложил ей выйти за него замуж.

— Подумайте, — сказал он, — я дал вам свое слово. Приходите, посмотрите все как следует!

Совсем помешался чсловек.

Целую неделю он вел себя как паяц; от его прежней уравновешенности и следа не осталось. Казалось, он высвободился из многолетнего заточения. Как-то вечером, выпустив кур из курятника, он подкрался к окну служанки Марсилии и, увидев, что она не одна, придумал предлог: мол, куры выбежали, надо их загнать обратно в курятник. Мало того, он пошел за ней в курятник, поцеловал ее и дал ей денег. Вот дела! Ему и прежде случалось выкидывать глупости, но они не выходили из границ дозволенного. А поскольку он был богат, то действовал уверенно, не особенно заботясь о том, что́ о нем подумают. Воспользовавшись отсутствием лейтенанта, господин Хольменгро отправился даже в усадьбу и пожаловал к Давердане. Но она заявила ему, что обручена с помощником начальника пристани и не нуждается в ухажерах. Услышав эту новость, господин Хольменгро почувствовал укол ревности, ему показалось, что он влюблен, и он тотчас напялил на себя щегольское платье и прикрепил к жилету двойную золотую цепочку. В сущности, он был достоин жалости, этот старик, пребывавший в состоянии, которое подобает только юным.

Вспомнив как-то об окружном враче Муусе, он пригласил его к себе на обед. Что же тут особенного — простая вежливость. Доктора щедро и вкусно угостили, день обещал быть интересным. Этот человек с запада оказался гостеприимным хозяином, стол украшал отменный серебряный сервиз, а вина свидетельствовали о явной зажиточности; наслаждаясь блаженным покоем, доктор Муус положил ногу на ногу.

— Надеюсь, адвокат Раш тоже заглянет попозже, — сказал господин Хольменгро, — так что вам не будет скучно.

Значит, адвоката не пригласили на обед, его позвали лишь для компании. Доктор по достоинству оценил такое проявление уважения к своей особе. Правда, адвокат Раш тоже происходит из чиновничьей семьи, в этом отношении они на равных; но адвокат, как и пастор, все-таки не то же самое, что доктор. У господина Хольменгро, вероятно, еще со времен жизни на острове осталось в крови исконное крестьянское чинопочитание, теперь оно обернулось на пользу доктору Муусу, и доктор Муус не преминул этим воспользоваться.

Но не следовало ему злоупотреблять им без толку. Что знали в этом доме о величии истинной бюрократии!

Доктор, как это ни смешно, был уверен, что и ему пристало держаться с аристократической надменностью, поэтому он, наверное, так резко и схлестнулся с лейтенантом при их первой встрече. Господин Муус, продукт четырех поколений, отличавшихся лишь прилежанием в школе, средними способностями и ничем больше, отважился высказать суждения о музыке и о новых нотах, лежавших на рояле. Фру Адельхайд случилось как-то упомянуть в разговоре об этих нотах и тем побудить господина Хольменгро купить их. Что ж, теперь они так и будут лежать на рояле, тщетно дожидаясь фру Адельхайд, которая уже никогда не придет, но они требовали к себе, по меньшей мере, уважения, и нате вам, оказалось, господин Муус любит итальянскую музыку — родители внушили ему, что ее следует любить, — между тем как это был всего лишь Бетховен; да, фру Хольмсен всегда была настоящей немкой.

— Весьма прискорбный случай, — говорит доктор.

Господин Хольменгро низко склоняет голову;

— Страшный удар.

— Как он его переносит?

— Лейтенант? Он разумный человек, нам до него далеко. Но даже для него это почти выше всяких сил.

— Вы всерьез полагаете, что нам до него далеко?

Господин Хольменгро отвечает:

— Да, у меня создалось такое впечатление.

— Мне кажется, что ваше впечатление ошибочно, — говорит доктор.

Вот так прямо и заявляет.

Конечно, по крестьянской табели о рангах доктор стоит выше многих других, но господин Хольменгро перевидал на своем веку немало докторов, даже в Кордильерах они были не в редкость. Господин Хольменгро считал, что его впечатления кое-чего да стоят; в жизни ему нередко приходилось полагаться на свои впечатления, и они еще ни разу не подвели его, иначе ему не сидеть бы здесь и не быть Хольменгро.

— Да, я полагаю, что нам до лейтенанта далеко, — сказал он.

Это не понравилось господину Муусу, который принадлежал к высшему классу и обладал неоспоримой ученостью.

— Есть большая разница между теми, кого несчастье ставит на колени, и теми, кто с неуклонным безумием несется к гибели. Лейтенант принадлежит к последним. Я слышал, вы теперь собственник его усадьбы.

Ну разве можно превращать фру Адельхайд и лейтенанта в самых обыкновенных людей, о которых всякий вправе иметь свое суждение! Велика ли тогда честь для господина Хольменгро быть много лет их большим и близким другом!

— Это сплетни, — сказал он.

— Сплетни? Об этом говорят люди, которым вполне можно верить.

— В таком случае вы ослышались или неправильно их поняли.

— Нет, я правильно их понял. В вас же я вижу лишь беспричинный страх перед лейтенантом. Что ж, тем лучше!

Тут пришел адвокат, и подали напитки. Адвокат держался, так сказать, ближе к земле; он не хвастался своей ученостью, с ним можно побеседовать о практических вещах, не прошло и нескольких минут, как он уже заговорил с господином Хольменгро о делах. Пил он гораздо больше доктора, даже хозяина заставил пить больше — впрочем, бог его знает, зачем; быть может, затем, что желал добра своему благодетелю. Адвокат Раш многим обязан господину Хольменгро: домом, землей и первыми советами; контора его явно процветала: у него уже был собственный кабинет и комнатка для письмоводителя. Вообще он очень быстро пошел в гору. И давно уже собирался выкупить землю под домом и прилегавший к ней участок, но господин Хольменгро каждый раз

отказывал ему, объясняя это тем, что лейтенант не хочет отчуждать земли Сегельфосса.

Теперь он снова спросил о том же самом и получил тот же ответ.

После чего с почтительным видом опять заставил господина Хольменгро чокнуться с ним.

К чему это привело? К тому, что господин Хольменгро, крестьянин с далекого островка, изрядно выпив, весь вечер излагал свои великие идеи. Последняя из них заключалась в том, что он вздумал заняться ловлей испанских сардин и решил снарядить целый норвежский флот в Сантандер.

— Но ведь норвежским рыбакам вроде бы запрещено там промышлять?

— Я их натурализую.

Быть может, он всего лишь хотел блеснуть перед своими гостями, упомянув к тому же о двух месторождениях руды в соседних округах, которые он намеревался приобрести. Может, и правда хотел блеснуть, но зачем? Ведь обычно он никогда не раскрывал своих замыслов, а обдумывал их молча. Он говорил, по своей привычке, спокойно, без хвастовства, но в мозгу его пылали большие планы, и слушать его было интересно.

— За ваше здоровье, господа, — закончил он, — очень любезно с вашей стороны, что вы заглянули ко мне!

Неслышно входит длинноногая малышка Мариана, демонстрируя гостям изящный реверанс. Она поразительно развилась, в пухлых губах угадывалась чувственность взрослой женщины. Она передает отцу только что пришедшую почту:

— Письма с родины!

Странно слышать норвежскую речь из уст этой девушки с низким лбом, прямыми индейскими волосами и раздувающимися ноздрями.

— Больше ничего нет, — добавляет она.

— Спасибо, — говорит отец.

Да, больше ничего нет, сама она ничего не получила; письма от молодого Виллатса прекратились.

— Простите, одну минутку! — говорит господин Хольменгро, вскрывая одно письмо с иностранными марками. Быстро пробежав его, он обратился к дочери:

— Тебе поклон, мой друг!

Мариана, снова сделав реверанс, бесшумно вышла из комнаты.

Господин Хольменгро отложил письмо в сторону:

— Если вы, господа, находите, что херес слишком переохлажден или наоборот — у нас ведь разные вкусы... ну, нет так нет.

Вежлив и равнодушен, как всегда. Он начал подтрунивать над адвокатом и его сватовством к йомфру Сальвесен; потому, верно, ему вынь да положь приобрести в собственность землю и выпас! Ах, молодежь, молодежь!

Доктор воспользовался случаем:

— А почему бы вам, господин Хольменгро, и не продать землю адвокату Рашу? Сразу бы всем показали, кто хозяин Сегельфосса.

— Разве я могу продавать землю в имении, которое принадлежит лейтенанту? Пер-Лавочник тоже хочет купить землю, он так набил мошну, что желает приобрести две десятины. Я даже не сказал об этом лейтенанту. Впрочем, все это мелочи; кому какая разница, кто из нас владеет двумя десятинами. Вот двести — это дело другое.

Адвокат спрашивает:

— Но отчего лейтенант отказывается продать? Ведь не даром же? Я знаю еще одного человека, который охотно стал бы землевладельцем: Ларс Мануэльсен. Как-то он пришел ко мне и заявил: мол, с тех пор, как сын его сделался пастором, к тому же пастором известным, ему не пристало оставаться на положении торпаря, он хочет выкупить свою усадьбу и приобрести еще порядочный кусок годной для обработки земли.

— Он — отец пастора Лассена? — спрашивает доктор.

— Да. И конечно же, за его спиной стоит пастор. Вы с ним знакомы?

— Нет. Он был у меня на приеме и показался мне очень скромным. Он, разумеется, крестьянин, но крестьянин, усвоивший некоторые культурные навыки.

— Да, это его отец. Весьма почтенный человек, пастор его сын, — говорит адвокат, снова обращаясь к Хольменгро. — Кроме него, я знаю еще многих, кто желал бы выкупить свою землю. К их числу принадлежит и ваш собственный пекарь, господин Хольменгро.

— Мой пекарь? У меня нет никакого пекаря! — Господин Хольменгро, кажется, сыт по горло болтовней этих двух изящных и смешных людишек. Ему вдруг все становится безразлично, и он, не задумываясь, выпаливает:

— Мой пекарь? Вы, похоже, считаете меня эдаким всесильным богачом, думаете, вот эта моя часовая цепочка настоящая? Разумеется, она ненастоящая. С какой стати мне

выбрасывать деньги на ветер? Для этого я не так богат. Цепочка позолоченная, она куда крепче, чем золотая, а блестит, как золото; разве нет?

Захотелось ли ему подбросить этим господам новую тему для разговора? Или он из хвастовства решил подновить свою сказочную славу? Фраза, которую он произносит мгновение спустя, облечена в форму комплимента:

— У меня есть сын, Феликс. Моей мечтою было сделать его таким же образованным человеком, как вы, господа, но он наотрез отказался учиться. Придется отослать его обратно в Мексику.

— В Мексику? К кому же? Я думал...

— Можно найти кого-нибудь... Впрочем, у него найдутся там и родственники, например, его мать.

Пауза. У адвоката и доктора крайне удивленный вид.

— Я думал... Мне передавали, что вы вдовец?

Господин Хольменгро равнодушно смотрит на доктора, ему наплевать на него, он говорит без оглядки:

— Да, по всему видать, здесь из Феликса ничего не выйдет; он, похоже, желает вернуться к своему племени. А Мариана, моя дочь, останется со мной.

Вечером, провожая гостей, господин Хольменгро был не настолько пьян, чтобы не найти тайных тропинок.

Поздний вечер, господа хорошо закусили и выпили, угощение было выше всяких похвал. Но доктор Муус все же не преминул отметить, что хозяин весь вечер намеренно противоречил ему, и в этом ясно проявилась ненависть невежественного представителя низших классов к высшему классу, к которому принадлежал он, Муус, и адвокат Раш. Адвокат Раш поддержал его.

На этом чудачества господина Хольменгро закончились, в последующие несколько дней он снова стал господином над самим собой и королем над всеми. Он весь отдался приготовлениям к похоронам; заказал по телефону венок на гроб фру Адельхайд, и когда во фьорде показался почтовый пароход с полуспущенным флагом, приказал густо усыпать набережную и дорогу еловыми ветками. Не из уважения ли к лейтенанту прекратил он свои сумасбродные выходки? Или ему стало стыдно? Какова бы ни была причина, но в последние две недели господин Хольменгро наделал много глупостей, и не будь он тем, кем был, ему потребовалось бы немало времени, чтобы восстановить свою репутацию — господину Хольменгро на это времени не потребовалось вовсе. Он авантюрист, от него можно ожидать всего.

На похороны прибыл Фредрик Кольдевин с супругой; наконец-то у него нашлось время приехать в Сегельфосс, давненько он здесь не бывал. Со своего острова приехали и старые Кольдевины; сухонькие, седенькие, безгласные осколки прошлого. Похожие на морщинистых птенцов-альбиносов. Полковник фон Плац из Ганновера прислал на похороны своего представителя и цветы, которые, впрочем, опоздали на целую неделю.

А лейтенант даже в этих обстоятельствах не удержался от странной и своевольной выходки: вызвал по телеграфу для отправления похорон пастора из соседнего прихода. Как только у лейтенанта хватило на это сил! Казалось бы, такое потрясение любого бы сломило, но нет..

Однако вечером явился кучер пастора из соседнего прихода — вместо священника он привез письмо с извинением и объяснением: у пастора, дескать, неотложные дела. Должно быть, пастор, поразмыслив, не осмелился пойти против коллеги Л. Лассена, которому покровительствовал епископ.

Улыбнувшись, лейтенант сказал сыну:

— Ничего не поделаешь, придется пригласить Ларса. Ну да это не столь уж и важно, твоя мать все равно его не услышит. Вели Мартину-Работнику привезти завтра утром Ларса.

Роль посредника между прибывшим пастором и лейтенантом взял на себя консул Фредрик. Лейтенант не пожелал, чтобы Ларс произносил речь, пастор был неумолим, но из уважения к лейтенанту согласился говорить по возможности коротко и обещал не выходить навстречу гробу к воротам кладбища.

— В таком случае я остаюсь дома, — заявил лейтенант.

Чтобы не рассердить друга, консул Фредрик сделал вид, будто обдумывает принятое им решение.

— Разумеется, это выход, — кивнул он. — Только не будешь ли ты потом раскаиваться?

— Буду, конечно.

— Не лучше ли тогда потерпеть какой-то час, чем потом сожалеть всю жизнь?

Лейтенант отказался от мысли остаться дома. Он надел парадный мундир с эполетами, саблей и золотыми кистями, а поверх свою дорогую шинель. В таком ослепительном виде его еще никто не видел. Молодой Виллатс был в новом черном костюме и в цилиндре, обвитом крепом. Как ни странно, но и отец и сын были в белых перчатках без черной каймы.

Рабочих Хольменгро отпустили с работы, мукомольню остановили, все торпари и арендаторы собрались на кладбище, черном от массы людей, такое случалось лишь в редкие воскресенья, когда в церкви совершалось сразу по нескольку крестин. Гроб утопал в венках; венки прибыли из Англии, из Германии, от Хольменгро, от Кольдевинов, от купцов из Бергена. На могиле вырос целый холм цветов.

Пастор Лассен начал говорить речь; видимо, он чувствовал себя не вполне уверенно, но слишком уж подходящий представился случай порассуждать о духовном, он просто не мог позволить себе выполнить свое первоначальное решение и произнести короткую речь. Любой другой осиротевший родственник был бы безусловно благодарен ему за глубоко прочувствованные слова утешения, но лейтенант остался верен себе: он стоял с отсутствующим выражением лица и, скорее всего, не слушал пастора. По прошествии получаса, не желая больше ждать, лейтенант вдруг взял из рук пономаря маленькую деревянную лопатку и передал ее пастору, не потрудившись даже протянуть ее черенком вперед. Пастору пришлось остановиться; посмотрев на лейтенанта, он понял, что время вышло, взял лопатку и бросил на цветы три кучки песка.

Могилу зарыли.

Те, кто видел сцену с лопаткой, осудили лейтенанта; осудил его Ларс Мануэльсен, осудил Пер-Лавочник; где это видано, чтобы так обращались с представителем Господа, каким был «наш» Ларс, несущим слово Божье. Но пастор оказался сообразительнее их, человек культурный, он не бросил лопатку лейтенанту в лицо. С достоинством доведя до конца церемонию, он по ее завершении решил согласно прекрасному пастырскому обыкновению обратиться с особым словом утешения к родственникам, но, поскольку чувствовал себя не вполне уверенно, обратился прежде всего к молодому Виллатсу, стоявшему к нему ближе всех. Протянув юноше руку, пастор Лассен сказал:

— Ты понес большую потерю, да поможет тебе Бог справиться с ней!

О, Бог безусловно это сделает, стоит только пастору довести это до Его сведения, посоветовать Ему это.

Тут послышался голос лейтенанта — и пастор увидел перед собою полные ледяного высокомерия серые глаза:

— Как ты смеешь говорить моему сыну «ты»?

И лейтенант ушел домой.

Пробыв на этот раз в Сегельфоссе всего два дня, старики Кольдевины отбыли домой на своей лодке с каютой на корме. Лодка напоминала доисторический корабль, населенный тенями. Старики Кольдевины все время пребывали в растерянности: этой дороги тут не было раньше, говорили они; этого дома там не было раньше, говорили они и покачивали головой, не узнавая знакомых мест, сомневаясь, в Сегельфосс ли попали. А потом уехали домой, не совершив даже прогулки по молодому лесу, не сказав почти ни слова.

Консул Фредрик с женой пробыли четыре дня, а потом пришел направлявшийся на юг почтовый пароход и увез их. Консул Фредрик тоже растерял былую жизнерадостность, он сильно поседел, под глазами висели мешки. Жена его, толстая мещанка, отличалась крайней набожностью. Лейтенант ушел в себя, весь отдавшись скорби; никто не ожидал, что скорбь его будет столь сильна и из-за утраты Адельхайд он перестанет спать по ночам,— ведь он потерял ее гораздо раньше. Консул Фредрик чувствовал себя в Сегельфоссе неуютно; все четыре дня он только и мечтал поскорее уехать.

Вечера он, по обыкновению, проводил за вином со своим старым другом, но оба держались весьма холодно и говорили до смешного мало, консулу Фредрику так и не представился случай изложить свои взгляды на жизнь. О происшедших в усадьбе переменах не было сказано почти ни слова. Однажды, когда консул заметил, что он, к сожалению, до некоторой степени виноват в этих переменах, лейтенант тотчас прервал его:

— Я тебе очень благодарен за них.

Консул попытался заговорить о Виллатсе. Продолжит ли Виллатс учение в Берлине?

— Конечно, — ответил лейтенант. — Он отправляется на юг тем же пароходом, что и ты.

— Моя дочь Теа, — говорит консул, — ты помнишь ее? — вышла замуж за штурмана.

— Маргарет поступила правильно.

— Он служит капитаном.

— Вот видишь!

— Да, капитаном на пароходе «Klaeggen»[1], пятидесяти двух футов. Но в этом мало утешительного.

Пауза.

Консул делает попытку шуткой развеять грустное настроение.

---

[1] «Липучий» (*датск.*).

— Ты и правда считаешь себя виноватым в том, что у вас в округе стало на одного рыбака-лентяя меньше?

— Да, и глубоко в этом раскаиваюсь; людей жалко.

— Ну что на это скажешь! Помнишь, много лет тому назад в нашем городе родился мулат? Не понимаю, как это случилось, но меня стали обвинять, будто я содействовал появлению на свет этого ребенка. Ты слыхал что-нибудь подобное! Якобы оно как-то связано с одним празднеством у меня в саду, хе-хе-хе. В конце концов мне это надоело, и я отослал ребенка. Теперь он учится в торговой школе в Филадельфии.

— В таком случае твой проступок менее серьезен, чем мой, — говорит лейтенант.

До чего ж тоскливо теперь разговаривать с другом; консул Фредрик почти жалел, что приехал на похороны. Откровенно говоря, он уже так много лет живет жизнью своего маленького городка, что начал находить ее даже приятной. Разве его дело не процветает? Разве не скрипят перья у него в конторе? И разве не поддерживает он знакомств с самыми лучшими семействами города? И каких только интереснейших тем они не обсуждают у себя в клубе! Например, нынешним летом дочь домовладельца Боммена доплясалась до смерти на немецком военном корабле, стоявшем в гавани. Хе-хе, вот сумасбродная девица! Французский офицер никогда бы не замучил ее танцами до смерти.

Но иногда консул Фредрик, большой любитель пошутить и посмеяться, уединяется и погружается в раздумья. Должно быть, ради приличия. Как-то раз, не найдя, очевидно, тихого уголка, он вошел в спальню фру Адельхайд. Вид у него был усталый и измученный, под глазами набрякли мешки. Увидев среди других безделушек гребень, он принялся его разглядывать; очевидно, гребень показался ему очень красивым, так как разглядывал он его долго. Потом, словно сообразив, что спальня фру Адельхайд не самое подходящее место для размышлений, он тихо вышел из комнаты.

Он спустился в оранжерею. Вот куда надо было сразу идти, здесь так хорошо и тихо! Что такое — он унес с собой гребень! Забавно! Но дело сделано, какой пустяк, не стоит докучать этим лейтенанту. Кажется, будто гребень еще пахнет... ее волосами? Чепуха, если от него чем-то и пахнет, так только черепахой. А вдруг в гостиной раздастся сейчас ее голос, и она запоет, запоет вот для этих цветов? Ах, каким чудесным веером раскрывалась в песне ее страстная натура, как бывала она тогда хороша и безумна. Бедняжка! Впрочем, всех жалко!..

На прощанье консул Фредрик успел поговорить с экономкой, йомфру Сальвесен. За день до отъезда, зная, что его жена далеко, у фру Иргенс, он подошел к окну буфетной.

— Это вы! — сказала йомфру Сальвесен.

— Да вроде бы я, йомфру.

Все это время йомфру Сальвесен была всецело поглощена скорбью, на ее губах уже давно не играла веселая улыбка; теперь она по тону консула улавливает, что можно на несколько минут отбросить серьезность.

— Вы пришли затем, чтобы еще раз положить всему конец, господин консул?!

Консул Фредрик проглатывает пилюлю и говорит:

— Йомфру Сальвесен, я все знаю!

— Все?!

— Быть может, вы мне что-нибудь еще расскажете?

— Нет-нет, не хочу доводить вас до безумия.

— О женщина, вы обещали вашу руку и сердце двум мужчинам, но не мне. Знают ли начальник пристани и адвокат, как нехорошо вы поступили со мною, йомфру Сальвесен?

Но шутка немного тяжеловесна, и йомфру отвечает:

— Я расскажу обо всем моему жениху, адвокату Рашу.

Ее слова вызывают у консула Фредрика неподдельный интерес, не меньший, чем смерть йомфру Боммен от танцев. Он спрашивает, высоко подняв брови:

— Вас можно поздравить? Это правда?

— Да, почти, — отвечает йомфру Сальвесен с улыбкой.

— Забавно. Вот новость так новость. Когда же свадьба?

— Еще не знаю. Быть может, через год.

— А с кем же останется лейтенант?

— Я не уйду, пока он не найдет себе другой экономки.

— Вы будете жить в Сегельфоссе?

— Да, во всяком случае, какое-то время; у Раша ведь здесь крупное дело. А потом он собирается искать себе должность на юге.

— Возможно, что вы попадете в наши края, йомфру Сальвесен, не забудьте тогда навестить меня.

— Благодарю вас за вашу любезность, консул Кольдевин.

— Дело в том, что я ценю образованных людей, коллекционирую образованных людей... Поразительная новость! Разрешите пожать вашу руку, йомфру Сальвесен.

— Минутку! — отвечает йомфру и вытирает руку. — Теперь можно!

Держа ее руку в своей, консул снова приходит в игривое настроение.

— Теперь, когда я держу вашу руку в последний раз... — заводит он.

— Ха-ха-ха...

— Я хочу сказать: пока вы еще невинны... то есть пока мы оба еще невинны. Когда я держу эту руку, которая мне не досталась...

— Ах, пустите, господин консул!

— Которую мне не суждено было получить... Не найдется ли у вас рюмки водки или еще чего выпить, йомфру?

— Увы, нет, — отвечает йомфру, оглядываясь. — Пустите меня, я схожу в столовую и принесу для вас что-нибудь.

— Нет, спасибо, тогда не стоит. Йомфру Сальвесен, вот вы спросили, пришел ли я затем, чтобы еще раз положить всему конец. Нет. Я пришел исключительно для того, чтобы сообщить вам о своем решении. О том, что я наконец придумал выход. По-настоящему мне надо было бы пропеть об этом голосом, идущим от сердца, примерно так: в тот самый миг, когда пастор Лассен ниспошлет благословение небес вам и адвокату Рашу, меня найдут с веревкой в руке и с глазами, возведенными к потолку в поисках крюка...

— Ха-ха-ха, вы просто невозможны!

— А известно ли вам, что тогда произойдет?

— Ваше жена идет! — говорит вдруг йомфру.

Консул Фредрик выпускает ее руку.

Хорошо зная свою жену, он тотчас идет ей навстречу и объясняет, что йомфру Сальвесен стала невестой адвоката Раша, и он только поздравил ее.

— Разве для этого непременно нужно пожимать ей руку? — осведомляется жена.

— Я решил проявить учтивость, — ответил консул Фредрик, — теперь ведь она приобретает совсем другое положение в обществе. Возможно, со временем войдет в круг наших знакомых.

Молодой Виллатс чувствует угрызения совести: он совсем перестал писать Мариане письма. Как это произошло? Постепенно. Начать с того, что он был очень занят. К тому же, сгорая от любви и тоски, он во всем признался матери, а та, очень встревожившись, сказала, что слышать не хочет ни о каких письмах. Когда же он заявил, что будет любить Мариану до гроба, мать ответила: «Подожди лет десять, тогда посмотрим! Сначала ты должен добиться чего-нибудь в жизни, порадовать отца».

Но, снова увидев Мариану на пристани, а потом на кладбище, он не выдержал и протянул ей руку; взглянув ему прямо в лицо, она подошла совсем близко и стояла, чуть ли не прижимаясь к нему и не сводя с него глаз. Мариана так безрассудно нежна.

В конце концов они встретились, молодому Виллатсу непременно нужно было пойти именно этой дорогой, а там — она; чуть повыше моста шел глубокий, заросший ивняком овраг, и они поспешили туда. Молодой Виллатс был уже в дорожном платье, он уезжал на ожидающемся вот-вот пароходе; но, несмотря на то, что у него оставалось совсем мало времени, он не мог выдавить из себя ни слова. Ах, куда же исчезли все слова из его головы и сердца!

Мариана тоже молчала. Они стояли, обрывая с веток листья.

— Я сегодня уезжаю, — сказал он.

— Знаю.

— Не особенно далеко.

— Феликс тоже уезжает, — ответила она на это. — В Мексику.

— Вот как!

— Он не хочет учиться. И я тоже в Христианию уеду, — сказала Мариана. — Мне то хочется ехать, то не хочется.

— До Христиании еще ближе, чем до Берлина, не стоит печалиться.

— А ты будешь мне писать? — спросила она.

— Буду. Только у меня времени на это не хватит, если я хочу, чтобы из меня что-нибудь вышло. Так мама сказала.

Мариана ничуточки не обиделась, нет, она только о чем-то задумалась, а потом попросила его писать ей по воскресеньям, в воскресные вечера.

Нет, по воскресеньям не получится.

— Я написала тебе много писем, я писала тебе и вчера и сегодня. Вот, посмотри, — сказала она, протягивая ему два письма. — Пожалуйста, — добавила она.

И Виллатс протянул девушке руку и, поблагодарив ее, спрятал письма в карман, от счастья и нежности не в силах вымолвить ни слова.

И как-то само собой вышло: Мариана, высокая, хорошенькая, индейские волосы ниспадают на спину, смуглое лицо залито румянцем, — да, Мариана прижалась к нему, а он, ничего не соображая, обнял ее. Они стояли, уткнувшись друг другу в шею, пока он не выдавил:

— Можно поцеловать тебя... за письма... ты позволишь?

Она ответила лишь легким движением, выражавшим согласие, и их губы слились в долгом поцелуе, а глаза закрылись.

А потом оба заторопились. Потому что уже не осмеливались смотреть друг другу в глаза.

— Ну, прощай, — сказал он.

— Прощай, — сказала она.

Когда Виллатс вернулся домой, Готтфред провел его в комнату отца. Старый и сгорбленный отец торжественно произнес:

— Я ждал тебя.

— Прости, я...

— Уже простил. Гм... Твое полное имя — Виллатс Вильгельм Мориц фон Плац Хольмсен.

— Да? — спросил сын.

— Да, так тебя зовут. Гм... А в обычной жизни называют Виллатсом.

— И что?

— Если хочешь, мы станем звать тебя Морицем.

— Зачем?

— Если ты хочешь, говорю я.

— Да, но я вовсе не хочу.

— Не лучше ли, чтобы в Германии тебя звали Морицем? Твоя мать... мы обязаны это сделать ради нее.

— Я всюду записан Виллатсом, — возразил сын.

— Твоя мать звала тебя Морицем.

— Не помню, не слышал.

— Когда ты был маленький.

— А потом — никогда.

— Хорошо, тогда больше говорить не о чем. Гм... Извини меня, что я никого не пригласил на сегодняшний прощальный обед.

— Милый папа, да...

— На этот раз нельзя было, мы не имели права.

— Послушай, папа, может быть, ты поедешь со мною... Подумай!

— Некогда, голубчик. К тому же ты теперь взрослый человек. Веди себя хорошо, Виллатс. Счастливого пути!

XVII

Если бы все было как в прежние времена, лейтенант поставил бы на могиле Адельхайд памятник; а что он мог сделать теперь? Естественно, он вышел из положения, заказав

большую, достойную ее памяти бронзовую плиту, но это все-таки не настоящий надгробный памятник. И естественно, он бы пожертвовал церкви в память об Адельхайд позолоченную серебряную утварь, будь у него на то хоть какие-нибудь средства.

Стало быть, со средствами дело обстояло неважно?

А как могло быть иначе?

Пришлось отказаться от орга́на. И разве сумел он изыскать возможности, чтобы заказать портрет Адельхайд и свой собственный для галереи предков? Какое унижение для человека с врожденным чувством порядка сознавать, что ты не в состоянии выполнить такое важное дело. Кроме того, есть маленький Готтфред: надо о нем позаботиться. А малышка Паулина, неужели бросить ее на произвол судьбы? И полулопаря Петтера — ведь он когда-то был грумом у Адельхайд?

В каком-то отношении даже хорошо, что Адельхайд вовремя покинула его, ей бы не вынести всего этого, ее песня наверняка бы смолкла. Случаются в семьях несчастья, которые оборачиваются благодеянием — Всевышний сменил гнев на милость.

Так утверждают гуманисты, к числу которых принадлежит и лейтенант.

Но когда Фредрик Кольдевин поинтересовался, вернется ли молодой Виллатс в Берлин, это было уж просто смешно. А куда ему деваться? Неужто остаться дома и нос к носу столкнуться с нищетой, в которую впал отец? Жизнь, видно, крепко потрепала беднягу Фредрика, если он не понимает даже, что речь идет не о ком-нибудь, а о Виллатсе Хольмсене, который предпочитает жить за границей, время от времени наведываясь домой.

Лейтенант не сломлен, он не жалуется, он человек гордый, светский, воин с сильной волей. Быть может, лейтенант утерял интерес к жизни? Ох, в таком случае он не выискивал бы ее повсюду днем и не терзался бы думами о ней ночью. Год траура еще не прошел, и при его любви к порядку ему никак бы не следовало отступать от общепринятых правил; но терпению его пришел конец: он решил снова ввести чтение вслух по вечерам.

В горничных у него теперь маленькая Паулина, кому-нибудь ведь надо же прислуживать ему, а она славная и тихая, с бархатными синими глазами. Должно быть, лейтенанту для разнообразия снова захотелось почувствовать себя пашою, и он звонком вызвал Давердану.

Она пришла не сразу. Лежа на диване, он с удовольствием представлял, как она моет руки. Вот сейчас она войдет в комнату, покачивая бедрами, пробуждая в нем опасные надежды. Он лежал, засунув кулаки в карманы брюк, грубый, безумный. Вот она идет через комнату за книгой, возвращается и все покачивает, покачивает бедрами...

Но так как был светлый летний вечер, его блуждающий взгляд заскользил по комнате, по мебели и картинам, остановился на большой фотографии Адельхайд, на алфавите и игрушках Виллатса... Все состарилось, его время миновало.

Да, его время миновало.

Кулаки в карманах разжались, неотступно терзала мысль: его время миновало. Сколько лет ему, в сущности, осталось? Господи, как же он обманут и одурачен!

Заслышав шаги Давердаиы, он вдруг вскакивает и замирает. От гнева или от растерянности? Былая горячность вдруг ударяет ему в голову, он весь напрягается и стоит не шелохнувшись. Когда входит Давердана, он говорит только, что, мол, она расторопная девушка, гм... что она всегда была расторопной девушкой... короче говоря... гм... Его порыв улегся так же неожиданно, как начался, и он заканчивает: «Постой-ка!» И, вынув из ящика стола кредитную бумажку, протягивает ей.

Давердана кланяется, зардевшись от радости, и благодарит. О, любое слово лейтенанта, хорошее или плохое, ценится высоко. Но когда он отпускает ее кивком головы, Давердана очень удивляется и останавливается в нерешительности; разве ей не надо читать? Разве они не будут играть в шашки? Лейтенанту пришлось кивнуть еще раз: можешь идти!

Все, дело сделано.

Как когда-то он решительно заявил своей жене: «Это в последний раз!», так же он поступил и теперь по отношению к самой жизни. Почему все его зрелые годы прошли впустую? Что ж — ему оставалось делать лишь то, что положено делать старику, дабы не вызывать отвращения у самого себя и у других: стоять, выпрямившись во весь рост. Пристало ли ему довольствоваться объедками с барского стола? Он гость, которого обнесли, но который не хочет исподтишка набивать себе рот вместе со слугами; он переносит обиду молча, с гордо поднятой головой. Он гнушается воспользоваться благами, оставшимися на его долю, он не был удостоен этих благ раньше и не желал быть удостоенным теперь. Он что, мстит самому себе? Да — и себе, и всем и всему, мстит с гордо поднятой головой.

Это было в последний раз.

Малышку Паулину не разжаловали из горничных, о, вовсе нет. Но так как лейтенант обладал удивительной способностью создавать себе расходы при всяком удобном случае, то и Паулине полагалась кредитная бумажка, раз Давердана получила. Впрочем, это одна из тех маленьких, новых кредиток, которые и давать-то стыдно.

— Ты и впрямь рада? — говорит он Паулине. Лейтенант любит иногда с ней поболтать.

— Да, благодарю вас, — отвечает Паулина.

— Дать тебе еще одну?

— Нет, спасибо, нет...

Потом он заговорил с ней о том, чему ей хотелось бы научиться, что она сама думает по этому поводу? Любит ли она шить?

Нет, Паулине хотелось бы научиться быть экономкой.

Вот как? Экономкой? Ну что же, это можно сделать. Йомфру Сальвесен научит ее, неглупо придумано. Он поговорит с йомфру Сальвесен...

В таком же духе он побеседовал с телеграфистом Бордсеном о маленьком Готтфреде: нельзя ли мальчика научить телеграфному делу? Собственно говоря, мальчиком его уже не назовешь, Готтфред вырос, заматерел, рыбак из него все равно не выйдет, к тому же фру Адельхайд основательно обучила его языкам.

Телеграфист Бордсен человек удивительный, когда лейтенант вошел в контору, он играл на почти черной, с глубоким звуком виолончели. Увидев гостя, он встал и поклонился. И, выслушав, в чем заключалось дело, ответил:

— Разумеется, господин лейтенант, раз вы этого желаете...

Это была не ирония, это была вежливость, словно лейтенант все еще оставался всесильным властелином Сегельфосса.

Лейтенант столь же вежливо ответил, что он очень благодарен.

Когда лейтенант ушел, телеграфист Бордсен проследовал к полке, скрытой занавеской, и, отхлебнув из стоявшей там бутылки, снова сел за виолончель. Его широкие плечи покачивались в такт музыке.

Шли дни, лейтенант все больше старел, но держался прямо. А вот что угнетало господина Хольменгро, отчего поседели волосы и борода у этого человека, которого, кажется, ничто не должно было угнетать? Его состояние бросалось в глаза. Не мог же так сильно повлиять на него двухнедельный

разгул, а смерть фру Адельхайд его и вовсе не касалась, ведь она не была его женой.

Феликс уехал. Да, ибо Феликс не пожелал учиться, объяснял его отец, поэтому ему пришлось вернуться к своим родным в Мексику. Жалко смотреть, как удручен этим господин Хольменгро, впрочем, чего иного и ожидать? Да, солнце уже не светит так ярко для обитателей Сегельфосса, вот и Давердана все чаще поникает головой, грустя о чем-то. Юная девица Давердана с рыжими волосами. Как-то раз, случайно оказавшись у колодца для скота, позади всех домов, Давердана, не таясь, плакала, а рядом с ней, как ни удивительно, стоял господин Хольменгро. Экономка, йомфру Сальвесен, своими глазами видела, проходя мимо. Совсем, что ли, мир обезумел? Да нет, мир вполне нормален, и у йомфру Сальвесен мелькает страшная догадка: а ведь легко могло случиться, что я сама стояла бы перед господином Хольменгро, заливаясь слезами!

Ярко светит солнце? Так вот, такого человека, как Пер-Лавочник, хватил удар, того самого толстяка Пера-Лавочника, который по привычке даже самого себя обмеривал и обвешивал, и то хватил удар. Беда приключилась немалая, у него отнялась одна половина, и окружной врач Муус сказал, что, если с ним случится еще один удар, все будет кончено. Для Пера-Лавочника мир словно совсем обезумел, но он не сознавал этого. Как, одна половина его тела лежит мертвяком в постели? Всю жизнь быть таким деятельным человеком и вот так неожиданно оказаться ни к чему не годным и праздным — за что ему такая напасть? И именно теперь, когда он в полном расцвете сил. Никогда прежде не удавалось ему так ловко обсчитывать покупателей, а с тех пор, как он получил разрешение на торговлю вином, он почему-то начал вовсю торговать роскошными, дорогими вещами. Шторы, что ли? И шелковые платки, тонкие чулки и висячие лампы с призмами. Все? Ха, кому теперь охота надрываться зимними вечерами, ведь за деньги у Пера-Лавочника можно купить все чего пожелаешь. Он продавал фабричные грабли и топорища, он продавал жареный и молотый кофе в изящной упаковке, он продавал маргарин в банках и шпик из Америки. В прежние дни всем приходилось самим крошить курительный табак — проехали, конец каторге. Пер-Лавочник ввел в обиход табак фабричной крошки. Башмаки? Раньше по дворам и хуторам ходил Нильс-Сапожник и шил башмаки всей семье на целый год — растягивал кожу на колодке, просмаливал дратву и жил припеваючи, этот Нильс-Сапожник, —

теперь у Пера-Лавочника продавалась городская обувь — тонкая, как материя, и блестящая, как стекло.

Из всего этого и следует заключить, что Пер-Лавочник был и впрямь человек деятельный, и вот теперь, непонятно почему, лежит недвижный в постели. Впрочем, торговать он продолжал с помощью жены и детей, властным голосом отдавая распоряжения из постели — все шло своим чередом. Еще в те времена, когда он был здоров, он привык всех держать от себя на почтительном расстоянии и теперь себе не изменил; когда ему надо было кого-нибудь позвать — стучал палкой в пол. Время от времени он приглашал доктора, обращался к знахарям и знахаркам, пил ворвань и опольдекокт, клал холодные компрессы, которые, видать, принесли ему больше всего вреда, и вот в один прекрасный день, постучав палкой по полу, он потребовал к себе пастора — не поможет ли он?

— Вы только посмотрите! Может ли с человеком случиться чего хуже в этой земной жизни? — заявил он ему.

Пастор Лассен сказал ему в утешение, что у него, мол, еще осталась одна здоровая половина, а главное, что он еще жив.

— Жив? Куда там! Видите эту палку? Во мне жизни не больше, чем в ней.

Чтобы успокоить его, пастор Лассен стал говорить ему о Иисусе Христе и его страданиях, пред которыми страдания Пера-Лавочника — ничто! Пусть благодарит Бога за то, что у него осталась здоровая половина.

— Вы все свое: здоровая половина, здоровая половина, — отвечал больной, — не такая уж она и здоровая. — И Пер-Лавочник принялся перечислять различные недочеты своей здоровой половины. Вообще он теперь сделался большим знатоком по части своих половин.

— Вот поглядите на эту половину, — сказал он, отбросив парализованную руку к стене, чтобы пастор мог лучше разглядеть ее. — Да, да, я об этой половине. Вот лежит себе, но кабы я не видел ее, то и не знал бы, что она вообще у меня есть. Какой от нее толк, ее и кормить-то никакого резона! — Взяв парализованную руку другой рукой, он поднял ее, повернул и помахал ею в воздухе. — И эта-то рука — часть меня самого, — сказал он, — тьфу, Господи, прости мне мои прегрешения. — С этими словами он опять отшвырнул руку к стене.

Пастор Лассен снова принялся его утешать, назвав его Енсеном — а ну как поможет.

— В сущности, далеко не всем так повезло в жизни, как вам, дорогой Енсен. Подумайте, может, хоть это примирит вас с мелкой и кратковременной неудачей.

Извертевшись от нетерпения, больной спрашивает:

— А вы-то сами не можете мне помочь? Не знаете ли вы какого-нибудь средства... какого-нибудь заклинания?

— Заклинания?

— Ведь вам, пасторам, ведомо много такого, в чем мы, простые смертные, ничего не смыслим?

Очевидно, именно на это надеялся Пер-Лавочник, потребовав к себе пастора.

— Да, да, это до некоторой степени верно, — ответил господин Лассен, не отрицая того факта, что ему и впрямь кое-что ведомо. Почувствовав свое явное превосходство, этот сын соседа-рыбака решил воспользоваться им — разумеется, для служения добру. Да и любопытно узнать, каким мошенником был этот Пер-Лавочник, — нельзя ли заставить его исповедаться?

Пастор Лассен подошел к двери и плотно прикрыл ее, хотя она и без того была закрыта, затем подсел поближе к больному и устремил на него пристальный взгляд. Преисполнившись надежд, Пер-Лавочник, вероятно, посчитал все эти действия приготовлениями к заклинанию.

Господин Лассен приступил к делу:

— Скажите, Енсен, а не было ли так, что вы — я обращаюсь к вам, как духовный пастырь,— что вы слишком уж ловчили в жизни, действуя именно этой парализованной рукой, а, Енсен?

Пер-Лавочник разинул заросший двухнедельной щетиной рот.

— Что? — спросил он. — Ловчил?

— По части обмеривания и обвешивания? — сказал господин Лассен. — Спрашиваю вас именем Господа.

Рот Пера-Лавочника закрылся, напряжение мгновенно сменилось бешенством, и он схватил палку.

— Я тебе половчу! — воскликнул он. — Так ты за этим сюда явился? Ну-ка отправляйся лучше домой и талдычь свои проповеди отцу да родичам. Совсем уж сбрендил!

Вконец разгневавшись на господина Лассена, своего духовного пастыря, он даже стал ему «тыкать» и называть Ларсом.

Пастор ушел.

А больной закричал ему вслед:

— И передай своему отцу, пусть заплатит мне все, что с него причитается по книге! Мерзавец эдакий!

Пастор Лассен отправился прямо к родителям, где и учинил им небольшой разнос: что слышно про Давердану, долго ей еще в девках ходить? А отец так и собирается сидеть сложа руки, всю жизнь в торпарях мучиться да в долги залезать? Вон Пер-Лавочник требует своих денег!

— Улаживай свои дела сам, — сказал он отцу. — Были бы у меня деньги, я бы помог тебе, все бы отдал, до последнего гроша. Но все, что я зарабатываю, уходит на книги и чтенье. Ищи сам выход.

— Так-то оно так, — ответил отец. — Да только где мне взять деньги? И лейтенант не желает продать мне землю, вот и сижу в торпарях.

— А ты спрашивал его?

— Я спрашивал Хольменгро.

Пауза. Сын размышляет.

— Да, пожалуй, это под силу только Хольменгро. Но я, во всяком случае, не собираюсь портить себе из-за этого карьеру.

— Ясное дело, — ответил отец. — Чего ты не хочешь портить?

— Карьеру.

— Вот и я говорю, что не следует тебе ее портить, эту самую... Сегодня же пойду к Хольменгро, потолкую с ним по-хорошему.

Лейтенант уже не ездит верхом каждый день, как прежде, он начал ходить пешком. Это удивляло всех, кроме него самого: разве не стоят по-прежнему его лошади в конюшне, и разве полулопарь Петтер не выводит их иногда, чтобы они не застаивались? Почему же сам лейтенант прекратил свои верховые прогулки?

У лейтенанта есть на то собственные резоны: скорее всего, он хочет загодя отвыкнуть от лошадей. Его мучит бессонница, он бродит по окрестностям, погруженный в размышления, частенько отправляется к кирпичному заводу, что-то вымеряет и меряет шагами, кивая при этом головой. Похоже, он облюбовал с какой-то целью угол этого огромного строения, наметил, где прорубить окна в деревянной обшивке. Но бывало, он целыми днями сюда не заглядывал, все ходил туда-сюда с киркой и лопатой, носил цветочные горшки и копал землю. Но копал в таких странных местах, что люди

только дивились: неужели и лейтенант, этот третий Виллатс Хольмсен, начал искать клад своих предков? Вот до чего дошел этот гордый и совсем не суеверный человек. Может, это бессонница повлияла на его умственные способности? Но цветочные горшки из оранжереи, которые он то и дело наполнял и опоражнивал в тех местах, где рыл землю, судя по всему, были лишь предлогом.

Внешне ничего нового и необычного в нем не появилось, если что-то и мучает его, то он хорошо умеет это скрывать. С тех пор, как он сошел с лошади и стал ходить пешком, все увидели, какие у него кривые ноги, а оттого, что взор его постоянно устремлен на дорогу, он кажется меньше ростом, сгорбленным. Немощен и дряхл? Он? Крепок как сталь.

Услышав, что его экономка выходит замуж, он очень обрадовался, хотя ему самому это не сулит ничего хорошего.

— Разумеется, — сказал он, — я не против. Так на какое число назначена свадьба? Не откладывайте! — Но, подумав вдруг, что его радость может быть истолкована в дурную сторону, добавил: — Вот только с усадьбой мне без вас не управиться!

Его похвала для йомфру Сальвесен словно бальзам на душу, и, преисполненная благодарности, она отвечает, что ни за что не уйдет, пока не найдет себе заместительницы.

— Кстати, малышка Паулина в последние недели многому научилась, — добавляет она.

— Вот как! Очень рад! Гм. Рано или поздно я намереваюсь обустроить себе для житья две-три комнаты в другом месте. Во всяком случае, не откладывайте из-за меня свадьбу ни на один день.

— Вы не хотите остаться здесь, в усадьбе, господин лейтенант? Простите, но где ж тогда будет жить молодой Виллатс, когда вернется домой?

— Он не вернется. Ему некогда.

— Но когда-нибудь ведь вернется?

— Нет. У меня больше свободного времени, я сам поеду к нему. Вы не читали о нем в газетах? Он музыкант, композитор.

— Может быть, лучше, господин лейтенант, если я останусь у вас еще на год?

— Нет. Но я очень вам благодарен. Вы еще о чем-нибудь хотели меня спросить?

Йомфру собирается с духом и говорит:

— Мой жених полагает, что, если мы будем рассчитывать только на свои сбережения, нам придется довольно трудно. А кроме сбережений у нас есть только дом. Но нет земли.

— Земли?

— Нам бы выпас для пары коров, господин лейтенант, чтоб иметь молоко.

— Это можно решить. Гм...

— О боже, если бы! — воскликнула йомфру Сальвесен. — Мой жених только и знает, что просит господина Хольменгро узнать у вас, но господин Хольменгро всякий раз отвечает, что вы не желаете продавать землю.

Лейтенант настораживается, он не задает ни одного вопроса, только заставляет йомфру повторить то, что она сказала. А потом кивает головой и говорит:

— Ну что ж, надо подумать об участке земли для вас, йомфру Сальвесен.

Лейтенант снова бредет к старому кирпичному заводу, снова что-то измеряет, покачивая головой. Почему он не приступает к устройству своего жилища? Да, нелегко высоко держать голову в эти времена. Может, он просто и выхода никакого не видит, но все-таки продолжает что-то измерять, покачивая головой, словно только что им услышанное не имеет к нему никакого отношения. Итак, господин Хольменгро уже распоряжается имением Сегельфосс и от имени владельца заявляет всем и каждому, что не желает продавать землю! Гм... Подумать только, йомфру Сальвесен, которая столько лет была в услужении у него и Адельхайд, не может получить от своего старого барина участок земли!

Лейтенант надевает кольцо на левую руку. Ах, какой чудак! Вот уже несколько месяцев, как он не трогал кольцо, нельзя, хотя лучше было бы носить его все это время на левой руке, но он не стал — из уважения к памяти Адельхайд. А сейчас снова снял его с одной руки и надел на другую, словно ему еще нужно что-то помнить, о чем-то распорядиться, что-то исправить. Маленькая комедия, разыгранная перед самим собой, невинная бравада, ставшая благодаря его непреклонной воле чем-то многозначительным, важным.

Он решил отправиться домой и приняться за составление описи своего имущества.

Отойдя на несколько шагов от кирпичного завода, он обернулся, посмотрел на него и кивнул головой. Тоже, вероятно, комедия, ведь он уже сотни раз продумал до мелочей, как приспособить этот кирпичный завод под жилье, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Он шел, по своему обыкновению уставившись в землю, и вскоре увидел на дороге следы мужских ботинок, ведущие к усадьбе.

Он сразу же подумал, что его ждет неприятность, и решил встретить ее как подобает.

Его поджидал господин Хольменгро. Они обмениваются приветствиями, демонстрируя отменную вежливость и любезность. Входят в дом, садятся и для начала говорят о самых безразличных вещах. Господин Хольменгро сильно сдал, лицо бледное, волосы седые; о своем деле он молчит, и лейтенант, желая ускорить развязку, приходит ему на помощь.

— Хорошо, что вы пришли, господин Хольменгро, мне надо поговорить с вами.

Хольменгро склоняет голову.

— Моя экономка обручена и собирается выходить замуж, они с женихом хотят приобрести в собственность участок земли, принадлежащий... Сегельфоссу. Гм... при других обстоятельствах я согласился бы на эту сделку из благодарности за долголетнюю службу йомфру Сальвесен в нашем доме. Но при настоящем положении вещей я не могу продавать землю.

Господин Хольменгро задумывается на мгновение, затем улыбается и говорит:

— Это всецело зависит от вас, господин лейтенант.

— Нет. Я не имею права уменьшать величину залога.

— О залоге вам нечего беспокоиться, вы вполне правомочны продавать землю.

Господи, ну кто поймет этого Хольменгро? Лейтенант так свыкся с мыслью о самом плохом исходе, о том, что его вышвырнут, что по-настоящему обрадовался, его лицо прояснилось, и он незаметно надел кольцо на правую руку. А господин Хольменгро сидел как ни в чем не бывало, он сказал свое, снова проявил благородную сторону своей натуры.

Казалось, господин Хольменгро и сам рад-радешенек, — что творится у него в голове? Да пустяки, ерунда, просто лейтенант облегчил ему его собственную задачу, почти решил ее. Господину Хольменгро здорово не везло в последнее время: к сожалению, в дни загула он слишком поторопился купить по телеграфу большую партию ржи, неудача придавила его к земле, заставляя по ночам в панике убегать из дома. Мало того, так еще Давердана вздумала устроить сцену, разрыдавшись у него на глазах. А в завершение ее отец, Ларс Мануэльсен, который стал влиятельным человеком, осмелил-

ся наговорить ему всякой ерунды, осмелился угрожать. Будет ли этому конец! Сегодня Ларс Мануэльсен остановил господина Хольменгро на дороге и потребовал решить вопрос.

— Я вам, как всегда, очень благодарен, господин Хольменгро, — сказал лейтенант. — Разумеется, уплаченная сумма пойдет на погашение моего долга вам.

— Нет, нет, спасибо. Я считаю, что залог нисколько не уменьшится от этой маленькой сделки.

— В таком случае сделка не может совершиться, — говорит лейтенант; оба стараются превзойти друг друга в благородстве. Чем это кончится!

— Ко мне сейчас часто обращаются с просьбами поговорить с вами относительно продажи земли, — говорит Хольменгро, — речь идет о четырех-пяти участках. Я каждый раз отвечаю, что вы временно прекратили переговоры о продаже — мне не хотелось, чтобы эти люди беспокоили вас теперь, когда вы так нуждаетесь в покое.

— Спасибо, я ценю вашу заботу.

— Но за одного из них я хотел бы замолвить перед вами словечко... если вы позволите?

— Само собой разумеется.

— Благодарю вас. Это — Ларс Мануэльсен. Он вбил себе в голову, что ему не подобает больше оставаться торпарем, раз у него сын пастор; он во что бы то ни стало хочет стать самостоятельным хозяином.

— Вот как? Ларс Мануэльсен?

— Да, Ларс Мануэльсен. Он просто меня замучил, пристает, подстерегает на дороге.

— Ну это уж слишком.

— Если б вы, господин лейтенант, согласились избавить меня от этого человека, я бы уладил дело. Деньги будут переданы вам Ларсом через меня.

— Мои желания вполне совпадают с вашими, господин Хольменгро.

— Кстати, Ларс Мануэльсен требует вовсе не так мало... я имею в виду землю... две десятины. Другими словами, полосу между ним и Уле Юханом.

— Неужели? Ларс Мануэльсен? И что, его сын сможет раздобыть такие деньги?

— Очевидно, — отвечает Хольменгро. — Я сам отмерю землю и все улажу, пожалуйста, не беспокойтесь. Извините, что позволил себе задержать на этом ваше внимание, но мы ведь все равно затронули эту тему. Теперь о цене — как будем считать?

— Как обычно.

— Да? Но цены на землю в Сегельфоссе безусловно поднялись.

Лейтенант задумывается.

— Во всяком случае, в этих двух случаях мне бы не хотелось что-нибудь менять. Речь идет о моей экономке и моем торпаре.

Хольменгро кланяется.

— Не хотите ли, господин лейтенант, чтобы я уладил и сделку с адвокатом?

— Буду вам очень признателен.

Хольменгро кланяется.

Перед тем как уйти, он вспоминает, что надо бы как-то объяснить свое появление в усадьбе, и говорит:

— У меня, собственно, было к вам одно дело, но я не хочу беспокоить вас, поговорю о нем лучше с йомфру Сальвесен. А к вам я заглянул, чтобы выразить свое почтение. Как поживает молодой Виллатс в Берлине?

— Прекрасно.

Они расстались.

Дело, о котором господин Хольменгро намеревался поговорить с йомфру Сальвесен, заключалось в следующем: от имени помощника начальника пристани он хотел узнать, нельзя ли ввиду предстоящей свадьбы Даверданы освободить ее от должности горничной. Раз уж господин Хольменгро пришел побеседовать с лейтенантом, он заодно решил оказать такую любезность жениху.

Йомфру Сальвесен это отлично поняла.

Лейтенант не оставил мысли отобрать из своих богатств то, без чего он может обойтись, и составить список. Ему нужны деньги, а денег у него нет. Значит, их надо раздобыть. Грустное занятие ему предстоит: чтобы собрать достаточную сумму, придется, как он подозревал, расстаться с кое-какими весьма ценными семейными реликвиями. Чем же пожертвовать? Вот этим секретером? Этой шкатулкой? Великолепные вещи, украшенные позолоченной бронзой. Перенесет ли его сердце их потерю? А главное — каким образом превратить их в деньги? Аукцион ему претил, да и не дай бог, слух о нем дойдет до Виллатса. А согласится ли господин Хольменгро ему помочь, еще большой вопрос.

Между тем Хольменгро, как и обещал, явился несколько дней спустя с бумагами, которые закрепляли продажу зе-

мельных участков, и выложил на стол деньги. Как всегда, о деньгах завязался рыцарский спор, ни один не желал брать их себе, тем более что сумма и для того и для другого представляла сущий пустяк. Наконец господин Хольменгро со смехом предложил поделить деньги пополам.

И дело было улажено.

В результате этого неожиданного события у лейтенанта опять завелись в кармане деньги, немного, всего ничего, но все же их оказалось достаточно, чтобы начать перестройку кирпичного завода. Он сразу нашел наилучшее употребление для этих благословенных денег, заказав строительные материалы в Намсене. Господин Хольменгро снова выступил в роли судьбы-благодетельницы, если бы не его доброта, ни одна крона не попала бы лейтенанту. Но, как вскоре выяснилось, господин Хольменгро помог ему в последний раз.

Следующий шаг — найти плотников и каменщиков, а их не было. Пришла зима, наступили холода; чего это им мерзнуть до смерти ради лейтенанта, теперь каждый сам себе господин, не то что раньше. Правда, оставался Бертель из Сагвики, отец Готтфреда и Паулины, тот сразу согласился работать на лейтенанта, но что мог поделать один Бертель? Пришлось Мартину-Работнику, забросив усадьбу, помогать ему по мере сил.

Выходит, люди не хотели больше работать на лейтенанта? Его торпари и арендаторы, которые даже аренды не платили за землю? Впрочем, ее с них и не требовали. А между тем они достаточно попользовались его добром в дни его былого могущества: Юлиус, взрослый сын Ларса Мануэльсена, и тот не явился. Хорошо, что лейтенант читал в свое время гуманистов и мог смотреть на все с улыбкой на устах.

Долго трудились Бертель из Сагвики и Мартин-Работник, пилили, строгали, заколачивали гвозди, шпаклевали. И сработали две комнаты с окнами, с двойным полом и двойным потолком; хорошие получились комнаты, просто загляденье. Но с каменной кладкой придется ждать до весны, когда оттает земля.

Зима не обещала ни радости, ни веселья, лов рыбы на Лофотенах шел плохо, а Пер-Лавочник, все еще лежавший в постели, не желал больше отпускать товар в долг. Оставалась одна надежда на господина Хольменгро; он, и верно, был человек добрый и частенько приходил на помощь, но до известного предела. И вот этот предел настал: по оплошности он купил в чужой стране с убытком большую партию ржи и нисколько не скрывал этого, должно быть, не привык к неу-

дачам и, не в силах переносить беду в одиночку, рассказывал о ней всем и каждому. Убытки он понес огромные, но что значат огромные убытки для короля Тобиаса Хольменгро! Рыбаки нынче на Лофотенских островах, а их жены и дети осаждают Хольменгро, но помощь получают не всегда, как это понять? Например, жене Уле Юхана понадобился мешок пшеничной муки — вроде бы для детей, ну а на самом-то деле чтобы не ударить лицом в грязь перед женами соседей, у которых на столе всегда белая каша. Но господин Хольменгро дал ей только обыкновенной муки. А еще ей давно хотелось такую же муфту, какую подарил своей жене Ларс Мануэльсен: господину Хольменгро стоило лишь записку написать Перу-Лавочнику, всего-то делов, но господин Хольменгро отказался. Куда это годится?

Когда на Пасху рыбаки вернулись домой, Давердана вышла замуж, и ее брат, пастор Л.Лассен, сам венчал ее. Тут Хольменгро опять проявил доброту и щедрость, подарив молодым маленький домик. Ну, да ведь жених-то — свой же служащий на пристани.

Но такая скромная свадьба не могла надолго взбодрить людей, настроение было и осталось мрачным. Никто толком ничего не понимал, мукомольня по-прежнему работала день и ночь, почтовые пароходы, которые раньше приходили раз в три недели, теперь приходили каждую неделю, Бордсен и его помощник — маленький Готтфред — исправно выстукивали на станции телеграммы об уловах сельди, о покупках, продажах и товарах — словом, жизнь в Сегельфоссе кипела, а настроение при этом оставалось мрачным. Легче всех, похоже, относился к жизни начальник пристани. Странный он человек; казалось, у него были теперь все основания, чтобы горевать, а он знай себе распевал. Бог, видать, наделил его удивительным легкомыслием. Его помощник преспокойным образом обвенчался, а он, начальник пристани, получил отказ. Ну да ладно, йомфру Сальвесен, ладно, Кристина, держись за своего адвоката! Бог знает, уж не с горя ли начальник пристани основал в самые темные зимние дни певческий кружок в Сегельфоссе?

Лейтенант велел Мартину-Работнику потихоньку перевозить на кирпичный завод мебель и также потихоньку начал обживать свое новое жилье. Хорошо придумано, отлично, вроде бы и на переселение не похоже. Он начал с того, что провел на новом месте одну ночь, ничего страшного, он затопил печь, зажег лампы и свечи. И не сразу, но уснул. Спустя неделю он повторил опыт, все было необычно и странно, ре-

ка шумела совсем близко, но он заставил себя заснуть. Теперь лейтенант ночевал на кирпичном заводе каждую ночь и приходил в усадьбу только затем, чтобы поесть. Он сообщил йомфру Сальвесен и написал сыну в Берлин, что ему, слава богу, удалось найти средство от бессонницы.

Пришла весна, лейтенант решил не нанимать рабочих, а приказал Мартину-Работнику собирать подходящие для фундамента камни и свозить их к заводу, сам же копал под него котлован. Однажды в самый разгар работы он получает письмо от молодого Виллатса, в котором тот пишет, что попал в затруднительное положение. О, все вышло случайно, дело было на аукционе, где он увидел одну даму, проливавшую слезы над своим роялем, своим единственным кормильцем. Что оставалось делать Виллатсу? Он выкупил ей рояль, ведь это был для него вопрос чести. Дорогой папа, это целое состояние, большая сумма — быть может, мне не следовало так поступать? А все произошло чисто случайно; мы, музыканты, отправились целой компанией на аукцион, где продавались заложенные музыкальные инструменты, и увидели эту даму, вероятно, учительницу, она плакала, а мы, музыканты, стояли и смотрели на нее. И тогда я сделал то, о чем говорил, вспомнил тебя и сделал, все решил двумя словами. Деньги нужно внести в течение месяца. Мог ли я поступить иначе, дорогой папа?

— Довольно! — сказал лейтенант самому себе и письму. — Ни слова больше! Деньги? Разумеется.

Он отправляется к господину Хольменгро. Чем дальше, тем сильнее охватившее его волнение, его сын оказал ему честь, он восхищен им, беспредельно его восхищение сыном. Молодой Виллатс — о, он достойный представитель своего рода, настоящий Виллатс Хольмсен, такой, каким был его собственный великий и благородный отец. Двумя словами... я так и вижу его...

Лейтенант достаточно умен, чтобы в этот раз не возлагать больших надежд на Хольменгро; по разным признакам и симптомам он догадывается, что этот могущественный заводчик начал идти на попятный. Ведь не мог же господин Хольменгро не знать, что лейтенант нуждается в рабочих для кладки фундамента, но он ровным счетом ничего не предпринял, не прислал ни одного человека. Но, быть может, тот же самый господин Хольменгро, который раньше всегда был готов прийти ему на помощь, быть может, он не откажет ему в помощи еще хоть раз!

— Позвольте мне обратиться к вам по одному очень личному делу, — говорит лейтенант. — Чтобы не задерживать вас, буду краток: прошу вас просмотреть вот эту бумагу — это инвентарь некоторой части моего имущества, которую я хотел бы продать.

— В таком случае лучше всего устроить аукцион, — тотчас же отвечает господин Хольменгро.

Лейтенант мгновенно понимает, что пришел напрасно, только зря господин Хольменгро так нарочито отказывается даже взглянуть на инвентарный список.

— Правда, я не внес в опись самые ценные вещи, — говорит он, не желая сдаваться сразу, — но это легко исправить. Среди них картины старых мастеров, которые вы, наверное, видели у меня, мраморные статуи, серебряные статуэтки. По всей вероятности, вы помните женскую фигурку с амфорой на плече и группу «Четыре времени года», — все это очень ценные художественные произведения.

— Нисколько в этом не сомневаюсь! — ответил господин Хольменгро. — Но в настоящее время я не могу позволить себе разбрасываться деньгами.

Лейтенант побледнел. Значит, господин Хольменгро ради него «разбрасывался деньгами»? В таком случае ему остается лишь замолчать.

А господин Хольменгро пустился в объяснения: его постигла беда, он потерял большую сумму, речь идет не о пустяках, а о целом состоянии. Возможно, ему не следовало так уж откровенно обнажать свои сложности и заботы, но, по-видимому, он горел желанием хоть раз излить душу; кто знает, быть может, он вовсе не столь закален против неудач, как следовало от него ожидать, это тоже вполне естественно. Но как бы то ни было, этот человек с острова — король. А разве у королей не бывает недостатков? Короли тоже, случается, теряют почву под ногами.

Не надо забывать и об одной маленькой слабости, которой в глубине души отличался господин Хольменгро: он всегда преклонялся перед всем благородным, аристократичным. Ему доставляло большое удовлетворение проводить время в обществе владельца Сегельфосса и его жены; но какой прок для его самолюбия помогать теперь этому разорившемуся магнату, ставшему обитателем кирпичного завода? Доброта добротой, но он вовсе не желает прослыть дураком.

— У нас с вами остался один выход — сократить расходы, — сказал он.

Посчитав слова Хольменгро слишком фамильярными, лейтенант ответил:

— Мне нечего сокращать.

— Ну, значит, продолжать жить так, как вы живете сейчас. Ведь вы обосновались на кирпичном заводе?

— Я только провожу там ночи, — ответил лейтенант, слава богу, вновь овладев собой. — Для меня это оказалось самым лучшим средством от бессонницы! — Что ж, теперь можно взорвать мину, и лейтенант продолжал: — Кстати... я не хотел касаться этого вопроса сегодня, но, вероятно, как моему кредитору, могу все-таки вам сказать: да, я провожу бóльшую часть времени на кирпичном заводе; и еще одно: я старею, посему, может быть, вам желательно установить другой порядок ведения хозяйства в Сегельфоссе?

Вот как? Ведь его целью было огорошить господина Хольменгро — но что это? Кажется, того это ничуть не огорошило. Происходит следующий обмен репликами:

— Вы предлагаете мне вступить в права владения?

— Имение больше мне не принадлежит.

— Но мне не под силу вести такое хозяйство.

— Если хотите, могу пока продолжать в меру своих сил управлять им.

Господин Хольменгро весьма ему благодарен, а может, вовсе и не испытывает ни малейшей благодарности.

По дороге домой лейтенант размышляет, кивая время от времени головой: «Не удалось! Что же теперь делать?» Он раскаивается в своем визите к заводчику: уж слишком было бы просто выйти из затруднительного положения таким образом. Ни в коем случае нельзя исходить из того, что жизнь легка, не то ей придется слишком часто ставить вас на место.

Кстати, и самого заводчика винить не в чем; не раз и не два приходил он ему на помощь и проявлял готовность услужить, а теперь вот сам попал в переплет.

XVIII

Хотя по внешнему виду лейтенанта ничего особенного заметно не было, но для него, безусловно, наступили тяжелые дни. Он стал необычайно деятелен, опять принялся копать землю для цветочных горшков из оранжереи; казалось, он старался получше обиходить свои цветы, но поиски подходящей земли были тщетными. Прошло немало дней, прежде чем он бросил это занятие.

Он телеграфировал своему сыну, что тот, разумеется, поступил правильно и деньги ему будут высланы. И разумеется, деньги нужно раздобыть, хотя бы для этого пришлось отправиться в Тронхейм с фамильным серебром. Самое смешное и печальное, что у него не было денег даже на эту поездку.

Другой на его месте опустил бы руки и предался отчаянию, лейтенант же только ожесточился; а палку на прогулки он стал брать только потому, что теперь ходил пешком, вот и все. Эта палка досталась ему от отца, благородного аристократа; ее украшал золотой набалдашник и шелковая петля, чтобы вешать на руку; лейтенанту она очень шла и нисколько не умаляла его достоинства.

Однажды он повстречался на дороге с окружным врачом и адвокатом; оба поклонились подавленному горем старику, доктор Муус поклонился, ибо был человек культурный. Поглядите-ка на этого бывшего помещика: по достоверным слухам, он лишился и желтой пристройки и Мартина-Работника, но доктор Муус все-таки ему поклонился. Но лейтенант ответил на поклон с таким безразличием, так рассеянно, что утратил всякую симпатию не только доктора, но и адвоката. Правда, адвокату Рашу совсем недавно удалось купить у него землю, да, удалось, он добился того, чего хотел; но это вовсе не обязывает его к вечной благодарности. На следующей неделе он заберет йомфру Сальвесен из усадьбы и женится на ней; как обойдется лейтенант без экономки, это, собственно, его забота.

Да, невесело складывались дела у лейтенанта. Раз так, он, наверное, и котлован под каменный фундамент перестал копать? Конечно же, нет. Опять пришла осень, а к зиме необходимо подвести под комнаты фундамент. Лейтенант орудовал лопатой, его работник возил камни. Благословенная железная воля лейтенанта не позволяла ему сдаться.

Вечера он проводит на кирпичном заводе, отдыхая и раскладывая пасьянсы на картах, которые сам подклеил и подновил. Каждый раз он тщательно их прячет от Паулины. Руки его за последние месяцы стало не узнать, они покрыты царапинами и рубцами, ему самому противно смотреть, как они перебирают карты, некрасивые, загрубевшие. Он прячет карты до следующего вечера и на час-другой погружается в раздумья.

Он, верно, сидит, беспомощно съежившись в кресле, и говорит сам с собой? Сидит, втянув голову в плечи и обхватив колени руками, напоминая жалкий растрепанный клубок шерсти, из которого раздается слабый голосок?

Вовсе нет.

Да, дела его плохи, ему стукнуло шестьдесят девять, он подавлен заботами о деньгах, но он разговаривает с самим собой так же редко, как и с другими; он молчит, молчит упорно, молчит постоянно, молчит. Но с Паулиной, бывает, разговаривает — лейтенант любит иногда с ней поболтать; когда она приходит на кирпичный завод убирать его комнаты, он говорит ей:

— Тебе, наверное, кажется, Паулина, что я плохо выгляжу, но ты ошибаешься: никогда прежде я не спал так крепко, как здесь.

Паулина рассказывает ему, что йомфру Сальвесен выходит замуж в четверг на следующей неделе, и лейтенант отвечает:

— И правильно делает! Постараюсь не забыть!

И на всякий случай опять надевает кольцо на левую руку.

Он завел чудной обычай проявлять бережливость в своем нехитром домашнем хозяйстве на кирпичном заводе: экономил на спичках. Как будто это могло ему помочь! Он ни за что не зажигал спичку, если можно было раздуть угли; надо только опуститься на колени и раздуть огонь. Чудачество это он сохранил до последних дней. Но это отнюдь не было оригинальничаньем. Когда у него на кителе прохудился локоть, он сейчас же отправился в усадьбу и сменил китель. Он занимался земляными работами, и дыра бы вполне сошла за эдакую философскую дыру, достойную того, чтобы разыграть маленький спектакль перед самим собой, но он, должно быть, подумал: «Я слишком стар, чтобы заниматься такими фокусами; да и в целом кителе философии не меньше».

Он рано ложился спать и рано вставал; возможно, чтобы экономить масло в лампе, а возможно, им руководил верный инстинкт — вставать с зарей. Проснувшись, он шел гулять.

Уже выпал снег, но земля еще не промерзла, только за ночь покрылась тонкой коркой льда. Лейтенант и его палка с золотым набалдашником вышли на прогулку. Утро морозное, на небе там и сям мерцают звезды, словно золотые кузнечики на синем фоне; время от времени до него доносится звонкий крик петуха из Сегельфосса, из его имения. Он останавливается на мосту и смотрит на дом Хольменгро; в окнах еще темно. Внизу неумолчно шумит река. Налетел порыв ветра, ветер проснулся, как проснулся и он сам, ветер слеп и невидим, бестелесен, но он есть, он рядом. На мосту становится стоять слишком холодно, лейтенант направляется к

пристани и, выбрав защищенное от ветра местечко, смотрит на море.

Он слышит человеческие голоса, очевидно, кто-то проснулся. Звуки повторяются, нет, эти люди не проснулись, они уже давно встали. А то, что он слышал, это нечто слепое и невидимое, бестелесное, только звуки, но они есть, они рядом. Немного погодя из двери выходит Ларс Мануэльсен, за ним — помощник начальника пристани. Они теперь — тесть и зять, они не разговаривают, они тащат мешок; Ларс Мануэльсен взваливает его себе на спину. Слишком поздно увидев лейтенанта, он уже не может повернуть обратно и, низко, заискивающе поклонившись, проходит с мешком мимо. Помощник скрывается в доме. Наверное, всю ночь работали, размышляет лейтенант, каждый борется за жизнь по-своему: вон как согнулся в три погибели под тяжестью мешка.

Он решает сегодня же упаковать серебро и без дальнейших промедлений сесть на почтовый пароход, его ведь хорошо тут знают, он заплатит за билет по приезде в Тронхейм. Он принимает решение продать кое-что из фамильных ценностей, да, да, надо запереться в комнате и упаковать в вату кое-какие столовые украшения, с которыми нужда заставляет его расстаться. Он кивает головой, лицо его непроницаемо. Когда он возвращается к себе на кирпичный завод, уже брезжит серый рассвет, все вокруг окутано полумраком, он бредет словно привидение в таинственном лесу, высокий, прямой, как вызов судьбе.

Он не подозревал, навстречу чему шел.

Теперь, когда он надумал ехать в Тронхейм, ему, верно, не до рытья котлована? Напротив, ему необходимо покончить с ним сегодня же, привести все в порядок, потому что он намерен привезти с юга каменщиков. Позавтракав в усадьбе, он снова отправляется на кирпичный завод и принимается за работу.

И тут кое-что случается.

Уже часа два он копает последнюю траншею под угол фундамента, как вдруг его кирка натыкается на какой-то деревянный предмет! Он окапывает его лопатой, выбрасывает землю, снова копает, показывается ящик, сундук — молнией вспыхивает мысль: клад! Если первый Виллатс Хольмсен и впрямь зарыл когда-то в землю сундук, то это именно он и есть! Лейтенант не верил в сказки, но у него, видно, есть за что зацепиться: фамильные предания, рисунок; ему кажется, что он узнал сундук. После долгих тщетных попыток вытащить его наверх лейтенанту пришлось отказаться от этой за-

теи, и, сломав замок, он заглядывает в темную глубину сундука.

Шкатулки и маленькие ящички, тяжелые, набитые монетами, золотом. Лейтенант принимается переносить их в дом, силы совсем покидают его, никогда в жизни он не испытывал такой слабости, с каждым возвращением к сундуку колени дрожат все больше и больше, какое счастье, что он один.

Мартин-Работник привез камень для фундамента, потом приехал еще раз, а лейтенант все не показывался. Наступил день, и Мартин-Работник уехал домой.

Лейтенант все не показывался, и в конце концов Паулина отправляется на кирпичный завод искать его. Да, лейтенант сидит у себя в комнате, лицо посерело от страданий. Смотри-ка, большому горю его бы нипочем не сломить, а вот большая радость вконец подорвала его силы. Он вынужден послать за Мартином-Работником, чтобы тот отвез его в усадьбу.

Целый день он ездит взад и вперед между усадьбой и кирпичным заводом; ему нужно многое сделать, планы его не терпят отлагательств, завтра он уезжает. На кирпичном заводе он укладывает чемоданы, набивая их какими-то таинственными свертками, тяжелыми, как свинец, это старое золото, испанские дублоны, английские гинеи — клад. Воистину, неисчерпаемы резервы большого имения, даже если по нему пройдется война.

На следующий день лейтенант уехал в Тронхейм. Его лицо было серым от страданий, словно из него выкачали всю кровь, но он стоял на палубе, выпрямившись во весь рост, стоял, опираясь на палку с золотым набалдашником.

Начальник пристани занят по горло, он руководит спевками своего смешанного хора, в котором первый бас — его помощник. Сейчас хор разучивает хоралы и свадебные псалмы на венчание йомфру Сальвесен и адвоката Раша. Начальник пристани проявил благородство, согласившись петь по такому поводу. Ну разве не благородство, что он вообще не плюнул на эту свадьбу. Нет, он не плюнул на нее, он пошел против ветра.

— Наше пение похоже на звериный вой, — заявил он в отчаянии. — Разве это хор? Сигнальные гудки пароходов и то благозвучнее. Нам ни за что не успеть подготовиться!

Но однажды вечером начальник пристани, собрав свой хор, объявил, что свадьба, слава богу, откладывается на не-

делю и у них будет достаточно времени, чтобы научиться петь по-человечески! Они снова принялись за хоралы.

Значит, свадьба откладывается? Да. Из уважения к господину Хольменгро. Судьбе было угодно, чтобы именно в эти дни господин Хольменгро почувствовал себя особенно подавленным после своих неудачных денежных спекуляций и, когда его пригласили на свадьбу, решительно отказался. Человек он богатый, почему бы ему не позволить себе ответить отказом. Добрый? Конечно, добрый, но он перво-наперво крупный делец, а как раз сейчас дело его как никогда сильно пострадало.

— Благодарю за приглашение, — сказал господин Хольменгро, — но вынужден извиниться и отказаться — в эти дни никак не могу!

С какой ему стати теперь пускать пыль в глаза? Он ведь достиг всего только благодаря собственным силам; его барские замашки в значительной мере придуманы, разве не имеет он права позволить себе проявить иногда и свое природное естество?

Однако без господина Хольменгро свадьба — не свадьба, адвокат Раш посоветовался со своей невестой, и оба решили, что без господина Хольменгро никак не обойтись. Конечно, будет окружной врач, это хорошо, будет известный пастор Л. Лассен, будет ленсман из Уры с женой, два-три купца с супругами, начальник пристани, фру Иргенс, но... и только. Из родственников не приедет никто: у бедняжки невесты их просто нет, а родные жениха занимают должности на юге и ни за что не согласятся поехать на север. Они и без того сыты Нурланном по горло. Телеграфиста Бордсена вовсе не пригласили, — его тут никто толком не знает, да и он ни к кому не ходит с визитами. Как это вам нравится, не делает визитов, и все тут! А кого же еще звать? Лейтенант в отъезде, иначе он непременно явился бы на свадьбу йомфру Сальвесен, какие могут быть сомнения, хотя в последнее время и находился в очень подавленном состоянии; господин Хольменгро тоже пребывал в расстройстве и попросил извинить его. Кто же еще?

Да, без господина Хольменгро не обойтись.

Но когда этот великий человек услышал, что свадьбу пришлось отложить на целую неделю исключительно из-за него, чтобы дать ему время оправиться, он, душа-человек, был так польщен этим вниманием, что принял приглашение.

— Ну как устоять перед такой любезностью, — добродушно сказал он.

И вот свадьбу сыграли, без затей, но красиво и культурно, с вином и речами, с телеграммами и хоровым пением под окнами.

И пастор Лассен оказался очень славным человеком. Правда, как всегда, не отличался опрятностью: шею пастора Лассена толстым слоем покрывала грязь. Не мудрено, что господин Муус поначалу отнесся к нему со сдержанной холодностью; да и кто вообще мог сравниться с доктором Муусом, с этим аристократом до кончиков ногтей! Однако после обеда доктор изменил свое мнение о пасторе, затеяв с этим превосходным священником интереснейшую беседу о книгах и экзаменах. Они удивительно сошлись во взглядах, просто странно, что пастор родом не из такой же культурной семьи, как доктор Муус.

— Как вы нашли нашу здешнюю жизнь, господин доктор? — спросил господин Лассен.

— Да вы знаете, совсем не то, что на юге. Но у меня ведь есть мое дело. Придется временно смириться.

— Да, такова уж наша чиновничья доля. Не представляю себе, как тут можно долго выдержать. Мне, слава богу, нашли замену, я скоро уезжаю.

Доктор сказал:

— Мне казалось, что вам, как здешнему уроженцу, всего на несколько лет расставшемуся с родными местами... но я слышал, север вам вреден?

— Нет ни дня, чтобы я чувствовал себя здесь здоровым; этот воздух не для меня. Так всегда бывает с теми, кому выпало многие годы учиться на юге. К этому следует присовокупить чисто психический, или духовный, аспект — тягу к более широкому полю деятельности. Я считаю, что только сильные личности в состоянии долго оставаться в Нурланне. Мой епископ со мной полностью согласен.

Тут доктор не сдержался и хмыкнул, правда, вполне дружелюбно — с такой наивностью он никак не мог согласиться.

— Что ж, до некоторой степени это утверждение верно, — сказал он, — но относится оно не ко всем. Вы едете ближайшим пароходом?

— Через несколько дней. Я уже укладываю вещи...

Свадебные подарки состояли из предметов домашнего обихода и серебра; благодаря тому что свадьбу на неделю отложили, все прибыло своевременно, лейтенант даже прислал невесте в подарок золотые часы на цепочке, словно премию за долгую и верную службу, и йомфру Сальвесен заплакала от благодарности. Подумайте только, лейтенант не

забыл о ней, будучи в Тронхейме! Нет, не сыскать человека, равного лейтенанту! Но адвокат Раш, чувствовавший себя с социальной точки зрения несколько обделенным неравным браком, счел нужным деликатно указать на неуместность ее слез:

— Тебя ничего не стоит обрадовать, дорогая Кристина, это, безусловно, одно из главных твоих достоинств!

— Вы видели часы, которые прислал лейтенант, господин пастор? — спрашивает доктор. — Выходит, этот человек и вправду богат?

— О, лейтенант! Никто не знает, что он такое на самом деле. Я видел у него палку с золотым набалдашником, она дороже любого епископского посоха.

Доктор Муус пожимает плечами. И решает преподать небольшой урок — и лейтенанту и пастору Лассену.

— Что и говорить, часы дорогие, — сказал он. — Но посылать новобрачным карманные часы в качестве свадебного подарка — неслыханно!

— Вы безусловно правы, доктор. Я как-то не подумал об этом.

А что же господин Хольменгро? Он тоже присутствовал на свадьбе. Он пришел одним из последних и теперь сидел среди гостей, добродушный, окруженный вниманием и почетом. Быть может, ему было совсем не весело, быть может, ему недоставало человека, мнение которого, столь для него важное, он с удовольствием бы послушал — ну с кем здесь поговоришь о больших делах, если за весь вечер слово «миллион» ни разу даже не упомянули. Жених провозгласил в честь него тост — что ж, на здоровье! — и поблагодарил его за то, что он помог двум людям приобрести участок земли из сегельфосского имения, спасибо от моей супруги и от меня!

Хольменгро осушил бокал, но решительно отклонил незаслуженные почести: к сегельфосскому имению он не имеет никакого отношения.

— Кстати, — продолжает жених, — пекарь тоже хочет приобрести землю, и Пер-Лавочник. Ох уж этот мне бедняга П.Енсен, лежит себе недвигой, по его собственному выражению, однако и одной своей половиной умудряется управлять всем делом. Подумайте о нем, господин Хольменгро. Глядишь, при этой имущественной сделке что-нибудь перепадет и бедному адвокату.

Господин Хольменгро не ответил ни слова — что ему до всего этого? Ни единым жестом не выдал он того, что видел с женихом и с доктором Муусом на попойке, а с неве-

стой — в те две недели в прошлом году, когда не таясь увивался за женщинами. А теперь вот этот домик, наполненный мелкими вещами и мелкими разговорами,— и он, сказочный герой, король, который, сколько ни хочет казаться маленьким, поражает своим величием...

Фру Иргенс не спускает глаз с хозяина и прекрасно видит, что он намеревается уйти. Когда он скрывается в дверях, она, верно, думает: «Ага, не иначе как дома его поджидает служанка Марсилия».

Жених чокается с двумя купцами, для которых он инкассировал деньги, ему волей-неволей самому приходится занимать гостей, ведь невеста не очень-то приучена к светским раутам. Обратясь к невесте, он говорит:

— В этих телеграммах, Кристина, ну никакой торжественности! — Жениха обидело, что их записал даже не сам телеграфист Бордсен, а маленький Готтфред, который только недавно научился своему делу и еще не получил штатной должности. Его ученический почерк оскорбил жениха, ведь телеграммам предстоит быть переплетенными и лежать на столе в гостиной.

Наконец гости уходят. На пороге пастор Лассен говорит:

— Да будет мир в вашем доме!

Хорошо сказано, доктор проникается уважением к врожденному такту этого сына рыбака.

— Опять вы с книгами! Вы всегда носите с собой книги, господин пастор?

И господин Лассен подтверждает: да, мол, это так, они его многому научили. Он был сегодня в одном доме, и ему там подарили две книги для его библиотеки. Одна — первое издание Берты Канутты Орфлот, а другая — христианский рассказ об одной пасторской дочке, озаглавленный «Смерть дочери пастора и др.».

Лейтенант вернулся из поездки совершенно больной, его отвезли с пристани на кирпичный завод и уложили в постель. Не послать ли за окружным врачом? Нет. Не сообщить ли молодому Виллатсу? Нет. Лейтенанту ничего не надо, ему бы только отлежаться да набраться сил, сказал он.

Но сил у лейтенанта не прибывало, ему становилось все хуже и хуже, хорошо еще, что он не привез с собой каменщиков. Они могли приехать не раньше марта. Паулина каждый день носила ему на кирпичный завод обед из усадьбы и частенько встречала там Мариану, которая приходила, что-

бы справиться о здоровье лейтенанта; дождавшись Паулину на улице, она каждый раз получала один и тот же ответ: ему сегодня хуже! А однажды, когда лейтенант потребовал не доктора и не пастора, а телеграфиста Бордсена, Мариана побежала на станцию и привела его.

— Что-то я начинаю сомневаться в своем выздоровлении, — сказал лейтенант телеграфисту, — уж очень сильно простудился на обратном пути из Тронхейма.

На это телеграфист Бордсен коротко ответил, что, мол, надо надеяться на волю лейтенанта...

— Я буду вам очень благодарен, если вы составите телеграмму моему сыну. Правда, вряд ли он успеет приехать ко времени.

— У меня есть все основания предполагать, что ваш сын уже находится в пути, — сказал Бордсен.

Старый лейтенант сурово спрашивает, стараясь скрыть радостное изумление:

— Его кто-нибудь уведомил?

— Да. Это сделал я.

Пауза.

— Гм... Благодарю вас... на этот раз благодарю... гм... Хотя все-таки не думаю, что он успеет вовремя. Когда он будет здесь?

— С первым пароходом с юга.

Лейтенант подсчитывает оставшиеся дни и говорит:

— На столе лежит письмо, я написал его еще на пароходе. У вас на станции есть несгораемый шкаф, там оно будет в целости и сохранности.

— Хорошо.

— Прошу вас передать его моему сыну в случае... в случае...

— Будет сделано! — говорит Бордсен, беря письмо.

Лейтенант еще раз благодарит его и кивком головы дает понять, что больше в его услугах не нуждается.

— Вы позволите мне как-нибудь еще раз заглянуть к вам? — спрашивает телеграфист.

— Что ж, пожалуй... А у вас есть время?

— Сколько угодно. Всю работу выполняет Готтфред.

— В таком случае я буду вам очень признателен, если вы заглянете сюда.

Бордсен выходит и видит поджидающую под дверью Мариану. Что за преданная и наивная душа, вряд ли девочке доставляют такое уж удовольствие эти ежедневные ожидания, но вот ведь вбила себе в голову, что больному приятны

ее расспросы, о которых, она знала, Паулина рассказывала ему. Телеграфист кивает ей:

— Марианочка, сюда едет молодой Виллатс.

Смуглое лицо Марианы краснеет, она произносит только:

— Вот как... Неужели...

Телеграфист Бордсен регулярно ходит на кирпичный завод. Больной не против, а самому Бордсену это ничуть не надоедает. Он приносит с собой виолончель, иногда играет, разговаривает мало, предпочитая глубокомысленно молчать, не будь его, лейтенант был бы лишен в свои последние дни общества славного человека. Бордсен рассказывает больному, в каком месте молодой Виллатс, по его расчетам, в настоящее время находится, и лейтенант ему за это благодарен. Он лежит, седой и немощный, и ждет сына, взгляд его уже словно обращен внутрь, виски ввалились — смерть делала свое дело.

— Подожди тут, Мариана! — сказал однажды Бордсен, входя в комнату к лейтенанту и давая понять таким способом больному, что Мариана стоит за дверью.

— Подумать только, это дитя ходит сюда каждый день! — сказал лейтенант. — Позовите ее!

— Я скоро еду в Христианию, — говорит Мариана, — не знаю, поправитесь ли вы к тому времени.

— Значит, ты пришла попрощаться со мной. Очень мило с твоей стороны. А у отца много работы?

— Да. Он ожидает прибытия корабля с рожью.

— Кланяйся ему!

Дверь открывается, и входит окружной врач Муус. Он не постучал, чтобы не вызвать переполоха, а войдя, сейчас же снимает пальто и громко, властно кашляет.

— Я узнал, что вы больны, — говорит доктор, намереваясь нащупать пульс у лейтенанта. А когда больной отказался, набравшись решительности, заявляет:

— Послушайте, теперь не до шуток. На этот раз вы должны мне уступить.

Этот человек исполняет свой долг, больше того, он оказывает большую любезность, но лейтенант не привык уступать, а теперь он слишком стар, чтобы этому учиться. Повернув голову в поисках помощи, он подзывает к себе Бордсена.

— Гоните его! — говорит он.

— Я вынужден вас прогнать, — сказал телеграфист Бордсен, помогая доктору надеть пальто. О, у этого телеграфиста

Бордсена могучие, покачивающиеся при ходьбе плечи, он чуть ли не оторвал доктора от пола, подавая ему пальто.

Дни шли, а молодой Виллатс все не приезжал, пароход был уже где-то совсем рядом, но приближался слишком медленно, а у лейтенанта, верно, не осталось больше прежней воли, да, смерть подточила ее сильнее всего.

— В случае если я умру сегодня или завтра, — сказал он, — кто знает... передайте сыну мои поручения. Из Тронхейма на днях прибудут два фамильных портрета — моей жены и мой собственный; они неудачны, но пусть он все же их повесит... рядом с другими портретами. Передайте ему это, пожалуйста!

— Слушаюсь!

— А к весне привезут орга́н... маленький орга́н для церкви. С запозданием, о нем просила меня его мать. Пусть расширит задний придел церкви — тридцати футов достаточно... и соорудит для орга́на галерею. Бревна пришлют из Намсена. Так что в церкви будет орга́н...

Какая воля́ до последней минуты, железная воля!

На следующий день состояние больного настолько ухудшилось, что исполнить свой долг явился и пастор Лассен. Был полдень, яркое зимнее солнце заливало комнату лейтенанта, когда в нее вошел пастор.

При виде его больной улыбнулся. Уже во власти смерти он растянул губы в кривой усмешке и закрыл глаза. Больше он их не открывал.

Телеграфист Бордсен запер кирпичный завод.

Через два дня, стоя на палубе приближающегося к Сегельфоссу парохода, молодой Виллатс разглядел на усадьбе, на доме Хольменгро и на пристани приспущенные флаги; он сейчас же понял, что́ произошло.

Странно, все казалось ему тут еще более чужим, чем после смерти матери. Ничего вроде бы не изменилось, но все было совсем другое: они миновали сарай за мысом, который Пер-Лавочник превратил в танцевальный зал, сарай по-прежнему выделялся своей окраской и отделкой; когда пароход вошел в бухту, Виллатс услышал шум мельницы. На пристани у лебедки с большого судна, пришедшего с Черного моря, разгружали рожь, по палубе сновали матросы, занятые каждый своим делом. Повсюду кипела жизнь, суетились люди, но флаги приспущены, а его отец мертв. Молодой Виллатс смотрел на берег, он надеялся успеть вовремя, он вырос и

возмужал, на жилете у него красовались золотые пуговицы. Мало-помалу им овладела какая-то страшная усталость и рассеянность, он все видел, но ни на чем не мог сосредоточиться. Он вспомнил, что везет отцу поклон от Фредрика Кольдевина: у него сейчас нет времени посетить Сегельфосс, но он собирается приехать летом.

На пристани его встретили Мартин-Работник и Паулина, подошел и пожал ему руку господин Хольменгро, у фру Раш — бывшей йомфру Сальвесен — вокруг глаз красные круги. А вдали, обхватив плечи руками, стоит, глядя на него, Мариана.

У кирпичного завода Виллатса уже дожидался телеграфист Бордсен. Пройдя через просторную светлую комнату, обставленную мебелью и увешанную картинами, они вошли в другую комнату, где лежал отец, обмытый и одетый, уже окоченевший, худой, с печатью смерти на породистом лице. Покойник был накрыт военной шинелью, так полагалось, по мнению Бордсена. Что ж, вот лейтенанту и пригодилась его дорогая шинель.

Телеграфист Бордсен ушел, и молодой Виллатс остался один. Он выслушал рассказ о последних днях отца и прочел оставленное им письмо. Ну, конечно, ему надо будет выкупить заложенное имение, деньги лежат там-то и там-то, слава богу, его отец, оказывается, как был, так и остался богачом! Если бы только хоть еще разок повидать отца, поговорить с ним!

На жилете у молодого Виллатса красуются золотые пуговицы. Эти золотые пуговицы отец купил во время своей поездки в Англию и подарил ему — сегодня Виллатс решил нацепить их, чтобы порадовать отца.

Он вышел из дома. Внизу шумела река, с большого парохода, пришедшего с Черного моря, выгружали рожь. На пригорке показалась Мариана, она шла домой.

Шестеро Селькросс

РОМАН

Перевод
А.Афиногеновой

SEGELFOSS BY
1915

****

ЧАСТЬ I

1

Человек на новом сигнальном холме, и что ему там понадобилось? Небось опять дурацкие штучки Теодора-Лавочника, знал бы только папаша, старый Пер-Лавочник!

Вот взять господина Хольменгро, заводчика, у него и флагшток есть, и флаг, и сигнальщик, что ж, это разумно и необходимо, ему надо салютовать флагом и почтовым пароходам, и грузовым пароходам с зерном для мельницы, когда они причаливают к пристани. А у Теодора-Лавочника ни стыда, ни совести, соорудил себе сигнальный холм только потому, что он мелкий торговец, и салютует флагом по всякому поводу, а бывает, и без повода или просто потому, что воскресенье. Дурака валяет.

Вот и сейчас опять отправил человека на сигнальный холм, как будто в этом есть надобность, и человек этот стоит с флагом наготове и всматривается в морскую даль, чтобы поднять флаг, как только дождется, чего ждет. А ждет-то, наверное, всего лишь рыбачий шлюп.

Странно — уж сколько раз молодой Теодор-Лавочник салютовал флагом и дурачил народ, а ему все равно каждый раз верят. Он разжигает у людей любопытство, будоражит умы, заставляет работать языки, ну, а что там сегодня-то опять? Этот черт Теодор способен на всякие сюрпризы. Как бы там ни было, а Уле Юхан и Ларс Мануэльсен прямо сгорают от любопытства. Встретились внизу, на дороге, и не могут глаз отвести от человека на сигнальном холме.

Уле Юхан, он как был оборванец в высоких сапогах и исландском свитере, так и остался, год за годом служит у господина Хольменгро, таскает мешки и разные тяжести.

Толку из него не вышло, куда там, и семья, как и прежде, на своем шестке, так вот незадачливо может обернуться для некоторых жизнь. Зато Ларс Мануэльсен, тот взобрался наверх, он рос вместе с местечком, с Сегельфоссом, он отец Л.Лассена, видного священника, что служит на юге, ученого и кандидата в епископы, и отец Юлиуса, хозяина гостиницы Ларсена на набережной. Давердана тоже его дочь, та, которая замужем за чиновником с пристани и у которой рыжие волосы, придающие ей такой страстный вид. Так что семейство Ларса Мануэльсена многого достигло, да и он тоже не отстает, с давних пор сам себе хозяин, и в лавке его никто без гроша не видел. Да, так вот может обернуться для некоторых жизнь. Его рыжая борода поседела и поредела, а на голове не осталось ни единого волоса, но сын Л.Лассен купил и прислал ему парик, который отец носит, не снимая. И если он ходит в длинной до колен куртке с двумя рядами пуговиц и работой рук не пачкает, так это, верно, потому, что у него нет в том нужды. Теперь уже никто не обращается к Ларсу в оскорбительном тоне, но, разумеется, нет-нет, а кто-нибудь из его старых приятелей и собратьев по каторжной жизни на этой земле обронит несколько слов, вроде того, что, мол, не понимаю, на что ты, Ларс, живешь, коли, конечно, не воруешь! Тогда Ларс Мануэльсен сплевывает и, помедлив, отвечает. «Я тебе должен чего-нибудь?» — говорит он. «Нисколько. Но было бы недурно, кабы ты мне был должен!» — «Тогда бы я заплатил!» — говорит Ларс Мануэльсен.

Доходы Ларса Мануэльсена имеют вполне естественный источник. Может ли, к примеру, человек, у которого такие выдающиеся дети, работать на других? Нет уж. Но когда Юлиус открыл гостиницу и начал принимать постояльцев, старика-отца, само собой, подключили к делу. Кто бы иначе носил чемоданы и сундуки с пристани и обратно? Вначале Ларс Мануэльсен скромничал и зарабатывал совсем немного, но в последнее время доходы выросли: то какой-нибудь шкипер приедет, то торговец скотом закупать мясо для городов, то фотограф или репортер иллюстрированного еженедельника, а то зачастил один мелкий коммивояжер с образцами товаров в саквояже. И все как один постояльцы щедрые и обходительные, светские люди, не скупившиеся потратить двадцать пять эре на то, чтобы багаж им поднес отец знаменитого человека. Про Уле Юхана, который повстречался ему на дороге, никто ничего толком не знает, а про Ларса Мануэльсена всем известно, кто он таков, да и сам он об этом знает и этого не скрывает.

— Нет, ни шлюпа, ни рыбацкой шхуны они не ждут, — говорит Ларс Мануэльсен. — Потому как ветра нет.

— Ага, ветра нет. Разве что послали гребную лодку за приезжими гостями?

Оба обдумывают это предположение, но приходят к выводу, что оно невозможно, просто смехотворно. Нет, у старого Пера-Лавочника и у Теодора-Лавочника гостей не бывает. Вот ежели бы человек стоял на сигнальном холме господина Хольменгро...

Ибо господин Хольменгро по-прежнему оставался важной персоной, перво-наперво приходившей на ум каждому. Правда, пару лет назад он понес колоссальные потери и потом еще не раз терпел убытки, но что значит одна или две неудачи для того, кому они по плечу! Ведь в Сегельфосс, как и прежде, приходили большие пароходы с рожью и пшеницей из Америки и с Черного моря, а отсюда уходили, груженные мукой, в северные районы страны и в Финмарк. Мукомольня господина Хольменгро ни единого дня не простаивала, хотя ночами, как раньше, больше не работала.

Что же до гостей, так и это Уле Юхан и Ларс Мануэльсен обсудили: кого бы такому важному человеку, как господин Хольменгро, ждать, ведь дочь его, фрекен Мариана, уже вернулась домой в красной пелерине из Христиании, она и за границей побывала, да и кого бы он ни ждал, неужто пожелал бы воспользоваться сигнальным холмом Теодора-Лавочника?

Уле Юхан говорит:

— Ежели бы у меня было время, я бы сбегал на сигнальный холм и спросил. Может, ты сходишь?

Ларс Мануэльсен отвечает:

— Я? Нет.

— Это почему же нет-то?

— Мне дела до этого нет.

— Ну что ж, по мне, пускай, но так никто из нас ничего и не узнает, — говорит обиженно Уле Юхан. — Больно важный стал, ни до чего тебе нет дела.

Ларс Мануэльсен сплевывает и отвечает:

— Я тебе чего-нибудь должен?

Уле Юхан уже собрался было уйти, но тут видит Мартина-Работника с переброшенной через плечо дичью. Мартин-Работник идет из леса, в руке у него ружье, он днем охотится, песцовые шкурки нынче по семьдесят крон, а мех выдры по тридцатке.

— Кого подстрелил? — интересуется Ларс Мануэльсен, желая выказать благожелательность.

— Гляди сам! — коротко отвечает Мартин-Работник.

Потому что Мартин-Работник краток со всеми, и с отцом великого человека разговаривает так же, как с другими. Подумаешь, великий человек — где они, великие? После смерти своих прежних господ Мартин-Работник ни одного великого человека не встречал, он живет в основном воспоминаниями о тех временах, когда был жив лейтенант, о временах Виллатса Хольмсена-третьего, когда теперешняя фру Раш, жена поверенного, служила экономкой в поместье, а Готтфред-Телеграфист был в Сегельфоссе мальчиком на побегушках. Те дни он помнит. Конечно, есть еще один Виллатс Хольмсен, четвертый, его называют молодой Виллатс; но он музыкант и домой наезжает редко, Мартин-Работник особого почтения к нему не питает.

Он идет дальше — с птицами через плечо и старомодными представлениями в голове.

— Шел бы к нам в гостиницу. Продашь птиц, получишь деньги, — говорит ему Ларс Мануэльсен.

Расслышал Мартин-Работник его слова? Прекрасно расслышал, но ничего не ответил. Уж больно разозлило его это заносчивое предложение.

— Не видел, кто стоит на сигнальном холме? — спрашивает Уле Юхан ему вслед.

Мартин-Работник останавливается:

— На сигнальном холме? Да Корнелиус из лавки, — отвечает он, потому что спрашивает Уле Юхан.

— Корнелиус из лавки?

— Ага.

Мартин-Работник идет дальше и очень злится на Ларса Мануэльсена в куртке с двумя рядами пуговиц.

О, и Уле Юхан и Ларс Мануэльсен и сами прекрасно видели, что на холме с флагом в руке стоит, четко вырисовываясь на фоне неба, подручный лавочника Корнелиус, но им надо было услышать это и обсудить. Да, ежели это Корнелиус, значит, дело касается хозяев лавки, Пера-Лавочника или его сына Теодора-Лавочника, и что бы это могло значить?

Лавка — это, кстати, один-единственный человек, потому что старый П.Енсен уже восьмой год как парализован и недвижим, он ничто, пустое место; зато сын — голова: успешно ведет торговлю, ведет на широкую ногу, прямиком к богатству. У этого Теодора счастливая рука во всем, чем бы он ни спекулировал, что бы ни предпринимал; он переплюнул отца, он зарабатывает деньги, а отец лишь копил. Молодому

человеку всего двадцать лет, а он уже научился защищаться от конкурентов, вот недавно проглотил пекаря с его пекарней за долги лавке.

Хоть характера он непреклонного и упрямого, все же этот парень, этот везунчик — человек довольно ограниченный. А что от него еще ждать? Прирожденный крестьянин, плут, он удачно ведет торговлю, а за стенами своего заведения ничем не отличается от других парней своего сословия, пожалуй, только поострее на язык да дурашливее. То напялит кольца на обе руки, то расхаживает по своей грязной лавке в башмаках с шелковыми бантами. Да уж, поглядел бы на тебя папаша! — посмеиваются над ним сегельфоссцы.

А что ему до папаши? Он его во всем превзошел, обогнал. По правде говоря, уже несколько лет, как он спекулирует на свой страх и риск — скупает рыбу на Лофотенских островах, на сколько денег хватит, с каждым годом все больше и больше, и вот нате вам — заимел собственный шлюп. На большую высоту парень забрался, перед ним весь мир открыт. Осенью все аж ахнули: взял да и продал свой новый шлюп и выручил кучу денег. Бросил рыбный промысел, что ли? Да, на один год. Передышку сделал.

А весной он приобрел у компании в Иттерейи судно «Анна», громадный прогнивший шлюп, обшивку тронь зонтиком — сразу и проткнешь. Никудышное судно, да ведь и цена ему всего ничего. Два месяца спустя шлюп быстро и умело привели в порядок, и к тому же оснастили как галеас, покрасили, застраховали и отправили на ловлю сельди. «Анна» выдержала, днище не вывалилось. А зимой неужто отправилась на Лофотенские острова за треской? Это был бы для нее конец; нет, Теодор в том году зафрахтовал для ловли трески грузовое судно. Странный ход, и ребенку понятно было, что это ежедневные убытки. Убытки? Как раз в те дни юный Теодор велел приделать булавку к золотой двадцатикроновой монете и стал закалывать ею галстук. А что случилось с грузом осенью, когда потрошеная треска усохла и полегчала? Юный Теодор загрузил его на свой гнилой галеас, застраховал и отправил в рейс. Ясно как день — то был последний рейс галеаса «Анна», он пошел ко дну к югу от Фоллы; но никогда еще юный Теодор не обделывал столь удачного дельца. Оно принесло ему капитал, который позволил сделать следующий шаг, прославивший его на всю округу,— купить гагачий базар купца Хенриксена.

После этого он предпринял еще немало ловких ходов. В основном по части старых кораблей; вот и сейчас у него

снова старый, но вполне пригодный шлюп. И его ожидают со дня на день с уловом трески для сушки на скалах; но в штиль шлюп не поплывет. Не этому шлюпу готовится салютовать флагом Корнелиус.

У Уле Юхана есть один закоренелый порок, который всю жизнь не дает ему покоя: он любопытен, как женщина. И он предлагает сходить прямо в лавку и все разузнать, ежели Ларс Мануэльсен согласится тем временем поработать за него на мельнице.

Ларс Мануэльсен, разумеется, давно уже рук работой не пачкает; но он уже столько раз отказывал своему приятелю и соседу, что ему не хочется сразу говорить «нет».

— Одет я больно неподходяще, — нашелся он.

— Неподходяще? Да уж — восемь пуговиц на куртке! — раздраженно издевается Уле Юхан. — Как бы их не смололо!

— Не в том дело... — отвечает Ларс Мануэльсен довольно миролюбиво. — Глядишь, парик не выдержит.

— Парик? Ты что, снять его не можешь? Из-за парика и пальцем теперь не пошевелишь? Наплюй на парик! Вот когда ты надеваешь его по праздникам и к причастию, тут уж сказать нечего.

И Ларс Мануэльсен, прекратив препираться, отправляется прямиком на мукомольню. Препираться гордость не позволяет. Оглянувшись, он видит, что Уле Юхан держит курс на лавку.

На мукомольне он как дома, еще с прежних времен знает, что делать. Но теперь уж лишний раз не наклонится и тяжесть не поднимет, это в прошлом, потому как горбатиться ему глубоко противно.

Вон стоит Бертель из Сагвики — дослужился до места доверенного лица хозяина, и поденная плата у него повыше, чем раньше. У Бертеля из Сагвики и его жены дела идут неплохо, у него самого твердый заработок, а жена, по примеру прочих, прирабатывает шитьем мешков для мукомольни. Дети у них тоже удачливые, после конфирмации мало-помалу вышли в люди, Готтфред работает на телеграфе, а дочь Паулина по-прежнему заправляет хозяйством в усадьбе Сегельфосс и командует всеми теми, кого молодой Виллатс взял обратно. Эта самая Паулина прошла ведь хорошую школу по части домоводства и кулинарного искусства у стариков Виллатсов Хольмсенов, ей в самую пору стать прекрасной и умелой экономкой в гостинице Ларсена, и разве Юлиус о ней не подумывает? Давно подумывает, любит ее, и сватался неоднократно, но Паулина его отвергла. Ларс Мануэльсен не

в силах удержаться, чтобы не сделать крюк и не поболтать с Бертелем, и перво-наперво заявляет, что не собирается вновь наниматься сюда на работу, а пришел, только чтобы оказать небольшую услугу Уле Юхану.

— Понимаю, — отвечает Бертель, посмеиваясь про себя.

— Я больше не работаю, мне это без надобности.

— Ясно, без надобности, — говорит Бертель, а про себя усмехается еще сильнее, ибо с годами стал веселым и жизнерадостным.

— Потому что, ежели насчет всего такого, так у Юлиуса есть гостиница Ларсена — и еда тебе, и питье, и чистые постели, и все что душе угодно.

— Я про это и говорю.

Ларс Мануэльсен продолжает:

— Как там дела? Женится Юлиус на Паулине? Не слыхал?

— Нет.

— Ведь я что хочу сказать, — продолжает Ларс Мануэльсен, — Лассен, сынок мой, мог бы их обвенчать, чуток поторжественнее, чем ежели кто другой венчать будет.

На это Бертель отвечает, что ему ничего не известно. Паулина вольна поступать, как ей вздумается, вроде непохоже, что она стремится уйти из имения.

— Вольна поступать, как ей вздумается! И что ей только в голову взбрело? Противно слушать! Нацелилась небось на самого Виллатса? Шалопай и музыкант, сегодня в одной стране, завтра в другой. А поместьем управляет Мартин-Работник.

Но у Бертеля, верно, сохранились остатки былого почтения к дому Хольмсенов, его рассердили насмешки Ларса Мануэльсена над молодым Виллатсом, и он этого не скрывает.

— Твоя мать родила шалопая, — сказал он, — ты и есть этот шалопай. А Виллатс, он настолько выше меня и моего семейства, что и не замечает нас, по земле ползающих, а еще меньше обращает внимания на Паулину, которая работает у него за хлеб насущный. Виллатс, он барин, а мы кто с тобой такие? А на твой дерьмовый язык, Ларс, ему и вовсе плевать, он тебе его вырвет!

И Бертель этак небрежно сплевывает.

Ларс Мануэльсен безмолвствует, полный собственного достоинства. Уже давно его никто так не оскорблял, и он уходит — к работе, прочь от Бертеля из Сагвики.

Внизу по дороге идет господин Хольменгро, заводчик. Удивительно, до чего он изменился! Серая куртка, серые мятые брюки, грубые башмаки, белые от мучной пыли, и ши-

рокая нечищеная шляпа — вот и все, что осталось от его прежнего великолепия. Зимы тутошние с каждым годом становятся мягче, но те, кто раньше носили куртки, нынче ходят в пальто, такими зябкими неженками заделались; а господин Хольменгро по-прежнему ходит в серой куртке. Даже у ленсмана из Уры шнур на фуражке, даже у лоцмана с каботажного судна блестящие пуговицы с якорями; а господин Хольменгро смахивает на старшину рыбацкой артели или десятника. И коли кто не привык к такому его виду в последние годы или же вовсе не видел его одетым иначе, верно, удивился бы. Неужто это тот самый король Тобиас, который в этих местах подчинил себе, поставил на колени все живое? Если бы не толстая золотая цепь на жилете, нипочем бы не признать. Скорее его примешь за сушильщика рыбы у Теодора-Лавочника.

Он проходит мимо Бертеля из Сагвики, и Бертель кланяется ему. Он направляется к группе из четырех человек, которые наполняют мукой и завязывают мешки, эти вроде и кланяются, а вроде и нет, двое слегка кивают, а двое других нарочно сгибаются над мешками, делая вид, будто ничего вокруг не замечают. Это современные рабочие, они ходят в галошах и приезжают на мукомольню на велосипедах. Велосипеды стоят поблизости.

Господин Хольменгро обращается к ним, но они не вытягиваются в струнку, не ловят каждое слово, они отдыхают, навалившись на мешки, притворяясь, будто слушают. Когда хозяин заканчивает свою речь, они распрямляют спины и минуту-другую обдумывают его слова, а потом начинают громко между собой переговариваться, так, чтобы хозяин слышал, выражают сомнение в правильности его распоряжений, спрашивают мнения друг друга, сплевывают, советуются. «Как думаешь, Аслак?» — говорят. «Что будем делать?» — говорят.

Заводчик повернулся, собираясь уйти, прошел уже несколько шагов, но, услышав последние слова, оборачивается и кричит:

— Что будете делать? Будете делать то, что я вам велел!

Тем самым он считает вопрос решенным. А он, может, вовсе и не решенный; но заводчик видит, что почтением тут и не пахнет, он страшится стычки и потому удаляется. Ни на что другое духу у него не хватает. Случалось ведь, заводчик давал своему работнику Аслаку расчет, но тогда и другие рабочие грозились уйти. Два раза такое было, и два раза ни к чему не приводило.

Был бы на его месте прежний владелец поместья Сегельфосс, лейтенант! Молниеносный взмах хлыстом и — вон отсюда! За эти годы господину Хольменгро не раз представлялся повод вспомнить лейтенанта Хольмсена: вот уж кто не тратил лишних слов, скажет несколько, три-четыре от силы, а глаза насквозь прожигают. Рука сжимает кнутовище — аж костяшки пальцев белеют, но зато ежели вздумает расщедриться и поощрить кого-нибудь — вот это зрелище! У него служили охотно, потому что он был из тех, кто умел приказывать, настоящий господин. Может, он носил в ушах золотые кольца, как важные шкиперы из Вестланна? Или курил длинную пенковую трубку с серебряным мундштуком? Или, может, такой был толстый, что ему приходилось сидеть на двух стульях, чтобы разместить свои телеса? И тем не менее никого не уважали больше, чем его, и никто не смел смотреть на него свысока.

Для господина Хольменгро все это и поныне загадка. Он ли не пытался всяческими способами обрести власть над своими людьми? Да что там, ведь он даже додумался масоном стать, чтобы иметь про запас волшебную силу! Но народ плевать на это хотел, никто его не боялся, дураков не было. Да никто и не знал в точности, масон он или нет.

Он подходит к Ларсу Мануэльсену и говорит:

— Здравствуй, Ларс. Ты опять начал у меня работать?

Ларс отвечает:

— Нет, ни в коем разе. Только временно.

— Где Уле Юхан?

— Маленько задержался. Я пока вместо него.

— Я послал сюда утром поденщика на подмогу, не знаешь, где он? — спрашивает господин Хольменгро.

— Поденщик? Конрад, что ли? — Нет, Ларс Мануэльсен никакого Конрада не видел.

— Он у меня на харчах, с утра должен был бы прийти.

— Небось сидит где-нибудь, баклуши бьет. Найти его?

— Найди.

Все идет наперекосяк, и заводчик хмурится. По правде говоря, у этого короля, владельца мукомольного завода в Сегельфоссе, большие неприятности. Еще несколько лет назад это был добродушный цветущий господин, а сейчас — на висках синие жилки, нос заострился, морщины вокруг глаз, седая борода. Весь он какой-то тощий — и руки тощие, и лицо, и ляжки, словом, кожа да кости остались. И что, разве из-за этого он перестал быть великим? Тогда бы он не был тем, кто он есть! Деятельность его, правда, уже не имела того вне-

чатляющего размаха, как прежде, нет, нынче зерно мололи только днем и рабочих на мукомольне куда меньше; но король Тобиас не сломлен, он и не такое выдюжит. И когда он стоит вот так, погруженный в размышления, и окидывает взглядом свои владения — величавую реку, пристань, море, — и дает волю мыслям, тогда на лице его снова появляется решимость, а в глазах — бесстрашие. Да, молодость миновала, но до старости еще далеко, он человек в годах, но болтают ведь, что в соседней округе у него еще, бывает, детки рождаются.

Подходит Ларс Мануэльсен с поденщиком, и заводчик спрашивает:

— Какую работу сегодня выполнил?

— Никакой, сидел один покуда, — отвечает Конрад.

— Сидел, курил, — сообщает Ларс Мануэльсен.

— А что делать-то было? — спрашивает Конрад. — Уле Юхан ведь не пришел.

— Мог бы ко мне обратиться, я бы тебе дал работу, — высокомерно говорит Ларс Мануэльсен.

Но Конрад презрительно фыркает:

— К тебе? Это мне-то к тебе обращаться?

— Да, — подтверждает заводчик.

— Да никогда в жизни, — говорит Конрад. — А ежели вы желаете вычесть у меня за этот простой, так я не против.

— Значит, по-твоему, все в порядке? — спрашивает заводчик. — Но работа-то, которую ты был обязан выполнить, не выполнена.

— А что делать-то, коли Уле Юхан не явился? Я тут ни при чем.

— За сегодняшние двухразовые харчи мне тоже с тебя вычесть?

Тогда поденщик отвечает:

— Харчи? Мне что, на пустой желудок идти на работу? Да, жить нам, наемным рабам, становится все хуже и хуже. Последний кусок изо рта норовите вырвать.

Славная бы разгорелась перепалка, не реши заводчик промолчать. Он-то знал, чем закончится дело: поденщик все равно останется.

— Пора бы отослать тебя прямиком домой, — говорит заводчик, уходя.

Конрад в долгу не остается.

— Вы так думаете? А я-то, простофиля, считал, что у нас в стране есть закон и порядок. И ежели я пойду в газету, так они наверняка считают так же.

Да, в газете, в добропорядочной «Сегельфосс Тидене», выходившей уже седьмой год и определявшей взгляды жителей городка и его окрестностей, пожалуй, считают так же, подумал господин Хольменгро. Заводчика разок-другой уже поминали на ее страницах, высказывали кое-какие порицания, да еще усердно торговались с ним о ценах на муку, ведь пшеничная мука и ржаная мелкого помола стала бедноте не по карману. Но отрицать нельзя, «Сегельфосс Тидене» справедливая газета, редактор ее человек известный, и заслужить его одобрение крайне важно. «Мы», говорит он, «по нашему мнению», говорит он. Изредка он любезно кивает в сторону господина Хольменгро, поощряя его деятельность, а однажды газета сообщила:

«Учитывая обстоятельства, мы должны воздать должное произведенной заводчиком реконструкции подъездной дороги к мукомольне. В результате подъем стал не таким крутым, и теперь возчики могут брать груза на 100 кг больше. Путь, правда, немного удлинился, но, как мы уже сказали, возчики компенсируют это бóльшим грузом. Поэтому нам хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, реконструкция дороги принесла ощутимую пользу нашему местечку, хотя нельзя забывать, что лошадям из многих бедняцких хозяйств по-прежнему приходится преодолевать трудные подъемы на более тяжелых работах. Еще одно неоспоримое преимущество для работодателя: вкалывающий до седьмого пота рабочий может теперь приезжать по утрам на работу на велосипеде и, таким образом, начинать свой каторжный труд со свежими силами. Учти это, рабочий!»

Наконец появляется Уле Юхан. Он один из старых честных рабочих мукомольни, глуповатый и ограниченный, но верный и сильный — если понадобится, себя не жалеет. Желая проявить вежливость, он здоровается еще издалека и кричит:

— День добрый. Я здорово припозднился, но я на это время послал заместо себя Ларса.

Господин Хольменгро лишь молча кивает и покидает мукомольню.

— Разозлился? — спрашивает Уле Юхан, глядя ему вслед.

— Не без этого! — сгущает краски Ларс Мануэльсен.

— Не по своей воле! — говорит поденщик, выпячивая грудь.

Обговорив и обсудив случившееся, ему дали соответствующую оценку. Поденщик не забывает упомянуть, что именно он отважился возразить почтенному хозяину: «У нас в стране закон и порядок! — сказал я».

— Верно, я стоял рядом и слышал, — подтвердил Ларс Мануэльсен, который теперь полностью на стороне Конрада. Ободренный такой поддержкой, Конрад пыжится еще больше:

— Вы ведь знаете, и ты, Ларс, и ты, Уле Юхан, что я уж несу свой крест и свою работу делаю как положено. Но когда он накидывается как тиран какой или, скажу прямо, что твой рабовладелец, не такой я человек, чтобы молчать. И пусть зарубит это себе на носу! Уж я или выложу все, что думаю, или из меня и звука не выжмешь.

— Что верно, то верно, — говорит Ларс Мануэльсен. — Что я хотел спросить-то: кто-нибудь знает, в честь чего это Теодор-Лавочник собирается флаг поднимать?

Конрад обиделся, он рассчитывал еще какое-то время удержать их внимание. И он ушел, пройдя мимо Бертеля из Сагвики, поглазев немного на стоявшие в ряд велосипеды. Возле рабочих, завязывавших мешки, он остановился.

А Уле Юхан тяжело опустился на мешок с мукой, подняв облако пыли. Вот грязнуля. Ну да что там, чуть больше на нем муки, чуть меньше, его одежкам все одно. Они и без того из ткани и муки сварганены, все в корках теста.

— В честь чего это он собрался флаг поднимать? — повторяет он. — Я спросил его, чего ради на сигнальном холме мерзнет человек. «В свое время узнаешь», — ответил Теодор.

— Каков характер и обхождение, таков и ответ, — с досадой говорит Ларс Мануэльсен.

Уле Юхан встает и принимается стаскивать с себя свитер; но любопытство берет верх — оно его прямо-таки парализовало.

— Ежели бы только догадаться! — говорит он. — А ты что об этом думаешь, Ларс?

— Небось одна суета да тщеславие этого Теодора.

Уле Юхан говорит:

— А знаешь, что я думаю по этому поводу, Ларс? Суета это все да тщеславие Теодора. Тьфу!

Но тем самым они остались с носом, напрочь лишили себя приключения. У Уле Юхана руки ни к чему не лежат, он вдруг говорит:

— А может, это шведский принц на охоту собрался?

— Может, и так!

На Уле Юхана это предположение подействовало так сильно, что он принялся снова натягивать на себя свитер.

— Пойдем спросим, что Аслак и другие думают.

Так и шло время. Они, эти люди, как умели, размышляли, так и эдак раскидывали умом, ломали себе голову — их сердца получили пищу. Их тоже порой посещали видения, стоило им заглянуть в страну фантазий.

А работа стояла.

Они подошли к Аслаку и другим рабочим и еще раз выслушали рассказ о храброй отповеди поденщика, о том, что в стране есть закон и порядок. Память у Конрада нисколько не притупилась, напротив, стала еще острее, теперь он уже твердо помнил, что бросил прямо в глаза заводчику слово «рабовладелец», а потом и «фармазон». Шестеро взрослых мужчин слушали седьмого. Работа стояла.

Это были современные рабочие, из тех, что разъезжают на велосипедах в ветровках и с болтающимися цепочками от часов, закаленные как сталь, из тех, кто обращается в газету. У них на все было свое мнение, они знали себе цену, да, по сути дела, кому, как не им, и иметь цену, ибо имя им — легион. Что без них делать остальным? И кому под силу справиться с ними? Капиталисты, день ваш грядет!

Уле Юхан попытался ввернуть в разговор свою великую сенсацию: человек на сигнальном холме. Но нет, Аслак и другие проявили полное равнодушие, они закаленные, у них и фантазии-то никакой, и они вновь вернулись к делу Конрада. Ох уж это дело Конрада, да что оно стоит-то, ему ли утолить сердечную истому!

И тогда Уле Юхан, уязвленный и оскорбленный в своих лучших чувствах, вдруг вспомнил о своих обязанностях и с величественным видом вернулся к работе, по дороге стащив свитер и крикнув поденщику:

— Конрад, дуй сюда, да побыстрее!

Ларс Мануэльсен отправился восвояси.

— Услышишь что, загляни и расскажи! — крикнул ему вслед Уле Юхан.

Очень надо! — подумал про себя Ларс Мануэльсен.— Эти его старые приятели напрочь забыли, чей я отец,— подумал он. Он стал спускаться, по дороге отряхивая куртку.

А Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме, вглядываясь в даль. Внизу, у лавки, как всегда, царило оживление — покупатели и зеваки, дети и собаки, работники, таскавшие ящики и тюки, заполнявшие большую сельскую лавку товаром для продажи его в розницу.

Подумать только, и как из такой-то малости получилось такое большое дело!

2

Тот же самый дом, в котором старый Пер-Лавочник начинал свою мелочную торговлю, но с пристройкой, вдвое увеличившей торговое помещение. Это дело рук Теодора.

Наверху, в мансарде лежит Пер-Лавочник собственной персоной и никак не помрет. Просто чудо, как долго он держится, хотя парализованная сторона совсем усохла, вместо прежних надежных конечностей у него теперь хлипкая женская ручка и хлипкая женская ножка. Помереть? Что ж, все там будем. Но не сейчас, не сейчас! Он не желает умирать и ясно дает это понять: лежит в кровати и, когда ему чего-нибудь нужно, стучит палкой в пол, стучит часто, стучит оглушительно и вмешивается во все, что происходит в доме. И всегда на нем жилетка — надо ведь, чтобы хоть верхняя половина тела прилично выглядела. И все ж он убогий паралитик, заросший бородой, с седыми клочками волос на затылке. Летом в теплые дни его выносят на улицу, и он наслаждается, глядя, как снуют в лавку и из лавки покупатели. Короткими зимними днями он не читает ни газеты, ни сборник проповедей — керосин чудовищно дорогой, — а лежа впотьмах, слушает далекое, километров за десять отсюда, лебединое пение, отвратительное пение, тьфу. Как будто лист жести вибрирует от ветра, или церковный флюгер вертится, или ворота скрипят на петлях, тьфу. Какого дьявола эти дикие птицы так орут? Их ведь никто не трогает!

Но летними светлыми ночами Пер-Лавочник совсем другой человек, он лежит и строит планы, ворочает делами. Детские забавы, чепуха. Он верит, будто торговля сегодня ведется так же, как в его время, только немножко масштабнее. Верит в постные баранки, которые привозили тогда морем из Бергена в пустых бочках и гробах. Верит в гвозди, в десятки ящиков с толстыми трех- и четырехдюймовыми гвоздями, в пакетики с мятными лепешками для школьников, в пристежные воротнички и ломкие бумажные манишки — хотя к чему людям нынче такой товар! Пер-Лавочник человек старого пошиба, бережливый до идиотизма, осторожный сверх всякой меры, упрямый торгаш. Все так. Но одному Богу известно, не разбирается ли он и по сию пору в деле лучше других и не дурачит ли кого, лежа в кровати и мысленно торгуя ненужным товаром. Кого дурачит? Себя самого или других, а все равно дурачит. Он прирожденный меняла и торговец, этот его неискоренимый талант ведет его все дальше и дальше, он давным-давно отбросил всякие недомолвки, оставил позади мелкое коварство, он, возможно, уже завершил круг, добрался до изнанки: делает вид, будто кого-то дурачит. Хитрый, смешной человек.

Он стучит палкой в пол. Наконец приходит жена, он велит ей позвать Теодора. Она не двигается с места и не торопится,

и он коротко повторяет приказ. Он не говорит жене больше того, что требуется, и не смотрит на нее, нет, потому что она представляется ему козой в человеческом обличье.

— Это смотря по тому, есть ли у Теодора время, — отвечает она.

— Чтоб пришел тотчас! — кричит Пер-Лавочник.

Но Теодор является только тогда, когда у него есть время и желание. А ежели отцу приходится дожидаться слишком долго, он посылает за сыном снова, не стесняясь при этом в выражениях. Старый упрямец все-таки имеет определенную власть, не говоря уж о том, что торговля ведется под его именем, и лавка называется по его имени — П. Енсен. Теодор пока еще не рискует показываться на глаза отцу в своих побрякушках, входя к нему, он обычно прячет кольца в кармашек жилетки. И сейчас сделал то же.

Он подходит в кровати и из привычного почтения не садится на стул.

— Не мог прийти, когда я стучал? — спрашивает отец.

— Я был в подвале, — отвечает сын.

— Так я тебе и поверил! У нас спички есть?

— Спички? Конечно.

— Они в цене не поднимаются?

— Спички? Нет.

— Надо закупить тысячу гроссов, — говорит старик, — тогда поднимутся.

— Тысячу гроссов? Это груз для целого шлюпа, и где нам их хранить?

— В лодочном сарае. Больше там танцев не будет. Танцы — это грех. Мне знамение было. Вот пусть нечистый и получит спички — в сарае!

Из привычного почтения Теодор не смеется, не хлопает себя руками по коленям, но папаша-то — решил одолеть нечистого, одолеть дьявола с помощью спичек! И терять на этом ничего не собирается, хочет скупить всю фабрику и завладеть всеми спичками в Нурланне. Детские забавы — отец и впрямь в дите превратился. Доставить тысячу гроссов спичек невозможно, все место займут, а весу всего ничего. Да и какую прибыль даст тысяча гроссов спичек? Никакой. Другое дело, если бы речь шла о тростях или тканях на блузки.

— Тысяча гроссов, решено. А соль у нас есть? — спрашивает старик — соображает, что надо потяжелее загрузить судно.

— Соль? До лета хватит.

— Лари заполнены?

— Не сказать, чтоб до верху. Но соль от тепла тает.

— Щенок, отца учить вздумал? Значит, сотня бочек соли. Ступай, запиши.

Пустая болтовня. Спустившись с мансарды, Теодор ничего не записывает. Он прекрасно понимает, как важно для отца провернуть дельце со спичками, которыми он собирается одолеть нечистого, раз он при этом идет на убытки от операции с солью, что с него взять — невменяемый ведь. И сарай трогать нельзя, он служит молодежи для танцев, окупает себя превосходно, выше всяких похвал. Лавку, правда, с недавних пор лишили патента на продажу спиртного, но все же скольким парням юный Теодор помог раздобыть бутылочку для субботних танцулек. А когда Теодор сам изредка появлялся в сарае во всем своем великолепии, в башмаках с шелковыми бантами — ну настоящий барин, большой человек, богатей, в глазах любой девицы олицетворение пышности и величия. Кстати, сам-то Теодор влюблен в принцессу и на девиц внимания не обращает. Господь, верно, специально бросил это злосчастье в трюм его души, дабы не опрокинулся он от дури и легкомыслия. Но то уж его крест.

Он вновь надевает на пальцы кольца и входит в лавку, в свое царство. Народ, что толчется у прилавка и загораживает дорогу, расступается, Теодор поднимает откидную доску, проскальзывает в проход и вновь опускает доску. Теперь он начальник. У молодого парня в услужении два приказчика, полки и ящики ломятся от товаров, с потолка свисает товар, пол заставлен товаром, в лавке есть все, что только может пожелать человек,— шелковые ткани, изразцовые печи, венские булочки. Он помещал объявления в «Сегельфосс Тидене» просто ради шика — необходимости в том никакой, ведь у него нет конкурентов, но Теодор ведет дело на современный лад.

Старый Пер-Лавочник и понятия не имеет, что происходит внизу, у него под ногами, спички, сказал он, соль, сказал он. Неужто думает, что все осталось так, как было в дни его владычества, когда дневная выручка умещалась в кожаном кошельке, который на ночь можно было сунуть под подушку? Нынче выручку заносили в большие конторские книги и прятали в несгораемый шкаф в конторе, а в конторе находится один Теодор, который, сидя на высоком винтовом табурете, царапает пером бумагу.

Раньше, когда он еще был мальцом, он подписывался «преданный Вам Теодор Педерсен», подчеркивая, что он сын Пера, а теперь писал Енсен, потому что папаша взял себе фамилию Енсен. Это мать заставила отца отказаться от ро-

дового имени и переменить фамилию на Енсен — ей хотелось носить шляпки и величаться «мадам». Все кругом менялось, одно за другим, а больше всего торговля. Спички и соль? Нет, консервы, макароны и швейцарский сыр. Упрямому калеке, что лежит наверху, и сейчас подавай, как и прежде, козий сыр — вот глупец, козьего сыра сегодня уже не достать, потому что больше никто не держит коз. Этот товар ушел в прошлое, так же как ушли в прошлое бумажные манишки и постные баранки. Старику взамен предлагают нечто под названием «сливочный сыр» или нечто под названием «молочный сыр» — спасибочки, он выплевывает эту гадость на пол. Для лавки хуже покупателя не придумать, больно уж он старомодный. Почему бы ему не отведать, по примеру остальных, рокфору в серебряной бумажке или камамбера в изящных деревянных коробочках? Но для него — все сплошное шарлатанство. Молочная тюря — это он понимает, а макароны — что за штука такая? Старик отстал от прогресса, и местечко и его обитатели ушли далеко вперед, нынче все ели макароны, сваренные в воде — пальчики оближешь, да еще если салом заправить — вот бы и им сюда макаронные леса, как за границей!

И помимо всех других выгод — насколько легче, удобнее, по сравнению с прежними временами, стало вести теперь хозяйство. Масло? Масло уже не сбивают, просто идут в лавку и покупают «Пеллерин». Сараи и навесы для солки мяса и свинины и сушки рыбы? Над теми, кто еще питается солониной, хохочут до упаду. На кой черт, когда можно купить еду в жестяных банках, консервы. Уже готовую, сваренную, чуть ли не разжеванную, только и осталось, что завернуть в тряпочку и сунуть в рот человечеству заместо соски. И как же тяжко приходилось раньше трудиться по дому бедным хозяйкам, по сравнению с нынешними временами! К чему теперь во рту зубы? Вон в лавке у дантиста вставные челюсти на шнурке висят, а для консервов требуется лишь ложка. И потом, консервированная пища всегда свежая, щадит желудок, хотя люди почему-то и заболевают от нее язвенной болезнью. Ну, разве не прогресс по всей линии?

Зато Нильс-Сапожник с сыном остались без хлеба насущного. Когда-то самые нужные люди в Сегельфоссе и его окрестностях, те, кто шил кожаные башмаки, державшиеся год, а то и два, кто латал сапоги так, что заплаты казались украшением, остались без хлеба насущного. Нынче все покупают обувь в лавке. А как же иначе? Блестящая, остроносая обувь, просто лизнуть хочется.

Потерпел так Нильс-Сапожник годик или два, худея день ото дня и став похож на собственную тень или на юношу-конфирманта — так резво бегал он по домам, выпрашивая ломтик хлеба с кофе, — поглядел на все эти покупные башмаки да сапоги, которые изнашивались всего за пару месяцев, а потом выбрасывались на свалку, да, потерпел он годик-другой и решился: взял да отправил сына в Америку, а сам снова принялся бродить по местечку, перебиваясь с хлеба на воду. Что говорить, иногда попадалась ему добрая душа. Попался Бордсен с телеграфа, начальник телеграфной станции, от которого ему перепадал порой грош-другой. Удивительное у них завязалось знакомство, а началось оно с того, что Нильс-Сапожник однажды явился к начальнику телеграфа и, показав на его ботинки, спросил, не поставить ли ему новые подметки. Нет, сказал Бордсен, это мне не по карману. Зато у меня есть стопка и несколько крон, добавил он. С тех пор сапожнику всегда что-нибудь перепадало, когда у Бордсена было, что дать.

Юлиус тоже проявлял к нему доброту, в гостинице Ларсена неплохо угощали отощавшее чучело.

— Покорми Нильса, он пришел издалека, — говорил хозяин гостиницы Юлиус своей матери, командовавшей на кухне, — положи ему побольше мяса, — говорил Юлиус. — Негоже ведь тебе идти в поместье, к Паулине, не пообедав прежде в гостинице Ларсена, — говорил Юлиус Нильсу-Сапожнику.

— Да, еще не было случая, чтобы я шел мимо гостиницы Ларсена, и меня бы не накормили там как следует, — отвечал Нильс-Сапожник с хитроватым раболепием. Шельма и есть шельма.

Было и еще одно хорошее местечко, куда всегда можно было заглянуть — кухня жены адвоката, фру Раш. Нильсу-Сапожнику ни разу не довелось повстречать там самого адвоката — нет, дебелый толстяк сиднем сидел в конторе и, отдуваясь, ворочал большими делами; зато часто видел барыню — добрая душа, она во времена лейтенанта звалась йомфру Сальвесен и служила в поместье Сегельфосс, а потом сделалась важной дамой. Да, вот уж воистину люди в гору пошли! У лейтенанта йомфру Сальвесен служила за деньги, и, как ни странно, она и тогда была всем довольна и счастлива. Ну а нынче она, стало быть, фру Раш, денег куча, двое детей, чего еще надо? А у нее на душе неспокойно и тоскливо, она нервничает, часто плачет и ведет себя как-то странно, хоть и выряжается в бархат и перья. Вот положеньице-то!

Может, ей не под силу быть матерью двоих детей? Или же она никак не забудет начальника пристани, хозяин которой господин Хольменгро, того, с кем была помолвлена перед тем, как явился адвокат Раш и сделал ее своей супругой?

И теперь, когда Нильсу-Сапожнику случается проскальзывать в кухню, держа в руках веник, который он для нее связал, или починенный детский башмачок, фру Раш усаживается рядом, выставляет угощение, заводит разговор о прежних временах и расспрашивает его о сыне в Америке. Да, ведь именно ей, этой странной фру Раш пришла в голову мысль насчет Америки, но, увы, денег она им дать не могла, всего лишь несколько крон, двадцать крон, которые ей удалось скопить за много месяцев, утаивая по нескольку грошей из денег, предназначенных на хозяйство. И эта смешная женщина чуть не плакала, отдавая Нильсу-Сапожнику эти двадцать крон, эти гроши для его сына, и вся залилась краской, потому что денег было так мало. «Но гляди-ка, — сказала фру Раш, — вот тут еще немного, их хватит на билет, это от молодого Виллатса, — сказала она, — помнишь Виллатса Хольмсена?» И фру Раш рассказала, что она написала обо всем молодому Виллатсу, он — уже большая знаменитость, разъезжает по миру и развлекает людей музыкой. Да, вот ему-то она и написала и получила все, о чем просила, даже с избытком. «Деньги? — ответил молодой Виллатс, — ради бога!» — ответил он. Точь-в-точь как его отец, когда к нему приходили с просьбой. Ах, эти помещики Хольмсены, вот уж настоящие были господа! И сын такой же, вылитый родитель. Летом он приедет домой, хочет пожить в большом доме.

Фру Раш почему-то сильно разволновалась, она разговаривает с Нильсом-Сапожником во весь голос, не обращая внимания на то, что служанки все слышат. А сама сидит как на иголках, поторапливая Нильса-Сапожника доесть бутерброды и кусок пирога, чтобы убрать со стола, потому что совсем незачем оставлять еду на столе. Потом она выходит на минутку в кладовую, а когда возвращается, спрашивает, не возьмется ли Нильс-Сапожник починить и второй детский башмачок, она его упаковала в большой пакет, чтобы Нильс его не потерял, говорит она.

Когда Нильс-Сапожник уже стоит в дверях с пакетом под мышкой, фру Раш вроде бы успокаивается.

— А как вообще у тебя дела? — спрашивает она. — Что-то ты плоховато одет для такой холодной погоды.

— Плоховато одет? — весело переспрашивает Нильс-Сапожник, и его сморщенное лицо расплывается в сытой улыб-

ке. — Не люблю напяливать на себя лишнее. Да и то сказать — я так шибко бегаю, что морозу за мной не поспеть. Ха-ха, вот так-то, — говорит Нильс-Сапожник.

А фру Раш спрашивает:

— Ты от сына-то ничего не получал?

— Как же, — отвечает Нильс, — конечно, получал. Все больше письма. Потому как ему тоже, видать, нелегко приходится. Но я рад, что у него все идет как надо.

— А кроме писем, ничего не получал?

— Получал. Фотографию.

— И больше ничего?

— Н-нет. Но он обещал что-нибудь прислать в следующий раз. Он пишет очень крупно и ясно, легко читать. И подписывается фамилией Нельсон.

— Кабы лейтенант был жив! — восклицает фру Раш, сжимая кулаки. — Уж он бы заставил твоего парня писать так, чтоб было еще легче читать!

Нильс-Сапожник на это ничего не отвечает, но когда, поблагодарив ее, собирается уходить, фру Раш говорит, что она, пожалуй, попросит молодого Виллатса написать Нильсову сыну в Америку, этому Нельсону. И тогда Нильс-Сапожник, в ослеплении от своего американского сына, который так замечательно устроился, отвечает:

— Да... нет, не надо, ему, верно, тоже трудно приходится. Ну, да слава богу, по фотографии видно, живет он хорошо, все у него есть, и из платья, и часы, и всякое другое. Пишет, что хочет домой съездить, а я уж как-нибудь дождусь его приезда. Ну, большое вам спасибо!

— Приходи еще, — приглашает фру Раш.

А когда Нильс-Сапожник уходит, отводит душу со служанками: уж она бы проучила этого американского господина, этого Нельсона! Просто лопнуть можно, а? Как будто от фотографии у тощего отца жиру прибавится! Ну погоди, вот приедет молодой Виллатс!

Тут она вспоминает, что ей надо обязательно наведаться в Сегельфосс, в главную усадьбу, непременно сейчас же, она каждый день все откладывает да откладывает, она отправится туда немедленно — принеси мое пальто, Флорина! И не забудьте, пока меня не будет, сходить в лавку за кофе!

Ах, добрая фру Раш, она обещала молодому Виллатсу время от времени заглядывать в поместье и решила выполнить обещание. За домом смотрела Паулина, расторопная девушка, под ее началом было, как и в прежние времена, несколько служанок, а Мартин-Работник следил за усадьбой и

командовал полулопарем Петтером и другими работниками. По мнению фру Раш, в усадьбе всегда полный порядок, но с наступлением осени и весны у нее появлялось желание своими глазами поглядеть на серебро. Непреодолимое желание. То был ее долг, раз она обещала, да и серебро стоило того! Ах, господи, какие блюда, супницы с позолоченными ручками, вазы для печенья, подносы, чайники и кофейники, ножи с черенками в виде бараньих голов, рукомойники из серебра в покоях барина и барыни. Везде, в каждом уголке — богатство и роскошь, картины, мраморные статуи, золоченые люстры и резные шкатулки.

Фру Раш прямо дрожит от возбуждения, она еще с тех времен, когда служила там экономкой, сохранила неискоренимое благоговение ко всему в поместье, такой роскоши, как там, нигде не сыщешь, да возьмите хоть перила на обеих парадных лестницах — не знаю, из чего они сделаны, говорила она, но сверкают как золото. А когда она однажды прочитала в газете про золотой сервиз какого-то князя, то сказала служанкам на кухне:

— В усадьбе у нас был сервиз, которым никогда не пользовались.

— Золотой? — спросили девушки.

— Не стану утверждать, что золотой, — ответила фру Раш, — но, во всяком случае, серебряный. Мы им не пользовались, потому как уж больно дорогой. Его ни разу не выставляли, он так и лежал упакованный. Подумайте только, одних тарелок на двадцать четыре персоны!

— Серебряные? — закричали девушки.

И фру Раш ответила:

— Серебряные или золотые, не знаю, но хорошо помню, что однажды своими глазами видела двадцать четыре тарелки!

Фру Раш, верно, слегка преувеличивала и чуть-чуть привирала — не иначе как была в хорошем настроении. Потому, видать, придя в Сегельфосс и увидев Паулину, она задорно крикнула:

— А вот и инспектор с ревизией явился!

А Паулина в ответ:

— Очень хорошо, потому что Мартин-Работник письмо получил.

— Он приезжает?

— Скоро приедет. Скажите же, что нам надо делать?

Вопрос непростой, прежде надо все хорошенько обсудить. У молодого Виллатса ведь помимо главной усадьбы есть еще две комнаты на кирпичном заводе, в которых жил его отец.

Где теперь пожелает обосноваться сын? Ни там, ни тут ничего не трогали, мебель как стояла, так и стоит.

— Он не написал, где бы хотел поселиться? Послушай, Паулина, надо привести в порядок этот дом! Неужто, по-твоему, такой человек, как молодой Виллатс, пожелает жить где-нибудь еще, а не на главной усадьбе? Вот что, приведи-ка в порядок покои отца, лейтенанта,— всю северную половину. Пойдем сходим туда, посмотрим.

И женщины пошли. В каждой комнате на фру Раш потоком обрушивались воспоминания, она хозяйничала, отдавала распоряжения, как в былые дни, гоняла Паулину, передвигала стулья. На половине барыни тоже нужно было все проверить, вытереть пыль, выбить подушки, выстирать занавеси. Они взялись за серебро — «О!» — воскликнула фру Раш и опустилась на стул. Время шло, обе женщины забыли обо всем на свете, они сосредоточенно перетирали горы серебра, вынимали из буфета отдельные предметы, укладывали их обратно, подолгу сидели, держа на коленях массивные серебряные сосуды. Вот еще один ларец, на вид совсем невзрачный, несмотря на свои позолоченные львиные ножки,— им никогда не доводилось прежде видеть содержимое этих глубоких ящиков, ну-ка, где ключ? Разумеется, тоже серебро, завернутое в вату, но уже другое, старинное, сервиз ажурной работы. Паулина вынимает футляр за футляром, сверток за свертком, на дне еще один ящик, вынимай его тоже, Паулина, давай его сюда, Паулина. Он оказался тяжеленным, открыв его, они обнаружили две дюжины серебряных тарелок.

Фру Раш аж подпрыгнула. То, что она сама считала почти сном, да-да, собственной выдумкой, оказалось правдой!

— Ну, что я говорила? — воскликнула фру Раш. — Я же знала, что они есть, я их видела своими глазами; но не была уверена, что лейтенант их не продал — превратил в деньги перед смертью. Мне бы сообразить, что не такой он человек! Две дюжины, если не ошибаюсь, пересчитай их, Паулина! Ну, разумеется, серебряных тарелок на двадцать четыре персоны; в барском доме мы или нет? О, Господи!

Она пришла в сильное волнение, как жалко, что она не взяла с собой деток, полюбовались бы на эту сказку.

— Почем знать, глядишь, это повлияло бы на всю их жизнь — повлияло бы на жизнь моих драгоценных малюток. Но сегодня я им расскажу про все на сон грядущий. Знаешь, Паулина, какие у них у обоих чудные глазки, чудные, огромные глаза, да благословит их Господь! Мне бы завести много детей! Но скоро я уже совсем старая буду, так что больше

детей мне уже не заиметь, и, когда они вырастут, у меня ни одного маленького в доме не останется. Я про это часто думаю. Паулина, не забудь почистить всю эту красоту, заверни опять в вату, положи обратно в ящики, и пусть себе спит. Спит, спит, здесь лежит целое богатство — и спит! Да, Паулиночка, нам с тобой сегодня удалось кое-что повидать. Я тебе когда-нибудь расскажу, как накрывают стол серебряными приборами, представляешь, все-все, кроме бокалов из венецианского стекла, серебряное. И на стол подают не какие-нибудь бутерброды или вареную козлятину, а три блюда одной только рыбы разных сортов, да еще пять или десять мясных блюд, а потом фрукты и сыр, и в самом конце кофе с ликером в кувшинах из подвала. Я тебе когда-нибудь расскажу, какие празднества бывают у важных господ. На нас тогда туго накрахмаленные фартучки и белый креп на голове, чтобы волосы в еду не попали. У дам вырез вот досюда, на шее золотые цепочки, а мужчины все во фраках, даже к дневному обеду. Так у них водится. И вот встает лейтенант и обращается с речью к собравшимся — когда крестили малышку Маргрет Кольдевин, крестины проходили здесь, и лейтенант сказал в ее честь речь, самую прекрасную речь, которую когда-либо произносил человеческий язык. Меня при этом не было, это было еще до того, как я сюда поступила, но мне все рассказал сам консул Фредрик. Ах, Паулина, консул Фредрик, вот был человек! Уж такой обворожительный. Такие истории рассказывал, я над ними всю жизнь буду смеяться, и он брал меня за руку, когда хотел пошутить. Таких, как он, свет не видывал, а какие уморительные слова он находил. Я все еще жду вас, говорил он мне, в шутку, разумеется, потому что давным-давно был женат. Если б не это обстоятельство, бог знает, что бы между нами произошло, он ведь как никто другой умел всем нам вскружить голову. Ох и заболталась я, пошли, деточка. Совсем забыла про моих малышек и про полдник.

Фру Раш стояла уже в дверях, намереваясь уйти, но она еще не отдала последнего распоряжения и, вернувшись на кухню, обратилась к Паулине:

— Господи, чуть не забыла: приведи в порядок комнаты на кирпичном заводе. Выстирай там занавески, выбей ковры и вытри пыль. Откуда нам знать, такой человек, как он, может, пожелает жить сразу в нескольких местах.

И фру Раш отправилась домой, к своим драгоценным деткам. А придя, немедленно поделилась всем пережитым со

служанками, серебро в ее рассказе превратилось в алмазные россыпи, в тысячи разных предметов, в рай.

— Мы перетерли и золотой сервиз, — сказала она как бы мимоходом, — двадцать четыре тарелки.

— Из золота? — всплеснули руками девушки.

Фру Раш ответила:

— Точно не упомню, может, и из серебра. Но во всяком случае, из настоящего, на каждой тарелке проба. Между золотом и серебром разница невелика, ежели у тебя есть серебряные тарелки, могут быть и золотые, но серебряные намного благороднее, особенно когда сервируют завтрак. Дети пополдничали?

Флорина-Служанка, в свою очередь, рассказала о том, что видела в лавке. Народу там было битком, ей с трудом удалось купить кофе, только и разговоров про назревающие события, раз Корнелиус целый день напролет простоял на сигнальном холме. «Сами увидите!» — отвечал приказчик, и у Теодора был тот же ответ. И больше ничего объяснить не захотели. А люди пришли аж с дальних хуторов, только чтоб узнать, что происходит.

— Небось, какой-нибудь вздор, — сказала фру Раш. — Выдумали, будто кто-то приезжает, вот и решили флаг поднять. Яйца выеденного вся эта возня не стоит.

Но служанок захватило всеобщее возбуждение, и ближе к вечеру они поинтересовались у хозяйки, не надо ли сходить в лавку за горохом и перловкой. Оказалось, надо, и хотя одна из девушек, та, которую звали Флорина, недомогала и то и дело принималась плакать, так ее мучили рвота и зубная боль, она тоже пошла вместе со всеми, обвязав щеку шерстяным платком: ее, как и остальных, было не удержать. Когда девушки вернулись из лавки, Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме, и спускаться, видать, не собирался.

— Приказчики угостили нас шоколадом, а потом в лавку пришла Давердана, и сам Теодор налил ей вина. Ну точно, будто свадьба предстоит или еще что-то в этом роде.

Это переполнило чашу, фру Раш ведь тоже человек из плоти и крови, ей ли не знать, что коли сегодня она не купит пакет желатина и полметра марли от мух, то ей все равно придется идти завтра, потому что через два дня воскресенье. Но большого события из этого она делать не стала, она пойдет туда даже без шляпки, заглянет лишь на минуточку, чтобы они видели, как мало значения она придает их выдумкам.

Когда она вошла в лавку, все поклонились ей, ведь она фру Раш, и ее все любят; но вот незадача — посреди лавки

стоит начальник пристани, тот самый, который работает у господина Хольменгро, — собственно говоря, первая любовь фру Раш в этом местечке. Он тоже поприветствовал ее, как и положено, ничем себя не выдав, но фру Раш стало неловко, потому что она была простоволосая и одета неряшливо.

— Покажите мне ваш желатин, — только и сказала она в растерянности. — И еще дайте полметра марли, — сказала она.

Юный Теодор сам взялся ее обслужить и уже поднял было откидную доску, чтобы пригласить ее пройти за прилавок, но она отказалась: нет, спасибо, она спешит.

Тогда юный Теодор выложил на прилавок двадцать пакетиков желатина, как будто все они были разных сортов, и целый рулон марли, отвернув край, чтобы она могла как следует рассмотреть товар. Этот юный Теодор вообще чрезвычайно любезен и изыскан, и руки у него довольно красивые, только чересчур уж много колец. Без всяких просьб со стороны фру Раш он принялся рассказывать ей, что за гостя ожидает и в честь кого собирается поднять флаг, и, поскольку он так долго томил всех остальных этой тайной, а ей вот теперь ее открыл, этот молодой парень нравился ей все больше и больше, она ведь была обычным человеком, да и говорил он разумно и складно.

Да, ему захотелось как-то отметить это событие и поднять флаг в честь прихода судна, на котором прибывает важный гость — коммивояжер, представитель фирмы «Дидриксен и Хюбрехт», сын самого Дидриксена. У него собственный пароход, и заходит он только в большие порты. Фру Раш слыхала ведь о «Дидриксене и Хюбрехте»? Вот-вот, так это их представитель. Несколько дней назад он телеграфировал о своем прибытии, но, верно, запоздал. Теодору до смерти надоели эти мелкие оптовики с юга, присылавшие по одному человеку с чемоданом, этого недостаточно, так большие дела не делаются.

— Мы ведь крупные покупатели, — сказал он, — и собираемся произвести большие закупки к весне и лету.

Все слушали с застывшими взглядами, вытянув шею. Владелец гостиницы Юлиус, человек бесцеремонный, прервал юного Теодора и спросил:

— Он у меня остановится?

— Нет, — коротко ответил Теодор.

— Нет, значит. У вас будет жить?

Теодор улыбнулся и ответил, обращаясь скорее к фру Раш, чем к Юлиусу:

— Он будет жить у себя, как я предполагаю, в собственном салоне.

Люди потрясены. Что же это за неслыханно важный господин приезжает?

А Теодор продолжает говорить с многозначительным видом, не переставая обслуживать фру Раш:

— Мы подбираем нужный ассортимент товаров к сезону, наша фирма ведь единственное крупное торговое предприятие в этих местах, и мы намереваемся сделать заказ на двадцать — тридцать тысяч крон. Мануфактура, дорогие, модные ткани, настоящие страусовые перья, готовое платье из Парижа и Лондона. Все, что фру пожелает. Надеюсь, фру окажет мне честь своим посещением, когда прибудет товар.

— А костюмчики для мальчиков у вас будут?

— Все будет, фру, все.

Уходя, она приветливо ему кивает. Ей, и больше никому, поведали великую новость, да еще в присутствии начальника пристани. О, этот Теодор Енсен вовсе не такой простак.

Лавка опустела, удовлетворив свое любопытство, люди расходятся, разнося новость по домам, делятся ею со случайными встречными. Разве не подтвердились их догадки — вот до чего могущественны владельцы лавки, этот юный Теодор-Лавочник, к нему присылают целый пароход с образчиками, и ведь наверняка это еще не все? А коли он закупает на тридцать тысяч крон одних страусовых перьев, мальчиковых костюмчиков и тому подобное, есть ли на свете такое, чего он вообще не в состоянии купить?!

Какой-то человек заинтересовался изящным пакетиком, который купила фру Раш, что в нем такое? Желатин? А для чего он употребляется? Человек — с дальних хуторов, слегка навеселе, его лошадь мерзнет во дворе.

— Дайте мне один пакетик, — говорит он. Расплачиваясь, он поразился дешевизне товара и потребовал еще четыре пакетика, про запас. И коробку печенья. И с покупками в руках покидает лавку.

Стемнело, приказчики зажигают свет. С сигнального холма возвращается Корнелиус: на расстоянии кабельтова ничего не видать, говорит он, весь синий от холода, губы еле шевелятся. И когда кто-то рассмешил его, лицо у него так перекосилось, что все чуть животы себе от смеха не надорвали.

Давердана все еще в лавке, покупает разные мелочи. Пышнотелая, рыжеволосая, с непокрытой головой, она заразительно хохочет, когда Теодор просит ее вернуться домой к детям, и глаза у нее увлажняются. Давердана, дочь Ларса

Мануэльсена, уже несколько лет как замужем за помощником начальника пристани у господина Хольменгро, и у нее один ребенок. Что ей делать дома с детьми? У нее всего один, других нет. Да и тот — девочка, она и без Даверданы отлично справляется. Впрочем, молодая мать одна из тех прилежных женщин, что шьют мешки для мукомольни, и, стало быть, имеет самостоятельный заработок; муж от нее без ума, она ловкая и веселая, дома у них красиво и уютно. От нее многие без ума, а чего тут удивляться: такая пышнотелая и страстная. Но муж не верит никаким злопыхательствам на ее счет и глух ко всем сплетням.

Да и с чего бы ему верить? Разве она не замужем, разве нет у нее собственного мужа?

3

Представитель «Дидриксена и Хюбрехта» не приехал и на следующий день, и Корнелиусу-Приказчику пришлось еще три дня мерзнуть до костей на сигнальном холме, пока знатный гость наконец-то не пожаловал. Но он все-таки пожаловал, и тогда подняли флаг и на сигнальном холме, и на крыше лавки, а старый Пер у себя в мансарде не мог взять в толк, что это за шум у него над головой. Небось проклятая сорока, сказал он, решила аккурат здесь гнездо свить, пусть только попробует!

Теодор с утра до вечера пропадал на пароходе, заключал сделки, его мельком видели, когда он забегал в лавку с целой кипой счетов. Пароходик привлекал всеобщее внимание, топку не гасил и дымил целый день, многие из местных побывали на борту, их водили кругом и все показывали, и не потому вовсе, что он мог потягаться с громадными зерновозами, приходившими к господину Хольменгро из дальних стран, вовсе нет, а потому, что этот пароход был предназначен для одного-единственного важного пассажира.

А пассажир — высокий, крепкий, молодой, настоящий повеса — время от времени появлялся на палубе в шубе и резиновых ботфортах. Он кивал молодым девицам на набережной и бросал монетки в пять эре ребятишкам, парень-транжира, впервые навестивший Нурланн. Начальник пристани посетил его, посетил его и редактор-метранпаж «Сегельфосс Тидене», который не выпускал ручку из своих тощих, привыкших к набору, пальцев. Всем посетителям подносили стаканчик. Ларс Мануэльсен тоже поднялся на палубу и поинтересовал-

ся, не надо ли чего снести на берег. Нет, не надо. Тогда он, объяснив, кто он такой, — отец Л. Лассена, спросил, не может ли чем услужить. Господин Дидриксен посмотрел старику в глаза и, оценив его манеры, ответил:

— Тысяча чертей, страшно рад с вами познакомиться, пошли пропустим стаканчик, — сказал он. И они отошли в сторонку и свели-таки небось кое-какое знакомство, потому что разговаривали долго.

Хотя пароход и стоял под парами, господин Дидриксен решил не уходить в тот вечер, как намеревался, нет, он пожелал устроить вечеринку. По правде говоря, он рассчитывал управиться здесь с делами за каких-нибудь пару часов, но заказ Теодора оказался намного крупнее, и теперь господин Дидриксен надумал устроить небольшую пирушку в мужской компании, чтобы отметить сделку. Он посвятил в свои планы Теодора, и Теодор их одобрил. О господине Хольменгро, разумеется, нечего и думать, но ежели господин Дидриксен, не откладывая, нанесет визит адвокату Рашу, его, пожалуй, удастся залучить. Но господин Дидриксен не пожелал идти к Рашу. Впрочем, есть ли в его доме молодые дамы? — спросил он. Нет. Ну, тогда это ни к чему. Можно позвать окружного врача Мууса, правда, живет он далековато, но уж несомненно украсит общество. Хорошо бы позвать и Бордсена, начальника телеграфа, он, правда, сильно пьет, зато играет на виолончели. Кого еще?

Думали они, рядили, а между делом опрокидывали стаканчик за стаканчиком, начали пировать авансом. Вскоре господин Дидриксен уже не понимал, почему это решили позвать одних мужчин, да, почему? Почему бы не пригласить двух-трех гостей с дамами, то есть на каждого по даме?

— А что за субъект этот почтенный старец в парике, отец священника Лассена? — спросил он вдруг. А кончилось все тем, что господин Дидриксен заявил, что не желает приглашать благородных зануд.

— Обойдемся без них, втроем — вы, машинист и я, а если к нам заглянут девицы, чтобы потанцевать, выйдем с ними во фьорд. Пары разведены.

Но тут выяснилось, что Теодор — не того склада парень, то есть малый он хоть куда и на всякие проделки способен, похвастался он, но только он наполовину помолвлен.

Замечательно, по этому поводу надо выпить. Так пригласите тогда просто-напросто свою даму!

— Нет. — Теодор грустно улыбнулся, об этом не может быть и речи, она занимает слишком высокое положение. Да, впрочем, ему ее в жены никогда не заполучить.

Да, последний стаканчик добил юного Теодора, он не был пьяницей, в голове у него скоро затуманилось, и он впал в элегическое состояние. Оказывается, в его прозаическом сердце таился уголок, куда не было доступа ни торговле, ни земным заботам, где скрывалась заповедная роща — с грезами, коленопреклонениями и дарами.

А другой ни черта не таил, в сердце у господина Дидриксена не скрывалось никакой заповедной рощи, он — чуть что — просто сматывался, прихвастнул он. Он сделал вид, что сердится на юного Теодора, боится, что тот испортит ему вечер, — вон ведь сколько девиц толчется на набережной! Он принялся утешать молодого парня, подбадривать, как обычно подбадривал своих покупателей.

— Не заполучить, говорите? Такому крупному коммерсанту, как вы! Да я за всю поездку ни с одним частным лицом более значительной сделки не заключил. Она наверняка одумается.

Элегическое настроение окончательно берет верх. Она занимает слишком высокое положение. И кроме того, безмерно богата. Нет, никогда она не будет принадлежать ему!

— Ну, в таком случае бросьте ее!

— Да, — сказал Теодор, — ничего другого не остается.

Прекрасно, значит, ничто не мешает им пригласить на пароход двух девиц.

Нет, Теодору это не по нраву. Выставить себя в смешном свете? Он характера твердого и непреклонного, этого молодого парня никому не удастся обвести вокруг пальца. В нем, верно, сохранилась еще юношеская чистота, в нем сохранились еще две души. Браво.

— Тогда давайте сюда вашего телеграфиста, — сказал господин Дидриксен. И, вызвав звонком кока, велел приготовить роскошный ужин.

Ах, до чего же молодому Дидриксену хотелось быть настоящим мужчиной! Точно он жить не мог без кутежей и женщин, такой вот бывалый человек. Достав записную книжку, он показал Теодору фотографии шансонеток, на одной — имя и посвящение, но, может, он сам и написал его — чего не сделаешь в безумии молодости! Однако на провинциала Теодора-Лавочника все это произвело впечатление — оба ведь были молоды.

К вечеру народу на пристани поприбавилось. Подошли те, кто закончил дневные труды, рабочие с мукомольни, хуторяне. Вон в сторонке стоит и курит какой-то мужчина. Теодор машет ему, приглашая подняться на борт, но мужчина продолжает курить, не обращая внимания на его призывы.

— Это телеграфист Бордсен, — говорит Теодор, — небось уже набрался.

— Зовите его сюда, — говорит господин Дидриксен.

Теодор вновь призывно машет рукой, но нет, Бордсен не обращает на него никакого внимания. Вдруг господин Дидриксен сбегает на берег, снимает шляпу, представляется и приглашает начальника телеграфной станции к себе. Оба поднимаются на борт.

Бордсен — крупный мужчина, на нем выцветший синий костюм, и ходит он, чуть покачивая широкими плечами. Лет ему около сорока. Он опрятен, чисто выбрит, но платье потертое, он без пальто, и под расстегнутым нараспашку пиджаком видно, что на жилете не хватает одной пуговицы. Нос у него покраснел — явно не только от холода, нет, у Бордсена вид настоящего пропойцы.

— Я остаюсь здесь до утра и прошу вас, если у вас нет более приятных дел, быть у меня сегодня вечером, — любезно сказал хозяин.

— Благодарствуем, — ответил Бордсен.

— Да вы ведь знакомы, господа? Что предложить вам для начала?

Бордсен пребывает в некоторой растерянности, на пристани, где он только что стоял, еще совсем светло, а тут он оказался в тесном темноватом салоне. На столе он различает бутылки и стаканы, но отвечает:

— Света бы хорошо.

Господин Дидриксен позвонил.

— Света, вы совершенно правы, ха-ха, метко подмечено. Света! — крикнул он появившемуся в дверях коку. Как предупредителен и любезен хозяин со своим обшарпанным гостем.

Они усаживаются, и вечеринка начинается. Для Бордсена это событие явно не заурядное; и если вначале он был немногословен, то потом разговорился, вполне благожелательно слушая болтовню молодого коммивояжера. Зато Теодора-Лавочника слушает без всякой благожелательности — почему бы это? — он почти на него не смотрит, почти не слушает. Теодор же не иначе как вообразил, будто может позволить себе по отношению к телеграфисту некоторые вольности —

в свое время продал ему не одну бутылку дрянного вина — ему ли не знать слабости телеграфиста. Но тут юный Теодор просчитался, оказалось, ему следует быть начеку.

— Не сбегаете ли за виолончелью, Бордсен? — напрямик спросил Теодор.

— Сбегаю. Когда вы уйдете, — ответил Бордсен.

— Ну и ну! — засмеялся Теодор. Но через какое-то время до него дошла грубость ответа, и он сказал:

— Вы и завтра будете так важничать?

— Если не ошибаюсь, здесь где-то рядом гостиница, — поспешно говорит господин Дидриксен. — Гостиница, а там — посыльный, этот самый старик Мануэльсен, Ларсен или как там его зовут. Отец известного пастора Лассена.

— Верно.

— Я, к сожалению, не смог дать ему никакого поручения, — улыбнулся господин Дидриксен. — Но обещал, что в следующий раз остановлюсь в гостинице.

Хмель у господина Дидриксена уже начал проходить, он переборол его, обдумывал свои слова, стараясь показать себя с лучшей стороны. Он был молод и легко приспосабливался к обстоятельствам — ему хотелось оказать особый почет телеграфисту именно потому, что у того нос пропойцы и не хватает пуговицы на жилетке.

— У нас в Сегельфоссе много достопримечательностей и помимо Ларса Мануэльсена, — заявил начальник телеграфа. — Например, имеется король, господин Хольменгро, он вдовец, и у него есть принцесса.

Юный Теодор потупился.

— Есть у нас и заброшенный замок, — продолжал телеграфист, — в котором жил один дворянин, Виллатс Хольмсен, он умер. Его сын, молодой Виллатс, сейчас за границей, весной он приедет домой.

— Он возвращается весной? — спросил Теодор.

— Да. Но это не должно лишать вас надежды.

— Надежды — как так?

— Да вид у вас такой.

— Значит, здесь много достопримечательностей, — поспешил вставить господин Дидриксен. — Замок — это, вероятно, тот самый, что стоит на горе?

— Да...

— Кстати, великолепный замок, я видел его с палубы. С таким замком и принцессу можно заполучить.

— Слышали? — Бордсен посмотрел прямо в глаза Теодору. — Нужно, по крайней мере, иметь замок.

— Да, — отозвался Теодор — он покраснел, но сообразительности не потерял. — Меня это не касается, у меня есть лавка. Не понимаю, на что это вы весь вечер намекаете, — прибавил он.

Бордсен продолжил:

— Еще у нас есть старый кирпичный завод, в устье реки. Кирпич там больше не делают, завод мертв, но сохранились две новые комнаты. Вот если б самый древний столб этого завода мог поделиться своими воспоминаниями!

Хозяин сказал:

— Да, Сегельфосс — огромный древний край, о нем упоминается в «Истории землевладений» Стенвинкеля. И, судя по всему, в нынешние времена его значение нисколько не убавилось, я, во всяком случае, заключил здесь такую сделку, которой мне не удалось заключить ни в одном городе на юге. Господин Енсен, разрешите выпить за вас!

— Присоединяюсь! — сказал телеграфист. — За многочисленные добродетели молодости!

— Вы пьете за меня? — спросил Теодор.

— Да, за вас. Вас это смущает?

— Да.

Телеграфист усмехнулся про себя и сказал:

— За ваши многочисленные добродетели!

— Я не буду пить, — ответил Теодор, отставляя стакан.

Опять вмешался хозяин.

— Господа, — предложил он, — не подняться ли нам на палубу? Мой шеф-повар, вероятно, ждет не дождется, когда можно накрыть на стол. Вы пришли без пальто, господин Бордсен, пожалуйста, возьмите мое.

Они оделись и вышли на воздух. На палубе машинист болтал со своим приятелем, оба стояли со стаканами горячего грога в руках и курили сигары, подкреплялись после длительной прогулки на берегу.

Вечер был светлый и тихий, но все-таки прохладный, приглушенно, нескончаемо шумела река. На горе, на фоне леса вырисовывался знаменитый Сегельфосс с белыми колоннами и двумя ведущими вниз каменными лестницами, барская усадьба, замок. Мукомольня бездействовала, рабочий день кончился.

Вдали показался шлюп, его тащил на буксире ялик с тремя мужчинами на борту, на самом же шлюпе стоял у руля один-единственный человек.

— Вон идет мой шлюп, — сказал Теодор. — Ветра нет.

— Это ваш? Куда вам его отвести? — спросил господин Дидриксен. — Мы сейчас к нему подойдем. Мастер! — крикнул он машинисту. — Давайте-ка оттащим вон ту посудину, это шлюп господина Енсена.

Дело заняло полчаса, ну час от силы, они отбуксировали шлюп к сараю, где рыбу выложат для сушки на плоском взгорье, а пароход вернулся обратно к пристани. Стол был накрыт, мужчины спустились в салон.

— Вы заметили человека в ялике, с развевающимся на шее желтым шелковым платком? — спросил Бордсен.

— Это Нильс из Вельты, — сказал Теодор. — Собирается вечером на свидание к даме сердца, вот и вырядился. А в чем дело?

— Видите, господин Дидриксен, — отозвался Бордсен, обращаясь к хозяину, — как все мы суетимся. И вы, и он, и я. И для нас нет ничего важнее этой нашей суеты. Один приобретает гагачий базар и вечером ложится спать, потирая руки от радости по поводу удачной сделки; другой уезжает на заработки на двенадцать недель, а когда возвращается, обнаруживает, что его милая уже три недели как мучается зубной болью и рвотой.

И Теодор, и хозяин парохода смекнули, что все это сказано неспроста. Тут был какой-то подвох, и они пытались понять его, прикидывая и подсчитывая: двенадцать недель, три недели. А может, это просто пьяный бред? Впрочем, Теодор разозлился:

— Это вы на мой гагачий базар намекаете, что ли?

— И те, что умерли много лет назад, или в прошлом году, или совсем недавно, они тоже когда-то жили и суетились. Что-то продавали, что-то покупали и по вечерам радовались удачной сделке. Само собой. А потом умерли. Так не все ли равно, удачную они провернули сделку или нет? Вот на нашем маленьком кладбище я читаю надпись на могильном кресте Андора Нильсена из Вельты. Это отец человека из ялика с желтым платочком на шее. Отец умер двадцать лет назад, и ни одна живая душа его не вспоминает, даже сын; а он ведь усердно суетился, заново покрыл дерном крышу своей избы в Вельте, и вечерами, отходя ко сну, радовался новой крыше. А потом смерть увела его от всего. Теперь суетится сын.

— Да, — сказал хозяин, желая выразиться как-нибудь обтекаемо, чтобы никого не задеть. — Такова жизнь. Разве бывает по-другому?

— Но стоит лишь на мгновенье остановиться и задуматься, как сразу понимаешь, сколько неслыханной дерзости и бесстыдства кроется в этом стремлении устроить свои делишки, в этой повседневной суете. Разве это все столь уж важно?

И с этими словами Бордсен уставился в свой стакан, благословенный стакан, и, казалось, погрузился в размышления.

Ох уж этот телеграфист Бордсен, этот наглец, этот притворщик, до чего ж умело пользуется он привычным трюком, давая понять, какие глубокие мысли, переживания и разочарования скрываются за его пьянством. А в следующий раз, глядишь, еще закатит глаза к небу и тяжко вздохнет, не найдя подходящих слов. Его молодые слушатели небось потрясены услышанным?

Теодор, во всяком случае, быстро пришел в себя, быть может не впервые оказавшись в подобной ситуации, и сказал с набитым ртом:

— Ну что, Бордсен, не жалеете, что сидите за таким роскошным столом? Я ведь махал вам сверху, а вы сделали вид, что не заметили.

И снова юный Теодор, очевидно, взял слишком развязный тон.

Оторвавшись от созерцания глубин и далей, телеграфист медленно перевел взгляд на Теодора.

— Вы мне махали, верно, — сказал он. — Но, полагаю, теперь вы научились у этого молодого господина, нашего хозяина, как это следует делать.

— Ах, вот оно что! — засмеялся Теодор, изрядно при этом смутившись. — Я думал, мы настолько хорошо знакомы, что я имею на это право.

— Так вы читали Стенвинкеля, господин Дидриксен? — спросил Бордсен без всякого перехода.

— Читал. Чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что мне предстоит увидеть.

— Правильно. Потому что тогда замечаешь огромные перемены, которые произошли здесь с тех пор. Наша жизнь — ничто по сравнению с тем, что было в те времена. Торговля? Тряпки, куча желтых шелковых платков. Наша жизнь сошла с рельсов, лошади остались без кучеров, а поскольку лошади знают, что тащить воз под гору легче, чем в гору, они и тащат его под гору. Долой нас! Вниз! Жизнь делается все умори тельней, все наши заботы — что на себя надеть да что пожрать, мы только делаем вид, будто живем. В старину бытовали громадные различия, был замок и была пустыня, нынче же все одно; в старину была судьба, нынче же жало-

ванье. Величие, что это такое? Лошади стащили его под гору: взвесьте и мне килограмм величия, сколько с меня? Мы покупаем и вставляем себе в рот искусственные челюсти и разводим новую кишечную флору в желудках, одинаковую для всех, одинаковость по всей линии, мы делим промеж собой жизнь, разрежаем друг для друга воздух и каждому последующему поколению оставляем все более сбитый с толку, все более изуродованный мир. Принцесса? Она разъезжает на велосипеде, как рабочие ее папаши-короля, которые едва уступают ей дорогу, которые захотят — поклонятся, не захотят — не поклонятся...

Был уже поздний вечер, ужин съеден, а телеграфист все разглагольствовал и пил. Хозяин пока еще вежливо слушал, юный Теодор же не скрывал нетерпения, он ничегошеньки не понимал в этом представлении, принимая его просто за пьяное фиглярство, так неужто надо с ним мириться? Юный Теодор смотрел на часы, хлопал себя по колену, громко зевал, откидывал голову на сцепленные на затылке руки — просто несусветная наглость и дурные манеры. Не мешало бы ему, по крайней мере, знать, что подмышки у его сюртука вытерлись, хотя сюртук-то совсем не старый, и он ежеминутно рисковал получить от Бордсена совет помыться, принять ванну. И откуда такая отвага? Беря сигару или протягивая руку за спичками, он намеренно, из чистой наглости, опрокидывал стаканы.

Но телеграфист не смотрел на него строго, он вовсе на него не смотрел, должно быть, просто был в болтливом настроении и продолжал говорить:

— Кланяетесь вы принцессе или нет, ей безразлично, потому что принцессу тоже стащили вниз. В старые времена был бы другой разговор! Ее служанки расчистили бы для нее дорогу, лакеи устлали бы ее красным ковром. А что бы сказали рабочие ее папаши-короля? Они бы радовались и раздувались от гордости, получив всемилостивейшее наказание — то было переживание, судьбоносная минута; а нынче катят себе дальше на велосипедах, испытывая злорадство от собственного хамства, и все равно недовольны. Вы улыбаетесь, господин Теодор? — внезапно спросил Бордсен, словно впервые заметив присутствие молодого человека.

— Нет! — удивленно ответил Теодор.

Бордсен заговорил с ним мягко, ну что твой благодетель:

— Если вы когда-нибудь попадете в замок...

— Я? Что мне там делать? — прервал его Теодор.

— Если вас пригласят, когда приедет молодой Виллатс...

— Меня не пригласят, — резко оборвал его Теодор, сунув большие пальцы в обшлага рукавов. — Что еще за выдумки!

— Вы увидите там старые портреты, это их предки. Первые из них ничего особенного из себя не представляют — одна надменность и отсутствие аристократизма. Господин в каком-то подобии доспехов, похож на обезьяну, единственное его достоинство — воля, основа основ. А госпожа? Госпоже предстоит позировать тому, кому доверено запечатлеть и извратить ее образ, она вливается в комнату половодьем шелка и золотых пряжек и растекается по стулу. Она так изнежена, что может сидеть, лишь поставив ножку на подушку, а на подушке лежат три нитки жемчуга, которые она попирает. Она вздергивает голову, на лице нет и следа царственности, зато надменность ее безгранична. Видите ли, величие как таковое настолько для нее ново, что ей кажется, если его не подчеркнуть, его словно и нет. Но эти два качества — воля и надменность — способны, пожалуй, при наличии денег дать начало аристократическому роду.

— Уж эти мне деньги! — говорит господин Дидриксен, чтобы что-то сказать.

— Деньги. Но не гроши, а настоящее состояние. Гроши годятся лишь на то, чтобы побаловать семейство, чтобы не позволить ему промочить ноги, гроши воспитывают бесполезное тщеславие. Нет, именно состояние.

— Полагаю, нам пора расходиться, — говорит Теодор и опять смотрит на часы.

По лицу телеграфиста пробегает гримаса неудовольствия, но он тотчас овладевает собой и делает вид, что ничего не слышал. Он, похоже, готов молоть чепуху и дальше, о, на какие только темы он не в состоянии витийствовать!

— Еще не поздно, — говорит хозяин.

Но поскольку празднество затеяно, собственно, в честь купца Теодора, то со стороны этого милого телеграфиста не очень вежливо занимать своей персоной целый вечер. Но выход есть: мастер умеет играть на гармонике! Господин Дидриксен напряженно думает, он чуточку высовывает язык, ловит им кончик своих усиков, слегка сжимает его зубами и выталкивает обратно. Он придумал. И велит позвать машиниста.

— Надеюсь, господа не взыщут за качество музыки, — говорит он извиняющимся тоном.

И когда приходит машинист, все рады и первым делом подносят ему добрый стаканчик. Вид у гармоники весьма прискорбный — она вся в угле и масле, но звуки издает. Те-

одор положительно воспрянул духом, мелодия хорошо знакома ему по танцам в сарае, он осушает стакан до дна и начинает ногой отбивать такты вальса. Телеграфист поднимает на него глаза, и Теодору становится чуть неловко за свой порыв.

— Почему вы не сбегали за виолончелью? — спрашивает он.

— А зачем? Вы свою музыку и так получили, — отвечает Бордсен.

— Он играет на виолончели? — удивляется машинист, бросая гармонику на диван. В салоне он чувствует себя как дома, наливает себе еще стакан, выпивает и больше играть не хочет. — Давайте лучше в картишки перекинемся, — говорит он.

Хозяин переводит взгляд с одного на другого.

— С удовольствием, — отвечает Теодор.

— Железка. Ставки ограничены, — говорит машинист, приготавливая все нужное для игры. За долгие переходы от купца к купцу вдоль нурланнского побережья он, верно, организовал в салоне не одну партию в карты, дело ему привычное. — Сколько нас? Четверо. — Он кладет на стол фишки.

— Я не играю, — сказал Бордсен.

Они уговаривают его, они научат его игре, их должно быть не менее четырех человек.

— Вы окажете нам услугу, — вежливо просит хозяин.

— Но, дорогие мои, тот, у кого в кармане ни гроша, не имеет права играть в карты на деньги, — отвечает Бордсен.

— Вы доставите мне удовольствие, если проиграете вот эту мелочь, — говорит хозяин, протягивая ему две кредитки. — Вы окажете нам услугу, если согласитесь с нами сыграть, без вас нас только трое.

Машинист сдал карты, и игра началась, каждый купил фишек для расплаты. Бордсен выиграл. С ленивым безразличием он вернул хозяину кредитки, продолжил игру, выиграл, продал фишки за наличные, перед ним лежало уже несколько бумажек. Все много пили, весельчак машинист, проигрывая, шутил, оба же коммерсанта были слишком богаты, чтобы переживать из-за небольшого проигрыша. Но в конце концов невезение начало злить Теодора.

— Никогда ничего подобного не видал, — сказал он.

— Который час? — крикнул машинист. — Повышаем ставки. Надо поприжать везунчика, ха-ха.

Хозяин обвел взглядом гостей, и Теодор ответил:

— Повышаем ставки? С удовольствием.

— А что скажет сам везунчик? — спросил, улыбаясь, хозяин.

Бордсен отозвался:

— Везунчик? Согласен на все. Вот здесь, господа, лежит несколько кредиток, поглядим, сумеете ли вы у меня их отобрать.

— Вы так равнодушны к деньгам? — поинтересовался Теодор.

Но тут все пошло шиворот-навыворот, телеграфист вновь выиграл, то была судьба, он раз за разом выигрывал при самых неудачных картах. Естественно, кое-когда и проигрывал, но потом несколько раз подряд оставлял своих партнеров без взяток, а так как ставки все время повышались, у него в конце концов образовалась солидная сумма, хотя железка — игра дурацкая, игра по мелочи.

— Вот видите, Бордсен, не так уж и глупо было прийти сюда сегодня, — сказал Теодор.

Хозяин не мог обидеть каким-нибудь замечанием такого почтенного клиента, но машинист сгладил неловкость, чокнувшись с Бордсеном.

— О, кабы вы пробыли у нас неделю, мы бы вам отомстили! — захохотал во все горло машинист.

Перед Бордсеном лежали бóльшая часть фишек и стопка кредиток. Когда Теодору понадобилось прикупить фишек, он, не раздумывая, спросил:

— Может, спишем эти двадцать пять крон с вашего долга в лавке?

— Хорошо, — ответил Бордсен.

Разногласий по этому поводу не возникло. Возможно, со стороны Теодора было не очень-то красиво рассчитываться таким образом со своим покупателем, но поведение телеграфиста в этот вечер было еще удивительнее: задолжав деньги молодому торговцу, он даже не смотрел на него, обращаясь с ним свысока, более того, презрительно. А кредитор не платил ему той же монетой, мирился с таким положением. Этот герой, этот притворщик, верно, и на сей раз действовал не без умысла и мог бы, очевидно, привести пространное и глубокомысленное объяснение, но его никто ни о чем не спрашивал. Теодор опять купил фишки и поинтересовался:

— Спишем и эти двадцать пять?

— Хорошо, — ответил Бордсен.

— Кстати, я не помню точно, сколько вы мне должны, но если окажется, что вы переплатили, мы это завтра уладим.

— Хорошо, — ответил Бордсен.

Тогда машинист положил карты и сказал:

— Нет, сегодня нам везунчика не одолеть, надо кончать. Давайте рассчитываться!

Они выкупили свои фишки, допили содержимое стаканов, поболтали. Телеграфист сидел, мусоля кредитки, и наконец сунул их в карман, не пересчитывая. Дурачился он перед ними, что ли, хотел прослыть оригиналом? В таком случае мог бы придумать что-нибудь получше, все голодранцы сорят деньгами, поэтому они и голодранцы. Никто не позволяет себе роскошествовать так, как это делают бродяги. Одна кредитка лежала на полу, машинист поднял ее, кинул на стол:

— Это, должно быть, тоже ваша.

— Спасибо, — сказал Бордсен, отправляя ее вслед за остальными.

Машинист схватил гармонику, на этот раз без всяких просьб, и, давя на басы, заиграл марш. В инструменте что-то гремело и громыхало, машинист, растягивая мехи с такой силой, что у него перекосилось лицо, пыхтел от напряжения. Наконец, круто оборвав игру, он разразился громким хохотом.

— Ну, разве со мной кто сравнится? — воскликнул он.

Его попросили продолжать, и он вновь заиграл.

Как бы то ни было, а звуки гармоники, судя по всему, долетели до берега, их, похоже, услышали любители вечерних прогулок, пристань заполнилась народом, кто-то из молодежи забрался на пароход, в салоне слышно, как над головой шаркают ноги. На палубе начались танцы.

Какое-то время им это очень нравилось, но Теодор вскоре распрощался и ушел домой. Выпивка, музыка и танцы, кажется, снова привели его в элегическое настроение и напомнили о том, что он влюблен.

Когда телеграфист Бордсен возвращался домой, в проулке рядом с зерновым причалом господина Хольменгро он услышал голоса ссорившейся парочки: парень сердито выговаривал девушке, что он, мол, много чего о ней наслышался, что, пока его не было, она вела себя по-свински, изменяла ему, а девица плакала и все отрицала. Были упомянуты деньги, у нее, мол, есть несколько сотен крон, но парень презрительно отказался, благодарствуем, ему без надобности, он скопил заработок за три месяца. «Поступай как знаешь!» — сказала тогда девица. «Отправляйся-ка домой», — ответил парень, выходя из проулка. Это был Нильс из Вельты с развевающимся желтым шелковым платком на шее. Не оборачиваясь, он пошел своей дорогой. Показалась и девица, Фло-

рина, служанка адвоката Раша, рот и щеки у нее были обвязаны большим шерстяным платком, который она сдвигала в сторону, когда говорила, а закончив говорить, опять опускала на место. Смотри-ка, ее милый уходит и не оборачивается.

— Нильс! — окликнула она.

Он не отозвался. Вдруг она крикнула:

— Тогда я сейчас же пойду на пароход танцевать, вот увидишь!

— Скатертью дорожка! — ответил он.

Она постояла еще немного, глядя вслед парню, начальник телеграфа прошел мимо, но она его не заметила, вся превратившись в два огромных глаза, выглядывавших из-под платка. Наконец она пересекла пристань и поднялась на борт судна.

Узкие проходы между домами были погружены в тишину, городишко отошел ко сну, где-то вдали заливались лебеди. Начальник телеграфа шел прочь от берега, глядя в спину Нильса из Вельты. Решительный малый этот друг сердечный. Сильный парень, ни разу не оглянулся. Сильный? Разумеется, двадцать с чем-то лет и трехмесячное жалованье в кармане. Но, пройдя за ним с четверть часа, держась на расстоянии, Бордсен внезапно подумал: «А что, если он все время слышит мои шаги и думает, будто это его милая?»

— Гм! — громко произносит телеграфист. Неужели парень продолжает идти? Застигнутый врасплох, парень оборачивается, делает для видимости еще два-три шага и останавливается. Сильный малый вдруг сразу ослабел. Он начинает ощупывать себя, шарит в карманах, что он ищет? Э, да он просто прикидывается, делает вид, будто что-то потерял, чтобы найти повод повернуть назад. Он идет навстречу телеграфисту и, поравнявшись с ним, смущенно улыбается улыбкой нищего:

— Забыл... это надо же!.. — И поспешно шагает к пристани. Но на ходу все еще роется в карманах, дабы сохранить лицо.

В это время пароход отчаливает от пристани и торжественно выходит в море. Нильс из Вельты на мгновенье замирает, ошеломленно глядя прямо перед собой. После чего бегом припускает к пристани, точно собираясь догнать уплывающее судно. Где-то вдали по-прежнему заливаются лебеди.

Начальник телеграфа Бордсен бредет дальше, он уже далеко от берега, минует лачугу Нильса-Сапожника, добирается до маленьких хуторов, жилых домиков, раскорчевок. Кое-где уже па-

сутся овцы, хотя снег еще не сошел. Он поворачивает обратно и заходит в лачугу Нильса-Сапожника.

— Я увидел, что у тебя из трубы идет дым, вот и решил, что ты еще не спишь, — говорит он.

Нильс-Сапожник освобождает для гостя и табурет и стул, он немало озадачен. На столе на листе бумаги лежит селедка и несколько картофелин.

— Да, — говорит Нильс-Сапожник, — я кофей варю, только-только вернулся домой и собрался сварить себе кофею, страсть как люблю кофей. Да что же это, начальник телеграфа и в такой дом пришел, здесь и присесть негде!

Он расчищает стол, селедку и картофелины переправляет на кровать, растерянно бормоча:

— Так из трубы дым шел? Ну да, я кофею собирался сварить, больно уж жаден до кофею. И кабы я мог осмелиться предложить господину начальнику чашечку, да только... Потому как он ведь не такой...

— Спасибо, с удовольствием, — сказал Бордсен.

Великое смятение.

— Вы не шутите? Ах, боже ж ты мой, только бы по вкусу пришелся, да вот... И пить-то его не с чем, как раз ни крошки сахару, забыл нынче в лавке. И беда-то какая, кофей-то там тоже остался, пакетик кофе, забыл на прилавке. Да, ужасно забывчивый я стал, — сказал Нильс-Сапожник.

— Что это за портрет? — спросил Бордсен, хотя и сам отлично знает. Сын, У.Нельсон из Америки, нарядный, сытый, причесанный, бывший Ульрик.

— А дама кто? — спрашивает Бордсен.

— Это, видать, большой секрет, — отвечает Нильс-Сапожник, — но я так понимаю, он на ней жениться собирается. Кто бы мог подумать, тот самый малыш Ульрик, что ходил со мной по дворам и шил башмаки. А ручонки-то у него не больше этого были, когда он начинал. Зато теперь уж! Статный парень получился! Ну, само собой!

Тут Бордсену вдруг вроде как хмель в голову ударил, он напялил шляпу и грубо сказал:

— Убери эту дрянь, это не кофей, я такого не пью. Так что я хотел сказать — вот, возьми эти деньги и уезжай в Америку. Тихо, дай мне договорить: да, деньги, значит. Уезжай в Америку, я сказал. Да помолчи же ты, я еще не кончил: купи себе билет и уезжай, деньги твои. Не желаю больше слушать твою болтовню. И сматывайся отсюда, слышишь...

Бордсен вышел, продолжая повторять одно и то же, а Нильс-Сапожник шел следом с кредитками в руках, возражая

и протестуя. В конце концов Бордсен услышал уже чистейшую чепуху:

— У вас и поклажи никакой, чтобы я мог вам поднести! — Старый, вконец отощавший сапожник вознамерился чего-то там подносить Бордсену с его богатырскими покачивающимися плечами!

По дороге домой Бордсен вновь видит пароходик — теперь он приближается к берегу. Он выходил в море, совершил увеселительную прогулку с несколькими местными жителями на борту, с молодежью, танцевавшей холодной ночью на палубе.

Когда Бордсен вошел в помещение станции, маленький Готтфред передавал телеграмму. Маленький Готтфред, сын Бертеля из Сагвики, сидел за аппаратом и передавал конец длиннющей телеграммы фирме «Дидриксен и Хюбрехт»; ради этой телеграммы их представитель, молодой господин Дидриксен, потребовал открыть станцию — речь шла о крупной сделке, о заказе Теодора-Лавочника. Ах, этот молодой Дидриксен, какая замечательная реклама — потребовать открыть телеграф, и стоит-то всего ничего, он пользовался этим трюком, когда хотел польстить покупателю, уважить его.

Маленький Готтфред закончил и, обернувшись, сказал:

— Говорят, вам нынче большая удача привалила.

Бордсен вытаращил глаза.

— Теодор сюда заходил, по дороге домой, сказал, что вы в крупном выигрыше.

— Да-да, — сказал Бордсен, — правильно. Судьба, верно.

— Я за вас очень рад, — заметил маленький Готтфред.

— Не сказал бы, чтобы уж такой крупный, если вычесть расходы. Но кое-что было, кое-какой выигрыш был. Вы не считаете, что это судьба?

— И сколько же?

— Да так, ерунда. А вы, бедняга, весь вечер работали?

— Я очень рад вашему выигрышу, рад за вас. Потому что в любой день может нагрянуть инспектор. И на этот раз вам ведь не отвертеться.

— Да поймите же, черт вас возьми, что после вычета расходов тут и говорить не о чем! — нетерпеливо воскликнул Бордсен.

— Расходов? Каких расходов?

— А расчет разве не надо было произвести? Кроме того, одна-другая кредитка падает на пол, одна фишка закатится

сюда, другая туда, все это следует уладить. Вы-то не умеете играть в карты.

Маленький Готтфред, потупившись, задумался.

— Ладно, но кассу-то вы, во всяком случае, можете привести в порядок? — спросил он.

— Разумеется, разумеется. Но вы устали. Кстати, это моя касса, а не ваша. Хуже всего, что вам пришлось просидеть здесь полночи, пока я развлекался.

В душу доброго маленького Готтфреда закрадываются робкие подозрения, ему по прежним делам прекрасно известно, как беспечно Бордсен обращается с деньгами, и он не в силах удержаться, чтобы не сказать:

— Хуже всего, если вы теперь же не приведете в порядок кассу. Последствия вы знаете.

— Вы будете начальником станции вместо меня, братец Готтфред. А я, может статься, займу ваше место.

— Не шутите так! — ответил Готтфред. — Вот ваша ведомость. Покройте же недостачу прямо сейчас.

Бордсен молча шагнул в угол, где стояла его виолончель.

— Не хотите? — спросил Готтфред.

Тогда Бордсен заорал:

— Не хотите! Не хотите! Не могу я, слышите? Довольны теперь? Чего расхныкались?

— Не можете?

— Не могу. У меня нет ни гроша. Вот, поищите сами, карманы пусты, денег нет.

— Значит, вы кому-то их отдали.

— Ну разумеется, я кому-то их отдал. Вздор!

Готтфред опять потупился и задумался.

— Бедный вы, бедный! — сказал он.

Бордсен оскорбился:

— Ничего не понимаю... Вы вообразили, будто имеете право беспрерывно меня жалеть...

— Кому вы отдали деньги?

— Черт бы вас подрал! — закричал Бордсен. — Отдал? Их взял взаймы Нильс-Сапожник. Он едет в Америку. К сыну. Нильс-Сапожник. Уф, сдается мне, вы совсем свихнулись!

Маленький Готтфред тотчас принял решение и, поклявшись всеми святыми сейчас же пойти и отобрать хотя бы часть денег, надел шляпу и покинул контору. Бордсен, открыв рот, глядел ему вслед, несколько раз он совсем было собрался окликнуть и удержать его, но не успел и смолчал. И немного погодя пьяненький, не испытывая ни малейшего раскаяния, уселся за виолончель.

4

С почтового парохода выгрузили на пристань громадный рояль. Мартин-Работник с пятью помощниками волокут тяжеленный ящик и водружают его на сани, чтобы увезти по последнему насту. Рояль пришел на имя молодого Виллатса, владельца Сегельфосса: сам он не приехал и никаких распоряжений не прислал. Куда же его везти-то — в усадьбу Сегельфосс или на кирпичный завод? Мартин-Работник с пятью помощниками пораскинули мозгами и послали гонца к фру Раш, и она ответила, что, конечно же, рояль надо везти в усадьбу, в покои господина Хольмсена в Сегельфосском замке, куда же иначе? Поблагодарив за разъяснение, гонец удалился. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как фру Раш закричала ему вслед, что нет, лучше, может, отвезти его на кирпичный завод. Бог его знает. Но там ему тоже не место, не может же он стоять сразу в обеих комнатах — нет, она не знает, не решается сказать что-нибудь определенное. Фру Раш растерянна и сбита с толку.

Гонец вернулся на пристань, и Мартин-Работник с пятью помощниками снова призадумались.

Подошел господин Хольменгро.

— Оставьте ящик у меня на пристани, — предложил он, — пока не приедет молодой Виллатс.

Вопрос таким образом был решен. Один из работников одобрительно кивнул:

— Тащить недалеко!

— Ну, — отозвался другой, — а когда наст сойдет, как ты тогда потащишь эту тяжесть?

Мартин-Работник скомандовал:

— Чего разболтались, беритесь-ка за ящик и делайте, как велел господин заводчик!

Увы, у господина заводчика не всегда под рукой оказывался Мартин-Работник, и бывало, те же самые рабочие весьма вольно обсуждали его приказы. Заводчик начал уставать и от своих дел, и от своих рабочих, и от своего положения. Быть королем Сегельфосса в нынешние-то времена? Куда как лучше быть настоящим королем: дашь аудиенцию одному-другому полярному путешественнику, а в остальное время знай себе подписывай то, что решило большинство, толпа. Господин Хольменгро радовался предстоящему возвращению одного из рода Виллатсов Хольмсенов; услышав об этом в первый раз, он весь задрожал от радости, сразу нахлынули воспоминания о прежних Хольмсенах, о тех пре-

красных временах, когда разгуливать с позванивающей на жилете толстой золотой цепочкой считалось вполне естественным. Бог знает, что это было за чувство — привет одинокой душе, ощущение какой-то опоры, предвкушение от встречи с человеком, который тебе не безразличен.

С кем ему еще-то водить знакомство? С адвокатом Рашем? Все то время, пока он не мог позволить себе прилично одеться, адвокат ходил донельзя обтрепанный, а когда прилично оделся, позволил себе завести брюшко и двойной подбородок и с этого момента потерял интерес ко всему, кроме денег. С окружным врачом Муусом? Человек без особых талантов, и к тому же весьма холодный и равнодушный. Вызубрил свои книги и лишь на них и полагается. Он из тех, кто не раскланивается первым — прекрасно, господин Хольменгро кланяется первым; доктор любит порассуждать о людях и мире, о жизни и смерти — прекрасно, господин Хольменгро помолчит. Но самое неприятное — это, пожалуй, внешность окружного врача, его дегенеративный вид: маленькая головка с низким лбом и редкими, зачесанными набок волосами, близорукие глаза, большие деформированные уши. Должно быть, когда-то к его роду приблудился уродец, который, пролежав в могиле несколько столетий, теперь воскрес, возродившись в докторе.

Когда они оба воскресным вечером отдавали визит вежливости господину Хольменгро, доктор входил в дверь первым, поскольку настаивал на своем более высоком положении, а адвокат за ним, поскольку не видел для себя в том никакого ущерба — их радушно принимали и обильно угощали, нередко они засиживались далеко за полночь.

В такие дни господин Хольменгро, казалось, тоже оживлялся.

— Очень любезно с вашей стороны, господа, что вы помните о моем существовании, — говорил он. Пользуясь случаем, его экономка, фру Иргенс, урожденная Геельмуйден, принималась варить и жарить, устраивая настоящее пиршество; на стол подавались телятина и птица под божественными соусами, печенья и сладкие засахаренные фрукты для доктора, изысканнейшие пирожные и желе. Если фрекен Мариане случалось вернуться домой из своих поездок в Христианию или за границу, она, бывало, тоже присоединялась к обществу и выпивала бокал вина. Юная и жизнерадостная, она к тому же отличалась каким-то своеобразием, метиска из Мексики, с индейскими чертами лица и скользящей походкой, добрая и злая одновременно, она подчас казалась прямо

колдуньей. Доктор Муус, по правде говоря, в прошлом году сватался к этому невинному ребенку, сцена вышла бесподобная: он обыкновенный человек из плоти и крови, сказал он, но так как, к счастью, он может предложить ей положение в обществе и уважаемое имя, то он и хотел бы это сделать. Она как-то странно посмотрела на него своими индейскими блестящими глазами.

— Вы считаете, нам следует пожениться? — спросила она.

Да, как раз это он и имел в виду.

— Нам с вами? — спросила она.

Он не видит в этом ничего невозможного. Конечно, есть определенная разница в возрасте, но его положение и его имя вполне могут служить некоторым противовесом; он даже намекнул, что и внешность у него не такая уж отталкивающая. После этого оба ненадолго замолчали.

— Вы действительно хотите на мне жениться? — спросила она, осознав серьезность ситуации.

— Я все взвесил, — ответил он. — К сожалению, я пока не уверен, что меня поддержит вся моя семья, но, в конце концов, это же касается меня одного, а я принял решение!

Тогда она попросила отсрочки на несколько лет, чтобы они могли хорошенько все обдумать — на пять лет, уточнила она, чтобы никакая малость им не помешала; в сущности, надо бы назначить восемь лет. Но, услышав «восемь лет», он покачал головой, мол, слишком долгий срок.

— Ну, знаете, восемь лет, — проговорил он, — это, должен вам сказать, уж чересчур. Но я ценю, что вы даете время на обдумывание и себе и мне.

— Не все ведь так просто, — сказала фрекен Мариана. — Моя мать была индейских кровей, и я не вполне уверена, свободна ли я от моего мексиканского племени. Если мне придется поставить его в известность о вашем предложении, то, поскольку оно постоянно кочует, потребуется, вероятно, лет пять, чтобы его найти.

Доктор Муус без обиняков отмел этот аргумент, не понимая, зачем вмешивать в дело племя мексиканских индейцев.

— А как же, — веско и таинственно объяснила ему фрекен Мариана, — у племени свои законы, их нарушать нельзя! Племя мстит нарушителям, для этого-то и предназначены отравленные кинжалы. Даже если мстители и не доберутся сюда, в Сегельфосс, то ведь брат Феликс живет в Мексике, он моряк, ходит вдоль побережья, его-то наверняка убьют.

Ненадолго задумавшись, доктор сказал твердо:

— Да, у вашего племени и у моей семьи не может быть ничего общего. Прошу извинить меня!

Мариана опустила голову.

— Но это не мешает нам оставаться добрыми друзьями, — добавил доктор Муус.

— Надеюсь! — ответила фрекен и поспешно выскользнула из комнаты, чтобы оправиться от удара.

Помимо доктора и адвоката к господину Хольменгро изредка наведывался ленсман из Уры. Это был добродушный старик, никому не причинявший беспокойства; фрекен Мариана подолгу беседовала с ним, да и сам господин Хольменгро охотно приглашал его в гости, привлеченный отнюдь не весомостью его слов и дел, а приветливостью и красивой сединой. Этакий молчаливый дядюшка-благодетель.

— Приходите еще, да поскорее, — бывало, говорила фрекен Мариана.

— Спасибо, — только и отвечал ленсман, стоя с непокрытой головой в прихожей и не надевая шляпу в присутствии фрекен.

Немаловажной фигурой в Сегельфоссе был священник, он токарничал, столярничал, знал кузнечное дело, при этом нисколько не заботясь о том, чтобы направлять свою паству в глубоких духовных вопросах, как это делал в недавние времена великий сын Ларса Мануэльсена Л. Лассен. Нынешний же священник явно не на своем месте. Что и говорить, руки у него золотые, он умеет плести ивовые корзины, да что там корзины, смастерил себе даже сани. Показав себя настоящим изобретателем, он всю коробку сделал из старых мешков, пропитав их клеем и придав потом нужную форму. Когда форма застыла, он прошпаклевал ее, а высохшую шпаклевку отшлифовал пемзой, так что поверхность получилась гладкая и красивая. А под конец покрыл коробку тремя слоями густого лака — возок был готов. Ехать в нем все равно что в легких, удивительных стеклянных санях. За изготовление этого произведения искусства его выбрали председателем поселковой общины.

Фамилия священника Ланнмарк, он прожил в этом краю уже четыре года и был первым священником после выделения Сегельфосса в самостоятельный приход. Его жена родом из маленького южного городка, все они, пасторские жены, родом из маленьких южных городков, дочери таможенных чиновников, капитанов или казначеев, и замуж выходят, когда в маленький городок прибывает новый школьный учитель. Так происходит со всеми, так случилось и с фру Ланнмарк.

Она была дочерью полицеймейстера из небогатой многодетной семьи, вышла замуж за учителя и тоже стала матерью; но когда детей поприбавилось, учителю пришлось приискать себе место священника на севере, хотя проповеди читать он не умел. Так бывает со всеми богословами, так случилось и с пастором Ланнмарком. Теперь он штатный духовный пастырь, хотя ничего в этом деле не смыслит — глупое и нудное занятие для человека с умелыми руками. Оборудовав в пасторской усадьбе кузню и столярную мастерскую, он проводил там свои самые счастливые часы, вдыхая запах опилок и металла — не так уж и плохо, могло быть хуже, пастору Ланнмарку жизнь была не в тягость. Но пасторша, его супруга, урожденная Пост, могла ли она когда-нибудь себе представить, что ей будет уготована такая жизнь, такое убогое существование, словно она вышла замуж не за должностное лицо, а за простого ремесленника. Случалось, ее муж мастерил колесо для тачки или точил заступ соседу, и ему за это предлагали плату, а один раз сколотил даже детский гробик. Может, и хорошо помогать тем, кто нуждается в помощи, но ведь всему же есть предел, и как удержать на расстоянии чересчур назойливых? Пасторша резонно утверждала, что она родилась не для того, чтобы общаться с соседками, которые то и дело вламываются к ней на кухню с разными просьбами, и она вовсе не имеет никакого желания их у себя видеть, нет уж, иди домой, Улина, ступайте домой, Маттеа и Лисбет! И всему виной мужнино ремесленничество, этот крест для всей семьи — она, опять-таки резонно, утверждала, что строить кузню и столярную мастерскую в пасторской усадьбе, которую они скоро, как только закончится срок их службы в Нурланне, оставят, удовольствие не дешевое. Разве можно забрать с собой дом, кузню? Четыре года, слава богу, уже прошло, еще через четыре они имеют право перевестись в другое место, на юг, лучше всего снова в маленький городок, но обязательно на юге, а мастерская-то останется здесь! Дорогостоящая, в несколько сот крон, причуда, и пользы от нее никакой никому, кроме нового священника, который приедет после них в Сегельфосс.

У господина Хольменгро пастор с супругой за эти четыре года побывали всего дважды, с первым визитом и потом еще один раз. Второе посещение прошло не совсем удачно, пастор уговорил господина Хольменгро сходить на мукомольню, посмотреть машины и оборудование, и пасторша осталась наедине с фру Иргенс, урожденной Геельмуйден. Да, вышло не совсем удачно, обе дамы знали себе цену, и ни одна не

видела повода уступать другой. Взять хотя бы цветы: на юге, в родном доме, фру Ланнмарк привыкла к другим цветам; и все же она напрямик этого не сказала, лишь мельком заметила, что у них дома аралия росла на открытом воздухе. Фру Иргенс недовольно дернула головой. А окна! Фру Ланнмарк каждое утро заставляет служанок тщательнейшим образом протирать окна в пасторском доме, но все дело в стекле, здесь на севере ужасно трудно достать хорошее оконное стекло. Фру Иргенс возразила, она, мол, и в Нурланне видела чистые окна, и тогда пасторша неосторожно спросила:

— Где?

— По-моему, вот эти, например, вполне чистые, — ответила фру Иргенс.

Фру Ланнмарк улыбнулась и сказала:

— Значит, вы не видели, какие бывают окна на юге!

После чего воцарилась зловещая тишина.

— Не поймите меня превратно, — сказала фру Ланнмарк, — это ведь не ваша вина, это стекло такое!

— Нет уж, коли в этих окнах и есть какой недостаток, так это моя вина. Стекло отличное, господин Хольменгро такой человек, что у него в окнах вставлены зеркальные стекла.

— Вот это-то зеркальные стекла? — недоверчиво спросила пасторша. — Не потому же они зеркальные, что цельные, без переплета?

— Нет, они зеркальные, потому что зеркальные, — ответила фру Иргенс.

О, спор мог бы разгореться нешуточный, ибо щеки у фру Иргенс, урожденной Геельмуйден, уже слегка раскраснелись, но тут фру Ланнмарк, будучи женой пастора, решила уступить и признать себя побежденной. То есть черта с два она признала себя побежденной, просто заговорила о другом, о прислуге, серебре, большой стирке, но про окна не забывала. Неужто она позволит какой-то особе из Нурланна морочить себе голову? Подойдя к самому дальнему окну, она сказала:

— Послушайте-ка, милейшая, разве на зеркальном стекле бывают такие царапины?

Фру Иргенс подошла поближе.

— Царапины! Да знаете ли вы, что это такое? — сказала она. — Это вензеля, написанные брильянтовым кольцом.

Фру Ланнмарк обернулась к фру Иргенс и посмотрела на нее долгим взглядом. Что за небылицы? Эта особа наглеет на глазах. Неужто ей с этим мириться?

— Брильянтовое кольцо, — сказала фру Ланнмарк, — это ведь очень редкая и дорогая вещь, не так ли? Вы вполне отдаете себе отчет в своих словах?

Оскорбленная до глубины души, фру Иргенс обратила внимание собеседницы на тот факт, что она носит фамилию Иргенс. На что фру Ланнмарк не преминула ответствовать, что она урожденная Пост, но по этой причине вовсе не считает нужным приплетать для пущей важности к разговору брильянты.

— О господи, да это написали заморские капитаны! — вскричала фру Иргенс. — Они приводили пароходы с зерном, были тут с визитом и вот написали, сняли кольцо с пальца и написали. Не иначе вы хотите представить меня лгуньей, фру Ланнмарк! — И тут у фру Иргенс выступили на глазах слезы и побелели щеки.

— Милейшая фру Иргенс, — воскликнула фру Ланнмарк, — ради бога, успокойтесь, я готова сделать все что угодно, только бы вы успокоились, я больше не буду вам возражать, раз вы так чувствительны. Прошу вас, извините меня, я никогда не слышала здесь на севере про брильянтовые кольца, у нас на юге — другой вопрос. Но если вы утверждаете, что это дело рук заморских капитанов, тогда все уже предстает в другом свете. Нет, дорогая фру Иргенс, я ни в коей мере не хочу выставлять вас лгуньей!

— Помню, господин Хольменгро даже выразил недовольство, увидев на стекле эти царапины, — продолжала фру Иргенс, не давая пасторше заговорить себе зубы. — И в шутку попросил фрекен Мариану не царапать окна своими брильянтовыми кольцами, это некрасиво, сказал он, а фрекен Мариана вовсе и не думала ничего царапать, ответила она и засмеялась. У фрекен Марианы есть три или четыре очень дорогих брильянтовых кольца, уж кому как не ей ими царапать!

— Вот как, — ответила фру Ланнмарк, только чтобы не перечить фру Иргенс.

Но фру Иргенс все равно опять обиделась и потому снова заговорила возбужденно:

— Вот так-то! Я ведь не говорю, что у меня есть такие кольца, потому что у меня их нет. Хотя и я не совсем уж нищая, Иргенс мне подарил ужасно дорогой гарнитур из богемских гранатов — и браслет, и кольца, и серьги, и колье, и диадема для волос, помнится, он сказал, что это стоило много сотен крон.

— Нисколько не сомневаюсь, — ответила пасторша, вновь уступая, но на свой манер, — судя по тем скудным сведениям, которые мы имели на юге о богемских гранатах, они стоят, может, даже тысячу крон, почему же вы говорите, несколько сотен, фру Иргенс? Но кое-кто видит особый шик в том, чтобы говорить «шестьдесят минут», а не «один час». Лично мне это всегда было чуждо!

Вернувшиеся с мукомольни мужчины развели дам. Но по дороге домой пасторша объявила, что ноги ее больше не будет в доме господина Хольменгро. Она себе в этом поклялась.

И до сих пор слово свое держала.

Ну и оставался опять же телеграфист Бордсен — нет, он к господину Хольменгро в гости не ходил, они встречались только где-нибудь на дорогах или на телеграфе. Эти двое обычно обменивались лишь короткими и вежливыми репликами, не больше, никаких приятельских отношений. Но когда господин Хольменгро устроил что-то вроде юбилея в честь своего десятилетнего пребывания в Сегельфоссе, начальник станции вывесил на телеграфе государственный флаг. Что он этим хотел сказать? Он ведь никогда не нарушал регламента. Вечером его пригласили к заводчику, но он, поблагодарив, отказался, сославшись на сверхурочную работу. Маленький Готтфред, его коллега по телеграфу, сказал, что Бордсену нечего надеть.

В целом жизнь господина Хольменгро в Сегельфоссе протекала весьма однообразно и тоскливо, не к кому прилепиться, не с кем слова перемолвить. Да и от самого производства радости мало, рабочие ворчат, мукомольня временами работает чуть ли не в убыток. Дважды он был вынужден повышать цены, и в последний раз «Сегельфосс Тидене» ополчилась на него, заявив, что он высасывает из жителей все соки.

Да, заводчику частенько приходилось несладко! Бывало, либо сделка какая-нибудь срывалась, либо урожай зерновых в Индии оказывался лучше, чем ожидали, и выяснялось, что он произвел закупки по слишком дорогой цене; когда об этом стало известно, «Сегельфосс Тидене» написала, что заводчик понес крупные потери, и поделом ему, не спекулируй на бедах Индии. Долой капитал! Обстановка создалась прямо-таки гнетущая, помимо того что заводчик понес убытки, ему же пришлось и объясняться, прибегнуть даже к хвастовству: он мол, слава богу, еще твердо стоит на ногах, с его-то ежедневным доходом, хе-хе! А чтобы покончить со слухами раз и навсегда, он снизошел до того, что во время юбилея пожертвовал пять тысяч крон в кассу для своих рабочих. По этому

поводу «Сегельфосс Тидене» написала: «Наконец-то возвращена малая толика из богатств одного человека, нажитых пóтом рабочих. Рабочие, знайте правду!»

А какой жалкий фарс вышел из этих пяти тысяч! Рабочие основали с их помощью банк, рабочий банк, «Сегельфосскую ссудо-сберегательную кассу», директорами которой стали адвокат и еще двое. Они выдавали ссуды много недель подряд, ссуду мог взять каждый, кто пожелает; чтобы взять ссуду, люди закладывали свои дома, имущество, скотину. Если взял Енс, значит, и Якобу надо взять. Разразилась настоящая эпидемия, один подписывал поручительство за другого. У Теодора-Лавочника в те дни пышным цветом расцвела торговля за наличные, он продавал ткани, цепочки для часов, изысканные сыры. Кончилось тем, что «Сегельфосская ссудо-сберегательная касса» осталась ни с чем, дирекция еле наскребла денег себе на жалованье. Что же дальше? Это конец.

И тогда наступила очередь адвоката Раша: если у него будут развязаны руки, он спасет банк. Ему развязали руки, он стал единоличным директором с двойным окладом.

Тут подошло время взыскивать платежи, и адвокат Раш неплохо заработал: он вызывал людей на комиссию, описывал имущество, устраивал аукционы, Теодор-Лавочник купил у него несколько голов крупного рогатого скота и отправил их с почтовым пароходом на юг, а адвокат переписал на себя несколько домов, за которые их обитателям ничего не осталось, как платить аренду. О, то был крах, землетрясение. Господи помилуй, такое разве что в дурном сне могло присниться: чтобы щедрый дар в пять тысяч крон обернулся такими тяжелыми последствиями.

А банк выстоял. Это было чудо, но в черный день банк с честью вышел из положения. Каким образом? Никто не сомневался, что своим спасением он обязан адвокату Рашу. Не действуй этот железный юрист столь молниеносно и умно, все пропало бы. В один день он разослал тридцать повесток, одержав над Сегельфоссом победу и посеяв в сердцах людей страх; они не успели опомниться, не успели надуть банк, смошенничав и заложив себя с потрохами какому-нибудь свойственнику или родственнику. Стеная, они сдались, ибо были наивными детьми, убойным скотом. Зато адвокат Раш прилично на них заработал. А рабочие? Большинство были довольны. Пострадали лишь отцы семейств, имевшие дома, скарб и скотину, они не только сами брали ссуды, но и выдавали поручительства за других, за многих поденных рабочих — для всех них удар оказался тяжелым; большинство же остальных

рабочих заявило, что кому же еще принимать на себя удар, как не этому «имущему классу» внутри рабочего сословия, который, пойдя по стопам капиталистов, обзавелся хозяйством и сбился с пути. По этому поводу провели многолюдное собрание, выступал рабочий Аслак, выступал поденщик Конрад, «Сегельфосс Тидене» призвала заводчика посетить собрание и послушать ораторов.

Господин Хольменгро, расхаживавший в толстом свитере и перепачканных мукой сапогах, на собрание не пошел; но радости от своей благотворительной акции испытывал мало. Да, он не пошел на собрание, но разве этим кончилось дело? Они позволили себе прямо с собрания послать за ним, и заводчик был вынужден ответить, что занят и прийти не может. С ним вели переговоры как с равным.

Это ли жизнь для кудесника, короля Тобиаса из сказочной золотой страны! До катастрофы, до краха пока не дошло, но сплошь и рядом случались тысячи неприятностей. Крупного противника, способного его свалить, не было, но его постоянно мучила и терзала многочисленная мелюзга. Лучше бы остаться легендой о миллионере с Кордильер, который вернулся домой.

Да что уж тут скрывать, в Сегельфоссе начали помаленьку сомневаться в богатстве господина Хольменгро, а коли он не богат, значит, он ничто. Зачем бы, скажите на милость, богатому человеку заводить мукомольню в Сегельфоссе, ежели можно позволить себе расхаживать в шубе да брюхо отъедать! Возьмите адвоката Раша, он прилично разбогател, и по нему это сразу видно! Господину Хольменгро надо бы изобрести что-нибудь новенькое и не выставляться более незначительным, чем он есть на самом деле. Почему бы ему не вернуть те чудесные времена, когда он явился из легенды в роскошном ореоле лучей восходящего солнца? О господи, вот это были времена! Вот взял бы и сотворил что-нибудь опять из этой сказки! Может, он уже обдумывает это? Пожалуй, он сделал слабую попытку, съездив в город и вернувшись оттуда масоном. Только бы это пошло на пользу! — наверное, думает он. Только бы вернуть себе прежнее почтение! — наверное, думает он.

Но сегодня он доволен, сегодня он вновь полон надежд. С приездом молодого Виллатса ему впервые за многие годы будет с кем поговорить по душам, благословенное ожидание, он чувствует себя так, словно накануне ему привалила удача.

Господин Хольменгро идет в лавку. Он редко бывает в лавке, вернее, никогда не бывает, и юный Теодор откидывает

доску прилавка перед великим человеком. Он делает это с искренним удовольствием, ведь не кто иной, как господин Хольменгро, и позволил основать лавку на своей земле и помог старому Перу стать П.Енсеном. Заводчик — сама доброжелательность по отношению к хозяевам лавки и не требует с них арендной платы за землю. Он состоит в дальнем, очень дальнем родстве с матерью Теодора и не имеет ничего против того, чтобы Теодор стал расторопным парнем и зарабатывал на жизнь мелочной торговлей. Но сам он ничего в лавке не покупает, ему все привозят из города.

— Не желаете ли пройти внутрь? — спрашивает Теодор.

Господин Хольменгро улыбается. Пригласить покупателя пройти за прилавок — этим приемом торговец оказывает покупателю почет; для жителей Сегельфосса он вполне годится, но для короля...

— Твой отец все еще лежит? — спрашивает заводчик. — В таком случае поговори с ним сам: я гляжу, вы опять промываете рыбу и раскладываете ее для просушки на скалах. Уже шестой год.

Смешавшись, Теодор говорит:

— Разве это скалы не Виллатса?

— Ты хочешь сказать, господина Хольмсена? Да, они принадлежат ему. Будь они мои, это было бы не так важно. Сдается мне, вы должны заплатить ему аренду за все эти годы.

Теодор — парень смекалистый, и он отвечает:

— С тех пор, как мы начали сушить рыбу на его скалах, Виллатс, то есть Хольмсен, только однажды приезжал домой, но он тогда ничего не говорил об арендной плате.

— Правильно, — кивает король. — Но именно по этой причине я и считаю, что вы должны ему заплатить.

— Я поговорю об этом с отцом.

— Правильно. Передай ему, что я настаиваю на том, чтобы вы заплатили за аренду скал.

Теодора одолевают сомнения, но он все же решается выложить правду, возможно, ему по той или иной причине хочется произвести самое что ни на есть благоприятное впечатление на заводчика, на короля.

— Кстати, и улов, и шлюп — моя собственность, они фирме не принадлежат, — говорит он.

Не исключено, что господину Хольменгро это уже давно известно и ему просто хочется сбить с юнца спесь. Вполне вероятно. Потому что он относится ко всем обитателям лавки не иначе как с отеческой благожелательностью.

— Значит, рыба твоя, Теодор? — переспрашивает заводчик. — Ну, в этом случае такой дельный человек, как ты, и сам должен сообразить, что надо заплатить аренду. И поставим на этом точку.

Но Теодор, очевидно желая произвести еще более благоприятное впечатление, продолжает:

— Насколько я знаю, пекарня, которая перешла к нам, стоит на вашей земле.

— Ну, это не имеет никакого значения.

— Мы заплатим вам аренду.

— А как вообще-то идут торговля и все остальные дела, успешно? — интересуется господин Хольменгро.

— Да грех жаловаться.

Господин Хольменгро кивает и уходит.

Приятно было снова показать себя, что-то сказать, дать указания; в последние годы такое случалось не часто. Весна, казалось, вдохнула в него новые силы, каждый год в марте он ощущал в себе какую-то перемену, шаг становился более размашистый, голос более решительный. Но нередко весна играла с ним злые шутки: в нем взыгрывала молодость. Словно бич Божий поражал его. А последствия были самые глупые и досадные.

Навстречу ему по дороге едут дровни, возчик с поклоном здоровается и сообщает, что он отец Марсилии.

— Ну и что? — удивляется господин Хольменгро.

— Отец Марсилии, что опять у вас прислуживает, — говорит возчик.

— Ну, ну. Ясно.

— А мальчонка ее совсем большой стал, на лыжах катается.

— Так. Понятно.

— А лыж у него нету.

Господин Хольменгро вынимает бумажник и выуживает из него кредитку.

— Вот, купи ему лыжи! А зачем ему лыжи теперь-то, на весну глядя?

— Про то и я ему всю зиму талдычил, а он только ревет и лыжи просит. Правда, живем-то мы в горах, у нас снег лежит до Иванова дня.

— Прекрасно, купи ему лыжи! Марсилия — девушка расторопная, пусть у ее парнишки будут лыжи.

— Я так и знал! — говорит возчик. — Знал, что, ежели я вам скажу про лыжи, вы не позволите ребенку плакать. По-

корнейше благодарю от его имени за деньги! Может, подвезти вас? — кричит возчик вслед господину Хольменгро.

— Подвезти?

— Я бы поворотил и подвез вас до дому. Со всем моим удовольствием, коли вы не погнушаетесь сесть на дровни.

И возчик разворачивает лошадь.

— Езжай своей дорогой! — кричит господин Хольменгро и идет прочь.

Ясное дело, попасть в дурацкую историю проще простого. Что с этим поделать? Вот незнакомый мужик предлагает подвезти его на дровнях, точно он адвокат или малыш Теодор-Лавочник. Нет, что-то надо предпринять, никакого к нему уважения, не говоря уж о преклонении.

Но эта продувная бестия, папаша Марсилии, дед ее сынишки, он ведь не без умысла хотел его подвезти, посидеть с ним рядом в санях, так, чтобы весь Сегельфосс поглазел.

Вдруг он слышит впереди чьи-то крики, поднимает голову и видит размахивающего руками человека. Это Конрад, поденщик, он спускается по дороге к мукомольне.

У господина Хольменгро невольно мелькает мысль, что произошло что-то серьезное, и, не дожидаясь, пока расстояние между ними сократится, он спрашивает:

— Что случилось?

— Да ничего, — отвечает Конрад. — Просто я кричал вон тому мужику с лошадью, чтоб он меня подсадил.

Господин Хольменгро, похоже, ничего не понял.

— И куда же ты собрался? — спрашивает он.

— Да в лавку нужно смотаться. У нас табак кончился.

У господина Хольменгро дернулось лицо, точно его хлыстом стеганули, на миг он потерял самообладание.

В эту минуту господин Хольменгро наверняка пожалел, что он не прежний молодой и сильный матрос. Плохо быть стариком, тут уж господин Хольменгро ничего не мог поделать. Овладев собой, он с трудом выдавил:

— Чтоб к вечеру все двести мешков были наполнены. Понял?

Вполне возможно, Конрад и понял, но особого впечатления слова Хольменгро на него не произвели, плевать он хотел на них. Вытащив носовой платок, он сморкнулся и с безразличным видом прошел мимо хозяина.

Господин Хольменгро, похоже, испугался — а вдруг он переборщил и это плохо кончится — ну что взять со старого человека? — и примирительно сказал:

— Можешь до обеда не начинать. Ты уже ел?

— Ел? — улыбаясь, повторяет Конрад. — Конечно, много раз.

— Я имею в виду — сегодня. Обедал сегодня?

— Так бы сразу и сказали.

Господин Хольменгро взрывается:

— О господи, это уж слишком! Больше ты ни дня на мельнице не останешься!

Но Конрада уже однажды выгоняли, не бог весть какое горе, Господь наградил его разумом, поэтому он знает, что сила на его стороне и на стороне его товарищей. Обернувшись, он говорит:

— Вот что я вам скажу, Тобиас: старому человеку негоже так горячиться. Нас двадцать против вас одного, и промежду нас нет ваших рабов.

— А сколько нас, ты знаешь? — вышел из себя господин Хольменгро. — Я вам покажу... я вас научу...

— Это ты насчет фармазонства, что ли? — воскликнул Конрад. — Так в это никто не верит!

И Конрад уходит. Подсев на дровни к мужику с лошадью, он покатил в лавку за табаком.

А господин Хольменгро, вернувшись домой, говорит своей экономке фру Иргенс:

— Сегодня вечером я еду на юг с почтовым пароходом. Будьте добры, уложите мой чемодан. Только самое необходимое, одну-две рубашки, я вернусь с первым же пароходом, который пойдет на север.

Фру Иргенс привыкла к его частым отъездам, по его словам, на собрания ложи, она спрашивает, поедет ли с ним фрекен Мариана, и господин Хольменгро отвечает, нет, не поедет. У него очень важная поездка, он должен ехать один. А вы, фру Иргенс, берите бразды правления в свои руки!

— В свои руки! — подавленно повторяет фру Иргенс. — Я просто вне себя, ключ-то ведь так и не нашелся. Ночи напролет про него думаю.

— Какой ключ?

— От сарая-кладовки, я же вам рассказывала. Ищем, ищем — и все напрасно.

— Ну, невелика беда, — рассеянно говорит господин Хольменгро.

Да нет, дело это нешуточное. Фру Иргенс потеряла всякий покой. Ключик никак не находился, как сквозь землю провалился, Господь схоронил его где-то, когда осенью забивали скотину, народу тогда в сарае страсть сколько толклось. Все обыскали, и внутри и снаружи, карманы друг у дружки про-

щупали, спрашивали каждого встречного-поперечного, вот уже и снег на дворе сошел, а ключ так и не нашелся. Правда, это был не настоящий массивный ключ с замысловатой бородкой, какой полагается для кладовой, а так, дрянная вещица, маленький блестящий никелированный ключик, тонкий как бумага, всего в дюйм длиной, ключ от висячего американского замка. Чтобы носить его на часовой цепочке.

— И теперь вы не можете войти в кладовую? — безразлично спрашивает господин Хольменгро.

— Ну что вы! — отвечает фру Иргенс, невольно улыбаясь такой наивности. — Разумеется, мы всю зиму пользовались кладовой, и входили и выходили. Но приходится ходить через прачечную. Ключ от прачечной у нас, слава богу, есть.

— Ну, тогда беда невелика, — говорит господин Хольменгро, думая о другом.

Нет, дело это нешуточное. Фру Иргенс опасается, как бы кто ненароком не нашел ключ от кладовой и не стащил бы припасы. В кладовой хранились и говядина, и свинина, и рыба, и сыр, и масло, и варенье, и баранки, и сухари — да чего там только не было. Она попросила господина Хольменгро, поскольку он все равно едет в город, купить новый замок, и господин Хольменгро пообещал.

— А я уж не выпущу ключ из рук ни днем, ни ночью! — сказала фру Иргенс.

Господину Хольменгро повезло с экономкой, она служила ему верой и правдой и всегда, все годы, прожитые им в Сегельфоссе, пеклась о его благе, другой вопрос, является ли нынче дом, куда он намеревается пригласить в гости молодого Виллатса, домом богатым и достаточно изысканным. Вот в чем вопрос. Роликовые шторы поднимаются с трудом, местами они застряли, напрочь перекосившись, и пришлось отказаться от мысли поднять их повыше. В столовой на буфете довольно и серебра, и хрусталя, и ваз в стиле модерн. Резные немецкие часы с маятником не желают ходить без дополнительного груза, так что фру Иргенс привязала к гирям зеленой шелковой нитью камень. Получилось не очень-то красиво и изящно. Кабинет, если там кое-что с толком поменять, выглядел бы вполне прилично. Сейчас же вид у него несколько заброшенный, у милой Марианы есть дурная привычка уносить к себе наверх книги, которые она, прочитав, забывает поставить обратно; и сейчас, с разоренными книжными шкафами, кабинет производит довольно скверное впечатление.

Господин Хольменгро велит дочери спуститься вниз и, стуча кулаком по столу, выговаривает ей за книги, за камень на часах и перекошенные шторы. А Мариана смеется — отец всегда такой славный, любит пошутить, — потом она гладит его по голове и говорит, что нельзя носить такие длинные волосы, надо непременно постричься, воспользовавшись поездкой в город.

— Ладно. А впрочем, я с тобой не дружу, — отвечает на это отец, опять нахмурившись. — Камень на часах! И неужели ни ты, ни фру Иргенс не видите, как скособочились шторы? И вот еще что я тебе скажу: пойди-ка и принеси книги!

— А я тебе вот что скажу, — ответила Мариана,— я — «твои дети», и был бы ты добрым папочкой, помог бы мне снести вниз книги.

— Мне же тебе еще и помогать, хорошенькое дело! — с издевкой воскликнул он. — Ах ты, чудовище! — продолжал он. — Индеец ты, а не Мариана!

Но конечно же, он отправился с ней наверх, дав полную волю своему игривому настроению, хотя и был старым человеком. Так они и жили. Он пытался изредка напускать на себя серьезность и строгость, делал вид, будто не слышит ее слов, сидел с каменным лицом. Но кончалось это неизменно тем, что она клала его на обе лопатки.

У господина Хольменгро осталась только она, только Мариана. Сын Феликс еще ребенком вернулся в Мексику, и теперь он мексиканец, моряк, плавает на разных кораблях. Его жизнь, по-видимому, складывалась так же, как в свое время жизнь отца: приключений хватало. Господь об этом позаботился. И теперь, когда у господина Хольменгро осталась одна Мариана, она и есть «его дети», говорила она.

Она далеко не красавица: желтая кожа, черные волосы, низкий лоб. В форме носа кроется что-то хищное, он как будто постоянно к чему-то принюхивается, в общем, нос большой и некрасивый. Но как и во всех людях, в Мариане много хорошего, плохого и хорошего, порой в ней проглядывает какое-то коварство, иногда ее охватывает безудержная нежность. Несмотря на свой юный возраст, она уже давно вполне созрела и, унаследовав от своей матери-индеанки высокую гибкую фигуру и скользящую походку, просто очаровательна. Взять хотя бы ее светло-карие глаза — красивыми их тоже не назовешь, зато они удлиненные и блестящие. А большущие золотые полумесяцы, которые она носит в ушах, — по меньшей мере безрассудство, но и сама Мариана не обычная сегельфосская девица в пальто и шляпке. Как же отцу не

радоваться, глядя на нее? Сам он по натуре игрок, кругосветный путешественник, который лишь волею судьбы стал предпринимателем. Не ему учить свою дочь домашнему хозяйству, ему под силу лишь стать для нее веселым другом и тайной.

Вечером Мариана, проводив отца до пристани, поднялась с ним на борт. На пристани собралось много народа, кто-то раскланялся с ними, кто-то нет, но все, вытянув шеи, с жадным любопытством разглядывали господ.

Сойдя на берег, Мариана не стала на виду у всех перебрасываться с отцом шуточками: только помахала ему на прощание рукой и ушла.

— Кто потерял двухкроновую монету? Вон валяется, — громко спросила она, на ходу показывая пальцем на находку.

Подбежал Теодор-Лавочник, поднял монету с земли, вытянул руку и шутливо закричал:

— Говори скорей, не стой, у кого карман худой?

Никто не откликнулся. Люди пошарили у себя в карманах, но владелец монеты так и не объявился. Ларс Мануэльсен, бормоча что-то себе под нос, старательно обследовал карманы, словно монета и в самом деле выпала оттуда.

Теодор сказал:

— Владелец не объявился, две кроны ваши, фрекен Хольменгро.

— Нет, — бросила Мариана, не замедляя шага.

— Но ведь вы ее нашли! — тщетно кричал ей вслед Теодор.

Если Теодор-Лавочник сам устроил этот трюк, подбросив монету, чтобы завязать разговор с Марианой, то его постигла неудача. Более того, он чуть не влип в неприятную историю, когда после всего сунул монету в карман, ибо Ларс Мануэльсен, обшарив свои карманы, твердо уверился, что монета принадлежит ему: только что у него в кошельке лежал один двухкроновик, и вот, смотри, нету! Но Теодор-Лавочник не из тех, кто раздает деньги за так, он из тех, кто считает каждый грош.

— Я пока ее спрячу, — сказал он.

— Значит, это твои две кроны? — спросил Ларс Мануэльсен.

Казалось, Теодор задумался, казалось, он попал в затруднительное положение. Неужто они решили, что я набивался на разговор с Марианой?

— Нет, не мои, — ответил он решительно. — Но я их спрячу.

И Ларс Мануэльсен оскорбленно пробормотал:

— Ну, я не намерен спорить с тобой из-за двухкроновой монеты. Мне это без надобности.

5

С веселым задором принялась сорока таскать ветки для гнезда. Господь дал сороке веселый нрав, чтоб мы на нее смотрели и тоже душой отдыхали, говорила обычно старая Катрина, мать маленькой Паулины и маленького Готтфреда.

Когда наступил март и миновали самые жестокие морозы, старая Катрина подошла к окну и, проделав в ледяной корке на стекле дырочку, сказала:

— Слава богу, скоро и этой зиме конец, сорока начала ветки таскать.

Впрочем, сорока таскает не только ветки, она таскает все, что ей попадается блестящего, жирного и пушистого. Ее любопытство и жадность так велики, что ее прельщают самые необычные предметы. На что ей, скажем, понадобились очки Ларса Мануэльсена? Для чтения сборника проповедей, как самому Ларсу Мануэльсену, они ей не нужны, и видеть лучше, чем она видит, ей тоже ни к чему. Ларс Мануэльсен потерял очки по дороге из гостиницы домой, и он точно знал, в каком месте их обронил, он вернулся и принялся искать, но очки как сквозь землю провалились. «Это сорока!» — сказал Ларс Мануэльсен.

Вон опять летит сорока, она летит со стороны большого дома господина Хольменгро, и в клюве у нее что-то блестящее, что — непонятно, только не веточка и не соломинка. Когда она пикирует на землю, она напоминает косо падающий кусок картона. Но зловредная сорока тем не менее собой недурна, белая с черным, писаная красавица; черные перья у нее с зеленым металлическим отливом. Очень она хороша, когда сидит на земле и все вертится, вертится туда-сюда — вокруг словно все веселеет. Сорока — птица смышленая, спиной видит, при малейшей опасности снимается с места; а очутившись в безопасности, принимается хохотать, такая вот веселая. Попадется ей на пути кошка или собака, задразнит до смерти, а сама натешится всласть. Она селится поближе к человеческому жилью не ради потехи, а из здравого смысла, чтобы иметь защиту от врагов. Вот сорока какая.

Но частенько ее врагами бывают и сами люди.

— Ты не видишь, что у нее в клюве? — спрашивает жена Ларса Мануэльсена.

— Нашла о чем болтать, о сороке! — отвечает Ларс Мануэльсен. — Она что ни увидит, все ворует, мои очки утащила. Но погоди, пусть только построит гнездо, положит яйца да выведет птенцов, уж я с ней поболтаю!

— Попробуй только тронуть гнездо! — говорит его жена.

Каждую весну они препирались из-за одного и того же, Ларс Мануэльсен хотел разорить сорочье гнездо, старое сорочье гнездо на березе, что растет возле их дома, а его жена возражала. До сих пор ей удавалось настоять на своем. О, у нее весьма веские доводы: сорока мстительна, у сороки помощники и на земле и под землей; лопари посылают с сорокой весточки; в сороке есть и хорошее и дурное!

Ларс Мануэльсен не слушает этих глупостей, кыш, потаскушка, обжора, говорит он сороке и грозит кулаком. В ту же секунду сорока снимается с места, взлетает на березу и, помедлив мгновенье, как призрак скользит в гнездо. Когда она вылезает обратно, в клюве у нее уже ничего не блестит, уставившись сверху вниз на Ларса Мануэльсена, она начинает презрительно над ним хохотать. Невероятно — точно в ней бурлит яд веселья. Да, она даже перепрыгивает на другую ветку, чтобы удобнее насмехаться над Ларсом Мануэльсеном, потом на третью и, склонив головку набок, что-то ему сверху кричит. Но это уже просто невыносимо, сорока зашла слишком далеко, не будь Ларс Мануэльсен в здравом уме, швырнул бы в нее топор.

— Не смей грозить сороке, говорю тебе! — предупреждает жена.

— Я хочу тебе одну-единственную вещь сказать, — веско отвечает Ларс Мануэльсен — Ларс Мануэльсен начал говорить веско с тех пор, как, став отцом великого человека, завел парик и зарабатывал деньги у коммивояжеров из гостиницы. Кроме того, Ларс Мануэльсен — сам себе хозяин, владелец двух десятин земли и может теперь принять у себя своего знаменитого сына, когда тот приедет, и одному Богу известно, не посчитает ли сын вульгарным сорочье гнездо во дворе. Поэтому Ларс Мануэльсен веско отвечает, где, мол, мои очки, говорит. Этого жена не знает.

— Спроси сороку! — говорит Ларс Мануэльсен. — Хочешь еще что-нибудь узнать? — продолжает он. — Много ли ты видала сорочьих гнезд, вороньих гнезд да всякого другого шутовства хоть на одном порядочном дворе?

Нет, пожалуй, жена этого не видала.

— Вот и не заговаривай мне больше зубы! — сказал Ларс Мануэльсен.

Не только сорока готовилась к весне, готовился к ней и адвокат Раш. Чтобы ускорить таяние, он велел посыпать песком остатки снега в своих владениях. За считанные годы адвокат Раш преобразил их, разбив сад и парк. Прежде здесь был дрянной выпас для двух коров, теперь же никаких коров нет и в помине, вместо них посадили кусты и деревья, всякие диковинные растения на украшение дома, на радость людям и всему Сегельфоссу. С тех пор как адвокат Раш заимел средства, он сотворил немало великих свершений. Ну зачем ему коровы и быки? К тому же скотница — лишняя прислуга. Почему ему, как и всем остальным, не покупать молоко в поместье Сегельфосс? Возделывать землю Норвегии дело, конечно, хорошее, но невыгодное. Теперь же перед ним большие и зримые плоды его деятельности, он посадил желтую сибирскую акацию и американские ели, выкопал в лесу кусты можжевельника, папоротник и вербу и перенес их в свой парк, где они удачно прижились, а желтые акации, благодаря какому-то особенному верхнему слою почвы, так разрослись, что превратились в лес. Приезжая в гости, окружной врач Муус каждый раз обходил парк, весьма хвалил его и, качая головой, утверждал, что он великолепен. «Еще несколько лет, и в вашей роще запоют соловьи!» — По всей вероятности, окружной врач Муус говорил это больше в шутку, потому что он был образованный господин и, когда хотел, выражаться умел в высшей степени красиво; но адвокат Раш лишь согласно кивал: для него, мол, нет ничего невозможного, соловьи тоже проблема преодолимая. По его просьбе ему несли большие раковины, маленькие ракушки и необычные камни, из них он собирался соорудить зубчатые оградки вокруг клумб с астрами и маками, точь-в-точь как у зажиточных людей на юге. Каждый год по южной стене его виллы в швейцарском стиле тянулись вверх хмель и дикий виноград, добираясь почти до скворечников; с фронтонов и с конька крыши разевали пасти на редкость правдоподобные драконьи головы с торчащими наружу клыками и языками. Даже зеленую лужайку посреди сада не забыли, ее украшал небольшой цементный бассейн на две-три бочки воды, а из поднимавшейся вверх трубы била водяная струя. Провести в бассейн воду из реки обошлось в двести крон, но вопрос о цене даже не поднимался. У подножия сада высился флагшток с посеребренным шаром.

Адвокат Раш не мог бы пожелать большего в этой жизни для себя и своей семьи. Осталось сделать лишь одно: торжественно открыть сад и парк, разбитые на месте выпаса для двух коров. Каждый год он собирался устроить задуманное торжество, но все откладывал и откладывал, дожидаясь, пока не подрастут кусты, и вот наконец твердо решил провести его. Разве жизнь к нему не благоволила? Перед ним был выбор: либо принять ее дары, либо пренебречь ими. Он их принял. Жизнь одарила его счастьем, не выдвинув никаких условий, никаких обязательств, как бы он сам, вероятно, выразился, и он считал своим долгом подтвердить это, выдать расписку в получении — да, торжество непременно должно состояться в нынешнем году.

В общем и целом, громадная пропасть отделяла молодого юриста, приехавшего сюда несколько лет назад без жены и без денег и пустившего здесь корни с помощью господина Хольменгро, от нынешнего могущественного адвоката Раша, отягощенного деньгами, брюшком и авторитетом. Было время, когда он вывешивал в прихожей своей конторы собственные пальто и шляпы, чтобы пришедшие к нему по делам посетители воочию убедились, как много клиентов у него в кабинете. Посетители в ожидании своей очереди усаживались в приемной и слушали доносившиеся из-за двери голоса; но вот дверь в прихожую распахивалась, хозяин провожал клиента до выхода и любезно прощался: «До свидания, до свидания! Мы обязательно все уладим, будьте уверены! — После чего адвокат входил в приемную и столь же любезно здоровался: — Здравствуйте, здравствуйте! Извините, что вам пришлось так долго ждать, но я был очень занят!»

Теперь же адвокат Раш *и в самом деле* был очень занят, прямо-таки завален делами, он возглавлял банк и, кроме того, сотрудничал в «Сегельфосс Тидене», сохраняя это в глубокой тайне. И теперь проникнуть в его кабинет уже вовсе не так просто, сперва требовалось доложить: конторщик стучал в его дверь и спрашивал, примет ли адвокат клиента. «Сейчас!» — бывало, отвечал адвокат. «Минуточку!» — бывало, отвечал он.

— Кто там? Ларс Мануэльсен? Попросите Ларса Мануэльсена секундочку подождать!

Всю эту секундочку адвокат ничем не занят, сосредоточенно нахмурив брови, он размышляет. Потом отворяет дверь и здоровается:

— Добрый день, добрый день, Мануэльсен! Прошу вас! Долго ждали?

— Нет.

Сразу видно, что Ларсу Мануэльсену достоинства не занимать, поэтому он никогда долго не ждет. Это ему без надобности. И адвокат обращается с ним соответственно.

— Присаживайтесь, Мануэльсен. Есть ли какие-нибудь известия от сына?

— Да нет, давно уж не было.

— Вероятно, он очень занят у себя в столице, читает проповеди, пишет.

— Должно быть, так оно и есть.

— Его научные исследования вызывают большой интерес. Я слышал, его книгу сейчас переводят на шведский язык.

— Да ну, на шведский язык?

— На шведский язык. Он и впрямь великий человек. Всенепременно будет епископом.

— Вы считаете?

— Всенепременно.

— Домой ни гроша не посылает, — говорит отец великого человека.

— Неужели? Это меня немножко удивляет, наверное, забывает.

— Мог бы найти время и вспомнить.

— Скорее откладывает со дня на день, слишком уж много работает. Мне это хорошо знакомо.

— Ну уж послать пять или десять крон ценным письмом времени много не надо.

— А собраться-то, Мануэльсен! Впрочем, я несколько удивлен. Он что же, и проповедей своих не прислал?

— Бог с вами, конечно, прислал. Да только я очки потерял, а без них не могу читать, святой крест. Чудеса, да и только, их сорока утащила.

— Сорока? Ха-ха.

— Ничего смешного, — оскорбленно говорит Ларс Мануэльсен, — я знаю, это сорока. Что я у вас хотел спросить: как, по-вашему, справедливо, что Теодор-Лавочник поднял с набережной две кроны, сунул их себе в карман и не отдает?

Ларс Мануэльсен в подробностях излагает всю историю, уверяя, что двухкроновая монета принадлежит ему. Адвокат обещает поговорить с Теодором, молодым Енсеном.

— Между прочим, Мануэльсен, сдается мне, не тот вы человек, чтобы заниматься такими пустяками. Что для вас две кроны?

— Заработки нынче поменьше, чем в прежние весны, — отвечает Ларс Мануэльсен. — В гостинице совсем мало приезжих.

Последний коммивояжер квартировал на собственном пароходе, на берег и не сходил. От него ни гроша не перепало.

— Я слышал об этом торговце.

— Дидриксен его фамилия, он у себя на пароходе устроил игры, танцы, попойки. Мерзость, да и только.

— Верно, молодой да веселый, — говорит адвокат, в задумчивости беря со стола пачку бумаг.

— Еще какой веселый! Ночью-то танцы остановил и в море с двумя девицами отчалил. Одна была ваша Флорина.

— Флорина? Ах, молодость и безрассудство! Значит, Флорина?

— Больше ничего не скажу, язык не поворачивается, — говорит Ларс Мануэльсен. Тут он, ясно, глядит на адвоката и произносит следующие слова:

— Должно быть, у Флорины именно там-то и заболели зубы.

Адвокат Раш не шевельнулся, не бросил незаметного взгляда на Ларса Мануэльсена. Он только прикрыл глаза, как будто услышал громкий, оглушительный шум. На что намекает этот человек в парике? Что он знает?

— Так, — сказал адвокат Раш. — А что, Флорина жалуется на зубную боль?

— И на тошноту, — сказал Ларс Мануэльсен.

— И на тошноту тоже? Да, вот ведь как бывает по весне, разгорячишься от танцев и не ровен час простынешь.

— И Нильс из Вельты с ней порвал.

— Так. Ну, одно обычно идет за другим.

— Теперь вы все знаете, — сказал Ларс Мануэльсен.

Адвокат Раш не смог сдержать улыбки: что этот старый болван себе вообразил? Неужто вообразил, что прижал его к ногтю?

— В таком доме, как наш, служанками ведает хозяйка. Это не по моему ведомству.

Тогда Ларс Мануэльсен встал и тоже улыбнулся, эдакой кривоватой улыбочкой, которую адвокат, испытывая при этом некоторую неловкость, истолковал совершенно правильно.

— А что до этих двух крон, Мануэльсен, так я вам их охотно отдам, — сказал он, протягивая монету. — Настолько я уверен, что молодой Енсен вернет то, что по праву принадлежит вам.

— Спасибо, — сказал Ларс Мануэльсен. — И еще одно: не тиснете ли вы в газете про Лассена, сынка моего, ну, чтоб люди про все узнали?

— Этого я сделать никак не могу, — ответил адвокат. — Не я редактирую «Сегельфосс Тидене».

Иногда адвокат не имел ничего против, чтобы его считали истинным хозяином газеты, которому подвластно добро и зло, но иногда ему это было не по душе. Вот стоит перед ним старый мошенник Ларс Мануэльсен, нагло и нахально усмехаясь, словно полагает, будто ему причитается за что-то — и за что бы это? И две кроны взял, буркнув «спасибо». Нет уж, извините, не тот адвокат Раш человек, которого можно услать на Святую Елену!

Но Ларс Мануэльсен с годами обрел благословенную уверенность в себе, он ни перед кем не отступал.

— А заодно уж, — сказал он, — не забудьте, пожалуйста, упомянуть родителей Лассена, что живут здесь на севере.

Адвокат лишь покачал головой и занялся папкой с документами.

И Ларс Мануэльсен ушел.

Через несколько дней он явился снова.

— Я занят. Пусть Ларс подождет, — сказал адвокат своему конторщику.

Ларсу Мануэльсену пришлось прождать в приемной довольно долго, а когда его впустили, адвокат поднял на него глаза и сказал:

— Говорите покороче, Ларс, у меня сегодня очень много дел.

— Гм. В газете-то ничего не пропечатано, — сказал Ларс Мануэльсен.

Адвокат Раш развернул кресло и поднял свое грузное тело с сиденья.

— Хватит, я больше не желаю слышать этой болтовни о газете, — сказал он с налившимся кровью лицом. — Если вам надо, идите туда сами, фамилия редактора Копперюд, а моя — Раш.

— Я не намерен с вами препираться, мне это без надобности, — сказал Ларс Мануэльсен и вышел.

Адвокат постоял, нахмурив брови, думая о чем-то, прошелся по комнате, остановился и уставился в стену, продолжая думать. И вдруг крикнул в приемную:

— Мануэльсен уже ушел? Ушел уже Мануэльсен?

— Ушел. Догнать его?

— Да. Попросите его вернуться.

Адвокат из своего кабинета слышит, как выбежавший на улицу конторщик что-то кричит вслед Ларсу Мануэльсену, а тот отвечает: «Мне это без надобности».

Ну что ж, значит, жребий брошен! Старому мошеннику захотелось войны? Бедняга, собрался воевать с адвокатом Рашем! Но день для адвоката вконец испорчен, разве ему пристало воевать с жалким мошенником? Не лучше ли проявить снисходительность? Но день все равно испорчен, на душе тревожно.

— Платеж от ленсмана сегодня опять не поступил? — спрашивает он конторщика. — Накупил на аукционах вещей на сотни крон, а денег не шлет, что это еще такое?

Конторщик качает головой. «Доброму ленсману из Уры следует быть поосмотрительней!»

За обедом адвокат молчалив и суров, он работает над крупным делом, говорит он, гора документов. Ему надо немедленно вернуться в контору — пришли туда Флорину с кофе!

— Послушай, зачем ты замотала себе рот этим отвратительным платком? — спрашивает адвокат, оставшись в кабинете наедине с Флориной.

— Зубы болят, — отвечает Флорина.

— А чего, кроме зубной боли, тебе ожидать, если сперва ты пляшешь до упаду, а потом отправляешься ночью в море в такой-то мороз, какой нынче на дворе?

— Так вы знаете? — спрашивает Флорина. — Значит, вы небось знаете и почему я это сделала?

Адвокат ограничивается коротким «нет», не желая входить в подробности.

И тут горничная Флорина заводит какие-то странные, непонятные речи, на что-то намекает и наконец негромко бросает:

— Бог свидетель! Что теперь со мной будет!

Адвокат вспыхивает было, но тут же переходит на смех.

— Ха-ха, — сказал он, — да пусть этот Нильс из Вельты идет на все четыре стороны, ты что, хочешь на каждом пальце иметь по ухажеру? Ты же вроде нового себе завела? Как его зовут-то — Дидриксен?

— Вы и это знаете? Значит, вы небось знаете и почему я это сделала.

— Нет, — опять отвечает адвокат. — Но в любом случае: в доме в платке не ходи. Слыханное ли дело — молодая красивая девушка, имеет сберегательную книжку и все такое прочее — и на тебе, платок! Не потеряй сберегательную книжку!

Флорина говорит:

— Лучше бы у меня ее никогда не было.

— Чепуха. Нильс из Вельты будет счастлив заполучить и тебя, и книжку.

Но когда адвокат берется за груду документов, давая Флорине понять, что она может идти, она разражается слезами. Флорина-Служанка девица не промах, она шагает в ногу с Сегельфоссом, она знает, как выкрутиться.

— Ш-ш-ш, не реви так громко! — шикнул адвокат.

Флорине-Служанке хочется продлить это мгновение, оно ей что бальзам на душу, она раздавлена, но вынослива, и, перейдя на своего рода профессиональный девичий язык, заявляет, что у того, кто «сорвал ее цветок», нет сердца.

— Цветок? — Адвокат Раш даже подпрыгнул от возмущения. — Дьявол меня задери — цветок?

— Вот моя сберегательная книжка! — говорит Флорина, кладя ее на стол. — Мне она не нужна!

Адвокат Раш удивленно воззрился на девушку. Потом вдруг добродушно усмехнулся и сказал:

— Ладно, я добавлю чуток, впишу кругленькую сумму, сегодняшним числом. Вот, покажи теперь ее Нильсу из Вельты!

Адвокат сделал запись в книжке и вернул ее Флорине с чем-то вроде поклона. Она взяла книжицу и, то ли от растерянности, то ли из любопытства, раскрыла ее и проверила запись. После чего вновь обмотала платком рот, сунула книжку за пазуху и вышла из кабинета.

Ну вот и все. Дело улажено. Адвокат занес выписанную сумму в банковские книги и опять задумался. Все вроде бы в порядке. Но все-таки к Ларсу Мануэльсену разумнее всего проявить дружелюбие и снисходительность. Бедному старикану не вынести жестокого обращения, да и если есть голова на плечах, надо ею пользоваться.

Стоя в дверях кабинета, адвокат диктует конторщику: «Господину ленсману, приход Ура! Нижеподписавшийся просит в течение 8 (восьми) дней прислать ему сумму, внесенную им в Сегельфосскую ссудо-сберегательную кассу по просроченным аукционным платежам. Преданный Вам...»

День пропал. Адвокат Раш берет шляпу и трость и отправляется на прогулку. Услышав доносящийся со стороны сарая грохот и стук молотков, он направляется туда — у сарая, танцевального зала Пера-Лавочника, работают плотники, расширяют его, делают громадную пристройку, возводят сцену, сколачивают скамьи. Что происходит?

— Здесь будет театр, — отвечают рабочие.

Вот тебе Нечистый и получил спички! Театр он получил!

Адвокат с минуту наблюдает происходящее. К сараю вразвалку подходит начальник телеграфной станции, должно

быть, он имеет какое-то отношение к строительству, отдает распоряжения, указания. Адвокат ждет, когда телеграфист поздоровается с ним — ничуть не бывало. Телеграфист измеряет метром одну из стен и дает еще одно указание — и только. Подобает ли превращать адвоката Раша в воздух, в ничто? У этого паршивца ни стыда ни совести, он не дает себе труда поклониться, зато пьет, играет на виолончели и обманывает девушек.

Адвокат Раш идет в лавку. Прилавок перед ним откидывается, и, грузно топая, он проходит внутрь, идет, так же громко топая, дальше, в тесную каморку Теодора, где стоит конторка, несгораемый шкаф и винтовой табурет. Теодор что-то пишет за конторкой.

Адвокат излагает дело о двух кронах. Дело ничтожное, но адвокату Рашу оно, видимо, представляется ничуть не более ничтожным других его дел.

С какой ему стати терять две кроны из-за Ларса Мануэльсена? Все его состояние выросло из мелких двухкроновых монет.

Уразумев суть вопроса, Теодор на мгновенье лишается дара речи, и лицо его от изумления принимает смешное выражение. Но поскольку смекалки ему не занимать, он сразу соображает, что слишком долго сопротивляться не следует.

— Пожалуйста! — говорит он. — Я и позабыл об этих двух кронах. Да, я нашел монету на пристани.

— Спасибо! — говорит адвокат. — Я ведь сразу сказал, что вы вернете ее, если вам напомнить. А как вообще идут дела?

— Нормально.

Но и Теодору-Лавочнику не по душе сорить деньгами, не приучен, не говоря уж о природных задатках.

— Только не думайте, будто эти две кроны принадлежат Ларсу Мануэльсену, — говорит он.

Теперь, когда адвокат Раш сам возместил убыток, он лишь бросает:

— Не понимаю, такие гроши, стоит ли этим забивать себе голову, Енсен? Вы же ворочаете громадными суммами.

— А я и не забиваю, я просто отвечаю вам.

— Я так и думал. Кстати, вы что, театр строите?

Теодор качает головой:

— И не говорите — да, строю театр.

Но адвокат по-прежнему ничего не понимает.

— Что это значит? — спрашивает он.

— А то и значит, что театр, помещение для увеселений, — отвечает Теодор. — Ко мне, как самому известному человеку

в местечке, обратились артисты с просьбой разрешить им приехать и сыграть спектакль. Но им же для этого нужно помещение.

Адвокат Раш оскорблен донельзя.

— Выходит, вы самый известный человек в местечке? — сказал он. — Вот уж не знал.

Может, юный Теодор-Лавочник всего-навсего оговорился, он имел в виду, что он просто лучше всех знает местечко, но перед ученым человеком остается лишь пойти на попятный.

Что он и сделал, услышав слова адвоката:

— Не понимаю, кто может вам писать по такому вопросу? Вы же никакого представления об этом не имеете.

— Начальник телеграфа Бордсен взялся мне помочь, — уступчиво говорит Теодор.

— Ну, конечно, самый подходящий для этого человек! — фыркнул адвокат. — Невероятно.

— Он из очень известной семьи. В театрах много бывал.

— Вот как. Ничего не слыхал о семье Бордсенов.

— Это известная и богатая купеческая семья.

— Да уж, — сказал адвокат, — хороша, должно быть, семейка! Впрочем, мне все равно. А вы заручились поддержкой «Сегельфосс Тидене»?

Этого уже не понял Теодор.

— А артисты обращались в «Сегельфосс Тидене» по поводу своих представлений?

— Не знаю.

— Ладно, мне все равно, — сказал адвокат.

Он ушел, глубоко уязвленный. Подумать только, самый известный человек в Сегельфоссе — Теодор-Лавочник! Святая простота! Вот как это называется по-латыни. По вопросам, связанным с театром, обращаются не к Рашу или окружному врачу Муусу, а к Теодору-Лавочнику!

Тем временем юного Теодора, очевидно, разобрала досада, он кинулся за адвокатом показать ему письмо артистов — вот, пожалуйста! И там действительно черным по белому написано, что господин Теодор Енсен — самый известный человек в Сегельфоссе. Слово в слово.

— Может, вы сами не прочь взяться за строительство? — зло спросил Теодор.

— Я? Это еще зачем? Не хочу я браться ни за какое строительство.

— А я было подумал, коль вы лезете в это дело...

Нет, это уж чересчур, никак, мышь из лавки зубки показывает?

— Не зарывайся, мелюзга! — произнес адвокат.

— Сами не зарывайтесь! — отрезал Теодор. Он вдруг превратился в истинного сына своего отца, Пера-Лавочника, злобного и сильного, раздраженного потерей двух крон и превосходством другого человека.

Господи помилуй, да никак Теодор вздумал тягаться с адвокатом Рашем? Адвокат двинулся дальше, и такая у него была поступь, словно и лавка, и ее хозяева, и все покупатели, и весь Сегельфосс — всего лишь песчинка в его владениях. Но как бы ни тяжела была его поступь, а почва-то у него под ногами заколебалась. И все время не покидало ощущение, будто все вокруг что-то прознали про него.

А Теодор все кричал ему вслед что-то насчет двух крон. Стало быть, юный Теодор всего и выведал про него, что про этот пустячок, ничего больше. Адвокат вновь обрел твердую почву под ногами. Но юный Теодор, видать, знал и еще кое-что, маленький, злобный, мстительный, он стоял, бросая колкости вслед адвокату. Разве стал бы он кричать про Нильса из Вельты и про сберегательную книжку горничной Флорины, ничего не зная?

Юный Теодор затрусил обратно в лавку, точь-в-точь как собака, без всякого стыда облаявшая прохожего. И тотчас же принялся разглагольствовать перед покупателями; вон, мол, сколько он сделал для городка, для Сегельфосса — соорудил новый сигнальный холм и уже салютовал с него новехоньким флагом, теперь вот театр строит для приезжающих артистов, да еще собирается залучить сюда постоянного фотографа и уже написал одному. А что сделал адвокат Раш? К тому же он намеревается повесить на лавку большую вывеску с названием фирмы, добавил Теодор, коммивояжер Дидриксен обещал достать — яркую, с золотом. На первый взгляд это, может, и не так уж важно, но зато благодаря этой вывеске Сегельфосс станет похож на другие города. А что сделал адвокат Раш?

— Кстати, вы уже видели новые первомайские цветки-булавки? — поинтересовался Теодор. — Смотрите, вот они, десять эре за штуку, доход идет в пользу общины. Я взялся их продавать, чтобы мы все купили по цветку и прикололи на грудь, как принято в других городах.

И, будучи все еще в ударе, на всю лавку заорал приказчику Корнелиусу и второму подручному:

— Эй, ребята, расчистите-ка место на складе! Вечером прибудут наши весенние товары.

Хозяин гостиницы Юлиус, частенько заглядывавший в лавку почесать язык, и теперь тут. Похоже, учуял барыш, работу, а он не из тех, кто стал слишком благородным и боится замарать руки. Это Юлиус-то благородный? Да он отъявленный безбожник, дюжий здоровяк, не избалованный и не испорченный. Его отец вконец развратился, не желает работать из-за своего парика, мать валяет эдакую дурочку — ходит зимой с муфтой, но гнет спину и вкалывает ничуть не меньше прежнего, хоть и приходится матерью Л. Лассену. Зато уж Юлиус заработка не упустит, глаз у него наметанный, да и кулаки что надо! Он спрашивает:

— Значит, вечером получите много товару?

Теодор отвечает:

— Да никак не меньше сотни мест поступит в адрес фирмы.

— Люди вам нужны?

— Я уже нанял, — коротко ответил Теодор.

Юлиус, конечно же, не знает, что Теодор просадил на его отца две кроны, две кроны выбросил на ветер, конечно же, Юлиус этого не знает. У Юлиуса в голове только барыш, который ускользает у него из-под носа.

— Сто мест? Не верится что-то, — сказал он.

Несколько покупателей, какое-то время уже крутившихся возле бывшей винной стойки, ухмыляясь, поддержали его:

— Говоришь, сотня мест? Хвастаешь небось?

— Ну, ладно, ящики, пускай десять ящиков, это я понимаю, — продолжал Юлиус.

— Да плевать я на тебя хотел! — раздраженно ответил Теодор.

Надо же, стоит и дерзит ему на глазах у стольких посетителей. Но с другой стороны, ничего с этим Юлиусом не поделаешь, не вышвырнешь же его за дверь с его-то ядовитым языком.

— В десять ящиков много чего поместится, — сказал он.

— Точно, — поддакнули выпивохи, — мы бы не отказались заполучить эти десять ящиков. А Теодор пусть остальные девяносто забирает! — И они весело загоготали.

— Да разве вашего ума это дело! — сказал Теодор. — У меня одних гребней будет целый ящик! — И с этими словами Теодор удалился в контору.

Юлиус спросил:

— Что за гребни-то? Частые гребешки иль расчески?

Приказчик громко рассмеялся:

— Эх ты! Это же дамские гребни, которые в волосы для красоты втыкают. Последний крик, в Лондоне ни одной жен-

щины без такого гребня не увидишь. Но они не для старух, только для молоденьких девиц. Да непременно подавай, чтоб в цвет волос были — желтые или коричневые. Вот у нас и будет богатый выбор.

— И почем же? — послышалось от винной стойки.

— Из накладной выяснится. Мы еще расценок не делали.

Но вот наступил вечер, у пристани пришвартовался пароход с юга и, простояв положенное время, выгрузил и погрузил лишь обычные грузы, после чего отправился в обратный путь. Груз на сто мест для лавки не прибыл. Собравшаяся на пристани толпа, в основном молодежь, с нетерпением ожидавшая весенних товаров, смеялась и болтала, пытаясь скрыть разочарование. Сам же Теодор в башмаках с бантами ничуть не казался обескураженным, может, он вовсе и не ждал прибытия своих весенних товаров этим вечером, просто хотел сделать себе рекламу. Что было вполне в духе тщеславного парня — заранее насладиться сенсацией.

— Где же твои сто мест? — нахально спросил Юлиус. — И где десять ящиков с гребнями?

Но кое-что в тот вечер все-таки произошло: вернулся домой господин Хольменгро. Где он побывал, что делал, что пережил? Он был молчалив и загадочен, не улыбался и обронил всего лишь несколько слов. Сразу видно: в нем произошла какая-то перемена. Взять хотя бы его костюм — с иголочки, элегантный, на шелковой подкладке. Но примечательнее всего были, пожалуй, глаза господина Хольменгро. Никак, он косить стал? И похоже, долго постился.

Только он сошел с трапа — перед ним очутились адвокат Раш с женой. Глядите-ка, не иначе как адвокат Раш решил всем показать, что стоит ему выкроить свободную минутку от своих важных дел, он идет на прогулку с женой; вот и сейчас притопал на пристань — неглупо задумано, потому что народу там собралось великое множество. Он пожелал сошедшему на берег господину Хольменгро доброго вечера, но господин Хольменгро вместо приветствия лишь приподнял, не сгибая пальцев, шляпу — на среднем пальце блеснул удивительный золотой перстень.

— С приездом! — сказал адвокат.

Господин Хольменгро ничего не ответил и прошел мимо, так скосив глаза, как будто увидел рядом с адвокатом какой-то необычный предмет.

— Просто невероятно! — громко сказал адвокат жене, явно стараясь придать себе весу и намекнуть, как много он знает.

Окружающие прислушались. Жена наивно спросила:

— Что невероятно?

— Ты видела перстень у него на пальце?

— Перстень?

Тут раздался голос Юлиуса, этот настырный малый ни перед чем не останавливался, когда хотел кинуть вопросик-другой великим и сильным мира сего. Он сказал:

— Я видел перстень. А что это за перстень?

Весь напыжившись, адвокат посмотрел на Юлиуса так, словно не мог решить, отвечать ему или нет. Наклонившись к жене, он спросил:

— Ты что, не видела и как он косит? Наверняка долго постился.

К чему все эти вопросы, куда адвокат клонит? Вряд ли он говорит это из суеверия, еще меньше в его словах иронии; выходит, лишь чтобы поддержать господина Хольменгро, как-то выделить его? Но адвокат Раш никого другого, кроме себя, не выделяет. Он говорит только для того, чтобы покрасоваться, чтобы подчеркнуть свою значительность, чтобы слегка припугнуть Ларса Мануэльсена, этого старого мошенника, чтобы произвести впечатление на Теодора-Лавочника, который стоит в сторонке, в свою очередь делая вид, будто и не замечает адвоката.

— Может, вы все-таки объясните, что это за перстень? — спросил Юлиус.

Адвокат наконец снисходит до ответа:

— Лучше не спрашивай, Юлиус, это выше твоего понимания; одно могу сказать: перстень масонский.

По правде говоря, адвокат предпочел бы уже удалиться, но его жена имела неосторожность спросить:

— Масонский перстень? Это что-нибудь важное?

Адвокат торжественно поставил ее на место:

— Насколько мне известно, Кристина, весьма важное. На стене в доме моих родителей висит портрет деда моей матери, генерального агента. Он держит руку вот так, и на среднем пальце у него перстень. Масонский перстень. Так что уж мне об этом кое-что известно.

— А какой прок от этого перстня? — спросил Юлиус. Чертов Юлиус, не может помолчать!

Адвокат больше не желает никому ничего говорить, ни за что на свете, и он подводит черту, обратившись к жене:

— Господин Хольменгро достиг теперь таких высот, до которых простому смертному не добраться!

И супруги ушли.

А остальные задумались обо всем услышанном и стали обсуждать перстень, с мрачным любопытством глядя вслед господину Хольменгро: да, мол, вот где настоящее масонство! Вон он идет, погруженный в мрачные размышления, глаза у него косят, и бог его знает, видят ли они теперь земные мелочи! Адвокат сказал, что это невероятно, Ларс Мануэльсен внезапно говорит:

— Я напишу Лассену, сынку моему, и спрошу его!

Кто-то выразил сомнение, что Лассену об этом что-то известно:

— Я слыхал, что о фармазонах никто ничего не знает!

На что Ларс Мануэльсен улыбнулся — то была единственная за весь этот серьезный разговор улыбка — и ответил:

— Чего Лассен не знает, про то ты и не слыхивал!

Все застыли, глубоко потрясенные. Точно соприкоснулись с вечностью, с загадкой, с ложной присягой, со скрепленной кровью кабальной грамотой.

6

Сорока свила гнездо, отложила яйца и вывела птенцов, семейная жизнь на вершинах берез шла полным ходом, и родители успешно выполняли свои домашние обязанности.

Ларс Мануэльсен отправился к Бертелю из Сагвики — сам-то Бертель на мукомольне, зато старая Катрина была дома, занятая шитьем мешков. Ларс Мануэльсен пришел попросить лестницу.

— Бери, пожалуйста, — ответила Катрина, — а на что она тебе?

— Хочу влезть на крышу, прочистить дымоход, — ответил Ларс Мануэльсен.

Он принес лестницу домой, жена к тому времени уже ушла в гостиницу, так что он был дома один. Лестница оказалась тяжеленной, он вытер носовым платком лицо и парик. Из большого гнезда прямо на него вылетела сорока, а вскоре вылетела и другая, держась совсем близко к земле. Ларс Мануэльсен приставил лестницу к березе и стал взбираться к гнезду.

Он искал свои очки, но, заглянув одним глазом в гнездо, увидел только птенцов. До чего ж отвратительны эти голые существа, перья у них еще не отросли, но свои неестественно длинные клювы они разевали шире, чем взрослые птицы. Они то пищали, то шипели — не решившись схватить их голыми

руками и выкинуть вон, Ларс Мануэльсен надумал взяться за дело всерьез, сорвав все гнездо целиком и сбросив его вниз. Гнездо сидело в развилине очень прочно, и Ларсу Мануэльсену стоило немалого труда оторвать от дерева половину и швырнуть ее на землю. Он проследил за летящим комком взглядом — сорочья пара сидела прямо под деревом. Очков он так и не нашел, птенцы разевали клювы и шипели, как маленькие дьяволята, Ларс Мануэльсен в сердцах оторвал остатки гнезда и кинул вниз, на землю, с птенцами и со всем прочим. Там оно и осталось лежать.

Сороки сидели и смотрели.

Он слез с лестницы и принялся исследовать гнездо: лоскутки, косточки, осколки стекла, блестящий никелированный предмет — что это такое? Очков нигде не было, зато обнаружился клубок чистой шерсти и вполне пригодный латунный гребень; Ларс Мануэльсен отобрал все, что мог. И опять эта никелированная штучка, Ларс Мануэльсен пригляделся внимательнее: ей-ей, да ведь это тот самый ключик, что потеряла фру Иргенс, экономка Хольменгро! Надо же, ведь целую зиму приставала ко всем насчет ключа от кладовой, а он вот где! Ларс Мануэльсен бережно спрятал ключик в карман и снова взялся за поиски, но нет, больше он ничего интересного не обнаружил. Чтобы завершить дело, он по одному раздавил ногой птенцов, полностью истребив сорочье потомство. Родители сидели и смотрели.

Потом Ларс Мануэльсен отнес лестницу обратно в Сагвику и поблагодарил старую Катрину.

— Не за что. Прочистил дымоход? — сказала она.

— Да, — ответил Ларс Мануэльсен.

Вернувшись домой, он убрал сорочье гнездо подальше с глаз, после чего отправился в гостиницу. Тут был его второй дом, жена его кухарила в гостиничной кухне, а он подносил чемоданы приезжим. Матери Юлиус разрешил столоваться у него — так он оплачивал ее работу; отец же пробивался чаевыми.

Юлиус был не плохой делец. Читал он совсем неважно, писал одному ему понятными значками и каракулями, но обладал недюжинными способностями и невероятной памятью, держал в голове все гостиничные счета. А разве завести гостиницу, не имея за душой ни гроша, только две руки, не чертовски удачная затея? Для начала ему, само собой, пришлось взять ссуду в «Сегельфосской ссудо-сберегательной кассе», тогда все брали, не он один, но деньги он потратил на строительство дома, на бревна и обстановку, а не на безделушки

и красивую одежду. Ему, по всему видать, сопутствовала удача, и хотя малышку Паулину из усадьбы Сегельфосс, что так бы пригодилась в гостинице, ему заполучить не удалось, здесь вышла осечка, глупышка, верно, не питала к нему нежных чувств, во всем остальном Юлиусу крупно везло. Правда, первый дом, едва он его как положено достроил, сгорел, но он и тут остался не в убытке, а, напротив, в выигрыше, провернув удачное дельце, Юлиус выстроил новый дом, да еще благодаря этой сделке обстановку сумел прикупить — прежде у него было две кровати, а теперь стало шесть. Чистое счастье, чертовская удача.

А осенью стали наезжать первые коммивояжеры. Сперва на почтовом пароходе прибыл один и прямиком направился в лавку, через руку перекинута шуба, в саквояже — образцы товара. Потом явился второй, больше похожий на коммивояжера, у него в обеих руках было по саквояжу, и Юлиус помог их поднести. А вскоре пошли важные птицы с чемоданами, окованными железом, этим раскладывать товар в лавке не пристало, им подавай гостиницу, большую залу. С этого-то времени Юлиус и заделался настоящим хозяином гостиницы, назначив отца носильщиком, а себя администратором. Но в мертвый сезон, в середине лета и в середине зимы, Юлиус брался за все что угодно, как ворон рыскал по округе, выискивая себе на пропитание, нанимался даже к Теодору-Лавочнику на сушку рыбы, когда не было других заработков.

Дела, значит, у Юлиуса шли хорошо, у всех детей Ларса Мануэльсена дела шли хорошо. У Даверданы — собственный дом и надежный доход; иногда, когда бывало много приезжих, она приходила в гостиницу помогать. Трое других разъехались кто куда: сестра вышла замуж и жила в Тронхейме, одного брата священник Лассен определил в службу маяков, а другого, не желавшего прилично вести себя, отправил в Америку. В общем и целом брат Лассен внес свою лепту в семейные дела, да и сам он — великий человек, попробуй кто возразить! — а уж о его возможностях и говорить не приходится! Но коли что ему не по душе, ни за что не сделает. Юлиусу, к примеру, захотелось задешево заполучить вывеску для гостиницы, приказчик Корнелиус брался почти задаром вывести готическими буквами название на куске жести, и Юлиус обратился к брату за разрешением написать на вывеске «Гостиница Лассена». Как и следовало ожидать, последовал отказ, пастор Лассен ни за что не хотел, чтобы его имя красовалось на гостиничной вывеске. «Напиши «Гостиница Ларсена», — ответил он, — а я, если попаду когда-нибудь на

север, конечно же, остановлюсь у тебя!» Дальше в письме он интересовался, по-прежнему ли господин Хольменгро занимается мукомольным делом и такой же ли он богатый, как прежде, а в конце упомянул про Мариану, встретил, мол, ее мельком пару раз в Христиании, она стала просто очаровательной, «передай ей от меня поклон!».

— Ларс-то дурака валяет! — сказал Юлиус, нагло рассмеявшись.

Вошедший в эту минуту отец тут же поставил его на место, заметив, что Лассен такой человек, над которым никому не дозволено смеяться.

— А мне на него плевать, — ответил Юлиус. — Что там еще, в письме-то?

Давердана, призванная специально для того, чтобы прочитать письмо, зачитала последние строчки:

«Не забудь следующее, брат Юлиус: постояльцы часто оставляют после себя в гостиницах книги, прочитают и выбрасывают, будь добр, если найдешь такие, пересылай мне, я пополню ими свою библиотеку и спасу от гибели».

— Ох уж этот Ларс со своими книгами! — пробормотала мать, качая головой.

— Как же, очень нужно! — глумливо сказал Юлиус. — Даже не упомянул, что мне с того будет.

— Постыдился бы, нехристь! — воскликнул Ларс Мануэльсен. — В зале две книжки валяются, пойду-ка заберу.

— У меня к собственному башмаку почтения больше, чем к Ларсу, — заявил Юлиус.

Вернувшись с книгами, Ларс Мануэльсен сказал:

— Ежели ты не желаешь припрятать их для Лассена, я это сам сделаю.

Давердана прочитала названия книг: «Поджог в Тетервике», «Ищейка берет след».

— Можно мне их взять? — спросила она.

— Я их переплету, получатся две хорошие книжки, — сказал Юлиус, продолжая дразнить отца. — Я и за две кроны их не отдам, так и передай Ларсу!

Тут он увидел в окно ленсмана, и ухмылка мигом слетела с его лица.

Юлиус, верно, не всегда и не во всем бывал в ладах с законом, и лицезреть ленсмана в гостинице ему явно не по вкусу. Дерзкий со всеми, он с самого детства пасовал в тех случаях, когда требовалось проявить мужество. И вот нате вам, ленсман собственной персоной, в фуражке с золотым кантом и с сумкой через плечо.

— Добрый день! — сказал он.

Трудно сыскать более миролюбивого человека, чем ленсман. Он уже неоднократно приходил к ним: тогда, когда надо было наложить арест на имущество Ларса Мануэльсена, и тогда, когда Ларса Мануэльсена обвинили в краже овец с дальних выгонов, и всякий раз, входя, говорил «добрый день», а уходя — «мир вам». Юлиуса он посещал по поводу злонамеренного обмена часами с Аслаком, работавшим на мукомольне, Аслак еще потребовал возмещения убытков и наказания виновного, а ленсман ограничился тем, что заставил Юлиуса вернуть часы и примирил противников. Таков был ленсман из Уры.

Он садится, заводит с хозяевами разговор о том о сем и только потом переходит к делу:

— Тут у меня счет с аукциона, Юлиус. Только вот не знаю, вовремя ли я?

Юлиус невыносим, он органически не переносит кротости. Поскольку речь идет всего лишь о просроченных аукционных платежах, он тотчас становится наглым и высокомерным.

— Не стоило себя утруждать, — отвечает он, — я бы пришел в контору и заплатил.

— У меня, слава богу, были здесь и другие дела.

— Но сегодня мне это вовсе некстати, — говорит Юлиус, — я зайду как-нибудь на днях.

— Вопрос в том, что банк требует немедленной уплаты, — возражает ленсман. — Адвокат прислал мне еще одно напоминание.

Юлиус еще больше наглеет:

— Сколько там? Да ведь это совсем ерунда! Кстати, можно узнать, а все остальные-то уже заплатили?

— Нет, — отвечает ленсман. — Большинство обещали вроде тебя зайти попозже.

— Постараюсь прийти сегодня вечером, — заявляет Юлиус, — займу у кого-нибудь эти гроши.

Стоило ленсману скрыться за дверью, как Юлиус приходит в себя и начинает петушиться:

— Этот... да плевать я на него хотел! У лоцмана тоже золотой кант на фуражке.

— Не надо было обещать ему денег сегодня, — высказывается мать. — Где ты собираешься их достать?

Юлиус пропускает ее слова мимо ушей. И излагает только что возникшую у него идею:

— Я хочу купить шесть сливочников, чтобы у каждого постояльца был свой. Когда подаешь один общий, первый же,

кто садится за стол, опорожняет его целиком, словно там не сливки, а молоко, и следующему всего лишь и остается, что стучать кулаком по столу — неси, мол, еще один. Нет уж, благодарю покорно!

— Да, верно говоришь, — соглашается мать.

— Больше этому не бывать! — продолжает Юлиус. — Книги — куда подевались книги, Давердана?

Отец отложил книги в сторонку, Юлиус находит их и больше уже из рук не выпускает. Теперь он настолько пришел в себя, что может еще чуток подразнить отца:

— Вот переплету, пусть тогда Ларс их у меня покупает.

— Скотина ты! — говорит Ларс Мануэльсен.

— Хе-хе-хе — передай ей от меня поклон! Развоображался! Не знаю, как кому, а по мне, так за милю видать, что он глуп как пробка.

— Кто глуп?

— Да Ларс, кто же еще. И тут уж меня не переубедить. А по-твоему, отец?

— А по-моему, у тебя язык без костей!

— Хе-хе-хе. Ну что, может, сам сходишь, передашь ей поклон? А что до книг — у него, видать, одна забота — сидеть да думать про книги, которые постояльцы закинули за печь! Ну надо же!

В разговор вмешивается Давердана:

— Выходит, книжки Паулине достанутся?

— Паулине? Ну, а ежели и так?

— И думать не думай. Она тебя знать не хочет.

Удар попал в цель, Юлиус взбеленился:

— Да пусть эта Паулина катится куда подальше! Все бабы дерьмо, очень они мне нужны, как бы не так! Но и тебе, Давердана, книг не получить.

— А я и не прошу.

— Ни за что в жизни не получить, — сказал Юлиус.

— Ну-ну, ишь нос-то задрал. Гляди, я ведь могу тебе еще понадобиться.

— Не понадобишься. Зачем ты мне? Возьму экономку из города, вот уж кто все умеет делать. Как считаешь, мать? И ты сможешь домой вернуться.

Мать ударилась в слезы.

— Ох, ох, до сей поры Господь был милостив ко мне, не обделял крохами, авось и теперь не оставит своими заботами.

— Верно, — соглашается Ларс Мануэльсен. — Господь нам, старикам-родителям, поможет, как помогал и прежде.

— Ага, Господь и Ларс! — ерничает Юлиус. — Великий Лассен! — ерничает он.

Донельзя возмущенный, Ларс Мануэльсен встает и веско отвечает:

— Ноги моей больше в этом доме не будет, так и знай. Лассен, сынок мой, святой человек, а ты — мне за тебя стыдно перед Богом и людьми. Хотел бы я, чтобы ты был так же уверен, что попадешь в царствие небесное, как и он!

— Он тебе чего-нибудь прислал? — спрашивает Юлиус. — Кабы не я, сидеть бы вам обоим в богадельне.

Мать плачет, Ларс Мануэльсен держится за ручку двери. Ему не впервой — это одна из тех мелких стычек, что всегда кончаются миром. Давердана разобижена сообщением о новой экономке.

— Значит, привезешь из города экономку?

— Ну, а ежели и так?

— И шесть сливочников — совсем голову задерешь!

— И шесть сливочников, — кивает Юлиус. — Нынче вечером и куплю.

— Но ты же не смог заплатить долг ленсману.

— А ты не суй рыло, куда не просят! — орет Юлиус. — Я не смог заплатить ленсману? Да кабы он вынул счет из сумки, я б заплатил, не сходя с места.

Давердана расхохоталась, засмеялись и старики. Выхватив из кармана бумажник и вынув из него толстую пачку кредиток, Юлиус принялся считать их, громко, хвастливо, звонко шлепая каждую кредитку на стол, а дойдя до последней, изо всей силы хватил по ней кулаком.

— Это я-то не смог заплатить ленсману? Так, по-вашему?

Он обвел взглядом присутствующих, от изумления потерявших дар речи. Сколько денег нагреб этот чертов Юлиус, на груди носит, богач, да и только.

Покосившись на деньги с таким видом, будто их там всего ничего, Давердана сказала:

— Нашел, чем хвастаться! Я однажды три тысячи зараз видала.

Зато у отца настроение в корне изменилось:

— Не смей так разговаривать с Юлиусом, Давердана, я этого не потерплю. Нечего на Юлиуса жаловаться. Я всегда это говорил, и мать твоя того же мнения. А ты, Юлиус, коли ты так богат, не дай своему старому отцу сдохнуть с голоду, не бери греха на душу.

— Сдохнуть с голоду? Напиши Ларсу! — отрезал Юлиус.

— От одной-двух крон не обеднеешь.

— Ни эре! Напиши своему Ларсу!

— Да оставь ты его с его кредитками! — возмущенно воскликнула Давердана, вставая. — Проклятые это деньги!

А уходя, крикнула Юлиусу:

— И не трудись больше посылать за мной!

Но всего через несколько дней Юлиус, конечно же, снова послал за Даверданой, и Давердана пришла. В сущности, разлада между ними не было, все семейство на свой манер держалось друг друга, и Юлиус держался на свой особый манер. А тут Юлиус действовал с тонким расчетом. Он задолжал лавке, задолжал ленсману, неужто же ему надо было заплатить долги и остаться на бобах, разориться? У Юлиуса на этот счет свои соображения, свой резон: налогов, по возможности, платить поменьше. Тут семейство было целиком на его стороне, они и сами всю жизнь старались поступать так же. Налог, это еще что за штука? Более бесполезных денег из пота и крови бедняков и выжать нельзя! — говаривал Юлиус. Налог идет богатым, господам, а с тех пор, как Сегельфосс превратился в самостоятельный приход, налогам конца не видно. Дай Юлиусу волю, он всех господ с лица земли стер бы, сам бы выпустил по ним первый залп.

Ларс Мануэльсен согласен с сыном, спорить ему сейчас с ним не резон, потому как наступил мертвый сезон, чаевых нет и иметь прибежище в кухне гостиницы Ларсена совсем неплохо. И тут уж Юлиус вертит всеми, как ему Бог на душу положит, и отец с сыном становятся закадычными друзьями.

Черт, а не парень этот Юлиус! Другим только дай похвастаться своим богатством, а Юлиус, хоть и ходит в женихах, прячет его в кармане, из чистого расчета тут и там залезая в долги. Теперь вот вздумал вывесить на гостинице флаг — а как же: на пристани есть флаг, на лавке есть флаг, у «Сегельфосс Тидене» свой флаг, но разве Юлиусу это по карману?

Парень он трусливый, скверный, но плут отменный.

А как же ленсман из Уры, который так и не получил ни гроша? Сам виноват, вовсе не понимает нынешний Сегельфосс, никак до него не доходит, что пришло время показывать когти. Да и как понять человека вроде адвоката Раша: аукционные деньги в срок — еще куда ни шло, но ежели денег нет? Ленсман с женой ведь несколько лет назад были даже на свадьбе адвоката, выходит, не чужие друг другу, можно сказать, друзья? Как же время изменило людей и местечко! Соседи ссорятся из-за лодочной пристани; рабочие с мукомольни подают ленсману жалобы, обвиняя друг друга в драках и поножовщине на танцульке; парня, стрелявшего куро-

паток где-то далеко в горах, привлекают за незаконную охоту. Все стало не так, как прежде. А теперь и над самим ленсманом нависла опасность. Он побывал у адвоката Раша, не сумел рассчитаться, и тот ему пригрозил неприятностями. На что это похоже?

Но хуже всего, что ленсман из Уры, собрав бóльшую часть причитающихся банку аукционных денег, сам же их и потратил. Так-то вот, конченый он человек. Ему бы взыскать с должников прежние долги, но ведь он без когтей, вот ничего и не получил; несколько дней обходил свой округ, вторично разослал счета, но ничего это ему не принесло, кроме разочарований. Перспективы перед ним открываются мрачные. У него есть полуторагодовалый бычок, и хотя расставаться с ним сейчас, к лету, очень жалко, но, может, господин Хольменгро согласится его купить, он человек отзывчивый. Пара сотен крон будет неплохим подспорьем. Есть у ленсмана и прекрасная лошадь, ладно, обойдется и другой, подешевле.

— Что это у вас сегодня такой обиженный, кислый вид, ленсман? — шутливо говорит ему фрекен Мариана. — Что я вам сделала?

— Ничего, кроме хорошего, сегодня как и всегда, — отвечает ленсман.

— В такой ожесточенной ярости я, пожалуй, вас никогда прежде не видела, — продолжает дурачиться Мариана. — Хотя я вам отставки и не давала, — говорит она.

Ленсман ничего не отвечает, только смеется ее забавной выдумке и качает головой.

Они болтают о том о сем, и Мариана не перестает дурачиться.

— Вот скоро приедет молодой Виллатс, я ему уж непременно скажу, чтобы он вам не слишком-то доверял, — в свою очередь, говорит ленсман.

— Только посмейте! — грозно парирует Мариана. — Хотите отнять у меня единственного жениха, на которого я могу рассчитывать?

— Ну уж в этом-то году дело сладится? — спрашивает ленсман.

— Не знаю, — отвечает она. — У вас только свадьба в голове, вам бы хорошенько напиться да кутить всю ночь. Ха-ха-ха, хороши кутилы, что вы, что папа.

— С вашим отцом можно поговорить?

— Хотите насплетничать ему о том, что я вам сказала? Кстати, у папы вид еще кислее, чем у вас, он, наверное, обручился, когда ездил в город, вернулся домой с кольцом.

— Я слышал.

— Смешное кольцо, даже без камушка. Я его уже предупредила, что ни на одно свое его не сменяю.

— Фрекен Мариана, как вы думаете, я могу поговорить с фру Иргенс об одном дельце?

Она бросает на него быстрый взгляд и спрашивает:

— О чем?

— Видите ли... — отвечает он, — нет, ничего. Просто хочу продать бычка.

Она обдумывает его слова, она видит, что старик улыбается, но до конца его улыбке не верит. О, Мариана вовсе не маленькая девочка, чтобы ничего не соображать.

— Это вас выручит? — спрашивает она.

Он молча, с удивлением смотрит на нее. А когда она повторяет вопрос, говорит:

— Выручит? Да, пожалуй.

— Потому что нам как раз нужен бычок, — говорит она. — Как раз сегодня у нас был разговор об этом, о том, что, наверное, придется где-то в округе раздобыть мясо. Приезжает молодой Виллатс, и он обычно кого-нибудь с собой привозит, будут у нас обедать, а обжоры они ужасные. Да и вы не откажетесь отведать мяса бычка — знаю я вас, ленсман.

— Ха-ха. Я смеюсь, потому что вы сказали «выручит». Ему полтора года. Я бы не прочь оставить его до осени, но раз вам нужно, тогда что ж...

— Сейчас позову фру Иргенс.

Господин Хольменгро не показывался, его не было дома почти ни для кого, он все время сидел наверху, в своей спальне. Как и прежде, он ежедневно ходил в свою контору на пристани, где всем распоряжался начальник пристани, а оттуда шел на мукомольню понаблюдать за работой. Навстречу ему то и дело попадались вереницы телег с возчиками, которые везли мешки с мукой на пристань, но он с ними не заговаривал. Да, он усвоил себе новую манеру — воистину замечательную манеру: ни слова не говорить рабочим, а со всеми вопросами отсылать их к мельничному мастеру Бертелю из Сагвики и к Уле Юхану, которого он сделал десятником, повысив ему жалованье. Мало того, господин Хольменгро и с ними не очень-то много разговаривал, разве что отдавал немногословные распоряжения:

— Не забудьте погрузить эту крупную партию сегодня вечером на почтовый пароход — она идет на север!

— Мы и так торопимся, — отвечает Бертель.

— Смотри же, Уле Юхан, чтобы все было как следует, народу у тебя хватает!

И Уле Юхан, подгоняемый возложенной на него ответственностью и прибавкой жалованья, работает не покладая рук. Слов нет, умом он не блещет, зато сильный, добродушный, эдакая рабочая скотина, с могучей хваткой, в заляпанной тестом одежде. Он работает на мукомольне с первого дня и знает там все как свои пять пальцев, а поднявшись до десятника, еще крепче прирос к мукомольне — ходит туда по собственной инициативе даже по воскресеньям, испытывая при этом такое чувство, словно он отчасти ее совладелец. Мы, говорил он о мукомольне. Мы мелем муку, говорил он о жерновах. Да уж, Уле Юхан добьется, чтобы все было как следует.

После мукомольни господину Хольменгро не остается ничего другого, как вернуться домой. Такова была его новая манера поведения. Точно он неукоснительно выполнял чей-то совет, проявляя при этом нарочитость, утомлявшую, вероятно, его самого. Парадный костюм на шелковой подкладке мешал свободе движений, одно мученье, сущее наказанье, а одинокие часы, проводимые в спальне, и вовсе невыносимы. Что ему делать? Пришла весна, земля снова помолодела, все живое вновь отдалось обычному безумству, и старый заводчик тоже ощутил в себе это чудо жизни. В прежние годы он, бывало, баловался потихоньку и дома, и на стороне, смотря где было удобнее, и пережил немало неожиданных приключений, не однажды урвав краденого счастья. Теперь все это в прошлом, новая манера поведения связывает его.

Без всякого сомнения, господин Хольменгро испытывал действенность нового метода. Чтобы восстановить у рабочих былое к себе почтение, он решил больше с ними дела не иметь, а напустить на себя важность, красиво одеваться и соблюдать дистанцию. И на пальце стал носить тот самый таинственный перстень, авось поможет. Он прекрасно понимал своих рабочих, сам по рождению принадлежал к их среде, выскочил наверх из самой гущи народа и отлично знал мир, из которого вышел. Раньше, встретив на дороге какого-нибудь рабочего, он с тайным страхом думал: поклонится? Не поклонится? Нынче стало полегче: завидя его, рабочие хватались за шапки. Уже кое-что, не иначе как подействовали перстень и новые манеры, вот что значит вести себя по-умному! А как ему быть самому, отвечать на поклоны или нет? Возможно, и тут он следовал чьим-то советам: не кланяться, почти совсем не кланяться, лишь слегка кивнуть, даже и не

кивнуть, а ощупать человека глазами и пройти мимо, думая о другом. Во второй половине дня можно, пожалуй, немного и поволочиться, дневного света ему бояться нечего. Некоторые считают, что лучше избегать дневного света, господин Хольменгро, верно, так не считал. Бог его знает, что он при этом думал, но волочиться и дома, и на стороне не боялся.

Внизу по дороге весь день тянулись к пристани возы с мукой, а поздно вечером раздался свисток и к пристани причалил почтовый пароход. Господин Хольменгро ни во что не вмешивался, он и не поглядел в ту сторону, даже глаз не скосил. Но все обошлось и без него, начальник пристани принял в свои руки бразды правления и ловко распоряжался мешками с мукой, хотя у него для таких случаев имелся помощник. С чего бы это начальнику пристани так себя вести? Это для всех осталось тайной, но жена адвоката Раша вот уже три раза приходит на пристань встречать почтовые пароходы, курсирующие по северным линиям, и присутствует при их погрузке, и все три раза начальник пристани самолично командует работами. Нынче она пришла снова, и любодорого было глядеть, как сновал туда-сюда по пристани долговязый начальник, зычным голосом отдавая команды по загрузке мешков с мукой. Голос-то у него, впрочем, красивый, звучный, недаром много лет назад он основал Сегельфосское певческое общество и до сих пор был его лучшим солистом.

А фру Раш — у нее-то какие дела на пристани в столь позднее время? А такие, что приходила она встречать почтовые пароходы на случай приезда молодого Виллатса. Кроме нее, его никто не встречал, да, в Сегельфоссе не осталось больше великих Хольмсенов, нынче все в равной степени великие и в равной степени ничтожные. Есть, конечно, господин Хольменгро, но и все, да и господин Хольменгро уже не тот, что прежде. Фру Раш, встречавшая последнего из Хольмсенов, была словно крошечный островок в море, просто пустое место для остального мира. У людей и без нее хватало забот. Только что вышел последний номер «Сегельфосс Тидене», в котором напечатана написанная с большим пафосом статья о пасторе Л. Лассене, вышедшая, судя по ее превосходному слогу, из-под пера адвоката Раша. Ее-то в данный момент как раз и обсуждали на пристани. «Пастор Л. Лассен, светлый ум Сегельфосса, начал завоевывать и соседнюю Швецию, его учености нет предела, он наверняка будет епископом. А здесь в Сегельфоссе живут его старые почтенные родители и по газетам следят за успехами своего знаменито-

го сына». Превосходный слог, кто еще, кроме адвоката Раша, мог так написать? Во многих смыслах он, пожалуй, единственный в своем роде. Статья заканчивалась утверждением, что владельцу лавки господину Теодору Енсену не мешало бы в своих торговых делах иметь конкурента.

Золотую мысль высказал адвокат Раш.

А его жена, фру Раш, стыдно сказать, стоит, слушает голос начальника пристани и высматривает на борту парохода молодого Виллатса, и головенка ее занята только этим. И наконец-то — на берег и впрямь сошел молодой Виллатс, и в самом деле сошел, молодой, в сером костюме, ничем не примечательный. Ну, разумеется, он господин богатый и изысканный, всегда отличавшийся вкусом к жизни, поэтому на нем лаковые туфли с острыми носами, и в галстуке жемчужина с лиловатым отливом, а не из тех белых, что можно сделать из эмали; и дорожные чемоданы его просто желтое сокровище; но ходит он, как и все прочие люди, и сказал «здравствуйте» фру Раш, снял перчатку и поклонился.

Да уж, никакого вам торжественного прибытия, он не привлек к себе ни малейшего внимания, как привлек бы его блаженной памяти отец, вернувшись после долгого отсутствия. Молодой Виллатс — ну и ладно, счастливчик, дитя, родившееся в рождественскую ночь, под мышкой трость с золотым набалдашником, трость, что и говорить, прекрасная вещица, доставшаяся ему в наследство; ну а в остальном? И тем не менее он человек известный в стране. Натянув перчатку, он сказал: «Здравствуй, Юлиус!» — и поклонился Юлиусу, стоявшему чуть в стороне. Юлиус ничего против не имел. «С приездом!» — ответил он, кланяясь руке в перчатке. Но молодой Виллатс уже снова повернулся к фру Раш и заговорил с ней полушутя, полусерьезно.

— Наконец-то вы приехали, — сказала она, — мы ждали вас с каждым пароходом.

— Спасибо, — ответил он, — дорогая фру Кристина, — ответил он, — поистине, вы единственная верная душа в этом мире.

— Не будь так поздно, вы бы сперва могли зайти к нам и выпить хотя бы чашечку чая; почему вы приехали так поздно?

— Поздно? — шутливо переспросил он. — Я прихожу к вам, Кристина, в поздний час, прихожу к своей верной возлюбленной и шепчу: впусти меня! Перед завтраком этого не делают. Пошли, я иду с вами!

— А ваши вещи? — говорит она.

— О них позаботится начальник пристани.

— Да, но у нас... Раш, верно, уже лег спать.

— Тем лучше, посидим на кухне.

Значит, от него не отвертеться.

Тут показался и Мартин-Работник, приехал на лошади с повозкой забрать багаж. А те двое пошли пешком. Фру Раш, добросердечная, простоволосая дама в шали, и Виллатс Хольмсен из поместья Сегельфосс, музыкант и холостяк, вернувшийся домой, в свое имение. Отнюдь не торжественное прибытие.

Люди по-прежнему толкутся на пристани, переговариваются, на борт грузят муку, по пятнадцати мешков за раз, но начальник пристани уже выдохся, голос его смолк, потому что фру Раш ушла. Ларс Мануэльсен ходит взад-вперед и все говорит о своем сыне, о статье в «Сегельфосс Тидене», в ней каждое слово — сущая правда, пусть-ка еще разок вспомнят, кто такой Лассен и кто его родители.

— Молодой Виллатс приехал, — говорит Юлиус, — я поздоровался с ним.

— Да, это Виллатс, — замечает кто-то. — Вылитый отец, и бороды не носит. Но выше ростом.

— Он почти с меня, — говорит Юлиус.

— Лассен солидней вас всех, — говорит Ларс Мануэльсен, — вы против него — тьфу!

И Ларс Мануэльсен опять принимается расхаживать взад-вперед по пристани, занятый одной-единственной мыслью: сегодня вечером приехал Виллатс из поместья, ну и что из того — у многих коммивояжеров кошелек набит потуже, чем у него. Скажете, я вру? Музыкант, фигляр и балаболка. Зато Лассен! Здесь он играл ребенком, здесь его звали просто Ларсом, эти дороги носили его, его глаза смотрели на все эти острова и шхеры. И дом его детства все еще цел, и в нем по-прежнему живут его отец и мать. О, до чего ж сладко думать обо всем, что связано с Лассеном...

Почтовый пароход ушел, было далеко за полночь. На пристани стоят десять ящиков, адресованных Перу-Лавочнику, но Теодора не видно. Ясное дело, это пришли весенние товары, но Теодор за ними не явился, потому что ящиков десять, а не сто. Юлиус, увидев приказчика Корнелиуса, сказал ему:

— Гребенки прибыли, десять ящиков.

— Скотина! — возмущенно ответил Корнелиус.

В этот поздний ночной час господин Хольменгро все-таки не остался сидеть в четырех стенах. Верно, не меньше других тосковал он по солнцу и свету, и вот вечером, когда все собрались на пристани и дороги опустели, господин Хольменгро выскользнул на улицу. Бог его знает, откуда он теперь возвращался, но шел он домой. Светило солнце.

7

Замечательное настало время, полевые работы благополучно завершены, луга и поля зеленеют, погода для всходов благодатная, дождливо и тепло. Широкие просторы Сегельфосса, и сад со старыми деревьями, и леса вокруг, и господская усадьба — все дышит изобилием и богатством. Чего еще человеку желать!

Молодой Виллатс никого с собой не привез, но он один заменял целое общество, и насколько же оживленнее стало в огромном поместье с тех пор, как его владелец вернулся домой. Взять, например, меню. Какие кушанья готовить? В Сегельфоссе всегда было полным-полно прислуги, и сейчас ее не меньше, еды вдоволь, у каждого отдельная кровать, просторные людские, где можно поразвлечься; но теперь они словно с ума сошли и думают только про то, какие кушанья и напитки будут угодны господину Хольмсену! Он ест и пьет то, что ему подают, ни слова по этому поводу не говорит, не вмешивается; времена нынче не такие, чтобы объедаться, говорит он. В детстве у него была своя верховая лошадь на конюшне, и маленькому Готтфреду с телеграфа вменялось в обязанность обихаживать ее и чистить, теперь у него нет верховой лошади, да она ему и не нужна. Надо поскорее взрослеть, говорит он. Вот до чего разумным стал. А когда Мартин-Работник, прослышав о затруднениях с меню, предложил настрелять дичи к столу господина Хольмсена, хотя в это время отстрел был запрещен, господин Хольмсен, скрежеща зубами, ответил так, что Мартин прямо онемел:

— Давай, давай, стреляй! Но я тут же на тебя заявлю, понятно?!

Так что владелец поместья Сегельфосс не очень-то корчил из себя барина. Но тем лучше. Не успел он приехать, как расположил к себе всех, жил тихо, во всякие мелочи не влезал, но умел и на место поставить будь здоров как. И силы

физической был необыкновенной — однажды он просто поразил косцов, неожиданно придя им на помощь, когда они возились с громадным точильным камнем.

— Благодарствуем за подмогу! — сказал Мартин-Работник чуть смущенно. Он обратил внимание на руки молодого Виллатса, его длиннющие пальцы, и мельком увидел запястья — словно из железа.

Молодой Виллатс нанес визит господину Хольменгро и был принят с большой сердечностью. Он не видел господина Хольменгро несколько лет и был поражен тем, как тот постарел: глаза выцвели, голова поникла. Почтенный старец выказал искреннюю радость, его добродушное простоватое лицо засветилось, и он самым любезнейшим образом приветствовал гостя. Неужто и впрямь так обрадовался? Усадив гостя в удобное кресло, он позвонил. Разумеется, он обрадовался. Ведь молодой человек явился к нему первому, известный музыкант, о котором пишут газеты, молодой Виллатс, сын лейтенанта, пришел к нему первому. Не пошел к адвокату Рашу или пастору Ландмарку, а явился сперва, как и подобает, к королю.

— Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы рояль до вашего приезда оставили у меня на пристани,— сказал он.

— Спасибо, это превосходно,— ответил Виллатс.

— Теперь вам остается лишь решить, куда вы хотите его поставить, и я отряжу полсотни моих людей, чтобы они осторожненько его туда доставили. Полагаю, на кирпичный завод?

— Большое, большое спасибо,— ответил Виллатс.— Здесь все изменилось, только ваша любезность осталась прежней,— сказал он.

Молодому Виллатсу, пожалуй, и в голову не пришло, что насчет полусотни рабочих господин Хольменгро прихвастнул, нет у него уже полусотни рабочих.

Вошла фру Иргенс, господин Хольменгро хотел было напомнить молодому Виллатсу, кто такая фру Иргенс, но это оказалось излишним, гость ее узнал и поклонился с таким почтением, что фру Иргенс порадовалась своей предусмотрительности, надев кое-какие украшения из гранатового гарнитура. Она принесла вино и печенье, да, да, то самое знаменитое печенье, что во рту тает.

— Я собирался встретить вас на пристани,— сказал господин Хольменгро,— и Мариана тоже хотела со мной пойти, послали караульного, да он вернулся слишком поздно.

— Ну, это уже лишнее.

— Нет, вовсе не лишнее,— серьезно возразил господин Хольменгро.

— Фрекен Мариана дома?

— Она наверху, фру Иргенс? — спросил господин Хольменгро.

— Сейчас посмотрю.

— Не беспокойте фрекен! — крикнул ей вслед молодой Виллатс.— Мы ведь с ней не совсем чужие, я за эти годы не раз с ней встречался.

— Мариана писала об этом. С вашей стороны было очень любезно водить ее в театры и на концерты.

— А Феликс в Мексике?

— Феликс в Мексике, и там и останется. Он моряк, раза два был в Европе, один раз в Киле. Но домой не приезжал. Теперь он уже сам командует судном.

— Молодец. Я плохо в этом разбираюсь, но ведь он многого добился? В его-то юные годы?

— О да. Очень многого.

— А вот некоторые ничего не добились,— сказал молодой Виллатс.

— Вы зато добились известности,— ответил господин Хольменгро.— То и дело о вас в газетах читаем.

Молодой Виллатс утомленно улыбается и говорит:

— Это все ерунда. Год за годом все одно и то же. Кстати, господин Хольменгро, мы с вами в расчете? У вас нет на меня закладных?

— Никаких закладных у меня на вас нет, к сожалению,— улыбается господин Хольменгро.

— Слава богу! — восклицает молодой Виллатс и тоже улыбается.

— Вам, между прочим, вовсе незачем было со мной расплачиваться,— говорит господин Хольменгро, весь лучась доброжелательностью. И бог знает, не начинает ли на него действовать выпитое вино, потому что он прибавляет:

— По крайней мере, до тех пор, пока у меня не приспела нужда в деньгах.

— Ну, тогда бы мне наверняка пришлось долго ждать. Нет, все-таки лучше было сразу уладить дело. Но, видите ли, господин Хольменгро, я не очень-то разбираюсь во всем, что касается леса. Могу ли я опять начать вырубку в моем лесу?

Подумав, господин Хольменгро отвечает:

— Полагаю, в известных пределах можете. Лес не трогали с тех времен, когда был жив ваш отец.

— Теперь это было бы весьма кстати.

— Я с удовольствием осмотрю ваш лес и отмечу те участки, которые можно будет вырубить осенью.

— Разве сейчас рубить нельзя?

— Сейчас? Нельзя. Только осенью и зимой.

— Так-так,— заметил молодой Виллатс.— Не могу сказать, чтобы это совсем опрокидывало мои планы, но все же. Осенью и зимой меня скорее всего здесь не будет.

— Для проведения работ это не имеет значения. Лес на месте, его рубят, продают, принимают, а что до вопроса о деньгах, с которым никакой спешки нет, то деньги можно получить когда угодно. Так уж ведется торговля древесиной. Если бы кто-нибудь из здешних владельцев леса обратился ко мне, он получил бы столько, сколько запросил. Вот какой ходовой товар древесина.

Взглянув на господина Хольменгро, молодой Виллатс оценил его благородство. Господин Хольменгро прибавил:

— Кстати, деньги можно получить где угодно, например, в здешнем банке. Я учредил в Сегельфоссе небольшой банк и сделал адвоката Раша управляющим, сейчас там денег уже немало. Все это я говорю лишь для того, чтобы вы поняли, что ваше личное присутствие при лесозаготовках не требуется. Вы, значит, опять нас осенью покинете, Виллатс?

— Еще не знаю. Но скорее всего, мне придется уехать. Я работаю над одной вещью, но не знаю, закончу ли я ее здесь. Никак не могу закончить.

— Вы не против, что я называю вас Виллатс?

— Я вам за это благодарен.

— Я знал ваших отца и мать, знал вас, когда вы были ребенком и когда вы уже юношей вернулись из Англии.

— И вы в тот раз подарили мне верховую лошадь.

— Я подарил? Ах да, эту гнедую кобылку, вы, значит, ее еще помните. Да, с тех пор у вас в жизни произошло много других событий. Вы будете здесь работать? Не забывайте нас, приходите! Мы живем поскромнее, чем вы у себя в Сегельфоссе, но мы всегда рады вас видеть.

Мужчины чокнулись и выпили. Господин Хольменгро был, без сомнения, растроган. Старик так долго молчал, что испытывал, верно, потребность выговориться. Он был изысканно предупредителен, после своей небольшой бравады насчет полусотни рабочих и учрежденного им банка он совсем сконфузился и больше не хвастался. Бедный король в элегантном костюме, бедный сказочный герой, какой у него изможденный, пришибленный вид, молодой Виллатс невольно вспомнил его торжественное прибытие в Сегельфосс много

лет тому назад, когда вокруг господина Хольменгро курился золотой фимиам восхищения. Что же произошло с тех пор? Ничего, ни он сам, ни кто другой не мог бы указать на что-то определенное. Но сказке пришел конец.

— Сегодня утром ко мне явился один человек с намерением заплатить деньги,— сказал молодой Виллатс.— Енсен, Теодор Енсен. Теодор-Лавочник, совсем взрослый стал. Пришел рано утром.

Господин Хольменгро изобразил на лице удивление.

— Он сушит рыбу на моих скалах и вот теперь пожелал за это заплатить. Сказал, что задолжал мне за шесть лет.

— Вот как. Что же, юный Теодор не так уж глуп,— отозвался господин Хольменгро.

— Я поинтересовался, может, он привел эти скалы в негодность, может, они истерлись от употребления. Нет, ничего похожего. А раз так, никаких расчетов за них, я полагаю, мы производить не будем!

— Разумеется,— согласился господин Хольменгро.— Но здесь принято платить аренду за пользование скалами, и юный Теодор, наверное, об этом вспомнил.

— А еще он хотел купить у меня земли. У него нет ни пяди собственной земли, объяснил он, лавка его и пекарня стоят на вашей земле, сарай его отец построил на моей, да, у него нет ни клочка, так нельзя ли ему купить у меня немного? Я подумаю, ответил я. Но понимаете ли, господин Хольменгро, я не хочу продавать землю.

— Как он смеет морочить вам голову подобными вещами, этот Теодор. Я поговорю с ним.

— Ничего страшного. Кстати, он произвел на меня прекрасное впечатление. Адвокат собирается насадить тут конкурентов его торговле, сказал он, но тогда ни одному из нас не выжить. Вот он и задумал купить землю и берег, чтобы оградить себя от конкурентов.

Господин Хольменгро снисходительно улыбнулся.

— На это у него силенок не хватит,— сказал он.— Тут уж наш милый Теодор явно хватил через край. Но рассуждает он правильно. Здесь даже двоим не прокормиться.

Вошла Мариана — в комнату вошла Мариана. Мужчины встали, молодой Виллатс шагнул ей навстречу, казалось, сейчас произойдет что-то выходящее за обычные рамки, но ничего не последовало. Молодые люди слишком хорошо знали друг друга, обращались друг к другу, как и в детстве, на «ты» и заговорили спокойно, дружелюбно. Смуглая худенькая девушка была в белом платье, и Виллатс сказал, что она похо-

жа на гвоздику в серебряном графине. И оба от души рассмеялись. В серебряном водочном графине, уточнила Мариана.

— Ты приехал один? — спросила она.— Где же твоя большая компания?

— Должен сказать,— ответил он,— что я один стою целой армии. Но позднее приедет Антон Кольдевин.

— Мы купили бычка, которого вам предстоит съесть.

— Господин Хольменгро, ваша дочь вечно находит для меня какую-нибудь каторжную работу. Как правило, я обязан барабанить для нее на рояле.

Господин Хольменгро лишь улыбнулся, улыбнулся, глядя на этих детей.

Она рассказывала о домашних делах.

— Веришь, здесь все идет как положено, наседка вывела десять цыплят, а одиннадцатое яйцо оказалось испорченным!

Она все больше переходила на местный язык, не следя за выбором слов. Привыкла или то была хитрость?

— Наконец-то я насыпала курам зерна,— сказала она, обращаясь к отцу,— а должна была сделать это еще вчера! — И, повернувшись к Виллатсу, спросила:

— Фруктов не хочешь?

— Мне кажется, нам и так хорошо.

— Но все-таки фрукты не помешают. И у фру Иргенс будет повод появиться здесь с серебряным блюдом, это для нее великая минута. Да, папа, она сегодня опять плакала из-за ключа. Знаешь, Виллатс, у фру Иргенс пропал маленький ключик от кладовой, и она страшно переживает.

Фрекен Мариана позвонила и велела принести фрукты.

— У нас, оказывается, здесь будет театр,— сказал Виллатс.— Тот же юный Теодор поведал мне, что строит театр. Он извинялся, что ведет строительство на моей земле.

— Ох уж этот Теодор! Совершенно верно, он расширяет и перестраивает свой сарай в какое-то увеселительное заведение. А стоит он на вашей земле.

— Он стал настоящим мужчиной, этот Теодор, я помню его вот такусеньким, тогда он ничего из себя не представлял.

— Он весьма дельный парень. И судя по всему, везучий.

— Кстати — почему бы ему и в самом деле не купить земли и оградить себя от конкуренции? Земля-то ведь стоит недорого?

— Дорого. Ну, конечно, цену назначаете вы, но земля здесь дорогая. Цены на участки в Сегельфоссе нынче совсем не те, что прежде.

— Этим я обязан вам, господин Хольменгро. Впрочем, я землю не продаю.

Принесли фрукты, виноград и яблоки на серебряном блюде. Мариана сказала, хитро улыбаясь:

— Фру Иргенс, папа говорит, что вы зря волнуетесь из-за этого ключа.

— Ой, что вы,— уклончиво ответила фру Иргенс.

— Ну, конечно, это ведь всего лишь ключ.

Тут уж фру Иргенс не выдержала:

— Господин заводчик все время повторяет, чтобы я не волновалась из-за ключа, но для меня его пропажа все же весьма и весьма огорчительна. И главное, никак не пойму, куда он мог подеваться!

Все засмеялись, даже сама фру Иргенс не сдержала улыбки, а господин Хольменгро утешил ее: здесь, мол, воров не водится.

— Не шутите с этим! — предостерегла она.— И, к слову говоря, вы, господин заводчик, слишком добры. Я бы кое-кому не позволила оставаться в людской, ежели бы у меня была на то власть.

— Кому же?

— В первую очередь Конраду.

Господину Хольменгро стало не по себе. Конрад — это тот самый поденщик, тот наглец, которого нельзя уволить: рабочие на мукомольне тотчас же забастуют в его поддержку. Господин Хольменгро сказал:

— Но ведь последнее время все было спокойно.

— Похоже, что опять начинается.

Господин Хольменгро с усилием сохранил веселое выражение на лице, но было видно, что он встревожен. Он посидел с минуту в раздумье, а потом, извинившись, вышел следом за фру Иргенс из комнаты.

Молодые люди остались вдвоем.

Молодой Виллатс собрался было что-то сказать, считая, что они могут продолжить разговор в прежнем тоне, продолжить эту ничего не значащую болтовню, но он ошибался. Мариана, побледнев, тут же спросила:

— Почему ты так долго не давал о себе знать? Нужно ли это понимать так, что ты просто подлец?

Возможно, он и ожидал чего-нибудь в этом духе и все-таки не сразу нашелся, что ответить, а лишь изумленно посмотрел на нее.

— Не горячись так! — сказал он, вставая.— Я вел себя в соответствии с твоими последними словами.

— Какими еще словами? Что с меня хватит?

— Да, что с тебя хватит.

— Ах вот как? — сказала она.— Сам виноват, ты меня просто замучил.

— А ты виновата в том, что я тебя замучил, ты лишь играла мной.

— Все ты врешь! — прошептала она, и ее индейское лицо перекосилось от бешенства.

Молодой Виллатс сказал улыбаясь:

— Подделывать чувства не так-то просто. Нисколечки ты не взбешена.

Мариана опомнилась. В своем негодовании она была абсолютно искренна, но он своими словами охладил ее пыл.

— Я в бешенстве,— сказала она,— еще в каком бешенстве. Я не заслужила такого к себе отношения. Что из того, что я это сказала? Молчи! Я даже не помню, как его звали. А ты помнишь? Кто это был?

— Ты имеешь в виду последнего?

— Хочешь сказать, их было несколько? О господи, прекрати сейчас же! Ты страшный человек. Я никогда не играла, никогда. Впрочем, ты тоже не подарок.

— В этом, наверное, есть доля истины,— сказал он.

Но вряд ли он сам в это верил, молодой Виллатс явно ощущал свое над ней превосходство и потому оскорбился. В нем было что-то неуловимо английское, а она была вспыльчива и несдержанна.

— Ты ревнивее любой девицы,— сказала она.— Когда мы вместе, я вся как на иголках. Кто это был, я спрашиваю?

Молодой Виллатс пожал плечами. Впрочем, он уже начал понимать, что обидел ее, до него, кажется, только теперь дошло, насколько все принимает серьезный оборот, надо, пожалуй, уладить дело. Вновь усевшись, он сказал:

— Не стоит об этом больше говорить.

— Не стоит! Что я себе позволила, скажи на милость?

— Позволила? Давай не будем делать из мухи слона. Ты много чего себе позволяешь, вокруг тебя вечно толкутся мужчины, ты с ними часами болтаешь. Что еще, по-твоему, можно себе позволять у меня на глазах? Хочешь, чтобы я застукал тебя за чем-нибудь более явным?

— Ну и что ж из того, что болтаю? Не в моих силах себя изменить, какая есть, такая есть.

— Нет, в твоих силах,— ответил он уже гораздо спокойнее.— Если ты сама знаешь, что так всемогуща, не к чему поминутно совершать чудеса.

— Хорошо, постараюсь воздержаться,— сказала она и улыбнулась, словно раскаиваясь.

— Потому что ты все мне отравляешь.

— Я постараюсь воздержаться, Виллатс.

— Постарайся, пожалуйста! — сказал он.

Что ж, обычная любовная ссора, ничего больше, милая размолвка, закончившаяся, как и всегда прежде, миром. Ссоры, очевидно, вошли у них в привычку, и они легко мирились. Кончилось тем, что Мариана заявила, что это она ревнива, а вовсе не он.

— Хуже всего бывает,— сказала она,— когда ты играешь перед всеми этими дамами, и они сидят, не сводя с тебя глаз и горя страстью. Да, да, я сама видела. Вот тут-то меня и подмывает отколоть что-нибудь эдакое!

Язык ясный, но полный ошибок. Они подняли бокалы, и молодой Виллатс выпил его не поднимая глаз, зато фрекен Мариана, воспользовавшись случаем, метнула на него поверх бокала быстрый как молния взгляд, да, да, мгновенный как молния взгляд из-под почти совсем опущенных век. Волосы у нее были схвачены серебряным, весьма старомодным, гребешком, всего-то с двумя зубцами, крошечная штучка, шпилька на черенке, змеиный язычок.

Наконец Виллатс ушел, обещав вскоре прийти опять. Он отправился на телеграф повидать начальника станции. Там он встретил и маленького Готтфреда, славного, хорошего паренька, работавшего на станции телеграфистом, но Виллатса больше интересовал Бордсен. Бордсен поседел, и вид у него, как обычно, был потертый, но боже, до чего ж все-таки видный он мужчина. И эти его плечи! В углу стояла виолончель. Бордсен, кстати, собрался уже уходить, но снова снял шляпу и предложил Виллатсу стул.

— Извините за этот венский стул,— сказал он.

Бордсен, похоже, не имел ничего против этого визита, был вежлив, занимателен, любезен.

— Венские стулья, они не так уж и плохи, и эти не хуже других. Трещат, но держатся и, сколько я помню, служат вечно, бывает, расклеятся по швам, сесть страшно, но при этом не становятся хуже, никогда не приходят в полную негодность. Они забавны... Я следил за вашими успехами с большим интересом, господин Хольмсен. Я не очень-то хорошо разбираюсь в вашем искусстве, но я читал о вас.

— Вы сами занимаетесь искусством. Я помню, как вы чудно играли на виолончели.

Бордсен бросил взгляд на свой инструмент, но сразу же опять повернулся к гостю.

— Вы намереваетесь остаться здесь на все лето?

— Да. И вы обязательно должны меня навестить, помузицируем. Теперь я играю чуть лучше, чем в прошлый раз.

— Спасибо, с удовольствием.

— И вы, Готтфред, тоже приходите.

Готтфред, стеснительный и застенчивый, поблагодарил Виллатса лишь почтительным поклоном. Он так и не присел.

— Вы позволите мне еще раз взглянуть на вашу виолончель? — спросил Виллатс.

Получив разрешение, он провел рукой по струнам и с искренним восхищением воскликнул:

— Необыкновенный инструмент!

— Она для меня все равно как человек,— сказал Бордсен с нежностью в голосе.— Телеграфист с виолончелью! — сыронизировал он над собой.— Ну да ничего. Сидим мы с ней вдвоем и наслаждаемся. И наш милый Готтфред в нас верит, слушает нас и восхищается нами. И мы вырастаем в собственных глазах. Плеяды поют для туманности Ориона. Поля и луга у вас нынче поднялись на славу, господин Хольмсен.

Лишь теперь Виллатс заметил некоторую странность в речи Бордсена. Он согласился, да, урожай обещает быть богатым.

— Только вашего отца верхом на лошади не хватает в пейзаже.

— Да.

Бордсен сидел, задумчиво поигрывая ножом, кинжальчиком с секретом, лезвие которого при ударе уходило в черенок. Заметив беспокойный взгляд Виллатса, он положил его обратно на стол.

— И матушки вашей,— сказал он.— Великолепно ездила верхом. И вообще, какие времена были! Когда я сюда только что приехал, вот это были времена! Вы уже виделись с пастором Ланнмарком?

— Нет еще.

— Вспомнил о нем почему-то. Он несколько отличается от здешнего люда, чем, разумеется, и навлекает на себя неудовольствие прихожан. А по-моему, очень даже забавно, что он плотничает. Механик и священник, вы слыхали о подобном смешении? Да знаем ли мы, кстати, вообще, что в нас намешано? Аристократы вымерли. Не более ста лет назад на аристократов еще смотрели снизу вверх, теперь их у нас со-

всем не осталось, они стали достойными сострадания невидимками. Не знаю, миру, может, это и на пользу, мне все равно; но, возможно, придется вновь побеждать Спартака. Вполне возможно. Побеждать еще раз. Может, миру от этого станет лучше. Но пастор Ланнмарк, во всяком случае, смешение презабавнейшее и обязан жизнью какому-нибудь извержению.

Молодой Виллатс встал, собираясь уходить:

— Ну, так заходите ко мне, господа. Я живу по большей части на кирпичном заводе.

Бордсен вышел следом за ним и лишь тогда надел шляпу.

— Пойду к своим рабочим,— сказал он улыбаясь.— Теодор Енсен строит театр, а я у него за архитектора.— Он поклонился и с победным видом, вразвалку, зашагал по тропинке, ведущей к сараю.

Когда молодой Виллатс проходил мимо лавки, из-под навеса выскочил Теодор с явным намерением заговорить. Второй раз за день — Виллатсу не хотелось останавливаться. С удивлением он прочитал новую вывеску на лавке: «П.Енсен. Мануфактура и колониальные товары». Буквы выписаны золотом.

— Смею ли я пригласить вас заглянуть в наш магазин? — сказал Теодор.— Чтобы вы имели представление о нашем заведении.

Слегка нахмурившись, Виллатс взглянул на часы.

— В другой раз,— сказал он.

— Я о том, чтобы вы сами увидели, как нам необходимо расшириться, а земли у нас нет, нет участка. Не будете ли вы так добры взглянуть хотя бы с крыльца.

— Не понимаю зачем,— буркнул Виллатс, но уступил и вошел внутрь.

О, этот Теодор как нельзя лучше воспользовался случаем! Уже одно то, что он появился в лавке в обществе молодого господина Хольмсена, в обществе вернувшегося домой помещика, дорогого стоило и пришлось как нельзя кстати. Только-только прибыли новые товары, и товары прекрасные, дорогие, хранить их было негде, они навалены повсюду, а в лавке полно народа. Ну разве же не пришло время Теодору расширяться?

— Будьте любезны, взгляните, например, сюда,— показал Теодор.— Отдел мануфактуры, ткани и готовое платье, ни дюйма свободного! — сказал Теодор.

Покупатели, обернувшись к двери, во все глаза смотрели на них, не стоять же Виллатсу на пороге и заглядывать

внутрь, пришлось войти, и, расчистив путь, Теодор откинул доску прилавка, но нет, спасибо, Виллатс остался стоять у двери.

Конечно, лавка стала сегодня тесна, вся забита весенними товарами, народу — повернуться негде, в руках звенят монеты. Женщины перебирают и роются в новых тканях и готовых блузках, и замужние, и молодые девицы с одинаковым рвением, и те и другие беспредельно взвинчены видом всей этой роскоши, муслина и так называемого швейцарского шелка. Настоящая оргия, пир служанок. Да, Теодор знает свое дело, приобщает Сегельфосс к большому миру! А что это там за вещицы в десяти картонных коробках, выстроившихся в ряд? Гребни для волос, гребешки-заколки, целлулоидные украшения по доступной цене. Тут и дамские сумочки с ручками из позолоченных цепочек, и желтые туфли из искусственной кожи с крупными пряжками из золотистой бронзы поперек подъема. Воротники? О, целая коробка всех цветов: в стиле Марии Стюарт и Сэтерсдален. Вот какой-то мальчик, готовящийся к конфирмации, покупает письменный прибор, богато отделанный серебром, с ангелочками, поддерживающими подставку для перьевых ручек; чернильница стоит на пластинке, на ней достаточно места, чтобы выгравировать фамилию владельца.

Мужчины по старой привычке сгрудились у бывшей винной стойки. Отпуск вина и пива нынче запрещен, но покупать этиловый эфир и туалетную воду для приема внутрь никому не заказано, как не заказано и встретить у винной стойки закадычного дружка и угостить его глотком из спрятанной в кармане бутылки. Но с прежними временами не сравнить, не разгуляешься, всю лавку бабы заполонили.

Торговля гребнями идет бойко. Среди других гребней один оказался с красной стеклянной бусинкой, единственный гребень с бусинкой,— случайно попал в партию, заблудился. Корнелиус-Приказчик откладывает его отдельно. Почему? Сколько он стоит? Я беру его! У юного Теодора, хоть он и стоит поодаль в изысканном обществе, ушки на макушке, и он кричит:

— Гребень с красным камнем не продается!

Молодой Виллатс поворачивает голову. Кто эта рыжеволосая? Он узнает Давердану, когда-то, в ранней юности, она работала прислугой в усадьбе, та самая, с чудесными волосами цвета красной меди. Она поглощена покупками.

— А я не могу купить гребень? — говорит она.

— Зачем он тебе? — спрашивает Корнелиус.— Гребень ведь желтый, тебе не пойдет.

— Но он с красным камнем.

Корнелиус отодвигает гребень в сторону.

— Значит, Теодор собирается его кому-нибудь подарить? — без обиняков спрашивает Давердана.

Услышав вопрос, Теодор меняет свое решение. Может, хочет показать, что он человек с размахом — одним гребнем больше, одним меньше не имеет для него никакого значения, а может, боится язычка Даверданы, который бывает порой столь же невоздержанным, как и язык Юлиуса.

— Ладно, пусть берет,— кричит он.

Вот так Давердане и удалось купить гребень с красной стеклянной бусинкой.

— Наша фирма делает все, чтобы удовлетворить покупателя,— сказал Теодор, обращаясь к Виллатсу.— Мы считаем, что в конечном счете это самое правильное. Вот почему я бы хотел попросить вас обдумать на досуге мою просьбу. Вы сами видите, что адвокат Раш просто по злобе хочет привлечь сюда конкурентов и погубить нашу процветающую торговлю.

Теодор говорит не умолкая. Несколько молоденьких девиц столпились около желтой накидки из швейцарского шелка, отделанной черными лентами и золотыми кистями, да, роскошная вещь, ослепительно красивая, тонкая и воздушная, точно небесная накидка из папиросной бумаги, и тем не менее предназначенная для улицы. Одна из девиц с щекой, обвязанной по причине зубной боли шерстяным платком, пожелала купить это сокровище, а другие пытаются ее отговорить, накидка такая дорогая и, честно говоря, чересчур изысканная — что тебе взбрело в голову, Флорина! Но у Флорины, верно, свое мнение по этому поводу, а что касается цены, то она не собирается скрывать: у нее хватит денег и на накидку и на кое-что другое. Сдвинув платок в сторону, она спрашивает:

— Для чего эта накидка?

Корнелиус-Приказчик едва сдерживает смех. Для чего вообще существуют накидки? Понятно же, что это не ночная сорочка, желтую шелковую накидку полагается носить летом, когда в зимнем пальто уже жарко, накидка модного фасона, такие нынче носят дамы.

— Она не об этом спрашивает,— с важным видом вмешивается в разговор Теодор.— Я полагаю, ты хочешь узнать, в каких случаях надевают эту накидку, так ведь, Флорина? Ее

можно надевать в любых случаях, только не к причастию, тогда полагается быть в черном. А так можешь носить ее все время. Элегантная вещь, ни у кого в наших краях такой не будет. Господин Хольмсен, почему бы вам все-таки не пройти за прилавок?

Мужчины у винной стойки наконец-то заметили Виллатса, один за другим они подходят к нему, кланяются, пожимают руку, и Виллатс вынужден отвечать, хорошо, что он в перчатках. Заговорили об его отце: превосходный человек, на свой манер, немножко горячий, но отходчивый, настоящий барин. Они частенько встречали лейтенанта, кланялись ему, и он отвечал им, кивал головой. И всегда ездил верхом, и лошадь у него была гнедая со светлой гривой. И матушка его, барыня, пела в церкви, такого пения им с тех пор слышать не доводилось. И усадьба Сегельфосс была местом, где всегда можно было получить помощь, да уж, воистину, так и было. А теперь вот Бог призвал их к себе обоих...

— Получить бы полоску земли между лавкой и сараем, и мы спасены,— сказал Теодор.

— А теперь они покоятся в своих могилах,— продолжали мужики.— Да уж этого-то никому из нас, грешных, не миновать. А вы сами-то хорошо поживаете?

Виллатс кивнул им и вышел. Он едва ли произнес слово. И отправился на кирпичный завод, в свои две комнаты, где ему предстояло усердно и много трудиться. Он отнюдь не собирался кого-то из себя строить и бездельничать с утра до вечера, он намеревался всерьез работать. Рояль уже прибыл, чемоданы с одеждой Паулина распаковала, гантели и трапеция оставались здесь еще с прошлого его приезда, все в порядке. На стене висели ружья и пистолеты, удочки и ножи, редкие музыкальные инструменты, флейты, окарины, раковины с дырочками, двустворчатые раковины, большие раковины, на которых можно было играть. Он выложил из чемоданов оставшиеся вещи, а привез он много разных щеточек для ногтей, три дюжины шелковых носков и другие предметы, стоившие того, чтобы их везти. Несколько вещичек из оникса разместились на столе, флакон из желтого с изморозью стекла, ни к чему другому не подходивший, пришлось поставить на полку. Он привез с собой и рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками, почему бы и нет? Его мать тоже ведь занималась живописью, так уж, пожалуй, предназначено судьбой. Наконец каждая вещь заняла свое хорошо продуманное место, и он начал об-

живать комнаты, две отцовские комнаты, в которых молодой Виллатс намеревался играть, сочинять музыку, работать как сумасшедший. А не получится теперь, значит, не получится никогда.

8

У старой Катрины из Сагвики — событие. В один прекрасный день она увидала, что к ее старым березам прилетела чужая сорочья чета, птицы покружились над деревьями, попереговаривались, а потом, облюбовав одну березу, поспешно свили на ней гнездо. А время-то уже такое, что другие сороки давным-давно успели и гнезда свить, и птенцов вывести. Что бы это такое значило? Катрина слышала про Мануэльсеновых сорок, что остались они бездомными и все птенцы у них погибли, и конечно же, она не могла отказать в приюте на одной из своих берез залетной сорочьей чете, какой бы национальности она ни была. Катрина и с Бертелем об этом поговорила, да только Бертель вовсе не пришел в восторг от необходимости давать приют чужим сорокам, особенно если учесть, что когда-то на этой березе уже было гнездо; но после того как сороки с невероятной скоростью снесли яйца, вывели птенцов и прочно обосновались на новом месте, он немного смягчился.

Да, все дело в том, что в Сагвике раньше уже было сорочье гнездо. Птиц здесь никто не трогал, одна и та же сорочья пара каждый год возвращалась в свое гнездо, выкидывала сгнившую веточку, заменяла ее новой и устраивалась на оседлое житье. Пока дети жили дома, пока маленький Готтфред и малышка Паулина жили дома, стариков забавляли сороки, день-деньской гомонившие во дворе, а осенью, когда забивали скотину, все помирали со смеху, глядя, как сороки сучили лапками, запутавшись в длинной кишке.

Но то было тогда.

— А привечать сорок Ларса Мануэльсена — это совсем другая статья,— сказал Бертель,— не ровен час, еще подумаю, да и прикончу их нынче же ночью.

Катрина, которая, как всегда, сидела и шила мешки для мукомольни, подняла глаза и с ужасом посмотрела на Бертеля. Должно быть, нечасто видела она его таким мрачным, ей стало прямо жутко.

— А где мыло? — так же мрачно спросил Бертель.

И Катрине пришлось признаться, что мыло она забыла у ручья, а когда вернулась за ним, его уже не было.

— Гм! — промычал Бертель, чуть ли не скрежеща зубами.— Не иначе как сорока стащила! — сказал он.— Замечательных сорок ты нам раздобыла, ну-ка, где тут у нас нож? — спросил он.

— О господи, ну что ты несешь! — сказала Катрина.

— Несу? Я прихожу с работы домой, хочу помыться, ан нет, сорока мыло стянула! — Бертель вплотную подходит к своей благоверной и говорит:

— А вот скажи ты мне на милость, зачем сороке мыло понадобилось? Или вместо подушки под голову кладет?

И поскольку Бертель не какой-нибудь пригожий да ладный мужчина, а бородатый и лохматый мужик, угрозы его звучат весьма серьезно. Но у жены закрались некоторые подозрения, она еще раз взглянула на мужа и, когда тот поспешно от нее отвернулся, тотчас же обо всем догадалась. И расхохоталась, да, да, она хохотала до слез и все повторяла: подушка, подушка. А Бертель, громко хмыкнув, вышел из комнаты и долго не возвращался.

О господи, каким же остряком да шутником стал Бертель с годами, а все потому, что у него теперь постоянная работа и зарабатывает он сносно, на жизнь хватает, вот она и оборотилась к нему хорошей стороной. Но самое, пожалуй, главное — дети устроены, стали теми, кем им и должно было стать.

Тут забежала домой, закончив дела в поместье, Паулина — поболтать с родными. Она рассказала, что вечером в сарае танцы, но сарай теперь уже вовсе и не сарай, а театр и увеселительное заведение, там-то и будут танцы. Теодору-Лавочнику хочется, чтобы открытие прошло весело, да, он поднял над домом флаг, флаг висит там целый день. Мать, естественно, рассказала историю с мылом, и Бертель на этот раз ухмыльнулся.

Возвращаясь чуть позже в поместье, Паулина встретила девушек и парней, направлявшихся на танцы, и среди них была Флорина в своей желтой шелковой накидке, да, и с ней Нильс из Вельты, а у Марсилии, которая вновь работала у господина Хольменгро, кавалером был поденщик Конрад.

— Ты разве не идешь на танцы, Паулина? — спросили они.

— Нет,— ответила Паулина.

— Ну да ты ведь у нас теперь такая важная стала,— засмеялись они.— А что, Виллатс без тебя часок не обойдется? — добавили они.

Ничего подобного, Виллатс сам предложил ей пойти на танцы, когда услышал про них, господин Виллатс небось пошутил, сказала фру Раш, потому как, ежели ты служишь экономкой в Сегельфоссе, а твой брат работает на телеграфе, не пристало тебе бегать на танцульки, сказала она. Другое дело, когда там будет театр, сказала фру Раш. Скоро вот приедет театр, и тогда ты можешь туда пойти, потому что и мы с Рашем пойдем, и доктор Муус, и из пасторской усадьбы пойдут, может, даже сам господин Виллатс пойдет. Фру Раш все еще продолжала просвещать свою бывшую ученицу по многим вопросам, и маленькой Паулине это шло на пользу.

Всю ночь внизу, на большаке, царило оживление. Виллатс из окна своей спальни в усадьбе видел, как парни и девушки, влюбленные и соперники, сначала шли на танцы, потом возвращались с них. А один раз услышал громкие крики и вопли и подивился: при жизни отца и матери ему не приходилось слышать вопли на дороге. Утром Мартин-Работник рассказал ему про драку между двумя рабочими с мукомольни, один из них пустил в ход камень. Девушку, из-за которой возникла драка, звали Палестиной. Послали за ленсманом, и он явился, старик, ленсман из Уры, запутавшийся в долгах, у которого были другие заботы. Ленсман явился и уладил дело, заставив парней помириться, а поскольку ему не хотелось никого беспокоить среди ночи и просить ночлега, он всю ночь до самого утра провел на ногах. И только потом отправился к адвокату.

Он принес все деньги, какие ему удалось наскрести, должен же адвокат внять голосу разума и не требовать с него невозможного, ведь как-никак, а ленсман был у него на свадьбе. Сняв фуражку с золотым кантом, он остался стоять в дверях. Похоже, при виде такого великого смирения адвокат Раш смягчился, ведь не имел же он обыкновения проявлять бесчеловечность, если только ему представлялась возможность показать власть.

— Ну что ж, я приму этот частичный взнос,— сказал он,— но на остальную сумму вы заплатите проценты.

— Хорошо,— сказал ленсман.

— Но вместе с тем должен заметить, что я — не банк, банк дает вам месячную отсрочку.

— Да, спасибо.

Адвокат Раш грузно и удобно развалился в кресле, а ленсман продолжал стоять у порога. Но адвокат Раш ценил смирение, сталкиваясь с таковым, и потому он встал и сказал:

— Пойдемте, ленсман, позавтракаем, вам не мешает подкрепиться!

И они отправились завтракать. А подзакусив и выпив кофе, ленсман чуточку осмелел и, разговорившись, завел учтивую беседу с хозяйкой

— Когда я был на вашей свадьбе...— начал он. Забыл, что ли, про свое смирение? Адвокат Раш сухо спросил:

— Да, кстати, что будет, когда к вам с ревизией приедет областной казначей? Вы об этом подумали?

И хотя ленсман ни о чем другом в последнее время не думал, этот грубый вопрос все равно застал его врасплох, хозяйку тоже, и она подлила ленсману еще кофе.

— Областной казначей и раньше у меня бывал,— сказал он.

— И находил кассу в порядке? Ну что ж, остается лишь надеяться, что и на этот раз у него не будет поводов для замечаний,— сказал адвокат, задетый за живое.— Как я уже сказал, банк может ждать месяц, не больше.

Впрочем, адвокат прав: старый ленсман из Уры довольно-таки беспечный господин. Он вполне мог бы держать в порядке все счета, если бы лучше понимал свое назначение и был способен драть три шкуры. Многие из тех дворов и домов, мимо которых он ходил, возвращаясь по вечерам домой, он знал как свои собственные, там жили его должники, и, захоти они, привели бы ему в счет долга овцу или козу, но они не хотели. Вот какой нынче народ пошел. Ему и раньше многие должны были деньги, но тогда они не могли платить, а нынче не хотели. Господин Хольменгро и мукомольня вот уже много лет давали Сегельфоссу работу и наличные, но деньги быстро уплывали, уходили на всякого рода товары, исчезали под прилавком Пера-Лавочника. Молодежь тратила теперь вдвое против прежнего на одежду, украшения и сигареты, стараясь выглядеть современно в самом дурном смысле этого слова, но по натуре своей нисколько не изменилась. А как же обстоит дело с тем, чтобы извлечь побольше выгоды из своего положения? Господи, да ленсману ничего не стоило бы драть три шкуры со своих должников и зарабатывать деньги. Он мог бы при желании то и знай штрафовать Теодора-Лавочника за незаконную торговлю спиртным и забирать себе половину штрафа.

Ленсман заходит к Нильсу-Сапожнику: Нильс-Сапожник дома, он бездельничает, убивает время, либо часами просиживая на табуретке, либо валяясь в кровати. Ах, годы наслали порчу, кажется, и на старого сапожника. Весной на

него с неба свалились большие деньги, и ежели бы не Готтфред, который вытребовал у него часть денег в кассу телеграфа, быть бы сейчас Нильсу-Сапожнику в Америке и уплетать там мясо три раза в день. Но так, как обернулось тогда дело, с поездкой в Америку ничего не вышло, и Нильс-Сапожник приохотился покупать съестное повкуснее, дабы поддержать свою старую плоть. Бедняге это было нелишне. Но, к несчастью, он так развратился, что требовал все больше и больше лакомств; одно потянуло за собой другое; он начал пить крепкий кофе, гораздо крепче, чем раньше, и пристрастился к заграничным сырам из лавки. На него словно нашло какое-то помешательство, голова у сапожника шла кругом, он уже и сам не понимал, как умудрился прожить жизнь без консервов. И вот теперь, в разгар лета, пожалуйста, на столе свежайшие мясные фрикадельки и блестящие банки с рыбой. Нильсу-Сапожнику и самому под силу выйти на сотню-другую метров в открытое море и наловить рыбы — пикши, камбалы, сайды. Но зачем? В лавке полно деликатесных рыбных консервов, которые стали еще вкуснее, полежав и потомившись в масле. Нильс-Сапожник прожил жизнь, которой вполне хватило бы на двоих, и в скромном достатке, и в нужде, и в довольстве, и вот нынче время одарило его своими новыми благами, превратив в привереду и ворчуна. Дошло до того, что он уже и кофе перестал сам обжаривать, а покупал жареный кофе в пакетах, и на кой черт ему самому молоть кофе, ежели он может купить молотый в серебряной упаковке со множеством печатей! Вот до чего дошло, в небеса его вознесло. Нильс-Сапожник дерзко и бездумно тратил свои деньги.

— Я собирался позвать тебя поработать у нас дома,— сказал ленсман,— мы скоро совсем босые останемся.

— Нынче в лавке полно всякой обувки,— ответил Нильс,— куда как хорошей.

— А я человек старомодный и предпочитаю твои башмаки,— сказал ленсман.

— Глазами слаб я стал,— ответил Нильс.

— С той работой, что я тебе приготовил, твои глаза справятся.

— Не справятся.

Ленсман с изумлением глядел на Нильса-Сапожника и не узнавал его. По своему обыкновению, он повел дело осторожно, говорил кратко и вразумительно, а сапожник знай отказывался. И в конце концов сказал:

— И кроме того, я ведь продаю билеты в театр.

На том и покончили. Нильс-Сапожник так никуда и не пошел. Получив это место, это поручение от Теодора-Лавочника, он посчитал, что заимел работу на вечные времена и не вправе растрачивать силы на что-то другое. Нынешним вечером он сидел в окошке кассы и продавал билеты на танцы, то-то было замечательно, народ валил к нему, как к какому-нибудь купцу, он выдавал билеты и принимал деньги, а утром, когда сдавал выручку, Теодор бросил на стол перед ним две кроны, сказав «пожалуйста», это, мол, ему за труды.

— И приходи опять, когда приедет настоящий театр! — сказал Теодор.

С тем Теодор и удалился, он был страшно занят.

Дел с театром оказалось по горло. В «Сегельфосс Тидене» уже два раза давали анонс, завтра он появится снова, в лавке развешаны печатные афиши, флаг на здании театра развевается и днем и ночью, отпечатаны билеты — красные, зеленые и белые. Сам Теодор агитировал вовсю, разражаясь длинными тирадами:

— Будут показывать «Змею подколодную», великолепная вещь, то ли Бьёрнсон написал, то ли еще кто, но, во всяком случае, тоже хороший писатель. И змея вовсе не змея, не подумайте, змея — это человек, такой же, как ты и я. Я построил театр, чтобы все вы смогли увидеть эту вещь, все вы должны купить билеты,— чем мы хуже других городов?

Для полного успеха недоставало маленькой заметочки в газете. Анонс поместили, а заметку нет. Теодор отправился к редактору и поинтересовался, что бы это значило? Разве его фирма не дает постоянно объявления в газету? Редактор оказался в щекотливом положении, заметка, ну конечно, да-да, будет напечатана. Но ее так и не напечатали. Теодор опять отправился в редакцию — заметка, ну конечно; но у адвоката не было времени ее написать.

— Разве ее будет писать адвокат?

— Да. А он полагает, что сперва надо дождаться приезда артистов.

Так Теодор ничего и не добился, столкнувшись с превосходящей его силой. Он мог выразить редактору свое презрение, мог на веки вечные убрать из газеты свои рекламные объявления, но все это ни к чему не приведет: оказывается, владелец «Сегельфосс Тидене» — адвокат Раш. Черт бы подрал этого благородного адвоката!

Теодор закусил губу, а он был молод, зубов у него полный рот, так что укус получился чувствительный. Он нисколечки не растерялся, в его сметливой голове тотчас же мелькнула

кое-какая идейка: он сразу вспомнил про девицу с обвязанной шерстяным платком щекой, и девица эта не скрывает, что у нее имеется сберегательная книжка, только вот откуда эта книжка взялась? Но торопиться некуда, подождем, посмотрим, напишет адвокат заметку или нет, выбор за ним!

Вообще-то, Теодор не так уж много поставил на карту: он сдал помещение, он получит арендную плату, он в выгодном положении кредитора. Пожалуй, ради будущих театральных представлений не стоит портить отношений с газетой.

Приехали артисты, Теодор поднял флаг, труппа расположилась на постой в гостинице Ларсена, семь человек, молодые и старые, примадонна, директор и кассир. Юлиус решил всем продемонстрировать, что эта изысканная публика попала к порядочным людям, да, в хороший, весьма известный дом. Он вставил портрет своего брата Л.Лассена в рамку и повесил в гостиной. Вот ведь как удачно все совпало: портрет этот как раз незадолго до того выпустило издательство Лютеровского общества, и пастор прислал один экземпляр с собственноручной надписью своим дражайшим родственникам. Теперь он висит в рамке за стеклом, пастор в сюртуке и с воротничком; актеры посмотрели на него, и Ларс Мануэльсен, тащивший их вещи, отрезал:

— Это мой сын!

— Господи Иисусе! — воскликнул один из актеров.

Остальные, услышав его возглас, переглянулись и закашлялись, а дамы вдруг дружно начали сморкаться. Странные какие-то.

— Вы ведь слыхали про Лассена? — спросил Ларс Мануэльсен.

— Да... ну разумеется, кто же про него не слышал? Про Лассена-то?

И актеры отправились на прогулку. Ничего подобного ни люди на грешной земле, ни птицы в поднебесье не видали — что за походка, что за наряды, что за манеры! На мужчинах шляпы со шнурком, идут себе мурлыкают, сытые и веселые, а на директоре красно-зеленый галстук, отбрасывающий на него отблеск изысканности и светскости. Один из них запел:

...лапа волосатая,
а пасть горит от водки.

Бьющая через край радость жизни, буйство, барские повадки и веселье. Сегельфосс ошеломленно взирал на это изысканное общество.

А примадонна оказалась вовсе не красивее двух других дам, прекраснее всех высокая девушка с каштановыми волосами и глубоким голосом, она идет горделивой походкой королевы, чуть приподнимая подол платья, отделанный шелком специально, чтобы он шуршал на ходу. Судя по афише, ее зовут фрекен Сибилла Энгель, должно быть, это ее артистический псевдоним. Она из них самая красивая. Но примадонна, верно, берет другим, своим искусством, великим искусством актерской игры, а это ведь главное. На голове у нее преогромнейшая шляпа, и зовут ее фрекен Лидия, и только. Впрочем, примадонна тоже статная, и фигура у нее красивая.

Сперва они захотели посетить лавку. Там живет господин Теодор Енсен? Спасибо. Они ввалились в лавку, рассыпавшись в благодарностях. Поскольку их было так много, Теодор не смог откинуть перед ними прилавок, но галантно снял шляпу. У них не хватает слов, чтобы выразить, как они благодарны ему за помощь, а как обстоят дела? Все в порядке? Значит, заметка до сих пор не напечатана? Газета выйдет сегодня вечером? Господи, надо срочно бежать к этому адвокату, как его там зовут, Раш? Примадонна с директором ушли. А остальная часть труппы в сопровождении Теодора отправилась в театр.

— В честь чего у вас вывесили флаг? — спросили они его.

— В вашу честь, в честь такого события,— ответил Теодор.

— Разрешите нам еще раз поблагодарить вас за все! — сказали они.

Теодор-Лавочник головы не потерял, он и вправду был толковый малый и произвел на них хорошее впечатление. Возможно, и банты на его башмаках сделали свое дело, но больше всего, пожалуй, все-таки золотая двадцатикроновая монета в галстуке.

— Наша фирма,— сказал он.— Вон там, видите, мой шлюп и моя рыба,— сказал он.

— Ах, боже мой, я опять подвернула ногу! — вскрикнула вдруг фрекен Сибилла Энгель, хватая Теодора за плечо.— Разрешите мне опереться на вашу руку! — попросила она.

Теодор никогда прежде не водил даму под руку и не знал, как это делается, но госпожа Сибилла порывистым движением сама все устроила наилучшим образом.

— Дорога у нас плохая,— извиняющимся тоном сказал Теодор,— но ничего, мы приведем ее в порядок!

— Дорога тут ни при чем,— сказала Сибилла.

Спутники ее не выразили ей ни малейшего сочувствия, они лишь ухмыльнулись, как будто фрекен Сибилла уже не раз, и очень кстати, подворачивала ногу и опиралась на чью-то руку.

Они вошли в переднюю. В окошке кассы сидел Нильс-Сапожник. Проверял, должно быть, все ли в порядке.

— Это наш билетер,— сказал Теодор.— Только спектакль не сегодня, Нильс.

— Знаю. Я просто так пришел.

— Билеты у тебя в шкафу? Смотри, чтобы кто-нибудь его не взломал,— с важным, озабоченным видом сказал Теодор.— Не забудь, Нильс: красные по полторы кроны, зеленые по одной, а белые по семьдесят пять эре. И по два за раз не отрывай!

Они прошли в зал.

— Великолепно! — воскликнули артисты.— Сцена достаточно высоко, скамьи, стены, ну просто все как нужно. У вас были знающие помощники, господин Енсен! А что за сценой? О, две комнаты — господи, господин Енсен, вы потрясающий человек, я вас обожаю, две комнаты, нам почти везде приходилось довольствоваться занавеской, вы просто не представляете, что значат для меня эти две комнаты! Лампы, обогреватели, не понимаю, где вы все это раздобыли! Уж если мы здесь не сможем сыграть как следует, значит, нигде не сможем!

Все с ней единодушно согласились, и Теодор раздулся от гордости: да, он приложил все свое старание, все продумал до тонкостей. Единственно, вот здесь, по бокам, как они называются...

— Кулисы?

— Да, кулисы. Не подумал. У нас их, пожалуй, маловато, кулис-то. Но мы достанем. И декорации тоже, хорошо, что действие вашей пьесы происходит в одном помещении.

— Вы знакомы с пьесой?

Теодор улыбнулся:

— Немножко. Змея-то вовсе не змея, а человек.

— Да, но действие не все время идет в одном помещении,— сказал один из актеров, которого звали Макс. Он, кажется, был весьма раздосадован тем, что фрекен Сибилла так долго не может обойтись без поддержки чужой руки.

Теодор спешно ищет выход.

— Я не читал пьесы. Это Бордсен мне сказал. Погодите, кажется, он сказал, что что-то происходит не в помещении, а на дороге. Вот у нас тут этот задник. Вон там!

— Этот? Отлично, как раз то, что нужно. А кто это Бордсен?

— Начальник телеграфа.

— Мы привезли кое-какие декорации,— вновь вмешался Макс.— Справимся, как справлялись везде.— Он, конечно же, ревновал.

На обратном пути им встретились примадонна с директором. Они переговорили с адвокатом Рашем, и тот пообещал им напомнить редактору о заметке в газете. Сам адвокат газету не редактирует, отнюдь, но он попросит редактора.

И вся труппа снова вернулась в театр, к подмосткам, в свой мир, дабы продемонстрировать все его великолепие тем двум, кто его еще не лицезрел. Теодор пошел с ними. Его опять осыпали похвалами, на что он ответил:

— Я сделал все, что было в моих силах!

Но те двое, что ходили к адвокату, внезапно осведомились о Бордсене: не следует ли им поблагодарить Бордсена, начальника телеграфной станции?

— Конечно,— ответил Теодор. Бордсен? О да, он и впрямь ему помог, у самого Теодора не всегда ведь было время присутствовать на работах.

Зловредный адвокат!

Они отправились домой, но Теодор больше уже не раздувался от гордости. Все это заметили, прекрасно заметили и проводили господина Теодора до дома, даже в лавку зашли, чтобы порадовать его, и Сибилла, повиснув у него на руке, прилежно хромала. А в лавке стоял начальник телеграфной станции и покупал на мелочь табак, да, Бордсен собственной персоной.

Вот какими роковыми случайностями полна жизнь.

Он стоял у прилавка и, когда Теодор обратился к нему, как раз выуживал из кармашка жилета какую-то мелочь, собираясь платить.

— Артисты желают вас поблагодарить, Бордсен.

Бордсен не спеша развернулся всем корпусом и уставился на пришедших, семь незнакомых людей, веселых и жизнерадостных, в шляпах со шнурками и в шуршащих шелках. Тут вперед вышел директор и произнес речь, потом к нему приблизились две самые видные дамы и, наконец, мужчины, все они болтали без умолку, улыбались и пожимали ему руку. Теодор удалился в свою контору. И тогда самая невзрачная актриса, которая до того не вымолвила ни единого слова, говорит:

— А где же мы возьмем фортепиано?

Последовало гробовое молчание. Про фортепиано они забыли.

— Ты права, Клара! — сказал директор. И повернулся к Бордсену: — Это фрекен Клара, пианистка.

Бордсен посмотрел на нее, на ее юное, серьезное личико, на ее руки в голубых прожилках с длинными музыкальными пальцами.

— Слишком поздно,— сказал Бордсен.— Но к следующему вашему приезду господин Теодор наверняка достанет для вас фортепиано. Эта задача ему вполне по плечу.

По лицу фрекен Клары скользнула тень. Вот ведь какая неразумная особа, не понимает, что она самый из них незначительный человек в труппе. А Бордсен пустился с ней в разговор о музыке, она рассказала, с кем ей доводилось выступать, и что одно время она даже получала стипендию. Неужели! Кстати, она ведь еще и актриса, в первую очередь актриса.

Появился, размахивая письмом, Теодор. Прыткий парень, да уж больно глуп! Вот, глядите, расхаживает с письмом, чтобы все видели, что оно адресовано фрекен Мариане Хольменгро, смотрите: небось хотел произвести впечатление на труппу? Но труппе, по-видимому, фамилия Хольменгро ничуть не больше известна, чем фамилия Лассен, они вновь напомнили ему о фортепиано, и Теодор обещал раздобыть инструмент к следующему их приезду, после чего актеры ушли.

— Отнеси это письмо! — приказал Теодор мальчишке-подручному. Но производить впечатление уже было не на кого, и он, словно извиняясь, обратился к Бордсену: — Вас, наверное, удивляет, что я пишу фрекен Хольменгро, но это не письмо, я всего лишь посылаю ей билет в театр.

— Посылаете ей билет в театр? — улыбаясь, переспрашивает Бордсен.

— Да. В других городах тоже так делают, посылают даме билет в театр.

Как ни отнесся Бордсен к столь искренней наивности, с уважением или нет, но он сразу перестал улыбаться и посоветовал Теодору отказаться от своего плана. Если господину Хольменгро и его дочери вздумается посмотреть спектакль, они сами пошлют прислугу купить билеты. Это им вполне по карману, вы не считаете?

— Само собой, я посылаю красный билет, на самое лучшее место,— сказал Теодор.— По-моему, ничего плохого в этом нет.

— Не делайте этого! — сказал Бордсен.— А если уж вам так приспичило, возьмите несколько билетов и сходите к ним сами, вызовите в прихожую фрекен Мариану и объясните ей, как для вас важно присутствие господина Хольменгро на открытии театра, как вы будете признательны им, если билеты пригодятся.

— И сколько же билетов мне взять? — спросил Теодор.

— Я не знаю, сколько их там. Возьмите полдюжины.

— Ни за что! — воскликнул Теодор.

Тогда Бордсен снова улыбнулся и сказал:

— Правильно! Вы просто розовый бутон, наивный младенец.

На следующий день после репетиции свободные до вечера актеры отправились погулять и, представ перед публикой при свете дня, еще больше разожгли любопытство к представлению. Им рассказали о Виллатсе Хольмсене, который живет в имении, в доме с колоннами. Фамилия аристократа была им незнакома, но пианистка встрепенулась.

— Хольмсен? Композитор? Господи, музыкант Хольмсен? Вот бы с ним встретиться!

— Вот бы и мне с ним встретиться,— сказал артист Макс, острослов и насмешник, но при этом завидовавший всем и каждому.

— Ты настоящая обезьяна, Макс! — сказала фрекен Клара.— Виллатс Хольмсен столько всего сочинил — и кантату, и песни, и танцевальную музыку, он великий музыкант,— сказала она, хвастаясь уже тем, что знала это имя.

Но говорить о музыке с обезьянами ей, разумеется, ни к чему, что она ему и объявила, и пошла на телеграф к Бордсену.

Вот до чего прихотлива жизнь.

А дюжий Бордсен был сама любезность. Он встал и предложил даме венский стул.

— У нас и диван есть,— сказал он,— но на него навалили кучу бумаг. К следующему вашему приходу мы все уберем.

Они заговорили о Виллатсе Хольмсене, он и в самом деле живет здесь, приехал домой поработать и, кажется, очень занят.

— Если бы он пришел сегодня вечером в театр!

— У вас есть роль в спектакле, фрекен?

— Господи, да я же и есть змея!

— А я думал, вы ангел.

— Нет. Для этой роли у нас есть примадонна.

— Но у вас такие глаза. Божественной пробы глаза.

— Вы так считаете? — обрадовалась фрекен Клара.

В этот первый раз они говорили не очень долго, и маленький Готтфред совсем стушевался, держался в тени. От фрекен Клары не укрылся возвышенный стиль речи начальника телеграфа, о чем она ему с одобрением и сказала:

— У вас такой изумительный язык, господин Бордсен, надо же такое сказать: божественная проба — в нашем кругу подобного не услышишь. Может, это потому, что вы сами такой солидный и импозантный?

Удивительно — милейший начальник телеграфа, прожигатель жизни, выпивоха и философ, всегда смотревший на существование свысока, сейчас вдруг утратил все свое высокомерие, да-да, восторги фрекен Клары на него явно подействовали. Кончилось тем, что он, поведав ей о своих занятиях музыкой, взял виолончель и начал играть. Пожалуй, никогда прежде Бордсен не вел себя так по-шутовски — маленький Готтфред лишь диву давался. А его игра! Маленький Готтфред видел, как у Бордсена веки опускались все ниже и ниже, а у фрекен Клары глаза раскрывались все шире и шире, а рот раскрылся совсем широко.

— Звук словно из груди идет,— сказал Бордсен, закончив.— Эта старая виолончель совсем как человек.

— Это просто поразительно! — медленно произнесла фрекен Клара.— Я потрясена! — И прежде чем уйти, она ему чего только не наговорила в этом роде — она была явно взволнована и говорила, по всей видимости, от души.

Когда она удалилась, Готтфред в ужасе воскликнул:

— Вы, кажется, влюбились?

Бордсен возразил:

— Я так редко бываю в дамском обществе. А она, кроме всего прочего, очень музыкальна, дружок.

И вот в светлую летнюю ночь публике предстала «Змея подколодная». Крупное событие, в газете напечатали складную заметку, народ сбежался со всех окрестностей, и Нильс-Сапожник продал все билеты; приказчик Корнелиус, поставленный в дверях проверять билеты, отдал ему обратно полсотни штук, и Нильс продал их еще раз. В театре присутствовали адвокат Раш с супругой, окружной врач Муус и два человека из пасторской усадьбы; от Хольменгро пришли фру Иргенс и вся прислуга, чуть позднее явились не кто иные, как фрекен Мариана и Виллатс Хольмсен. Но из-за неограниченной продажи билетов помещение оказалось набито битком, и окружной врач Муус выразил свое неудовольствие по поводу плохой вентиляции.

— Первое условие в театре — воздух! — сказал он громко Теодору-Лавочнику.

При всем при том представление прошло с неожиданным успехом, самым неудачным в пьесе, как выяснилось, было название, потому что действие разворачивалось живо и напряженно, публика напрочь забыла про спертый воздух и духоту. Окружной врач Муус, само собой, не хлопал, не аплодировал и адвокат Раш, тем не менее аплодисменты были бурные, чаще всего начинали хлопать фрекен Мариана и ее кавалер, а за ними владелец театра, везунчик Теодор. Окружной врач Муус под конец даже разгневался на аплодирующую публику и, обернувшись, шикнул на сидящих сзади зрителей: «Потише!» В общем, вечер получился отменный.

Но что же понравилось зрителям больше всего — пьеса, примадонна или артист Макс? Примадонна. Когда окружной врач Муус, кивком головы одобрив ее игру, прошептал несколько слов, адвокат тут же поддержал его, сказав вслух:

— Бесподобное актерское искусство!

Хотя обоим, ясное дело, больше всего по вкусу пришлась фрекен Сибилла, и неудивительно, потому что была она прелесть как хороша. Но если бы в зале присутствовал начальник телеграфа Бордсен, на него бы неотразимое впечатление произвела змея, фрекен Клара, раскрывшая всю глубину невинной развращенности своей непредсказуемой героини, из невинных уст которой сыпались порой страшные ругательства. Она выворачивала все наизнанку и вертела этой изнанкой как хотела, она определенно обладала даром импровизации, это было в ее натуре. Но начальник телеграфа в зале не присутствовал и не видел ее, говорили, что у него срочное дежурство.

На следующий день актеры тоже были свободны до самого вечера, до прихода почтового парохода, идущего на север,— артисты направлялись дальше на север, на край земли. В этот день начальник телеграфа Бордсен нанес визит фрекен Кларе в гостинице Ларсена, и хотя он явился несколько неожиданно, его пригласили зайти в номер и вежливо предложили сесть, несмотря на то, что дама была в номере одна и лежала в постели.

Что же это? А где остальные? Опять случайность? Было одиннадцать часов, все ушли гулять. Чтобы сгладить неловкость положения, он решил напустить на себя вид бывалого человека, небольшое отклонение от нормы ничего не значит.

— Если бы вы сейчас встали,— по-приятельски заговорил он,— и что-нибудь на себя накинули, мы бы сходили с вами к Виллатсу Хольмсену.

— Да что вы! — ответила она, приподнимаясь.

— Я заручился его согласием. То есть он почтительнейше просит вас пожаловать к нему.

— Вы были на представлении? — спросила она.

— Нет.

— А мне так хотелось узнать ваше мнение.

— Я слышал, потрясающий успех.

— Не для меня.

— Для вас всех.

— Нет, я не пойду к Виллатсу Хольмсену,— сказала она вдруг.

— У него есть рояль, вы с ним могли бы поиграть,— сказал Бордсен.— Если вам угодно, я возьму с собой виолончель. Но Хольмсен играет на всех инструментах.

— Вот именно! — сказала фрекен Клара.— Играет на всех инструментах, и играет превосходно! Меня ошеломила ваша игра. Я и раньше знала, а теперь и вовсе убедилась в этом: я играть не умею. Нет, я не пойду к Виллатсу Хольмсену.

Молчание. Она что, пьяна? — подумал, верно, Бордсен; но как бы то ни было, вот она лежит здесь, юная и страстная! — подумал он, верно. Эта мысль не имела связи с предыдущей, но он сказал:

— Не делая над собой ни малейшего насилия, я утверждаю, что вы бесподобны!

— У вас нет на то ни малейших оснований,— ответила она.— Вы ведь не были на представлении. Отныне я больше не играю на фортепиано, меня теперь занимает другая игра. О боже, в один прекрасный день я вам покажу... покажу всем...

— Значит, вы решили, что в этом ваше призвание?

— Да! — И она рывком оторвалась от подушек и встала в кровати на колени.— Неужели вы хоть на минуту сомневаетесь в том, что мне под силу заткнуть за пояс фру Лидию?

— Нисколько не сомневаюсь.

— Публика восхищается, как она умеет бледнеть. Господи, бледнеть — это плевое дело, я берусь посереть. Да, именно в этом мое призвание; я их всех заткну за пояс. Мне ничего не стоит выйти замуж, но зачем? Он богат и молод, он хочет жениться на мне; но это было бы безумием! Сначала я должна показать миру, на что способна. Но сперва придется по-

ехать в норвежскую глухомань и бренчать там на фортепиано,— прибавила она в отчаянии.

Телеграфист Бордсен пребывал в полной растерянности, но одно для него, большого знатока по этой части, было совершенно ясно — она не пьяна.

— Выходит, фрекен, вы еще не нашли своего места в жизни? — спросил он с легкой насмешкой.

— Нет. То есть да. Но мое время пока не пришло. Я-то нашла свое место в жизни; а вот вы, очевидно, не нашли? Вы играете на виолончели как Бог.

И вновь похвалы этой женщины оказали благотворное воздействие на Бордсена.

— У меня превосходный инструмент, только и всего,— сказал он.— Ну так как, хотите пойти к Виллатсу Хольмсену?

— Нет, я отказываюсь. Отныне я буду играть только в комедиях.

— Гм. Лишь бы вы сами с собой не сыграли комедию.

— Не сыграю. Но послушайте,— сказала она.— А вы-то сами не сыграли ли с собой комедию? Сидите себе тут, выстукиваете телеграммы, играете на виолончели и всем довольны?

— Что ж из того, фрекен?

— Простите, не сердитесь на меня, ради бога! С вами интересно разговаривать, господин Бордсен; но ведь вы, должно быть, изнываете от тоски. Вы улыбаетесь, но все равно вы изнываете от тоски.

— Ха-ха, вы думаете, меня уже похоронили? Вы думаете, что я жертва обстоятельств? Нет, фрекен, вы очень наивны. Просто я не стремлюсь к каким-то другим, более высоким целям, потому что другие цели не выше, я поступаю *по собственной воле*, она-то и есть для меня превыше всего. Это не значит, что я вовсе нетребователен к жизни, но пока у меня есть все, что нужно — дом, одежда, еда и выпивка.

— Вы с умыслом упомянули выпивку?

— Не без того.

— Ха-ха-ха. В этом-то все и дело! Смех да и только; ну а что, если наступит день, когда у вас не будет ни дома, ни одежды, ни еды, ни выпивки?

— Я приму его, как все другие дни. Назначь мне встречу, Гете, в день гнева моего!

— Отлично сказано! — с улыбкой воскликнула юная особа.

Бордсен встал.

— В последний раз спрашиваю вас, фрекен, вы пойдете к Виллатсу Хольмсену и позволите ли вас сопровождать? — строго проговорил он.

— Я к нему не пойду. Отвернитесь, я встану.

— Я ухожу.

— Ну вот, вы на меня и рассердились.

— В тот день, когда я на вас рассержусь, я брошусь в море! — сказал он, не в силах удержаться от высокопарности, с таким видом, словно был бессилен сделать для нее еще что-нибудь.

Фрекен Клара снова легла.

— Не буду вставать,— заявила она.

— Закрывать простыней красоту — значит оскорблять ее,— сказал Бордсен.

— Что вы знаете о моей красоте,— ответила она.— Скажите честно: вы и правда считаете, что я поступаю глупо, отказываясь от того искусства, в котором я ноль, ради другого, где я могу достичь многого? Или вы не хотите отвечать?

— Видите ли, фрекен, я не гожусь на роль мудреца, раздающего ценные советы. Но в данном случае речь идет о том, чтобы вообще отказаться от искусства...

— Да, ради другого.

— Вовсе нет.

— Ах, вот как!

— Вообще отказаться от искусства. И пусть это делает тот, кто не способен ему служить.

— Значит, сценическое искусство это не искусство?

— Да, это актерство.

— С вами никто не согласится.

— Не согласится,— подтвердил он.

В соседнем номере послышались шаги, наверное, вернулись домой актеры. «Лапа волосатая, а пасть горит от водки»,— смех.— «Здравствуйте, пастор Л.Лассен...»

— Вы не видели, как я играю комедию,— сказала фрекен Клара.

— Не видел,— опять подтвердил Бордсен.

Внезапно фрекен Клара засмеялась:

— Вы просто несете чепуху. Неужели вы хотите, чтобы я восприняла ваши слова всерьез?

— Ничего не имею против,— ответил он.

Фрекен Клара расхохоталась еще громче:

— Мы с вами обменялись весьма остроумными репликами, ну точь-в-точь как в какой-нибудь пьесе. Госпо-

дин Бордсен, когда я увижу вас снова? Может, встретимся после обеда?

Он встретился с ней после обеда в ее номере, она была одна, полуодетая, только-только закончив туалет, хорошенькая, непринужденная. И что-то, должно быть, между ними произошло, что-то, чего он не ожидал, идя к ней, и чего не мог осознать, уходя. Явно сбитый с толку, ошеломленный, начальник телеграфа Бордсен стал вдруг весел и дурашлив — о боже, что за состояние! Он весь словно светился, он шел, запрокинув голову в небо, как будто на плечах у него ничего не было, как будто он нес на плечах сияющее ничто. Что за состояние!

Когда наступил вечер, он заглянул на маленькое кладбище и сорвал несколько цветков с могилы лейтенанта Виллатса Хольмсена и его супруги. Эти цветы в горшках принесла на могилу фру Раш, чтобы порадовать молодого Виллатса, а Бордсен их сорвал, вот до чего был сбит с толку. И отправился с этими цветами на пристань проводить отплывающих на пароходе актеров.

— Это вам! — сказал он фрекен Кларе, снимая шляпу.

— Господи, где вы раздобыли такие чудесные розы? — спросила она.

— На кладбище,— ответил он.

Поняв, что он говорит правду, она передала его слова своим коллегам. Они оценили их по достоинству и громко расхохотались — это было в их духе, в духе актеров.

— Может, я успею сойти на берег? — спросил артист Макс, который явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Нет,— ответил капитан.

— Черт возьми! — воскликнул Макс.— Я забыл портрет Лассена!

— Мы постараемся снова приехать в Сегельфосс! — в один голос воскликнули директор и примадонна.

Двое пассажиров на борту внимательно разглядывают Бордсена, одному из них его лицо кажется знакомым.

— Кто этот человек? — спрашивает он у провожающих.— Вот как, Бордсен? — И, обернувшись ко второму пассажиру, говорит: — В наших краях был один Бордсен, владелец солидной пароходной фирмы. А из его сына ничего путного не вышло. Парень попытал было счастья в актерах, но увы... Писал пьесы, но потерпел полное фиаско. Не он ли?

А Бордсен все стоял на пристани, настолько сбитый с толку, что говорил от сердца, не в силах придумать что-нибудь возвышенное.

— Приезжайте снова по пути на юг! — раз за разом повторял он.

Последнее, что он увидел, — фрекен Клара, стоя на палубе закопченного парохода, натягивает белые лайковые перчатки, которые она купила в сегельфосской лавке. «Куда же она положила розы?» — подумал он.

Те самые розы, которые разрешила ему похитить с украшенной ею могилы добросердечная фру Раш.

9

Окружной врач Муус на несколько дней задержался в Сегельфоссе и решил, воспользовавшись случаем, нанести визит господину Хольменгро. Адвокат Раш составил ему компанию.

— Очень любезно с вашей стороны, господа! — сказал господин Хольменгро.

— Когда я бываю в ваших краях, я всегда выбираю время, чтобы пожать вам руку,— сказал окружной врач Муус.— Ваша дочь здорова? Кстати, разрешите поздравить вас вот с этим! — прибавил он, показывая на перстень господина Хольменгро.

О, окружной врач Муус человек светский, язык у него подвешен хорошо, и он умеет выказывать людям покровительственную благожелательность. Адвокат Раш чуть медлительнее, но он сильный и приветливый, настоящий мужчина. Он восхищается окружным врачом и числит себя его другом. Одно плохо в адвокате: он стал неимоверно тучным, разъелся до неприличия, к тому же он имел привычку бренчать в кармане многочисленными ключами, время от времени вынимая их и держа в руке; а пальцы, держащие ключи, такие толстые и короткие, что производят странное впечатление. Обручальное кольцо он был вынужден переместить на мизинец, но и там оно стало ему тесно, и вот уже несколько лет он вообще не носит кольца, нисколько, по-видимому, этим не смущаясь.

Он сразу же заговорил о недавнем событии, о театре:

— Вы не присутствовали на представлении, господин Хольменгро? Напрасно. На сей раз деньги не пропали даром. Спросите доктора! — Адвокат проявляет теперь к этому делу горячий энтузиазм, потому что имеет к нему непосредственное отношение: ему предстоит написать рецензию для «Сегельфосс Тидене», да он уже и написал ее.

— Гм! — произнес доктор Муус.— Вы еще не прослышали, господин Хольменгро, об изменениях, которые я собираюсь предпринять относительно своей скромной особы?

— Нет.

— Ну, не то, что вы думаете, хотя и это, возможно, не за горами, но я говорю не про женитьбу.

— А про что же?

— Я подал прошение о переводе.

— Неужели? Первое было бы все же предпочтительнее! — вежливо сказал господин Хольменгро.

— Ну, что до этого... вам взамен меня пришлют другого доктора, намного лучше.

— Мы уже привыкли к вам. Так, значит, вы хотите уехать?

— Я давно об этом подумывал, в сущности, эти края не для меня. А потом приехала жена пастора, фру Ланнмарк, благородная особа, душой и телом из Эстланна, она и убедила меня окончательно. После нескольких бесед с нею я и принял решение.

— В один прекрасный день я тоже, наверное, переберусь на юг,— сказал адвокат, вытягивая ноги.

— И вы тоже, адвокат? Не опустошайте уж совсем Нурланн!

— Мы с адвокатом, можно сказать, свое время здесь отбыли,— проговорил доктор Муус,— нельзя от нас требовать так много! — И он принялся старательно развивать эту тему.

Но поскольку заводчик не возражал, им пришлось говорить одним. Чего и следовало ожидать. Уж слишком уверены они были, по всей видимости, что господину Хольменгро польстит их доверительность. А он просто позвонил и предложил гостям по бокалу вина.

— Если бы я мог себе позволить!

— А что, желудок слабоват стал? — поинтересовался доктор.

— Слабоват? Вовсе нет, как раз наоборот.

— Ну, тогда вам ничто не мешает насладиться прекрасным выдержанным напитком господина заводчика.

— Отлично, с разрешения специалиста... Нет, как же вы все-таки не были на премьере, господин Хольменгро! Не стану утверждать, будто это во всем совершенное представление, этого я не стану утверждать, но местами впечатление оно производило огромное.

— Да, примадонна временами достигала невероятной высоты,— вставил и доктор.

— Вы согласны? И фрекен Сибилла тоже. К тому же она необычайно привлекательна. А вас не удивляет, доктор, что она странно вела себя с маленьким Теодором-Лавочником?

— О вкусах, как известно, не спорят.

— Да, но чтобы и в театре, и дома. Это выглядело уж слишком нелепо.

— Мудрый кади,— сказал ему доктор,— всем нам присущи разные формы общения. То, что присутствующих здесь привлекает в обществе друг друга, у других вызывает лишь чувство стесненности, скованности. Сибилла, вероятно, нашла в этом... как его там?.. Теодоре-Лавочнике компанию, которая соответствует ее вкусу и социальному положению. Что вы с этим поделаете, мудрый кади?

— Пожалуй, вы правы,— сказал адвокат Раш.— Меня больше всего удивило, что на спектакле было несколько человек из семейства ленсмана. Ему такое явно не по карману.

— Раз уж мы заговорили на эту тему, так в театре было немало людей, которым это явно не по карману. У вашего заведующего складом, господин Хольменгро, есть помощник, разве ему это по карману? Я его знаю, один раз он был у меня на приеме, он еще женат на женщине легкого поведения по имени Давердана. Эта пара сидела на лучших местах.

— В первом ряду, рядом с нами, представляете! — сказал адвокат Раш, поглядев на заводчика.

— Я не сноб,— сказал доктор,— по своему положению мне приходится общаться с простым народом. Но всему есть предел, и блюсти его — не только мое право, но и долг.

— Да, да, конечно,— сказал господин Хольменгро.

— Не правда ли! — оживился адвокат при таком утверждении.— Не знаю, что предпримет редактор «Сегельфосс Тидене», но не удивлюсь, если он займется этим делом. Представляете, фру Ланнмарк из пасторской усадьбы со своими двумя дочерьми была вынуждена сидеть во втором ряду. Как вам это нравится? А Давердана в первом, в волосах гребень, прямо как у настоящей дамы, и не просто гребень, а с красным камнем. Светская дама, да и только! Что дальше?

— А дальше веер и лорнет,— сказал доктор.

В дверь постучали, и в комнату вошел Виллатс Хольмсен. Похоже, он изумился, увидев посторонних, и попросил извинения за свое вторжение — он просто проводил домой фрекен Мариану.

— О, какой редкий гость! — воскликнул господин Хольменгро, сердечно протягивая ему руку.— Бокал вина? И сегодня тоже отказываетесь? Ах да, верно, до обеда вы не пьете.

— Почему вы не пьете до обеда? — спросил доктор Муус.

— До обеда господин Хольмсен работает.

— Ох уж эта работа! — сказал молодой Виллатс.— Но, кроме всего, не хочется ходить с тяжелой хмельной головой.

— Значит, работа у вас, должно быть, весьма деликатного свойства,— сказал доктор.

Из другой двери появилась Мариана и тоже в удивлении остановилась, увидев гостей, после чего спиной нарочито громко захлопнула дверь.

— Я позволил себе осведомиться о вашем самочувствии,— сказал доктор Муус, протягивая ей руку,— и вот вы сами здесь, брызжущая здоровьем и очаровательная, как никогда! — И, возвращаясь к прерванному разговору, доктор продолжал: — Да, стало быть, работа у вас весьма деликатного свойства. Моя работа, можно сказать, тоже не совсем заурядная, приходится ставить тончайшие диагнозы, но бокал вина мне никогда помехой не был.

— Это потому, что мы с вами здоровые люди,— сказал адвокат.— А вы, господин Хольмсен, значит, вернулись в родные пенаты?

Виллатс кивнул и, обернувшись к Мариане, спросил:

— Мы ведь хотели немного помузицировать?

— Хотели.

Доктор подхватил:

— О, как мило с вашей стороны продемонстрировать нам ваши успехи, господин Виллатс Хольмсен.

Мариана разразилась хохотом. Вести себя, как полагается настоящей даме, ей было трудновато.

— Тихо, не бренчите так ключами, адвокат! — шикнул доктор, прислушиваясь к доносившейся из другой комнаты музыке.— Впрочем, они нас, видимо, угостят одними лишь упражнениями.

— Вероятно, разучивают что-то из сочинений господина Хольмсена,— объяснил господин Хольменгро.

— Для этого, откровенно говоря, Виллатс Хольмсен мог бы выбрать другое время. Он просто вынудил фрекен Мариану уйти с ним. Ну да ради бога! А что, по-вашему, будет какой-нибудь толк из этого молодого человека?

— Я иногда встречаю его имя в газетах Христиании,— отозвался адвокат.

— Ну, это не бог весть что. Вот Лассен, пастор Лассен, выходец из здешних мест, человек действительно замечательный.

— О да.

— Великий человек! Подумать только, пробиться через все экзамены, начав с нуля уже взрослым, овладеть языками, науками, всем-всем, и оказаться на вершине! Вот это истинное дарование!

— Его прочат в епископы.

— И неудивительно. Я очень надеюсь, что у правительства достанет благоразумия сразу же назначить его в какую-нибудь южную епархию. Лассен уже достаточно времени здесь провел, все детство, юность, да и в зрелом возрасте. Меня поражает, что вы, господин Хольменгро, держитесь за эти края по собственной воле.

— Но ведь у меня здесь мое дело,— уклончиво ответил господин Хольменгро.

— И все же. Я вот, к примеру, предпочитаю жить в городе. Сельская жизнь — это, конечно, прекрасно, но если имеешь другие интересы, культурные интересы!.. Однако я не хотел бы жить в каком-нибудь захудалом городишке. Право же, после Христиании почти все остальные города кажутся деревней.

— Но вы же не совсем из Христиании,— сказал адвокат.

Доктор Муус нахмурился:

— Недалеко оттуда. Само собой, я родился здесь, в Нурланне, как и все мы, дети чиновников, но я постоянно перебирался все дальше и дальше на юг, пока наконец не попал в Эстердален. Нашими уездными центрами были Эльверум и Хамар, но столицей — Христиания. И потом — вы ведь тоже, адвокат, разве не провели мы все годы учения в Христиании? Разве не там получили, если можно так выразиться, первое крещение? Разумеется, основу заложили наши благородные семьи, но наше мировоззрение, политические взгляды, любовь к театру, искусству, науке — все это воспитала в нас великая Христиания. Мы оттуда.

— Да, мы оттуда.

Фру Иргенс доложила, что обед подан. Вошли Мариана с Виллатсом. Доктор сказал:

— Что же, особо возвышенной музыкой вы нас сегодня не побаловали, но все же примите нашу благодарность. Окажите мне честь! — сказал он, подставляя руку Мариане.— Или фрекен это неприятно?

— Нет, почему же?

— Мне показалось, с вашего лица сбежала улыбка?

— Это я пыталась подавить охвативший меня восторг.

— Ничего, скоро вы от меня избавитесь, фрекен Мариана,— сказал он, входя с ней в столовую.

— Доктор подал прошение о переводе, Мариана,— объяснил ее отец.

— Это серьезно, доктор?

— Куда уж серьезнее.

Мариана замолчала, и доктор, уважая ее молчание, не стал ее больше беспокоить. Повернувшись к Виллатсу, он заговорил о музыке, пении, опере.

— Когда же в нашей стране будет постоянный оперный театр, господин Виллатс Хольмсен?

— Когда страна будет достаточно богата,— ответил Виллатс. Он обратил внимание, что доктор произносит его имя с нарочитой отчетливостью, но не мог решить, крылось ли за этим желание оскорбить его.

— Если бы вы были достаточно бедны, я бы заказал вам оперу к торжественному открытию,— сострил адвокат Раш.

Виллатс парировал:

— Если бы вы были достаточно богаты.

— Вот как, значит, деньги потребуются немалые! — высокомерно улыбнулся адвокат.

— Не часто мне приходится наслаждаться столь изысканным обедом, господин заводчик,— сказал доктор.

— Совершенно согласен,— подтвердил адвокат, который был большим гурманом.

— Особенно удается фру Иргенс салат — вашему мужу, фру Иргенс, никак нельзя было умирать в столь молодые годы, при таком-то салате!

Фру Иргенс благодарно улыбнулась:

— Вы и правда так считаете, доктор? Очень рада! — Она хорошо знала гостей и постаралась как следует, а когда варила компот из каштанов, даже сделала небольшое открытие, правда, вышло это случайно, она спутала ваниль с лимоном. Но компот приобрел новый, необычный вкус.

И теперь, получив в какой-то мере возможность высказаться, фру Иргенс не смогла удержаться, чтобы не обратить внимание господина Хольменгро на выходку одного из его работников:

— До каких пор вы будете это терпеть? Дело зашло слишком далеко!

— Что там опять случилось? — спросила Мариана.

— Так уж и быть, расскажу, хотя до этого говорить не хотела. Несколько дней назад Теодор-Лавочник устроил в сарае бал. И вот приходит к нам парочка. Флорина, что у господина адвоката служит, и Нильс из Вельты, приходят компанию на бал собирать, а на Флорине желтая накидка.

Марсилии нашей ужасно захотелось пойти, но у нее не было кавалера, вернее, кавалер-то был, но у него не было ботинок. И что бы, вы думаете, сделал Конрад? Поднялся наверх и надел ботинки господина заводчика.

— Что он сделал? — переспросила Мариана.

— Надел здесь, наверху. Новые лакированные ботинки, которые господин заводчик привез в последний раз из города.

Молчание.

— Кто такой Конрад? — спросил доктор.

— Один из поденщиков. И преспокойно отправился с Марсилией на бал. Танцевали там до утра. А когда вернулись домой, Конрад еле на ногах держался, он швырнул ботинки на прежнее место, даже не позаботившись их почистить, и так они там и стоят. Вид у них замечательный! Принести?

— Не надо,— сказал господин Хольменгро.

— Смотрю я на них, вспоминаю, какие они были новенькие и блестящие, и мне хочется... но коли вы считаете, что эдак может и дальше продолжаться...

Адвокат предложил вычитать определенную сумму из заработка поденщика, пока ботинки не будут полностью оплачены. Очень просто.

— И правда,— воскликнула Мариана, не скрывая лукавства в голосе.— Как по-твоему, Виллатс?

— Конечно,— сказал Виллатс.— Но только в том случае, если господину Хольменгро по нраву превратиться в торговца обувью.

Все перевели взгляд на господина Хольменгро — он улыбался.

— Я думаю, мы подарим ему эти ботинки, фру Иргенс,— сказал он.

— Вот как! — Фру Иргенс оскорбленно кивнула головой.— А в следующий раз он снимет костюм с вешалки. Так и будет, попомните мое слово.

— Не стоит так переживать, фру Иргенс,— равнодушно заметил господин Хольменгро.

Господин Хольменгро, вероятно, умел держать себя в руках, раз отнесся ко всему с таким безразличием, и, исправно исполняя роль хозяина, продолжал как ни в чем не бывало пить с гостями. Когда фру Иргенс упомянула про ботинки, у него чуть скривились губы, словно его что-то кольнуло, быть может, причинила боль мысль о том, что даже первоклассные масонские ботинки и костюм на шелковой подкладке уже не вызывают прежнего почтения.

Адвокат полагал, что поденщика следует как-то проучить.

— Я вынужден согласиться с фру Иргенс,— сказал он,— этот народ скоро и впрямь сядет нам на голову, если мы не будем начеку.

Заводчику было хорошо известно, что «Сегельфосс Тидене» без устали выпускала в него свои ядовитые жала с дозволения адвоката. Но он и виду не подал:

— Еще бокал, господин адвокат? Не будем портить себе жизнь из-за ерунды!

Мариана чокнулась с отцом:

— Папа, я — «твои дети» и потому хочу сказать, что ты самый милый человек на свете!

Заговорили о том, что в Сегельфоссе стали уж очень злоупотреблять поднятием флагов, и слово опять взял адвокат:

— Теперь поднимают флаг чуть ли не ежедневно. Бог знает по каким поводам. Нынче вот еще на одном доме вывесили флаг, на сей раз у нового, только что прибывшего сюда фотографа. У скольких же нынче есть флаги? — Адвокат начал загибать свои уродливые пальцы: — Восемь, девять, все красно от флагов. Мы, те, кто, так сказать, родился с флагом, вырос с флагом, мы, бывает, поднимаем флаг в день рождения или когда в семье какое-то событие; но только представьте себе: Теодор-Лавочник поднимает флаг в день рождения Пера-Лавочника!

Вино делает людей честнее и откровеннее, не правда ли? Доктор Муус сказал:

— Вы тут меня поправили, что я, мол, родом не из Христиании. Разрешите мне теперь спросить вас, адвокат: разве не вы, будучи владельцем газеты, призваны обличать непорядки? Чем занимается ваша газета?

Адвокат на мгновение онемел, а доктор Муус обвел взглядом присутствующих, пожиная плоды своей объективности. Для него это был чуть ли не звездный час, он поставил на место своего доброго друга.

— Я владею большей частью «Сегельфосс Тидене»,— сказал адвокат,— но я ее не редактирую.

— Вы упомянули про злоупотребления флагами, и меня поразило, насколько вы правы,— сказал доктор, еще раз искусно осаживая друга.— Когда я завел флаг у себя в докторской усадьбе, я был единственным, а теперь все обзавелись флагами: часовщик, кузнец, подмастерье Якоб, Уле из Гренвальда — все только и знают что салютовать флагом день и ночь. А я бросил это дело.

— Пользуюсь случаем, дабы довести до вашего сведения, что я не редактирую «Сегельфосс Тидене»,— провозгласил адвокат куда более торжественно, чем того требовали обстоятельства. Лицо его дышало добропорядочностью, он весь излучал чистосердечие и искреннюю честность.— Да, я посадил в газету этого бледного типографа, на это у меня были свои личные соображения, кое-какие планы на будущее, но в этом я никому отчитываться не обязан. Таким образом, я помог человеку сделать карьеру, он и редактирует газету, и набирает ее. Изредка я пишу для него кое-какие статейки, иногда наставляю на путь истинный, вот и все. Я и сам порой бываю недоволен содержанием газеты, но не могу же я каждый раз вмешиваться, да у меня на это и времени нет.

— Ну разумеется! — сказал господин Хольменгро. Делая адвокату такую уступку, он, возможно, надеялся, что тот в будущем изменит тон газеты. Ведь не кто иной, как заводчик, помог адвокату Рашу обосноваться в Сегельфоссе, представил его владельцам имения, неужели же у того нет ни стыда, ни совести? Неужели он позволит своей газете и впредь натравливать на него рабочих?

— Я вовсе не собираюсь нападать на вас, дорогой друг,— сказал доктор.— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье! Я благодарен вам за то, что вы предоставили мне возможность выяснить недоразумение,— официальным тоном ответил адвокат.— Я не вмешиваюсь и не собираюсь вмешиваться в редакционные дела «Сегельфосс Тидене».

Разговор перешел на общие темы — городские новости, местные новости: у пастора Ланнмарка готова одноконная коляска, которую он всю, до последней спицы, смастерил сам.

— Что ж, это неплохо,— сказал доктор Муус,— но должностное лицо, священник — чем все это кончится? Представляю себе, как бы мой отец и мой дед — с их-то руками — вдруг принялись строгать!

Про войну на Востоке, про падение Порт-Артура не упомянули ни словом.

Вино, вероятно, делает свое дело, развязывая языки даже у притворно молчаливых людей, — конечно, делает. Молодой Виллатс вдруг ни с того ни с сего передал заводчику привет от Антона Кольдевина, он приезжает, он уже в пути; его отец, консул, был болен, а то бы он приехал раньше.

— Я очень хорошо помню консула Кольдевина,— сказал господин Хольменгро.— Он вызвался быть посредником в

моей торговой сделке с вашим отцом, мы вели переговоры летней ночью, при свете солнца. Консул был любезен и все время шутил.

Адвокат снова стал самим собой:

— Жаль, что меня тогда еще здесь не было, иначе вашим посредником наверняка стал бы я.

— Без сомнения!

— Да, да, господин заводчик, это ведь благодаря вам я смог устроиться здесь и развернуть свою деятельность. Кстати, вы давно не видели мою рощу? Удивительная красота, верно, доктор?

— Она великолепна. Как я уже говорил, только соловьев не хватает. А когда же вы все-таки собираетесь устроить празднество в саду?

— Скоро. Вот перевалит лето за середину и сразу устрою. К тому времени и деревья еще немного подрастут, на дюйм-два. Теперь у меня и фонтаны есть, господин Хольменгро, и я веду переговоры с литейным заводом относительно двух-трех произведений искусства для сада. Знаете, о чем я подумал? Хорошо, что сюда приехал фотограф. Он запечатлеет празднество и провернет выгодное дельце — все приглашенные наверняка захотят получить по фотографии.

Фрекен Мариана, взглянув на него своими узкими, с хитрецой, глазами, сказала:

— Но сперва ему придется сфотографировать конфирмующихся.

Когда обед закончился, когда выпили кофе, доктору Мусу представился случай побеседовать с фрекен Марианой наедине. Разговор пошел о перемене, ожидающей его скромную особу, о его предстоящем переезде, о его твердом намерении покинуть Сегельфосс — ну, так сказать, люди встречаются и расстаются!

— Мы встретились, фрекен Мариана, а теперь...

— Ля, си, ми, господин доктор, мягко и с тихой задушевностью, вот так: ля, си, ми...

Доктор уставился на нее сквозь толстые стекла очков:

— Что это?

— Романс.

— Ну вот, опять мы ребячимся! — засмеялся он.— Или гидра наконец вылезла из своей коробки?

— Из спичечного коробка. Доктор, только не уверяйте меня, будто вы в последнее время не навещаете весьма частенько пасторскую усадьбу.

— Вот оно что! — Он начал оправдываться, доказывать свою невиновность: что она имеет в виду? Супруга пастора — выдающаяся женщина, у них взаимная симпатия, общая культура.— На что это вы намекаете? Дочери уже прошли конфирмацию, младшая — в прошлом году. Ну будем же хоть немного разумны!

— Ах, вот в чем дело, в конфирмации! И обе они к тому же высокие и красивые.

— Этого я не отрицаю,— сказал доктор.— Разумеется, я бываю у них, меня хорошо принимают в их доме. Мать и обе юные дамы живут своей собственной жизнью, ведь от пастора толку мало, у него в голове — только его мастерская. Вы должны понимать, что они отнюдь не отвергают общения с образованным человеком. Но от этого до чего-нибудь большего расстояние огромное.

— Вы его успешно преодолеете, доктор,— сказала Мариана.

Доктор поклонился и произнес:

— Разрешите считать ваши слова советом? Значит, вы сами нисколько не заинтересованы в том, чтобы я этого не делал?

— Ля, си, ми...

Нет, это невыносимо, и доктор, еще раз поклонившись, оставил дитя в покое.

Господин Хольменгро проводил гостей до дороги и попрощался, намереваясь завернуть на мукомольню.

— Можно мне пойти с вами? — спросил Виллатс.

Ждал ли господин Хольменгро этого предложения или нарочно все подстроил? Ума и сообразительности на это у него достало бы. Его тяга к молодому человеку, радость по поводу его возвращения и от общения с ним, все это имело свои вполне объяснимые причины: молодой Виллатс напоминал ему о тех днях, когда он явился в Сегельфосс королем из сказки, стал своим человеком в доме лейтенанта и жил там, пока строился. Вот это были дни! Теперь времена изменились, король низложен. Кто знает, может, один из Хольмсенов еще раз войдет в его жизнь и поддержит его!

Мужчины не спеша поднимались по дороге, было три часа пополудни, припекало, навстречу им то и дело попадались рабочие с мукомольни, которые как раз в этот час имели обыкновение устраивать себе небольшой перерыв. Уж не рассчитал ли заводчик все заранее, чтобы Виллатс сам, лицом к лицу, столкнулся с этим безобразием?

Но молодой Виллатс, казалось, пока ничего не замечал.

— Забавные господа! — сказал он, думая про адвоката и доктора.— Слушая их речи, я понимаю, почему китайцы едят палочками!

Что он имел в виду? Их ограниченность, узколобость, ничтожество? Адвокат, безусловно, карьерист, но куда больше задевал его, пожалуй, доктор Муус, из них двоих главный. Не осталось ли в молодом человеке еще со школьных лет, проведенных в Англии, кое-чего от чванства, свойственного английскому gentry?[1] И не унаследовал ли он от своих предков каких-то геральдических представлений? Может, он заметил, что у этого изысканного доктора ботинки подшиты половинными подметками, и следы от спинки стула на фраке? А рубашки, которые доктор считает элегантными! Но все бы ничего, если бы только ему хоть раз удалось взглянуть на себя со стороны.

Ястреб охотится на ястреба! А задумался ли хоть раз Виллатс Хольмсен-четвертый, кто он сам-то есть? Наверняка ему об этом время от времени напоминали его приятели. Правда, иногда он в шутку утверждал, будто он последний отпрыск рода, сравнивал себя со старинным, вынутым из рамы, портретом. Но, говорил он, разве внешний лоск, стремление к щегольству, доставшиеся в наследство деньги, земельная собственность, разве все это — атрибуты обязательно банальной личности? Конечно, при всяком удобном случае он признавал, что за его плечами всего лишь двести лет. А его род? Его начинали лакеи и лизоблюды, которые стояли за спинками стульев, потом дослужились до управляющих и охранников, потом получили власть и стали нуворишами и наконец приобрели богатство. Вот откуда вело отсчет первое поколение. За ним последовало еще четыре, живших все в большей роскоши и неге, — сейчас род вымирал. Скажите на милость, что во всем этом такого уж примечательного? Разве закрыты лазейки для других, других плутов и паразитов?

Да, вино развязывает языки, Виллатс говорил, изливал душу.

— У них нигде нет корней, им бы только на юг,— сказал он, по-прежнему имея в виду адвоката и доктора.— Кто они? Чиновничьи души. Я все больше и больше убеждаюсь, что мой отец был прав, утверждая, что чиновник — один из презреннейших типов в любом народе, фабричное изделие. Жизнь купца, коммерсанта полна опасностей, он живет и выживает, постоянно рискуя самим своим существованием, вкладывая

---

[1] Нетитулованное дворянство (*англ.*).

его в дело, у него нет никаких гарантий, нет иного выхода, кроме как побеждать. Его жизнь отдана работе, спекуляциям и переживаниям, он идет навстречу своей великой судьбе: удаче или разорению. А какие переживания у чиновников? Перемещения, прежние обязанности на новом месте. Возьмем аристократию! Ее сила была в том, что она имела землю и домашний очаг, что она господствовала над определенной, большей или меньшей частью мира; их собственные лошади выезжали из собственных ворот на их собственные дороги и земли, за счет обработки их угодий жило множество людей. Аристократия не только закладывала основу семейного рода, но и привязывала его корнями к определенному месту. Когда аристократию истребили, ее права незаконно присвоили себе чиновники. Почему? Да потому, что они ничего не умели делать своими нежными ручками, кроме как управлять и писать. И вот такая-то чиновничья работа — выводить буковки — стала считаться благородным занятием. Чиновники остаются чиновниками на протяжении многих поколений, сын наследует отцу, им не грозят никакие опасности, в крайнем случае они могут оказаться не у дел из-за несданного вовремя экзамена. Они и впредь будут продолжать делать свое немудрящее, в высшей степени заурядное дело, которое унаследовали и за которое получают свое мизерное жалованье. Потомки начинают с той точки, на которой остановились предки, прошлое определяет будущее, путь известен, остается лишь по нему идти. А выдающиеся люди? Тут все совсем по-другому: богатство не наследуется до бесконечности, в третьем, четвертом поколении оно иссякает: гениальность умирает вместе с гением, он может возродиться, а может и не возродиться вовсе. Великие люди вычерпывают одаренность рода до дна; будь это возможно, им следовало бы разрешить производить на свет только дочерей. А чиновники могут без всякого риска производить на свет сыновей и посредственностей, пока сил хватает.

Вот как разглагольствовал молодой Виллатс, вот как вино развязало ему язык!

— Чиновники,— заключил он,— они ниоткуда, им подавай лишь юг. У них нет родного дома, они живут на чужой земле, в чужих домах. Только представьте себе — поколение за поколением оставаться бездомным, нести на себе вечное проклятие Господа! Дети не чувствуют себя дома там, где родились и выросли, их выдергивают с первого, второго, третьего места, где они пытались укорениться, потому что родителей гонит все дальше и дальше на юг, и они

переезжают, волоча за собой свои корни. Мне их жаль, это ведь дети, но они и их корни волочатся за домашним скарбом. Может, спустя много-много лет они отправятся путешествовать и попадут туда, где прошло их детство, но при виде родных мест их глаза не увлажнятся. Возможно, они и вспомнят какие-то свои мелкие приключения: вот у того камня, у той березы, вон в том ручье они пускали щепки. И ненадолго задержат на них взгляд. И уйдут. И отправятся путешествовать дальше. Посмотрите на этих людей: они так долго сидели за столом, что спина у них согнулась, их руки слабы и беспомощны, на носу очки, признак того, что ученость высосала зрение из их глаз, они слепы. Эти люди — аристократия страны. Вон они!

Молодой Виллатс получил возможность развернуться вовсю, ему никто не возражал. В компании своих приятелей он бы — уж будьте уверены — получил резкую и заслуженную отповедь: ха, глядите-ка, отпрыск заговорил, дворянчик вызубрил урок, который ему вдолбили в голову папаша и еще четыре предка. Мой отец был судья, его отец даже до настоящего лейтенанта не дослужился, так кто же из нас выше? А сынок-то, кто он сам? Сельский помещик! Что из него выйдет? Спросите гадалку! Когда человеку не надо сдавать экзаменов, у него почва уходит из-под ног, он все бросает и вновь оказывается в своем поместье в деревне. А там о нем уж позаботится какая-нибудь старая служанка. Отпрыск, дворянчик, он в ус себе не дует, у него есть служанка, она тоже досталась ему в наследство, у нее кружевной чепец и кроткие глаза: залежится он утром в постели, она придет и спросит, не захворал ли; засидится в кресле, она выманит его оттуда, чтоб от долгого сидения спина не заболела. Потом он умирает. И служанка носит на его могилу цветы. Таков конец. И заметьте, умирают лучшие из отпрысков и дворянчиков, умирают те, кто смирился и обессилел. Господин Виллатс Хольмсен, лишь самые ничтожные и ни на что не годные находят в себе силы противостоять смерти и продолжать жить...

Но у каждого из них мысли заняты своим, господин Хольменгро тоже, верно, думает про свое. Возможно, кое-что из речей молодого человека показалось ему знакомым, он узнал отголоски высказываний лейтенанта, его отца, который, что бы ни говорил, что бы ни делал, держался тех же взглядов. Господин Хольменгро до сих пор слышит голос старого лейтенанта, в его словах звучала неподдельная горечь, в устах же сына они куда более надуманны. Пожалуй,

в мысли о том, что великим людям не следует производить на свет сыновей, что-то есть.

Господин Хольменгро отвечал «да», «конечно», кивал, слушал, но думал о своем. Неужели молодой Виллатс не приметил отлынивающих от работы рабочих, этого безобразия? От серых глаз его отца, лейтенанта, такое бы не ускользнуло, он бы непременно поинтересовался, что происходит.

Какое-то время они шли молча.

— Это ваших людей мы встретили там, внизу? — спросил Виллатс.

— Да.

— Они вам не кланяются?

— Иногда,— ответил господин Хольменгро.— Как же, кое-кто кланяется.

— Но почему же не все? Вы ведь их хозяин?

— Очевидно, потому,— сказал господин Хольменгро,— что природа, производя на свет хозяев, не всегда оказывается на высоте.

— В этом все дело? — спросил Виллатс.

— Ваш отец, вот кто был настоящим хозяином. Я частенько его вспоминаю, его и его лошадь. Стоило ему лишь пальцем шевельнуть, и его работники бросались выполнять приказ...

— Попробовали бы они не броситься!

— И в то же время у него было доброе сердце. Он держался, потому что от него зависела судьба многих людей, он знал, пошатнись он, и упадут сотни.

— Да, именно так и было,— сказал Виллатс.— Вон еще один идет, посмотрим, поклонится ли!

Господин Хольменгро поднял голову, словно только сейчас увидел идущего навстречу человека, и сказал:

— Этот, пожалуй, не поклонится. Это Конрад.

— Какой Конрад? Тот, что взял ваши ботинки?

Господин Хольменгро печально улыбнулся.

— Да, это его выходка.

— И вы продолжаете держать его?

— Я держу его потому, что за его спиной товарищи, которые, уволь я его, будут бастовать.

— Ну и пусть бастуют! — сказал Виллатс.

Конрад поравнялся с ними и прошел мимо. На ходу он застегивал обшлаг рукава, делая вид, будто целиком поглощен этим занятием.

— Он не поклонился,— сказал Виллатс.— А куда, собственно, все они направляются?

— Не знаю. Устраивают себе перерыв, выходят погулять, так у них теперь повелось. Кое-кто, я вижу, расположился в лесу.

Взглянув на господина Хольменгро, Виллатс понял, что король из сказки утерял былую силу, губы его чуть подрагивали, глаза выцвели, стали водянистыми. Да, он постарел.

Виллатс остановился.

— Велите-ка этому человеку вернуться! Спросите его, куда он идет?

Господин Хольменгро повиновался.

— Конрад! Подойди-ка сюда на минутку!

Виллатс обомлел, услышав его просительный тон и увидев, что заводчик даже сделал пару шагов навстречу своему работнику; неужели он верит, что это поможет? Конрад ведь все равно не убыстрил шага. А подойдя поближе, не спеша, еле передвигая ноги, не стал ждать, что ему скажут, а спросил первый:

— Что надо?

— Куда ты идешь?

— Куда я иду? — повторил Конрад.— Да особо никуда.

— Разве рабочее время кончилось?

— Другие пошли поразмяться, и я тоже.

— Возвращайся на работу,— сказал господин Хольменгро.

Конраду, похоже, все это показалось немного странным, непривычным, случилось что-то удивительное, какое-то преображение: у заводчика прорезался голос, он не повернулся, бросив пару слов, торопясь поскорее скрыться, как бывало раньше. И кроме того, он был не один, с ним молодой помещик, что бы все это значило?

— Пожалуйста, я вернусь, ежели и другие сделают то же самое,— сказал Конрад, поворачивая обратно.

— Что там такое, Конрад? — крикнули с опушки леса.

— Велят идти работать,— ответил Конрад.

— Пойдем, ребята, разберемся-ка! — донеслось с опушки.

Из леса показался Аслак, высокий, широкоплечий парень с трубкой в зубах. На нем была кепка и зеленая ветровка, на ногах высокие башмаки с пряжками на голенищах. За ним шли еще двое рабочих, без пиджаков, в соломенных шляпах — они курили сигареты.

Процессия двинулась вверх по дороге. Конрад замедлил шаги, дожидаясь приятелей, они оживленно заговорили.

— Разберемся! — сказал Аслак.

Господин Хольменгро шел с опущенной головой, погрузившись в раздумья. С опущенной головой? Никак не подобающая выправка для короля. Может, он, следуя определенному плану, собирается ковать железо, пока горячо? На мукомольне он спросил Бертеля из Сагвики:

— Послушай, Бертель, эти люди, видно, тебе не нужны, ежели они разгуливают в разгар рабочего дня?

— Нужны, конечно,— ответил Бертель.

Подошел, движимый своим неудержимым любопытством, Уле Юхан.

— Еще бы не нужны! — сказал он.

— Но ведь они разошлись кто куда?

— Так уж у них заведено,— сказал Бертель.

— Так у нас заведено,— раздался голос Аслака.

Господин Хольменгро повернулся к рабочим:

— Ну что ж, больше так у нас не будет заведено.

— Не будет, значит,— сказал Аслак.— Это вы один решаете?

— Да.

— Ну-ну. А я-то, дурак, думал, что нам тоже есть что сказать.

— Нет.

— Ха-ха. Больно вы расхрабрились!

— Ребята, с нами больше не хотят считаться! — воскликнул Конрад.

Ропот. Один за другим подходят, прервав прогулку, рабочие, должно быть, чуют — заваривается какая-то каша. Аслак курит, сплевывая на землю, когда трубка погасла, он вновь зажег ее несколькими спичками сразу. Здоровенный, сильный мужик, он, по-видимому, уверен в себе.

— Ступайте работать, ребята! — приказал им хозяин.— Те, кто хотят, пусть идут работать, остальные могут уходить!

Короткая пауза.

— Что же это происходит, товарищи, или мы превратились в рабов? — спросил Аслак.

Заводчик цыкнул на него:

— А ты, Аслак, в любом случае можешь уходить.

Никогда прежде не слышал Аслак от заводчика подобных речей, он даже про трубку от неожиданности забыл. Опомнившись, он принялся объяснять, что этот перерыв в разгар рабочего дня они ввели года два назад и не собираются

уступать, а в заключение сказал, что если уйдет он, за ним уйдут и многие другие.

— Мы все уйдем! — прозвучало в ответ.

Такая дружная поддержка приободрила Аслака, здорово приободрила, и, преисполнившись уверенностью и злостью, он заговорил с хозяином с дерзкой непочтительностью, называя его Тобиасом и обращаясь на «ты».

— Мы знаем, откуда ты явился,— сказал он,— ты родом с острова и зовут тебя Тобиас, не строй из себя папу римского. И коли я еще одно слово от тебя услышу, уйду.

— Прекрасно, отправляйся к начальнику пристани и получи расчет,— кивнул господин Хольменгро.

Но у Аслака, судя по всему, был в запасе какой-то сильный аргумент, крупный козырь, он ухмыльнулся злобно и оскорбленно. Посмотрев на молодого Виллатса, стоявшего несколько в стороне и невозмутимо взиравшего на происходящее, он спросил:

— Уж не из-за этого ли господина ты таким гордым заделался сегодня, а, Тобиас?

— Все, ребята, либо возвращайтесь к работе, либо убирайтесь! — громко крикнул заводчик.— А ты, Конрад, убирайся немедленно!

Но Аслак, уже связав в своем сознании молодого Виллатса с надвигающейся катастрофой, был не в силах вот так сразу отвязаться от него.

— Может, это зятек твой там стоит? — спросил он заводчика.— Так давай его сюда, мы с ним поздороваемся! — В конце концов до него дошло, что Конрад тоже уволен, лицо его прямо просветлело при мысли о заготовленном им аргументе, козырной карте, и он сказал: — Так, попались мы с тобой, Конрад!

Решение было принято, все слова сказаны, господин Хольменгро со своим спутником начали спускаться по дороге. Заводчику, казалось, собственное мужество не доставило удовольствия, он по-прежнему шел опустив голову. Уму непостижимо, ведь королю полагается высоко нести голову, а уж старому морскому волку и искателю приключений завершать дело без обмена револьверными выстрелами и вовсе не годится. Он поднял на молодого Виллатса свои водянисто-голубые глаза:

— Вот уже много лет, как я не испытывал радости!

Было ли то откровение высокомерного господина?

Аслак закричал им вслед:

— Ты взъярился на Конрада, как я погляжу, за то, что он твои ботинки на танцы надел... ха-ха, о господи! А на какие танцы ты сам-то по ночам шастаешь, Тобиас? Думаешь, мы тебя, фармазона, почитаем! Шляешься по домам да по сеновалам, тебя много кто видел. Под меховиком отплясываешь!

Аслак продолжал орать. Это-то и есть его козырь. Столпившиеся вокруг рабочие от души хохочут. Господину Хольменгро, по-видимому, не терпится как можно скорее уйти подальше, с безответной улыбкой он трясет головой, словно хочет сказать: неслыханные обвинения! Виллатс, побледнев, останавливается.

— Минуточку! — говорит он, поворачивая обратно. Он возвращается, медленно снимая на ходу перчатки.

— Гляди-ка, зятек идет! — кричит Аслак.— Поприветствуем зятька! — кричит он.

Виллатс подходит к нему, молниеносный взмах рукой, и Аслак на земле. Он что, гантелей ударил? Господи, вот это кулак, беспощадный английский кулак, жертва и пикнуть не успела, только дернулась, это конец.

Толпа раздается, кто-то пятится, Виллатс наступает.

— Ежели вам меня надобно, так я же уволен,— жалобно говорит Конрад.

Товарищи, услышав его слова, вспоминают, из-за чего, собственно, разгорелся весь сыр-бор: им велено либо немедленно приниматься за работу, либо отправляться за расчетом. А вот и заводчик, хозяин идет обратно, все, может, еще образуется, стоит им вернуться на свои места. Это же не заводчик нанес удар, заводчик, как правило, не дерется...

Они подталкивают друг друга, перешептываются, по двое расходятся по местам. И трусливо бросают беднягу Конрада на произвол судьбы. А Конрад бросает Аслака. В том-то вся и беда: они приезжают на работу на велосипедах, они носят башмаки с пряжками и сезонные костюмы от Теодора-Лавочника, они переняли внешние, самые негодные нравы нарождающегося городка, но характеры их не изменились. Да, в том-то вся и беда.

Господин Хольменгро прямо-таки ошарашен, но он был бы последним глупцом, если бы не испытал удовлетворения. Господин Хольменгро глупец? Все что угодно, только не это. Но вид у него чрезвычайно растерянный.

— Извините, что заставил вас присутствовать при сей сцене,— говорит ему Виллатс.

Аслак зашевелился, сел, схватившись за голову, потом встает, находит кепку и уходит. Пройдя несколько шагов,

оборачивается и смотрит на тех двоих, после чего идет дальше вниз по дороге. Внизу он нагоняет Конрада. Должно быть, направляются к начальнику пристани за расчетом.

— Да, так-то оно вот,— бросает господин Хольменгро в пространство.— Что я хотел сказать? — говорит он.— Я их уж сколько лет прошу, а они все наперекор мне шли. Бертель, куда они делись? Пошли работать?

— Похоже на то.

— Они уступают только кнуту,— говорит Виллатс, нахмурившись.

Господин Хольменгро качает головой, матрос в нем, пожалуй, ухмыляется, но человек прозорливее: не исключено, что через три дня история повторится. Аслак не умер, дух его еще жив.

Они спускаются по дороге, и Виллатс говорит:

— Простите, но к вам это не имеет никакого отношения. Этот человек не раз добивался свидания со мной, и я подошел к нему по собственному почину. Поприветствовал.

— Да, да,— отвечает господин Хольменгро.

Жалок он? Или умен? Не решается поддержать того, кто вызвался поддержать его? Или не хочет? Сказочному королю не пристало проявляться чересчур явно, ему лучше оставаться мифом. Но всего поразительнее, что господин Хольменгро, вдруг напустив на себя важность, принимается хвастаться:

— Они считают, что я обеднел, потому-то и потеряли ко мне почтение. Я несколько сократил производство, понес кое-какие убытки, два-три раза повышал цену на муку, все это представляется им дурным предзнаменованием. А у меня,— продолжал он энергично, разом помолодев,— а у меня средств достаточно, чтобы терпеть убытки хоть по гроб жизни. Но я ведь не могу им об этом сказать. А средств у меня достаточно.

Опять он король! О, этот Хольменгро умеет выныривать из мифа на поверхность и вновь погружаться в глубину, оставляя после себя сияющий след!

— На востоке идет война,— сказал он,— Япония сейчас платит золотом за каждую тонну груза.

Виллатс взглянул на него. Да в здравом ли он уме?

— Вы и с Японией ведете дела? — вежливо поинтересовался он.

— У меня длинные руки,— ответил с улыбкой господин Хольменгро.— В свое время я вел дела с Кубой, Пуэрто-Рико, Филиппинами, Антильскими островами, Ямайкой.

Сказка. Конечно же, господин Хольменгро король.

— Но обо всем этом,— продолжал он,— я не могу рассказать этим людям, вот они и решили, что имеют право чихать на меня! Да, кстати, у меня есть давний план, о котором я собирался с вами потолковать. Но не хочу вас мучить сегодня, после этой сцены.

— Напротив. Очень интересно...

— План этот зародился у меня, еще когда был жив ваш отец, но я не успел обсудить его с ним. Вы ведь владеете обширными горными участками, милями зеленых горных пастбищ. Почему бы вам не сдать их мне в аренду или продать?

— Там же нет дичи,— ответил Виллатс.

— Правильно, нет. Потому-то вам от них никакой пользы. А я бы пас там круглый год овец.

Виллатс кивнул: старики Кольдевины тоже держали круглый год сотни две овец на подножном корму.

— Я собираюсь начать с малого, с тысячи голов, а потом постепенно увеличить поголовье. Нет, я, пожалуй, начал бы с двух тысяч, но это в любом случае немного, в Мексике я видел стада крупного рогатого скота совсем других масштабов. Вы сами говорите, что в горах нет хищников, нет волков, медведей, животные могут пастись там без пастухов. В горах есть вода, водопои: они могут спускаться к морю, а там морская трава; там множество горных ущелий, где можно укрыться. Место весьма подходящее. Подумайте на досуге и дайте мне знать, если решите.

— Подумаю.

Мужчины распрощались, и Виллатс свернул к усадьбе. Сейчас он видел ее сбоку, видел обращенные на запад фронтоны и спускавшиеся к морю уступы. Когда-то, в великом прошлом, его домом был весь Сегельфосс.

ЧАСТЬ II

1

«По нашему мнению,— писала «Сегельфосс Тидене»,— насилие и рукоприкладство являются абсолютно неприемлемыми действиями, неслыханными в нашем крае. Как нам стало известно, такие действия имели место несколько дней тому назад, и в них обвиняют человека, которого никто бы не мог заподозрить в подобного рода опрометчивом поступке. Дело

передано в суд. Мы вновь повторяем золотые слова, под которыми мы и все здравомыслящие люди готовы подписаться, а именно: в нашей стране есть закон и порядок, четкие формулы закона распространяются равно на верхи и на низы. И никому не дано их нарушать».

Виллатса вызвали на так называемое разбирательство, не в согласительную комиссию и не на полицейский допрос, называлось это расследованием, которое на самом деле свелось к тому, что старый ленсман из Уры, добродушно и благожелательно отнесясь к обеим сторонам, добился примирения. Так он поступал всю жизнь, и лучше способа не придумаешь. Правда, Аслак привел с собой поденщика Конрада и других свидетелей, так что выглядело все это довольно внушительно, но свидетели оказались ни к чему, господин Виллатс Хольмсен признал факт удара кулаком и спросил, сколько он стоит. Ленсман посмотрел поверх очков на Аслака, Аслак поразмышлял и назвал цену.

— Это слишком мало! — сказал господин Виллатс Хольмсен, и ленсману показалось, что он слышит голос отца Виллатса, лейтенанта. И молодой Виллатс заплатил вдвое больше. Удивительная была сделка, покупка голов для вышибания из них мозгов.

— Но,— сказал молодой Виллатс, выкладывая деньги на стол,— в следующий раз, если этот человек заслужит удара моего кулака, я ударю еще сильнее!

— Конечно, конечно,— сказал ленсман, не для того, чтобы подлить масла в огонь, а, наоборот, чтобы утишить страсти,— конечно, но тогда вам придется заплатить еще один штраф.

— Я заплачу,— ответил Виллатс.

Этот номер «Сегельфосс Тидене» был вообще предельно содержательным — со статьей самого адвоката Раша, передовицей, посвященной театру. Статья была написана толково и со знанием дела. «Воистину,— писал адвокат,— показать первоклассное сценическое воплощение такой сложной пьесы, как «Змея подколодная», достижение немалое, особенно если учесть, что поставила ее странствующая труппа». Он проанализировал пьесу и таящиеся в ней сюрпризы; «но,— писал он,— за успех представления мы в первую очередь должны поблагодарить примадонну Лидию. Она несравненная актриса и провела свою роль под гром рукоплесканий зала. Во многих сценах, особенно в сцене с отравленным кубком, ее игра поднималась до таких трагических высот, которые вызывали в памяти сходные сце-

ны в исполнении самых знаменитых актрис. Из других актеров следует прежде всего отметить фрекен Сибиллу Энгель, которая своей ослепительной внешностью и своей игрой заслуживает всяческих похвал. Руководитель труппы выступил в роли генерала. Это представитель старой школы. Конечно, он достиг бы того же эффекта и без излишнего утрирования, но моментами он был великолепен. Остальным актерам и актрисам пока еще не пришлось сыграть сколько-нибудь значительных ролей, где они могли бы полностью раскрыть свое дарование; но надеемся, что эти превосходные артисты не в последний раз гастролируют в наших краях. Просвещенная публика будет рада приветствовать их у нас еще раз!»

Далее адвокат Раш направил острие своей критики на сам театр: «Театр не должен находиться на окраине города, подобной практики нет нигде в мире. Не принято также перестраивать так называемый лодочный сарай в храм Талии; владелец театра господин Теодор Енсен мог бы без всякого ущерба проявить больше приличествующего случаю здравого смысла. О самом помещении следует сказать, что оно, учитывая обстоятельства, более или менее отвечает предъявляемым ему требованиям, однако ряд недочетов необходимо исправить. Со стороны специалистов уже были высказаны замечания по поводу вентиляции, здесь же следует добавить, что скамейки — это, конечно, неплохо, но лучше это были бы скамейки со спинками. Еще несколько общих соображений: современная театральная публика испытывает неудобство, не имея в руке программку, во многих заграничных театрах мальчики продают программки по десять эре, которые зрители покупают, не торгуясь. «Сегельфосс Тидене» готова в самые короткие сроки напечатать к следующему представлению программки. Но что случилось с музыкой? За весь вечер не предложить зрителям никакой музыки в антрактах — это значит недооценивать музыкальную жизнь Сегельфосса. И пусть в зале сидели просвещенные зрители, которым, возможно, доводилось слышать выступления оркестров и с двадцатью музыкантами и на которых, пожалуй, один рояль, как бы хорошо на нем ни играли, особого впечатления не произведет. Но лучше хоть что-то, чем ничего. Для той же части публики, которая по религиозным мотивам явилась в театр преимущественно ради музыки, тишина в антрактах была и вовсе непереносима. Нам стало известно, что вина за это опять-таки ложится на господина Теодора Енсена, и мы хотели бы посоветовать ему к следующему разу достать фортепиано. Владелец театра выступил

с хорошим начинанием, но ему еще немало предстоит сделать, чтобы полностью оправдать наши ожидания. Господин Теодор Енсен пока единственный лавочник в округе, это положение, безусловно, скоро изменится; ему следует самому проявить инициативу, дабы исправить все недочеты, с тем, чтобы привести свой театр в достойный вид и не обмануть ожиданий тех трупп, которые доверчиво обращаются к нему с просьбой о предоставлении помещения». Последние слова предназначались народу, Сегельфоссу и его окрестностям: «Вы по-прежнему продолжаете называть этот храм искусства сараем, мы самым решительным образом протестуем против того, чтобы публика давала прозвища городскому театру. В противном случае это приведет к спаду посещаемости. Просвещенные люди безусловно откажутся получать удовольствие от драматического искусства, если им придется искать его в сарае».

Такова была статья адвоката Раша. В общем и целом — удар по Теодору-Лавочнику, сумевшему залучить в городок драматическую труппу и давшему ей пристанище! А как же воспринял все это Теодор? Он вел защиту у себя в лавке, ловко оправдывался, как и подобало такому смекалистому парню, пользуясь каждым случаем, когда лавка была битком набита народом. Естественно, первые дни он был несколько молчалив и подавлен, но потом отыгрался в полной мере.

— Да кто он такой, этот Раш? Разъевшийся адвокат! — говорил он. Больше всего его задело то, что в статье его называли лавочником.— Торговцев, у которых заведения куда меньше моей фирмы, и то называют купцами,— говорил Теодор-Лавочник.

Вполне резонно было предположить, что он испытывал теперь нехватку денег: с ним до сих пор не произвели расчет за треску, а сам он оплатил весенние товары, десять большущих ящиков мануфактуры, да еще и театр построил. Нет, Теодор вовсе не испытывал нехватки денег. В один прекрасный день, когда в лавке было много покупателей, он вышел из своей конторы, помахивая кредитным билетом, а в этот момент начальник станции Бордсен снова покупал табак на какую-то несчастную мелочь. Теодор громко обратился к Бордсену:

— Вам приходилось видеть новые тысячекроновые банкноты?

— Слышать приходилось,— ответил Бордсен,— слышал даже, с каким почтением о них отзывались. Но видеть не видел.

— Вот, посмотрите,— сказал Теодор.

Банкнота, кстати, была не новая, но обращались с ней так бережно, что она вполне могла бы сойти за новую. Ах, этот чертов Теодор, небось заставил свою мамашу прогладить ее утюгом специально для этой демонстрации! Потому как равных Теодору не сыскать во всей округе. Так считали и все собравшиеся в лавке, своими глазами видевшие банкноту.

Чего ради, собственно, лез из кожи Теодор-Лавочник? Какую поставил перед собой цель? Он не был жадный, как папаша, и не прятал деньги в стенные щели. Разумеется, он хотел стать большим человеком, крупным дельцом. Вот ведь получил же он агентуру на продажу маргарина «Госсен» на всю округу вплоть до Тромсё! Это была практически генеральная агентура, и все торговцы северных областей вынуждены были обращаться за маслом «Госсен» к Теодору-Лавочнику — за маслом из Госсена, знаменитого своими пастбищами! С завода прислали великолепные рекламные щиты, разрисованные яркими красками, которые украсили фасад лавки, сделав его похожим чуть ли не на земной рай.

Так что Теодор-Лавочник, верно, был доволен?

Наступали вечера, наступали ночи, Теодор искал уединения и мечтал. Дни, когда они с ней еще не прошли конфирмацию и катались на санках, были, пожалуй, счастливейшими в его жизни; с тех пор он, правда, тяжким трудом выбился в люди, но она была для него потеряна. Он помнит тот последний раз, когда он тащил домой ее санки, она была уже тогда совсем большая.

— Спасибо, поставь санки вон туда! — сказала она. Дверь распахнулась и захлопнулась за ней. То был последний раз. С тех пор миновали годы, он не может ни рисунка ей нарисовать, ни песни сочинить, он беспомощен. Став купцом и разбогатев, он не однажды собирался сделать ей какой-нибудь дорогой подарок из того, что было в лавке; но с шалью из чистой шерсти вышло глупо: она вернула ее, осведомившись при этом, что бы все это значило. Теодор, правда, выкрутился: он же торговец, он хочет, чтобы эти первоклассные шали носили женщины Сегельфосса, а добиться этого будет намного легче, если она первой покажет пример. Она поблагодарила, спасибо, конечно, но она еще не так стара, да и не замужем, чтобы шали носить! Посредницей в этих переговорах выступала одна из ее служанок.

Надо быть дураком, чтобы после такого холодного душа продолжать посылать ей подарки. Разве Теодор дурак? Ни в коей мере. Но и по сей день он, случалось, откладывал в

сторону какую-нибудь особо красивую вещицу из ассортимента лавки, мечтая, как пошлет ей завернутый в папиросную бумагу пакет, и, лишь когда вещица вылеживалась достаточно долго, он разрешал приказчикам продать ее. Вот какой ранимой и смиренной была любовь Теодора-Лавочника.

Наконец ему показалось, что он нашел деликатный способ оказать ей внимание: если в Сегельфоссе будет театр, он станет изредка посылать ей билет: без этой задней мысли он бы, пожалуй, и не взялся строить театр. Но и здесь не обошлось без сложностей. Полдюжины билетов на торжественное открытие — ладно, пожалуйста! Но... ежели на том дело и кончится, ему пользы никакой; а ежели ж, напротив, ему придется веки вечные посылать ей полдюжины билетов на каждое представление, так это ведь ни одно нормальное предприятие не выдержит — ха, это Теодор-то бутон! К тому же, подумал он, небось пять из шести билетов будут выброшены на ветер, поскольку достанутся пяти совершенно посторонним лицам. Нет уж, благодарим покорно.

Так он предавался мечтам и горевал, сидя у своего окна и глядя в сторону ее дома. Дни были заполнены повседневными хлопотами и заботами, а вечера — ревностью и грустью: «Прощайте, фрекен, будьте счастливы! Я ненадолго заглянул сюда, в мою одинокую комнатушку, и бодрствую, пока ты спишь. Пусть я ничтожество в сравнении с ним, я буду любить тебя преданно и искренне до последнего вздоха. Я слишком жалок и убог, чтобы роптать и противиться тому, чем оделит меня в жизни судьба. О, благородная фрекен, не наступи на змею, простершуюся во прахе, это может обернуться для тебя бедой, что было бы противу моего желания. А что же до него, то пусть не забывает: Сатана гордился, с неба свалился! Я без устали стану работать, чтобы достичь высот в моем деле, и когда-нибудь он узнает, кого сделал навеки несчастным. Тысяча чертей!»

А на следующий день он вновь прежний храбрый парень.

Глядите-ка, пальцы обеих рук унизаны кольцами, на нем серый летний костюм, элегантнее не бывает. Дело дошло до того, что он каждый день выставляет за дверь свои башмаки для чистки и является в лавку весь с иголочки. Его отец, лежа в своей мансарде, и ведать не ведает об этих переменах, бывают дни, когда он вовсе не видит сына, а ежели стучит палкой в пол, сын приходит, только если у него есть свободная минутка. Так вот уж повелось. Старому Перу-Лавочнику чужды всякие тонкости: почему это летом надо носить светлое, а зимой темное? Носишь то, что есть! Но Пер-Лавочник

и в подметки не годится своему сыну. Теперь Теодор, здороваясь, в знак приветствия снимает шляпу, как это принято в других городах, но ничего при этом не говорит, не говорит «здравствуйте», никто нигде этого не делает. Теперь Теодор пишет S.E.&.O. на своих счетах, да и в письмах тоже. «Что означают эти буквы?» — спросил его как-то хозяин гостиницы Юлиус, человек приставучий и назойливый. «Тебе не понять,— ответил Теодор,— это латынь, и все крупные фирмы так пишут». На что Ларс Мануэльсен заметил: «Был бы здесь Лассен, сынок мой, он бы уж сумел объяснить!»

А недавно Теодор заимел копировальный пресс и копировальную книгу, даже несгораемый железный шкаф завел, из тех, что сгорают дотла при пожаре. В нем он хранил учетные книги фирмы. Ох, знал бы обо всем этом его отец — знал бы, что его лавка превратилась в фирму и что лавка ведет учетные книги.

Но старый Пер-Лавочник каким-то образом учуял, что прогресс завел и лавку и сына на край пропасти. Само собой, он прознал и о грузах с треской, которые уже давно стали привычным ежегодным явлением, и о том, что сарай превратился в большущий танцевальный зал, да и по самым разным мелочам замечал, что изысканность и роскошь проникли в его дом и семью. Солидной, без затей, повседневной торговле пришел конец.

Он постучал палкой в пол.

Наконец явилась его жена, явилась фру лавочница. С годами она растолстела и теперь уверенно командует двумя служанками. В прежние времена было по-другому, тогда она делала всю работу одна, да вдобавок у нее на руках было несколько ребятишек. Но два мальчика умерли от скарлатины, а обе дочери выросли и разлетелись в разные стороны: одна пристроилась у купца Хенриксена в Утвере, а другая у консула Кольдевина в Вестланне — ясное дело, обе стали экономками и домоправительницами, весьма важными дамами. Теперь с фру лавочницей дома остался один Теодор, но зато он и достиг больше всех остальных. Спокойно и медлительно расхаживала она по дому и уже не торопилась бежать наверх, когда муж стучал в пол. Так вот теперь повелось. Она только, приходя, зорко следила, чтобы он не смог дотянуться до нее палкой, после чего обычно спрашивала: «Господи, ну чего ты так стучишь?»

Пер-Лавочник, не склонный к доверительности, прожил жизнь, не удостаивая свою жену разговорами, а когда сму

все-таки по необходимости приходится с ней заговаривать, глаза его суровеют.

— Позови Теодора!

— Как знать, сможет ли он найти свободную минуту,— отвечает жена.

О, прогресс заразил и госпожу лавочницу, она выражается изысканнее, чем прежде, и не жалеет усилий, чтобы ее слова звучали еще более изысканно. Но глаза Пера-Лавочника от таких изысканных речей мягче не становятся.

— Вот ужо найду вам свободную минуту! — кричит он, хватаясь за палку.

С него станет, он вполне может швырнуть в нее палку. Эту возможность не стоило исключать, у него и правда оставался этот последний выход. Посему госпожа лавочница поспешила ретироваться.

А муж остался лежать. Как лежал он все эти бесконечные годы, парализованный на одну сторону, беспомощный и злобный, то совсем неуправляемый, то раздавленный. Этим летом он и вовсе стал невыносим — умом болезненнее, нравом злее. Прежний привычный способ поддерживать в себе жизнь жратвой уже не помогал. Какой толк от жратвы? Разве что продлишь с ее помощью существование, которому все равно скоро придет конец. Впрочем, Пер-Лавочник вовсе не желал заканчивать свое существование. Разве он доставлял жизни какие-нибудь хлопоты? Да ничего подобного, зарубите это себе на носу! И пока он ощущает в себе хоть крохотную искорку жизни, он хочет жить, он будет жить год за годом, его жена, да и его сын сойдут в могилу прежде него. Зарубите это себе на носу! Он победит и вот уж посмеется вволю, когда ему перевалит за сто и он вновь возьмет дело в свои руки, раз уж сын превратится в немощного старика.

Перу-Лавочнику есть о чем поплакать.

Можно подумать, будто он не лил слез! К примеру, отобрали у лавки право на продажу спиртного, а что он мог сделать? И кто приглядывает нынче за бочками с патокой в подвале? Кто чистит гири и следит, чтобы они не покрылись патиной и не стали тяжелей, чем надо? Ох, а ему приходится валяться здесь, потому что одна сторона тела мертва, и нет у него никакой возможности заниматься тем, к чему он призван! Вот было бы здорово, кабы отрезать мертвую половину, похоронить и навсегда избавиться от нее, на кой она ему — лишь в убыток и в тягость. Перу-Лавочнику не понять, что мертвая половина все же приносит ему некоторую пользу, ему бы подумать, что с ней куда устойчивее лежать в

кровати, чем без нее, а уж когда он приподнимается и садится, она просто незаменима.

Теодор все не идет. Значит, не может найти свободной минуты! Ну, поглядим!

В здоровой руке у Пера-Лавочника силы хоть отбавляй, он хватает стул и что есть мочи колотит им по полу. Внизу, в лавке, да и далеко за ее пределами грохот слышен отлично, и, чтобы положить этому конец, Теодор находит свободную минуту и поднимается к отцу. Он уже не снимает с пальцев перстней, он является во всем своем великолепии, отцовские глаза мягче от этого не становятся.

— Так, нашел-таки свободную минуту!

Теодор раздраженно отвечает:

— Не понимаю, чего ради ты крушишь дом. Чего тебе надо?

У отца на секунду отнимается язык.

Весь заросший бородой, лысый, верхняя губа вздернулась, обнажив зубы — он похож на разъяренного зверя, и вид у него препротивный.

— Хо-хо, чего мне надо? Ах ты, щенок! Я тут лежу и стучу в пол, дерьмо ты эдакое! Я тебя побеспокоил? Дай-ка поглядеть на твои цацки, лавка платит! Чего мне надо? Сказать пару слов хозяину, щенку, ишь какой красавчик, только взять и подтереться. И мамашу твою я побеспокоил? Вздумал стучать в пол и беспокоить их дерьмовую милость. Ну, чего стоишь? Садись, коли не брезгуешь! Тьфу!

Но Теодор не садится, папаша явно сбрендил, с него станется, чего доброго, и палкой запустит. Теодор отходит к окошку, там он в безопасности, папаша не захочет рисковать стеклом. Впрочем, Теодор не так уж и испугался, он вовсе не щенок, голыми руками его не возьмешь!

Отец опять сплюнул — тьфу!

— Спички получил? — спросил он.

Теодор и думать забыл об этой ребячьей выдумке с тысячью гроссов спичек и лишь сухо ответил «нет».

— Так я и знал,— кивнул отец,— не будет спичек Нечистому! А соль получил?

— Нет.

В этот миг Пер-Лавочник и осознал, что навсегда выброшен из игры, его сын даже вида не делает, будто слушается его. Ну что ж! В ярости он с маху бьет здоровой рукой по столбику кровати и вскрикивает от боли — рука поранена и тут же начинает сохнуть, здоровая рука тоже сохнет и умирает, с пальцев, вверх по кисти, к плечу. Он чувствует

свинцовую тяжесть во всем теле. Да что же это — что же это такое? Неужто из-за ушиба, из-за этого пустякового пореза? Ерунда ведь! В бешенстве он наклоняется, хочет вцепиться в рану зубами, но не дотягивается, только смотрит на нее, облизывается и ворчит. Точно безумный зверь. Пер-Лавочник беспомощен. Ладно, но только чтобы никто не видел! Он пытается скрыть свою беспомощность, вздергивает плечами, словно ему неудобно сидеть, словно он может самостоятельно принять более удобное положение; ему удается подпихнуть одну мертвую руку другой, руки мягки и податливы, они пучатся, как тесто. Волна отчаяния уже готова захлестнуть его, но у него хватает сил преградить ей путь. Он обращается к сыну, обращается точно к стихиям, к морю и грому:

— Я хочу произвести раздел. Девчонки должны получить свою долю, пока ты нас не разорил.

Ох, черта с два он думает о девчонках, просто сказал первое, что пришло на ум.

— А себе я возьму выдел, и все это должно быть записано!

Теодор не отвечает.

— Ты слышишь? — кричит старик.— Пусть придет адвокат!

Теодор ушел.

Чепуха, никакого адвоката не будет. Раздел? Как? Разделить лавку, выделиться, разрушить то, что создано? Нет уж, извините, наоборот, мы прикупим земли, мы будем расширяться! Посыльного к адвокату не пошлют, а отец парализован, сам сходить за ним не в силах. Так время и пройдет.

Только вот папаша может начать вопить, в конце концов кто-нибудь услышит с дороги и приведет к нему адвоката. Не исключено. Ладно, Теодор поговорит с господином Хольменгро, ему и раньше не раз удавалось обуздать отца. А ежели ничего не поможет, придется пригрозить сумасшедшим домом!

Дни шли.

Жизнь представлялась Теодору охотничьими угодьями, широким лугом, которыми он распоряжался как хотел, он работал не покладая рук, получая удовольствие от своих трудов. Театр процветал, там устраивались танцы, а каждую субботу балы, и молодежь на здоровье не жаловалась. На скалах успешно сушилась рыба, через пару недель груз можно будет погрузить в шлюп и отправить на продажу, а это хорошие деньги, даже за вычетом задатка, деньги на безде-

лушки, на расширение дела, деньги на удовольствия. Теодор купил себе большой граммофон. Сперва он держал его в театре и когда заводил — бог ты мой, какую же печаль навевал на него коронационный марш и «Forget me not»[1]. Но жажда деятельности требовала от него чего-то большего, и, будь карусель достаточно благородным развлечением, он обязательно установил бы на площади этакую громадину с шарманкой и флажками, вот денежки потекли б! Но карусель — это шум и гвалт, это ярмарка. Нет, он все чаще подумывал о кинематографе, как в других городах, это благородно, а денег приносит еще больше! Ах, сколько же всего можно сделать в Сегельфоссе! Когда прошел слух, что адвокат Раш готовится устроить большое празднество в своем саду, Теодор только презрительно махнул рукой — и на празднество, и на предстоящее жалкое угощение. Нет, уж коли на то пошло, так у него есть гагачий базар, а там домик, можно отправиться туда, прихватив граммофон и богатые припасы. Только бы залучить с собой кого-нибудь из господ!

Но однажды Теодор зашел чересчур далеко!

Каждый раз, когда он заводил граммофон в театре, это кончалось одним и тем же: снаружи собирались люди, прилипая лицами к окнам; и вообще, какой прок сидеть и наслаждаться граммофоном в одиночку, ведь его цель — блеснуть этой новой музыкой перед всем городком. А что, если отнести его домой, в лавку! Это привлечет народ и увеличит торговый оборот, можно воспользоваться случаем и объявить, что граммофон обошелся ему в копеечку, можно показать, как работает его нутро. Все с ног попадают.

Он отнес граммофон домой, снял трубу, завел ручку, и зазвучала музыка.

Все попадали с ног. Но наверху, в мансарде, тотчас же раздался шум, в пол застучала палка.

Ибо у Пера-Лавочника здоровая рука вовсе не отсохла, он просто ее так неудачно ушиб, что она онемела, теперь же она снова ожила, и он мог с прежней силой колотить палкой. А на рану он и внимания не обращал, оставил ее — извольте! — без повязки. Рана, естественно, разошлась и слегка кровоточила каждый раз, когда он брался за палку, но, извольте, пусть себе кровоточит!

Что это еще за музыка внизу, в лавке? Ладно, хороший повод постучать палкой! Когда палка не подействовала, был пущен в ход стул. А музыка продолжалась. И тут произошло

[1] Не забывай меня *(англ.)*.

непредвиденное. Пер-Лавочник заревел. Да, в лавку проник звериный рев одинокого человека, рев железного быка!

Но Пер-Лавочник уже столько лет не показывался в лавке, что его никто и не помнил, не питал к нему никакого почтения. Поэтому, когда Теодор остановил, покачивая головой, музыкальный ящик, разочарованию присутствующих не было предела. Вот, мол, некоторые люди не выносят музыки, ворчали они, а собаки и вовсе, бывает, впадают от нее в бешенство. «У папаши голова не совсем в порядке!» — загадочно проговорил Теодор.

Ему теперь стало яснее ясного, как реальна и близка надвигающаяся опасность: отец будет и дальше вопить. Рано или поздно это привлечет внимание, а кончится тем, что явится адвокат, и тогда Теодору не избежать раздела и других неприятностей. Раздел, и именно сейчас, отбросит его назад, поставит в жалкое положение, разорит. Даже если сестры и оставят свою долю в деле, он сильно упадет в людских глазах, опустится до положения управляющего лавкой. Впрочем, сестры наверняка сразу же потребуют свои деньги, они им нужны, осень и весна весьма дорогостоящие времена года для обеих дам. Домой во множестве присылались поношенные юбки, которые толстухе-матери все равно не годились, но которые она с гордостью демонстрировала и раздаривала служанкам по всей округе.

Теодор раздумывал, чем бы укротить отца — то ли огнем, то ли водой. Послушай-ка, отец, репетировал он, поднимаясь по лестнице к старику, послушай, ежели ты еще хоть раз вздумаешь реветь таким манером, будь уверен, я запрячу тебя в сумасшедший дом! Увы, придя в отцовскую комнатушку, он не решился этого сказать. Еще около двери он засомневался, что отца можно сломить силой, он ведь не с человеком имеет дело, а с комком упрямства, с прикованным к постели бешенством в образе человека. Но попытаться надо.

— Ты так вопишь, что люди сбегают из лавки,— сказал он отцу, нахмурив брови.

Старик не выказал неудовольствия.

— Никак побеспокоил кого? — спросил он.

— Они интересуются, не захотелось ли тебе в сумасшедший дом.

Лицо Пера-Лавочника передернулось, словно ему предоставился повод — повод повеселиться и поразвлечься. От внимания Теодора не ускользнула мимолетная улыбка на отцовских губах, и он понял, что намек на сумасшедший дом пропал впустую.

Старик без околичностей перешел к делам:

— Будешь покупать спички Нечистому?

Так, может, хоть это его угомонит! Затея идиотская, давно устаревшая, но придется кое-чем поступиться.

— Ну, коли ты считаешь, что это удачная сделка, давай купим спички.

— И соль?

— И соль.

Что ж, приобрести соль на зиму глядя не так уж и глупо, поэтому Теодор сразу и согласился. Пошлет груз с солью на рыбный промысел на Лофотенские острова или сохранит до весны и отправит на промыслы в Финмарк.

Но ежели он рассчитывал своей уступчивостью чего-нибудь добиться от отца, то глубоко ошибался.

— Пусть придет адвокат! — сказал старик.

Ох, этот Пер-Лавочник! До чего ж злобен и уверен в себе! Он смотрит на сына с нескрываемым торжеством: в его распоряжении появилось верное средство — рев. В любой момент из его груди вырвется отменный звериный рев, а мать с сыном пусть постоянно ждут, прислушиваются, трепещут.

— Гм! — произнес Теодор, чтобы выиграть время.— Недели через две я загружу шлюп рыбой, а на обратном пути мы захватим соль. И ежели будет подходящая погода, спички мы уложим на палубу, под брезент.

— Эту музыку я в доме терпеть не намерен,— сказал отец.

— Музыки не будет,— сказал Теодор.

— Пусть завтра явится адвокат.

Сказал как отрезал. Ну нет, с таким упрямством мириться нельзя! Оставив ухмыляющегося Пера-Лавочника лежать, сын спустился в лавку, погруженный в мрачные размышления. Но в любом случае спички и соль он покупать не станет. Пусть сам дьявол их покупает!

Его ждала телеграмма — от Дидриксена? Так, так, от коммивояжера Дидриксена из фирмы «Дидриксен и Хюбрехт», того самого, что на собственном пароходе плавает. У него неприятности, по пути на юг сломалась машина, уже несколько дней стоит у Утвэра, ему надо срочно поговорить с Теодором, если возможно, сегодня же ночью.

Вот как! Но Теодор в плохом настроении, да и дорога неблизкая, сперва на велосипеде, потом на лодке. Но телеграмма словно вдохнула в него жизнь, как будто эта поездка должна принести удачу. Что бы все это могло означать? Ни малейшего представления! Но надо любым путем оттянуть

на два-три дня встречу с адвокатом, который без него ничего сделать не в состоянии. Теодор велит приказчику Корнелиусу сходить с телеграммой к отцу и объяснить, что у него важное дело.

Проехав час на велосипеде, он повстречался с Флориной, служанкой адвоката. Она не торопилась сойти с дороги, точно хотела его остановить. Когда он слез с велосипеда, она спросила:

— Вам что-нибудь от меня надо?

— Нет,— ответил он удивленно.

Уж эта девица Флорина, она росла вместе с Сегельфоссом, продувная бестия, каких мало. Но она Теодорова клиентка, покупает у него много всякой всячины.

— Нет,— повторил он,— мне ничего от тебя не надо. Где ты была?

— На Утвэр ненадолго заглядывала.

— И как дорога?

— Дорога там как здесь. А вы на Утвэр, я вижу?

— Ага. Откуда ты знаешь?

— Да вот только что смекнула,— ответила она. И неожиданно натянула шерстяной платок на рот.

Теодор приготовился было отправиться дальше.

— А я знаю и к кому вы на Утвэр едете,— сказала она.

Малый смышленый, Теодор мгновенно сообразил, что она прознала о появлении Дидриксена в Утвэре и наведалась к нему. И между ними произошло короткое объяснение: несчастная она девушка, попала в беду, и вот теперь разыскала его и сообщила об этом. Потому как не годится, чтобы такие вещи сходили с рук. Ей ведь, кроме как на себя, надеяться не на кого, и ежели кто срывает цветок ее юности...

— У тебя же есть сберегательная книжка,— сказал Теодор.

...цветок юности, то этот человек должен сам понять, какой это для нее удар. И вот теперь она просит Теодора, человека доброго и влиятельного, замолвить за нее словечко.

— Я хочу сразу получить то, что мне причитается,— сказала она,— чтобы знать, сколько у меня есть. А то ведь эти господа все равно как перелетные птицы, где их потом искать, никому не ведомо. А еще, глядишь, и помрет нечаянно, и вовсе сгинет.

— Ладно, ладно, но у тебя же есть сберегательная книжка,— сказал Теодор.— И вообще, разве ты не выходишь за Нильса из Вельты?

— За Нильса? Нет, он со мной порвал.

— Вот дурак! — воскликнул Теодор.

— Дурак или нет, но что до меня, так мне, кроме как на себя, рассчитывать не на кого. Потому, ежели бы вы подумали о моей горькой участи и приняли бы мою сторону...

— Я поговорю с ним,— сказал Теодор.— Сам не знаю, зачем я ему понадобился, дела небось.

В принципе он не испытывал неудовольствия, получив такое поручение, оно свидетельствовало об уважении и доверии, а может, сулило и комиссионные — почему бы и нет. Он покатил вперед, на лодке добрался до Утвэра и подгреб к пароходу.

У господина Дидриксена были гости, в салоне царило праздничное веселье: девицы с берега, несколько мужчин; сам Дидриксен был разговорчив и оживлен. Кока он вырядил во фрак и белые нитяные перчатки, чтобы тот обслуживал общество в приличном виде.

— А телеграфиста с собой не прихватили? — закричал он.— Добро пожаловать! Извольте, стаканчик, два стаканчика! А где телеграфист? Вы ничего о нем не слыхали? Послушайте, мастер, это ведь вы давали телеграмму, вы что, забыли — как там его зовут? Бордсена? Черт бы вас побрал, мастер! Мне этот человек интересен, он все еще гниет в Сегельфоссе? Но я очень рад вас видеть, господин Енсен, спасибо, что приехали! Мы только вас и ждали, мастер наконец-то наладил машину, завтра на рассвете отплываем.

Теодор опрокинул стаканчик или два, господин Дидриксен вспомнил, что хотел с ним поговорить, и вывел его на палубу.

— Поездочка-то в Сегельфосс дорого мне обошлась,— затараторил он.— Сегодня утром приходит девица, на глазах слезы, рот повязан шерстяным платком. Что случилось? — спрашиваю.— Так, мол, и так! Да, да, говорю, тут уж ничего не поделаешь! Верно, говорит она, но ведь я не позволю ей погибнуть в нищете? Нет, конечно. И не лишу ее своей поддержки? Нет, конечно. Так, может, она что-нибудь от меня получит? Разумеется! А нельзя ли получить все сразу, говорит она, чтобы до властей ничего не дошло. Тысяча чертей, ну и разумница ты, отвечаю я, ты ничего никому не скажешь, и я развяжусь с этой историей. На какой же сумме сойдемся? Две тысячи крон, говорит она.

Господин Дидриксен взглянул на Теодора, чтобы узнать, какое впечатление произвели его слова.

— С ума сошла! — сказал Теодор.

— С ума сошла, мастер тоже так говорит, я ему все рассказал. Но как бы то ни было, я решил сначала переговорить с вами, и я вам очень благодарен, что вы приехали. Дело в следующем: я просто не могу отдать девице такую большую сумму без всяких гарантий, а показываться в Сегельфоссе мне не хочется. Поэтому пришлось телеграфировать вам, и я еще раз благодарю вас за то, что вы приехали.

— Для меня это одно удовольствие.

— Спасибо. Но положение довольно сложное; с ума сошла, говорите вы. Вы правы, но доводить до крайностей никак нельзя, а то слух об этом дойдет до моей невесты.

— Вы помолвлены?

— Естественно. Обручился на севере, с дочерью консула — как же его фамилия? Ну этот, известный богач в Финмарке, китовый жир, единственная дочь, вот, посмотрите! — Господин Дидриксен вынимает из бумажника фотографию и восторженно протягивает ее Теодору. На фотографии подпись: твоя Рут.— Вот видите,— говорит господин Дидриксен,— это, стало быть, его дочь, никак не вспомню фамилию. Она ни в коем случае ничего не должна знать.

— Не узнает,— сказал Теодор.

— Видите ли, это не исключается. Тем более что девица, сегельфосская девица... понимаете, я ужасно обрадовался, что она оказалась такой разумной, и показал ей эту фотографию. Страшно глупо с моей стороны, правда?

— Не знаю.

— Мастер говорит, что глупо, но я немножко выпил с ней нынче утром, раз уж она оказалась такой рассудительной и разумной, ну и показал ей фотографию. Рут! — сказала она, глядя на карточку. Правильно, Рут! — подтвердил я, и теперь ты понимаешь, сказал я, почему эта чудесная девушка ни о чем не должна знать? Да, да, она понимает, и ничего не будет, ни начальства, ни решений, ничего такого, сказала она. Позвольте мне сперва поговорить с господином Енсеном, сказал я.

Теодор посчитал, что половины, то бишь тысячи крон, вполне довольно.

— Верно. Но тогда это выйдет наружу, начнут копаться в моих доходах, и все равно присудят платить по самой высокой ставке. Кстати — я не собираюсь делать никаких глупостей, не собираюсь выкручиваться. Заплатить один раз тысячу крон за пятнадцать лет удовольствий — это вам не то же, что выплачивать по двадцать эре ежедневно на одежду и харчи.

Теодор бросил взгляд на своего молодого друга: этот легкомысленный отпрыск старинного благородного торгового дома обладал теми драгоценными свойствами, которые Теодору было нелегко постигнуть — унаследовав то, от чего ему день за днем, год за годом приходилось избавляться, он старался перенимать все то хорошее, что находил у других.

— Вы безусловно правы! — воскликнул он, словно и сам так думал.— Должен вам признаться, я встретил эту девицу по дороге, она просила, чтобы я поговорил с вами.

— Но, видите ли, все это еще запутаннее, чем представляется. В тот вечер, что мы провели вместе в Сегельфоссе,— вы помните, как же это его звали? Бордсен, начальник телеграфа, — он рассказал о человеке, который вернулся домой после трехмесячного отсутствия, а его ненаглядная, оказывается, уже три недели ходила с шерстяным платком и зубной болью. Помните?

— Помню.

— Не про ту ли девицу он рассказывал? Мне только сегодня это пришло в голову.

— Вполне возможно, что про ту,— ответил Теодор, стремясь остаться честным и справедливым.— Но вам-то в это дело, пожалуй, не стоит влезать, а?

— Пожалуй. Но получается какая-то чертовская белиберда. Поэтому я и хотел, чтобы телеграфист приехал с вами. Впрочем, теперь я даже доволен, что его нет, а то я бы непременно стал приставать к нему с расспросами. Но не думайте, что это все!

— Вот как?

— Мастер утверждает, что с девицей вообще ничего не стряслось.

— Что? — искренне изумился Теодор.

— Мастер малый куда как опытный, он с ней разговаривал сегодня после меня — кстати, подарил ей свою цепочку от часов — и уверяет, что она беременна не больше нас с ним.

Молчание. Поразмыслив, Теодор спрашивает:

— Выходит, просто притворяется? Но она же из-за этого своего милого потеряла.

— Да,— улыбаясь, ответил господин Дидриксен,— мне она тоже об этом рассказала. Но может, деньги ей дороже милого? К тому же милый-то, глядишь, и вернется?

У нее есть сберегательная книжка, думает Теодор, вот чертово отродье! И вдруг решительно восклицает:

— Не платите ни эре! — Благородный образ мыслей, который он стремится перенять, для него нов, он чувствует себя неуверенно и потому добавляет: — Я бы поступил точно как вы — заплатил бы кругленькую сумму и избавился от нее; но ежели это обман и вымогательство, тогда совсем другое дело.

— Но я же не могу подать в суд.

— Правильно,— согласился Теодор,— не можете! — Теодор опять задумывается. И тут его поражает нелепость всей ситуации. — Но зачем вам платить ей до рождения ребенка? Может, он и не родится вовсе! — говорит он.

— Совершенно справедливо,— отвечает господин Дидриксен,— потому-то я и побеспокоил вас. Девица, видимо, очень хитра — как ее зовут?

— Флорина.

— Флорина. Хитра и пронырлива. Так вот, я обещал ей, что отдам деньги вам, господин Енсен. Я советовался с мастером, он малый дошлый. А получит она их, только если даст обещание хранить молчание, в письменном виде и со свидетелями. Иначе от нее не избавишься. Все должно быть зафиксировано на бумаге.

— Отлично! — У Теодора заблестели глаза.

Что привело его вдруг в такой восторг? Не сложился ли у него в голове какой-то план, сразу же засверкавший всеми цветами радуги?

— Прекрасно! — сказал он господину Дидриксену,— я спрячу деньги и все устрою наилучшим образом, можете быть уверены.

— Именно на это я и рассчитывал, если вас это не слишком затруднит. Хорошо бы вы, не откладывая, все ей разъяснили. Постарайтесь запереть ее рот на замок,— сказал господин Дидриксен.

Теодор ответил:

— Хорошо. Все будет сделано.

Он проспал на борту до утра, пока все веселились и пировали.

Молодой господин Дидриксен, судя по всему, истратил еще не все деньги, отпущенные ему на учебу, он любил удовольствия, искал их и находил. Молодой и красивый, как принц, он всю ночь провел с гостями, выступая в роли радушного хозяина. В четыре утра подали горячий завтрак.

— Пожалуйста, угощайтесь,— как всегда предупредительно пригласил хозяин. Кок прислуживал в свежих

перчатках, мастер между переменами блюд играл на гармонике. Словом, все забавлялись и веселились.

Но вот общество стало расходиться, гости сели в лодки и поплыли к берегу. Они были молоды и неутомимы, на их лицах не осталось ни следа от бурно проведенной ночи — этого еще не хватало! С берега они задорно помахали рукой.

Через двадцать лет они, быть может, вспомнят эту ночь и улыбнутся. Через тридцать будут досадовать, что не они, а другие молодые проводят бурную ночь...

— А в случае, ежели... ежели вам не надо будет платить, тогда как? — спросил Теодор, стоя на трапе.

— Ну... она все же вела себя по-своему разумно, искренне хотела помочь мне избежать неприятностей с властями,— ответил господин Дидриксен с мимолетной улыбкой.— Нельзя же ее надуть. А впрочем, она поступила не очень-то благородно — дайте ей половину!

Вернувшись домой, Теодор зашел к отцу и спросил — бумажник его так распирало от денег, что он вполне мог позволить себе задать ему этот вопрос:

— Адвокат приходил?

Отец ошарашен, но у него есть основания считать вопрос неискренним.

— Мне вчера пришлось уехать,— сказал Теодор.— А нынче можно и адвоката вызвать, ежели он еще не был.

Злобно покосившись на него, отец говорит:

— Мошенник!

Пер-Лавочник чует неладное, неужто перевес уже не на его стороне? Посмотрим! Долгие годы безделья отнюдь не пошли ему на пользу, напротив, с каждым днем все больше ожесточали, он сломя голову несется назад. Еще чуть-чуть, и он превратится в злобное чудовище, будет кидаться на людей, природные инстинкты, ничем уже не сдерживаемые, взыграли в нем вовсю, и он на большой скорости катится назад, в далекое прошлое, в пещеру, к звериной хитрости, рыку, атаке. В озарении он несется напролом, навстречу зову тьмы.

— Ну, так чего тебе надо? — спрашивает Теодор.— Некогда мне тут с тобой торчать. Хочешь раздела, пожалуйста, я вашу долю выкуплю.

Сказать такое, даже глазом не моргнув,— Теодор парень не промах. Но папаша тоже не промах, склонив голову набок, как будто ему и дела нет до такой малости, он произносит, уставившись в пыльный пол:

— Значит, нашу долю, цыпленок, выкупить собрался? А ведь это ты, цыпленок, кубарем отсюда вылетишь.

И исподтишка взглянул на сына.

— Каким же образом? — поинтересовался Теодор, чувствуя, как застучало в голове и в ушах зашумела кровь.

— Я сам твою долю выкуплю,— захрипел отец, распаляясь.— Вон отсюда,— крикнул он.— Каким образом, спрашиваешь? Убирайся из моего дома, дерьмо!

Но Теодор, которого всего трясло, опять нашелся.

— Ах, вот что ты, значит, задумал! — криво улыбнулся он. Дело он знал как свои пять пальцев: ежегодные операции с сушеной треской и неоднократные покупки и продажи кораблей — наличные за все эти чисто приватные спекуляции были вложены в лавку, она разорится, если ему выплатят его долю. Он криво улыбнулся. Про гагачий базар, который выкупить будет нельзя, поскольку он не намерен его продавать, Теодор даже и не вспомнил.

Вопрос лишь в том, собирается ли отец действительно разорить лавку, чтобы дать девчонкам возможность начать все сначала. Пер-Лавочник без кредита, пожалуй, не останется.

«Как хочет! — подумал Теодор.— Пусть поступает, как хочет! Мне бы только участок земли получить, я уж разорю их торговлю дотла!» И, продолжая улыбаться, он вышел.

Пер-Лавочник почуял неладное, заметил предназначенную ему двусмысленную улыбку — может, он дрогнул? Нет, он не дрогнул, он зарычал. Привели адвоката Раша, который деловито занялся разделом имущества; несколько дней он писал, писал с удовольствием, проверил все бухгалтерские книги, телеграммой вызвал сестер, с удовольствием вызвал телеграммой этих малышек, взяв на себя защиту их прав. Перед ним два юных существа и парализованный старик, они смотрят на него с надеждой, неужели же он обманет такие глаза? Для того он и живет на свете, чтобы помогать людям в юридических вопросах, когда речь идет о правосудии в этой жизни. Пер-Лавочник желает перед смертью устроить свои дела, и его прекрасно воспитанные дочери не имеют ничего против. Сын тоже не имеет ничего против — пожалуйста, сказал сын. Что еще остается адвокату, как не прийти на помощь!

— Пожалуйста! — сказал Теодор, криво улыбаясь. Ему наконец-то удалось приобрести вожделенный участок прямо вплотную к лавке, большой квадратный участок земли для лавки и магазина промышленных товаров, в окружении звонких скал. А строительные материалы прибудут на шлюпе,

когда тот, выгрузив рыбу, вернется домой — никаких тебе спичек, никакой соли.

В эти дни Теодор трудился не покладая рук, ни на минуту не теряя бдительности. Уже первая его попытка натолкнулась на препятствие — господин Виллатс Хольмсен ни за что не хотел продавать ему землю. Почему? — размышлял Теодор. Два раза ему дали от ворот поворот, на третий он решил действовать через женщину и победил. И пошел он не к кому иному, как к фру Раш. Ах, этот Теодор, черт, а не парень, все-то он знает, знает и то, что добрейшая фру Раш замолвит за него словечко перед господином Виллатсом Хольмсеном — в пику адвокату.

— Что у вас происходит? — спросила фру Раш.

А вот что — у него отняли лавку, торговлю, все его дело, ему дали расчет, выгнали, адвокат приложил руку. Помогите же мне!

— Не могу я идти против мужа,— сказала фру Раш.

— Всего несколько квадратных метров гор из угодий господина Виллатса Хольмсена. Не потому, что он нуждается в деньгах, которые выручит за землю, а потому, что он бы помог мне. Я построюсь и вновь разверну дело, и в Сегельфоссе появятся конкуренты в торговле, как того и желал адвокат.

— Я не могу идти против мужа,— повторила фру Раш.

На следующий день Теодор получил записку в несколько строк от господина Виллатса Хольмсена с разрешением на приобретение участка. Записку принес Мартин-Работник, он же отмерит землю, цену определим, скажем, в две сотни крон, деньги выплачивать продуктами плуту Конраду, бывшему поденщику господина Хольменгро на сумму десять крон за раз. Контракт на сделку составит ленсман из Уры.

Пока Теодор выиграл.

Он тотчас же начал вести на участке взрывные работы для закладки подвала и фундамента. Взрывы производил динамитом, вплотную к лавке, не так, чтобы отца до смерти напугать, но и не особенно щадя его. Пер-Лавочник прибегнул было к реву, но когда адвокат объяснил ему, в чем дело, сразу перестал хныкать. И какой резон ему хныкать? Цыпленок со своей мамашей плохо рассчитали, коли думали, что он запросит пощады! Зато в один прекрасный день к Теодору явился адвокат и предложил своего рода мировую. Адвокат, должно быть, в конце концов понял, что лавке, не разорив дела, от Теодора не откупиться. Он сказал:

— Вложенная вами наличность, как и законное наследство...

Теодор перенял в последнее время кое-какие полезные качества у других и, представив, что бы сделал на его месте молодой господин Дидриксен, прервал адвоката:

— Я отказываюсь от наследства.

Адвокат воспринял это неожиданное заявление как оскорбление. Подумать, до чего эти выскочки обезьянничать умеют; ладно бы, если б речь шла о человеке из хорошей семьи!

— Не слишком-то нос задирайте, молодой человек! — сказал он.

— Задираю я нос или нет, вас это не касается! — ответил Теодор.

— Это добрый совет.

— Мне он ни к чему.

— Ну ладно,— сказал адвокат.— Я не об этом собирался с вами говорить. Положение таково, что лавка вполне способна выкупить вашу долю и продолжать дело...

— Ну и выкупайте! — сказал Теодор.

— У меня к вам личное предложение. Дайте мне изложить его, не прерывайте меня. Итак: лавка это вполне потянет, то есть может выкупить вас, особенно если вы с таким молодым задором и, быть может, с чрезмерной самоуверенностью отказываетесь от наследства.

— Вас, во всяком случае, это не касается.

— Прямо — нет.

— И косвенно тоже, вообще никак. Я сберегательные книжки не раздаю, но и в долг не беру,— сказал раздраженно Теодор.— Хватит языком молоть, убирайтесь, я не принимаю вашего предложения, ясно?

Адвокат с большим сочувствием отвечает:

— Ведь я сижу здесь и слушаю, как вы, по вашему же выражению, мелете языком, только ради вашего блага и блага вашего семейства...

— Вы прекрасно знаете, что я вправе взыскать долги и брать из лавки причитающиеся мне деньги товарами, пока не получу все сполна,— в бешенстве заорал Теодор. Он сразу стал истинным сыном своего отца и отчаянно огрызался.— И вы прекрасно знаете, что лавке тогда конец. А если вы этого не знаете, так я вам это говорю, я разбираюсь в этом лучше вас, я с детства занимаюсь торговлей.

То ли адвокат посчитал его рассуждения справедливыми, то ли решил оборвать хвастовство, но он сказал:

— Итак, я лично предлагаю вам следующее: для блага обеих сторон торговля продолжается как прежде. Вы ведете дело, но ваши сестры являются пайщиками. Согласны?

— Нет,— отрезал Теодор.

— Но ведь вы сами будете вести дело? Вы не хотите, как прежде, руководить фирмой?

— Нет,— ответил Теодор.

— Гм,— произнес адвокат.— Обращаю ваше внимание на то, что предложение исходит от меня лично, более ни от кого. Вполне возможно, оно встретило бы сопротивление и со стороны вашего отца и ваших сестер. Но такая возможность теперь исключена, поскольку вы отказываетесь вести переговоры на этих условиях. Гм. Какое же решение вопроса вы тогда предлагаете?

Теодор ответил:

— Я ничего не предлагаю. Вы вместе с остальными хотите меня вышвырнуть, и я говорю: пожалуйста!

— Прекрасно, значит, так тому и быть. Торговля будет пока идти по-прежнему, естественно, под контролем.

— Под контролем?

— Под контролем ваших родителей и сестер. Или, по их поручению, под моим.

Тут Теодор как-то уж особенно криво усмехнулся и проговорил:

— Когда вы явитесь, чтобы проверить, как я веду дело в лавке, вы обнаружите, что дверь заперта и опечатана печатью ленсмана, до тех пор, пока я не получу свою долю. Вы этого хотите?

— Нет. Я хочу лишь сделать как лучше для обеих сторон, молодой человек. Не давайте озлоблению сбить себя с толку, вы желаете получить свою долю, что ж, возможно, ссудосберегательная касса Сегельфосса поможет вам, в лавке ценностей хватает.

— Замечательно! — воскликнул Теодор.— Пусть ваш банк поможет, и чем скорее, тем лучше!

Вскоре после того, как адвокат удалился ни с чем, в лавку заявилась Флорина-Служанка. Она больше не может ждать. Но Теодор, к тому моменту уже настроенный крайне воинственно, сразу оборвал ее:

— Сперва ребенок, потом деньги.

— Как так? Не раньше?

— Нет.

Короткое раздумье. Глаза у Флорины почти закрыты.

— Тогда я напишу его невесте и все расскажу. Ее зовут Рут, это-то я знаю.

— Давай, Флорина, пиши! А тебя обследует доктор и тут же арестуют! Пиши!

Флорина засмеялась:

— Меня арестуют? О господи! Уж больно вы загордились: не потому ли, что вас из лавки выгоняют?

В эту минуту Теодору было совершенно безразлично, что перед ним выгодная покупательница, и он грубо бросил:

— Иди-ка домой и позаботься о себе, а обо мне не надо, мне на тебя плевать. У тебя зубы болели целых три недели, Дидриксена тогда здесь на севере и в помине не было, свидетелей тому предостаточно. Начальство во всем разберется, тогда выплывет и то, почему это адвокат вздумал дарить тебе сберегательную книжку.

Что за тон позволяет он себе по отношению к верной покупательнице! Ясное дело, Теодор борется не только за справедливость, он борется, конечно же, и за симпатичные бумажки, от которых раздувается его бумажник и которыми он может полностью распоряжаться. У Флорины-Служанки от такого взрыва чувств как-то странно изменилось лицо, верно потому, что она женщина чувствительная, слабый пол как-никак. Со слезами на глазах она проговорила:

— Не думала, что вы такой бесстыжий.

— Еще раз откроешь пасть, узнаешь, почем фунт лиха! — сказал Теодор, используя свое преимущество.— Чтобы я ни слова об этом больше не слышал.— И, напустив на себя важный вид, он высморкался в платок из швейцарского шелка, после чего сунул платок обратно в нагрудный карман, оставив один уголок торчать наружу.

— Ладно, адвокат небось мне поможет,— сказала Флорина, вытирая слезы.

— Адвокат? Благодарим покорно! В этом деле адвокат не поможет даже самому себе.

— Зря вы так в этом уверены,— сказала Флорина.

После этой стычки Теодор-Лавочник вознамерился сходить в усадьбу Сегельфосс поблагодарить господина Виллатса Хольмсена за его любезность. И захватил с собой контракт на покупку участка. Кстати и деньги захватил, двести крон: больно уж жалко поддерживать Конрада, который того вовсе не заслуживает!

У молодого Виллатса медленно поползли вверх брови. В комнате находился посторонний господин, так что молодому

Виллатсу, когда он обнаружил, что его приказ не исполнен, ничего другого не оставалось, как только поднять брови.

— Разве вы не прочли мою записку относительно этих двухсот крон? — спросил он.

— Разумеется, само собой, прочел,— обиженно ответил Теодор-Лавочник.— И ежели вы так желаете...

— Да, я так желаю.

Посторонний господин был друг Виллатса Хольмсена по имени Антон Кольдевин, тоже весьма благородной наружности; но он смотрел на Теодора с высокомерием, которое не шло ни в какое сравнение с превосходством Виллатса.

— Я просто подумал... Я ведь лучше вас знаю здешний народ... но конечно! Ну, так до свидания, и спасибо за сделку. Я уже начал работы на участке. Спасибо, нет, не беспокойтесь, я вполне могу выйти через эту дверь...

Теодор вышел черным ходом, тем же, что и вошел.

2

Друзья остались одни.

— Не слишком-то настойчиво ты пытался проводить его в другую дверь,— сказал, улыбаясь, Антон Кольдевин.

— Это здешний купец, ловкий малый, судя по всему,— сказал Виллатс.— Он даже купил у меня небольшой участок земли.

— И размолвка произошла из-за способа оплаты?

— Нет. Я дал ему до того указания.

Виллатс был, наверное, недоволен собой, поэтому больше не сказал ни слова. Что это еще за блажь — поддерживать проходимца, идя против собственных убеждений! Но выхода нет, он вынужден сдержать данное когда-то слово, раз уж попался на удочку.

А что, собственно, сделал Виллатс? Конрад бесцельно шатался по округе, он явно находился в затруднительном положении. Виллатс не раз видел, как он вечерами спускался с котелком в руках со скал, где сушили рыбу, потом рыбу высушили и Конрад исчез, остался без работы. Виллатс наверняка подумал, и подумал вполне справедливо: а мне-то что до него? С его приятелем по имени Аслак Виллатс решил вопрос полюбовно. Конрад же не получил ничего. Да он ничего и не заслужил. Но в последнее время Конрад опять стал попадаться Виллатсу на глаза, два-три раза, совсем случайно, и каждый раз кланяется. Снимает фуражку и кланяется. Вил-

латс глядит на него своими серыми глазами и уступает собственной прихоти — то же самое, впрочем, сделали бы для бедняги его отец и дед: двести крон порциями по десять крон.

Не хватает еще, чтобы этот проходимец пришел благодарить и жать руку — пусть только попробует!

— Участок,— повторил Антон Кольдевин,— а что, если бы и мне взять у тебя участок и осесть тут?

— Значит, не хочешь идти по стопам отца и стать консулом? — чуть презрительно заметил Виллатс.

Антон Кольдевин из тех, кто за словом в карман не лезет.

— Кому под силу тягаться с собственным отцом! Неужели ты воображаешь, что такое возможно? — спросил он.

Что за тон! Друзья, близкие друзья, могут позволить себе и шутить, и со смехом выцарапывать друг другу глаза. Но ведь эти двое — хозяин и гость. С самого первого дня после приезда Антона между ними установился подобный тон, они перестали сдерживаться, все больше и больше давали себе волю, дошли до дружеской грубости, поразительной, невероятной. И все время гость подначивал хозяина.

Входит Паулина с кофе. Нетрудно заметить, на кого устремлены ее глаза, чужому молодому господину она даже не отвечает, хотя он всячески ее к тому поощряет.

— Я уже здесь целую неделю, Паулина, пора бы тебе и на меня начать обращать внимание,— говорит он. А когда Паулина уходит, продолжает, обращаясь к Виллатсу: — Удивительные глаза у этой девушки!

Короче говоря — Антон Кольдевин веселый молодой человек, общительный, с легким налетом банальной развязности. Получил коммерческое образование в Сен-Сире, хорошо знает свое дело и начал работать в отцовском предприятии, проявив большие способности. Воистину, отец может теперь поберечь силы, бить баклуши и отращивать второй подбородок.

Со школьных лет, когда они оба приезжали в Сегельфосс на каникулы, один из Франции, другой из Англии, Антон и Виллатс виделись не часто — одногодки, сходного происхождения, равно благородные, и все же совсем разные. В письмах они поддерживали дружеские отношения, и вот теперь, возвращаясь по весне домой, Виллатс предложил другу поехать с ним. Антон согласился — да, он приедет и постарается отобрать у него жар-птицу.

Жар-птицу?

Сказано уж чересчур прямолинейно, и Виллатс нахмурился, подумав про себя: напрасно он пригласил друга.

«Жар-птица» — так назывался новый железный барк фирмы Кольдевинов, для барка, может, название и подходящее, но в Сегельфоссе говорить про жар-птицу не следовало: ведь выйдя из детского возраста, Антон всего два-три раза встречался с фрекен Хольменгро в Христиании. Да и можно ли так по-деловому относиться к этому бесценному сокровищу!

— Ее нельзя взять, ее можно только получить,— ответил Виллатс.

— Не знаю никого, кого бы нельзя было взять! — парировал Антон.

Оказалось, что годы далеко развели друзей, и вскоре между ними, несмотря на дружбу, начались трения: хорошо еще, что Антону никак нельзя отлучаться из фирмы больше чем на две недели и придется вернуться домой. Но и в то короткое время, которым друзья располагали, они успели доставить друг другу не одну неприятную минуту.

Поначалу Антон был молчалив и застенчив в гостях у господина Хольменгро, так застенчив, что фрекен Мариана сочла своим долгом помочь ему, напомнив, что они старые друзья. Это мгновенно возымело свое действие.

— Вы так внимательно смотрите на мои кольца, что вы увидели? — спросила она задорно.

Наверняка прикидывает, сколько они стоят, подумал про себя Виллатс.

— Я смотрел не на кольца, а на вашу руку,— сказал Антон.

— И что вы увидели? Я выйду замуж?

— Ха, вы хотите сказать, сколько раз?

— Фу, нет, конечно!

— Да, вот он каков! — проговорил Виллатс.— Хорошенького гостя я пригласил к себе!

Все рассмеялись, Антон с некоторой натугой.

— Да уж, я не лезу из кожи вон, чтобы казаться утонченным,— сказал он.— И не строю из себя человека благородного происхождения,— продолжал он.— И не стараюсь казаться англичанином. Я француз, я веду себя естественно.

— А я норвежка,— сказала Мариана.

— Поэтому мы вас и любим, фрекен.

Поначалу Виллатс, вероятно, хотел смягчить чрезмерную прямоту друга, он уже раскусил Антона и знал, чего от него можно ждать. Но скоро отказался от своего намерения следить за ним, пусть Антон пеняет на себя, если зайдет чересчур далеко.

— Ну, я вижу, ты вполне здесь освоился, и я могу уйти,— сказал он.

И хотя его слова были встречены смехом, Мариана недовольно заметила:

— Партитура! Он весь поглощен своей бесконечной партитурой!

— Он вундеркинд,— сказал Антон.— Родился в рождественскую ночь и чуть ли не сразу начал играть на рояле. Но с ним произошло то же, что и со всеми вундеркиндами: стоит ребенку подрасти, как приходит конец чуду. Верно, Виллатс?

Ну уж, тут он, пожалуй, хватил через край. Мариана уставилась себе под ноги, а Виллатс ответил:

— Ха-ха, возможно, ты и прав! Ну ладно, до свидания! Ведите себя хорошо, детки!

Антону понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что ему следовало уйти вместе с Виллатсом. Мариана не отрывалась от окна, провожая Виллатса взглядом, голос ее тотчас утратил прежний задор. И хотя Антон был явно в ударе, наговорил ей массу приятных вещей, утверждая, будто приехал исключительно ради того, чтобы повидать ее, делу это не помогло.

— Невероятно! Неужели правда? — воскликнула Мариана.— Ну да, я ведь так старалась лет десять—двенадцать назад произвести на вас неизгладимое впечатление.

Антон ежедневно наведывался в дом господина Хольменгро, наполняя его своей непосредственностью, молодостью и напористостью. Но он понял, что на пути у него по-прежнему стоит Виллатс, человек, не обладавший по сравнению с Антоном, владельцем фирмы, ничем, кроме усадьбы и таланта. Ерунда какая-то, из Виллатса ведь ни черта не получилось, почему же ему все равно оказывается предпочтение? Это что, предопределено? Однажды, когда они сидели все вместе и разговаривали, она сняла у него с плеча соринку — казалось, соринка прилипла к ее собственному плечу, таким естественным движением она сняла ее.

Мы прощаем тех, кто стоит выше нас, да, прощаем. Но не прощаем равных себе, если они нас в чем-то превосходят. Антон привык идти к цели напролом — здесь ему поставили заслон. Все было бесполезно. У него даже обнаружились общие интересы с хозяином дома, они вели увлекательные беседы о войне на Востоке, судоходстве в Южной и Центральной Америке, тоннаже, в этих разговорах Виллатс показал себя полным профаном, он только слушал. Казалось

бы, это обстоятельство должно было ему повредить, снизить его шансы — не тут-то было! Боже, ну что за глупость! И при этом господин Хольменгро весьма одобрительно отметил в одной их беседе:

— Вы поступаете совершенно правильно, господин Кольдевин, делая ставку на Южную Америку — если удача будет на вашей стороне!

Антон ответил:

— У барка будет удача, ведь он называется «Жар-птица»!

Так прошла первая неделя.

И вот друзья одни в доме, дружба между ними стала немного прохладнее. Антон снова повторяет, какие удивительные у Паулины глаза, но добавляет, что это, пожалуй, единственное, чем она обладает.

— Ты имеешь в виду приданое? — язвительно спрашивает Виллатс.

— Она умеет вести хозяйство? — отвечает вопросом на вопрос Антон.— У нас в загородном поместье есть коровы и сепаратор. Просто комедия: вечером, когда у служанки довольно времени, она дрыхнет, сепарирует саму себя во сне, а утром, когда у нее дел по горло, мечется как угорелая, чтобы везде поспеть. Интересно, Паулина того же сорта?

— Нет,— сказал Виллатс.

Антон взглянул на него и усмехнулся:

— Извини, что я над тобой подшучиваю, но о некоторых вещах ты судишь точно так, как судил бы о них твой отец. Ты явно обезьянничаешь.

Виллатс поднялся, намереваясь уйти. Антон не сдержался и выразил удивление столь бесцеремонным обращением хозяина со своим высокоуважаемым гостем, которого он бросает одного. Чем же в таком случае заняться гостю?

— Если бы ты, например, опять отправился к господину Хольменгро,— сказал Виллатс,— то избавил бы меня от необходимости выслушивать твои грубости.

— Опять партитура небось?

— Да, партитура.

— Бесконечная партитура, как выразилась фрекен Мариана. Нет, сегодня я сначала пойду не к господину Хольменгро. Почему ты с такой готовностью отсылаешь меня к господину Хольменгро? Потому что я тебе не опасен?

— Не совсем так. Ты опасен для самого себя.

— Ты так считаешь? Знаешь, этот последний глоток ликера я не буду пить с тобой, я выпью его один.

— Постыдился бы! Я ведь твой хозяин.

— Нет, сегодня я сначала пойду не к господину Хольменгро. Это я сделаю потом, а сначала я пойду в другое место. Как зовут того юного господина, который приходил сюда?

— Ты имеешь в виду Теодора? Теодора Енсена? Теодора-Лавочника?

— Вот-вот. Мне показалось оскорбительным, что ты обошелся с ним с таким высокомерием. Чем он тебе досадил?

— Ничем.

— Этот молодой человек — торговец, коммерсант, в каком-то роде мой коллега. Разумеется, более мелкого масштаба. Я оскорблен за него, ведь ты не проводил его.

— Не проводил.

— Почему?

— Потому что я его не звал.

— Ты сам сказал, что он способный малый. Да, он намного ценнее тебя. Человек с инициативой. А ты, ты пустое место.

— Я не получил коммерческого образования, мне трудно ответить тебе,— сказал Виллатс.— Пустое место? Какая чушь! Как ни странно, даже самый незначительный человек что-то из себя представляет. Возьми, к примеру, коммерсанта, посредника: он покупает товары не для того, чтобы потреблять, а для того, чтобы перепродать их с прибылью. Разреши всем людям покупать ради собственного потребления, и посредник перестанет существовать. Вот как легко его уничтожить. И ты, и Теодор Енсен перестанете существовать. Вы и есть то самое пустое место, о котором ты говоришь. И все-таки кое-что вы собой представляете: вы, например, имеете возможность кого-то впускать к себе в дом, а кого-то нет.

— Пойду навещу его,— сказал Антон.— Извини, но я не слышал ни слова из твоих философствований. Ты сказал, что имеешь возможность не впускать в дом того, кого не хочешь? Это относится ко всем?

— Не болтай глупостей.

— Если это относится к моему коллеге Енсену, значит, относится и ко мне?

— Ты, кажется, хочешь дать мне повод совершить опрометчивый поступок? Ты этого хочешь? — спросил Виллатс со странной усмешкой.

— Мне абсолютно все равно, что ты сделаешь! — парировал Антон.— Пошли, выйдем вместе. Я иду к своему коллеге. Не воображай, будто я откажусь от своего намерения.

И под предлогом, что ему нужно купить табаку, Антон действительно отправился в лавку и долго разговаривал с Теодором. Его посвятили в положение вещей — лавке предстоит раздел имущества, торговлю отныне будут вести сестры и адвокат, а Теодор разворачивает самостоятельное дело, это идиотизм и самоубийство, но неизбежно. Антон был очень любезен с Теодором, а Теодор чуть не лопался от гордости по поводу визита незнакомца.

— Хочу устроить осенний праздник,— сказал он,— пикник с музыкой и прохладительными напитками на гагачьем базаре...

— У вас и гагачий базар есть?

О, у него немало что есть: сушеная треска, гагачий базар, генеральная агентура на масло «Госсен», театр...

— Подумать только, гагачий базар! А гаги, гагачий пух?

Теодор кивает:

— Прекрасный товар, экстра-класс. На острове маленький домик, и коли я мог бы надеяться, что такой человек, как господин Кольдевин, захочет принять участие в празднике...

— Спасибо, это не исключено. Подумать только, пикник на гагачьем базаре, это все равно что накрошить в еду алмазов! Когда же он состоится?

— Немного позднее. До осени, разумеется, ничего не выйдет, сперва птицы должны покинуть базар...

— Я спрошу, не захочет ли фрекен Хольменгро участвовать в празднике,— сказал Антон.

Впрочем, Антон навестил лавку не только ради своего коллеги Теодора, но и ради его сестры, той, что служит у консула Кольдевина в Вестланне. Превосходная горничная. Антон был обязан хотя бы из вежливости нанести визит ее близким, но заострять внимания на этом не стал.

— Вам привет от вашей сестры,— сказал он.

— Спасибо,— ответил Теодор,— она скоро приедет и вместе с другими выгонит меня отсюда!

Антон отправился к господину Хольменгро и встретил там Виллатса. Вместо того, чтобы пойти на кирпичный завод и заняться партитурой, Виллатс явился сюда! Ну и хитрец, тьфу, все, хватит, больше Антон с ним не будет цацкаться, уєдет раньше срока! При желании Виллатс мог бы смягчить ситуацию, объясниться, но нет, он и не подумал объясняться; мог бы признаться, что пытался работать, но впустую, что дело не шло, как и много дней подряд до этого, и поэтому, чтобы взбодриться, он решил пойти в гости. Виллатс же не

сказал ни слова. Английский снобизм заставлял его молчать. Антон просто ненавидел английский снобизм.

— Я был у купца Енсена,— сказал он.— Он пригласил меня на пикник осенью на его гагачьем базаре. Наверное, будет очень мило, и я принял приглашение. Приеду еще раз специально для этого.

«Прекрасно, значит, ты снова к нам приедешь!» — мог бы сказать Виллатс. «Возьмите меня с собой на пикник!» — могла бы сказать фрекен Мариана. Но ни тот, ни другой не промолвили ни слова.

— Адвокат тоже устраивает осенний праздник,— сказала наконец фрекен Мариана.— Ты пойдешь, Виллатс?

— А меня пригласят? — спросил он.

Молчание.

— С тебя станется,— внезапно произнесла фрекен Мариана,— получить приглашение, а потом отказаться.

Антон с удивлением смотрел на этих двоих: ага, они, оказывается, поссорились, они бранятся. Что ж, так им и надо, с него довольно.

— Извините, фрекен Мариана,— сказал он,— я, собственно, пришел повидаться с вашим отцом. Как по-вашему, я могу с ним переговорить?

— Посиди, подожди немного, он, верно, скоро будет,— ответил Виллатс, собираясь уходить.

— Но отец на мукомольне,— сказала Мариана.— Я не знаю, когда он вернется. А что, если нам всем туда отправиться, может, мы его встретим по дороге?

Оба согласились. Виллатс не слишком охотно, сперва взглянув на часы.

Они вышли на большак, соединявший мукомольню и пристань, и сразу увидели стоявшего в ожидании человека. Это был Конрад. Он поклонился и сделал шаг навстречу, словно намереваясь что-то сказать. Остановился лишь Антон, двое других продолжали идти.

— Зачем ты это сказала? — улыбаясь, спросил Виллатс.— Он, наверное, подумал, что мы в ссоре.

Глаза Марианы сузились, чуть ли совсем не сомкнулись.

— Ну, а если и подумал! — сказала она.— Это не имеет никакого значения! — И перевела разговор на другое: — Среди рабочих опять беспорядки.

— Опять?

— Я точно не знаю причину, да ведь достаточно и пустяка. Насколько я понимаю, они взбеленились из-за талонов, бумажных талонов в лавку. Раньше они набирали там то-

варов, а счета выписывались на мукомольню; теперь же папа ввел правило, что товары на счет мукомольни отпускаются только по предъявлении талона, выписанного десятником или мастером. Рабочие потребовали отменить талоны, это, мол, издевательство, точно ярлык наклеивают.

— Ишь, какие благородные стали,— говорит Виллатс.

— Но потом все как-то утихло, и теперь-то понятно, почему. Оказалось, что Уле Юхан не умеет писать, поэтому рабочие сами выписывали за него талоны, включая туда все, что хотели. Ха-ха-ха, ну как тут удержаться от смеха! Ни один не обращался за талоном к Бертелю из Сагвики, тот ведь умеет писать, все ходили к Уле Юхану. А под конец и вовсе перестали кого-то просить, стали сами их выписывать. У Теодора, естественно, закрались подозрения, и началось расследование. Сегодня после обеда к папе явились двое рабочих и заявили: «Пусть виновные заплатят стоимость тех товаров, которые они набрали!» — «Я их уволю»,— ответил папа. Этому посетители воспротивились. Тогда папе пришлось пойти с ними на мукомольню для переговоров.

— Для переговоров?

— А что еще оставалось делать?

— Не понимаю, почему твой отец не закроет мукомольню.

— Не знаю, очевидно, у него есть на то свои причины. У всех есть на все свои причины. Мне бы следовало подыскать ему зятя в помощь,— сказала Мариана,— а я этого не делаю.

— Только посмей! — шутливо пригрозил Виллатс.

— В принципе, надо бы подыскать ему зятя,— не отступала Мариана,— но, кажется, мне это не по плечу.

Виллатс рассмеялся — громко и уверенно, по-хозяйски.

— Подожди еще чуть-чуть,— сказал он,— месяц-другой, может, и того меньше. Не все же дни у меня неудачные.

— Мы ждем завершения партитуры. Мы ведь этого ждем?

— Я хочу добиться чего-то большего в жизни прежде, чем ты удостоишь меня своим согласием. Оцени по достоинству такое благородство твоего почтительнейшего слуги.

А Мариане было, похоже, не под силу принять тот же шутливый тон, а может, она и не старалась. Ей бы понять по виду Виллатса, что его веселость наигранная, а беззаботность неестественна. Или она не заметила, как подрагивают у него брови? И тем сильнее, чем откровеннее она говорила. Конечно же, они его задевали, эти ее прямолинейные высказывания — не такая уж она беспомощная, чтобы не суметь выйти замуж. Ах, эти случайно брошенные фразы, когда она не следила за собой! Он прекрасно знал, что по своей природе

она отнюдь не отличалась отсутствием деликатности, еще сегодня она была с ним нежна и ласкова, совсем как в детстве, даже попросила поцеловать ее «долгим поцелуем». Но он знал и то, что ее путешествия в последние годы и новые знакомства во многом изменили ее. Порой она становилась дерзкой, вызывающе дерзкой, словно заразилась духом времени. Он мучился, видя, с каким одобрением встречались в обществе ее резкие откровенные высказывания. Это все больше отдаляло их друг от друга, и встречи их все чаще заканчивались сценами ревности и ссорами.

Но Мариана — о, она хитра, как ее индейская прабабка,— хорошо сознавала, что делает. Будь что будет! — верно, думала она.

Мариана сказала:

— Антон, как я понимаю, остается. А ты,— продолжала она,— уж если вобьешь что-нибудь себе в голову, ни за что не отступишь.

— Да, я зануда,— согласился он.

И тут она позволила себе следующие слова:

— Наверно, все эти годы мы слишком уж сильно верили, что предназначены друг для друга.

Должно быть, в этих словах была бесспорная для обоих истина, потому что он кивнул, и еще раз кивнул.

К ним подбежал Антон.

— Извините, что отстал,— сказал он.— Виллатс, меня попросили поблагодарить тебя.

Виллатс нахмурился. Он прекрасно понял намерение Конрада и сознательно уклонился от встречи с ним.

— Итак, я должен передать тебе благодарность,— настойчиво продолжал Антон.— Но под расписку. Ну что ты стоишь и глазеешь на меня?

— Ага, стою и, так сказать, глазею.

— Как бы то ни было,— сказал Антон,— но у нас дома, в наших краях, такое бы тебе не сошло с рук. Человек приходит поблагодарить тебя за что-то, а ты не замечаешь его, даже не желаешь его выслушать.

Виллатс ответил:

— Вот ты и выслушивай, раз тебе представился случай. Ты ведь умеешь обращаться с простым народом.

— Господи! Такой сноб, и в твои-то годы! — воскликнул с неподдельным изумлением Антон.— Просто невероятно! Твой отец вел себя подобным образом, потому что в нем это было заложено, а ты — ты лишь холишь оставленное тебе в наследство отцовское величие.

Мариана рассмеялась, вслед за ней засмеялся и Виллатс.

— Что за непозволительный тон! Ничего себе, друг и гость! — сказал он.— Весь как на иголках, боится, что проявит недостаточную грубость.

— Умеешь обращаться с простым народом,— передразнил Антон.— Да, умею, что ж тут такого! Не завидую я тебе, у тебя на глазах шоры, твои утонченные причуды не позволяют тебе видеть жизнь. Смотри, вот она, настоящая жизнь! — сказал он, показывая рукой.

Навстречу два возчика везли телеги с мукой, и лица у них были до смешного одинаковые. Н-но! — покрикивали они на лошадей. Телеги скрипели под тяжелым грузом, возчики шагали рядом, и так изо дня в день. Доехав до пристани, они сгружали муку и нагружали телеги зерном, отвозили зерно на мельницу и снова везли муку на пристань. И так изо дня в день.

— Я прямо вижу тебя в этой жизни! — сказал Виллатс.

— Да, я принадлежу этой жизни, по-своему,— подтвердил Антон.— Поэтому я и ищу господина заводчика. Хочу получить у него кое-какую информацию, совет. Я тоже занимаюсь торговлей и делаю дела, пусть и не с мукой. Возвращайся домой, Виллатс, и женись на Сюнневе Сульбаккен!

Мариана опять рассмеялась, на сей раз Виллатс не поддержал ее.

— Нет, ему не смешно,— сказала она.— Тебе ведь не смешно, Виллатс?

— Только если ты скажешь, что это смешно,— ответил он.

К ним подошел господин Хольменгро, приветливо раскланялся, лицо его излучало умиротворенность и отеческое благодушие, ну просто образец уравновешенности. Мариана поинтересовалась, дал ли он расчет грешникам, но отец, улыбнувшись, ответил, что грешников, мол, слишком много.

— Вот тебе настоящая жизнь, покажи ж, на что ты способен,— обратился Виллатс к Антону.

Ему объяснили что к чему, и Антон высказал свое мнение:

— Так, значит, не было контроля.

Тут уж засмеялся Виллатс.

— Правильно! — сказал он.— Виноваты обе стороны, так и будет написано во всех газетах. А если дело передадут в суд, то и все судьи скажут то же самое. Я обязан дать рабочему работу и жалованье, а ежели он меня обокрадет, то вину мы разделим пополам, потому что я был обязан дать

работу и жалованье еще одному работнику, тому, кто контролировал бы рабочего, а также работу и жалованье контролеру над контролерами. И при этом рабочий требует прибавки за хорошо выполненную работу, в противном же случае объявляет забастовку.

— А ты бы как поступил с ними?

— Если бы я убедился, что в мире не хватает сволочей, я позволил бы им жить и размножаться.

— В вашем случае я бы предложил арбитраж,— сказал Антон господину Хольменгро.

Виллатс вновь весело захохотал.

— Совершенно правильно! — проговорил он.— Ох, Антон Фредрик Кольдевин — тебя так, кажется, зовут? — да ты у нас просто алмаз, вполне в духе времени!

— Я, естественно, не имел в виду арбитраж по поводу самого правонарушения, самого преступления,— обиженно ответил Антон.— Но если дело довести до конфликта, рабочие объединятся, и завод встанет. Полагаю, что господин заводчик прекрасно это понимает. Дайте рабочим самим совершить правосудие, это в их вкусе. А арбитраж должен решить только вопрос относительно талона, ярлыка: сохранить его или отменить.

— Послушай, папа, а грешников и правда так много? — спросила Мариана, которой уже надоел спор.

— Много. Похоже, все, кроме Бертеля из Сагвики и Уле Юхана.

— Значит, кроме контролеров. А что за товары они набрали?

Господин Хольменгро улыбнулся:

— Самые разные. Например, парусину, керосин.

— Такого я еще никогда...

— Они наплели юному Теодору-Лавочнику, будто у нас керосин кончился, взяли у него бочку и поделили между собой. Парусина, заверили они, нужна для сит. Маргарин — для бутербродов, им полагаются бутерброды на сверхурочной работе. Ха-ха, они просто бесподобны! Все это, оказывается, тянется уже давно.

Антон покачал головой, к тому у него были все основания. Потрясающая бесконтрольность.

— Что ты собираешься делать, папа?

— Да ничего тут не поделаешь, слишком многих это затрагивает. И нас, кстати, тоже.

— И почему ваш бухгалтер не обнаружил этого сразу? — спросил Антон, прямо-таки дрожа от сознания своей делови-

тости и компетентности. Ему и в голову не приходило, что заводчик, видимо, меньше всего нуждается в его участии.— Разве из лавки не поступал постатейный счет?— спросил он.

— Нет,— только и ответил господин Хольменгро.

— Но... — начал было Антон, однако остановился, заметив, что его рвение вызвало у Марианы улыбку.

— Вижу, мне придется выложить все карты на стол,— проговорил господин Хольменгро, не переставая улыбаться. В свое время он сказал Теодору, что постатейный счет выставлять не требуется, поскольку вряд ли статей расходов будет так уж много. Ему хотелось оказать доверие юному Теодору, который, по его мнению, этого вполне заслуживал, да ведь и обманул его вовсе не лавочник. Кстати, Теодор — его дальний, дальний родственник, его мать приходится господину Хольменгро чем-то вроде троюродной сестры. Именно господин Хольменгро помог семье встать на ноги в Сегельфоссе.

— Вот как! — сказал Антон.

Но все равно он считал, что это довольно странный способ вести дела. Такое мог позволить себе лишь очень богатый человек.

Они остановились у развилки, где Виллатсу предстояло свернуть на дорогу к кирпичному заводу и к партитуре. Он уже приподнял шляпу, собираясь откланяться.

— Да, господин Хольменгро, не знаете ли вы какого-нибудь знающего клеймовщика?

— Клеймовщика? — переспросил заводчик, похоже, не сразу отвлекшись от собственных переживаний.— Ну, это мы уладим. Я самым тщательнейшим образом осмотрел ваш лес, мне думается, у вас достаточно леса, пригодного к продаже.

— Спасибо! — сказал Виллатс и ушел.

Господина Хольменгро, казалось, совсем не волновали беспорядки на мукомольне, ведь он дал такой вежливый и четкий ответ совсем по другому поводу. Но от внимания Марианы не ускользнула едва заметная нотка неудовольствия, прозвучавшая в его словах, — что бы это значило? Она не знала, что и у отца есть вопрос к Виллатсу: что тот решил насчет горного плато, которое он хотел купить или взять у него в аренду под пастбище для круглогодичного выпаса тысячи овец? Он об этом ни слова не сказал. Мариана подумала: наверное, сердится, что Виллатс не способен самостоятельно начать вырубку, ему во всем требуется помощь!

Она взяла отца под руку и, не поднимая на него глаз, медленно произнесла, едва шевеля губами:

— Как «твои дети», я протестую против того, что ты злишься на Виллатса!

— Ах ты, моя индеаночка! — отозвался он с улыбкой.

Нет, он вовсе ни на кого не злился. Когда они вернулись домой, он пригласил Антона к себе в кабинет и полчаса беседовал с ним о ситуации в Южной Америке, дав ему ценную информацию. Антон с наслаждением впитывал эти новые для него сведения. Да, судя по всему, Антон удачно распорядился «Жар-птицей», сказал господин Хольменгро, но не следует отбрасывать и фактор везения! Спекуляции Антона, похоже, заинтересовали старого авантюриста, короля Тобиаса:

— Извести меня двумя словами о результатах! — попросил он.

Он остался в кабинете, а Антон прошел в гостиную.

Мариана, по-видимому, почувствовала, что ее украшения тяжеловаты, и за эти полчаса, вынув из ушей большие золотые полумесяцы, вставила вместо них жемчужины. Антон сразу же отметил это, подумав, что теперь она выглядит намного лучше. Эти качающиеся полумесяцы, подвешенные на тонюсеньких цепочках, были явно индейского происхождения, эдакие «музыкальные» украшения, жемчужины придавали ей более европейский вид. Позволив ему высказать это мнение вслух, она ответила:

— Вы так считаете? Это меня радует.

— Вас радует то, что я так считаю?

— Вот именно.

— Интересно. Но я все равно ничего не понимаю,— тут же добавил Антон.

Он сказал, что на днях уезжает.

— Дайте-ка прикину, когда отправляется пароход на юг, кажется, в пятницу? — Да, вот тогда-то он и уедет. А вернется, когда улетят гаги.

— Гаги?

— Боже правый!.. — вскричал Антон.— В чем вы пытаетесь меня уличить? Гаги? Да, когда гаги улетят с базара, покинут гнезда на гагачьем базаре купца Енсена.

— Ах да, я совсем забыла. Вы ведь приедете на пикник, пикник на гагачьем базаре.

— Особенно если я мог бы надеяться, что и вы почтите пикник своим присутствием.

— Я? Нет уж, извините.

Этот ответ задел Антона: ну что же тут такого? Да, он собирается принять участие в празднике, который устраивает его коллега, купец Енсен. Он способный человек, этот, как его называют, Теодор-Лавочник, человек, шагающий в ногу со временем, посмотрите, как энергично он действует, от него расходятся круги все шире и шире! Это человек будущего! Некоторым нравится жить в прошлом. Они слепы, как кроты, но взгляд у них при этом непреклонный, подчас в нем даже проглядывает мудрость, именно по причине такой непреклонности. Но они совсем-совсем слепы. Им бы поселиться на острове посреди моря, они и не подозревают, что жизнь — это дневной свет, торговля, война.

— Разве от вас убудет, фрекен Мариана, если вы примете участие в веселом празднике и порадуете всех остальных гостей?

Но красноречие его не достигло цели, Мариана сказала, что не хочет больше об этом слышать.

— Ну-ну,— сказал он.— Но осенью я снова приеду. Остановлюсь в гостинице — как она там называется,— в гостинице Ларсена.

Антон ушел, Мариана вынула из корзинки какое-то рукоделие, оставшееся незаконченным с прошлых лет, посмотрела на него и отложила в сторону. Потом взяла книгу, прочитала несколько строчек, достала колоду карт, перетасовала. Потом вдруг открыла дверь в кабинет отца и сказала, что выйдет ненадолго погулять.

— Иди, иди! — как всегда ласково и добродушно ответил отец.

И остался в одиночестве на своей половине. Что-то с ним произошло с той минуты, как Антон ушел из его кабинета: неужели возраст дает себя знать? Или же тяжкие мысли, придавившие его и лишившие королевской осанки? На столе перед ним не лежало ни одной бумажки, он не занимался никакими подсчетами, он сидел, разглядывая водянистыми голубыми глазами собственные руки: да, масонский перстень его не спас, ничто его не спасло, даже то, что он, загадочно скашивая глаза, строил рожи непонятно кому, точно находился в связи с кем-то невидимым,— рабочие его одолели. Безо всяких начали снова ему тыкать и звать Тобиасом, чтобы задеть побольнее. И напрочь утратили к нему всякое почтение, снова заметив, как он шастает ночами по девицам; ну, он-то, конечно, представил дело так, будто, осматривая лес по просьбе Виллатса Хольмсена, к вечеру оказался в горных хуторах и попросился переночевать. Ха, хоть ты и бла-

городный господин, Тобиас, фармазон, ты такой же, как мы, ничуточки от нас не отличаешься! А нынче и цену на муку опять повысил! Видать, еще не до конца высосал нашу кровушку, капелька в нас еще осталась. Ни стыда, ни совести у тебя нет! А стоило нам, чтоб ноги не протянуть, выписать себе один жалкий талон и набрать по нему в лавке товару, как ты налетаешь, точно рабовладелец какой, и начинаешь считать каждый грош. Тьфу на тебя!

Некоторые рабочие вели себя посдержаннее, стояли за справедливость, почтительно кивая головами, они отдавали заводчику должное в мелочах. «Не так уж это все и глупо!» — говорили они. «Он вовсе не дурак!» — говорили. И это было, пожалуй, хуже всего. Аслак с завода ушел, но дух Аслака остался.

Нет, такого никому не вынести, поистине он не рожден быть хозяином, он рожден, чтобы прийти и уйти как сказка. Людям втемяшилось в голову — мол, кто его знает, как у него дела с его богатствами? Он спекулировал, он зарабатывал деньги, он терпел убытки, он уже не может позволить себе потерять ни одного миллиона? Для них это было главное. Почему он накинул цену на муку? Милые мои, да ежели он сделал это по необходимости, от нужды, значит, он ничуть не лучше любого другого в Сегельфоссе, и за что бы, в таком случае, почитать его? Тьфу на него.

О чем он думает, о чем размышляет, разглядывая собственные руки? Или до него дошло сегодня, что новшества, введенные им несколько недель назад, оказались никчемушными? Что ему теперь предпринять? Он ведь по природе своей крестьянин, и всегда им оставался, что нынче, что вчера, полет фантазии не мог целиком скрыть от него правду, и, летая, он не выпускал из виду землю. Повысив на прошлой неделе цену на муку, он сделал это по верному и точному расчету и при этом все еще предлагал более низкую цену, чем другие мукомольни, а разницы хватило, чтобы покрыть расходы на перевозку — почему же ему было не поступить так? Люди? Люди же, как оказывается, оценивают его однозначно: коли не богат, значит, никто! Но они глубоко ошибаются. Жизнь их по сравнению с его жизнью — все равно что будни по сравнению с судьбой. Его богатство? Что им надо знать о нем? Может, он богат — они-то ничего дальше своего носа не примечают,— а может, и нет. Может, у него золота меньше, чем золотоискатель добывает за один-единственный день ну и что из того? А может, и больше, этого тоже никто не знает. Случается, Мариана, девушка хитрая и умная, пыта-

ется выведать у него, что написано во всех этих телеграммах и письмах, которые он получает. «Скажи, папа,— спрашивает она в шутку,— почему ты отослал своего сына еще ребенком в Мексику и велел ему научиться распоряжаться собственностью и водить корабли?» — «Для того, чтобы ты думала, будто у меня есть собственность и корабли в Мексике!» — отвечает он загадочно.

Ну хорошо, допустим, господин Хольменгро приехал сюда, в Сегельфосс, по капризу, но то, что он прожил здесь так долго, при бесконечных волнениях рабочих и непрерывно падающем личном авторитете,— ведь полная бессмыслица. Разве не мог он выбрать любое другое место на земле, почему выбрал именно это? Ничто, казалось бы, его здесь не удерживает: ни фру Иргенс с ее стряпней, ни рабочие или мукомольня, ни дороги, ни река, ни вход в гавань — ничто. Разве что желание жить и дышать в родном краю — этот первобытный инстинкт, высшая сила, крест? В таком случае, дорогие мои, он, конечно же, преступил бы через вас, пошел бы своей дорогой, топча вас, как солому, ничем иным вы бы для него не были.

Он никого не топтал, не знал даже, как это делать, властелин из него не вышел. Властелин? Да он не сумел даже удержать в руках свое богатство, не всегда мог с достоинством ответить на насмешки рабочего. И разве теперь не сидит он в своем кабинете, печально размышляя о жестокости мира? Все шло хорошо до тех пор, пока он оставался королем, мифом, все шло прекрасно, все сущее склонялось перед ним; а потом пошло хуже некуда. Он родился на острове, он всего на шаг отошел от крестьянина в своем роду, он первый, порвавший с крестьянством,— чего еще от него ожидать? И все же — он для Сегельфосса сказка. Яркая звезда над серым будничным болотом пошлости.

Он заглядывает в столовую и снова возвращается в кабинет, обходит дом, украдкой прикладываясь ухом к дверям, и вновь усаживается за свой стол, словно обретя спасение; хозяин дома спасен. Похоже, на душе у него помаленьку светлеет, он улыбается. Какого дьявола так огорчаться? Строго говоря, не следовало бы ему снова впадать в безумство, возвращаться в молодость. Девицы не умеют молчать о своих делишках с заводчиком, они спрашивают друг дружку: «А с тобой? Где? Часто?» Ох уж этот Синдбад-мореход, безумец, седовласый юноша! Разве фру Иргенс уже много лет не прилагает все силы, дабы залучить в дом служанок? Далеко-далеко отсюда лежат другие страны, другие берега. Там цве-

тут кофейные деревья, дышат ароматом банана и сахарный тростник, а ночи — ночи там для мореходов и безумцев. На тамошних островах живут желтые, черные и белые девушки. Если хорошенько подумать, так не стоило ему столь тщательно обследовать лес Виллатса Хольмсена, ни в коем случае, в горных хуторах ничего особо заманчивого нет, кроме разве что молоденькой сестры служанки Марсилии. Ее отец немного подвез его на телеге: ее отец всегда предлагает подвезти его.

Низведя его до себя, рабочие на мукомольне зашли чересчур далеко. Он им не ровня. У него в голове бродят идеи и великие планы. Пастбище для круглогодичного выпаса тысячи овец — лишь одно из звеньев в его замыслах, которые охватывают консервную фабрику и морские экспортные перевозки. Он может провести в Сегельфосс электрический свет и построить механические мастерские. Может пахать с помощью пара. Или открыть в Сегельфоссе аптеку и книжный магазин, или заняться мелочной торговлей и зарабатывать три тысячи в год и жить припеваючи. Хе-хе, он все может — например, воспользоваться тщеславием и дуростью юного Теодора и неожиданно составить ему конкуренцию. Не пройдет с одним новшеством, ничего не стоит придумать что-нибудь поновее, ему все по силам. Но, юный Теодор, мы, пожалуй, не будем трогать тебя и твою лавку, живи себе спокойно на своей кочке, и пусть твоя мать тобой гордится! У нас есть кое-какие другие планы, один из них мы осуществили вчера, в Тихом океане, вот телеграмма! Война пожелала воспользоваться нашим маленьким корабликом, нашим «алмазным» корабликом «Сова», он дневного света не видел, он плавал по ночам, он плавал тысячу и одну ночь, груженный алмазами. Отдайте его нам! — сказала война. Пожалуйста, берите, с вас двести двадцать тысяч! Его постройка обошлась нам в шестьдесят, юный Теодор. Но нынче мы немножко жалеем о сделке, это был замечательный корабль, и он перевозил алмазы. А водил его молодой парень, сеньор Феликс, сейчас он водит другой корабль, сеньор Феликс настоящий искатель приключений.

Господин Хольменгро опять заглядывает в столовую и вновь скрывается в кабинете, его нагрудный карман оттопырился. У матросов бывают такие карманы, когда они сходят на берег. Наступил вечер, господин Хольменгро, взглянув на часы, выходит. На лестнице он сталкивается с дочерью и говорит «будь здорова!», просто в шутку. «Спасибо»,— отвечает она со смехом. Такие уж они добрые друзья и

приятели. И ни он не спросил ее, где она была, ни она его, куда он идет.

Он тянул время, сидя в конторе на пристани и делая кое-какие дела. Потом засадил помощника начальника пристани за срочную работу, на которую уйдет не один час. И вот ночной мрак сгустился настолько, насколько может сгуститься в это светлое время года — дорожки и тропинки между домами Сегельфосса просматривались отлично.

Вот из здания телеграфа выходит начальник телеграфа Бордсен и, неторопливо покачивая плечами, спускается к пристани. Всем известно, что в одном этот непостоянный человек всегда постоянен: он гуляет по ночам. Он размышляет, философствует, наблюдает, улыбается своим наблюдениям, хмурится, заслышав шум. Хорошо, что стоит лето, ибо он не носит пальто, поскольку он вообще обращает мало внимания на одежду, голова его, верно, занята более важными проблемами. Брюки у него сползают на ходу, ткань на них прямо светится, больно уж плохая ткань, на каблуки спускается бахрома. Но у начальника телеграфа Бордсена есть одна хорошая черта: ему плевать на свои брюки, а глядя на бахрому, он уверяет, что теперь носят штаны до пят. Он вообще говорит много забавных и много глубоких вещей, и иногда высказывает очень интересные мысли.

Какое-то время он прохаживается по пристани, тщательно изучая стоящие там ящики и бочки, но вот он слышит шум и, нахмурившись, идет в том направлении, откуда он доносится. Ночь тиха, у одного из домиков разговаривают, у домика помощника начальника пристани, это голос самого помощника, он ругается, чем-то возмущен, он кого-то преследует. А ведь помощник — выдающийся бас в певческом кружке начальника пристани, мог бы говорить и гораздо громче, но он шепчет, он шипит:

— Так вот почему вы меня загрузили ночной работой, свинья вы эдакая! Что вам здесь надо? Все вы так и крутитесь вокруг моего дома, да, к счастью, Давердана не того пошиба, она дверь не отпирает. Я вам покажу! — Он толкает человека в спину, продолжая шипеть: — Да чтоб вас черти задрали! Видали ищейку! Чего вы здесь рыщете? Мне бы следовало вам затрещину дать!

Хозяин и слуга! — думает Бордсен, удаляясь. Он скашивает глаза через плечо и видит, как хозяин, жалко улыбаясь, пятится, пытаясь вывернуться. А что ему еще остается делать, как не улыбаться жалко и смущенно! Бордсен философствует: будь у него хоть малейшая возможность, он бы спас

хозяина от гнева слуги, ему ничего не стоит проскользнуть к Давердане и убедить ее не волноваться из-за шума возле ее дома — и Бордсен расплывается в улыбке, весьма довольный своими философскими размышлениями. Но тут хозяин, преследуемый слугой, принимает неожиданное решение: словно бы наконец-то выбрав место, где можно избавиться от спутника, он начинает понемногу замедлять шаг и потом, пригнувшись, припускается бегом, через мгновение его и след простыл. Слуга молча, не спеша двинулся в ту же сторону, должно быть, снова на пристань, работать.

Хозяин и слуга, история их отношений насчитывает тысячу лет, конца ее Бордсен не предвидит и в этом году. То, что он только что видел, совсем простой пример: седовласый безумец на положении вдовца, нет, в состоянии вдовца. Когда-то он умел держать себя в руках, теперь уже не умеет. Прислушайтесь к этой могильной ночной тишине, она кипит, она бушует, точно как и он. И дело тут вовсе не в воровских или собачьих повадках, нет: если слуга не в состоянии уберечь свое добро, у него это добро отбирают, все просто и грубо, без обмана, нагло. Но разве в остальном хозяин наглец? Напротив, он благороден, добр, глубок. Философствовать тут бесполезно, Бордсен решительно прервал себя, утешаясь тем, что никому не удалось добраться до сути с помощью философствования: ветер тоже дует не по какой-то философской модели, а меж тем он дует; не бывает носков цвета грома.

Бордсен, верно, пробыл какое-то время на телеграфе и хорошенько взбодрился, прежде чем снова выйти в ночь, ибо он долго гулял возле театра Теодора и только потом вернулся и пустился той же дорогой обратно. Он был в ударе, мысли текли свободно, но, очутившись у дома помощника, на минуту растерялся, потому что там опять стоял преследуемый хозяин! Он больше не остерегается, подумал, наверное, Бордсен, некого ему больше в Сегельфоссе остерегаться! Сам черт во всем этом не разберется, но ведь и у Бордсена никаких особых дел тут сегодня ночью нет, нужно действовать, спасти то, что еще можно спасти, прежде всего хозяина. Не поздоровавшись, он подходит без всяких околичностей к хозяину и говорит:

— Я забыл отметить на вашей позавчерашней телеграмме, что час отправления проставлен недостаточно ясно.

Ну, не отменный ли удар! Но нет, хозяин воспринял его вполне спокойно.

— Ну и что? — сказал он.

— Срок вашего ответа. Час был помечен крестиком внизу. Телеграмма важная, мне следовало бы более четко указать, что время отправления из Пуэрто-Рико не точно.

— Я понял значение крестика,— сказал хозяин.

Бордсен шагнул вперед и решительно произнес:

— Проводите меня немного! Неточность во времени могла привести к тому, что ваш вчерашний ответ запоздает. Идет война, каждый час важен.

— Ничего не имею против, если мой ответ запоздает,— сказал хозяин.

— Речь идет о большой сумме, о целом состоянии.

— Конечно,— сказал хозяин.

Разговаривая, они шагают по дороге. Навстречу им идет помощник начальника пристани, он, очевидно, снова почуял неладное и вышел на охоту; но, встретив этих двоих, поклонившись, медленно проходит мимо.

Хозяин до сих пор вел себя весьма сдержанно, теперь же он испытывает благодарность к телеграфисту, которую и выражает самым сердечным образом.

— Но я прекрасно понял значение крестика,— говорит он.— Если сделка состоится, я стану на один корабль беднее. Это был замечательный корабль, он вез груз, сравнимый ценностью разве что с грузом алмазов. Если же сделка не состоится, он повезет груз дальше. Такие вот дела. Но сделка, вероятно, состоялась, иначе я бы получил сегодня еще одну телеграмму.

Они заговорили о другом, неуклонно продвигаясь вперед, вот они увидели головы драконов на вилле адвоката Раша, миновали его сад. Хозяин становился все разговорчивее, от внимания Бордсена не ускользнуло, что он более обычного словоохотлив и позволяет себе вольные выражения. Они уже отмахали довольно много, впереди замаячил дом господина Хольменгро.

— Давайте посидим немного,— предложил хозяин.

Он и впрямь разговорился, стал рассказывать об островах, на которых живут цветные девушки, он плел чепуху, восторженно описывал хорошо известные банальные вещи, то и дело пересыпал свою речь самолично придуманными поговорками, которые у Бордсена получились бы гораздо лучше: «Разве я не прав, утверждая, что любовь — зло преходящее! Следовательно, почему бы не дать себе волю, не мучаясь угрызениями совести, вы не согласны?»

Хозяин не пьяница и не распутник, его непостоянство вовсе не носит болезненного характера. Но он находится в

переходном возрасте, иногда он сходит с рельсов, на один вечер превращается в шута. Бордсену его болтовня начала надоедать, но когда хозяин вдруг вытащил из нагрудного кармана бутылку и протянул ему...

Перед ним был отпущенный в увольнительную матрос. Бордсен привык ко всему, но тут он отказался, нет, спасибо, и, побледнев, встал. И, наверное желая хозяину добра, сказал:

— Премного благодарен, но мне еще надо немного поработать дома, поэтому не хочу рисковать! Другое дело, если вы сами выпьете стаканчик, обмоете крупную сделку!

— Да,— сказал хозяин, тоже вставая,— именно так, стаканчик за сделку. Славное вино, я прихватил его с собой... собирался кое-кому подарить...

— Ох, я вас задерживаю, вы устали и наверняка хотите лечь спать,— сказал Бордсен.

— Я не устал,— возразил хозяин, сделал глоток и сунул бутылку обратно в карман.

— Ну, спокойной ночи! — сказал Бордсен и, держа шляпу в руке, отвесил глубокий и почтительный поклон. И ушел.

«Удивительный человек! — думает хозяин, оставшись один. «Ну, спокойной ночи!» — говорит он, хотя я вовсе не устал и не собираюсь ложиться спать».

А Бордсен вновь отдается могильной тишине и доброте ночи. Он еще долго философствует, размышляя более или менее основательно над тайнами бытия — сам черт в них не разберется. Он бросает взгляд в сторону домика помощника начальника пристани, и кого же он видит? Хозяина. В третий раз. В руке у него ключ, он открывает дверь и входит внутрь.

3

В тот вечер, когда господин адвокат Раш и его жена фру Раш устраивали в своем саду празднество, сорока, что жила на дереве у дома господина Хольменгро, подняла страшный шум. Сорока она такая, она желает, чтобы, когда она устраивается на ночь у себя на дереве, вокруг царили тишина и покой; если же ее побеспокоить, она начинает кричать, предупреждая других сорок и призывая их присоединиться к ее крику, и поднимается страшный шум.

«И чего она раскричалась!» — думает фру Иргенс, тоже присутствующая на празднестве.

Да, наконец-то адвокат устроил давно задуманный праздник, осенний праздник, и весь Сегельфосс сейчас там.

Все, кроме начальника телеграфной станции Бордсена — за все эти годы он ни разу не нанес им визита, так что и речи быть не могло о том, чтобы его пригласить; а остальных никого не забыли, даже всех рабочих пригласили на бутерброды с чаем.

— Когда явится Виллатс Хольмсен,— сказал адвокат Раш своей супруге,— сиди и не вставай, пока он не войдет, прими его без всякой торжественности. Смотри на меня, Кристина, примечай, как я что делаю, и все будет в порядке. А когда Виллатс Хольмсен соберется уходить, я его удерживать не стану.

Ах, адвокату Рашу приходится обучать свою супругу многим тонкостям светского этикета, о которых она и понятия не имеет. Что, если она, к примеру, вздумав подражать ему самому и доктору Муусу, сунет носовой платок за обшлаг рукава? Никуда не годится. Но в конце концов он устал следить за ее промахами и поправлял только самые грубые:

— Послушай, Кристина, нельзя наклонять тарелку, чтобы доесть остатки супа, в приличном обществе так не делают.

Фру Раш, видать, так глупа, что чувствует себя под каблуком у мужа, хотя для этого нет ни малейших оснований. По зрелом размышлении, ей бы быть благодарной ему, а она почему-то не испытывает никакой благодарности, одно слово — женщина.

У нее поблекшая, но еще миловидная внешность, она честная и малость глуповатая, так что не всегда соображает, что говорит. В девицах — веселая, стремившаяся поскорее выскочить замуж, в супружестве — погрузневшая, седая и сентиментальная,— начальник пристани, что ж, видно, не суждено было ей выйти за него! Сегодня вечером он тоже здесь со своими певцами, и как только они запели в саду, она не сдержалась и убежала в спальню, дав волю слезам. Да благословит его Господь! Уж не для нее ли он поет, для своей бывшей возлюбленной Кристины Сальвесен? По совету фру Иргенс она отдала руку адвокату Рашу, на то, верно, была воля Божья, у нее двое деток, настоящие ангелочки — с ними разве что Виллатс мог сравниться, Виллатс Хольмсен, когда был ребенком.

А Виллатс даже не пришел нынче вечером. С тех пор, как уехал Антон Кольдевин, молодой Виллатс вновь стал себе господином и усердно работает. Она только что получила от него — «Дорогая фру Кристина!» — записочку, в которой он благодарит ее за приглашение и просит передать мужу, что у него туго продвигается работа и ему нужно проявить мак-

симум усилий, чтобы преодолеть возникшие трудности, — он не может позволить себе отвлечься на что-либо другое.

— Ну-ну,— проговорил ее муж.— Зато пришел доктор Муус, пришли господин Хольменгро и фрекен Хольменгро, и фру Ланнмарк с дочерьми! — Адвокат мог бы назвать еще многих: ленсман из Уры, редактор и метранпаж «Сегельфосс Тидене», торговец Хенриксен из Утвэра, обе дочери Пера-Лавочника, барышни Енсен. Вот кто хорошим манерам научился — на груди у обеих красовались часики, и вообще они стали вполне образованными барышнями. А вот Теодор-Лавочник, их брат, отсутствовал, по причине распрей и вражды с адвокатом.

Все гости собрались в саду. Лето уже, можно сказать, миновало, но погода стояла теплая и ясная, все были без пальто, не считая служанки Флорины, которая, конечно же, разгуливала в своей желтой накидке из швейцарского шелка, хотя ей приходилось прислуживать гостям, остальным было достаточно тепло и без верхней одежды. А сам сад или парк предстал перед приглашенными во всем своем великолепии, со всеми своими постройками, кустарниками и другими прелестями. В нем было все, что полагается настоящему саду: из фонтана били струи воды, на лужайках зеленела трава, дорожки посыпаны гравием и ракушками, а к празднику с юга привезли деревянные скамейки и круглые столы из листового железа, которые протяжно звенели, когда на них что-то ставили.

В саду, собственно, и проходило торжество, здесь же, в саду, недавно приехавший фотограф, пока еще было светло, сфотографировал все общество, и отсюда народ не расходился до глубокой ночи. Но самые почетные и знатные гости устроились на веранде и в доме, пили пунш, чокаясь друг с другом, и беседовали. Празднество в саду удалось на славу, и доктор Муус наверняка выразил мнение всех присутствующих, когда, подняв бокал, провозгласил тост за процветание сада и дома Рашей. О, этот доктор Муус умеет говорить и владеть вниманием всего общества! Самым неприятным в его наружности были, пожалуй, деформированные уши, зато лицо дышало одухотворенностью, а лорнет придавал ему сходство с японским ученым. Произнесенная им речь носила чисто символический характер, ибо доктор уже получил назначение на юг и уезжал. Он восторженно превознес сад и парковый ансамбль, где разве что соловьев не хватает. Правда, и на юге соловьев нет, но все же он, кому суждено покинуть эти края, будет теперь

гораздо ближе к соловьям — добро пожаловать всем, кто вслед за мной собирается на юг!

— Спасибо,— сказал адвокат Раш.

— Спасибо,— сказала фру Ланнмарк и, вынув носовой платок, помахала доктору и сказала «браво». Начальник пристани расставил вдоль веранды своих певцов, и они, откашлявшись и прочистив горло, грянули «Весной и светлым летом в юные годы твои».

Наконец подошла очередь адвоката. Он позвенел в кармане ключами — расплывшийся, раскормленный, но решительный и, как всегда, трезвомыслящий. Соловьи, сказал он, да, соловьев у него нет, ни одного. Но кое-что он в Сегельфосс все-таки привнес, и в доказательство привел небольшой пример. Что здесь было до того, как он тут появился? Голая земля. А что мы имеем сегодня? Парк, фонтаны, заморские деревья, особняк в современном стиле, как на юге. И вот теперь он ведет переговоры с несколькими литейными заводами по поводу двух произведений искусства для сада. Но это еще не все, он питает более серьезные намерения относительно этого собрания: сейчас, когда здесь присутствует так много влиятельных мужчин и женщин, он хотел бы предложить основать Союз благоденствия Сегельфосса — председателем его можно выбрать кого пожелаете, ему, адвокату, это все равно. Пока же он благодарит их всех за то, что они пришли, благодарит от своего имени и от имени своей жены каждого в отдельности и поднимает этот бокал за друга их дома, доктора Мууса, утрата которого невосполнима.

Крики «ура», «браво», песня в исполнении певцов кружка начальника пристани.

Но вечер закончился еще не для всех. Многие гости ушли, ушел господин Хольменгро с дочерью, и ленсман из Уры тоже последовал за своей подружкой фрекен Хольменгро. Но доктор не ушел, и фру Ланнмарк с дочерьми не ушла, стало быть, эти гости остались развлекаться дальше — до позднего вечера.

Ну уж где-где, а в гостиной адвоката стоило посидеть! Никакой вам современной халтуры в стиле модерн, никаких четырехугольных ламп и мазни «молодых» — солидная буржуазная обстановка, унаследованный от предков вкус хозяина дома отмечен печатью старинного чиновничьего рода и подкреплен вдобавок приличными доходами. В комнате стоял книжный шкаф со стеклянными дверцами, а поскольку все настоящие поэты нынче вымерли, ни одного из ныне жи-

вущих в шкафу было не найти. На стенах висели ковры и прямоугольные гобелены машинной работы, а на маленьких столиках лежали два альбома с фотографиями родных и друзей фру Раш и телеграммы, полученные господином и фру Раш в день свадьбы, переплетенные в книгу с вытисненными на обложке золотыми буквами и датой. Этажерка ломилась от выполненных под старину подсвечников, морских раковин и ракушек, красивых камней, стеклянных флаконов и рождественских подарков в виде чернильниц и пряничных фигурок. В общем — во всем заметна культура, унаследованная от предков. Но адвокат Раш отнюдь не стремился лишь унаследовать старую культуру, он, как и доктор Муус, усвоил и некоторые приметы нового времени, в той степени, в какой они не противоречили истинному вкусу, приобретенному ими с рождения. Так, в последнюю поездку доктора Мууса в город он сидел на пароходе за одним столом с несколькими коммивояжерами. И хотя их разговоры и взгляды были ему абсолютно чужды, они удивительно изящно и совсем по-новому обращались с ножом, держа его так, как обычно держат ручку. Эту примету нового времени доктор Муус тотчас перенял и, немного поупражнявшись, стал все ловчее и ловчее резать мясо «ручкой». Адвокат вскоре, конечно же, совершенно самостоятельно овладел этим трюком с ножом и, естественно, с большим трудом обучил фру Раш, ибо она самостоятельно ничему научиться не могла, одно слово, женщина. По этой ли причине или по какой другой, но доктор Муус отнюдь не пришел в восторг, увидев, как искусно адвокат ему подражает, и черт его знает — может ли человек, который так много ест и у которого такие толстые короткие пальцы, происходить из хорошей семьи? Вечные жалобы адвоката на изжогу — явное притворство, вот у доктора Мууса действительно слабый желудок — результат утонченных привычек многих поколений предков.

— Как красиво они пели! — обратилась фру Раш к дамам Ланнмарк в попытке завязать разговор.

— Вы находите? Ну да, конечно,— ответила фру Ланнмарк.— Хотя на юге нам доводилось слышать совсем другое пение.

— Я хотела только сказать... все-таки это было неплохо, вполне мило. Впрочем, я в этом не разбираюсь.

— Тебе так легко понравиться, Кристина,— сказал ее муж.— Но одно меня радует: мы организовали Союз благоденствия Сегельфосса. Я очень доволен.

Доктор всегда умел на все найти наилучший ответ. Подняв бокал, он поздравил своего друга с назначением на пост председателя Союза.

— Ну что ж! — безразлично отозвался адвокат.— Приходится жертвовать собой ради друзей. А теперь нам первым делом надо устроить базар и собрать денег. Это прежде всего. Полагаю, что могу рассчитывать на содействие барышень семейства Ланнмарк?

— Эта фрекен Хольменгро не слишком симпатичная,— сказала одна из барышень Ланнмарк.

— Да уж, Бог свидетель,— сказала вторая барышня Ланнмарк.

— Мне кажется,— сказал доктор Муус,— что и нельзя многого требовать от особы, у которой нет за плечами культуры нескольких поколений.

— И к тому же у нее желтая кожа. Это из-за скверного желудка, доктор?

— Ох, не говорите про скверные желудки! — воскликнул адвокат.

Пропустив мимо ушей его реплику, доктор ответил:

— Нет, это наследственность. Безусловная наследственность. Учение о расах не оставляет по этому поводу ни малейших сомнений. Не забудьте, в жилах фрекен Хольменгро течет индейская кровь. Она из тех, кого мы называем квинтеронами.

— Нет, вы только подумайте, она индеанка! — говорит одна из барышень Ланнмарк.

— Да, подумать только, быть индеанкой! — говорит вторая барышня Ланнмарк.

— А я боюсь за ленсмана,— замечает адвокат, думая о своем.— Боюсь, как бы в один прекрасный день его не настиг крах. Как бы в один прекрасный день мне не пришлось поставить точку.

— Он что, совсем уж беззастенчиво живет не по средствам? — интересуется доктор.

— Он... да что там! — возмущенно отвечает адвокат.— Ему ничего не стоит заработать кучу денег, но он не умеет себя правильно вести, а если, бывает, что-нибудь и заработает, так у него все равно ничего не удерживается. Да вот нынче вечером все мы, у кого есть средства, подписались по пять крон в пользу «Благоденствия Сегельфосса» — ленсман, разумеется, тоже не захотел отстать! А ему это вовсе не по карману, с него было бы довольно и пятидесяти эре!

— Я что-то не видела сегодня здесь начальника телеграфа. Он вообще нигде не бывает? — спрашивает одна из барышень Ланнмарк.

— А вы с ним знакомы? — удивляется доктор Муус.

— Нет, просто как-то раз заходили на станцию отправить телеграмму,— отвечает вторая барышня Ланнмарк.

— Да, он нигде не бывает,— сказал адвокат.— Во всяком случае, я не приглашаю к себе в дом человека, который не наносит визитов. Образованные люди обязаны соблюдать определенные нормы поведения, иначе нас не отличить будет от толпы.

— А мне все-таки показалось, что последняя песня была не без приятности,— внезапно сказала фру Раш.— Вы не находите, фру Ланнмарк?

С бесконечно снисходительной улыбкой адвокат отвечает жене:

— Что хорошо в тебе, Кристина, так это то, что тебе так легко понравиться.

Фру Ланнмарк сказала:

— А этот молодой Виллатс из «поместья», как его у вас здесь называют,— согласна, дом неплохой, но уж никак не поместье! Тут на севере, по-моему, с поместьями дела обстоят неважно. Он что, решил окончательно поселиться в родных краях, владелец-то?

— Возможно,— сказал доктор, словно бы ничего об этом не знал и словно бы и знать этого не стоило.

— Его, кажется, тоже не было здесь сегодня?

— Да. Он тоже один из тех, кто не отличается особой вежливостью,— отозвался адвокат.— Я, правда, пригласил его ради жены — то и дело приходится жертвовать собой ради ближних,— она его знает с младенческих лет. А в результате он не пришел.

— Он ведь ответил и попросил извинения,— возразила его супруга.— Очень вежливая записка.

— Не хватало еще, чтобы он не ответил вежливо и почтительно на мое любезное приглашение.

— Что касается меня,— сказал доктор Муус,— то я с подобными людьми никогда не мог найти общего языка. С его отцом я тоже не был на дружеской ноге, с тем самым, что дослужился лишь до лейтенанта. Он, по-видимому, полагал, что его высокомерие сойдет ему и со мной — но не на того напал!

Вошла Флорина-Служанка со словами:

— Вот, пожалуйста, телеграмма, я ее нашла там, где сидел господин заводчик.

Телеграмма, адресованная господину Хольменгро, была распечатана, место отправления — Пуэрто-Рико, от такого-то числа, двести двадцать тысяч за корабль, за «Сову», ответ до такого-то часа, Феликс.

— Феликс — его сын,— объяснил адвокат.— Ах, потерять такую невероятно важную телеграмму! Немедленно отнеси ее господину Хольменгро, Флорина.

Огромная сумма денег на мгновенье заткнула всем рты, точно шлепнулась перед ними на стол. И тут же все заговорили разом: двести двадцать тысяч — господи помилуй, какими делами и богатствами ворочает этот человек!

Даже адвокат был поражен:

— Да, вряд ли он и сам знает, как велико его богатство!

Перед этими мелкими людишками вдруг открылось величие иного рода, отличное от их собственного, и они не сразу пришли в себя. Чудо-человек Хольменгро обронил телеграмму, Флорина-Служанка понесла ее по назначению — не обронили же ее намеренно?

Фру Ланнмарк из пасторской усадьбы, развивая, верно, собственные мысли, произнесла:

— Феликс — красивое имя, правда, девочки?

Девочки, конечно, согласны.

— Он домой никогда не приезжает? — спросили они.

— Домой? Он и так дома,— обиделся доктор Муус.— У своих сородичей по племени.

Из парка все еще доносились смех и любовные визги, не такая уж, стало быть, глубокая стояла ночь, но поскольку визги все продолжались и конца им не предвиделось, доктор Муус обратился к адвокату:

— Послушайте-ка, это что, ваши избиратели, которых вам непременно надо ублажать?

Удар попал в цель. Адвокат на миг смешался, точно его раскусили.

— Что делать, у нас-то ведь есть свои развлечения, почему бы не позволить народу тоже поразвлечься? — сказал он.

— Мудрый кади,— произнес доктор, сглаживая неловкость,— ты говоришь верно, твои слова — золото! Мы все с радостью отдадим вам наши голоса, безоговорочно, вы это заслужили. Не поймите меня превратно.

— Совершенно очевидно, однако, что они там балуются не только чаем с бутербродами,— примирительно сказал адвокат.— Я это весь вечер подозревал. Сейчас я...

Он встал и крикнул с веранды в темноту, что настало время расходиться по домам. Спасибо, что пришли!

Ах, мудрый кади, не следовало ему устраивать свой праздник на исходе лета. Было тихо и тепло, но и достаточно темно, пострадали посадки, пострадали лужайки, основательно разрыли гравий на дорожках. И в следующем номере «Сегельфосс Тидене» в передовице, посвященной празднеству, было написано, что адвокат Раш не собирается больше предоставлять свой парк для народных гуляний. Это весьма огорчительно, писала газета, у господина адвоката всегда были хорошие отношения с народом, но теперь народ сам их испортил. Большая часть посадок после праздника оказалась поврежденной, в кустах обнаружено не менее восемнадцати гребней для волос, один из них с красной бусиной. Безобразие очевидное, не требующее доказательств, писала газета, и народ, по нашему мнению, чтобы хоть в какой-то степени возместить адвокату Рашу причиненный ущерб, должен выдвинуть его кандидатом на предстоящих выборах. Все на выборы!

Адвокату Рашу предстояли выборы?

Но мудрому кади не стоило так долго откладывать праздник, вечера стали слишком темными, а в темноте многое случается. О чем это так громко кричала сорока? Ох, да ни о чем ином, как о краже со взломом у господина Хольменгро. В то время как он и его прислуга находились на празднике и дом оставался пуст, взломали его кладовую и украли немало свинины и говядины, сыра и масла, копченой лососины и деликатесов в горшочках, закусок, всего понемногу. Да, вот о чем предупреждала сорока!

Придя домой, фру Иргенс сразу же заглянула в шкафчик для ключей, все ключи были на месте. У фру Иргенс, отличной хозяйки, наверное, все время было какое-то нехорошее предчувствие, во всяком случае, пропавший ключик от кладовой не давал ей покоя, и, взяв фонарь, она пошла в кладовую. Она сразу же поняла, что́ случилось, на ее крик сбежался весь дом, прибежал и ленсман, поскольку находился тут же. Тщательно обследовав все с фонарем в руках, он обнаружил то, что можно было обнаружить. К несчастью, весьма мало, ибо все следы во дворе были затоптаны и вор не оставил никаких опознавательных знаков. Но, по крайней мере, одно обстоятельство ленсман выяснил, впрочем, как и все остальные: в кладовую пробрались, отперев маленький висячий замок, английский замок, всегда висевший на двери, — теперь на ржавчине вокруг замочной скважины вид-

нелись свежие царапины. Замок был неповрежден, значит, его отперли ключом, а потом снова заперли.

— Если б господин заводчик привез новый замок из города! — запричитала фру Иргенс.— Это я во всем виновата! — сказала она, рыдая все громче.— Не надо было выпускать ключа из рук, надо было спать с ним!

Да, смятение было великое, но сам господин Хольменгро воспринял случившееся спокойно и достойно, сказав, что на закуски у них денег хватит.

— Идемте в дом! Пойдемте, ленсман!

В это время подходит Мартин-Работник, идущий из усадьбы Сегельфосс, и, лишь заслышав слова «кража со взломом», он тут же громко говорит:

— Это дело рук Ларса Мануэльсена!

Молчание.

— Ты это утверждаешь? — спрашивает ленсман.

— Утверждаю! — Мартин-Работник явно не собирается покрывать Ларса Мануэльсена.

— Ты видел?

— Да, видел его с узлом. И Уле Юхан видел, и наш Петтер-Лопарь видел. Мы все трое его видели, мы вместе шли.

— Где вы его встретили?

— Здесь! — ответил Мартин-Работник, быстро отмерив несколько шагов вдоль дороги.

Ленсман поднял фонарь, осветив лицо господина Хольменгро, но ничего не спросил. Господин Хольменгро промолчал.

— А чего вы пришли сюда так поздно? — спросил ленсман.

— Да уж не для того, чтобы воровать,— ответил Мартин-Работник.— Мы харчуемся в поместье Сегельфосс, у Виллатса Хольмсена. А дело было так: мы услышали страшный крик, который подняла сорока, ну и Уле Юхан говорит — он как раз у нас был, а ему непременно надо все знать, — вот он и говорит, идем поглядим, чего это сорока раскричалась. Ну мы и пришли сюда.

Ленсман вновь осветил лицо господина Хольменгро, но тот коротко бросил:

— Хватит об этом разговаривать! — и вошел в дом.

Ленсман задал еще пару вопросов, как бы заключая разговор:

— Значит, говоришь, Ларс? Он что-нибудь сказал, или вы что-нибудь сказали?

— Я сказал «добрый вечер», а он только зарычал и быстренько прошел мимо. Больше ничего сказано не было.

— Вы хорошо видели, кто это был?

— Сможем присягнуть, ежели вы того желаете. Да господи, что мы, не узнали бы Ларса Мануэльсена, его пуговицы да его парик? Под мышкой он держал горшок.

— Горшок с вареньем! — воскликнула фру Иргенс.— Малиновым! — воскликнула она. — О боже, встретился бы он мне!

Фрекен Мариана, потянув за собой ленсмана, направилась в дом, все разошлись.

Но хотя господин Хольменгро и после того ни разу нигде не обмолвился ни о краже, ни о преступнике, все же происшествие стало известно и в городке и в окрестностях. Слишком много народу о нем знало. «Сегельфосс Тидене» тоже не смогла промолчать, но преподнесла новость в высокопарной юридической статье, вышедшей из-под пера, как предполагалось, самого адвоката Раша. Статья, казалось, была пропитана ненавистью и мстительностью.

Большое смятение она вызвала. Но злодей, должно быть, чувствовал себя в полной безопасности, во всем этом было нечто нарочитое, почти угрожающее: гостинице Ларсена определенно перепало кое-что из изысканных закусок, потому что она вдруг превратилась в отличную гостиницу, во всяком случае, как заявили несколько коммивояжеров, посетивших лавку с образцами осенних товаров, они никак не ожидали найти в этом местечке такую гостиницу и теперь будут ее всячески рекомендовать. Каким образом гостиница Ларсена могла позволить себе угощать своих постояльцев деликатесной копченой лососиной, свиным рулетом и малиновым вареньем? Было ли это хоть в какой-то степени связано с последним ночным похождением господина Хольменгро? Еще как связано! Ведь Ларс Мануэльсен приходится Давердане отцом, а хозяин гостиницы Юлиус — братом, оба небось знали, что́ они могли себе позволить.

Но Сегельфосс изменился: он уже не был тем тихим и безгрешным Сегельфоссом, как когда-то. Безгрешный? Сегельфосс превратился во вселенскую лужу, говорил Ларс Мануэльсен, и уж я напишу об этом Лассену, сынку моему! Тихий? Нет, здесь вовсе не было тихо, здесь много чего происходило, пусть и в небольших масштабах, и хотя местечко невелико, но и его настигали потрясения и удары судьбы.

Теперь вот подоспел праздник Теодора-Лавочника на острове. Тот самый гагачий праздник, который вылупился в

голове Теодора лишь затем, чтобы презрительно отмахнуться, свести на нет праздник адвоката. Теперь он состоялся. А если кто и мог составить грандиозный план его проведения, так только один Теодор. Но он вовсе не собирался ограничиться лишь тем, чтобы в один прекрасный день зазвать весь цвет общества на пустынный остров. Нет, его имя и прежде всего его фирма должны ярко засиять для городка Сегельфосса, посему в загашнике у него имелось нечто доселе невиданное и неслыханное в этих краях: он раздобыл фейерверк!

Ах, этот чертов Теодор!

Сейчас он чрезвычайно занят, его новая лавка-дворец почти готова, как только подсохнут позолота и лак, можно переезжать. Времени на то, чтобы торговать за прилавком, уже нет. Один человек пожелал купить у него желатин, он приехал из горных хуторов, покупал у него желатин и раньше.

— Дайте мне еще пять пакетиков,— сказал он,— того же сорта, что я брал в последний раз.

— Подожди, пока мы вернемся с праздника,— ответил Теодор,— разве ты не видишь, что я вывесил флаг?

— А чего это вы вывесили флаг?

— В свое время узнаешь!

Он вывесил флаг в честь Антона Кольдевина, в честь своего праздника. Когда-то он посылал приказчика Корнелиуса на сигнальный холм, где тот простоял два дня, доведя всех до исступления своей таинственностью. Но тогда он ждал важного коммивояжера, плывшего на собственном пароходе, а нынче-то что? О, нынче предстоит событие выдающееся! Уже пришел почтовый пароход, приехал и его коллега Антон Кольдевин, а флаг у Теодора развевается по-прежнему. Глядите не проговоритесь. Теодор кое на что способен, он никогда впрямую не надувал народ, во всех его поступках крылся определенный смысл.

День выдался ясный и тихий, пять лодок стояли у причала наготове для молодежи, на пристани толпился народ. Пришли, получив выходной, несколько молодых рабочих с мукомольни, со своими девушками — это, конечно, фрекен Мариана устроила для рабочих выходной на полдня, ведь она тоже собиралась на остров. А вот и она, в сопровождении Антона Кольдевина, уступила ему без всяких проволочек, согласилась поехать с ним.

Без всяких проволочек? Как бы не так. Вечером, по приезде, Антон, устроившись в гостинице, сразу же отправился к ней. Не желает ли она тоже принять участие в завтрашнем гагачьем празднике?

— Господи, ни за что, не иначе, вы сошли с ума! — ответила она.

На это он заметил:

— По-моему, степень вашего удивления никак не соответствует моей провинности.

— Вы хотите сказать, что мне следовало ожидать от вас этого предложения?

— Ладно, пусть будет так. Я просто вернулся, как и обещал.

Казалось бы, решительность и энергия этого человека должны были вызвать у нее восхищение. Он не растрачивал жизнь на сомнения, он делал то, что говорил. И вот он снова здесь, проведя целых три дня в пути.

— Я дам вам ответ завтра,— сказала она тогда.

— Благодарю вас,— сказал он.— И обещайте, что за ночь не измените своего отношения к моей просьбе!

Да, этот человек, Антон Кольдевин, за словом в карман не лезет, отнюдь нет.

А утром они пришли к согласию, и вот парочка явилась на пристань.

Теодор-Лавочник выходит им навстречу, еще издалека кланяясь. Он весь дрожит от радости и волнения и, разумеется, не может обойтись без шутовства. Глядите-ка, он считает удобным взять полушутливый тон, и, когда Мариана здоровается с ним, Теодор отвечает:

— О, здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать! — Но при этом он исключительно вежливо выражает свою благодарность и воодушевление.

Лодки отчаливают от берега, и тут Теодор поразил всю округу: он дал залп. Да, и вовсе не из обычных дробовиков, в десяти местах в горах он заложил в минные ямы динамит и его-то и взорвал. Земля прямо сотряслась от взрывов. Народ закричал «ура».

— Можно подумать, что король отправляется в плавание,— сказала Мариана.

— Королева! — сказал Антон, отвешивая ей поклон.

— У меня еще десять залпов в запасе, на возвращение,— сказал Теодор-Лавочник, прикоснувшись к шляпе. Но смотрите, он распаковал граммофон, и из трубы загремел «God save the King»[1].

— The Queen![2] — сказал Антон и снова поклонился. А Теодор снова прикоснулся к шляпе.

---

[1] Боже, храни короля! *(англ.)*

[2] Королеву! *(англ.)*

Бедный малыш Теодор, и он туда же! Бедный? Ха, да ему цены нет. Он паясничает, строит из себя неизвестно кого, он в замешательстве вообразил, будто ему надо быть веселым и учтивым, и это проявляется у него в весьма странных формах; но у парня свои сильные стороны в другом, и там-то он стоит дюжины. Что за залпы, что за музыка, что за праздник! — мелькает у него в голове. А в том, что весь Сегельфосс сейчас сидит по домам и завидует ему, он не сомневается ни секунды. Вон поглядите, одна лодка доверху загружена снедью и напитками, ее ведут хозяин гостиницы Юлиус, пекарь и Нильс-Сапожник. Эти трое будут обслуживать гостей.

— За нами еще одна лодка идет,— говорит фрекен Мариана.

— Это наши припасы,— поясняет Теодор, прикасаясь к шляпе.

Он то и дело подносит руку к шляпе, ни дать ни взять солдат, отдающий честь. И придумал это сам, совершенно неожиданно, чертовски удачная находка! А вечером того же дня придумал и еще кое-что похлеще: все распоряжения, которые он отдает своим подчиненным, заканчивает собственным именем, как будто ставит свою подпись. «Теодор Енсен», весело и учтиво говорит он. Он надел новый костюм в полоску и неотразим, а ботинки — черт его знает, уж не из Китая или из Вены он их выписал. Из Вены! — говорит Теодор. Ботинки эти такие остроносые, такие разукрашенные, с гетрами из желтого бархата, ну просто необыкновенные, разве что серебряных бубенчиков не хватает.

Так и плыли они, в приподнятом настроении, под музыку да при хорошей погоде. Девицы сегодня отличаются одной странностью: почти ни у одной в волосах нет гребня. Но их это нисколько не заботит, точно гребни совсем вышли из моды, окончательно. И вот так во всем такое же радостное царит настроение. Неподвижное море напоминает огромный, сверкающий на солнце лист фольги, из окрестных селений им навстречу отчаливают еще несколько лодок, их радостно приветствуют.

— Мы услыхали пальбу,— говорят с них.

— Вот и отлично,— отвечает Теодор.

Народу собралось великое множество, хорошо, есть целая лодка со снедью.

Но вот прямо к ним направляется четырехвесельная шлюпка, она идет из Утвэра, блестящая, проолифенная, освещенная солнцем, она похожа на маленький корабль с

позолоченным носом. В ней сидят дамы семейства Хенриксена из Утвэра.

— Мы услышали грохот и пальбу,— говорят они.

— Вот и отлично,— говорит Теодор, касаясь рукой шляпы.— Мы едем на пикник, разворачивайтесь и присоединяйтесь к нам, с почтением, Теодор Енсен.

Хозяин неотразим, они присоединяются, все к ним присоединяются.

— Надо было известить Виллатса,— сказала Мариана Антону.— Может, он бы тоже поехал.

— Я просто не решаюсь появляться у Виллатса. В прошлый раз я ему здорово мешал,— ответил Антон.— Сейчас я здесь инкогнито.

— Теодор, а почему с нами нет ваших сестер? — спросила Мариана.

Теодор забывает поднести руку к шляпе:

— Моих сестер? Фрекен Мариана, да ведь мои сестры порешили выставить меня из дела, они же ненормальные, они разорят себя, не меня. Я вот-вот открою собственную фирму! — И Теодор все обстоятельно объяснил, он больше не ломает комедии, тут уж он чувствует себя как рыба в воде. Под конец он заявил, что теперь даже не ест дома, ходит в гостиницу, и все из-за сестер.

Солнце быстро садится, полыхает грандиозный закат, его багрянец ярче золота и крови, с беззвучным гулом опускается оно в море. На торчащей из воды скале сидят, подставив грудки вечернему зареву, две крупные чайки, кажется, будто они сделаны из шелка-сырца. Они поворачивают головки, провожая взглядом лодки, но не взлетают. Мариана пребывает в некоторой задумчивости.

— Какие таинственные птицы эти чайки,— говорит она,— живут в своем собственном мире, где пользуются почетом, быть может, считаются важными птицами. Погибни они сейчас, и мир чаек наверняка повергся бы в скорбь!

Странные слова, но Теодору они кажутся красивыми и удивительно нежными. У него припасен маленький подарок для фрекен Марианы, за то, что она проявила такую доброту и согласилась поехать с ними, ах, это всего лишь носовой платочек за тридцать пять крон, но его, по словам коммивояжера, и принцессе подарить не стыдно. Теперь дело только за тем, чтобы фрекен Мариана потеряла в этот вечер свой собственный платок.

— Скоро приедем? — спросил Антон.

— Скоро. Видите флаг?

— Вы и там подняли флаг?

— Я не только флаг поднял. Когда стемнеет, мы зажжем факелы и плошки.

Оказалось, что Теодор заранее послал на остров людей, чтобы все подготовить. Гости сходят на берег и поднимаются к маленькому домику. Сразу же появляются вино и печенье — пора подкрепиться. И пока повара и обслуга разводят огонь и начинают накрывать столы, Теодор ведет гостей по гагачьему базару. Он здесь частый гость и знает остров как свои пять пальцев. Когда-то это был наш базар! — думают, наверное, дамы из Утвэра. Что правда, то правда. Но так уж случилось однажды, что Хенриксен из Утвэра влез в крупный, грозивший ему опасными последствиями, долг, вот гагачий базар и перешел к Теодору-Лавочнику. Все нынче переходит из рук в руки.

На острове сейчас никто не живет, птицы улетели, их гнезда пусты, пух собрали в последний раз, лишь маленькие крыши над гнездовьями оставили нетронутыми в ожидании птиц на будущий год. На длинных красных ногах бежит, попискивая, припозднившийся кулик, вразвалку бродят чайки.

Вскоре все, что можно, обследовали. Сгустились сумерки, прямо у дома зажгли факелы и плошки. Те трое, кому поручено отвечать за снедь, поработали по данной инструкции, и поработали умело: правда, пекарю, пропившему свою пекарню за винным прилавком у Пера-Лавочника, доверили лишь подавать хлеб да выпечку, зато за выпивку отвечал самолично хозяин гостиницы Юлиус. Для тех гостей, кто будет сидеть в домике, у него заготовлены вина и тонкие бокалы, а на длинных столах во дворе стоит спирт, разбавленный шипучкой.

— Настоящий виноградный спирт! — сказал Теодор, давая гостям прочитать этикетку.

— Ну Теодор, ну дает! — восхитилась молодежь.

А потом появилась снедь — наиизысканнейшие закуски из гостиницы Ларсена, и все пили шипучку со спиртом, уплетали бутерброды с копченой лососиной, свиным рулетом и малиновым вареньем и хохотали до упаду при одном упоминании обо всем том, что они наслышались про эти яства.

— Нас за это по парику не погладят! — говорили они с тонким намеком. Но, выпив побольше, расхрабрились: — Как бы нас и вовсе не арестовали!

Юлиус хлопотал в домике, прислуживая господам и всем, кто поместился внутри, так что не слыхал злорадных шуточек. Он подал на стол изысканные консервы, выданные ему

Теодором, и холодную птицу, и мармелады, и яйца, приготовленные тремя разными способами, и сухие печенья, и морошку. И выставил пиво и красное вино, а к птице у него была припасена корзина шампанского. Что и говорить, Юлиус тщательно изучил поваренную книгу и порасспросил коммивояжеров.

Ах, какой праздник! И, вспоминая праздник адвоката Раша, присутствующие с трудом сдерживались, чтобы не наговорить резкостей об адвокате. Ну Теодор, ну дает! Все-то у него получилось как надо, и погода выдалась прохладная для виноградного спирта, и время года, когда с кустов облетают листья, выбрано удачно. Девушки прелесть как хороши, они цвели последний раз в эту осень, и парни гасили факелы, которые Нильс-Сапожник упорно зажигал снова, потому как больно приятно сидеть в темноте без света. А потом пара за парой начали куда-то разбредаться, и, поскольку было довольно холодно, волей-неволей приходилось бросаться на землю, зарываться поглубже в палые листья, теснее прижиматься друг к другу, чтобы не замерзнуть. Сверкали на небе редкие звезды, там и сям на острове мерцали огоньки сигарет.

Нильс-Сапожник в последнее время опять отощал, превратился в оборванца, ведь с тех пор, как здесь весной побывал театр, вплоть до сегодняшнего дня, он не заработал ни эре, и вот теперь, когда ему велено зажигать факелы и обслуживать гостей, эти ненормальные мешают ему добросовестно выполнять свой долг! Он входит в домик и жалуется.

— Они гасят факелы,— говорит он,— я знай зажигаю, а они гасят!

Чтобы заставить его замолчать, Теодор выходит с ним на улицу проверить обстановку.

— Да ведь тут почти никого не осталось? — говорит Теодор.— Ну, так и зажигай!

Появившийся из домика Юлиус подходит к Теодору и шепчет:

— Ее платок у меня!

Все вроде идет как по маслу, и Теодор заводит граммофон, заводит мазурку, дабы завлечь горячие головы обратно, потанцевать на лужайке, да, он даже не набрасывается на пекаря, который, воспользовавшись случаем, дорвался до бутылки и уже совсем тепленький.

Пары постепенно возвращаются с прогулки и, вновь подкрепившись, начинают плясать. Ах, как весело, они хохо-

чут, кричат, курят, ах, какой праздник, ну Теодор, ну дает! Дамы из Утвэра тоже выходят на лужайку и, наплевав на все, танцуют с парнями.

Теперь, когда гости один за другим вышли из домика, за опустошенным столом остались лишь господа, остались лишь фрекен Мариана и Антон Кольдевин. Фрекен Мариана полулежит на скамье у стены, и Антон говорит ей:

— Наконец-то мы одни!

Мариана ничего не отвечает, только бросает на него быстрый взгляд. Тогда он опять говорит:

— Этот ваш взгляд — только у вас одной такой взгляд!

— Неужели?

— Как по-вашему, мне удастся в этот раз повидать вашего отца?— спросил он.

— Вы действительно не собираетесь заглянуть к нам?

— Спасибо, загляну с удовольствием. Но будьте так добры, передайте при случае вашему отцу, что мне повезло с «Жар-птицей». Я правильно распорядился ею, и удача оказалась на моей стороне.

Мариана кивнула. Пододвинувшись к ней поближе, Антон сказал:

— Как бы мне хотелось идти вдвоем с вами по дороге, и чтобы нас застиг дождь, и нам бы пришлось укрыться под одним зонтом.

— Неужели? — сказала она.— Значит, вам повезло, вы заработали кучу денег?

— О да.

— Не можете ли вы в таком случае помочь тут одному человеку?

Ее вопрос застиг Антона врасплох:

— Одному человеку? Кому? Я его знаю?

— Нет, а впрочем, может, и знаете. Ему нужны деньги, не представляю, сколько, может, тысяча крон.

— Гм. Вообще-то... с этим следовало бы обратиться к более подходящему человеку, я ведь даже здесь не живу. Но, впрочем, почему бы и нет. У него есть собственность, обеспечение?

— Обеспечение? Я ведь не о том, я о подарке. Об анонимном подарке.

Антон улыбнулся:

— Ваше предложение настолько выходит за рамки деловых отношений, что это выше моего разумения. Да, все это для меня чересчур странно.

— Вот как,— сказала она.

— По-моему, в этом есть что-то от актерства и анахронизма.

— Я, во всяком случае, знаю кое-кого, кто бы не стал справляться об обеспечении,— сказала Мариана.

— Верно! — с горячностью воскликнул Антон.— Я тоже знаю. Но он не деловой человек, он никто.

— Он — золото! — сказала Мариана, спуская ноги и садясь.

— Золото? Только не это. Он даже не серебро. Ему приходится рубить лес, чтобы свести концы с концами.

Теперь улыбнулась Мариана. Но Антон, не заметив ее улыбки, продолжал:

— Золото? Ну нет. У него есть музыкальные инструменты, ножницы, щеточки и множество пар перчаток, и безделушки из оникса и малахита, но золота, ценностей...

— И обеспечения? — продолжила Мариана, и ее удлиненные глаза сузились, стали похожи на лезвие ножа.

— Вот именно, есть ли у него обеспечение? Разве поместье не заложено? — спросил Антон.

— Разве вы не друзья? — удивилась Мариана.

— Конечно, друзья. Вы думаете, я не говорил ему это прямо в лицо? Говорил еще и не то. Он человек прошлого века, его занимают искусство, природа, государство, этика. А меня нет. Я принадлежу этому миру, я делаю дела, зарабатываю деньги и пользуюсь ими. Дать кому-то тысячу крон? Разумеется, стоит вам только повелеть. Я просто считаю, что сама эта мысль устарела, глупа. Но разумеется. Тысяча крон, поскольку таково ваше желание. Завтра же утром распоряжусь телеграммой. Ну, разве я не добрый малый? — спросил он, еще ближе придвигаясь к ее скамейке.

— Прекрасно, тысяча крон,— произнесла она с неподражаемой хитрецой и вкрадчивостью.— Нет, нет, отодвиньтесь, пожалуйста, вон туда... вот так, хорошо. Видите ли, мне не хочется вмешивать в это дело ни отца, ни Виллатса.

— Виллатса? — вскричал Антон.— Да откуда у него тысяча крон!

— Неужели не найдется?

— Да чтоб мне провалиться на этом месте! Передайте ему это от меня!

— У Виллатса есть намного больше, чем вы предполагаете, да-да, именно у Виллатса.

— У Виллатса? Вон оно что. Если так, ему повезло! А вообще-то, я не понимаю, чего вы носитесь с вашим Виллат-

сом. Можно подумать, вы его жалеете, цените его безобидность. Неужели вы не понимаете, что он водит вас за нос? Послушайте доброго совета, Мариана, да, я приехал сюда ради того, чтобы дать вам совет, а вовсе не ради праздника. То есть я приехал ради вас, и вот я здесь! Я придвинусь чуть поближе, потому что хочу пасть к вашим ногам, смотрите! Нельзя? По-моему, очень даже можно, а теперь выслушайте меня, я не хотел ничего говорить вам раньше, но сейчас, после удачи с «Жар-птицей»... Не в моей натуре разливаться соловьем о любви, бессонных ночах и тому подобном, но я влюблен в вас с самых первых моих каникул в Сегельфоссе, и вы должны выслушать меня, Мариана. Не стану утверждать, будто обладаю многими достоинствами, не хочу, но кое-какие могу предоставить в ваше распоряжение; Виллатса я в расчет не беру, решение должны принять только мы с вами.

— Нет... что вы такое говорите? Прекратите, пожалуйста!

— Не отодвигайтесь. Я заканчиваю и, как честный человек, делаю вам предложение: примите мою руку, я никому никогда ее не предлагал.

— Нет,— сказала Мариана.— И довольно об этом.

— Я провел три дня в дороге, чтобы жениться на вас, чтобы завоевать вас.

— Вы, похоже, сошли с ума!

— Будьте серьезны, Мариана! Я предлагаю вам свою руку, в этом нет ничего ненормального, мы знаем друг друга с юности, и с тех самых пор я жду вас, просто я не хотел навязываться. Виллатса я в расчет не принимаю.

— Зато я принимаю.

— Вздор. Вы прекрасно знаете, что это невозможно. Если бы речь шла хотя бы об этом купце — а может, все дело в купце?

— Нет, в Виллатсе,— сказала она, вставая.— Давайте выйдем.

— Послушайте же! — сказал он, тоже поднимаясь, свет лампы бил ему прямо в лицо, причиняя немалые страдания.— Послушайте же... эти пианисты... у них нет будущего... я говорю не о ком-то конкретном, поскольку его здесь нет, а обо всех. Мне просто смешно, когда я вижу, как дамы увиваются вокруг них. И жалко их, и стыдно. Женщина, которая живет с конфирмантом, заслуживает большего уважения, чем та, что живет с музыкантом. Музыканты ничего не умеют, они могут только играть, они не мужчины.

— Да вы просто грубиян!..

Он ударил по лампе под потолком, и они оказались в темноте. Что было у него на уме? Марианы ему не добиться, она лишь шипит. Насилием, напором тут ничего не добьешься, только хуже будет. Следующее мгновение обернулось для него сильнейшим разочарованием — бросившись на нее, закрыв ей рот, целуя и обнимая ее, он лишил ее возможности сопротивляться, и вдруг, почувствовав укол и острую боль в бедре, разжал объятия. Она что, пустила в ход серебряную шпильку? Но у нее нет серебряной шпильки. Значит, пустила в ход нож. И хотя она оказалась на секунду у него в объятиях, произошло это не по ее воле, разве не так? Разве она не зашипела, прежде чем уколоть его?

В дверях возник Теодор:

— Я услышал... лампа лопнула?

— Я разбил ее,— сказал Антон.

— Моментом принесу другую!

Мариана вышла. Антон последовал за ней. Возбуждение улеглось, оба кое-как привели себя в порядок. Антон потрогал ранку, он все еще тяжело дышал. А Мариана, убедившись, что на нее никто больше не собирается нападать, дышала спокойно.

— Мой носовой платок у вас? — спросила она и, не глядя на Антона, протянула назад руку.

— Что? Платок? Нет, сейчас я его поищу.

Она обратилась к нему, следовательно, не питает к нему ненависти, не презирает его, сам черт не разберет эту девицу, эту метиску. Но он был благодарен ей за ее спокойствие и поражен ее самообладанием. Она не кричала на него перед тем, как уколоть, только злобно шипела, и вот теперь спрашивает про платок! Она не отличается явной, броской красотой, нет, у нее желтокожее индейское лицо, неправильные черты, не те краски, ничего классического. Но держа ее в объятиях, он физически ощущал ее красоту, ощущал необыкновенную прелесть ее тела и ее движений. Желая подладиться под взятый ею тон, он лишь сказал:

— Пожалуйста, забудьте о том, что произошло!

— Конечно,— ответила она.

— Благодарю. Но Бог свидетель, мне еще никогда в жизни не приходилось сталкиваться с чем-либо подобным: вы что, пустили в ход нож?

— Нет, вилку,— ответила она, показывая зажатую в руке вилку.— Положите ее обратно на стол!

Он взял вилку и посчитал зубцы:

— Один, два... стало быть, во мне три... нет, четыре дырки.

Сам черт, очевидно, до сих пор не разобрался в этой девице, потому что, обернувшись к нему, она проговорила:

— Пожалуйста, забудьте об этом!

Появился Теодор с лампой, и Антон вошел с ним в дом; Мариана не тронулась с места, наблюдая за танцами. Простила ли она эту его безумную выходку или же посчитала ее в какой-то степени оправданной? Он ведь не из тех, кто добивается своего хитростью, нет, он не принадлежит к тем тысячам пошлых ничтожеств, которые повели бы себя совсем по-другому, так, может быть, его необычайная прямота ей все-таки импонирует?

— Я не нашел вашего платка,— сказал Антон.

Подошел Теодор, полез было в нагрудный карман, оглянулся, но не решился — пока не решился.

Всем присутствующим подали кофе — ох уж этот Теодор!

— Нет, спасибо, мы будем пить здесь, вместе со всеми,— сказала Мариана.

— Вы боитесь зайти в дом? — спросил Антон.

— Меньше, чем вы,— ответила она.

Кофе пили с пуншем. Мариана поинтересовалась, который час: не пора ли подумать о возвращении? Но после того, как молодежь подкрепилась кофе со спиртом, пляски возобновились с новой силой, а те, кто не хотел танцевать, сидели за столами, попивая кофе со спиртом, — никому и ничему сейчас было не поднять их с места или испортить настроение, даже самому Юлиусу с его виноградным спиртом и великолепной снедью — что, разве плохи были закуски из гостиницы Ларсена? Юлиус всем нам дал возможность отведать деликатесов из кладовой. А Теодор, про него и говорить нечего, с ним никто не сравнится! Короче говоря, все так возбудились, что совсем было собрались снова гасить факелы и парами разбрестись кто куда. Но тут Теодор скомандовал:

— Все по лодкам! Точка. Теодор Енсен.

И так браво и задорно прозвучали эти слова, что гости смирились и заковыляли к лодкам под крики «ура», «спасибо за праздник» и «ура точке Теодору». Пекарь, Нильс-Сапожник и Юлиус остались на острове гасить факелы, укладывать посуду, убирать со столов, впрочем, от пекаря толку было мало, он вмиг захрапел, отключившись от этого многострадального мира.

Возвращались домой под звуки граммофона и взрывы веселья, ни одна лодка не отстает, все идут эскортом, косяком. На адмиральском судне Теодора горят три фонаря, высоко на синем своде мерцают редкие звездочки — ни слишком темно, ни слишком светло, а лишь одно удовольствие. Галантный Теодор пригласил и дам из Утвэра в свою лодку.

В Сегельфосской бухте он вдруг пустил в небо ракету. То был сигнал: десять динамитных взрывов вновь сотрясли землю и берег — салют царствию земному.

— Да здравствует королева! — прочувствованно, как никогда, воскликнул Антон и поклонился Мариане. Теодор прикоснулся к шляпе.

Но вот с сигнального холма в небо взмыла ракета, ввысь устремились ракеты с других холмов, пришло время для сюрприза. Чудо свершилось. Гости в лодках, отложив весла, глазели во все глаза, они слышали доносившиеся из городка крики, ракеты распускались в воздухе огненными шарами, римскими свечками, россыпью огней, золотыми коронами, жар-птицами — о, Боже! И все это длилось и длилось, и не было чуду конца, роскошному и грандиозному. Теодор, видно, неплохо заработал в этом году на сушеной треске.

— Потрясающе! — сказала Мариана.— Я ничего подобного никогда не видела, как вам удалось такое устроить, Теодор?

— Фейерверк? Мне так хотелось, чтоб у нас было как в других городах,— ответил Теодор. Он сунул руку в нагрудный карман и вытащил пакетик. Теперь или никогда! — судя по всему решил он. Разорвав папиросную бумажку, он сказал:

— Извините, фрекен Мариана, вы, кажется, потеряли носовой платок, так у меня тут есть один. Пожалуйста. Возьмите, пожалуйста.

— Нет-нет, спасибо, не нужно, я скоро буду дома.

— Вы только взгляните на него и оставьте себе!

Поднеся платок к фонарю, Мариана изумилась. Бог ты мой, плетеные кружева! Но нет, спасибо.

— Но почему? Если я хочу вам его подарить?

— Слишком дорогой. Что мне делать с ним? Нет, я не возьму!

Теодор быстро нашелся:

— Он у меня в кармане лежит, потому как это образец, моей фирме прислали.

Мариана только покачала головой.

Огни фейерверка погасли, погасли и кое-какие другие огни. Теодор оскорбленно умолк. Почему такое жестокосердие! Один раз вернула шаль — ну ладно, она не носит шалей. Но маленький носовой платочек!

И тогда, криво усмехнувшись, смертельно униженный, Теодор обращается к дамам из Утвэра:

— Вы тоже не желаете принять его от меня?

Ах, нет, нам никак нельзя, если фрекен Хольменгро его отвергла. Они бы с радостью взяли эту искусную вещицу, эту книжную закладку, но увы. Нет, спасибо, у нас есть носовые платки, сказали они.

— Похоже, вам от него не избавиться,— засмеялся Антон Кольдевин.

Теодор тоже засмеялся, но лишь для того, чтобы скрыть свои душевные муки и терзания. На какой-то миг он побелел как полотно. Потом собрал обрывки папиросной бумаги и тщательно завернул в них свое сокровище, вид у него при этом был непритворно несчастный.

И вот они сошли на берег, ступили на причал, из сопровождавших их лодок, которым предстояло возвращаться домой, раздались крики «ура Теодору», а сам он стоял, махая шляпой, и кричал «спокойной ночи», «спасибо за компанию!». Протянув ему руку, Мариана в самых сердечных выражениях поблагодарила его, после чего вместе с Антоном Кольдевином направилась к дому.

Ну что же, праздник гагачьего пуха удался на славу, жители городка, собравшиеся на пристани, глазели на Теодора, на победителя, и обсуждали залпы на земле и видения на небе. Тот хуторянин, что остался дожидаться желатина, ничуть об этом не жалел, потому как то, что ему довелось увидеть!.. Зато Ларс Мануэльсен стоял и, качая головой, обдумывал, как напишет своему сынку Л.Лассену и спросит, не богохульство ли это — выдумки людей да огненные знаки на небе.

4

— Я тебя не видел целую неделю,— сказал Виллатс Мариане,— ты так и не пришла в тот день, когда обещала.

— Антон был здесь,— сказала Мариана.

— Знаю.

— Знаешь?

— Я видел его. Почему ты не пришла в тот день, когда обещала?

— Значит, ты и про все остальное знаешь. Я ездила с ним на праздник гагачьего пуха.

Этого Виллатс не знал, и у него чуть заметно дрогнули брови. Нет, в эти дни его ничто не интересовало, он усердно и очень напряженно работал, ему так нужна была Мариана в тот день на прошлой неделе. Он хотел, чтобы она кое-что послушала, а она не пришла. Он работал очень напряженно, но плохо.

Зато он как-то встретил по дороге ее отца и перемолвился с ним парой слов.

— Я смотрю,— сказал Виллатс,— листья уже желтеют. Хорошо бы проклеймить деревья.

— Уже сделано,— сказал господин Хольменгро.

— Сделано? Я вам очень благодарен. Когда же?

— Только что. Чтобы вас не беспокоить, я позволил себе распорядиться этим по собственному усмотрению.

— Спасибо. И вы сможете достать лесорубов?

«Странный человек, этот молодой Виллатс Хольмсен, по сравнению с прежним! — наверняка подумал господин Хольменгро.— Ему требуются помощь и содействие во всем!» — наверняка подумал он. Два человека несколько дней клеймили деревья, только что закончили работу, а молодой Виллатс Хольмсен даже не заикнулся об оплате, забыл, а может, ему и нечем платить. Достать лесорубов! — говорит.

С едва заметной ноткой усталости господин Хольменгро ответил:

— Насчет лесорубов тоже не беспокойтесь.

— Спасибо,— сказал Виллатс. Но он, очевидно, заметил усталый вид господина Хольменгро и решил, видно, его не задерживать. — Разрешите откланяться!

— Вы так много работаете, Виллатс, совсем перестали нас навещать.

— Да, пытаюсь кое-что сделать. У каждого свои заботы: я тщетно стараюсь пролезть в игольное ушко, а в этот последний год пробовал даже осуществить это силой,— сказал он, улыбаясь.

— Кстати, я вспомнил,— говорит господин Хольменгро.— Вы ничего еще не решили относительно того, чтобы уступить мне часть ваших горных угодий?

— Если вы позволите мне быть откровенным, то мне бы этого не хотелось.

— Ну что ж, тогда больше не будем об этом говорить.

— Дорогой господин Хольменгро, быть может, вам это покажется упрямством и неблагодарностью с моей стороны,

но мой отец, старозаветный землевладелец, в своем последнем письме просил меня выкупать землю, а не продавать.

— Ни слова больше об этом! — сказал господин Хольменгро. И, глядя на старого спекулянта, никому бы и в голову не пришло, что, услышав отказ, он в глубине души ликовал. Ответ его прозвучал с холодной вежливостью.

Такая вот встреча произошла у Виллатса с господином Хольменгро.

Сейчас у него сидит Мариана. Уж не собирается ли она держаться с той же холодностью, что и ее отец?

— Праздник гагачьего пуха — что это еще такое? — спросил Виллатс.

— Праздник, который устроил Теодор-Лавочник. Помнишь пальбу и фейерверк? Так вот, там я и была.

Она, очевидно, ждала иронической реплики: мол, в таком случае не удивительно, что она его обманула! Но нет, он лишь кивнул.

— Ну, а теперь я здесь. Слишком поздно? — спросила она.

— Я хотел, чтобы ты кое-что послушала. Но обошелся без тебя. Впрочем, эту часть я потом совсем выбросил.

— Ой-ой-ой! Милый Виллатс, если я не всегда могу прийти, когда ты меня зовешь...

— Я не только звал тебя, для меня тогда это было очень важно. Я молил тебя прийти.

— Я страшно огорчена. Теперь, наверное, я буду виновата в том, что партитура никогда не появится на свет.

Он улыбнулся: он способен достойно ответить на холодность.

— Уж так-то зависеть от тебя мне, пожалуй, не пристало. Да я и не всегда так от тебя зависел.

— Конечно! — с преувеличенной готовностью согласилась Мариана. Она встала и подошла к окну, якобы чтобы поправить штору.— Конечно, ты же сочинил две-три превосходные вещицы.

Он опять улыбнулся.

— Разве ты не помнишь, что Григ назвал их гениальными?

— Да, я об этом и говорю.

Виллатс сегодня не такой, как всегда, почему бы это? Он, который, оставаясь с ней наедине, так близко к сердцу, так ревниво воспринимал все, что относилось к его искусству, сейчас позволял себе шутить по этому поводу; он, который чуть что приходил в бешенство от ревности — сейчас был как каменный.

— Впрочем,— сказала она, поднимая руку и поправляя складку на шторе, бросив на него косой взгляд из-под руки,— если ты хочешь и впредь поддерживать слух о своей гениальности, продолжай сидеть в одиночестве и молчи об этом.

Стрела попала в цель, да, он вздрогнул, сегодня она явно не собиралась щадить его. Но поскольку он твердо решил не доставлять ей радости выйти победителем, он вновь улыбнулся; сидя с безразличным видом, он глядел на свои сцепленные руки и улыбался.

— Я не шучу, впрочем, мне все равно, делай как знаешь. Антон все еще здесь, слышал?

— Слышал,— ответил он.

Она быстро отвернулась от окна:

— Слышал?

Ах, до чего же он сегодня раздражал ее своим спокойствием!

— Ты ведь ничуть этим не удивлена, Мариана,— ответил он,— твое лицо не выражает никаких чувств. Разумеется, я знаю, что Антон здесь, и что из того? Я также прекрасно знаю, что, стоя у окна, ты очень хочешь, чтобы я поинтересовался, почему и зачем ты там стоишь.

Эта стрела тоже попала в цель, глаза у нее почти закрылись. Но уже в следующую секунду к ней вновь вернулось самообладание. Она была способна зашипеть, пустить в ход вилку, но у нее хватало ума скрывать свои чувства. Ах, от всей ее сегодняшней хитрости, кажется, ни малейшей пользы, один вред.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду,— сказала она.— Послушай, ты не сыграешь мне, только вот этот маленький отрывок?

— Избавь меня сегодня от этого. Он не готов.

— Я тебя избавлю навсегда,— сказала она, обидевшись по-настоящему.— Навсегда.

Какие жестокие удары наносили они друг другу! Каменный Виллатс с прежней неумолимостью спросил:

— Значит, с тебя снова довольно?

— Да, довольно,— ответила она. И на какое-то мгновение можно было и правда подумать, что она говорит вполне серьезно.— Собственно, наши отношения всегда держались на ниточке.

Пауза.

— Разве не так? — спросила она.

— Мы с тобой ведь тоже бывали на празднествах,— ответил он.

Вот он и раскрылся, обнаружил свою ревность, на секунду потеряв бдительность. Она, вероятно, заметила это?

— Передай привет Антону,— сказал он, исправляя свою оплошность.— Когда он уезжает?

Да, Мариана, разумеется, заметила его оплошность, она коротко бросила:

— Он же не может уехать раньше, чем придет пароход.

— Не может. А когда придет пароход? Ну, впрочем, неважно. Но передай ему, что я, как всегда, делаю вид, будто страшно занят в эти дни,— сказал Виллатс, беря нотный лист.

— Что это? Когда ты ее раздобыл? — спросила она, показывая на саблю с золоченой рукоятью.

— Это сабля моего отца, она все время здесь висела,— сказал он.

— В таком случае, извини! — И, взглянув снова как бы ненароком в окно, воскликнула: — Ну вот, уронил перчатку — никуда не ходит без перчаток! До свидания!

И с этими словами Мариана выбежала из комнаты, даже не закрыв за собой как следует дверь.

Виллатсу пришлось, конечно же, встать и закрыть ее. И при этом ему, конечно же, пришлось скосить глаза на окно. Тьфу, всего лишь Антон! Но никаких перчаток не было и в помине — Мариана все выдумала. Сплошной обман!

После этого Виллатс, естественно, работать уже не мог, и петь не мог, ибо не унаследовал голоса матери. В сущности, он был скучный тип, умел рисовать и писать красками, как мать, умел опрятно, со вкусом одеваться, как отец, вот и все, что он умел. А ревность к Антону? Извините, но это просто смешно!

Путь, кажется, свободен, можно выйти?

Но в этот день ему предстояло пережить еще кое-какие события. Случилось так, что на дороге стоял Конрад, бывший поденщик, мошенник, он поклонился, и его приятель Аслак, сидевший на камне, тоже встал и поклонился. Конрад минуту-другую с интересом разглядывал собственные обшлага, а потом, покончив с этим занятием, протянул ему руку. И тогда Виллатс нахмурился так, как еще ни разу за сегодняшний день не хмурился.

— Я хотел поблагодарить вас,— сказал Конрад.

Виллатсу, похоже, это было невмоготу, это было выше его сил, он сказал:

— Тебе не за что меня благодарить, запомни это раз и навсегда. Что тебе еще надо?

Поняв, что надо быть кратким, Конрад проговорил:

— Спросить хотели, нет ли у вас для нас работы.

Виллатс смерил его взглядом с головы до ног, точь-в-точь, как, бывало, делал это его отец:

— Работы?

— Да. Для меня и для Аслака.

Виллатс смерил взглядом и Аслака. Вот человек, которого он когда-то хорошенько проучил, да, и заплатил ему, возместив самому бедняге и людям это благодеяние, эту оплеуху. Теперь они квиты.

— Можете отправляться валить деревья, которые я пометил,— сказал Виллатс.

— Идет,— ответил Аслак.— Значит, собираетесь рубить? Не рановато ли?

Виллатс не стал разводить разговоры, нет, ни одного лишнего слова, он только коротко кивнул и сказал:

— Ступайте в усадьбу и обратитесь к Мартину-Работнику! — И проследовал мимо.

Не так уж и глупо получилось, очень даже хорошо, он избавит господина Хольменгро от дальнейших забот о лесорубах. Разумеется, начинать вырубку еще рано, но работа для двух человек в его громадном поместье всегда найдется. Просто-таки отлично. Надо тотчас же сходить к господину Хольменгро и поставить его в известность.

Господин Хольменгро обрел былую кротость и дружелюбие.

— Вот как? В любом случае нанять лесорубов не составило бы труда. Они свозят лес по санному пути, а потом весной сплавляют его, а лес — это деньги.

Совершенно верно, но Виллатс все же вздрогнул: значит, до весны денег не будет! А ведь раньше вроде на древесину был очень большой спрос и можно было получить сполна всю требуемую сумму сразу, не дожидаясь рубки? Господин Хольменгро ждет просьбы с его стороны? Не дождется!

— Не окажете ли нам честь остаться к обеду? — спрашивает господин Хольменгро.— Мы были бы очень рады, мы с Марианой так одиноки. Правда, в последние дни нас немного развлекал Антон Кольдевин, но тем не менее.

Виллатс не может, ну никак не может позволить себе остаться, господин Хольменгро, как бы ему этого ни хотелось!

Он возвращается той же дорогой, и опять кое-что случается: чуть повыше моста прямо у дороги — заросли ивняка, Виллатсу это место хорошо знакомо, здесь он в последний

блаженный раз поцеловал Мариану перед отъездом в Берлин — и вот он видит там Мариану и Антона. Ну, и что из того? Ничего, Антон ведь предупредил его, что намерен добыть себе жар-птицу. Вполне возможно, что парочка торчала тут и тогда, когда Виллатс шел из усадьбы: только бы он по пути не бормотал себе что-нибудь под нос или не разговаривал сам с собой, как с ним иногда бывало!

Вот Антон опускается на колени. Опускается на колени. Он с непокрытой головой, он, разумеется, просит ее руки, просто-напросто. Мариана хочет уйти, но он зарывается головой в ее юбку, смешное зрелище, обнимает ее ноги. И впрямь сватается? Зрелище уморительное, оба говорят одновременно. По их движениям Виллатсу видно, что они полностью поглощены разговором, а шум реки мешает им услышать шаги. Они уверены, что они одни.

Виллатс, похоже, на мгновение задумался, не повернуть ли ему обратно, и уже было попятился, но в ту же минуту Мариана увидела его. Она что-то быстро сказала Антону. Антон выбежал на дорогу и уставился на него. Друзья смотрели друг на друга в замешательстве и недоумении, словно из двух разных миров, потом Антон взял шляпу, помахал ею Мариане и углубился в лес.

Сбежал? Не похоже на него. Должно быть, Мариана сказала ему что-то решительное.

Она вышла из зарослей, грудь у нее высоко вздымалась. Несмотря на явное смущение, борясь с подступающими слезами, она поздоровалась и улыбнулась Виллатсу. Молодчина эта Мариана, все-то ей по силам.

— Ты все видел? Ничего не поделаешь, мне абсолютно все равно. Ужасно, что ты все видел. Он сумасшедший. Послушай, а ты как, удалось поработать? Смотри, вон его трость, я ее подбирать не намерена. Что ты делал у папы? — Она вынимает носовой платок. — Ну вот, теперь, конечно же, простужусь, уже насморк, и глаза слезятся. Просто неслыханно, так вот сразу! Скажи, ты сердишься? Это нехорошо? Но ты ведь видел, что он... я не могла пошевелиться...

— Прощай,— сказал он и пошел дальше.

Он ни разу не оглянулся — не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел, как он, Виллатс Хольмсен, оглядывается! — поэтому, когда, придя домой, на кирпичный завод, и уже собираясь войти в дом, он вдруг заметил в двух шагах от себя Мариану, он чуть не подпрыгнул от неожиданности. Она шла за ним по пятам своей скользящей бесшумной походкой.

— Прости! — сказала она, извиняясь за то, что напугала его.

— Иди домой! — попросил он.— Не стой здесь, иди домой!

Простуды как не бывало, платок исчез, слезы высохли.

— Конечно, пойду. Но согласись, это ведь глупо с твоей стороны. Что я могла поделать, если он меня не отпускал?

О чем тут говорить, это выходит за всякие рамки, он на мгновение потерял дар речи. Но они не первый раз ссорились, оба владели этим искусством в совершенстве, и он сумел-таки наконец выдавить:

— А помнишь, что мы с тобой здесь, в этом доме, обручились?

Она не ответила.

— Я бы очень удивился, если бы ты мне ответила, а не промолчала.

— Может быть, зайдем? — сказала она.

— Да, почему бы и правда не зайти! И по твоему знаку, задыхаясь от счастья, преклонить колена. Конечно, почему бы не зайти, а? Куда делся Антон? Вот будет смеху, если мы войдем и усядемся рядышком. Как по-твоему?

— Ничего смешного. Он хочет на мне жениться, говорит он, и говорит это не в первый раз. А я не хочу выходить за него замуж, сказала я, я не свободна.

— Что же у тебя занято? Мне ничего об этом не известно.

— У меня занято то, что называют сердцем.

— Странно. Стало быть, твое сердце не свободно? Ну да, конечно, ты его заполняешь и освобождаешь по собственной прихоти. Впрочем, ты вольна распоряжаться этой своей собственностью, как тебе заблагорассудится.

— Давай зайдем, Виллатс, а?

— Антону, сколько он ни стоял перед тобой на коленях и ни валялся у тебя в ногах, это не помогло — видимо, и мне — извини за назойливость, хотя что уж там — все мы ястребы, хищники,— надеяться не на что? Добился ли бы я чего-нибудь, если бы потратил целый час, истово умоляя и заклиная тебя отдать мне то, что ты называешь своим сердцем?

— Прекрати! Ты потом сам будешь раскаиваться в своей злобности.

— А если я вместо этого посмеюсь и скажу: благодарю покорно, прощай — что тогда?

— Ах, эта противная простуда, из глаз так и льет! — проговорила Мариана, вновь вынимая платок.

Он, разумеется, заметил сотрясавшую ее дрожь, но она и на этот раз сумела мужественно подавить слезы. Молодец.

— Иди домой! — сказал он.

— Ухожу,— ответила она и пошла. Что ж, и на этот раз она подавила слезы, сдержалась, никто никогда не видел ее плачущей.

Кипя от бешенства и злобы, она обернулась и крикнула:

— И если ты осенью уедешь со своей оперой, так скатертью дорога!

Ее слова снова на мгновение лишили его дара речи. Придя в себя, он ответил:

— Прежде чем уйдешь, напомни мне, пожалуйста, послать тебе завтра цветы!

Охваченные злобой, которая скорее пристала солдатам на войне или разбойникам с большой дороги, бросая в лицо беспощадные слова, они наносили друг другу страшные раны, и все это сразу после помолвки! Да, но зато потом хуже уже не будет, хуже и не может быть. И им не придется всю дальнейшую супружескую жизнь мучительно краснеть при воспоминании о слащавом лепете, срывавшемся некогда с их губ. Незаурядные влюбленные.

Вновь ни простуды, ни носового платка. Мариана своей обычной скользящей походкой поднимается по дороге, она способна и думать и говорить. Стая крикливых сорок преследует идущего навстречу человека, ей навстречу идет Ларс Мануэльсен в двубортной куртке с восемью пуговицами: будучи отцом великого человека, он уверен, что имеет право остановить кого угодно, он останавливает Мариану.

— На месте вашего отца я бы перестрелял всех этих проклятых сорок,— сказал он.

— Сороки по-прежнему не дают тебе покоя?

— Не дают. Преследуют меня, куда бы я ни пошел, просто проклятие какое-то, все кругом скалят зубы, а мне такое без надобности. Эти вот сороки — ваши.

— Не следовало бы тебе ссориться с сороками, Ларс!

— Это почему? Сволочи, дрянь паршивая, я их всех ядом потравлю!

— Они, говорят, мстительны.

— Они уже сыты своей местью по горло. Все, кому не лень, чешут про меня языками, спасенья никакого нет. Говорят, кража из вашей кладовки — моих рук дело, хоть бы одного свидетеля показали! Но я написал Лассену, сынку моему, чтобы он обелил меня.

— Вот как, значит, Ларс приезжает?

— Лассен — он такой человек, что приедет, коли улучит для этого времечко...

Потом ей повстречался Антон, он отыскал свою трость и теперь подкарауливает ее. И тоже так и сочится язвительностью:

— Ну как, с золотом все уладилось?

— Нет, не уладилось. И я убедительно прошу вас больше не подвергать меня неприятностям.

— Покорнейше умоляю простить меня!

— Мое прощение будет зависеть от вашего дальнейшего поведения.

— Клянусь, я исправлю свое поведение. Но обещайте, что я могу надеяться на вашу благосклонность!

Отвесив глубокий поклон, Антон направился к пристани, в гостиницу. Но отойдя достаточно далеко и убедившись, что Мариана его не видит, он свернул к реке и берегом добрался до кирпичного завода. Не раздумывая, он открыл дверь и вошел к Виллатсу.

— Здравствуй,— сказал он.— Вот и я. Хочешь мне что-нибудь сказать?

— Нет,— ответил Виллатс.— Только попросить тебя больше не приходить сюда и не мешать мне.

— Пытаешься отвертеться,— зло сказал Антон.— Не удастся.

— От твоих грубостей мне ни холодно, ни жарко,— ответил тот.

Антон не на шутку разъярился:

— Не удастся, даже если один из нас поплатится за это жизнью!

— В твоих словах есть определенный резон,— задумчиво, со всей рассудительностью, на какую был способен, проговорил Виллатс.— После чего можешь лечь здесь на диван и выспаться.

— Опять треплешься! К боксу, то бишь к этой английской мясорубке, я не привык. Но фехтовать умею.

— А я не привык обращаться с французскими вязальными спицами.

— Ладно, но мы оба ведь умеем стрелять?

Виллатс громко рассмеялся:

— До чего же ты смешон! Хорошо, ты принес, из чего стрелять?

— Нет. Но у тебя же вон на стене висят револьверы. Кстати, паршивые шестидюймовые обрубки.

— Восьмидюймовые,— бесстрастно возразил Виллатс. И принялся механически, без всякой выспренности, описывать достоинства револьверов:— Посмотри, какие блестящие, и к тому же опасные.

Но это ничуть не утихомирило ярость Антона.

— Небось, поджидая меня, привел их в негодность? — сказал он.

— Разве что лишь для того, чтобы ты себя не поранил. И кстати, безумный ты человечек, зачем ты явился?

— Неужели до тебя еще не дошло! — в бешенстве воскликнул Антон.— Да чтобы вздуть тебя!

По лицу Виллатса разлилась бледность. Он встал.

— Если бы я тебя не знал, то решил бы, что ты говоришь серьезно.

— Я тебя вздую за то, что ты подглядываешь! — уже совершенно не владея собой, крикнул Антон и аж подпрыгнул.— Всякий стыд потерял, только и знаешь, что вынюхиваешь и подглядываешь...

И тогда Виллатс — человек, который умел дать достойный ответ и умел с дурашливым спокойствием промолчать, который мог многое стерпеть, мог ударить, а мог и сдержаться,— тогда он ударил. Удар попал в цель, и Антон отлетел к стене. Но уже через минуту вскочил и, глядя на Виллатса бешеными глазами, прошипел:

— Мясорубка!

Потом схватил свою трость и швырнул ее, сбив стоящий на полке флакон. Оглянулся, ища, чем бы еще запустить в Виллатса, но тут до него доходит, что он таки попал, что бросок был весьма удачным, по лицу друга течет кровь, и он отказывается от намерения кинуть в него каким-то образом очутившийся в его руке старинный пистолет. Отбросив пистолет в сторону и весь дрожа, он говорит:

— Видишь, я все же решил пощадить мясорубку! Впрочем, у тебя и без ссадины вид был достаточно противный. Флакон жалко. Но ты получил от меня сполна. Сколько стоит флакон?

Не дождавшись ответа, он презрительно фыркнул, да, фыркнул насмешливо, с величайшим презрением.

— Merde![1] — процедил он сквозь зубы и вышел.

Но тут же вернулся, чтобы сообщить:

— Дама вот-вот прибудет! Ты, разумеется, попросил ее прийти и залатать твои раны. Фу, гадость!

---

[1] Дерьмо! *(фр.)*

Чтобы не столкнуться с Марианой, которая шла по нижней дороге, Антон пошел вдоль реки, все еще кипя от ярости. В храбрости ему, конечно, не откажешь, этому наглецу, но все же распускать язык так, как он это себе только что позволил, не годится.

Куда деть себя до прибытия парохода? Запереться в гостинице? Ему пришло в голову, что можно было бы на часок-другой заглянуть к Теодору-Лавочнику, но он тут же отказался от этой мысли и отправился в гостиницу.

Да и его появление в лавке было бы вовсе некстати, там царил страшный беспорядок, повсюду громоздились ящики и бочки, раздавались зычные распоряжения, распаковывали тюки — Теодор въезжал в свою новую лавку-дворец. У него была целая армия помощников, в их числе и Юлиус.

Естественно, новая лавка всем казалась до смешного огромной, а уж Теодор — и вовсе великаном: он уже предсказывал тот день, когда ему придется расширять и эту новую лавку! Что и говорить, для несметного количества товаров, которое он получил, и правда требовалось просторное помещение.

А старая лавка, где хозяйничали девицы Енсен и адвокат? Что ж, она осталась на месте, стенка к стенке с новой. Теодор не собирался ее разорять, пусть семейство владеет ею, говорил он. Дело, однако, заключалось еще и в том, что Теодор, пока его доля не выкуплена, тоже был ее владельцем, в лавку вложены и его деньги, его обеспечение, поэтому он имел все основания не трогать старую лавку. Но это продлится недолго! Господи, ведь последние из приезжавших сюда коммивояжеров ничегошеньки не продали девицам Енсен, все отдали Теодору. Они заглянули в старую лавку, с отменной вежливостью поприветствовали дам и оставили им свои визитные карточки, но дальше этого не пошли: товар они продали молодому господину Енсену, их старому покупателю, они принципиально не продают товары двум конкурентам в одном месте. Барышни Енсен лишь обиженно кивнули, вскинув головки, дескать, Господь с вами, о нас не беспокойтесь, мы купим все, что захотим, мы ведь покупаем за наличные! Дамы не унывали. Но в отличие от Теодора, они не разбирались в тонкостях торгового дела, они чересчур усердно вскидывали головки, не уравновешивая это необходимой покладистостью. Приходит, скажем, к ним в лавку какая-нибудь сегельфосская девица посмотреть бельевое полотно и вполне может услышать следующее: «Мы даже себе на белье берем ткань качеством не намного лучше, а тебе эта

не хороша!» Теодор сразу смекнул, что это к добру не приведет, он придумал кое-что получше — ввел заборные книжки для зажиточных девиц, имевших постоянную работу. И вот одна девица уже сообщала другой, что нынче, мол, торговля идет совсем не так, как прежде, что Теодор предложил ей записывать расходы в книгу и выплачивать их раз в месяц: это намного удобнее, фрекен Палестина!

Новая лавка Теодора Енсена просто загляденье — большие окна с редкими переплетами, светлые стены, застекленные шкафы с латунной перекладиной впереди. «Во сколько, думаешь, мне все это обошлось?» — спрашивал у каждого Теодор. Он все здесь придумал сам, так, чтобы было как в других городах. Хотя ему, конечно, здорово помог начальник телеграфа Бордсен. Этот странный бездельник и пропойца проявлял все больший интерес к начинаниям Теодора — дабы поощрить молодежь на хорошие дела, говорил он,— и нередко давал ему отличные советы. «Не забывай начищать до блеска латунные перекладины! — сказал он.— Или же совсем выбрось стеклянные шкафы!» Теодор не забыл, что именно Бордсену он обязан и всеми чудесами во время праздника гагачьего пуха, хотя у самого Бордсена не оказалось приличного платья, чтобы поехать на остров.

Праздник гагачьего пуха — о нем вспоминали до сих пор.

— Во сколько, думаешь, он мне обошелся? — спрашивал Теодор. И называл сумму, сотни, ух, целую кучу денег. Проверки ему бояться нечего: кто знает, сколько стоит иллюминация? — Вы ведь сами видели, что за чудеса я устроил на небе! — говорил Теодор.

И тем не менее Теодор теперь совсем другой человек, по сравнению с тем, что был до праздника. Да хоть бы этого праздника вовсе не было! — думал он, верно, не раз. Владевшее им ожесточение не сулило добра, оно перехватывало дыхание, туманило разум, ох уж этот Теодор. Ему бы быть совсем иным, а он порой запирался один в комнате и занимался тем, в чем был большой мастер: крепко ругался. Знатоков человеческих душ наверняка поразили бы мелочность и ограниченность этого в общем-то дельного малого. Чего он добивался? На празднике гагачьего пуха не принято дарить дорогие носовые платки. Бордсен отсоветовал бы ему даже и пытаться, убил бы злой насмешкой его намерение. Какой ей с этого вред? — в который раз повторял про себя Теодор. Он никак не мог взять в толк, что булавку принять в подарок можно, а тридцать пять крон нельзя. Нет, ничего-то он не понимал, кроме этого унизительного отказа.

Желаю счастья! — вот что бы надо было сказать, как и в прошлый раз, и пусть все будет как будет. А время хорошо лечит все раны. Да, ему много чего следовало бы сказать и сделать.

И вообще, нашумевший праздник не принес ожидаемых результатов, Антон Кольдевин уехал, так и не став близким другом, а «Сегельфосс Тидене» ни словом не упомянула о событии. Уже из-за одного этого можно было ожесточиться. И все это необходимо учитывать, оценивая поведение Теодора по отношению к своим младшим сестрам: он позволил им несколько дней торговать и распродать все то немногое, что у них было, после чего явился к ним однажды с ленсманом и конфисковал всю их наличность. Ту самую наличность, на которую дамы и адвокат собирались закупить товар.

— Неслыханная наглость! — сказали сестры и вызвали адвоката.

— Давайте все обсудим! — сказал адвокат.

— Деньги на бочку, или ленсман описывает все имущество и закрывает лавку! — сказал Теодор.

Ленсман смущенно и благодушно переводил взгляд с одного на другого, не имея ни малейшего желания описывать имущество и тем самым немного подзаработать, о нет, он попытался уладить дело миром: так, мол, и так, всем поровну, ведь обе стороны — одна семья.

— Родственники! — поправил адвокат Раш.— О семье тут говорить не приходится.

— Ежедневные расходы надо вычесть,— продолжал ленсман,— но регулярные разумные выплаты...

Обе стороны остались недовольны. Теодор наотрез отказался принять это предложение, адвокат тоже.

— Это попытка парализовать дело,— заявил он. А ленсману раздраженно сказал: — Вас, ленсман, и ваших разумных выплат это тоже касается — вы обязаны уплатить банку причитающиеся ему деньги в двадцать четыре часа, поняли?

Ленсман понял. И хотя ему никак нельзя было начать заикаться, потому как не подобало такое жалкое поведение человеку, все же владевшему лошадью, которую можно продать, и хотя это ни в коем разе не могло произвести хорошего впечатления на такого человека, как адвокат, ленсман только и сумел выдавить:

— Я обязательно... ясно, выход должен быть... у меня есть лошадь...

Но вот ведь, такое смирение произвело на адвоката, как и прежде, благоприятное впечатление, гнев его немного смягчился:

— Лошадь! Кто сейчас, на зиму глядя, станет покупать вашу лошадь и заботиться о кормах? Надо было продавать весной.

— Да, но весенние работы...

— Ладно, ладно, я свое сказал!

Но ленсману до ухода все же удалось примирить враждующие стороны и добиться согласия сестер на выплату Теодору определенного процента от выручки. Так-то вот. Но все равно всем было ясно, что это лишь отсрочка и лавке пришел конец.

По заведенной привычке ленсман отправился к господину Хольменгро. К тому же вчера он получил записочку от фрекен Марианы — она хотела бы поговорить с ним, как только он окажется в их краях, сколько же прикажете ей ждать!

— Ленсман,— с улыбкой сказала, переходя прямо к делу, Мариана, чем-то явно довольная.— Ленсман, я получила письмо, хотите взглянуть на конверт? Что здесь написано?

— Тысяча крон.

— Правильно. Оно пришло третьего дня. Вы получаете эти деньги на двадцать лет. Смотрите, вот банкнота, банкнота в тысячу крон, вы берете эти деньги у меня взаймы на двадцать лет и возвращаете мне две тысячи. Понимаете, ленсман?

Нет, ленсман ничего не понимал.

— Деньги — мои. Я могу показать вам и сопроводительное письмо, это выручка от небольшой сделки, я провернула одно дельце, но пока это секрет, и письмо я вам читать не дам. Вот, я сказала все, что требовалось. Пока вы поднимались сюда, я репетировала, и видите, как коротко сумела изложить суть вопроса. Потому что говорить о таких вещах пространно — очень мучительно,— сказала Мариана.

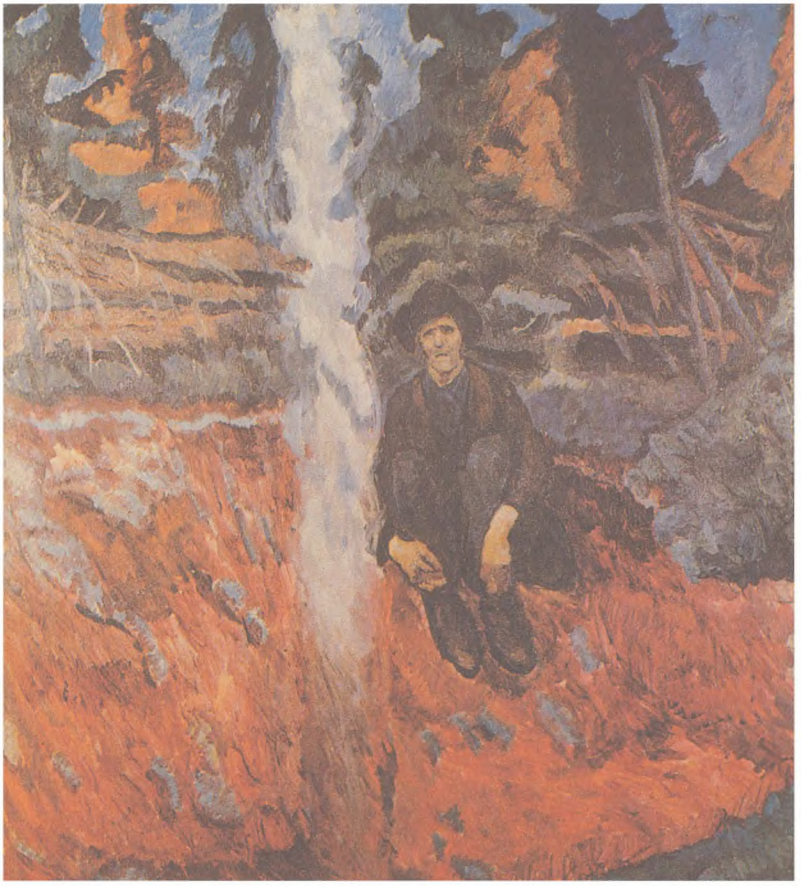
— Но я не проживу двадцать лет,— сказал ленсман.

— Проживете,— ответила Мариана.

Ленсман пробормотал что-то вроде «благодарствуйте... это безусловно... но такая огромная помощь, такая сумма...».

В эту минуту Мариану позвал отец и тем самым спас ее. Не исключено, что все было обговорено заранее, господин Хольменгро частенько подыгрывал дочери.

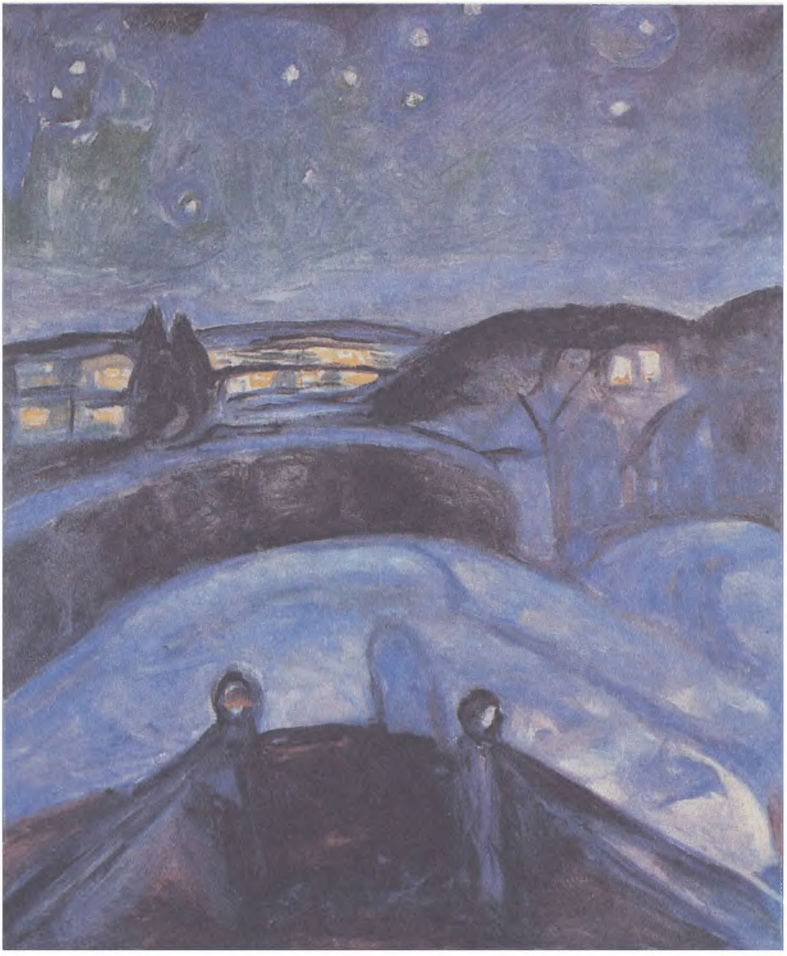
— Интересно, что там папа еще придумал на мою голову, брюзга эдакий,— сказала Мариана, скользнув к двери.— Ну,



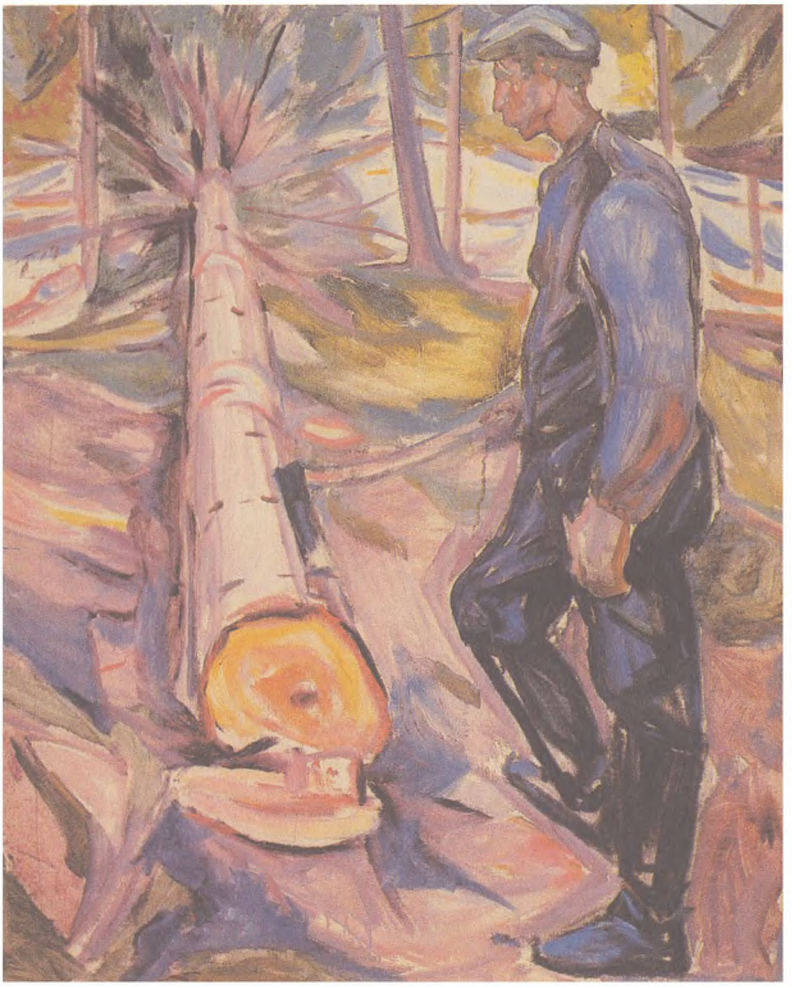
Х. Сёренсен. Черный лес. 1909 г.

Т. Эриксен. В чаще леса. 1909 г.

Э. Мунк. Умирающий ствол. 1923 г.



Э. Мунк. Звездная ночь. 1923/1924 гг.

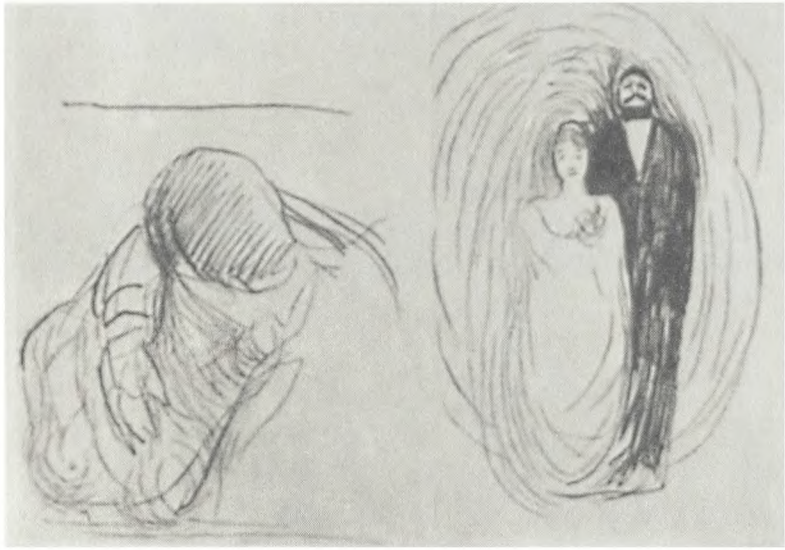


Э. Мунк. Лесоруб. 1913 г.

Э. Мунк. Мужчина и женщина. 1912 г.

Э. Мунк. Из серии «Любовные мотивы». 1893 г.

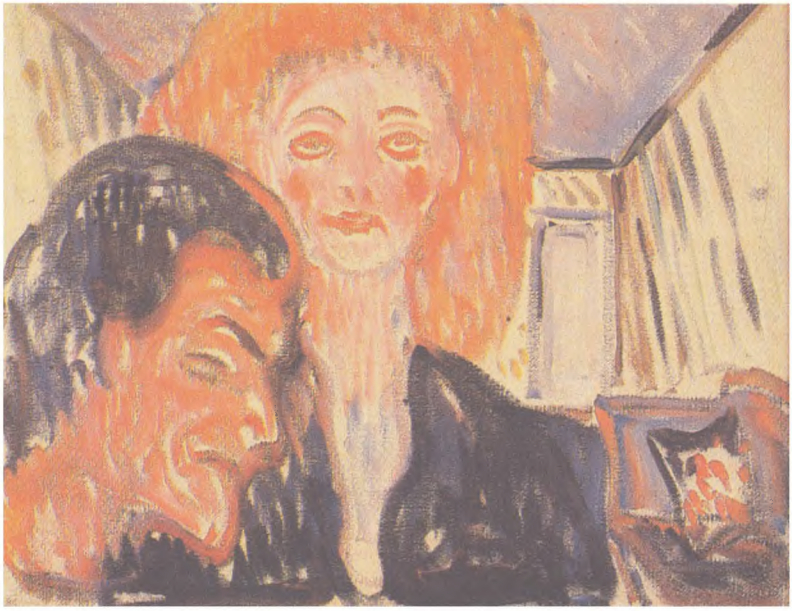
Э. Мунк. Желание. 1907 г.



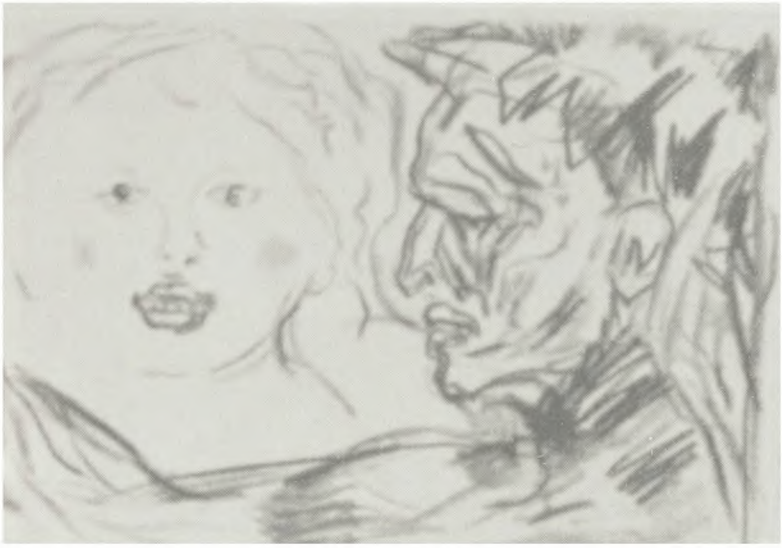
Э. Мунк. Из серии «Любовные мотивы». 1893 г.

Э. Мунк. Ревность. 1933/1935 гг.

Э. Мунк. Из серии «Любовные мотивы». 1893 г.



Э. Мунк. Ненависть. 1907 г.



Э. Мунк. Эротические сцены. 1913 г.

Э. Мунк. Мужчина и женщина. 1912/1915 гг.

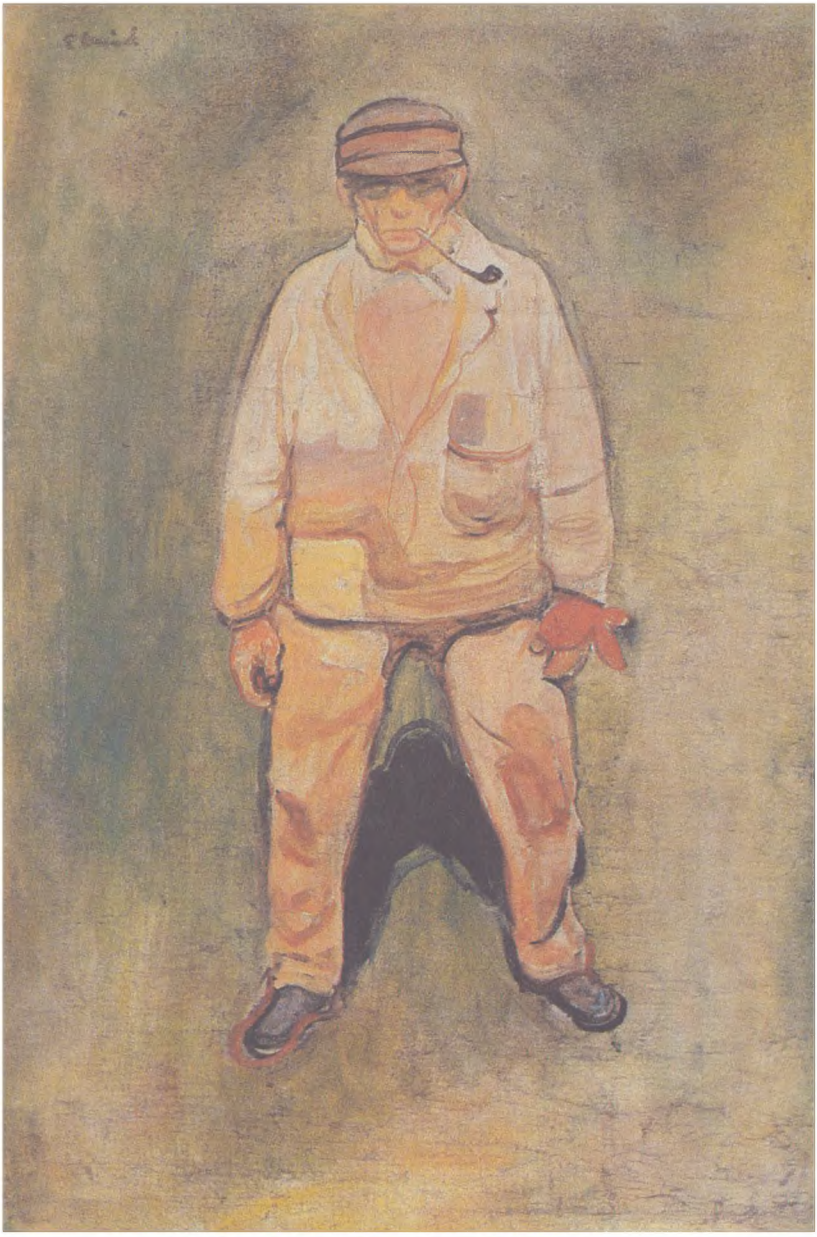
Э. Мунк. Эротические сцены. 1913 г.

Э. Мунк. Пляска жизни. 1935 г.

Э. Мунк. Из серии «Любовные мотивы». 1893 г.

Э. Мунк. На верфи. 1912 г.

Э. Мунк. Ночной пейзаж с белой лодкой. 1890 г.



Э. Мунк. Рыбак. 1902 г.

Э. Мунк. Каменщик и механик. 1908 г.

Э. Мунк. Рабочие снежной зимой. 1913/1914 гг.

Э. Мунк. Мужчина в темном и мужчина в светлом на снегу. 1911 г.

Э. Мунк. Возвращение с работы. 1913/1915 гг.

Э. Мунк. Деревья. Набросок. 1910/1911 гг.

Э. Мунк. Рабочий и ребенок. 1908 г.

Э. Мунк. Старик и женщина. 1925 г.

так до свидания, ленсман,— попрощалась она.— Извините, мне придется уйти. Приходите к нам поскорее опять!

Ленсман спускался с холма со своим богатством, множество мыслей бродило у него в голове, он что-то считал и пересчитывал и уже не продавал лошадь. Такую лошадь не продают, ей цены нет. Но он не может явиться к адвокату с банкнотой в тысячу крон, каждому станет ясно, откуда у него деньги, банкнота выдаст его, скомпрометирует; и он пошел к Теодору-Лавочнику разменять ее.

— Откуда это вы? — ошеломленно поинтересовался Теодор. Он, конечно, сразу смекнул что к чему; но поскольку у него не было причины распространяться о доброте семейства Хольменгро, он внезапно замолчал, сказав лишь:

— Меня это не касается. Разменять тысячу крон? С удовольствием. Даже две, если желаете!

Теодор был в хорошем настроении.

— За ваше отсутствие здесь кое-что произошло,— сказал он ленсману.— Папаша прознал, как обстоят дела, и его опять хватил удар. К сожалению,— сказал Теодор.— Я послал за доктором.

— Опять удар!

— К сожалению! — сказал Теодор.— В любой момент я жду адвоката, не исключено, что уже сегодня он прибежит просить прощения и поднимет руки. Куда ему деваться? Он обложен со всех сторон! Что, не станет поднимать руки?

— Я только хотел сказать, что на него это не похоже.

— А я сделаю так, что будет похоже! — заявил Теодор.— Какого черта — сваливается на меня этот боров и начинает рядом торговать! Что я хотел спросить, ленсман: надо ли разрешение на выступление театра? Они пишут мне, что опять приезжают.

— Да пусть играют. Значит, опять приезжают?

— По пути на юг. На этот раз привезут другую пьесу, называется «За садовой стеной», с песнями, спрашивают, достал ли я фортепиано. Само собой, достал.

Теодор рос прямо на глазах, этот последний час, казалось, еще больше благоприятствовал его росту: разменять банкноту в тысячу крон? С удовольствием, хоть две. Фортепиано? Один инструмент он уже приобрел давным-давно и теперь готов предоставить артистам еще один. Сейчас он собирается отправить рабочих на ремонт дороги, ведущей в театр, дабы фрекен Сибилла Энгель вновь не подвернула ногу. И сообщить Нильсу-Сапожнику, что бедняга скоро опять сможет зарабатывать в день по две кроны.

— Выдай вечером Юлиусу и всем остальным по стаканчику виноградного спирта, когда они закончат! — крикнул он из дверей конторы приказчику Корнелиусу. Огонь, пламя, предприимчивость! И людей это пламя подбадривает.

Разве Нильса-Сапожника не надо приободрить? Еще как! Добрая фру Раш не забывает его, от нее он частенько уходит с детским башмачком в большом пакете, а обратно приносит веник. Но от этого Нильс-Сапожник вроде бы жирнее не становится, нет, по нему этого совсем не видно, наоборот, чем дальше, тем он все больше и больше усыхает. Фру Раш заставила молодого Виллатса написать мистеру Нельсону в Америку, но ответ так и не пришел. Может, Ульрик-то уже на пути домой, говорил Нильс-Сапожник. Он с нетерпением ждал базара в пользу «Благоденствия Сегельфосса», он сторожил его открытие словно пес, всей душой желал его, но базар так и не состоялся. Дело застопорилось из-за помещения. Адвокат не смог пересилить себя и снять помещение театра у Теодора, у этой магазинной крысы, этого выскочки, и, кроме того, пусть не думают, будто у Теодора настоящий театр, это всего лишь лодочный сарай. Союз благоденствия Сегельфосса не намерен снимать лодочные сараи для проведения своих базаров, дражайший Нильс!

— Ясное дело! — поддакнул Нильс-Сапожник, жалко улыбаясь. Так и остался он без гроша.

К нему заглянул ленсман. Сперва, конечно, ленсман сходил к адвокату и уплатил долг.

— Видите, как полезна строгость! — сказал адвокат.— Думаете, и с ревизией теперь справитесь?

— Думаю, справлюсь, как и раньше справлялся,— ответил ленсман.

— Вот как вы заговорили! — сказал адвокат, задетый за живое уверенным тоном жертвы.— В таком случае вам следовало и со мной рассчитаться намного раньше.

— Постараюсь больше никогда не брать у вас в долг. Таково мое намерение,— ответил ленсман.

Наконец-то он, кажется, понял, что ему надо зарабатывать побольше и привести в порядок кассу. Давно пора. Ленсман ушел от адвоката с решительным и твердым видом и направился через улицу в гостиницу, чтобы потребовать с Юлиуса уплаты аукционных денег в двадцать четыре часа. Но, подойдя к дверям, он взглянул на часы — нет, пожалуй, сейчас он уже не успеет зайти в гостиницу. Он заторопился домой и по дороге забежал к Нильсу-Сапожни-

ку, еще разок попытался заставить сапожника взяться за работу. Ему снова не повезло.

— Я даже себе перестал шить башмаки,— ответил Нильс, показывая ботинки, купленные в лавке. Да, то была одна из последних его покупок — он купил эти ботинки на те славные сказочные деньги, которые свалились на него летом. Теперь они начали уже расползаться по швам, и подошвы истончились, но все равно это были легкие и удобные летние башмаки. И хотя на дворе уже стояла осень, Нильс-Сапожник летал в них, как ветер.— В лавке есть еще такие же,— сказал он ленсману.

— Нет, эти башмаки не для меня, Нильс.

— А потом,— сказал Нильс,— я узнал от Теодора, что театр скоро приезжает, и, кроме меня, некому продавать билеты и вести счета.

— Сколько ты получаешь за один вечер? — спросил ленсман.

— Две кроны,— ответил Нильс-Сапожник, не давая себе времени на раздумье.

Должно быть, выманили его из дома однажды в туманный день, вот с тех пор он и блуждает, дороги обратно найти не может.

Повстречавшись по пути с докторской бричкой, ленсман снял фуражку.

— Добрый день, ленсман! — ответил на его приветствие доктор Муус, останавливаясь.— Хотел бы воспользоваться случаем и попрощаться, на днях я уезжаю. Вам, ленсман, спасибо за все, и передайте наилучшие пожелания от доктора Мууса вашим домашним. Я, можно сказать, исполнил свой долг, отслужил свое здесь на севере, теперь пусть этим занимаются другие. Бока я не пролеживал, вот и сейчас, как говорится, в последнюю минуту еду навещать пациента, Пера-Лавочника, да, старого Енсена-Лавочника. Несчастный человек, столько лет болеет. Я сделал все, что позволяет наука, у него то самое, что мы называем гемиплегией, паралич одной половины тела. Мне только что сообщили, что с ним еще что-то случилось, но я не смею поставить диагноз, прежде чем тщательно его не обследую. Возможно, речь идет о церебральном параличе. Ну, прощайте, ленсман! Можете представить, какое счастье для меня вернуться в южные края, в Христианию, повидаться с семьей. Лишь надежда на это и позволила мне выдержать здесь все эти годы. Слава богу, я уезжаю, накопив достаточно опыта, который пригодится мне в родных местах.

Продолжив путь, доктор подъехал к лавке, поднялся в мансарду, втянул носом застоявшуюся вонь, велел открыть окно, снял пальто и, потерев руки, приступил к осмотру пациента. Пер-Лавочник, безусловно, серьезно болен, но нового удара не было, уж это извините. Просто известие о том, что случилось с лавкой, его так потрясло, что он дико заорал и на мгновение у него даже рассудок помутился; когда проваливается блестящий план мести, без потрясения не обходится. Но Пер-Лавочник вовсе не в агонии. Однако все еще страшно возбужден.

— Лавка! — сказал он.— И эта козлица! — сказал он.

— Хорошо, хорошо, а сейчас вы примете вот это и заснете! — сказал доктор, пытаясь успокоить его. С невероятной тщательностью он отмерил дозу бромистого калия, так, точно одной крупицей больше — и смерть.— А вот это дадите ему вечером,— обратился он к стоявшим рядом барышням Енсен,— и принесите мне столовую ложку, мне надо посмотреть, сколько в нее входит,— сказал он.— Да, эта годится. Я сейчас сам дам ему лекарство, чтобы вы знали, как нужно давать вечером!

Закончив осмотр больного, доктор спустился во двор, где Теодор дожидался его приговора.

— Нового паралича нет,— сказал доктор,— но пациенту нужен покой. Если наступит ухудшение, немедленно известите меня.

И доктор Муус, тщательно обходя лужи, пошел к бричке.

Теодор остался на месте. Новая беда, приключившаяся с отцом, похоже, немного придавила его, пришибла, он вошел в лавку притихший и тотчас отменил свое прежнее распоряжение: вышивки вечером рабочим не подносить, сказал он Корнелиусу-Приказчику, раз отцу стало хуже, сказал он.

— Помирает? — спросил Корнелиус-Приказчик.

— Пациенту нужен покой,— ответил Теодор.— Впрочем,— сказал он,— я еще не слыхал о больном, которому бы не нужен был покой.

Настроение у Теодора было уже далеко не то, что утром, и если бы не людские толки, он бы охотно завел граммофон и послушал чуток коронационный марш. Но его подавленное состояние длилось недолго, прибыл гонец от адвоката Раша. Явилась Флорина-Служанка.

— Вы не знаете, где нынче Дидриксен? — спросила она, заведя сперва разговор о собственных делах.

— Дидриксен? А зачем он тебе?

— Я ему написала давным-давно, а ответа нет. Хотела просто узнать, где он.

— Зачем? Я же сказал, что деньги, когда время придет, у меня.

— А я не намерена ждать. Так и можете ему передать.

— Передам с удовольствием!

Пауза. У Флорины, видать, ни стыда, ни совести, она говорит:

— Раз так, тогда я напишу его невесте, я знаю, как ее зовут.

— Все, хватит, Флорина, вот тебе мой сказ,— торжественно заявил Теодор.— Потому как, ежели ты напишешь хоть словечко этой благородной даме, тебе конец!

— А мне на вас плевать! — сказала Флорина, в бешенстве глядя на него.

Хуже этих слов нельзя было бросить в лицо Теодору, он их не выносил, они превращали его в ничтожество, в заурядность.

— Ты у меня сейчас отсюда пулей вылетишь! — крикнул он, побелев от гнева.— И чтоб ноги твоей здесь больше не было!

Сообразив, что дело приобретает серьезный оборот, Флорина сказала:

— Я пришла по поручению адвоката. Он спрашивает, не зайдете ли вы к нему в контору.

Теодор на миг задумался:

— По поручению адвоката? Не зайду ли я к нему в контору? Нет.

— Это все, что мне велено было передать.

— Можешь сказать своему адвокату, что, ежели ему чего от меня надо, пусть сам приходит!

Флорина-Служанка презрительно ухмыльнулась в ответ на высокомерный тон этого ничтожного человечка, что переполнило чашу: Теодор схватил ее за плечи и выставил вон.

— Я уж передам ваши слова! — сказала она с угрозой.

Но адвокату, по-видимому, позарез важно было повидать нынче Теодора, он и правда заявился в лавку, сопя и тяжело топая, для начала объявив, что молодежь нынче не отличается вежливостью. Теодор как раз стоял у прилавка, держа в руках мерную полуметровую линейку, отличную полуметровую линейку из ясеня. Шагнув навстречу адвокату, он поинтересовался, не желает ли тот чего-нибудь.

— Желаю,— ответил адвокат и тут же сообщил, дабы не откладывать в долгий ящик, что старую лавку придется закрыть.

— Так скоро? Что за черт!.. — Теодор мгновенно раскусил этого толстяка: адвокат, конечно же, учуял, что рискует лишиться гонорара, — но Теодор лишь криво ухмыльнулся в ответ — он-то лучше знал, как обстоят дела со старой лавкой.

— Ничего смешного нет,— сказал адвокат, позванивая ключами.— Впрочем, я не собираюсь вести с вами переговоры здесь, не можем ли мы где-нибудь уединиться?

— Нет,— ответил Теодор,— я хочу иметь свидетелей.

При этих словах адвокат злобно осклабился:

— Невоспитанная нынче молодежь пошла. Вы же сами назойливо просили меня зайти к вам обсудить положение, неужели вам не стыдно? Если бы не ваши родители и не ваши сестры, вам бы пришлось ждать моего прихода до скончания века. Больше мне вам сказать нечего, и никаких дел я с вами вести не намерен. Поскольку состояние здоровья вашего отца ухудшилось, я посоветовал и ему, и вашим сестрам самим уладить отношения с вами. Какого результата достигнете, такого достигнете, а я потом составлю необходимые бумаги. Насколько я понимаю, полюбовное согласие для всех будет лучше. Вы, разумеется, заберете себе весь товар в лавке?

— Да.

— И по хорошей цене. Естественно, так вы и поступите. И лавку выкупите.

— Нет,— ответил Теодор.

— То есть как?

— Развалюха. У меня, как видите, собственный дом, и во сколько он, по-вашему, мне обошелся? Вы вместе с ними выкинули меня из старой лавки, теперь я туда больше ни ногой.

Но Теодор, конечно же, хитрил. Зря он, что ли, построил новую лавку стена к стене со старой? Разве не собирался он со временем соединить оба дома?

— Но я могу взять старую лавку в аренду,— сказал он.

И тут адвокат не на шутку испугался, наверное, вспомнил про гонорар.

— Единственно, что меня беспокоит,— сказал он,— ваши родные, что будет с ними? Если они не получат хорошую цену за свою долю, непонятно, на что они будут жить.

— Мои родные могут жить, как жили.

— Согласен,— сказал адвокат,— в нынешней ситуации это был бы наилучший выход.

Ха, этот зажравшийся адвокат, этот боров, свинья, сломлен, полностью раздавлен. Теодор его одолел. Он спросил сочувственно:

— Сколько вы хотите за старую лавку в случае чего?

— Я говорил по этому поводу с вашими родными, мы хотим — ваш отец хочет три тысячи.

Удивительно, приход Флорины-Служанки вновь вызвал в памяти молодого Дидриксена, как бы он поступил сейчас?

— Я заплачу три тысячи,— сказал Теодор.

Сочтя это своей личной победой, адвокат проговорил:

— Оказывается, с вами стоило потолковать! Не напрасно я беспристрастно изложил вам положение вещей.

Как, он опять за старое, опять позвякивает ключами!

— Ничего вы мне не излагали,— сказал Теодор,— и можете убираться, когда пожелаете.

— Разумеется,— озадаченно произнес адвокат.— Ладно, пусть теперь ваши родные сами продолжают переговоры, взяв за основу мое предложение. В конце концов, дело сведется лишь к вопросу об имуществе и наличности, за вычетом счетов и за вычетом моего маленького вознаграждения; а то, что останется, а останется немало, будет поделено между вашими родителями и вашими сестрами. Вы по-прежнему отказываетесь от своей доли наследства?

— Естественно.

— Прекрасно, как раз это я и хотел уточнить. Когда подсчитают и оценят товар и определят доли каждого, я к вашим услугам. Вы согласны?

— Хватит болтать! — сказал Теодор.— Я отдам своей семье все, что ей полагается, и даже больше, без вашей помощи!

5

Можно носить жилет с золотыми пуговицами и быть не в состоянии сочинить оперу. Виллатс Хольмсен с некоторых пор носил жилет с пуговицами из золота.

И вообще, чего только он не придумывал! Остановись он в один прекрасный день и подсчитай все те уловки, которые предпринимал, дабы привести себя в нужное расположение духа, то-то бы он удивился. Он перепробовал все: гулял и запирался в четырех стенах, пил вино и постился, искал общества и уединялся, работал днем и работал по ночам — но напрасный труд, пустая возня. К этому состоянию отчаянно-

го бесплодия добавилась ужасающая, не дающая продыха ревность.

— Пожалуйте кушать! — говорила Паулина, глядя на него синими глазами.

— Спасибо,— отвечал он, даже не поворачивая головы. Он работал, что и говорить, играл он бесподобно, учился этому с ранних лет, да к тому же и родился в рождественскую ночь; но сейчас это ему не помогало, скорее мучило. Да, не надо было ему и в этом году возвращаться в Сегельфосс, с самого начала все пошло наперекосяк. Уже одно то, как его встречали — в глубине души он ожидал совсем другого, эдакого приглушенного гула любопытной толпы на пристани: все-таки он известный в стране человек, многообещающий музыкант. А как вышло на самом деле? Его встретила на пристани старая экономка родителей, милая фру Кристина. Сегельфосс видал путешественников и поважнее, англичан, мотавшихся по земному шару, принца Бонапарта, направлявшегося на Шпицберген. Однажды приехал премьер-министр, строил из себя бог весть кого, делал вид, будто интересуется жизнью простого народа, а на пристани карьерист Раш кричал ему «ура». Прибытие Виллатса Хольмсена прошло тихо и незаметно. Неоднократно он порывался уехать, но так и остался. Прирос к месту.

Антон Кольдевин, разумеется, давным-давно уехал. Жизнь господина Хольменгро идет своим чередом. Мариана теперь время от времени сопровождает отца на мукомольню и обратно. Она ходит в ярко-красной пелерине. Возможно, к ней скоро опять приедет Антон. На здоровье!

Страшное, грозное время! Раздобыв глины, Виллатс занялся лепкой — чего он только не придумает! Это будет крылатая фигура, великолепная ростральная фигура. Оказывается, он еще не совсем забыл искусство ваяния, отнюдь, мастерство его стало даже более зрелым по сравнению с годами ученичества в Англии. Но лепить ростральные фигуры невероятно трудно. Виллатс достал рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками — а почему бы и нет! Мать его хорошо рисовала и его научила. Потом он опять сел за рояль. Потом собственноручно пришил к жилету золотые пуговицы и принялся разгуливать в нем, отдавая дань самому себе и памяти отца, от которого и получил в подарок эти пуговицы. Во всяком случае, щеголять золотыми пуговицами одно удовольствие, и, походив в таком виде по своим покоям на кирпичном заводе, Виллатс решил наведаться в лес к лесорубам.

Лес валили Аслак с Конрадом, и когда Виллатс подошел к ним достаточно близко, они поклонились ему. Пусть бы только попробовали не поклониться! Он не стал пускаться с ними в долгие разговоры, просто постоял, твердым взглядом серых глаз следя за их работой, и высказал некоторые свои соображения. Бог знает, что было на уме у этих людей, когда они решили устроиться на работу к Виллатсу Хольмсену. Может, хотели навредить ему, может, отомстить за что-то. Но прошло время, и им у него понравилось: закончив валить лес, они не ушли, в обширном хозяйстве для них находилась все новая и новая работа. На продукты в лавке они уже больше не тратились — в поместье еды было вдоволь, у каждого своя кровать и со стиркой никаких забот, они округлились, вошли в тело.

Каждому свое, Виллатс щеголял золотыми пуговицами, корпел как каторжный над партитурой и худел от горя и страданий. Вот увидишь, какая я посредственность! — верно, думалось ему иногда. Он достойно нес свой крест, нес, как подобает Хольмсену. И все-таки конца этому не видно, посредственность словно стала его второй натурой, но Виллатс не жаловался. Этого еще не хватало! Заходя иногда на ферму, он делал вид, будто его очень интересуют животные, куры, забывать обо всем на свете ради какой-то музыкальной пьесы — не что иное, как проявление слабости. Он подолгу наблюдает за петухом, этим восхитительным воякой со шпорами на ногах: смотрите-ка, вот он, охваченный любовным пылом, приседает, идет бочком-бочком. Хорохорится, важничает, приседает — ах, чего он только не выделывает! А потом, снова став властелином, величественно шествует по двору. Потрясающий петух — так и видишь его во фраке с цветком в петлице.

Виллатсу тоже ничего не стоит вдеть цветок в петлицу, розу или гвоздику. Он возвращается в свои апартаменты на кирпичном заводе, он играет, беснуется, доводит себя до изнеможения. Неужели он так никогда ничего из себя и не извергнет?

Чем, собственно, заполнены его дни? Ерундой. Иногда — нож, но не меч, рой звуков, но не голос. Педантичность. Он три раза кряду подходит к зеркалу, чтобы убедиться в своих подозрениях: да, у него появился седой волос, несколько седых волосков. У его отца в столь юном возрасте не было седины. И Антон Кольдевин не поседел. На здоровье, пусть возвращается к ней!

— Пожалуйте кушать!

— Спасибо, сейчас приду. Нет, не хочу. Оставьте меня.

Но что это? Множество раз он обманывался в своих надеждах — и вот оно! Его подхватило волной! За окном вечер, а у него перед глазами горит восходящее солнце, с неба льется золотой поток, внизу алеет земля. Волна, волна! Долго же мы ждали, но теперь нам грех жаловаться, только не жаловаться, не давать воли слезам, не дрожать. Нельзя...

Из переполненной души хлещет и хлещет поток, не иссякает; он, точно слепец, внимает льющимся извне звукам и записывает их, словно обретя свет. Пишет, пишет, пишет. Время от времени он ударяет рукой по клавишам, снова пишет, всхлипывает, сплевывает подступившую тошноту, пишет. Это длится бесконечно, идут часы, о, эти блаженные часы качания на волне! Еще одна кантата, песня, танцевальная музыка? Нет, опера, господи, шедевр! Никогда прежде он не испытывал такого состояния — может, и хорошо, что ревность кипела в нем столь долго.

К рассвету поток иссякает, лампы догорели, он идет, шатаясь, через всю комнату и задувает их. И падает ничком на диван, и засыпает, уткнувшись лицом в руки.

— Доброе утро! Не желаете ли покушать?

— Нет, спасибо. Иди, я приду позже...

Он еще не завершил работы. Слава богу, еще не завершил. Бросив взгляд на ночные записи, он чувствует, как екает сердце, вот оно, опять начинается, из неизвестного царства звуков доносится мелодия, доносится с острова, волна музыки подхватывает его и опускает. Это продолжается и сегодня, его сотрясает лихорадка, тошнота усиливается, слезы льются градом, он бросается на пол и пишет в молитвенном экстазе, поток звуков хлещет и хлещет, как хорошо...

— Пожалуйста, может, покушаете немного.

— Спасибо, поставь там...

За двое суток он справился со всеми трудностями, его сочинение наполнилось грохотом волн. Все это время он был один, он парил на головокружительной высоте над землей, он жил самим собой, высасывая себя, спал урывками, ел не глядя, что ест, поглощая все, что было на тарелках, душа его была объята безумным поэтическим восторгом. Двое суток. И наконец волна медленно отхлынула.

От ощущения глубочайшего бесплодия и унижения прямиком в блаженство! В одном затяжном прыжке и зачатье и воплощение.

У предков молодого Виллатса были слуги, помогавшие им одеваться по утрам,— молодой Виллатс в помощи слуг

не нуждался, он спал не раздеваясь. И никому так славно не отдыхается, как художнику, который после удачного дня погружается в сон, положив под голову собственные руки.

— Я уезжаю,— сказал он.— Но об этом никто, кроме тебя и Мартина-Работника, знать не должен.

Паулине и некому было об этом рассказывать. Она повернула к нему свое хорошенькое, испуганное личико, и глаза ее подернулись бархатом:

— Значит, вы опять уезжаете!

Мартину-Работнику он сказал, чтобы Аслак и Конрад всю зиму дробили камень. К весне он собирается кое-что возвести — пристройку к хлеву, беседку в саду, силосную башню, у него большие планы — и богат же он, этот молодой Виллатс Хольмсен.

Паулина видела, как он поднялся на борт. Тайком она отпила воды из его стакана. Выходя, погладила рукой крючок, на который он обычно вешал шляпу. Потом заперла покои на кирпичном заводе и вернулась в усадьбу — заниматься хозяйством, присматривать за служанками, продавать молоко от тридцати с лишним коров. Малышка Паулина, она просто молодчина.

А Виллатс, повернувшись спиной к пристани, на берег не смотрел: он был элегантен и молчалив, в новых перчатках. Он уезжал так же тихо и гордо, как и приехал, ни шума, ни криков «ура». Да, какое счастливое совпадение — по пути на юг на берег сошли актеры, примадонна Лидия, и фрекен Сибилла, и артист Макс, и все остальные вновь сошли на берег в Сегельфоссе, приковав к себе все внимание окружающих. «И лапа волосатая, а пасть горит от водки...»

Встретив трушу на пристани, Теодор проводил актеров в гостиницу Ларсена.

— У нас большие перемены! — сказал он и сообщил, что стал единоличным владельцем лавки, выкупив ее со всеми потрохами. Актеры слушали с преувеличенным вниманием, делая вид, будто их волнует благополучие владельца театра. Фрекен Сибилла Энгель принялась расспрашивать подробности:

— Стало быть, ваши сестры дома жить не будут?

— Мои сестры? Нет, они вернулись туда, где служили раньше. А я,— сказал Теодор,— представляете, я несколько недель обедал в гостинице, а нынче переехал обратно, домой. Потому что теперь все принадлежит мне.

— Подумать только, все принадлежит вам! — воскликнула фрекен.

Похоже, она чуточку переиграла, потому что артист Макс проговорил с неподражаемым сарказмом:

— Не пора ли тебе опять подвернуть ногу, Сибилла?

Фрекен Клара, пианистка, спросила про Бордсена.

И впрямь, где же Бордсен? Неужто не захотел показаться на пристани перед столь импозантными путешественниками? Ну конечно же, он сразу сообразил, что к чему, и отправился прямо в гостиницу, где и предстал перед фрекен Кларой. Пылкое свидание, горячие дружеские чувства, рассказы о поездке по окраинным провинциям Норвегии. Впечатления, забавные неудобства на пароходе и в гостиницах. Творческие триумфы в городах. «За садовой стеной» — прелестная старинная пьеса, перевод со шведского: они, понятно, значительно ее улучшили, добавили новые песни. Макс — мастер сочинять стихи. «За садовой стеной» кончается печально, героям не удается соединиться, увы, она закалывает его ножом, убивает, и это просто бесподобно, словно написано специально для фрекен Клары, заключительная сцена драки вызывает у нее презрительную улыбку. Самой-то ей ничего не стоило выйти замуж за богача и все такое прочее...

— Вы играете в этой пьесе?

— Разумеется. Самую большую роль. И не только играю, я еще и пою и аккомпанирую себе на гитаре. Остальные актеры этого делать не умеют, и потому ни о ком другом так восторженно не писали, как обо мне,— вот, поглядите, пожалуйста! Видите? И в Сегельфоссе, безусловно, все пройдет замечательно, помните, какой успех у нас был летом. Как по-вашему, господин Бордсен?

Чудной Бордсен, глупый Бордсен, чего он ждал от фрекен Клары? Так или иначе, но все-таки в прошлый раз она вела себя вполне осмысленно, в ее словах чувствовалась горечь, она решительно порвала с тем искусством, в котором ей не дано было достичь больших высот,— и вот теперь горечи как не бывало, и она вполне ублаготворена тем, что получила роль в никому не известной оперетке. Она в ней поет — а умеет ли фрекен Клара петь?

— Наверное, все пройдет замечательно.

— Непременно, только так и должно быть. А иначе что же с нами будет? — сказала, улыбаясь, фрекен Клара.— Денег у нас больше нет. Мы, конечно, прилично заработали, но уж слишком большие расстояния между городами. Ну и кое-что потратили, получив деньги, похолодало, пришлось купить верхнюю одежду. А мне, кроме того, нужен был

пеньюар, хотите посмотреть? Шлафрок, с широким шелковым поясом на талии...

— Виллатс Хольмсен уехал с этим пароходом,— сказал Бордсен.— В последнее время он день и ночь сочинял музыку.

— Вот как,— сказала фрекен Клара.— Ну, меня музыка больше не интересует, я поняла, что это бесполезно. Меня ничего, кроме сценического искусства, не интересует. Послушайте, господин Бордсен, то, что вы говорили летом о сценическом искусстве, это ведь шутка? Вы не отвечаете?

— Я не помню. Но не исключаю возможности, что летом пошутил о так называемом сценическом искусстве.

— О господи, какой же вы противный! Простите, что я так говорю!

— А где все остальные? — спросил Бордсен.

— Пошли в театр, господин Енсен пригласил их посмотреть граммофон и фортепьяно. Хотите повидать их?

— А пианистка не хочет опробовать инструмент?

— Нет! Вы же слышали. Но подождите немного, я оденусь и провожу вас. Эти ботики еще можно носить?

— А чем они плохи?

— Они уже ношеные, совсем не блестят, надо купить новые. Уверяю вас, с тех пор, как я в Тромсё купила себе шикарный гардероб, люди стали на меня смотреть по-другому. Знаете, господин Бордсен, у вас просто возмутительная шляпа. Извините, что я вам это говорю.

Бордсен улыбнулся:

— Если бы я надел одну из моих новых шляп, то больше никогда не осмелился бы поглядеть в глаза старой.

— А пальто вы не носите? — спросила фрекен Клара.

— Нет.

— Но, что ни говорите, начальнику телеграфной станции подобает одеваться элегантно.

— Милая фрекен, в любом случае мне никогда не сравниться в элегантности с обер-кельнером большого отеля.

— Кажется, все вернулись,— сказала фрекен Клара, расстегивая ботики. И, похоже, испугавшись, что обидела Бордсена, милая дама подошла к нему и, ни на минуту не умолкая, стала застегивать пуговицы на его пиджаке: — Боже, до чего же вы высокий, я достаю вам только досюда, глядите! И все-таки я не понимаю, почему вы осели в Сегельфоссе! Сколько вы уже живете здесь? Вот, смотрите, как нужно повязывать галстук, идите поглядитесь в зеркало! Нет, они еще не вернулись. А мы все равно не пойдем — ладно? Послушайте, господин Бордсен, не окажете ли вы мне вели-

чайшую услугу? Я видела у вас однажды кинжал, у него при ударе лезвие прячется в рукоятку. Не подарите ли вы его мне?

— С удовольствием.

— Спасибо. Вы *действительно* самый замечательный человек на свете! Зачем он мне? Для пьесы, я ведь там наношу удар ножом, и то-то будет великолепно, если я смогу сделать это изо всей силы. О, «За садовой стеной» — вещь чрезвычайно глубокая! — Фрекен Клара замурлыкала, потом схватила гитару и запела. А кончив петь, сказала: — Этого никто из них не умеет! Вам нравится, господин Бордсен?

Молчание.

— Я уверен, что играете вы лучше, чем поете,— ответил Бордсен.— И я также уверен, что вы это знаете. Вы сами перед собой притворяетесь.

— Ах, опять вы за свое, ужасный вы человек! Не надо мне вашего кинжала! Послушайте, неужели я и правда так плохо пою? А вы *поверьте*, что я пою хорошо, что у меня выходит, поверьте, слышите! Разумеется, я не умею петь; но вы им не говорите, обещаете? Потому что иначе у меня отнимут роль, а роль великолепная...

Наконец вернулись остальные актеры, и вновь радостная встреча. И фрекен Сибилла с таким же интересом принялась расспрашивать начальника телеграфа о его делах, с каким до того расспрашивала Теодора. Как вы поживаете? Как приятно снова встретиться с вами! Директор осведомился у Бордсена, какой отклик, по его мнению, вызовет спектакль. И считает ли он возможным сыграть еще один первоклассный спектакль в этом местечке?

Бордсен попал в затруднительное положение, никто хуже его не знал театральный мир Сегельфосса. Но на сей раз в анонсах недостатка не было, так что шансы на успех, можно сказать, блестящие.

Фру Лидия, примадонна, принесла рабочую шкатулку и сказала:

— Извините, мне нужно заштопать дыру!

Она открыла шкатулку: в принадлежностях для шитья мелькнули две десятикроновые бумажки.

— Господи, ну и богачка же ты! — воскликнул кассир труппы.— Хорошо, что мы об этом узнали!

— Хочешь, чтобы я спросила, откуда у тебя такие деньги, Лидия? — сказала фрекен Клара.

— Спроси, спроси! — подзадорил ее артист Макс.

Окинув фрекен Клару презрительным взглядом, примадонна без всякого смущения ответила:

— Подожди, вот начнешь получать такой же гонорар, как я, и у тебя будут оставаться лишние две-три десятки!

И все закивали друг другу, мол, узнаю́т старый трюк фру Лидии, к которому она прибегает в присутствии посторонних. Но фрекен Клара — та кивком не удовольствовалась, дав примадонне понять, кто она есть,— да, без всякой пощады сунула примадонне под нос ноты, сопроводив свое действие следующей репликой:

— Да тебе не под силу даже разобрать эти нехитрые значки! Потому что у тебя нет голоса!

— Не ссорьтесь, дети! — воззвал директор.

Фрекен Сибилла не обратила никакого внимания на стычку, ах, ей совершенно безразлично, кто там опять ссорится: фрекен больше всего заботила ее собственная персона. Большая мастерица изобретать всякие украшения, вызывающе одеваться и краситься, она только что по дороге в театр нашла два пера чайки и теперь воткнула их в волосы.

Начальник телеграфа ушел из гостиницы беднее, чем пришел. Он спешил туда, словно мальчишка, охваченный жаром летней влюбленности; а сейчас он уже больше не юнец, не сорвиголова — куда девались его веселость и хмельное состояние? Им на смену сразу же заработал мозг, ха, изменился, так сказать, ход мыслей, он пустился в философские рассуждения, и некоторые из них звучали более высокопарно, как, например, вот это: «О, какая жалкая жизнь, какое глубокое унижение!», а некоторые менее: «Прекрасная Клара, ты играешь лучше, чем поешь, и сама это понимаешь, ты поешь, как замочная скважина. Может, тебе интересно, есть ли у меня какое-нибудь определенное мнение по этому поводу? Прекрасная Клара, определенного мнения у меня нет, есть просто мнение, и об этом, и о тебе, и обо всех вас — докажи, что оно неверно! Вы фигляры, есть и всегда ими будете. Кто-то должен быть фигляром? Отлично. Кто-то должен быть кастратом? Отлично. Ведь ваша профессия стирает половые различия, вы говорите и ведете себя одинаково, хотя вы разные, но все это подделка, заблуждение: в жизни горный козел не то же, что горная коза. Фрекен Сибилла наверняка бесполая, а в артисте Максе есть, очевидно, кое-что от того и другого пола. Никчемный бедняга в мужском платье. А кто ты?

Прекрасная Клара, ты застегнула пуговицы на моем старом пиджаке, ты дышала мне в лицо. Ты ничего особенного не имела в виду, но ты привыкла, что мужчине полагается вознаграждение за его любезность, и ты ждала, что я, как и в прошлый раз, захочу его получить. Ни единым своим

движением ты не сказала «нет», но где же твой пыл? Ты полагаешь, будто пыл — это, встав на одну доску с артистом Максом, разговаривать столь же невежливо и казаться столь же распущенной, как он? Ты ошибаешься, это проявление бездарности. Ты не способна на страсть, ты лишь делаешь вид, будто способна. Прекрасная Клара, ты мне противна, ибо ты бездарна, я отрекаюсь от тебя, твоя игра сыграна. Ты идешь по улице не для того, чтобы куда-то прийти, а для того, чтобы показать, как красиво ты ступаешь, носками наружу, для того, чтобы спросить знатоков, достаточно ли вывернуты у тебя носки; ты щеголяешь легкомыслием, которым не обладаешь, ты приносишь разочарование любому настоящему мужчине. Нельзя демонстрировать свою страсть на рыночной площади, страсть священна, поцелуи и объятия не имеют ничего общего с улицей».

«Почему люди считают, что вы, актеры, бесстыдны? Потому что люди — бараны. Вы не бесстыдны, вы содрогаетесь от стыда за собственную бесталанность. Непрерывно разогревая в себе эротический пыл, вы делаете это ради «искусства» и ради самих себя, ради вечернего спектакля. Этого-то вы и стыдитесь, что вполне справедливо. Вы, дамы, разыгрываете презрение к домашним заботам, вы притворяетесь безразличными к тем крохам уважения, которое оказывается вашей персоне, вы либо совсем не способны к материнству, либо никудышные матери, воспитатели из вас получаются либо вовсе никакие, либо прискорбно дурные — с каждым прожитым днем вы все глубже увязаете в стыде из-за своей бесталанности. Такова правда. Стыд актрисы сильнее, чем стыд людей-баранов. Среди баранов случаются таланты, им нечего стыдиться.

Прекрасная Клара, простить ли мне вас? А и верно, давайте тряхнем головой и все забудем! Вы слышали, что это тоже считается «искусством» и входит в правила игры. Кто твои отец и мать? Ведете ли вы, актеры, свой род от людей загнанных, сбившихся с пути? Вы редко бываете красивы и быстро дурнеете, вы скрываете недостатки своего тела искусными одеждами, которые потом перенимает у вас общество. Владычицей становится мишура, а Венере дают отставку. Венера? Да простит меня богиня, что я упоминаю здесь ее имя! Или Венера была фигляркой? Неужели и она не стеснялась при случае выдать площадную остроту, кинуть фривольность театральной черни? Неужели она занималась трюкачеством? Она была святая.

Я прощаю тебя, прекрасная Клара. Ты работаешь в бродячей труппе, вам приходится жить в дешевых гостиницах и стараться не выходить из бюджета, вам приходится делать вид, будто дела идут блестяще, будто вы раздаете контрамарки направо и налево только потому, что вам это вполне по карману, вам приходится лгать каждому встречному, в каждой лавке, будто вы состоятельные люди: «Я бы купила вот этот шелковый корсет, но мне не нравится цвет! Отложите для меня вот эту ондатровую шубу, послезавтра у нас выплата гонорара!» Жалкая жизнь...

Заслуживаете ли вы лучшей доли? Что вы знаете? Кое-что про судьбу, чуть больше, может, из школьных премудростей, еще чуть больше, возможно, про «воспитание» — скоморох умеет глотать огонь и метать кинжалы. Вы приходите в театр откуда угодно, либо вовсе без данных, либо с любыми данными: с талантом, честолюбием или нуждой. Талант? Талант выставлять себя на всеобщее обозрение, актерствовать. С древнейших времен, с времен фараонов и Великого Могола это — ремесло рабов, в наши дни — сноровка, столь же заурядная, как школьные премудрости или «воспитание», а в некоторых городах и странах чума, которую не остановить ни Богу, ни Дьяволу.

И вот вы у цели — в доме с тремя стенами. Будешь ли ты теперь ломать комедию, прекрасная Клара, как ломает комедию сам дом?

В пьесе болтают и размахивают руками. Но благородные люди не болтают и не размахивают руками, они делают это лишь в те минуты, когда в какой-то степени утрачивают благородство. Самые свои благородные мысли ты не высказываешь, хотя они бродят у тебя в голове, но ты держишь их на замке. Если ты услышишь хохот театральной черни, знай, ты дрыгнула ножкой, что ни у кого бы не вызвало смеха в доме с четырьмя стенами — там бы тебе это смущенно простили. Или спустись вниз, в зал, и *в одиночестве* понаблюдай, как дрыгает ногой твой коллега-фигляр, увидим, засмеешься ли ты! Только свет, люди и музыка делают театр местом сборища, одно лишь это превращает самое что ни на есть наивное времяпрепровождение в жизненную необходимость для взрослых людей. Демонстрировать окружающим, как ты взволнован. Превосходить остальных зрителей в понимании искусства.

А ты сама понимаешь искусство? Что, если твое понимание будет начисто отвергнуто? Вот идут критики! Погляди на них, когда они входят в зал, они вершители судеб, уж они-

то воистину поведут за собой театральную чернь и определят, изящно ли повернулась фрекен Сибилла или так ли, как надо, зевнул артист Макс. После чего почтенные старцы письменно выскажутся по всем этим вопросам. И один все одобрит, а другой нет — и оба проделают это со знанием дела.

В антракте мы идем в буфет. Нам требуется подкрепиться, мы обессилены, мы утомлены. И здесь мы показываем себя и глядим на других, чернь раскланивается с чернью сегодня, как и вчера, мы разглядываем наряды и обмениваемся мнениями: пойдет ли спектакль или провалится?

Фараон и Могол — они были тиранами по убеждению, театральная чернь — тиран по наивности. Она пишет в «Сегельфосс Тидене» и сама же с удовольствием читает ею написанное.

Так называемое сценическое искусство — это притворство по указке. Промежуточная форма, возникшая не для совершенствования литературного сочинения, а паразитирующая на нем. Сценическое искусство достигает высшего триумфа в произведениях, созданных специалистами с прирожденной хваткой, а свое оправдание находит в том, что пытается вложить содержание даже в наихудшие произведения: так сказать, углубляет и объясняет то, что объяснять бесполезно. Свою миссию театр, возможно, мог бы выполнить в фарсе: заставив чернь плакать вместо того, чтобы сплетничать.

Согласна? Ты твердо уверена, что я ошибаюсь? Послушаем же, прекрасная Клара...»

На это фрекен Клара, пожалуй, возразит, что если он тот самый Бордсен, сын известных Бордсенов, который отказался от намерения вообще кем-то стать, то отвечать ему излишне. Он попробовал свои силы в театре, но оказался бесталанным, он писал пьесы, но потерпел фиаско. Ха-ха, а фрекен Клара продолжает играть, как и вся труппа.

Но Сегельфосс — увы! — уже не был более приютом искусства и подходящим местом для театральных трупп. Кто бы мог подумать, те же самые актеры, и «За садовой стеной» — великолепная пьеса! Немногочисленные зрители в театре Теодора громко болтали и насмешливо переговаривались, мол, иди сюда, занимай один целую скамейку! А по окончании спектакля, опять-таки вслух, высказывались, что подобной халтуры еще не видели! И в возмущении ринулись к выходу.

Какая муха их укусила? В газете были помещены анонсы, редактор написал заметку, Теодор-Лавочник поднял флаг и

на лавке, и на театре, Нильс-Сапожник преданно сидел на месте и продавал билеты. Да и сама труппа свое дело сделала: мужчины рекламировали себя на улицах шляпами со шнурками, а дамы — новыми пелеринами. И все напрасно! Значило ли это, что Сегельфосс не может потянуть два театральных представления в один год? Или же пьеса была выбрана менее удачно? Она кончалась трагически, главного героя, человека прекрасного во всех отношениях, по недоразумению закалывает кинжалом его возлюбленная, и тут сегельфосские парни завопили, намереваясь кинуться ему на помощь. На этот раз некому было их приструнить, в зале не было ни адвоката Раша, ни доктора Мууса, не помогло и то, что возлюбленная потом в отчаянии ломала руки и пела, заливаясь слезами,— парни чувствовали себя обманутыми, они платили деньги не за то, чтобы быть свидетелями поражения.

На следующий день, придя в гостиницу, начальник телеграфа Бордсен обнаружил общество в подавленном настроении, лишь артист Макс пребывал в более или менее веселом расположении духа, но и то по наглости характера.

— Давайте устроим вечеринку! — сказал Бордсен.

У ответственных лиц это предложение вызвало грустную улыбку, а безответственные захлопали в ладоши. Но после того, как Бордсен принес вина для дам и виски для мужчин, очень скоро все без исключения стали чуть менее ответственными.

— Хорошо бы, вечеринка продолжалась до тех самых пор, пока не придет пароход и не заберет нас из этого ужасного места! — сказал директор.

— Но пароход придет только завтра вечером,— сказал кассир.

Шли часы, веселые часы. Ангел-спаситель, Бордсен, самолично принес еще спиртного, а спиртное наверняка от этого Теодора-Лавочника, ибо его фирма может все. Кассир воскликнул:

— Если бы у нас были деньги оплатить все это!

— Не хватило бы! — ответил кто-то.— Нам никогда не хватает!

Но директор рассудительно заметил:

— Давайте вести себя так, чтобы иметь возможность вернуться в Сегельфосс!

— Нет, мы больше не хотим сюда приезжать! — закричали одни.

— Хотим, хотим приехать повидать начальника телеграфа! — закричали другие.

— Да здравствует Бордсен! — закричали все.

Бордсен был невозмутимо щедр и надежен, ну, просто как отец родной, как провидение. Поставив на стол еще одну бутылку, он сказал:

— Я заставлю бутылками весь стол, я укрою вас водочными бутылками от сквозняка!

Ох уж этот чертов весельчак, начальник телеграфа Бордсен, да навесь он на себя ракушки и павианий хвост, и то не стал бы забавнее.

Больше уже никто, разумеется, не грустил. Фру Лидия, вспомнив, что у нее больной желудок, принесла свои капли, фрекен Сибилла, тоже нисколько не смущаясь, пошла за железосодержащей микстурой, в комнате царило всеобщее дружелюбие, они посылали воздушные поцелуи пастору Лассену на стене и поднимали стаканы за его здоровье, они чокались друг с другом и прощали друг другу всевозможные оскорбления.

Бордсен устроился рядом с фрекен Кларой с таким видом, будто это навсегда, будто он наконец-то пришел к ней на долгое свидание. Это разозлило артиста Макса, он был вне себя от ревности. Видите ли, артист Макс ненормальный, он никого не переносит, он как евнух ревнует ко всем, и сейчас он напрямик сказал, что если начальник телеграфа не пересядет, то станет на голову короче! Фрекен Клара воскликнула:

— Убирайся, Макс! Не выношу, когда ты лапаешь меня своими отвратительными синими ручищами!

— Вот как ты заговорила! — с угрозой сказал Макс.

— Мы тоже можем тебе кое-что сказать! — ответили фру Лидия и фрекен Сибилла.

Бледный как смерть Макс встал и вышел.

В общем, все было великолепно задумано и прекрасно исполнено. Бордсен заказал для общества ужин, подкрепившись, опять пили. Бордсен сохранял невозмутимость. С его уст срывалось множество высокопарных и странных слов, он ошеломил фрекен Клару, обратившись к ней нежно и страстно:

— Мои губы жаждут ваших губ,— сказал он,— я вынужден их кусать, чтобы сдержаться! А вы, фрекен Клара? Если в любви не добиваешься успеха, любовь умирает. Это закон!

Тут подали письмо, написанное чернилами, от артиста Макса. Он спрашивал, можно ли ему вернуться. Бордсен вынул карандаш, собираясь написать ответ.

— Нет, нет, карандашом нельзя,— сказала фрекен Сибилла,— Макс в этом отношении очень щепетилен.

— Неужто карандаш недостаточно хорош, чернильный карандаш?

— Чернильный карандаш — это превосходно, ха-ха-ха,— засмеялся кассир.— И ответьте, что, если он явится, его присутствие, так и быть, потерпят.

— Нет, так не надо,— сказала фрекен Сибилла,— это его не остановит.

— Разве Макс в этом отношении не щепетилен?— спросил Бордсен.

— Напишите, что я уже ушла,— сказала фрекен Клара.

— Неужели ты воображаешь,что это он по тебе стосковался? — вскричали две другие дамы и начали препираться из-за этого ни на что не годного человека.

Но тут в дверях появился он сам и, поклонившись, спросил, можно ли ему войти.

— Разумеется! — раздалось со всех сторон.

— Но ведь ты, Клара, выставила меня вон.

— Разве я тебе что-нибудь сказала? — ответила Клара.— Ни слова. Здесь много народу и помимо тебя, Макс. Садись! Ты ел?

Пирушка уже приобрела чересчур бурный характер, да к тому же дело шло к ночи. Фру Лидия и фрекен Сибилла, смеясь, обменялись лекарствами, которые оказали на них невиданное прежде благотворное действие. Директор, в последний раз преисполнившись рассудительностью, сказал:

— Прошу вас, ведите себя так, чтобы мы могли сюда вернуться!

Тогда-то фру Лидии стало дурно. Она сперва собиралась упасть в обморок, но потом передумала, ее затошнило, и она выбежала из комнаты.

Остальные не двинулись с места, Бордсен, будучи в настроении возвышенном и умиротворенном, уверял всех, что хотел бы обладать фрекен Кларой, как драгоценным куском вышитого бархата, уверял, что она смотрит на него взглядом, от которого он теряет рассудок — ах! Слушать такое бедному Максу опять оказалось не под силу, и он заскрежетал зубами.

Фрекен Клара вспомнила про кинжал, волшебное оружие.

— Не забудьте завтра принести кинжал, господин Бордсен!

— Не забуду!

Директор решил, что пора расходиться:

— Давайте поблагодарим начальника телеграфа за этот незабываемый вечер, спасибо и ура!

— Я еще не ухожу,— сказал Бордсен.

Застонав от ревности, артист Макс спросил:

— Вы разве не слышали, что директор просил вас удалиться?

Бордсен сидел величественный и невозмутимый. Казалось, он чего-то ждет, надеется на какую-нибудь необузданную выходку.

Дико вращая глазами, артист Макс напрямик обратился к Бордсену:

— Нас здесь семь человек против вас одного, не посоветуете ли, как нам от вас избавиться?

Бордсен не двинулся с места.

— Пойдемте погуляем! — сказала ему фрекен Клара.

Бордсен тотчас встал и последовал за ней.

Кончилась и эта ночь, наступил новый день, ах, какой скверный день, с головной болью и множеством забот. Дело приняло серьезный оборот, у директора с кассиром состоялся трудный разговор. Труппа на краю гибели, приехав сюда с пустыми руками, не имея никаких сбережений, она застряла в Сегельфоссе. Увы, новые пелерины стоили так дорого! Если они здесь рассчитаются, возможно, им удастся получить бесплатные места на палубе и добраться до следующего театра.

Директор с кассиром отправились депутацией к примадонне и, принеся всяческие извинения, стали выклянчивать у нее две десятки.

— Ни за что! — ответила примадонна.

Выждав немного, они явились к ней вновь.

— А чем я сама буду расплачиваться? — спросила примадонна.— И почему вы так швыряете деньгами, стоит им у вас завестись? — спросила она.— Я видела, как ты накупил почтовых марок на пять крон.

— Мне приходится писать в разные места и рассылать газетные вырезки, для этого и нужны марки,— ответил директор.— Но у меня еще осталось марок на две кроны, их я тоже присчитаю.

Примадонна смягчилась:

— Берите деньги! — сказала она.— Теперь-то мы выкрутимся?

— Не совсем. Но мы сейчас обойдем остальных.

И оба опять отправились депутацией.

В обязанности директора входило следить за тем, чтобы труппа вела себя достойно там, куда приезжала на гастроли, и чтобы ей не был заказан путь назад. Какая жалкая жизнь! Доверчивые и по-детски беспомощные актеры, точно цыпля-

та, жмутся к наседке. Их легко напугать и заставить сделать что угодно, их можно запросто напоить, и они вывернут душу наизнанку; зато при правильно выстроенной мизансцене от них исходит сияние, которое позволяет забыть об их тяжелой доле. Частенько им приходится латать прорехи, штопать дыры, иглой и ниткой чинить разваливающуюся обувь. Фрекен Сибилле хочется по мере сил поддержать трупу, и, посоветовавшись с фрекен Кларой, она принимается стирать и развешивать на видном месте элегантные воротнички и белье с ажурной вышивкой — пусть все видят, что гастролирующие актеры не какой-то там сброд! Когда депутация явилась к фрекен Кларе, она, не говоря ни слова, расстегнула корсаж и вынула помятый медальон на цепочке, горделиво полагая, что он-то их и спасет, одна цепочка стоит дороже любой королевской.

— Денег у меня нет,— сказала она,— зато есть вот это! — и протянула им медальон. Кто знает, может, она получила его в подарок дома, в какой-нибудь сочельник, давний сочельник...

Пришел с кинжалом начальник телеграфа Бордсен, дружески раскланиваясь направо и налево. И сегодня он такой же статный и сильный, как и вчера, не омраченный заботами — с ними он, надо полагать, уже справился. Фрекен Клара поблагодарила за кинжал, но не была расположена учиться, как с ним обращаться.

— Мы в затруднительном положении,— сказала она,— не можем расплатиться за гостиницу!

— Ерунда,— ответил Бордсен.

Она объяснила положение — касса пуста, дело нешуточное.

— Эти гроши я вам одолжу! — с улыбкой сказал Бордсен.

Всплеснув руками, она воскликнула:

— Господи, вы самый замечательный человек на свете, я таких просто не встречала! Лидия! — крикнула она в дверь.— Послушайте, Бордсен нас спас, начальник телеграфа...

Бордсен принес деньги и снова закатил пир — даже лавровый венок на голове не прибавил бы ему ореола. Дамы расцеловали его, а мужчины, кивая головой, заверили, что не забудут этого по гроб жизни, что об этом узнают везде, куда они попадут. Денег хватило с избытком, и фрекен Кларе сразу захотелось сбегать за кинжалом и научиться с ним обращаться — вот так? Бордсен взял кинжал и, нажав пружинку в рукоятке, отдал его со словами:

— Ну, а теперь ударьте меня!

Фрекен Клара ударила...

В следующее мгновение — кровь, немая оторопь, крики — вопли, смятение, стоны...

Неужели Бордсен нарочно установил кинжал в боевое положение? Или же по небрежности не спустил пружинку? Он и сам, похоже, несколько растерялся — страшное, острое лезвие попало в хрящ, и его с трудом удалось вытащить. Бордсен без сил опустился на стул.

Новые отчаянные вскрики, взволнованная суета. Приходит Юлиус.

— Доктора! — сказал он; но доктора до прибытия парохода не будет, ведь Муус уехал!

— Помогите мне дойти до телеграфа! — попросил Бордсен. Он сильно побледнел, но сообразил все-таки зажать рану ладонью. Фрекен Клара беспрерывно причитала:

— Это я виновата!

Бордсен, улыбаясь, отозвался:

— Тихо, детка, тут моя вина! Я этого сам хотел.

Печальный вышел день. Слава богу, хоть подморозило, так что Бордсену приложили к ране лед. Актеры искренне переживали несчастье. Бордсен сказал:

— Внутреннего кровотечения нет, а то и умереть бы недолго. А так простая колотая рана, я промою ее лизолем!

Но фрекен Клара была безутешна, попрекая себя за то, что ударила так сильно.

— Плохо только, что вы промахнулись,— ответил Бордсен,— в следующий раз возьмите чуть вбок!

— И вы еще способны шутить!

— Я не шучу.

— Вы что, и впрямь хотели, чтобы я вас убила? — спросила актриса.

— Да,— ответил Бордсен.

— Но почему? Я ничего не понимаю.

— Я хотел пасть от вашей руки.

Вся труппа слышала эти слова, и дамы, Лидия и Сибилла, испугались, что больной начал бредить.

Да, печальный день.

А когда стало вечереть, фрекен Клара, надев пальто и ботики, вышла из дома. Уже часа два она была молчалива, словно в ее маленькой головке крутилась какая-то мысль, и теперь она направилась в «Сегельфосс Тидене». Редактор набирал номер. Она попросила его разослать телеграммы в другие газеты о происшедшей катастрофе, о трагедии. Редактор ничего не имел против того, чтобы первым среди коллег

сообщить эту новость, поскольку дама пожелала оплатить телеграммы.

— К сожалению, Бордсен лежит с зияющей раной, а то бы он и сам это сделал,— сказала фрекен Клара.— Любовная драма,— сказала она.— Наверное, придется упомянуть и мое имя, этого не избежать, а его репутации это не повредит. Ну конечно, попытка самоубийства. Напечатайте — кинжалом. И напечатайте — есть надежда, что он оправится...

Но фрекен Клара не отправила телеграммы из Сегельфосса, с телеграфа Бордсена, уж неизвестно, почему, верно, времени не было: телеграммы она забрала с собой на пароход, до следующей телеграфной станции. Тем не менее она зашла к Бордсену в последний раз перед отъездом узнать о его самочувствии и была по-прежнему подавлена, а больной опять шутил с ней:

— Бедняжка, когда днем убьешь человека, к вечеру ни на что не годишься. Поезжайте, фрекен, а я уж как-нибудь оправлюсь — к сожалению.

И фрекен Клара очень обрадовалась этой шутке и повеселела. Она ведь вовсе не была жестокосердным человеком.

6

Как — на гостинице Ларсена появился флаг? Не совсем новый, но развевается красиво, это один из флагов Теодора-Лавочника, Ларс Мануэльсен выпросил его на время. И развевается он в честь Лассена, сынка его. Большой день!

Нет, осенью дела против Ларса Мануэльсена за кражу не затеяли, но крикливые сороки по-прежнему преследовали его по пятам, да и люди вели себя не намного лучше, тоже глотки драли. Но неприятнее всего было, наверное, появление статьи в «Сегельфосс Тидене». К тому же она попалась на глаза пастору Лассену, лицо которого приняло при этом свое изначальное мужицкое выражение: страха и трусливости. На причастность к краже его отца намекали столь недвусмысленно, что ошибиться невозможно, нечего сказать, такому папаше ничего не стоит испортить карьеру своему сыну-вундеркинду. Пришлось пастору пуститься в долгий путь из столицы на север, чтобы попытаться уладить дело.

Он приехал. Длинный, костлявый, длинноволосый, безбородый и серьезный. Одет тепло. Он сходит на берег, встречается с отцом, здоровается, показывает на свой багаж, видит Юлиуса, здоровается и с ним и опять показывает на

свой багаж, вон там стоит. Потом идет с отцом в гостиницу: Юлиус следует за ними по пятам. Пастора замучила одна галоша, так и хлопает, так и хлопает по пятке; зато другая служит верно, как собака.

Он входит и здоровается с матерью:

— Добрый день, матушка! Мир дому сему!

Мать от волнения не может выдавить ни слова — она счастлива до слез. Ах, бедная, добрая по-своему старуха, она прожила безотрадную жизнь с мошенником-мужем и скверными детьми, а теперь вот приехал домой ее знаменитый сын. Великая минута, молитвенное благоговение в ее душе, в старческих глазах детская радость — точно такая же, как в тот давний-предавний день, когда ей подарили латунную пуговицу.

— Ну вот, погляди, как простой народ живет,— говорит Юлиус. Он, похоже, ждал от брата другого ответа — тот лишь кивнул. Брат-то вроде недоволен и не особо приветлив, больше того, мать еще и кофе не успела принести, а он уже говорит: что это я, мол, слышу о вас?— сказал он.

— Читал «Сегельфосс Тидене». И ты, Юлиус, тоже хорош!

— А в чем дело? — спросил Юлиус.

— В открытую подаешь постояльцам ворованные продукты,— сказал ученый брат, у которого язык был подвешен как надо.

— Насчет этого с отца спрашивай,— выпалил Юлиус.

— С отца! Очень красиво все на отца валить!

В Юлиусе, очевидно, проснулся паяц, его нахальство всегда отличалось основательностью, и, нисколько не сдерживаясь, он дал волю своему шальному языку:

— Я сразу же сказал папаше — не надо было тебе этого затевать, коли имеешь такого сына, как Л.Лассен, сказал я. Спроси отца, если не веришь.

— Ох, старый я стал,— ответил Ларс Мануэльсен своим детям,— вы умнее, вам надо в люди выбиться, только про это и думаю. Кофе-то Лассену не подашь?

Пробудившись от своего молитвенного восторга, старуха-мать вышла из комнаты, совсем сбитая с толку.

— Во всех отношениях весьма тягостная для меня история,— сказал пастор.— Я был вынужден отложить в сторону занятия и работу и проделать этот долгий путь на север. Бессмыслица.

— А правда, что ты доктором стал? — спросил Юлиус, желая уйти от неприятного разговора.

— Как там с моим багажом? — спросил пастор.— Его кто-нибудь принесет?

— Я сейчас, мигом,— говорит отец, чуть ли не с радостью бросаясь к двери.

Пастор, наведя очки на брата, спрашивает:

— Ты позволяешь старому отцу таскать багаж?

Юлиус чуть усмехнулся, но не потому, что ему было весело.

— А ты того, маленько с придурью,— сказал он.

— Я?

— У тебя ума на скиллинг, а дури на целый далер. Это я тебе точно говорю.

Мать принесла кофе:

— Уж и не знаю, будешь ли пить, кофий-то мы небось по-другому варим.

— Спасибо, матушка. Ты, матушка, разумеется, не причастна к этой нечестивой истории с воровством,— сказал ее сын.— А тебе, Юлиус, прощения нет.

— Это все сорока! — сказала добрая мать, желая уладить дело.— Я всегда говорила, не трогай сороку, Ларс, говорила я, она мстить нам будет. Но отец ваш разорил гнездо и нашел ключ от кладовой, отсюда и вышло все несчастье.

— Вы каждый день поднимаете флаг на гостинице? — спросил пастор.

— Поднимаем флаг? У меня и флага-то нет,— ответил Юлиус.

— Это отец в твою честь флаг вывесил,— ответила мать.— В лавке одолжил.

— Ни к чему все это,— сказал пастор.

Он выпил кофе. Пришел отец с багажом.

— Ну, так ежели желаешь умыться, как другие постояльцы делают, идем! — сказал Юлиус.

Пастор последовал совету. Поднявшись на второй этаж, пастор недовольно заметил:

— Ну и крутая лестница!

Отведенная ему комната тоже пришлась пастору не по вкусу, какой-то свинья коммивояжер оплевал всю стену у кровати.

— Это Энерсен,— сказал Юлиус,— напился как-то утром!

Отец, вошедший следом с чемоданами в обеих руках, проговорил:

— Мать отмоет.

— Господи, отец, ты тащил багаж, а Юлиус шел с пустыми руками! — воскликнул пастор.

Кротость Юлиуса совсем испарилась. Паулина из поместья вчера вечером окончательно отказала ему, а тут еще явился этот высокомерный братец, который небось и платить-то за себя не собирается.

— А чего сам-то свое барахло не взял? — сказал он.

— Юлиус, Юлиус,— предостерег отец.

— А много тебе твой Ларс гостинцев прислал? — спросил со злостью Юлиус.— Парик да сборник проповедей!

Пропустив мимо ушей такую чудовищную невоспитанность, пастор ответил:

— Весь заработок я тратил на свое образование. И вот стал тем, кто я есть.

— А правда, что ты доктор? — опять спросил Юлиус.— Небось враки?

— Тебе этого не понять,— ответил брат.— Я доктор, но не врач. Я получил докторскую степень в своей области науки. Послушай, нельзя ли поменять воду в графине? Она совсем застоялась, да и мало ее. И еще, матрац на кровати пружинный?

— Пружинный,— ответил Юлиус. И вдруг, сплюнув так, что печка зашипела, проговорил: — Впрочем, хочешь — спи на этой кровати, хочешь — не спи, дело твое. Только я тебе вот что скажу — здесь жили люди и поблагороднее тебя, да и деньжат у них в кармане было побольше. А Теодор-Лавочник целую вечность ходил сюда обедать, а он, по моему разумению, человек вполне благородный и побогаче нас с тобой...

Пастор вторично пропустил мимо ушей чудовищную невоспитанность и принялся умываться, он вымыл руки и лицо, а шею и уши мыть не стал, достал щетку и причесался, сменил воротничок и манжеты и, приведя себя таким образом в порядок, сел в кресло и погрузился в размышления о превратностях своей судьбы: рыбак с рыбачьей шлюпки, пастор, ученый, кавалер ордена святого Улофа, доктор философии, кандидат в епископы, вероятный претендент на место придворного проповедника, если таковому найдется применение, да и возможный министр, если освободится вакансия — воистину, неисповедимы пути Господни! Но сейчас он здесь, дабы спасти проворовавшегося отца, который написал ему с просьбой о помощи. Что еще оставалось делать пастору, как не приехать сюда и поддержать отца своим авторитетом. Завтра, не сегодня, нет, он навестит господина Хольменгро и зайдет в газету. Сегодня он лишь пообедает и отдохнет. Он вынимает из чемодана пасторское облачение и

вешает на стену, на облачении орден святого Улофа, вдруг пригодится.

У паренька Ларса сильная воля, железная выносливость — качества весьма важные.

У него есть руки, только зачем они ему? Они ведь созданы для дела, для тяжелой работы, эти мощные пальцы явно задумывались для какой-то необычной задачи в жизни — но природа старалась зря, его руки бледны и болезненны от безделья, ему от них никакого проку. Его тщеславие никогда не отличалось высоким полетом, он был доволен службой, метя в администраторы, ибо желал распоряжаться тем, что создано другими. И вот теперь цель достигнута, и он ни на минуту не сомневается, что его усилия не пропали даром. Годами он копил в голове школьные знания, как когда-то его предки копили монетки, пряча на дно сундука, и теперь он много знает, он ученый. Благодаря недостатку интеллекта весь этот ученый вздор не слишком отягощал его ум, он постоянно жаждал новых книжных премудростей, еще немного — и игра выиграна. Таково его предназначение в этом мире. Вот он сидит — у него дряблые мускулы и мозг, изнуренный зубрежкой в юные и зрелые годы, но он уважаемый человек, ему можно задать самые разные вопросы и получить на них ответ, он все это проходил, он знает, где про что написано, его ученость — ученость попугая. Его докторская диссертация, посвященная норвежскому духовенству шестнадцатого столетия, составлена по материалам «Датского журнала», норвежского государственного реестра и «Diplomatarium Norvegicum» — «Норвежского журнала», добавил бы он, если бы услышал этот перечень, ибо, как ученый, любит точность. Следующая его научная работа — исследование о великом Nomen Nescio [1], отмечена несколькими немаловажными научными открытиями, в частности, он доказал в ней, что его герой отправился «на поиски лучшей доли» не в 1512, а в 1513 году и что за два года до того, как удалиться по вышеозначенному делу, он вел до сей поры неизвестный исследователям процесс против члена Гамбургского совета — свой четырнадцатый процесс. Этой работой паренек Ларс стяжал себе славу, а так как он уже давно был членом Академии наук, пришлось пожаловать ему орден святого Улофа — и вот он уже величина в научном мире. Ах, трудно сдержать улыбку, вспоминая, как в семинарские годы он ходил, позвякивая толстой серебряной це-

[1] Некто *(лат.)*.

почкой от часов, сейчас он позвякивает рыцарским орденом, разве может кто-нибудь с ним сравниться? И пристало ли такому человеку оставаться пастором в Нурланне, да и пристало ли ему вообще помнить, что он родом отсюда? Мало-помалу кругозор его расширился, в глазах появился жадный блеск, он жаждал все более высоких почестей, все более высокого положения, он начал кротко жаловаться, что его обходят, жаловаться на несправедливость, на недостаточное внимание к нему газет и государства. Так продолжалось несколько лет.

И вдруг — ну до чего же все-таки прихотлива судьба,— вдруг наступил момент, когда признание пришло в большее соответствие с его заслугами: он получил голоса в пользу епископства, в газетных статьях его прочили в министры по делам церкви. Ну, есть ли ему равные?

Отныне заботы о нем взяло на себя время, одно лишь время, ему оставалось только ждать. Паренек Ларс осмелел, ему захотелось проявить вольномыслие, он примкнул к народничеству семидесятых годов, вошел в контакт с борцами за лансмол и стал необычайно обходителен. Почему бы и нет? Знаменитый человек вполне мог себе все это позволить, ему, рыбаку с рыбачьей шлюпки, родившемуся среди мусора и проведшему детство в пыли, такой образ весьма импонировал. Ученым мужам нет дела до чистоты тела и одежды. Гераклит тоже не отличался особой чистоплотностью и изысканностью.

Итак, у паренька Ларса все складывалось отлично. Осталось с изрядной долей надежды дожидаться кончины кого-нибудь из епископов, продолжая тем временем свои занятия, все усерднее штудируя книги, свитки из телячьей кожи и пергаменты. Время шло, о его народности ходили легенды, прослышав, что хороший тон повелевает собирать древности, он стал специалистом по части церковной утвари, разных деревянных изделий, оловянных купелей, серебряных чаш. Он овладел обширной культурой, народной и научной.

И надо же, теперь эта история с отцом. Неужели она и впрямь может иметь какое-нибудь значение?

Когда мать пришла звать его к столу, он встал с таким выражением на лице, что, дескать, еда — ну да, конечно, это хорошо, но это не единственная потребность в жизни. Вот ведь хитрая бестия, он ведь же не был голоден, еще на пароходе съев лишний бифштекс перед тем, как сойти на берег! И за столом вел себя так, словно был не от мира сего: все довольно вкусно, матушка, налей мне еще тарелочку супа!

Поев, он прочитал молитву — о господи, ну и зрелище, эдакий огромный дрессированный датский дог, которого научили складывать лапы; а покончив с молитвой, пастор попросил позвать отца и Юлиуса.

Они явились.

— Могу я быть уверен в том, что ел не ворованные продукты? — спросил пастор.

Отец с матерью промолчали, застигнутые врасплох. Юлиус ответил:

— Ну и не ел бы!

Но в намерения пастора отнюдь не входило, чтобы оба грешника отделались таким мягким наказанием, и хотя они его родные, но один вор, а другой укрыватель краденого, и правосудие должно свершиться.

— С тобой, Юлиус, я разговаривать не собираюсь,— сказал пастор,— но хочу, чтобы ты знал: если ты и отвертишься от земной кары, то от небесной тебе не уйти.

Старуха мать склонила голову набок, крепко сцепив руки. Юлиус, не проявляя никакого почтения, спросил, зачем его позвали.

— А ты, отец, одумайся! — сказал пастор.— С Господом шутки плохи,— сказал он.— Глядишь, скоро уже будет поздно раскаиваться, дня и часа никто не ведает...

Все испортил Юлиус своим вопросом:

— Тут люди интересуются, ты будешь в церкви проповедь читать?

Великий брат прикусил язык. Лучшего способа унять его Юлиусу было не придумать. Он ждал и надеялся, что его попросят прочитать проповедь, потому и захватил с собой облачение и орден. Господи, да ведь именно это и есть то главное средство, с помощью которого он рассчитывает заткнуть людям рот, — известный на всю страну человек на церковной кафедре.

— Кто же это интересуется, буду ли я читать проповедь?

— Народ. Многие спрашивают.

— К этому мы вернемся позже,— сказал пастор.— Пока же я говорю о том греховном и непристойном поступке, в котором вас обвиняют и который даже попал в газету.

— Это сорока сводит с нами счеты! — прошептала мать, фанатично кивая каждому в отдельности и обводя их взглядом.

— Я старый человек,— обратился отец к сыну,— и всяким премудростям не обучен; но вот что мне охота узнать: по-твоему, сорочье гнездо во дворе — это хорошо или же это

срамота и непотребство? А вы слушайте и молчите! — прикрикнул он на остальных.

— Не задевай сороку! Не задевай сороку! — остерегла его старуха мать.

— Так ежели ты собираешься читать проповедь-то, я уж передам Уле Юхану, пусть оповестит народ.

Выволочка окончательно испорчена. Но пастор — человек уверенный в себе, упрямый и терпеливый:

— Во всяком случае, статья в газете оторвала меня от работы и науки и заставила отправиться далеко на север,— сказал он.

— Не стоило беспокоиться,— сказал Юлиус.— Здесь ни один черт про нее больше не вспоминает.

— Тогда незачем было звать меня на помощь, отец. Это непростительно,— сказал пастор, почувствовав несказанное облегчение от того, что газетная статья забыта.

Отец объяснил, оправдываясь, что это Давердана нескладно написала. Да, все аккурат так, как Юлиус сказал, статейку больше никто не вспоминает.

— Но сороки кричат мне вслед,— сказал Ларс Мануэльсен,— и потому, ежели бы ты подсобил мне чем... ежели бы мог прогнать сорок...

Пастор покачал головой.

— Так, значит, не можешь. А я хотел тебя еще кое о чем спросить — у фармазонов, говорят, есть перстень, который другим носить заказано, болтают, будто такой перстень Хольменгро заполучил...

Пастор хорошо знал своего отца, знал, что грешник пытается болтовней спасти свою шкуру. Нет на него управы, теперь он переключился на богопротивные небесные знаки Теодора-Лавочника — что, разве я не прав?

Пастор обернулся к брату:

— Я, вообще-то, не собирался читать проповедь, не было у меня таких намерений. Но если у кого возникло желание послушать меня, мой долг выступить. В этом случае просьба должна исходить от пастора и его помощников. Я сам просить не стану.

— Ясно, не станешь! — улыбнулась мать.— Слыханное ли дело!

На следующий день пастор Лассен нанес визит господину Хольменгро. Он преследовал две цели — как-то в свободную минуту он написал коротенькое письмецо фрекен Хольменгро — дорогая фрекен Мариана, моя бывшая ученица! — и сейчас ему хотелось получить ответ. Теперь он уже совсем

другой человек, чем тогда, когда занимался с ней; она, правда, далеко не красавица, и не очень чтобы образованная, и читает не так много, но вряд ли она не слышала, кем стал Лассен. И вот он здесь. Как ни странно, предстоящая встреча с фрекен Марианой не вызывала в нем робости, другое дело ее отец — придется ли он по душе ее отцу, богачу Хольменгро, тоже не слишком-то образованному и просвещенному господину, не больно разбирающемуся в книжных премудростях. Но Мариана, бывшая ученица — прошу прощения, с ней он решил взять слегка наставнический тон, слегка отеческий: поговорит с ней о книгах и древностях, о выдолбленной из талькового камня купели, которую ему удалось раздобыть в Сэтердалене. Да, это, пожалуй, то, что надо, в пансионатах эти его рассказы пользовались неизменным успехом у незамужних дам, а уж про бывшую ученицу и говорить нечего. И еще он даст ей понять, намекнет — дескать, вот как оно получается, многого он достиг в жизни, но он одинок. «Одними книгами не проживешь, Мариана,— когда в следующий раз навестите столицу, приходите, посмотрите мою библиотеку, уже несколько тысяч томов, и книг все прибавляется и прибавляется. Но, как я уже сказал, человеку одному нехорошо оставаться... так что́ вы ответите на мое почтительнейшее послание?»

Сегодня он пришел, собственно, только для того, чтобы убедиться в восхищении Марианы, а завтра он будет говорить с ее могущественным отцом.

Но Марианы дома не было, она уехала. Значит, это не ее невинный шепот и смешки доносились из кабинета?

— Нет,— сказала фру Иргенс,— фрекен Мариана в отъезде.

Вошел господин Хольменгро. Он не пригласил Лассена садиться, и какое-то время они стоя смотрели друг на друга. Внезапно Лассен улыбнулся и представился, так, словно его осенила замечательная идея:

— Должно быть, вы меня не узнаете,— сказал он.— Я Лассен, ваш бывший домашний учитель,— сказал он.

— Такой ученый и знаменитый человек изволит путешествовать? — сказал господин Хольменгро.

— Да вот, по дороге на север захотелось взглянуть на родные палестины.

— Вы направляетесь еще дальше на север?

— В Финмарк. С научной целью. Изучаю лестадианизм.

— Не хотите ли присесть,— наконец сказал господин Хольменгро, показывая на стул.

— Я пришел по весьма печальному поводу,— сказал пастор. Увы, он говорил нескладно, сам это понимая, весьма путано излагая свои мысли, но все-таки кое-как сумел объясниться, и был поражен, когда выяснилось, что господин Хольменгро ничего не знает о краже, ничегошеньки, никогда о ней не слыхал и вообще на сплетни внимания не обращает.

— Но об этом писали в «Сегельфосс Тидене»,— сказал пастор.

— Вот как,— сказал господин Хольменгро.— Ну, я эту газету не читаю.

Великолепно, превосходно! Оказалось, редактор и метранпаж газеты Копперюд тоже ничего не знал о краже.

— Это, наверное, какое-то недоразумение,— сказал он.— Если мы и поместили какую-нибудь заметку, то писал ее не я.

Бесподобно!

— Зато в следующем номере мы опубликуем небольшую статью о господине пасторе,— сказал редактор.— Вот корректура, если желаете ознакомиться.

Пастор прочитал гранки. Так, значит, и здесь, в Сегельфоссе, известно, что его прочат в министры!

— Кто это написал? — спросил он.

— В принципе, я не имею права раскрывать,— ответил редактор,— но такому человеку, как вы... адвокат Раш.

Благословенная идея о том, что следовало бы произвести пастора Лассена в министры, подействовала куда эффективнее, чем все остальные соображения, и на Сегельфосс, и на карьериста адвоката Раша. Пастор с деланным безразличием прочел эту удивительную по своей раболепности корректуру, которую держал в руках, но в душе был доволен: «Знаменитое духовное лицо, прибывшее в Сегельфосс,— читал он,— поселилось в гостинице Ларсена».

— Можете добавить, что я еду с научной целью в Финмарк,— сказал он редактору.— Кроме того, здесь указано, что моя библиотека насчитывает от одной до двух тысяч томов, — на самом же деле в ней почти три тысячи, и она постоянно увеличивается. Исправьте, пожалуйста!

Разумеется, все завершилось просто бесподобно. Осталось решить только вопрос с сороками! — подумал он с улыбкой. У него пропала всякая охота продолжать экзекуцию над родственниками, и, вернувшись в гостиницу, он был со всеми необычайно мил.

— Ну, что сказал Хольменгро? — спросил его отец.

— Что сказал? Был, конечно же, вполне любезен.

— Пусть только попробует вести себя иначе! — пригрозил Ларс Мануэльсен.— Уж я тогда спрошу у него, чего ему надо от Даверданы.

Сын не слушал или не хотел ничего слышать, он был тих и кроток. Несколько сегельфосских мальчишек торчали под окнами, прижимаясь носом к стеклу, и Ларс Мануэльсен стал их отгонять.

— Пусть их,— сказал пастор Лассен.— Глядишь, когда-нибудь эти малютки будут вспоминать, что видели меня собственными глазами!

— Ух! — воскликнула мать, потрясенно качая головой.

Дня через два ему передали просьбу приходского священника выступить с проповедью — было бы, конечно, лучше, если б пастор Ланнмарк пришел к нему сам, вместо того чтобы посылать причетника, подумал пастор Лассен — и просьбу навестить больного Пера-Лавочника. Пера-Лавочника? Верно, того самого, подумал он, на которого я уже однажды тщетно пытался повлиять, но это, разумеется, не причина, чтобы отказывать ему сейчас!

Перу-Лавочнику, судя по всему, пришел конец. Он уже не просто был недвижим, но всерьёз начал помирать. Но он не звал смерть, он слышать о ней не хотел, в нем прочно засело закоренелое отвращение к смерти. Он по-прежнему не снимал жилетки, хотя от нее и несло десятилетней затхлостью, он по-прежнему ругался на чем свет стоит, но глаза его уже ничего не выражали, взгляд утратил прежнюю силу и ядовитость, стал стеклянным и пустым. Но помирать? Дошло до того, что он почувствовал в воде привкус земли, хотя на дворе еще зима, — и его точно луч надежды пронзил: скоро, стало быть, весна, он поднимется и всерьез примется за дело! Но смерть бесстрастно добивала его, вконец разрушив здоровье, у него были черные круги под глазами и серое лицо.

— Не позвать тебе священника перед смертью? — спросила жена.

— У-у, козлица! — ответил муж.

Дерзко и неприлично говорить «перед смертью» больному человеку, и Пер-Лавочник наотрез отказался от визита пастора, на которого вообще-то ему страсть как хотелось взглянуть хоть разок. По правде сказать, если кому и удавалось пробудить у Пера-Лавочника строптивость и несговорчивость, так это его жене, которая с каким-то непонятным упорством делала все, чтобы его раздражать, изображая из себя при этом невинную овечку. С другой стороны, не ему ли быть ей благодарным, ведь это она иногда к нему загля-

дывает и как бы ненароком вытирает ему, когда он плачет, нос, поскольку сам он как младенец и руками не владеет, разве только когда выходит из себя. И уж тем более ему следовало бы ценить, что она вообще отваживается его проведывать, потому что это все еще не совсем безопасно. А Пер-Лавочник вместо этого ругается, обзывает ее «козлицей».

— Кому достанется твоя одежа? — продолжает она.— У тебя ведь хороший суконный костюм и куртка, кому они достанутся?

— Тебе! — в бешенстве крикнул Пер-Лавочник.— Носи на здоровье!

Жизнь его еще не покинула, а коль скоро то, что он умирал, в сущности, несправедливо, он всячески старался оттянуть этот момент. Выглядел он до смешного уродливо, эдакое безобразное доисторическое существо, скрюченное, точно только-только вылупившееся из огромного яйца и занятое лишь одним: как бы подняться с постели. С тех пор как у него побывал доктор Муус, его очень занимал вопрос, не повредил ли ему тогда свежий воздух. Бог знает, за время своего безудержного дрейфа вспять, к животному состоянию, он научился получать наслаждение от окружающей его вони, и вот теперь ему захотелось хоть ненадолго открыть дверь. С большим трудом он растворил ее палкой. Полежав так с часок, прислушиваясь к себе, он понял: здоровье не возвращается. А что, если впустить побольше свежего воздуха? В нем проснулся сладострастник, его сластолюбие приняло и вовсе эксцентричные формы: ему вздумалось открыть окно и дверцу печи, чтобы устроить сквозняк. Он встал. И конечно же, упал. Что ж, подумал он, верно, неосмотрительно становиться на обе ноги, ежели одна мертва! И он принимается вскарабкиваться на кровать, попеременно приподнимая то ноги, то плечи, словно камень, который выворачивают ломом, и, взобравшись наконец на постель, подтягивает к себе парализованные конечности, бросив их как попало, не уложив в естественное положение.

Тут бы Перу-Лавочнику и сдаться, но нет, он и не собирается уйти из жизни достойно, он упирается, выкарабкивается из нее задом. Внимательно и пристально вглядывается он в свое тело, прикидывая, как лучше взяться за него, надо что-то сделать, нельзя же продолжать и дальше покорно валяться в постели. Это обреченная на поражение борьба, борьба с высшими силами, ну и что из того? С упрямым рвением возится он в кровати, борясь со смертью, пытаясь подмять ее под себя, одолеть. Схватив мертвую руку

живой, он трясет ее, крича, что еще ей покажет! Потом хватает парализованную ногу и, изо всей силы ударив по ней, сбрасывает ее с кровати. Но смерть — компаньон утомительный, изнуряющий, у Пера-Лавочника больше нет сил, ему ничего не остается, как вновь собрать свои конечности. Где вы прячетесь? — взвыл он, захлебываясь слезами и страхом. И прежде, чем простить им их долгое отсутствие, он, скрежеща зубами, потребовал, чтобы они ожили. Тогда он возьмет их к себе, сказал он.

То была истерика камня.

Наперекор жене он отказался от священника. Но прослышав о приезде Лассена Ларса из дальней усадьбы, сына Ларса Мануэльсена, он загорелся мыслью воззвать к нему о помощи. Ловкий трюк, он таки заполучит священника, но не того, которого предлагала жена, он надул ее, козлицу эту. И когда Лассен пришел, Пер-Лавочник довольно долго вел себя прилично и кротко, заявив, что хочет приготовиться. Пастор говорил красиво, а чтобы эта глубоко страдающая душа поняла его до конца, прибег к лансмолу и в меру своего умения изъяснялся на нем. Все шло как нельзя лучше. Пер-Лавочник оживился, вежливо смеялся, очень забавно слушать такие чудные слова, сказал он. Впрочем, теперь вам надо стать серьезным, потому как он хочет приготовиться, сказал он.

Мысль насчет того, чтобы приготовиться, крепко засела у него в голове, он, видно, связывал ее с улучшением своего состояния, вино и хлеб творят чудеса. Вдруг он выздоровеет! И несколько растерялся, услышав, что пастор не может ему дать в этот раз вина и хлеба, поскольку едет с научной целью в Финмарк.

— Но я побеседую с тобой и приготовлю тебя для причастия,— сказал Лассен,— а приходский пастор причастит тебя трапезе Господней!

Сразу было видно, что Перу-Лавочнику это предложение удовольствия не доставило, ибо в таком случае ему не удастся оставить жену в дураках; зато пастору Лассену явно доставило удовольствие, что его предпочли другому пастору, и потому он решил не пожалеть усилий для этой души.

— Что у тебя на сердце, мой друг? — спросил Лассен.

— Ничего. Я маленько почитал книгу псалмов. Не хочу, чтоб ее у меня увидели, но она тут, в постели. И иногда думаю о Боге. Но я не молюсь.

— Вот как, не молишься?

— Нет, пока нет. Это плохо?

Значит, Пер-Лавочник не знает, достаточно ли осмотрительно он обращается с Богом. Он всю жизнь продавал оконное стекло, бокалы и кофейные чашки, но Бог-то, может, материя более хрупкая.

— Будь у меня сейчас под рукой книги из моей библиотеки в Христиании, я бы дал тебе почитать руководство к молитве,— сказал пастор.

— У вас небось много книг?

— О, тысячи, целая библиотека, с пола до потолка. Одну бы я тебе одолжил.

Пер-Лавочник принялся перечислять немногие свои добрые дела: он хотел закрыть танцевальный зал, собирался забить его доверху спичками от Нечистого. Вот бы тогда Нечистому жарко стало!

Пастор улыбнулся.

— Это тоже плохо?

— Да ведь это всего лишь твоя прихоть, наивная выдумка, милейший Пер. В ней нет ничего ни хорошего, ни плохого.

Тут Перу-Лавочнику вспомнились лебеди: как дико они кричали, как пугали его своим криком, ужасные птицы. А он ни разу их не проклял.

Пастор подумал было, не следует ли как-то разумно использовать страх больного, но отказался от этой мысли.

— Лебеди, белоснежные создания Божьи! — сказал он.— Брурсон сочинил про них свои замечательные лебединые песни! — Впрочем, получается какая-то бессмыслица, ни тебе исповеди, ни покаяния, ни раскаяния. Умирающий, который ставит себе в заслугу то, что не проклинал лебедей! Пастор Лассен взглянул на часы и сказал: — Что, собственно, у тебя на сердце, Пер, ведь не зря же ты посылал за мной?

— Я хотел приготовиться.

Пастор покачал головой:

— Я понял, что как следует приготовить тебя к причастию сейчас не в моих силах, раз ты находишься в таком состоянии духа. Сначала ты должен покаяться в своих великих грехах...

— Ну, особо *великих* грехов... — бесхитростно начал Пер.

— Ты удручаешь меня, ты пугаешь меня,— сказал пастор,— я по-настоящему боюсь за тебя. Как ты полагаешь, куда ты попадешь после смерти? Что ты собираешься делать?

— Ясное дело,— пробормотал Пер-Лавочник про себя. Лежит он тут в кровати, а как вести себя в опасных ситуациях, ведь не продумал.— А вот и нет,— сказал он чуть погодя.

— Вот видишь! — сказал Лассен.— Ты в нерешительности, ты растерян, ты даже самому себе не признаешься, что ты великий грешник.

Вот и пришло время взорвать мину, подумал, верно, Пер-Лавочник. Что такого особенного было у него на сердце? Об этом он до сего мгновенья молчал: ему бы только выздороветь, подняться на ноги и забрать лавку у Теодора. Ничего другого ему не надо. Лавка принадлежит ему.

— Я думал, вы, может, сжалитесь надо мной и приготовите меня,— сказал он.— А ну как поможет,— сказал он.— Год за годом я лежу здесь, мучаюсь, с руками и ногами все хуже и хуже. Господь наказывает меня своим тяжким крестом без всякой меры, прежде чем исцелить, он превратит меня в развалину.

— Остановись! Ты богохульствуешь, Пер! Господь наказывает тебя в меру твоих грехов, не сомневайся!

— Вот как,— сказал Пер-Лавочник.— Но вы же не знаете, что здесь произошло,— сказал он.— Я теперь бездомный; в собственном доме у меня нет крыши над головой. Теодор отнял. Красиво, а? Говорю как есть: отца с матерью к чужим людям выбросил, а я не могу встать на ноги и урядить дело! — Пер вдруг становится разговорчивым, в глазах мелькает прежняя жесткость: — Спустились бы хоть в лавку да выгнали его, а? — просит он.

— Нет. Это забота мирских властей. Нет, нет, и не проси!

— Я же прошу ради него самого, ведь он мой сын, мое дитя. И ежели бы вы выставили его за дверь, он бы хоть задумался, цыпленок бессердечный...

Пастор молчит. Он сразу же признал в Пере-Лавочнике мужика-крестьянина, породу, к которой недавно принадлежал и сам. Так вот *почему* умирающий послал за ним! Он молчит. Всего каких-то несколько лет назад и ему самому не чуждо было рассуждать так же, слава богу, теперь он стал другим!

— И мало того, что он нас, родителей, бросает в нужде да в горе, так он еще и у сестер своих отнимает их долю, оставляет их без гроша за душой,— продолжает Пер.— Позволил властям забрать у нас право на продажу спиртного, все идет прахом, а мать его — чистая козлица, за бочками с парафином и сиропом, что в подвале стоят, совсем не следит. К кому мне обратиться? Теодор построил новую лавку стенка к стенке с моей, а нынче, я слыхал, стенку снес и сделал одну большую лавку. Меня там не было!

— А адвокат Раш не может тебе помочь? Не мое дело в это вмешиваться,— говорит наконец пастор, поднимаясь.

Сколько кровожадной злобы, какая неукротимая жажда мести у парализованного человека — воистину неслыханно. Хорошо, что он, Лассен, не принадлежит уже к этому слою общества, где царят грех и грубость!

— Прощай,— только и сказал он.— Покайся! — сказал он.

Пер-Лавочник поглядел на него искоса. Эх, вернуть бы ему молодость и подвижность! Теперь же он побежден.

— Понятно,— сказал он,— значит, сговорились с Теодором, чтоб меня не готовить, чтоб я больше не встал.

— Я не сговаривался с Теодором,— ответил пастор.— Мой тебе совет, совет духовника, покайся, Пер. Ты что думал? Что я отпущу тебе грехи от имени самого Господа при том состоянии духа, в каком ты находишься? Никогда.

— Ясное дело,— сказал Пер-Лавочник. Не осталось у него крепких зубов, чтобы вцепиться в ляжку Лассену.

Вернувшись в гостиницу, пастор Лассен объявил, что визит к больному был малоприятен. Вместо возвышенных минут после исповеди и покаяния, вместо ощущения облегчения и покоя, божественного покоя в душе у паралитика...

В воскресенье он читал в переполненной церкви проповедь, в облачении и с орденом. Проповедь из ряда вон выходящая. Несмотря на то, что он большой ученый и крупный специалист в духовных вопросах, он этим не кичится: церковь — Христова невеста, а он ее ничтожный слуга. И он сказал следующее:

— То, что вы слышите, дорогие друзья, лишь мой голос; представьте же себе глас Божий, раздающийся из неопалимой купины!

В целом же это была жизнерадостная проповедь в народном духе, местами на лансмоле, но в остальном всем понятная. В церкви присутствовала вся пасторская усадьба за исключением пастора. Адвокат Раш тоже присутствовал.

Пастор Лассен так и сыпал изречениями и сентенциями, то ли сам придумывал их на ходу, то ли почерпнул из журнала для семейного чтения. Шесть из них гласили следующее:

«Полагаясь на других, человек бывает слабее, чем если бы он полагался на себя; но до́лжно полагаться на Бога».

«Если на телескопе пятна, то и ясное небо будет в тучах».

«Делай добро ради самого добра, не думая о том, что из этого воспоследует».

«Доброта — утес в море, добродушие — зыбучая песчаная дюна».

«Ничто не растопит каменное сердце, но Божий жернов его перемелет».

«Талант без самодисциплины — что дворец без крыши».

После проповеди фру Ланнмарк с дочерьми пришла в гостиницу выразить пастору свою благодарность. Бесподобная проповедь! Лассен спросил про приходского пастора.

— Он был занят,— ответила жена,— но просил кланяться.

— У папы столько разных дел,— сказала, прыская, одна из барышень Ланнмарк.

— Он изучал чертежи молотилки,— сказала, прыская, ее сестра.

Юным дамам разрешили полюбоваться рыцарским крестом ордена святого Улофа и подержать его в руках. Супруга пастора и Лассен единодушно пришли к выводу, что жить надо только на юге.

— Возвращайтесь в Христианию! — сказал он.— Вы непременно должны заглянуть ко мне, посмотреть мою библиотеку и древности.

7

Итак, пастор Лассен уехал, продолжив свой путь на север, дабы изучать лестадианизм на месте. Он от души радовался возможности покинуть родные пенаты, этот Сегельфосс в Нурланне, понимая, что ему не место среди таких людей, как Ларс Мануэльсен, Юлиус Ларсен и Пер-Лавочник, и решив никогда больше туда не возвращаться.

— Прощай, мать! — сказал он.— Не надо, не плачь, мне в Христиании лучше!

Юлиус, ни гроша не получивший от брата за проживание, объявил, что братец вдобавок прихватил из его гостиницы пару книжек, с которыми он не расстался бы и за две кроны за каждую.

— Я не стану подавать на него в суд,— сказал Юлиус,— но уважать я его не уважаю, ни на вот столечко!

Ох, не понимает Юлиус своего великого брата, да и сестра Давердана в этом отношении не намного лучше.

— Значит, Ларс про меня не спрашивал? — сказала она.— И не упомянул? Что ж, скатертью дорожка! — сказала Давердана. Она ведь замужем, у нее собственное хозяйство, она шьет мешки для мукомольни, имея от того дополнительный заработок; к тому же она рыжеволосая и многие ее домогаются.

Но вот наступил день, когда нужда в мешках отпала. Мукомольня встала — ни откладывать, ни оттягивать этого больше было нельзя, и избежать тоже было нельзя, никак.

Как-то фрекен Мариана догнала отца на дороге, на ней была красная пелерина, отделанная мехом.

— Я пошла за тобой, хочу показаться тебе,— сказала она.

Отец улыбается.

— Какая красивая на тебе шляпка!

— Тебе нравится? Дорогая.

— Да уж догадываюсь. Зато большая и красивая.

— Сегодня мукомольня не работает? — спрашивает она.

— Временно,— отвечает отец,— Бертель из Сагвики и Уле Юхан понадобились мне на другой работе.

— Я вижу, они роют яму наверху, это будет колодец или погреб?

— Алмазная пещера,— загадочно, как бывало не раз, ответил отец.— Мариана, малышка, возвращайся-ка лучше домой, нечего тебе делать у этой ямы.

— Помнишь, когда мы с Феликсом были маленькие, ты нас как раз в этом месте переносил на руках. Здесь всегда было топко.

— Помню. Мне кажется, будто это было совсем недавно. А скоро вы с Феликсом будете меня переносить.

— Время идет! — сказала Мариана.

— Время идет, мой маленький мудрец! — улыбнулся отец.

Подходит Мартин-Работник, он снова начал охотиться, через плечо у него переброшены птицы.

— Эти птицы для господина заводчика,— говорит он, кланяясь.

— Виллатс Хольмсен велел?

— Да.

— Поблагодари его, когда будешь писать,— сказала Мариана.

И тут Мартин-Работник спрашивает — он ведь давно знаком с господами и может себе такое позволить — он спрашивает:

— А что, разве Ларса Мануэльсена не посадят за воровство?

Мариана молчит, а господин Хольменгро отвечает:

— Как бы, по-твоему, поступил лейтенант?

— Ну,— вынужден ответить Мартин-Работник,— лейтенант бы отпустил вора, чтобы рук не марать.

— Вот видишь! — говорит господин Хольменгро.

Мариана возвращалась домой в большой задумчивости. У нее не хватило хитрости заставить отца открыться ей, хотя она и пыталась. Не прошел и трюк со шляпой, отец не высказал никакого недовольства, ничем себя не выдал. Ах, шляпа-то вовсе не новая и не дорогая, ей уже два года, Мариана сама ее переделала. Она прибегла к этой уловке, чтобы вызвать у отца хотя бы упрек, но увы. Самой-то ей было совсем не до шляп.

Дома ее поджидал ленсман из Уры, мимоходом поинтересовавшийся, где отец.

— Что случилось, ленсман?

— Ничего, фрекен Мариана, решительно ничего. Просто хотел перемолвиться с ним парой слов, раз я уж оказался в этих краях...

А потом в Сегельфоссе появились странные гости, городские господа, но не коммивояжеры, они остановились в гостинице и пригласили туда на разговор господина Хольменгро. Были там и адвокат Раш, все такой же толстый, и ленсман из Уры, все время порывавшийся уйти. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Мукомольня по-прежнему не работала, господин Хольменгро ссылался на то, что оба мастера потребовались ему для выполнения другой срочной работы. А Бертель из Сагвики и Уле Юхан копали в это время таинственную яму, сооружали то ли погреб, то ли пещеру, жаропрочную, надежно защищенную от взломов и обвалов. Стены внутри выложили толстой каменной кладкой.

— Как думаешь, что он собирается тут прятать? — спросил любопытный Уле Юхан.— А то ведь болтают, что ему уже нечего прятать.

— Кто болтает?

— Слыхал. В лавке говорили.

Бертель из Сагвики всегда принимает сторону хозяина, всегда так поступал — эта редкостная слабость у него в крови, он говорит:

— Небось он может спрятать побольше, чем в лавке думают.

— Болтают, важные господа, что с юга приехали, описывают имущество Хольменгро, все до последней крошки,— изрекает Уле Юхан.

— Это твоя мать родила такого вот описывателя,— отвечает Бертель своей обычной присказкой.

Да, в лавке учуяли неладное, у юного Теодора есть нюх, чутье, и он больше не считает нужным ограждать семейство

Хольменгро от подозрений. Фрекен Мариана всегда проявляла к нему такое бессердечие, такое презрение, может, хоть сейчас она снизойдет и вспомнит о его существовании.

Может быть. Но Теодору не следовало на это рассчитывать. Мариана оставалась такой, какой была всегда, по-прежнему расхаживала в красной пелерине и в шляпе. А последние события?

Похоже, они не явились для нее неожиданностью, возможно, она догадывалась о состоянии дел своего отца, она ведь хитрая и смышленая, не исключено, тайком читала письма и телеграммы. Иначе зачем бы ей летом торопить развитие своих отношений с Виллатсом Хольмсеном, если не для того, чтобы опередить крах и катастрофу?

Одно только, казалось, смущало фрекен Мариану: Бордсен, начальник телеграфа, который как раз в эти дни лишился должности и потому имел еще больше времени бродить по окрестностям, Бордсен, который частенько попадался им с отцом на пути, раскланивался с заводчиком словно с королем. Как это понимать? Если кто и знал о положении ее отца и был знаком с телеграммами от Феликса из Мексики и ответами ему, так это Бордсен. Но, как и прежде, он отвешивал заводчику глубокие и почтительные поклоны. Неужели отец не разорен? — размышляла Мариана. Или же Бордсен считает отца достойным уважения и после его падения?

Она снова обратилась к своему старому другу ленсману из Уры.

— Почему вы сказали, что ничего не случилось, когда случилось так много?

— В то время я об этом еще не знал,— ответил ленсман.— Я получил телеграмму, но не понял ее.

Вот ей и дали исчерпывающий ответ.

Стало быть, разорен дотла, с ним все кончено, игрок поставил на кон последний грош и проиграл. И это господин Хольменгро, который, приехав в Сегельфосс, вершил свою собственную судьбу и судьбы всех остальных. Он был посланцем из другого мира, из бездны, он был королем, он превращал жизнь в ту самую загадку, каковой она и является.

Он не роптал, ни с кем не разговаривал. В прежние времена, понеся убытки или потерпев неудачу, он, бывало, напивался в стельку и разражался жалобами, сейчас он вел себя куда достойнее, он рыл непонятный погреб, который чем-то намерен заполнить, он приветливо улыбался, словно стоит ему лечь, проспать четверо суток подряд, и он

проснется в богатстве и роскоши. Удивительный человек. Но адвокат Раш с недоумением отметил, что уже в первую встречу с приезжими городскими господами заводчик незаметно снял с пальца таинственный масонский перстень и спрятал его в карман. Почему? У одного из приезжих тоже был на пальце масонский перстень, но он его не прятал. Хотел ли заводчик теперь, после падения, скрыть свой высокий ранг? Или же он вовсе и не масон? Адвоката Раша начали одолевать сомнения.

Да, адвоката Раша начали одолевать сомнения и по поводу одной телеграммы из Пуэрто-Рико, от некоего Феликса, касательно продажи на громадную сумму некоего корабля. Неужели тоже обман? Но в сущности, думал, вероятно, адвокат Раш, другого и нельзя ожидать от человека его происхождения и при отсутствии образования.

Но в целом-то? Судьба господина Хольменгро? И каким образом произошло его падение? Об этом ведал только он сам, он один. Возможно, он никогда и не обладал очень уж большими богатствами, но он вернулся домой и блистал, имея то, что имел. Это было и плохо, и хорошо. И он блистал не скупясь, так ярко, что ему в конце концов пришлось заложить всю свою собственность, сперва мукомольню, а потом пристань, набережную, дом, да, он закладывал, перезакладывал, заложил все, использовал все, вплоть до машин, вплоть до орудий. Его падение продолжалось уже много лет, но ему как-то удавалось избежать краха, прекрасно сделано, превосходно, гениально. Конечно, ему бы в свое время приостановить свою деятельность, но тогда бы на него немедленно накинулись кредиторы: наверное, он спас бы значительную часть состояния, но сказке, приключению пришел бы конец. Изо дня в день управлять мукомольней, рабочими — конечно же, это не для него. Он не любил однообразия, не находил удовлетворения в работе; не имея возможности блистать, он утрачивал силу и власть. И он предпочел блистать.

И вот такой-то человек осел в Сегельфоссе, бессмысленно транжиря здесь годы, пока не подступила старость? Почему бы и нет. Человек сам творит свою судьбу и судьбу других людей. Человек с Кордильер, видно, решил, что на это-то у него средств хватит, и, обуздав свои прихоти, отправился по белу свету. Кстати, Сегельфосс вовсе не был таким уж захудалым местечком, когда он здесь начинал, в поместье жили господа, рядом с которыми быть богатым доставляло радость, он не жалеет ни об одной сделке, заключенной с ни-

ми, ни об одном подарке, преподнесенном им, они были аристократы, дворяне, лейтенант и его жена. С их смертью для господина Хольменгро все в общем-то кончилось, он иссяк, блистать в толпе — в этом нет ничего сказочного, этим пусть занимается адвокат Раш в своем красном клетчатом жилете. Но у господина Хольменгро осталась мукомольня, моловшая зерно, он обязан был продолжать молоть, мукомольня сделалась его господином, превратила его в развалину, он молол, пока не постарел, пока спина его не согнулась, а глаза не стали водянисто-голубыми. Это была судьба. К тому же ему пришлось бороться за свое положение владельца мукомольни, пришлось прибегать к всевозможным уловкам и трюкам, таинственным перстням, таинственным телеграммам, и все ради того, чтобы завод не остановился и не кончилось его рабство. Чем еще он занимался? Ничем. Его похождения, его выходки, когда он напивался и охотился за девицами, все это было проявлением истинной натуры, ведь он же матрос. Это не было его делом, его делом было молоть муку.

А как тонко, как деликатно работал мозг этого человека, намеками, почти незаметно. Горное пастбище для двух тысяч овец? Звучит грубо, наводит на мысли о всемогуществе, но это был продуманный до мелочей план, ибо господин Хольменгро вознамерился купить эти просторы лишь потому, что отлично знал — их нельзя было купить! А все ради того, чтобы подтолкнуть отношения малышки Марианы и Виллатса Хольмсена. Потом, после краха, Виллатс Хольмсен поймет, что обе крупные спекуляции в Тихом океане окончились полнейшей неудачей.

Завод стоял, а время шло, Бертель из Сагвики и Уле Юхан копали яму и выкладывали ее кирпичом. Очевидно, об этом телеграфировали в газеты, о затее болтали все, о ней знал весь мир. Фрекен Мариана прошлой почтой получила еще одно пылкое послание от Антона Кольдевина, а сегодня — телеграмму от него же: последняя операция с «Жар-птицей» сорвалась, и он больше не осмеливается настаивать на своем почтительнейшем предложении! Этот практичный человек отступил в сторону, и негоже ставить ему это в вину, в индейских глазах Марианы, когда она читала телеграмму, мелькнуло подобие улыбки. Зато, читая письмо от Теодора-Лавочника, она не улыбалась, оно было чуть напыщенное, но наивное и не злое: «Высокоуважаемая фрекен! Если Вы пожелаете принять меня для разговора касательно дел Вашего отца, я к Вашим услугам. В ожидании Вашего бла-

гоприятного ответа с нижайшим почтением Теодор Енсен». — «Дорогой Теодор. Не в Ваших силах воспрепятствовать неизбежному,— ответила она, — но спасибо за Ваше любезное письмо! Ваша Мариана Хольменгро».

И вот вышел номер «Сегельфосс Тидене» с передовицей, посвященной падению господина Хольменгро, со ссылками на «надежные источники», написанной твердой и уверенной рукой. «Мы давно это подозревали, но не хотели обнародовать,— писала газета,— наконец-то меч Немезиды поразил предприятие, которое было мыльным пузырем и держалось на плаву лишь с помощью беспрерывного повышения цен на муку!» Статья была очень длинная, шедевр образованности и стиля, ни у кого не вызывало сомнений, что так обращаться со словом умеет лишь один-единственный человек в Сегельфоссе. «Мы с ужасом думаем о рабочих, оставшихся без хлеба насущного в разгар зимы,— писал он,— и не теряем надежды, что производство не остановится, даже если оно будет терпеть временные убытки. Нам стало известно, что круги, которым дорого благоденствие Сегельфосса, обратились к нынешнему владельцу завода с просьбой продолжать производство, а если новые владельцы не пожелают этого осознать, их, безусловно, к этому принудят. Рабочих много, и требования их справедливы».

Автором другой газетной статьи был, несомненно, сам редактор и метранпаж Коппернод, она отнюдь не дышала такой же образованностью, но вполне годилась для Сегельфосса и его окрестностей: «Что это значит? — писал он.— Помня обычай, введенный заводчиком Хольменгро на своем юбилее, рабочие несколько лет гнули спину, готовясь к новому юбилею, а теперь, выходит, он не состоится? В прошлый раз заводчик передал рабочим пять тысяч крон, а нынче, почти накануне следующего юбилея, он ушел от дел. Создается впечатление, что это сделано им не без умысла, а обманутыми вновь оказались рабочие. Примечайте, наемные рабы!»

Что ж, наемные рабы приметили и это, и многое другое, теперь у них были развязаны руки, развязан язык, они обрели свободу. Все нападали на короля. «Сегельфосс Тидене» не нашла для него ни единого слова сожаления, рабочие осыпали его проклятиями. Зачем он, собственно, сюда явился? Якобы из-за слабого здоровья, чтобы дышать сосновым воздухом. Как будто в Мексике нет хвойных лесов! Как будто во всем мире только в Сегельфоссе и есть хвойные леса! Чего ему здесь понадобилось! Пока он был в состоянии удовлетворять слепой инстинкт насыщения, столь сильно развитый у

пролетария, пока давал народу муку, предпочтительно пшеничную, задешево, предпочтительно даром, все шло хорошо. Недовольство началось, когда он стал брать деньги, когда он стал требовать работу в обмен на заработную плату. Они не винили его в том, что он развращал местечко своими авантюрами, своей неумеренностью — народная пасть разевалась все шире и шире. Король ввел в обращение наличность, деньги все больше падали в цене, у всех в кармане звенели деньги, король раздавал их щедрой рукой — да здравствует король! Но моральные понятия извратились, в дома проник иной дух, король принес изобилие, которое не каждому оказалось по плечу и по уму.

И вот всему этому пришел конец. Что бы это значило? Уж не то ли, что отныне нельзя будет покупать консервы, часовые цепочки и сигареты? Быть рабочим становится с каждым днем все труднее, капиталисты растранжиривают капиталы и оставляют рабочих без хлеба: мы с ужасом думаем о зиме! Многие горько стенали: они купили лошадей, чтобы возить грузы для мукомольни, а теперь лошади оказались не нужны. Что им делать? От серьезной работы они отвыкли. От одной мысли, что им придется взяться за новое дело, их бросало в дрожь, лучше уж бить баклуши и болтаться в лавке, обсуждая проблемы лансмола и шансы адвоката Раша на выборах.

Не хочет ли Теодор купить лошадей? Почему бы и нет, в обмен на товары. Теодор покупал и продавал все, лошади перешли в его собственность, пароходом он отправил одну туда, другую сюда. Теодор — вот кто вышел на первый план, стал всеобщим избавителем, обитателей лавки нужда не коснулась, лошадь проедают не сразу. А к Новому году будут Лофотенские острова, а к лету что-нибудь еще придумаем. Но чтоб этого Хольменгро черти разодрали!

— Не смей так говорить! — внезапно заявляет Теодор.

— Ишь ты!

— Да. Потому что это он, Хольменгро, сделал Сегельфосс городом, а не ты и не адвокат!

Смотрите-ка, Теодор-Лавочник в эти последние дни совершил крутой разворот и переметнулся на сторону врага. Он получил письмо от фрекен Хольменгро, сказал он, после чего все увидел в другом свете. Ах, это письмо, эти две строчки: «Дорогой Теодор, Ваша Мариана Хольменгро»; большего пареньку Теодору и не требовалось, чтобы совершить разворот. О женитьбе на ней он и не помышлял, чересчур уж высоко она стоит; но его уже не отвергают с

презрением, его честь восстановлена: она написала ему. Он перечитывал письмо сотни раз, уединялся с ним, осыпал поцелуями, заводил для него граммофон, произносил прощальные речи и плакал. Вот какой парень Теодор; какой есть, такой есть, просто замечательный парень. Разумеется, он бахвалился письмом, дурак он, что ли, чтобы не воспользоваться такой возможностью, Теодор даже дал понять, что одному ему известна полная правда о том, что произошло с господином Хольменгро.

— Эта тайна не твоего ума дело,— сказал он Ларсу Мануэльсену.

— А мне и нет до нее дела.

— Погреб его скоро будет готов, глядишь, и сокровища в нем появятся!

— Тогда пусть не забудет Давердане чуток отвалить за все ее обиды,— сказал Ларс Мануэльсен, блюдя интересы семьи.

Была ли хоть крупица истины в слухах о том, что господин Хольменгро намеревается зарыть свои сокровища? Слухам не очень-то верили, да и кому дано все знать о короле? Он по-прежнему живет, как и жил, ни с кем не разговаривает и никому не жалуется: мукомольня бездействует, а погреб близок к завершению — жаропрочный и надежный. И вот он готов.

Что дальше?

Почти ежедневно к господину Хольменгро приходит ленсман из Уры, он в доме на правах друга: возможно, в качестве доверенного лица противной стороны он еще и распоряжается имуществом. Он вносит в дом тепло и уют, и они с фрекен Марианой, как и обычно, мило шутят, несмотря на переживаемые потрясения. Старый ленсман уже никому ничего не должен — ни собственной кассе, ни кредиторам, и, кстати, он для многих доверенное лицо, нынче вот получил телеграмму от Виллатса Хольмсена.

— Я получил телеграмму, что Виллатс Хольмсен приезжает,— словно бы ненароком говорит ленсман.

— Кто приезжает? — спрашивает Мариана. Но какая плутовка: сидит в кресле и продолжает как ни в чем не бывало: — Послушайте, ленсман, если мы и правда совсем обеднели, меня же никто не захочет взять замуж. Разве что пастор Лассен? Да и Теодор-Лавочник, наверно, тоже не откажется! Ну, а откажется, так Лассен возьмет, как по-вашему?

— Он приезжает,— говорит ленсман,— молодой Виллатс уже в дороге.

— Вот как. Да, да, его лес начали вывозить. Так вы получили телеграмму от Виллатса?

— Да. И ответил, что лес вывозят,— усмехнулся ленсман.

— Можно мне посмотреть телеграмму?

И верно, Виллатс Хольмсен дал о себе знать, срочная телеграмма с красной наклейкой: «Срочно!» Что за срочность такая? Да остановить Мариану, если она собралась уезжать, просить ее немедленно приехать на юг и взять его таким, каков он есть, несмотря на то, что опера еще не совсем готова. «Дорогой друг Марианы, разузнайте поделикатнее, могу ли я надеяться, но телеграмму ей не показывайте!» Длинная, путаная телеграмма, выразительная и бессмысленная, влюбленная: он не появляется сейчас не из рыцарских побуждений и добропорядочности — хотя эти-то качества как раз предложил бы ей с удовольствием! — а из страха, что она исчезнет и он никогда ее больше не увидит. «Я сейчас направляюсь на север, но не для того, чтобы быть ближе к ней, а потому, что две мои здешние комнаты необходимо к моему возвращению привести в порядок. Отвечать в Тронхейм».

— Что мне ответить ему? — спросил ленсман.

— Вы вообще не имели права показывать мне такую телеграмму,— ответила она, залившись пунцовым румянцем.— Смейтесь, смейтесь, а я ему все расскажу!

— Значит, вы повидаетесь с ним? — спросил он очень серьезно.

Она подскочила к зеркалу и обеими руками пригладила волосы.

— Повидаюсь ли я с ним? Дайте-ка мне еще раз взглянуть, разве там не написано, что он будет меня ждать в Тронхейме?

— Я не имею права показывать вам такую телеграмму,— сказал ленсман.

— Вы спросили, что вам ответить, я отвечу сама,— сказала Мариана.

Ленсман покачал головой:

— Вы не знаете, сколько леса вывезено.

— Как вы думаете, где сейчас мой милый друг папа? Я хотела... кое-что...

Обернувшись в дверях, она еще раз спросила ленсмана, получил ли он эту телеграмму.

— Нет, я ее купил,— ответил он, и оба рассмеялись.

К слову говоря — хотя Мариана, ошеломленная и счастливая, и собралась немедленно ехать на юг, почтовый

пароход ожидался только через два дня. За это время она отправила и получила несколько телеграмм и успела упаковать чемоданы. Отец с молчаливой радостью помогал ей, должно быть, довольный, что алмазная пещера готова.

И тут к пристани подошел громадный пароход. Господин Хольменгро вывесил флаг, ведь пароход причалил к его пристани, прибыл к нему. Люди вконец растерялись: неужто новый пароход с зерном? Разве король не пал? Господин Хольменгро лишь кивал, он, мол, давно ждал прибытия парохода, и вот он здесь. Значит, чудо? Не для того же пришел пароход, чтобы разгрузить зерно банкроту, как и не для того, чтобы погрузить на борт жаропрочный погреб и уплыть с ним.

Господин Хольменгро и фрекен Хольменгро поднялись на борт и пробыли там долго, и все то время, пока гости находились на пароходе, в небе развевался флаг, а на берег они сошли в сопровождении капитана. Высокий, желтолицый, сразу видно, чужеземец, он держал фрекен Мариану под руку, говорил по-иностранному, вставляя иногда какое-нибудь словечко на сегельфосском наречии, чем вызывал всеобщий смех. Мариана и господин Хольменгро звали его Феликсом.

Итак, молодой Феликс вернулся в Сегельфосс инкогнито, тайный визит на несколько часов. Вот он. Все поражает его, он приехал домой, а оказался в городе, он забыл людей, помня лишь некоторые имена. Юлиус? — спрашивал он, Готтфред? — спрашивал он, Виллатс, Паулина, Пер-Лавочник? — спрашивал он. Кто хозяин новой большой лавки? Теодор? Не помню!

Теперь и господин Хольменгро принялся упаковывать чемоданы и сундуки с одеждой, а Бертель из Сагвики с Уле Юханом сносили их на пароход: фрекен Хольменгро предстояло встретиться со своим женихом в Тронхейме. И отец пожелал ее сопровождать.

— Как думаешь, он вернется? — говорит Уле Юхан.

— Вернется небось. Он еще не сказал, что делать с погребом,— отвечает Бертель.

— Народ болтает, что он не вернется.

— Кто это болтает?

— Да адвокат вроде говорил.

Они продолжали таскать чемоданы и сундуки: каждый раз, поднимаясь на борт, Уле Юхан задавал команде множество вопросов, а в ответ слышал лишь неразборчивый гул. Капитан же был на берегу — то в доме у господина Хольменгро, то прогуливался по окрестностям. Его встречали то

тут, то там, он со всеми заговаривал, хохотал, иногда вставлял какое-нибудь сегельфосское словечко, а вообще-то изо рта у него вылетало какое-то чудное карканье. Должно быть, на лансмоле говорил. Редактор Коппернюд, когда его спросили, сказал, что это, должно быть, лансмол.

С тех пор как в Сегельфоссе побывал пастор Лассен, лансмол стал здесь необыкновенно популярен, ведь недаром за лансмол борется такой знаменитый ученый, выдающийся церковный деятель, даже Божье слово проповедует на лансмоле.

Все рабочие господина Хольменгро, нынче оставшиеся безработными, начали говорить на лансмоле, изумляя друг друга своими успехами, и вот из чужих, заморских краев приезжает важный капитан и тоже говорит на лансмоле. Капитан и в лавку заглянул, накупил кое-каких мелочей, при этом все так же невероятно каркая; но все понимали, что он говорит, да, ошибки быть не может, это их родной язык, пробудивший в сердце память о далеком прошлом древней Норвегии. Собравшиеся в лавке бездельники, энергично кивая капитану головой, тут же стали ему подражать. Он многому их обучил за то короткое время, что пробыл в Сегельфоссе. Жалко только, что ему надо уезжать.

Господин Хольменгро с дочерью и чужеземным капитаном взошли на борт утром следующего дня. Слух об этом разнесся мгновенно, и лишившиеся хлеба рабочие наверняка подумали: «Уж не собирается ли сбежать? Давайте-ка поглядим!» Пристань кишела народом, фру Иргенс, провожая хозяев, лила слезы, хоть ей и вручили до того пачку денег и хорошо обеспечили. Видно, плакала потому, что потеряла замечательных хозяев. Начальник пристани и его помощник в праздничных костюмах почтительно держались сзади. Бертель из Сагвики и Уле Юхан поклонились заводчику, как обычно, и Бертель спросил:

— За погребом-то присматривать, покамест вас нет?

Господин Хольменгро задумался на секунду, а потом ответил:

— За погребом? Нет, раз пароход пришел, погреб мне больше не нужен.

Он протянул Бертелю толстый конверт и Уле Юхану дал такой же и попросил не открывать их до тех пор, пока пароход не выйдет в море. И поблагодарил обоих за верную службу.

— Вы обратно-то приедете? — спросил Уле Юхан.

— Когда моя дочь станет хозяйкой поместья, я, пожалуй, приеду ее навестить,— ответил господин Хольменгро.

Толпившиеся на пристани люди кинулись с расспросами: что он ответил, выходит, не сбегает, его дочь вернется, он сам тоже вернется! И тогда лишившиеся хлеба рабочие перестали кричать, перестали свистеть в два пальца, не такие уж они были отпетые, пособили морякам отдать швартовы, с грустью глядя на своего бывшего хозяина. Вон он стоит на палубе, строгим и суровым работодателем он никогда не был — счастливого пути! Не такие уж они и отпетые. Пусть только не вздумает послать на берег тысячу крон — станут ее делить между собой, сразу же выяснится, что этого слишком мало, начнут ворчать, почему не послал две тысячи, ясно, ведь деньги заработаны их потом. Ибо они наделены инстинктами пролетариев, в отличие от животных им, сколько ни дай, все мало, они широко разевают пасти, требуя все больше и больше.

Теодор-Лавочник тоже слышал ответ господина Хольменгро, и его будто током ударило. Хозяйка поместья, ну что ж, для него это не новость, не неожиданность. Что толку иметь фирму и быть первым в своем деле, судьбу не переспоришь. Вон она стоит, прощай, будь счастлива!

Тут в толпу врезался, словно сорвавшийся с привязи конь, Уле Юхан, ненадолго отлучившийся с пристани. Одолеваемый любопытством, он, конечно же, не удержался: отошел в сторонку и открыл конверт. Подскочив к Бертелю, он крикнул:

— Там вовсе не аттестат, как ты думал, а деньги. Посмотри свой!

— Когда он уедет,— ответил Бертель.

Неторопливо подошел Бордсен, в легкой одежонке, замерзший, сильно сдавший после полученной в грудь раны. Странный Бордсен, невозможный Бордсен, снятый с должности начальника телеграфа и вместо этого работающий простым телеграфистом под началом малыша Готтфреда, такой же величественный, с теми же покачивающимися плечами, как и прежде, ни раскаяния в нем, ни ожесточения. Он отвешивает поклон господам на палубе, опуская шляпу чуть ли не до земли, никто не умеет отвешивать поклоны старой шляпой так, как Бордсен. И господа отвечают ему столь же почтительно, господин Хольменгро благодарит начальника телеграфа за оказанные им услуги; Бордсен еще раз опускает шляпу и, покачиваясь, удаляется.

Господин Хольменгро подзывает Теодора. Он подбадривает юного купца, желает ему и дальше оставаться таким же ловким и смекалистым; кланяйся матери и отцу! Мариана кивает ему. В ту же минуту пароход отчаливает от пристани, и в ту же минуту Теодора охватывает необычайное волнение. Громадный пароход, все дальше уходящий в море, последний кивок Марианы, разлука навсегда — его охватывает необъяснимое волнение, у него перехватывает дыхание.

— Ваш отец преставился,— раздается чей-то голос рядом. Это Юлиус.

Теодор спускается на землю:

— Что ты сказал?

— Ваш отец. Помер. Я только что из лавки.

— Отец помер?

— Да.

Теодор мгновенно возвращается в свой собственный мир, он уже не смотрит на пароход, уже не чувствует необъяснимого душевного волнения, он спешит домой и зовет мать.

— Да, отец твой преставился,— говорит она сквозь слезы.— Он такой несчастный нынче утром был, ни словечка не сказал. Тебе плохо, Пер? — спросила я, а он не ответил. А теперь вот помер.

— Так, так,— сказал Теодор.

Он был не совсем готов к этой внезапной смерти, хотя она и не была преждевременной, наконец-то Господь оказал отцу эту услугу. Мысли у Теодора понеслись вскачь, гроб, похороны, крест на могилу. Спустившись в лавку, он выбрал полоску черной материи на шляпу. А черную повязку на рукав разве не нужно? Вот только на какую руку, кто ему скажет? Может, на обе руки? Редактор Копперюд наверняка знает, но Теодор с ним отнюдь не на короткой ноге. Может, фотограф знает? Он отправил мальчика-подручного справиться, но фотограф не знал. В таких вещах Теодор очень педантичен, ему не хочется совершить ошибку. Бордсен, вот кто знает. И не следует ли теперь писать письма на бумаге с черной каймой, как принято в других городах?

Он самолично навестил Бордсена, а вернувшись, вывесил на лавке приспущенный флаг. Не поднять ли флаг и на театре? — подумал он и распорядился вывесить приспущенный флаг и на театре. Ну вот, самые неотложные дела сделаны. Теодор умудрился проявить удивительную ловкость и в горе, в семейном горе, обо всем-то он подумал, сообщил о смерти звонарю, пастору и ленсману, заказал могилу, запряг в работу пекаря — печь сладкое. Что придало ему столько на-

пористости и огня? Он тщательно это скрывал, но вообще-то от смерти отца он здорово выгадывал, это был тот редкий случай, когда он получал деньги, не давая взамен товара.

Понемногу народ начал расходиться с набережной и пристани, громадный пароход с королем Тобиасом и его дочерью на борту скрылся за серой линией горизонта, все снова набились в лавку, где и узнали о новом событии. Значит, ушел! Да, немало Господь его помучил, прежде чем к себе прибрал!

Ларс Мануэльсен выразил лишь сожаление, ради блага самого же Пера-Лавочника, что тот не преставился, пока в Сегельфоссе гостил Лассен. Потому что тогда бы он услышал достойное надгробное слово.

8

Надгробное слово и правда могло бы быть лучше, оно вызвало досаду, Сегельфосс остался им недоволен. Пастору Ланнмарку представилась исключительная возможность произнести серьезную речь, но нет, он ею не воспользовался, да он и не умел произносить проповеди. Публика ждала, все с любопытством ждали — упомянет ли пастор про грехи Пера-Лавочника, сможет ли их обойти? Он обошел.

Пастор Ланнмарк — мастеровой, он точит, столярничает и кует, он обладает чувством формы, линии, Пер-Лавочник же за свою жизнь ни разу не совершил большого, красивого по форме злодеяния; кроме плутней, надувательства да гнусной жадности, за ним никаких преступлений не числилось. И вроде бы не вовсе уж ничтожеством был Пер-Лавочник, но пастор плохо его знал, это было заметно по его речи, усопший был ему безразличен. Надгробное слово явно разочаровало присутствующих, Теодор, который всегда отличался приметливостью, задетый равнодушным тоном пастора, не пригласил его на поминки, еще чего не хватало.

— Пусть не думает, что коли заделался председателем, может непочтительно обращаться с покойниками,— сказал Теодор.— Небось не каждый день приходится бросать землю на такой гроб,— сказал он.

И верно, про гроб толковали немало, роскошный гроб, по заказу из Тронхейма, с надписью «Спи с миром», с ангелами, с двумя руками, соединенными в пожатии, с украшениями будто из чистого серебра. Теодор на целый день оставил гроб на пристани, пусть поглядят на него,

прежде чем он будет использован по назначению. На похороны, правда, явился не весь Сегельфосс, но адвокат Раш, во всяком случае, притопал. Уж он-то хорошо знал, чем обязан почившему клиенту, и с кладбища за Теодором последовала большая свита — покупатели из окрестных хуторов и самые достойные жители городка. Среди них был и Ларс Мануэльсен, впервые надевший пальто. Поразительно, до чего он изменился в одежде, и сороки — сороки умолкли! Не узнали, что ли, Ларса Мануэльсена?

Поминки получились первоклассные, горячего не подавали, только кофе, разные печенья, бутерброды, пиво и виноградный спирт. Юлиус опять распоряжался за хозяина, а обслуживать гостей ему помогал Нильс-Сапожник. Да, поминки получились знатные. С тех пор прошло уже немало времени, но кое-кому они запомнились надолго, в частности, Юлиусу.

Вечером его и Нильса-Сапожника неожиданно вызвали в контору Теодора быть свидетелями. Там уже дожидалась Флорина-Служанка, они с Теодором молча стояли с торжественным видом посреди комнаты.

— Зачем позвали? — спросил Юлиус.

Флорина не потупилась, наоборот, на лице ее появилось строптивое и решительное выражение. Она уже давно перестала закрывать рот платком, ибо это средство не оказало нужного действия, зубы у нее никогда не болели и тошнотой она тоже никогда не маялась, а шерстяной платок приносил одни мучения, да и адвокат решительно потребовал, чтобы она сняла его. И вот она здесь. Ей собираются учинить допрос? Пожалуйста!

Слово взял Теодор-Лавочник.

— Почта прибыла,— сказал он, приступая прямо к делу.— Я получил письмо от моего друга Дидриксена,— сказал он.— Ты помнишь его, Флорина? Представитель фирмы «Дидриксен и Хюбрехт»?

— Чего вам от меня надо? — резко спросила Флорина.

— Ты написала его невесте, фрекен Рут.

Исходя ядом и злобой, Флорина ответила:

— А что, надо было поостеречься?

— Она порвала с ним,— сказал Теодор.

— Скатертью дорожка!

— Вот что я тебе скажу,— проговорил Теодор,— в руках у меня письмо от моего друга Дидриксена. Ты поступила с ним не по-джентльменски, но я намерен облегчить твою

участь и выплатить тебе немного денег. Ты ведь хорошая покупательница, и я лично против тебя ничего не имею.

— И сколько же он велел мне выплатить?

— Ишь ты — он велел! Это я собираюсь выплатить тебе кругленькую сумму в тысячу крон.

Флорина вздрагивает, сумма превзошла все ее ожидания, и она спрашивает:

— А вы имеете право это сделать?

— О моих правах не беспокойся. Я беру ответственность на себя. Тысяча крон под расписку, Юлиус и Нильс-Сапожник, будете свидетелями.

Юлиус тотчас же приступил к расспросам. Он отнюдь не из тех, кто воздерживается от вопросов, будь то знатный человек или простолюдин, а тут речь идет всего-навсего о Флорине-Служанке. Но ответ был краток, а Флорина добавила, что, мол, Юлиус, не твое это дело, сказала она.

Теодор выложил расписку, составленную по всей форме, с датой и подписью, и с обязательством, что в обмен на тысячу крон поименованная Флорина отказывается в дальнейшем от каких бы то ни было претензий к господину Дидриксену, коммивояжеру фирмы «Дидриксен и Хюбрехт».

Но тут Флорина-Служанка, пораскинув мозгами, отказалась расписываться: сумма чересчур мала, вообще-то ей полагается еще тысяча, потому что она требовала именно столько — пасть ее разевалась все шире и шире: такой знатный коммивояжер не имеет права обращаться с бедной девушкой как ему вздумается...

В конце концов вняв предостережениям Теодора, она все же расписалась, ворча и возмущаясь; Юлиус поставил свою подпись с помощью Теодора, водившего его ручкой, поскольку у него самого буквы получаются ужасные, объяснил он. А Нильс-Сапожник, ну как есть скелет, вывел свое имя крупно-крупно.

— Хочешь получить деньги сразу или открыть тебе счет? — спросил Теодор.

Флорина посчитала, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, и попросила наличные.

А так как Теодор как раз перед тем получил деньги за сушеную треску, он распахнул настежь свой несгораемый шкаф и взял тысячу крон из пачки кредиток, которая, казалось, нисколечки не похудела от этой незначительной выплаты. Из груди зрителей вырвался глубокий вздох, а Нильс-Сапожник засмеялся тихим дурацким смехом.

— Пожалуйста, пересчитай сама,— сказал Теодор Флорине.

Он был счастлив, уверен в себе, случай вынудил его продемонстрировать свои деньги, он испытал бы разочарование, если бы Флорина отказалась взять наличными. Да и в деньгах господина Дидриксена он уже не нуждался, как когда-то — в ту пору они пришлись очень кстати. Это судьба, все устроилось отменно для паренька Теодора.

Да, он получил письмо от молодого господина Дидриксена, неистовый повеса опять ударился в гульбу, на этот раз он, по всей видимости, писал прямо с кутежа:

«Девица — как ее там зовут? — сегельфосская девица, да храни ее Господь, насплетничала Рут, вы помните Рут, дочь консула? Поэтому выплатите сегельфосской девице только тысячу крон, дрянь такая, насплетничала, и Рут расторгла помолвку. Короче говоря, выплатите ей столько, сколько сочтете нужным. Мастер — вы ведь знаете Мастера — он по-прежнему мой верный друг и невероятно толковый малый — так вот Мастер советует дать ей только половину, но я требую, чтобы эта дрянь получила тысячу, она того стоит, я дал бы ей и больше, все, что имею, Рут разорвала помолвку, и надо же быть такой удаче, как раз тогда, когда я обручился. Вы даже представить себе не можете, что это за очарование, она здешняя, я любил ее уже давно, но она дала согласие только сейчас, после того, как я связал себя с другой, как ее там зовут. Имя моей возлюбленной фрекен Хюбрехт, дочь владельца фирмы, ей восемнадцать. Приеду, покажу фотографию. Рут вдогонку прислала мне еще одно письмо, но оно не изменит принятого мной решения. Я страшно счастлив, а так как эта чертова девица из Сегельфосса по-своему тому причина, я прошу вас передать ей мою сердечную благодарность. Я не забуду Рут, ибо я очень к ней привязался, но ведь это была всего лишь мимолетная влюбленность, а идти наперекор судьбе никому не под силу. Фрекен Хюбрехт зовут Хелен, голубые глаза, восемнадцать лет. Передайте, значит, мое сердечное спасибо девице и сами примите мою глубочайшую благодарность за то, что вы так любезно согласились уладить сие дело. До встречи!»

Общение с молодым Дидриксеном оказало благотворное действие на Теодора, знатный повеса был человек легкомысленный, но благородный, щедрый и сердечный — Теодор не взял комиссионных ни с одной из сторон и в тот же день отослал расписку и остаток суммы. Произошло это в день похорон отца — в тот самый день, когда до Юлиуса дошло,

какую ценную жену он может приобрести в лице Флорины-Служанки, и он начал усиленно ее обхаживать.

После всех этих важных событий Сегельфосс мало-помалу обрел покой. Ходили слухи, что к весне мукомольня вновь заработает, но пока стояла зима, для многих время нелегкое. Теодор-Лавочник в эти дни показал себя с наилучшей стороны, никто от него такого не ожидал: поддерживал в людях дух, снарядил команду рыбаков на Лофотенские острова, в общем, помогал людям выжить. Последствия разорения господина Хольменгро еще долго давали себя знать, но Теодор уже не был настолько близорук, чтобы выступать с нападками на заводчика: оказалось, что с закрытием мукомольного завода из местечка исчезли деньги. Теодору некому было продавать свои товары, все держалось на господине Хольменгро. Угасал фотограф, дни напролет просиживавший в своей чердачной комнатушке. Нильс-Сапожник последние две кроны заработал на похоронах Пера-Лавочника, «Сегельфосс Тидене» потеряла подписчиков. Теодор помогал всем как мог, не каменный же, но толку было мало, Сегельфосс погрузился в спячку, жизнь замерла, поговаривали, что телеграфная станция временно обойдется и одним человеком, а там и вовсе закроется. В любом случае Бордсен оказывался не у дел.

Что же до Нильса-Сапожника, так он стал совсем прозрачным, призрак да и только, ведь с танцами и драматической деятельностью в театре было покончено. Пока у него хватало сил, он летал, легкий, отощавший, по окрестностям в своих рваных, купленных в лавке, ботинках, и в чем только у него душа держалась, непонятно. А лицо его, застывшее в маслено-умильной улыбке, производило жуткое и одновременно комичное впечатление, казалось, он поглощен одной-единственной мыслью — как бы учинить какую-нибудь проказу, и тогда на нем появлялось выражение, наводившее ужас, выражение, граничившее с безумием. Последняя его надежда лопнула — он заглянул к адвокату Рашу и, пройдя через контору, чтобы не показываться на глаза барыне, спросил у адвоката, скоро ли будет устроен базар в пользу «Благоденствия Сегельфосса», а в ответ услышал, что времена для базаров нынче миновали. Ну, ясное дело, сказал Нильс-Сапожник, а ведь то была его последняя надежда. Он пошел в лавку и купил несколько галет, никто, пожалуй, не голодал так благородно, как он.

— Дайте мне пару галет к вечернему кофе,— говорит он. Расплачиваясь, он раз за разом вынимает один и тот же пятак

из кошелька и долго роется в нем, словно монет там видимо-невидимо. Он всегда улыбается, но сейчас улыбка получается у него какая-то вымученная.

Через два дня в его домишко вваливается Бордсен — с провизией, водкой и в отличном настроении.

— Ха! Проходил мимо и решил заглянуть,— сказал он.— Ну-ка, попробуй-ка вот это!

Нильс-Сапожник лежит в постели — ревматизм, объясняет он, поэтому и печь не топится. Он с превеликим удовольствием отведал яств и пропустил рюмочку, Бордсен, словно лекарь, дает распоряжения:

— Нет, колбасу пока не трогай, от нее жажда будет, съешь кусок хлеба с маслом! Вот здорово, что ты согласился составить мне компанию, я иду издалека, а еду захватил с собой в дорогу! — Бордсен развел в печи огонь и заставил в конце концов сапожника слезть с кровати и сварить кофе.— Ха, вот увидишь, все еще образуется, все еще образуется, Нильс-Сапожник!

— Когда вы приходите, и верно, похоже, что все образуется!

Ясное дело, все образовалось, но каким путем! В глазах всех разумных людей все, наоборот, покатилось под гору. Нильс-Сапожник был совсем плох, одним обедом и рюмкой водки на ноги его не поставишь, а Бордсена и вовсе не волновало, куда все катится. Он ничего не предпринимал, день за днем сидел сложа руки, а время шло. Иногда он предавался размышлениям, иногда оказывал благодеяния Нильсу-Сапожнику, пил, играл на виолончели, произносил высокопарные речи — всем разумным людям поневоле ничего не оставалось, как от него отвернуться. Но какая неподражаемая надменность и самоуверенность — хотя вокруг лишь развалины!

— Не будь у меня сейчас такого свинского безденежья, взялся бы реставрировать Домский собор в Тронхейме,— сказал он сапожнику.

— По вас-то и не скажешь, что вы в безденежье! — ответил на это сапожник, сытый и чуточку захмелевший. Как есть призрак.

Бордсен почти ничего не ел, зато много пил. И пил не от порочности и малодушия, не оттого, что иначе не вынес бы этой жизни, и не от отчаяния, что погубил ее. Бордсен малодушен? Ни в малейшей степени. Человек твердый и решительный, он считал, что все идет как надо. Мало ест? Так ведь ему хватает, и чувствует он себя превосходно, не

испытывая ни особенного голода, ни особенной сытости. Оба телеграфиста держали раньше женщину, что-то вроде экономки, которая готовила им обед, но ей пришлось уйти, потому что готовить стало нечего. Теперь Готтфред обедал в гостинице, а Бордсен практически вовсе не обедал. Готтфред из самых лучших побуждений каждый раз звал его с собой в гостиницу, но Бордсен, поблагодарив, неизменно отказывался,— ни к чему, мой друг! Готтфред и прежде всегда ему помогал, и тогда, когда он лежал раненый, и позже, когда выявилась недостача в кассе и его отстранили от должности начальника станции, — донельзя растроганный добротой Готтфреда, Бордсен каждый раз благодарил его за протягиваемую руку помощи, но ничего не менял в своей жизни. Должно быть, с рождения довлела над ним тяга к самоуничтожению. Неужто у него не было родных, семьи? Ведь один заезжий коммивояжер вроде бы признал в нем блудного сына могущественного торгового дома? Кто знает, может, и была у него семья, а может, и нет. Его удивительная беспечность по отношению к деньгам — как собственным, так и чужим,— возможно, объяснялась тем, что семья сызмала поддерживала его, улаживая все дела и приучив тем самым к безответственности. Но в решительный момент он не стал ни у кого искать помощи и ни от кого ее и не получил, а попросил у инспектора разрешения покрыть недостачу ежемесячными выплатами. Искать помощи? Ни за что. Словно и впрямь не было у него никакой семьи. Но Готтфреду, разумеется, пришлось сразу же восполнить за него кассу.

И вот он сидит у Нильса-Сапожника, высокопарно разглагольствуя о некоторых обычаях римских патрициев в древности: мол, когда они начинали подозревать, что попали в немилость к повелителю, то вскрывали себе вены или морили себя голодом.

— Благородно и почтительно по отношению к высшей власти: иначе было бы чисто по-мужицки. Представь себе знатных господ, которые, дабы сохранить себе жизнь, защищаются на допросе,— куда это годится. Через сто лет нас все равно забудут.

Неужели телеграфист полагает, что такие речи способны развеселить? Он пьян, но не больше обычного, и отлично понимает, что говорит. Или же он хочет помочь сапожнику обрести покой и смирение перед неумолимым концом?

— А к Богу надо относиться с еще большим почтением, не противиться Его воле! — сказал он.— Какой нам с тобой, мой дорогой Нильс, теперь интерес суетиться, обделывать

разные делишки да наживаться? К чему нам нажива? Нам она не нужна, пусть другие тянут эту лямку. Только мы с тобой и находимся на правильном пути, мы не маячим на виду у всего мира, мы пребываем во тьме, мы слились с ней, она — наш дом, мы блаженны. Твое лицо, Нильс, одухотворено красотой, его тонкие черты дышат благородством, в нем не осталось и следа бесстыжей наглости, оно приобрело мучную белизну. Это потому, что ты не обжирался: мудрецы в Индии тоже голодают, дабы обрести белизну лица и внутреннюю ясность, — и тогда-то они узревают блаженство. Можешь быть спокоен, Нильс, мы с тобой на верном пути.

— Будем надеяться,— поддакнул сапожник.

— Сын-то твой мог бы и прислать чего-нибудь из Америки, ну да, пожалуй, тебе бы от этого легче не стало.

— Вот и я так думаю. Да и Ульрику, может, тоже не сладко приходится.

— Когда придет почтовый пароход с юга,— сказал Бордсен,— зайди ко мне на станцию. Не забудешь?

— А надо? Заходить на телеграф-то?

— Надо. У меня есть все основания полагать, что у меня возникнет желание с тобой повидаться,— сказал Бордсен на своем странном языке и ушел.

Он забыл свои галоши. Нильс-Сапожник засуетился, выскочил вслед за ним на крыльцо и крикнул про галоши, но Бордсен лишь отмахнулся, они, мол, ему не нужны, тесны стали, жмут, брось их в печь!

И пошел домой, на станцию. Он вполне осознает свое положение: он человек конченый, банкрот, он понимает это. Жизнь и смерть сравнялись для него в цене, и от этого на душе легко и покойно. Еще недавно он предпочитал жизнь, но, по зрелом размышлении, пришел к выводу, что совершенно не важно, какая участь его постигнет. Он ни в чем не раскаивается. И не ощущает потребности взвалить вину на могущественное семейство, чтобы умалить свою собственную. Он ни в чем не виноват. Кого ему винить и за что? И в чем его вина? Недостача в кассе телеграфа будет покрыта, а больше долгов у него нет. Вина? Сбиться с пути — это тоже вина, но он-то с пути не сбивался, он прекрасно жил на станции, ему нравилось, все было просто замечательно.

В своем нынешнем состоянии он не подвластен никаким несчастьям. Как оказалось, он вполне удовлетворен всеми благами этого мира, они сделали его жизнь приятной, он получил от нее истинное наслаждение, он познал все. И пил не для того, чтобы улучшить ее, а чтобы продолжать жить

так же хорошо. Он достиг цели, он доволен — вот его позиция. Что у него есть, кроме собственного тела и одежды? Он на дне. Пусть множатся несчастья, пусть одолевают его, пожалуйста, он лишил их триумфа...

Почтовый пароход привез Бордсену желтый бланк, он получил по нему денежный перевод и все деньги отдал Нильсу-Сапожнику. Очередная блажь, широкий жест, пьяная выдумка. Бог весть что, да только какой во всем этом смысл!

А Нильс-Сапожник пришел, на ногах галоши, в них тепло и удобно, сказал он. Он совсем ослабел, в нем появилось что-то жалкое, его ничего не стоило растрогать, глаза то и дело наполнялись слезами, хотя он всячески пытался сдерживаться и страшно кашлял, дабы казаться мужественным. При виде денег он вконец растерялся и, не дожидаясь приглашения, опустился на стул.

— От Виллатса Хольмсена,— сказал Бордсен.— Господин Виллатс сейчас в свадебном путешествии и с удовольствием посылает тебе эти деньги.

Сапожник сидел весь скрючившись, беспомощный, словно плод в утробе:

— Выходит, это не мои деньги, а?

Бордсен весело рассмеялся, чтобы подбодрить его, и сказал:

— Виллатс Хольмсен желает, чтобы ты на эти деньги хорошо пожил до весны. Впрочем, ежели хочешь поехать в Америку, пожалуйста, он не против. Говорит, так или иначе, когда тебе придет время расстаться с жизнью, не таи в душе злобы на нее.

— Так и говорит? Ну уж эти Хольмсены из поместья, его отец такой же был, а теперь вот и сынок! Да неужто и впрямь он так сказал? — Нильс-Сапожник вдруг обнаруживает, что сидит, вскакивает и рассыпается в бурных благодарностях, а потом принимается неистово кланяться, и все лицо его сморщивается от подступивших слез. Уходя, он не может выдавить из себя ни слова на прощание.

— Он не доживет до весны,— говорит себе Бордсен.

Об этом Бордсену, пожалуй, следовало бы подумать раньше, так, чтобы разумным людям не пришлось, глядя на него, качать головами. Умирающего ставят на ноги, дают ему галоши и деньги, короче говоря, вооружают всем надобным для жизни — с тем, чтобы он пошел домой и умер! И помогает ему в этом человек, совершающий свадебное путешествие!

Но в Сегельфоссе нашлись и другие, поумнее Бордсена. Стоило разнестись слуху, каким богачом стал Нильс-Сапожник, один за другим потянулись к нему просители одолжить денег.

— Тебе все равно за зиму все деньги не потратить,— говорили они,— а мы тебе отдадим должок после лова на Лофотенских островах!

Нильс-Сапожник не каменный, к тому же он вполне оправился, снова сыт, одет и с кофе — он давал деньги в долг, сперва осторожно, потом все смелее и смелее, ему понравилось быть могущественным, он начал находить в этом вкус, люди стали относиться к нему с почтительностью и подобострастием, в считанные недели он превратился во всеобщего благодетеля. Богатство его таяло.

Зато в Сегельфоссе опять завелись кое-какие деньжата, и все они оседали в лавке. Это немножко напоминало о старых добрых временах, когда работала мукомольня, — отголоски деятельности господина Хольменгро и мукомольни давали себя знать и по сей день. Куда подевался заводчик? Может, не сумел удержаться на плаву и угодил в богадельню?

Однако общее мнение было таково, что у господина Хольменгро денег было намного больше, чем о том знали люди. В богадельню, это он-то? Человек, за которым пришел собственный пароход, чтобы отвезти его на свадьбу! Конечно, совсем не обязательно, что это был его собственный пароход, а не какое-нибудь грузовое судно, на несколько часов изменившее курс. Теодора, делавшего вид, будто ему чуть ли не доподлинно все известно о крахе господина Хольменгро, осаждали с одним и тем же вопросом: зачем вырыли погреб? Этот погреб продолжал владеть умами сегельфоссцев, хотя и был-то, всего вероятнее, лишь эффектным фокусом поверженного короля, попыткой в последний раз блеснуть, сверкнув потусторонним светом, пустой бравадой, в конце концов.

— А погреб-то так и останется здесь? — спрашивали его.— Есть в нем что? — спрашивали они.

— Откуда мне знать! — отвечал Теодор.— А ежели бы и знал, так все равно б не сказал,— отвечал он.

— Дайте-ка мне ваших галет,— говорит Нильс-Сапожник,— только вот кошелек я, кажись, забыл.

— Да у тебя в нем небось и нет ничего,— говорит тогда Теодор.

— Так ведь ясное дело, все в долг поразобрали — еще кой-чего есть, но вот в долг поразобрали, и осталось негусто.

Какой-то человек отводит Нильса-Сапожника в сторону, тот самый с горных хуторов, что всегда покупает много желатина: он еще не знает, что сапожник опять на мели, поэтому хочет одолжить денег. Они вполголоса переговариваются.

— Ладно, помогу уж тебе,— говорит наконец Нильс-Сапожник. Должно быть, больно сладостно чувствовать себя могущественным благодетелем.

Разговор в лавке вновь переключается на погреб. Зачем бы господину Хольменгро хранить сокровища в погребе, коли он мог забрать их с собой на пароход и увезти?

— Впрочем,— говорит Теодор,— впрочем, никому не известно, что у него в этом погребе. Замок там есть?

Стоящий тут же Уле Юхан отвечает: нет, мол, замка нет.

— А может, в стенке есть отдушина? Или маленькая незаметная отдушина в своде? О таком нередко пишут.

Уле Юхан самолично делал погреб, нет там никаких отдушин.

Ларс Мануэльсен тоже здесь, он терпеливо и молча слушает, а потом говорит:

— А что, если в каком другом месте есть отдушина?

— Галет мне не отпустите? — опять спрашивает Нильс-Сапожник.— Только я кошелька не захватил.

— Отпусти ему галет,— велит Теодор приказчику,— взвесь ему галет,— говорит он, потому что не каменный же он. — Но я вовсе не расположен тратиться на тебя, Нильс.

Странные речи. Даже горец, последний из тех, кто страждет занять у Нильса денег, навострил уши, он снова отводит сапожника в сторону и спрашивает, точно ли получит взаймы.

— Да уж помогу тебе,— отвечает Нильс-Сапожник.

Так проходят дни. В Сегельфоссе тихо и грустно, но в лавке продолжается жизнь, туда приходят поболтать, топится печь. Лавка ярко освещена. Теодор — единственный, у кого есть средства, он зажигает много ламп. Лавка превратилась в большущий магазин. Теодор знал, что делает, строя новую лавку вплотную к старой, — наступил день, когда он снес разделявшую их стенку, и получилось просторное помещение.

— Во сколько, по-вашему, мне это встало? — говорит Теодор.

Он просто великолепен. В дни тяжких испытаний, выпавших на долю городка, бесстрашие и мужество Теодора служат для всех утешением. Он неутомимо изыскивает все новые и новые способы напомнить о себе. Он любит шикануть, но

при этом не обладает достаточным вкусом и не знает толком, как это лучше сделать, но шикануть любит. Теперь вот у него в лавке больше не крутят фунтики. Теодор купил партию больших и маленьких пакетов, а на пакетах выведено его имя. Когда его имя стали читать на каждом пакете и оно в достаточной мере примелькалось, он придумал добавить к надписи рисунок лавки — вроде как иллюстрированная картинка моего торгового предприятия, говорит Теодор.

Оставалось лишь завести трубу и начать трубить.

По вечерам в лавке полно народу. Говорят о Бордсене, мол, в последнее время он совсем отощал, истаял. Бог знает, уж не голодает ли. Верно, он тает, Бордсен тает, впрочем, худоба ему к лицу, он стал изящным и бледным, возможно, от голода. Говорят и о Юлиусе, Флорина-Служанка-то переселилась в гостиницу, будет там хозяйкой, женой. Сам Юлиус все такой же, но его суженая подарила ему длинную трубку на бисерном шнурке, трубка торчит напоказ из кармана, придавая ему респектабельный вид. Говорят и об адвокате Раше, который прошел на выборах и скоро будет заседать в стортинге. Он связал себя с движением борцов за лансмол и ведет активную работу по снижению налогов.

Вот о чем они говорят.

Время от времени Теодор вставляет слово-другое, и все внимательно прислушиваются к нему, потому как он чертовски смекалистый и толковый парень. Однажды он приводит всех в изумление, вывесив в лавке удивительную бумагу — это торговые премудрости, биржевой курс: «Гавр, 25 октября. Кофе 71 1/2. Тенденция на повышение. Рио-де-Жанейро, 23 октября. Обменный курс на Лондон 10 9/64. Фрахт в Соединенные Штаты 52 1/2. Сантос, 25 октября. Тенденция неустойчивая, сведений об отгрузке в Норвегию за неделю не имеется. Ввоз во внутренние области Сан-Пауло 66.000»

— Ну вот вам и цены на кофе,— сказал Теодор.

— Здóрово! — воскликнули они, смиренные и жалкие рядом с всесильным Теодором.— Неужто вы можете по этой бумажке определить цены на кофе?

Теодор лишь улыбнулся, словно для него преодолеть такого рода трудности сущий пустяк.

Но вот вышел номер «Сегельфосс Тидене». Бедняга Коперюд, редактор и метранпаж, дела в его газетенке шли из рук вон плохо, подписчиков не было, и адвокат Раш после выборов не пожелал больше поддерживать ее. Что делать Коперюду? Теодор-Лавочник не стал утяжелять его ношу,

напротив, он продолжал исправно давать в газету свои объявления, и вот сегодня появилось еще одно: «Требуется заведующий конторой, в совершенстве владеющий бухгалтерским делом и корреспонденцией на немецком и английском, жалованье в соответствии с квалификацией. Теодор Енсен, Сегельфосс».

Да никак Теодор собрался торговать с заграницей! Высший класс. Никому не дано в полной мере знать пределы его могущества. Кончится, пожалуй, тем, что он выкупит мукомольню, будет получать зерно из Америки и с Черного моря, прямо как Хольменгро, и начнет его молоть.

Теодор объяснил, что перегружен сверх головы конторскими обязанностями, они истощают его силы. Он и пишущую машинку собирается также приобрести, добавил он. Дело в том, что начальник пристани господина Хольменгро теперь сидел без работы, а Теодор знал, что у него здесь безнадежная любовь и потому покидать Сегельфосс ему нож острый. Теодору страсть как не хотелось брать его к себе на работу втихомолку, не произведя впечатления на весь Сегельфосс, вот он и поместил объявление, пусть все узнают, что его фирме требуется заведующий конторой со знанием языков. В давние времена, в ту пору, когда он был еще совсем зеленый, он вывешивал флаг по поводу и без повода — детские забавы против нынешнего, когда он начинает вести дела с заграницей. Начальник пристани откликнулся на предложение, и Теодор взял его на работу. Сразу, решительно и без мелочных раздумий. Но за скромное вознаграждение для начала.

Он спросил у Уле Юхана:

— Не выполните ли вы с Бертелем из Сагвики для меня кое-какие земляные работы? — так, будто речь шла о самой обычной просьбе, хотя стояла зима и земля промерзла насквозь.

— А не лучше ли подождать до весны? — сказал Уле Юхан.

— Не твоя забота, я хочу, чтобы работа была закончена за зиму,— ответил Теодор.— Надо поставить крест на папашину могилу. Не могу позволить, чтоб он лежал без креста.

Уле Юхан немедленно приступил к делу.

Привезли крест, здоровенный, шикарный бронзовый крест, с надписью и датами золотыми буквами и золочеными ангелочками во всех четырех углах. Великолепный крест. На всем убогом кладбище только у Хольмсенов и была приличная могила, а так, кроме крашеных деревянных

крестов и земляных холмиков, и смотреть не на что — а теперь вот появился бронзовый крест Пера-Лавочника. Мало того: Теодору доставили решетку, чтобы огородить крест. Опять-таки высший класс. Уле Юхану и Бертелю из Сагвики предстояла долгая работа, пришлось даже развести костер, чтобы земля подтаяла, но тут уж ничего не жалели. То, что задумано, надо выполнить. Потому что у нас должно быть все как на других кладбищах, сказал Теодор.

Теперь и для матери Теодора нашлось занятие: открывать калитку ограды, закрывать ее за собой и ухаживать за могилкой. Наконец-то у нее появилось местечко, где она могла отгородиться от всех других женщин, — точно откидной прилавок, отрезавший ее от толпы, до чего приятно иметь возможность провести грань между собой и другими, ей это очень нравилось. Правда, сейчас, в разгар зимы, трудновато с цветами и зеленью, но и раковины сойдут, да и парочку-другую фуксий и гераней можно раздобыть. Супруга Пера-Лавочника возилась на могиле каждую субботу, украшать ее среди недели не было смысла, к воскресенью, когда народ соберется в церковь, все завянет и замерзнет.

Но крест с оградой оказали на сегельфоссцев пагубное влияние — фру лавочница заразила своим могильным культом соседок. Люди потянулись к Теодору заказывать надгробные памятники своим покойникам, никому не хотелось отставать от остальных, народ все шел и шел, воистину благородное состязание, и все обещали заплатить после лова на Лофотенских островах. Теодор был вынужден выписать иллюстрированные каталоги литейных и гранильных мастерских, дело расцветало, камень считался даже роскошнее, вытеснив бронзу, — мрамор и гранит, полированный и неполированный, каких угодно цветов. Кресты и пирамиды, плиты, колонны и обелиски любой формы. По желанию заказчика можно было выбить цитаты из Библии или другие бывшие в ходу выражения: «До встречи!», «Любим и тоскуем!», «Спи с миром!». На любой вкус. А уж после того, как они на чем-то останавливались, в соответствии со своим вкусом и возможностями, Теодор выписывал памятник.

Благородно и красиво, но все это превратилось в эпидемию. Когда Ларс Мануэльсен с женой ставят памятники двум своим покойным деткам, умершим двадцать лет назад, против этого не возразишь; но ведь и двое малюток фру лавочницы лежат в земле, что ж, разве им не нужна оградка? Конца этому не было видно, мало кто из тех, чьи близкие покоились на кладбище, не пожелали помянуть их

надгробным камнем. Не обошлось и без конфликтов — например, когда отец Марсилии-Служанки облюбовал себе хорошее местечко для горделивого обелиска, а Нильс из Вельты явился туда с маленькой гранитной плитой, утверждая, будто именно там похоронен его отец.

Зима была в полном разгаре, а маленькое кладбище переживало невиданный расцвет: с утра до вечера там горели костры, растапливая промерзшую землю для земляных работ. И вот однажды фру лавочница, окинув взглядом могилы, ощутила неприятное чувство: вокруг ее бронзового креста высились памятники намного богаче и красивее. Не раскошелится ли Теодор ради своего покойного отца на другой памятник в оградке? Теодор был не прочь, роскошь и пышность ему тоже по душе; но надо выждать, выбрать подходящее время. Со старым-то крестом что делать, выбросить? Другое дело, если бы вскорости умер какой-нибудь Педер Енсен, мало-мальски подходящего возраста — тогда Теодор продаст бронзовый крест и вернет себе деньги.

Так вот и идут дни.

За зиму Теодор провернул нешлохое дельце с надгробными памятниками, настроение у него отличное, и как-то вечером он возьми и предложи камень Бордсену. Сказано это было в шутку, и Бордсен ничуть не обиделся, лишь мягко и приветливо улыбнулся. Бордсен чудовищно исхудал, лицо белее мела, глаза странно блестят, да, вид у него и впрямь такой, словно ему скоро понадобится камень. В тот раз он не стал покупать табак, а попросил отпустить ему несколько галет, таких же, какими Нильс-Сапожник поддерживал в трудное время свою жизнь. Взяв галеты, он заплатил и ушел.

На дворе стоял сильный мороз, а Бордсен одет совсем легко, но он еле плелся, словно холод ему нипочем, а может, просто не в силах был идти быстрее.

Он направлялся на станцию. В доме темно, Готтфред ушел обедать. Незадолго до того в этот день телеграфисты произвели расчет, и Бордсен выплатил остаток долга. Отыскав в темноте свою виолончель, он снова вышел на улицу и побрел в сторону поместья Сегельфосс, где вызвал для разговора Паулину. Грустная произошла сцена. Он протянул Паулине свою виолончель и попросил отдать ее Виллатсу Хольмсену, когда тот вернется домой.

— Хорошо,— сказала Паулина,— значит, просто отдать?

— Да,— ответил Бордсен.

Странный поступок. Расставался он с виолончелью, понятно, не по принуждению или нужде: Виллатс Хольмсен не

из тех, кто стал бы брать залог за деньги, подаренные Нильсу-Сапожнику. Да и Бордсен не из тех, кто стал бы продавать виолончель, — другое дело подарить ее — подарить тому, у кого ей будет хорошо и покойно, — старая, прекрасная виолончель, прощай! Но все равно странный поступок.

— Ой, вам плохо? — вдруг воскликнула Паулина.

— Да,— ответил Бордсен, клонясь вперед,— колет вот тут,— прошептал он, едва дыша.

Паулина в смятении бросилась было за Мартином-Работником, но Бордсен простонал:

— Не надо. Пройдет... сейчас пройдет... просто колет.

И правда, вскоре он отнял кулаки от груди и задышал ровнее.

— На этот раз быстро отпустило,— сказал он,— утром было хуже.

Но и сейчас ему было худо, губы совсем посинели, и Паулина спросила, не позвать ли Мартина-Работника, чтобы тот проводил его до телеграфа.

Он ответил:

— Доберусь сам. Спокойной ночи.

Он пошел вполне твердым шагом, и Паулина решила, что приступ миновал. В падавшем из окон свете она видела, как он шагал, выпрямившись, по дороге к городку, к телеграфу, — потом его поглотил мрак, и Паулине уже было не разглядеть, как новый сильнейший приступ согнул его пополам, остановив на полпути. Он оглянулся — возвращаться в поместье далеко, до городка не ближе. Он стоял, согнувшись в три погибели и медленно водя головой во все стороны в поисках, куда бы свернуть. Потом, промерзнув до костей от долгого стояния, мелкими шажками двинулся наискосок по снегу.

Паулина была последней, кто видел Бордсена: проходил день за днем, а он не показывался. Его искали повсюду — на почтовом пароходе он не уезжал, на дорогах никому не попадался. Исчез. «Сегельфосс Тидене» написала о случившемся в своем последнем перед закрытием номере.

На том дело и кончилось.

Теодор-Лавочник меж тем готовится к лову рыбы на Лофотенских островах, нанимает команду и первым берет, по старой памяти, Нильса из Вельты. Нильс пребывал в молчаливом, подавленном настроении, и виной тому Флорина-Служанка. Уж больно глупо повел он себя тогда, весной, оттолкнув ее и позволив уплыть в море с незнакомым коммивояжером. Правда, потом они опять помирились и по

субботам ходили вместе на танцы и много чего другого делали, но тут всему пришел конец: Флорина-Служанка разбогатела, у нее завелась сберегательная книжка и куча денег, и она вышла замуж за Юлиуса. Теперь она хозяйка гостиницы — прощай, желаю счастья! Но Нильс из Вельты оказался натурой глубокой, он был не в силах так скоро забыть свою возлюбленную, и лишь вняв настоятельному совету Теодора-Лавочника, отказался от мысли свести счеты с Юлиусом. Мало-помалу горе его притупилось, и в последнее время он сблизился со служанкой Палестиной. Может, так оно и лучше для него, у Палестины есть месячная заборная книжка в лавке, и она пользуется там большим доверием,— да к тому же до него дошло, что Флорина, надо же, заставила своего супруга с помощью адвоката Раша произвести раздел имущества. Так что пусть Юлиус и живет с ней.

Луна скрылась, на небе ни звездочки, ночь, непроглядная тьма. Но вот в темноте возникает Ларс Мануэльсен, куда это он направляется? Он идет вверх по дороге, в сторону поместья Сегельфосс, но, отмахав порядочный кусок, сворачивает наискосок в снег.

Не кричит сорока, ни звука, тишина. Потому что не в обычаях сороки мстить до бесконечности, так она не поступает, она наказывает семь месяцев подряд в первый раз и девять месяцев подряд во второй, так уж у нее заведено, и на первый раз Ларсу Мануэльсену наказания достаточно. Вдобавок одному Богу ведомо, не сороку ли ему благодарить за то, что он нашел наконец свои очки — все это время они лежали в нагрудном кармане его куртки, той самой с восемью пуговицами и многочисленными карманами, наружными и внутренними, как у настоящего богача, — там очки и лежали. Найдя их, Ларс Мануэльсен стал меньше ненавидеть сорок.

Сейчас он идет наискосок по снегу. Иначе как к погребу, к алмазной пещере господина Хольменгро, ему идти некуда, и чего ему там понадобилось? Разве что никак не забудет, что где-то там есть отдушина, и хочет проверить?

Подойдя к двери, он открывает ее — замка нет, и входит. Внутри покойно и тихо, мороз сюда не проникает. Он чиркает спичкой.

И тут спичка выпадает из пальцев Ларса Мануэльсена, он чувствует, как из его груди рвется крик ужаса, но он его подавляет, проглатывает, как икоту, пошатываясь, нащупывает дверь, пошатываясь, выбирается из погреба, он шатается, как пьяный, — и приходит в себя, только очутившись перед собственной дверью.

Когда наступает день, он идет к Уле Юхану и говорит:

— Пошли сходим в погреб этого Хольменгро.

— Чего мы там потеряли? — спрашивает Уле Юхан.

— Поглядим, нет ли там где отдушины.

Не в силах подавить своего неуемного любопытства, Уле Юхан соглашается.

— Сходим днем,— говорит Ларс Мануэльсен,— потому как ничего красть я не собираюсь.

— Понятное дело.

— Потому как мне это без надобности.

Они подходят к погребу, и Уле Юхан из любопытства же спускается первым. Но тут же пятится назад.

— Бордсен!.. — говорит он.

— Что там? Что?

— Бордсен! — говорит Уле Юхан.— Там сидит Бордсен. Мертвый.

Оба спешат обратно в Сегельфосс, в лавку. И разрешают наконец загадку — а может, и не разрешают, но лопаются от желания поделиться новостью. Они ходят по городку и снова и снова рассказывают: он сидит в погребе, он мертвый; новость разносится по Сегельфоссу, ее выслушивают, обдумывают и вновь возвращаются к своим повседневным заботам. На том дело и кончилось. А далеко на юге поют лебеди.

****

КОММЕНТАРИИ

В третий том Собрания сочинений Кнута Гамсуна вошли прозаические произведения начала 1900-х — середины 1910-х годов, ознаменовавшие новый этап в творчестве писателя. После зачина, сделанного в «Бенони» и «Розе», жизнь норвежского крестьянства в период формирования буржуазных отношений в Норвегии становится ведущей темой произведений писателя. Главной опасностью, угрожающей патриархальной старине, представляется Гамсуну бездуховное индустриальное развитие. Оно влечет за собой рост городов, всеобщий упадок нравов, потребительское отношение к жизни. Противостоять ее безжалостному напору можно лишь практической работой на земле. «Мы должны засучить рукава и начать работать,— пишет Гамсун в статье «Слово к нации» (1910),— наш долг — возделать землю Норвегии». Люди, живущие в городах и продающие свою рабочую силу на фабриках, безвозвратно теряют связь со своими корнями, с источником жизни. Крестьянский быт, неразрывная связь человека с землей — вот идеальная форма человеческого существования у Гамсуна, в которой он видит единственно возможную альтернативу современной буржуазной цивилизации.

СТРАННИК ИГРАЕТ ПОД СУРДИНКУ

К созданию второй части «трилогии о странниках», роману «Странник играет под сурдинку», Гамсун приступил в 1908 году. Однако вскоре он прервал над ним работу, чтобы завершить «Бенони» и «Розу», и возобновил ее в начале следующего года. В 1909 году новый роман писателя увидел свет. Как и в романе «Под осенней звездой», Гамсуна по-прежнему волнует тайна человеческих отношений. В центре его внимания неразрешимая любовная коллизия —

семейная драма капитана Фалькенберга и его жены, психологически сходная с той, что переживали Глан и Эдварда в «Пане». Рассказчик в романе вновь «одинокий странник», бродяга. Он наделен чертами самого Гамсуна, который вопреки всем разочарованиям и приближающейся старости сохраняет веру в жизнь, в будущее. В романе «Странник играет под сурдинку» звучит и новая тема. Впервые Гамсун предупреждает об опасности индустриального развития Норвегии, разрушающего ее патриархальные устои. Он выступает с критикой буржуазного прогресса, видя в его основе отчуждение от корней крестьянской жизни. Наносимый им урон, по мнению Гамсуна, столь велик, что его не могут восполнить даже сохраняющиеся гармонические отношения человека с природой.

Стр. 9. *...хочу прославиться вроде поэта Вергеланна.* — Вергеланн Хенрик Арнольд (1808—1845) — крупнейший поэт норвежского романтизма. Идеолог крестьянской демократии. Во второй половине XIX в. идеи Вергеланна были подхвачены Бьёрнсоном, а после его смерти (1910) роль духовного вождя крестьянского движения в стране принял на себя Гамсун.

Стр. 10. *«Странствующий Эйлерт Сунд?» — допытывался он.* — Сунд Эйлерт (1817—1875) — норвежский священник. В юности был учителем, с 1846 г. — кандидат теологии. Известен своими работами в области норвежской народной культуры. С 1870 г. — священник в Эйдсволле.

Стр. 23. *...показать себя непревзойденным амфитрионом.* — Амфитрион — мифический царь Фив, супруг Алкмены, в его отсутствие зачавшей от Зевса Геракла. В классической и поздней европейской литературе имя стало нарицательным для обманутого супруга.

Стр. 55. *...покрыта каннелюрами а-ля Луи Сез...* — Каннелюры — вертикальные желобки (ф р.). Имеется в виду стиль неоклассицизма времен Людовика XVI (1754—1793), утвердился в архитектуре в середине XVIII в.

Стр. 77. *...дивные строки Бьёрнсона: Словно шепот по ржи летним днем пробежал...* — Имеются в виду строки известного стихотворения Бьёрнсона «Обращение к свободному народу Севера» (1874).

Стр. 83. *...и даже великого Даля...* — Даль Юхан Кристиан (1788—1857) — норвежский живописец. Основоположник норвежской пейзажной живописи.

Стр. 124. *...которая не подарила миру Бёклина.* — Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец. Родился в Базеле, долгие годы провел в Италии. Представитель символизма и стиля «модерн».

«Старушка мать! Твой тяжкий труд кровавый пот исторг!» — строки из стихотворения норвежского поэта-романтика Осмунда Винье (1818—1870) «Старушка мать» (1860).

Стр. 130. *...епископа Павла...* — Павел Клаус (1769—1822) — норвежский священник и писатель. С 1817 г. — епископ в Бергене. Автор духовных стихов, проповедей. Значительный историко-культурный интерес представляют его дневники, изданные в 1864—1867 гг.

Стр. 131. *...написал о женщине, которая бросила родных детей, чтобы найти, представьте себе,— чудо.* — Очевидно, имеется в виду пьеса Ибсена «Кукольный дом» (1879), к которой Гамсун — противник женской эмансипации — относился отрицательно.

ДЕТИ ВЕКА

Роман «Дети века» был написан в 1913 году. В нем отразился новый взгляд писателя на окружающий мир и природу художественного творчества. В этом романе, по словам Гамсуна, он «изобразил борьбу между аристократами и крестьянами». Действие романа сконцентрировано вокруг двух персонажей, помещика Виллатса Хольмсена и торговца Тобиаса Хольменгро. Если первый олицетворяет собой дух времени уходящего, то второй — дух нового, свободного предпринимательства и буржуазного развития. Сын бедного крестьянина, вынужденный эмигрировать из Норвегии, Хольменгро, разбогатев, возвращается на родину, чтобы найти свои корни. Он покупает у Хольмсена землю, строит мельницу и пристань для океанских пароходов. Его усилиями Сегельфосс — небольшой поселок на севере Норвегии — превращается в современный город с магазинами, почтой, телеграфом. Могущество Хольменгро подчеркивается тем, что аристократ Хольмсен попадает от него в зависимость. Чтобы сохранить хотя бы видимость прежнего благополучия, он вынужден по частям распродавать свое имение.

Хольменгро — фигура мифическая. Гамсун окружает своего героя сказочным ореолом. В его успехе писатель видит нечто общее со своей творческой судьбой. В равной мере его привлекает и личность Хольмсена. Как и Гамсун, он пантеист, поклонник природы, его гордость граничит с высокомерием.

Качественно новое в романе — окончательное и решительное возвращение Гамсуна к традиционной форме, которую он заклеймил в программных статьях 1891 года. Субъективно-исповедальная манера повествования уступает место аналитическому, трезвому, иногда чуть ироничному «взгляду со стороны». Свои сокровенные мысли о цели и смысле жизни, о природе и человеке Гамсун вкладывает в уста героев.

Стр. 137. *Этот Виллатс Хольмсен был норвежец, как и все мы, но он носил мундир и говорил по-датски...* — В XIX в. датский язык был широко распространен в норвежских аристократических кругах.

Стр. 170. *Я читал о перевороте в Ганновере.* — Речь идет о событиях австро-прусской войны 1866 г. Немецкое княжество и королевство Ганновер, выступавшее на стороне Австрии, в 1866 г. было оккупировано прусскими войсками и превращено в прусскую провинцию.

Стр. 177. *...Обычаи травзов в общем похожи на обычаи остальных фракийских племен,— читает Марсилия перевод Геродота.* — Фракийцы — общее название группы индоевропейских племен, населявших в древности северо-восток Балканского полуострова, а также северо-западную часть Малой Азии. Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, положивший начало собственно греческой историографии и названный «отцом истории».

Стр. 192. *Почему вы всегда говорите: франко-прусская война?* — Имеется в виду франко-прусская война 1870—1871 гг. В ходе войны пала Вторая империя во Франции и завершилось объединение Германии под главенством Пруссии. Прусские войска оккупировали значительную часть французской территории, участвовали в подавлении Парижской коммуны 1871 г.

Стр. 302. *...есть старинная книга, сочинил ее Еспер Брохман...* — Брохман Еспер (1585—1652) — датский теолог, епископ. Один из образованнейших людей своего времени. Автор книги «Система универсальной теологии», о которой, очевидно, и идет речь.

МЕСТЕЧКО СЕГЕЛЬФОСС

Роман «Местечко Сегельфосс» был написан в 1915 году. Он явился продолжением «Детей века». В новом романе Гамсун прослеживает дальнейшую судьбу своих героев, показывая, как по мере разрушения в обществе старых патриархальных связей власть прибирают к рукам те, кто еще совсем недавно находился на низших ступенях социальной лестницы. Эти люди, охваченные исключительно жаждой наживы, лишены того обаяния, которым обладали их предшественники. К новым хозяевам жизни, представленным в романе образом ловкого торговца, Теодора Енсена, пришедшего на смену Хольмсену и Хольменгро, Гамсун относится иронически. Малопривлекательны в его глазах и представители нового класса, рожденные буржуазным развитием Норвегии,— рабочие, утратившие, как Аслак и Конрад, уважение к своему хозяину. Лишь один персонаж в романе вызывает неизменное сочувствие Гамсуна. Это

телеграфист Бордсен — человек тонкой душевной организации, истинный аристократ духа. В обществе, утратившем цель и перспективу своего развития, ему не остается ничего иного, как стать «лишним», обречь себя на безвременную кончину. Гибелью Бордсена завершается действие романа.

Стр. 361. *...додумался масоном стать...* — Масонство (от ф р. franc maçon — вольный каменщик) — религиозно-этическое движение, ставившее своей целью нравственное самоусовершенствование личности. Возникло в начале XVIII в. в Великобритании и распространилось во многих странах. Название, организация (объединение в ложи) и традиции заимствованы от средневековых цехов (братств) строителей-каменщиков, отчасти от средневековых рыцарских и мистических орденов. В скандинавских странах было введено в 1745 г., однако широкого распространения не получило.

Стр. 367. *Надо закупить тысячу гроссов.* — Старая мера счета галантерейных и других мелких товаров. 1 гросс — 12 дюжин.

Стр. 462. *Издательство Лютеровского общества...* — Лютеровское общество — культурно-просветительская организация, основанная в 1868 г. в Осло с целью издания и распространения произведений Лютера, а также художественной литературы религиозного содержания.

Стр. 476. *Кади* — судья в мусульманских странах.

Стр. 482. *Про войну на Востоке, про падение Порт-Артура...* — Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг.

Стр. 496. *...храм Талии.* — Талия — в греческой мифологии одна из девяти муз, муза комедии.

Стр. 500. *...пишет S.E.&.O. на своих счетах.* — S.E.&.O. — коммерческий термин salvo errore e omissione — исключая ошибки и пропуски.

Стр. 528. *...женись на Сюнневе Сульбаккен!* — Сюнневе Сульбаккен — героиня одноименной повести Бьёрнсона (1857).

Стр. 551. *«Боже, храни короля!»* — начало английского гимна.

Стр. 605. *«Diplomatarium Norvegicum»* — важнейшее собрание норвежских исторических документов.

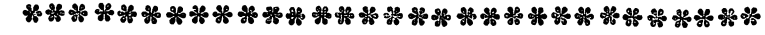
Стр. 606. *Лансмол* (б у к в.: народный язык) — одна из двух форм норвежского литературного языка, образовалась в результате искусственного синтеза норвежских местных диалектов. Создателем ее считается норвежский языковед Ивар Осен (1813—1896).

Гераклит — Гераклит из Эфеса (ок. 554—483 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель ионийской школы.

Стр. 609. *Лестадианизм* — религиозно-этическое движение в Норвегии и Финляндии, названное по имени его основателя священника Ларса Леви Лестадиуса (1800—1861), последователя М. Лютера.

Стр. 636. *Домский собор в Тронхейме.* — Собор в древней столице Норвегии, в нем происходило вступление на трон норвежских королей.

А.Сергеев



СОДЕРЖАНИЕ

СТРАННИК ИГРАЕТ ПОД СУРДИНКУ. *Перевод С. Фридлянд* 7
ДЕТИ ВЕКА. *Перевод А. Афиногеновой* 137
МЕСТЕЧКО СЕГЕЛЬФОСС. *Перевод А. Афиногеновой* 353
Комментарии *А. Сергеева* 649

Гамсун К.

Г 18 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. Странник играет под сурдинку; Дети века; Местечко Сегельфосс: Романы: Пер. с норв./Редкол.:М. Климова и др.; Сост. Ю. Яхниной; Коммент. А. Сергеева.— М.:Худож. лит., 1994.—655с.

ISBN 5-280-02132-6 (Т. 3)

ISBN 5-280-01700-0

В третий том шеститомного Собрания сочинений Кнута Гамсуна (1859—1952) входят романы: «Странник играет под сурдинку», «Дети века» и «Местечко Сегельфосс».

Г $\frac{4703010100\text{-}074}{028\,(01)\text{-}94}$ Подписное

ББК 84.4Нр

КНУТ ГАМСУН

Собрание сочинений

В 6-ти томах

Том 3

Зав. редакцией *М. Климова*

Редактор *Э. Шахова*

Художественный редактор *Л. Калитовская*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректор *Г. Володина*

ИБ № 6795

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27.12.91 г.

Сдано в набор 24.07.92. Подписано к печати 03.03.94. Формат $84 \times 108\ ^1/_{32}$. Бумага тип. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44+альб.=35,28. Усл. кр.-отт. 38,22. Уч.-изд. л. 42,45+альб.=43,25. Тираж 60000 экз. Изд. № VI-4335. Заказ № 3320. «С»—164.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Издание подготовлено к печати на ПК в ОМФЦ «Юридическая литература». 121069, Москва, Г-69, ул. Качалова, 14

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28